



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Slav 4338.3.3

Harvard College Library

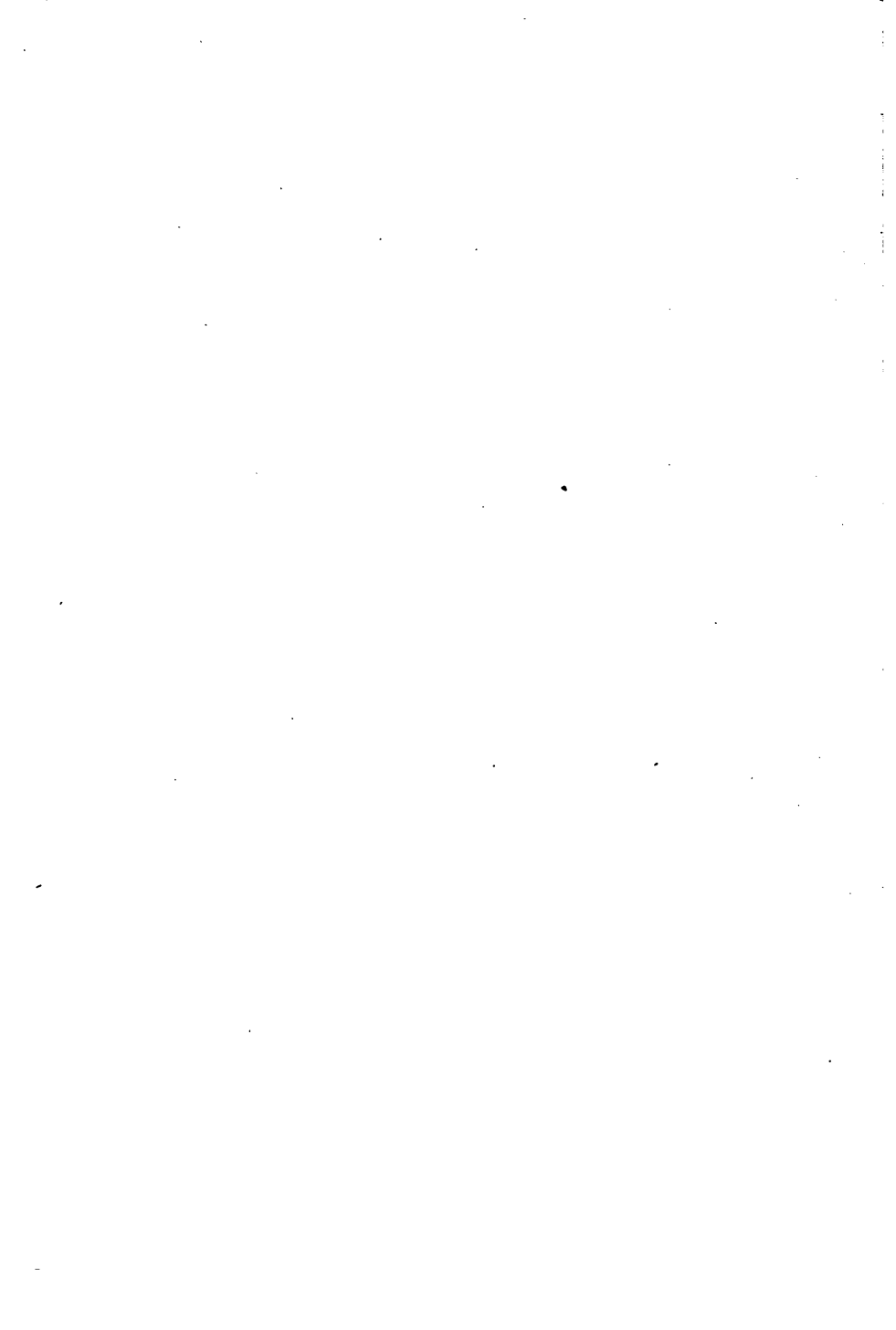


FROM THE BEQUEST OF

THOMAS WREN WARD

TREASURER OF HARVARD COLLEGE
1830-1842







СОЧИНЕНІЯ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,
ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание А. Ф. МАРКСА.

1901

Slav 4338.3.3



Ward fund



Типографія А. Ф. Маркса, Печайл. пр., № 29.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛЪ.

(ХРИСТОВА НЕВѢСТА.)

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ПЕРЕДЪ ОБИТЕЛЮ.

«Въ скитахъ—въ тѣхъ же суетахъ».

Пословица.

«Девятый валъ—роковой для мореходовъ».

Послѣд.

I.

Новый Одиссей.

«Что сталося съ моимъ отцомъ?»—думалъ Антонъ Львовичъ Ветлугинъ, вновь подъѣзжая изъ-за Урала къ роднымъ мѣстамъ.

«Странное дѣло... Отецъ такъ былъ скупъ на письма за эти годы. А тутъ вдругъ написать о желаніи видѣть меня—да еще по нужнымъ и безотлагательнымъ дѣламъ... И какія тамъ дѣла могутъ быть у него, затворника и мечтателя-добряка?.. Ужъ здоровъ ли онъ?.. А вотъ и граница родины... За этимъ пригоркомъ лѣсъ, за нимъ село и рѣка, а у рѣки и предпослѣдняя станція... Я оставилъ родину пятнадцатилѣтнимъ юношей. Возвращаюсь въ нее двадцатисемилѣтнимъ, многоопытнымъ Одиссеемъ... Посмотримъ же, что сталося съ нею, за эти долгія двѣнадцать лѣтъ? Въ ту пору въ ней все было по старинѣ. То была до-реформен-

нал, такъ-сказать, до-потопная губернія. Теперь она озарена свѣтомъ преобразованій»...

Такъ думалъ Антонъ Львовичъ Ветлугинъ, въ первыхъ числахъ мая 1868 года, приближаясь къ знакомой почтовой станціи. Пять дней пути на перекладныхъ, по желѣзной дорогѣ и опять на перекладныхъ, его утомили. Былъ уже вечеръ. Солнце скрылось за горой.

Родина, впрочемъ, на первыхъ же порахъ, не очень гостепріимно встрѣтила Ветлугина.

Какъ онъ ни торопился, смотритель ему объявилъ, что лошадей нѣтъ и что ему придется прождать часъ-другой, а то, пожалуй, и до утра.

Изъ трехъ комнатъ станціи одна была занята купцами, другая—помѣщикомъ того уѣзда, а третья — двумя проѣзжими дамами. Ветлугину предложили помѣститься за перегородкой, въ собственной комнатѣ смотрителя. Онъ заглянулъ туда, заказалъ самоваръ, а самъ, слыша пѣсни хороводовъ, пока не стемнѣло, ушелъ побродить по селу.

Смотритель велѣлъ внести поклажу проѣзжаго. Но у послѣдняго, кромѣ потертаго дорожнаго мѣшка, не оказалось другихъ вещей.

«Сколько верстъ и такъ на-легкѣ!—подумалъ смотритель, глядя въ его подорожную,—то и дѣло толковать о бѣгствѣ ссыльныхъ. А этотъ какъ разъ изъ Сибири... Охъ, ужъ эти зауральскіе... А казна еще замышляетъ туда желѣзную дорогу».

Во дворѣ, тѣмъ временемъ, шла толкотня.

Кузнецы налаживали осѣвную рессору кареты проѣзжихъ дамъ, занявшихъ комнату, смежную съ смотрительскою. А возлѣ кареты, въ досадѣ покрикивая на старосту и не боясь, какъ видно, мирового, въ сѣромъ люстриновомъ сюртукѣ, такихъ же брюкахъ и жилетѣ и въ фуражкѣ съ краснымъ околышемъ и съ кокардой, курия сигару, стоялъ щеголеватый, толстый и недовольный съ виду помѣщикъ. Колесо его коляски, по милости рытвинъ на большой дорогѣ, также потребовало значительной починки. Вслѣдствіе этого, его комнату, какъ Ноевъ ковчегъ, франтоватый слуга и ямщики загрузили всякою путевою всячиной: сундукомъ съ запятокъ, чемоданомъ съ козель, шкатулкой, подушками, погребцомъ съ провизіей и еще двумя, биткомъ набитыми, саквояжами съ самыми необходимыми подручными вещами.

У крыльца на улицу, съ папирской и съ хлыстомъ въ

рукъ, прохаживался гимназистъ, семнадцатилѣтній сынъ помѣщика; а въ комнатѣ, привязанный на цѣпь, изрѣдка подавалъ голосъ долговязый и глупый, гдѣ-то по пути купленный этимъ сыномъ, лягавый щенокъ. Отказывая Ветлугину въ лошадяхъ, смотритель не преминулъ объяснить, что вонъ на что ужъ баринъ Талищевъ, да и тотъ ждетъ, что у Талищева столько-то тысячъ десятинъ земли, да конскій и винный заводы, и что онъ, почитай, первый богачъ въ уѣздѣ.

Ветлугинъ на это, однако, не обратилъ никакого вниманія, а только сказалъ:—«нѣтъ лошадей, что же дѣлать!.. буду ждать, хоть пять ночей не спалъ и спѣшу»...

— Ну-съ, кого еще намъ Богъ послать?—спросилъ Талищевъ, входя къ смотрителю:—не изъ нашихъ ли гласныхъ?

— Посторонній.

— Жаль... А то бы можно было отъ скуки и въ карты... Откуда ѣдетъ?

— Изъ Сибири.

— Вотъ какъ... Чиновникъ, что ли?

— Не думаю. Былъ бы чиновникъ, непременно бы ругался... А то сказалъ только—время дорого... пять дней не спалъ... спѣшу...

— Ну, и пусть его спѣшитъ,—рѣшилъ Талищевъ, лѣниво усаживаясь къ окну.

На дворѣ, между тѣмъ, стемнѣло. Въ окна комнаты сверкнули звѣзды. Изъ-за окутанныхъ сумерками крестьянскихъ садовъ сталъ вырѣзываться мѣсяцъ. Хороводы не умолкали. А тутъ въ дверяхъ показался и самъ Ветлугинъ.

Это былъ средняго роста, сильно загорѣлый и широкоплечій человѣкъ. Темнорусый, съ коротко-подстриженной бородкой, въ сѣрой фуражкѣ и въ синемъ, поношенномъ пальто, онъ походилъ на приказчика или небогатаго хлѣбнаго торговца. Руки его были крѣпкія, жилистыя. Лицо сухощавое, строгое. Въ карихъ, ласковыхъ глазахъ выражалась усталость отъ долгаго пути. Ему и спать хотѣлось, и манилъ его пыхѣвшій самоваръ.

Привыкнувъ къ счастливой долѣ простого и обыкновеннаго смертнаго, на котораго никто и никогда, въ пути и въ жизни, не обращалъ особаго вниманія, онъ молча подсѣлъ къ столу.

— Изъ Сибири изволите ѣхать?—съ легкимъ поклономъ спросилъ, подходя къ нему, Талищевъ.

— Изъ Сибири.

— Служите тамъ?

— Нѣтъ, не служу.

— Такъ видно по торговой части?

— Да, по торговой... А вы?

— Здѣшній помѣщикъ.

— Что... если не ошибаюсь, у васъ уже введена и судебная реформа?—спросилъ Ветлугинъ.

— Введена.

— Кто же здѣсь предсѣдатель сѣзда мировыхъ судей?

— Въ обоихъ сѣздахъ—судей и посредниковъ—предсѣдатель я, равно и въ земскомъ собраніи, такъ какъ состою предводителемъ здѣшняго уѣзда.

— Три главныхъ, три лучшихъ реформы, — съ искреннимъ сочувствіемъ сказалъ Ветлугинъ:—крестьянская, земская и судебная — и въ каждой изъ нихъ вы впереди другихъ... Завидная участь...

— Да-съ, несу эти тяготы,—съ новымъ поклономъ и легкимъ вздохомъ отвѣтилъ Талищевъ.

Ветлугинъ поднялъ брови.

— Любопытно бы знать,—продолжалъ онъ:—какъ идутъ ваши общественныя дѣла?

— Охъ, и не говорите. Вы—торговый, слѣдовательно, дѣловой человѣкъ... Знаете ли вы, что мы терпимъ? Ни надежныхъ рабочихъ, ни вѣрной прислуги нѣтъ... Все грубіяны, да лѣнтяи... Большинство лучшихъ, устроенныхъ имѣній начинаетъ пустѣть въ арендѣ, либо продается съ молотка. Вѣрите ли, ѣдешь теперь въ деревню, какъ на каторгу... Налюги растутъ... Господа же гласные все новые расходы вымышляютъ... А чѣмъ, я васъ спрашиваю, ихъ покрыть, чѣмъ?

— Но вы же сами предсѣдатель, слѣдовательно, руководитель земскаго собранія...

— Полноте... Все это хорошо на словахъ, на бумагѣ. Но между словомъ и дѣломъ большая разница. А все оттого, что нынче власти настоящей нѣтъ ни у кого, ни у губернатора, ни у исправника, ни у предводителя... Правиль всѣмъ теперь волостной писарь, а писаремъ кабакъ... Больше скажу, — прибавилъ, понижая голосъ, Талищевъ: — вездѣ идетъ подземная работа тайныхъ разрушителей... Ну, да что и толковать... Не цвѣты растутъ въ нашемъ вертоградѣ,

не цвѣты... Пешкомъ главу приходится носыпать, во вратѣ одѣваться.

«Батюшки! Что я слышу?—подумать, глядя на собесѣдника, Ветлугинъ,—вотъ такъ родина... И это заявляетъ въ-борный, стало быть, лучший человѣкъ изъ уѣзда? Что-же остальные? И неужели, въ самомъ дѣлѣ, эта голотурія, эта улитка-овощъ такое и значительное, и влиятельное здѣсьлицо?»

А Талищевъ не унимался. Отъ грубѣйшихъ-рабочихъ и не покорныхъ дѣтей перешелъ къ отсутствію дисциплины канцеляріяхъ, въ войска и даже во флотъ.

— Проснулся бы Суворовъ, снова въ землю бы легъ... Я служилъ нѣкогда въ кавалеріи. Но развѣ у насъ теперь войско? Армія лавочниковъ, да акробатовъ... Башлыки выдумали, гимнастику, гласные военные суды...

Выручилъ Ветлугина сынъ Талищева, гимназистъ Николушка.

Войдя въ фуражкѣ и слегка поклонившись Ветлугину, онъ сказалъ:

— Ты здѣсь, отецъ, по обычаю, ораторствуешь... а тамъ—во-первыхъ, краснорядцы уступаютъ жеребца, совѣтую купить, отличныхъ статей, а во-вторыхъ, намъ грозитъ новая бѣда... Въ коляскѣ, кромѣ сломаннаго колеса, оказалась еще и треснувшая ось...

— Вотъ они, наши новые порядки и наши нынѣшніе общественные дороги и мосты,—побагровѣвъ, съ приливомъ новой злобы, вскрикнулъ Талищевъ:—треклятое самоуправленіе... Нѣтъ, воля ваша, при единовластіи станovýchъ не въ примѣръ было лучше...

Когда они ушли, Ветлугинъ только развелъ руками.

Нахмурившись и потирая лобъ, онъ нѣкоторое время, въ совершенномъ недоумѣніи, постоялъ среди комнаты, раскрытъ для освѣженія воздуха окно и, съ чувствомъ невольной брезгливости, даже помахалъ вокругъ себя платкомъ. Немного погодя, онъ попросилъ у смотрителя почтовой бумаги, конвертъ и чернильницу, прислѣлъ къ столу и принялся писать.

Черезъ часъ онъ вышелъ попросить старосту, чтобы его разбудили на зарѣ.

Было уже не рано. Ночь перевалила за половину. Ямщики ужинали въ сборной. Толкотня во дворѣ затихла. Только чавканье подходившихъ съ разгона троекъ раздавалось подъ

пахнувшими свѣжимъ сѣномъ и навозомъ навѣсами, да гдѣ-то за сараями, вѣроятно, надъ осью коляски Талищева, стучалъ кузнечный молотъ, слышался споръ, прибаутки и смѣхъ заѣзжей прислуги, да съ огорода, отъ села, неслись громкія пѣсни: «Заплетися плетень, заплетися» и «Яромъ, яромъ, кума моя, а я за-тобою».

Пока Ветлугинъ искалъ старосту, Талищевъ вновь зашелъ къ нему въ комнату и съ удивленіемъ увидѣлъ на его столѣ нѣсколько готовыхъ и уже запечатанныхъ писемъ.

«Вотъ такъ скорый! экъ настрочилъ», подумалъ онъ, просмотривая обложки писемъ.

На одномъ былъ адресъ — въ купеческую контору, въ Орскъ; другое было адресовано къ нѣкому Аввакуму Столешникову—въ Архангельскъ; на третьемъ была надпись—въ редакцію одной распространенной газеты, въ Петербургѣ.

Возлѣ чернильницы лежалъ клочокъ бумаги, и на немъ, очевидно, для памяти, карандашомъ были набросаны слова: 1) нѣтъ ли читальни? 2) наружный осмотръ... 3) цѣль ли дневникъ? 4) нѣтъ ли Лассалья? 5) надежды общества... 6) передъ отъѣздомъ побывать...

Въ сѣняхъ послышались шаги.

«Ума не приложу, что онъ за человѣкъ?—терялся въ догадкахъ Талищевъ:—о надеждахъ общества заботится; съ подозрительной газетой въ сношеніяхъ; иностранца какого-то Лассалья отыскиваетъ... Или онъ просто пустельга, собиратель травъ, книгопродавецъ, а не то журнальный корреспондентъ?.. Ишь ты, бестія, какъ распредѣляетъ занятія»...

— Извините за нескромный вопросъ,—обратился онъ къ вошедшему Ветлугину:—въ нашъ городъ изволите ѣхать съ какимъ-либо торговымъ порученіемъ? Складъ открываете?..

— Я ѣду повидаться съ отцомъ и отдохнуть... Давно не былъ на родинѣ... А родина, да воля, вы знаете, лучшія блага на землѣ... Съ волей человѣкъ—крылатое существо.

— Я другое слышалъ.

— Что же именно?

— Денежки—крылышки...

— Ну, не всегда,—улыбнулся Ветлугинъ.

— Ну, ужъ извините, напротивъ, всегда,—улыбнулся и Талищевъ:—слышали, вѣроятно, когда деньги говорятъ, то и правда молчатъ... И какъ вѣра безъ дѣлъ, такъ и воля безъ средствъ — мертва есть... Только деньги нынче туго

паживаются. Дѣтей у меня двое только, одинъ гусарь, другой еще учится... Денегъ подавай... Вотъ тоже надо было купить у сосѣда лѣсъ,—дровъ на заводъ не хватило. Нечего дѣлать, обратился я въ банкъ. Кое-какъ раздѣлаюсь. А каковы зато проценты? и чѣмъ ихъ наверстатъ?..

— Да-съ,—продолжалъ Талищевъ,—не цвѣточки на нашей нивѣ... Денежный курсъ шатокъ. То тамъ слышишь банкротства, то здѣсь. Одна надежда на желѣзную дорогу. И напѣть уѣздъ, наконецъ, задумалъ. У меня вскорѣ назначенъ сѣздъ предпринимателей. Если любопытствуете и будете въ нашихъ краяхъ, милости просимъ ко мнѣ. Да что! врядъ-ли вступите въ дѣло,—все скоро сведутъ на одни убытки.

Долго еще говорилъ Талищевъ. Ветлугинъ сталъ дремать...

«Пой, пой!—думалъ онъ, глядя на сытые губы, сердитые глазки и сквозившееся жиркомъ, недовольное и чванливое лицо Талищева:—на то ты и земская кукушка, чтобъ плакаться... Только какъ тебѣ не надоѣла эта заунывная, никого неспособная увѣрить пѣсня?»

— Знаете что?—сказалъ онъ, смигивая дремоту и усиливаясь улыбнуться:—хотите быть спокойнымъ и счастливымъ?

— Хочу...

— Берите примѣръ съ меня... У меня нѣтъ ровно ничего!.. Я былинка, я перекасти-поле, такъ-сказать, російскій Мельмотъ-скиталецъ; о собственномъ достаткѣ не думаю... Ну, и вы бы... я вамъ тоже совѣтую... Богатому сладко ѣстся, да плохо спится... Охъ, извините, совсѣмъ разо-спался...

«Помѣшанный!—рѣшилъ Талищевъ, со вздохомъ уходя въ свою комнату:—а можетъ, и еще хуже, можетъ, членъ интернаціоналки»...

Узнавъ отъ слуги, что Николушка съ кѣмъ-то изъ ямщиковъ отправился къ хороводамъ на село, Талищевъ тяжело опустился въ приготовленную для него постель, но долго еще возился и ворчалъ.

Заснулъ онъ, мечтая о затѣвавшейся въ уѣздѣ концессіи и разсуждая: «экъ ихъ, въ самомъ дѣлѣ, прощальгъ, шляется теперь вездѣ по Россіи. О собственномъ, видите ли, благосостояніи еще не помышлялъ... Да и на что ему, голяку, благосостояніе? На счетъ ближнихъ легче жить. Поклевалъ чужого зерна, гдѣ попалось, свернулъ крылья, вздремнулъ

на воробынный носъ, да онять и далѣе... А куда, спрашивается, откуда и зачѣмъ?.. И при такихъ-то обстоятельствахъ еще паспортъ хотѣтъ отмѣнить. Того и гляди, что этакой-то россійскій Мельмогъ-скиталецъ вытянетъ тебя въ опасное предпріятіе, либо взбунтуетъ твоихъ же рабочихъ... Нѣтъ, подалѣе отъ этой братіи. И вѣдь какъ расписывается... Часы всѣ заранѣе обозначилъ. О надеждахъ общества, о читальнѣ, сухопутный Кузь, заботится... Эхъ, рано имъ волю дали»...

А кому «имъ?» Талищевъ этого не опредѣлялъ. Воли же онъ вообще недолюбливалъ во всѣхъ родахъ.

II.

Четы-Миней.

Крѣпко заснулъ послѣ ухода Талищева Ветлугинъ, и спалъ онъ, какъ убитый, болѣе трехъ часовъ.

Ему сперва казалось, что Талищевъ изъ его комнаты не уходилъ и что тутъ было много Талищевыхъ: большіе и маленькіе, лысе и вихрастые, толстые и тощіе, статскіе, военные и всякіе. Они ссорились, шумѣли и, какъ рой слѣпней или мухъ въ лѣтнюю жару, кружились надъ его головой.

Потомъ ему приснилось что-то необъяснимое и странное: будто облако ярко-сверкавшихъ блѣстокъ поднялось, закружилось вдали и, наступая на него, стало понемногу его застилать.

Незадолго до разсвѣта, Ветлугинъ очнулся какъ-то самъ собой и сталъ соображать, гдѣ онъ и какъ сюда попалъ?

Ему сначала померещился шорохъ, потомъ послышались какіе-то плывущіе, то вблизи звенящіе, то будто вдалѣ улетающіе голоса... Въ воздухѣ комнаты произошла перемѣна. Посвѣжѣло. Дышать стало легче. А тѣмъ временемъ, какъ переливы таинственныхъ звуковъ тренетали, таяли и волновались надъ нимъ, откуда-то сталъ распространяться тонкій нѣжный запахъ, будто съ поля или съ близлежащихъ садовъ потянуло ароматомъ ландышей и фіалокъ, или по сосѣдству гурили дорогимъ пасхальнымъ ладаномъ...

«Что за притча?» подумалъ Ветлугинъ и привсталъ на локтѣ.

За дверь, въ сосѣдней комнатѣ, Антонъ Львовичъ раз-

слышать сперва неопредѣленные, а потомъ все болѣе и болѣе ясные звуки двухъ женскихъ голосовъ. Одинъ изъ нихъ былъ старческій и спокойный, другой молодой и порывистый. Голоса о чемъ-то спорили.

Въ то же время на потолокъ своей комнаты Ветлугинъ разглядѣлъ узенькую полоску свѣта.

«Ужь не покойникъ ли?» — подумалъ опытный Антонъ Львовичъ.

Онъ всталъ, не зажигая свѣчи, обошелъ комнату, увидѣлъ, что свѣтъ на потолокъ проникалъ въ щель неплотно припертой двери, и, досадуя на зрителя, что тотъ его на всякій случай не предупредилъ, наставилъ къ этой двери глазъ.

Онъ разглядѣлъ часть сосѣдней комнаты, занавѣску, столъ, на столѣ небольшой, въ золотой оправѣ, походный образокъ — передъ нимъ кадилъничку, — далѣе уголокъ постели и обшиту кружевами подушку.

На постели, прислонясь головой и спиной къ подушкѣ, въ ночной кофтѣ, лежала сухощавая красивая дѣвушка, съ большими черными глазами и съ черными, остриженными до плечъ волосами. Передъ нею, также въ ночной кофтѣ и въ чепцѣ на сѣдыхъ волосахъ, стояла, покачиваясь, еще болѣе сухощавая, добродушная съ виду, но чѣмъ-то недобольная и взволнованная старушка.

Закинувъ за голову полуобнаженные худенькія руки, дѣвушка, казалось, спокойно слушала говорившую передъ ней старушку. Но вдругъ, точно не стерпѣвъ ея рѣчи, она вскакивала, садилась на постели, горячо и укоризненно, подавляя слезы, сыпала полными горечи словами и вопросительно и гнѣвно, съ скрещенными на груди руками, смолкала, какъ бы торжествуя надъ переспоренною и въ прахъ разбитою старушкой.

«Что же это я, однако? — подумалъ, опомнившись, Ветлугинъ: — подглядываю, точно школьникъ»...

Онъ возвратился къ дивану. Голоса за стѣной не умолкали.

— Не побѣду я туда, не побѣду! — слышался обрывавшійся и опять уносившійся голосъ дѣвушки: — что мнѣ за дѣло, что она больна! Родная она намъ, чтó ли? Ну вотъ, такъ-таки вдругъ возьму, да къ вашимъ мухамъ и не побѣду... Чтó возьмете тогда?

«Къ мухамъ!—подумалъ Ветлугинъ,—что за оказія?»

— Капризница! Полно тебѣ, что толкуешь!—тихо упрекала старушка:—и отъ тебя ли я слышу эти слова? Ну, подумай только: бабушка померла, зато по близости у насъ тоже спасеніе... И ужъ это ли не тихая жизнь, безъ соблазновъ, чисто въ раю? А въ свѣтѣ, другъ ты мой, что ни шагъ, то грѣхъ. Грѣхъ адскую и грѣхъ ошую... И что ты отвѣтишь на страшномъ судѣ? Помнишь великія слова: все да презрять... все да отринуть? А ты что?.. Сказано: не любите міра, ни яже въ мірѣ... а ты внимаешь ли этимъ словамъ? Дѣвушка вскочила.

— Зачѣмъ вы сами себѣ противорѣчите?—сказала она рѣзко:—отвѣчайте... Я хочу знать истину... истины добиваюсь я... А что оказывается? Разберемъ, ну, разберемъ... Вы говорите: кто оставитъ жену, или отца, или брата, и послѣдуетъ за Христомъ, удостоится спасенія... А вы забыли другія слова: не держите свѣчи подъ спудомъ, не зарывайте таланта въ землю?.. Что? Не вы ли ихъ мнѣ приводили? Эти слова что говорятъ? Живой-то въ гробъ ложиться, что ли? Этого въ святыхъ книгахъ не написано...

— Перестань, богохульница! не срами ты меня... Про спасеніе забыла? забыла про гибель души? Молиться бы тебѣ, да говорить: увы мнѣ, грѣшницѣ, увы! Вотъ возьму я и навѣки отъ тебя отрекусь... Или это опять совѣты дядюшки? Нашла кого слушать! Развѣ о такихъ совѣтникахъ сказано въ писаніи? Избери наставника мудра, по качеству страстей твоихъ,—избери руководителя помысловъ...

Голоса на время стихаютъ. Старушка ходитъ по комнатѣ.

— Ну, извольте: ѣду!—съ горечью восклицаетъ дѣвушка:—только слушайте мой завѣтъ... Не прямо, а переходя... Побываемъ, хоть недѣлку, на прощаньи,—погостимъ дома у отца... Страсть, какъ я по немъ соскучилась... Столько времени ѣздимъ... Въ саду нагуляемся... По брату справимъ поминки... Скоро ему годовщина... И что значитъ недѣли двѣ ранѣе, или позже?

— А какъ опять отложишь? Владыко извѣщенъ. Самъ, сказалъ, готовъ быть къ тому времени...

— Не отложу, мамочка, слово даю. Только прежде домой, а потомъ туда... Такіе согласны? Ну, отвѣчайте же. Хотите, почитаю вамъ за то Лѣствицу, или какое житіе? Завтра, кстати, праздникъ.

— Читай житіє.

— Какое?

— Изъ майскихъ, Пахомія, что-ли, или Тимоея-чтеца...
Какое, нынче число?

Шорохъ шаговъ стихаетъ. Раздается стукъ передвинутаго стула и мѣрное, плавное чтеніе, съ остановками, протягиваніями и даже, какъ послышалось Ветлугину, съ небольшими зѣвками. И опять порывистый возгласъ: — «Да нѣтъ же, не поѣду я туда!»

Книга съ шумомъ захлопывается.

— Не поѣду; да и теперь вотъ возьму и стану читать не это скучнѣйшее житіе, а Монте-Кристо... Хотите, мамочка? ха-ха... Хотите Монте-Кристо? Вонъ, не вѣрите? подъ подушкой у меня и лежить... Что? Вы не позволяли читать свѣтскихъ книгъ, а я тайкомъ и взяла у Фросинки... Вы сердитесь? Да нѣтъ же, я шучу, шучу... И никакого Монте-Кристо у меня нѣтъ, хоть общитесь... Пропадать, видно, отъ скуки, погибать моею головѣ...

Раздаются горькія, глухія рыданія, поцѣлуи, мольбы о прощеніи...

Книга развертывается. Въ тишинѣ снова слышится мѣрное чтеніе дѣвунки:

«И ту повелѣ игѣмонъ Адріянъ Тимоея и Мавру на крестѣхъ распяти. Матерь же Маврина воззва, глаголя: дщи моя! кто носити будетъ украшенія твоя? Отвѣща Мавра: золото и серебро погибаютъ, и одежды поядаютъ моіе, и лѣпота младаго лица временемъ увядаетъ»...

— Что?—видишь?—перебываетъ голосъ старухи:—мірское счастье—матерь вожделѣнія, дьяволу соименникъ. Одно спасеніе—молитва...

Листы поворачиваются:

«И воины распяша ихъ. И тако совершися мученіе ихъ добрымъ подвигомъ»...

— Вотъ, мой другъ,—продолжаетъ голосъ матери:—всякому примѣръ и указъ, какъ спасались въ тѣ времена! Тогда безмолвіе пустыни поучало. Тамъ человѣкъ бодрствовалъ надъ малѣйшими движеніями мыслей... А у насъ что? малодушіе одно. Ты истины добиваешься, истину хочешь знать. Вдали отъ свѣта — истина. Въ мірѣ — одинъ соблазнъ... Не вѣрь никому... Вотъ хоть бы мужчина, любить онъ тебя, да и бросить, промѣняетъ на первую

встрѣчную... И таковы-то всѣ они... всѣ... Да! безъ смиренія, молитвы и поста не спасешь души, а загубишь ее навѣки...

Долго Антонъ Львовичъ, противъ своего желанія, былъ слушателемъ этой бесѣды.

Завашъ ладана сталъ ослабѣвать. Дѣвушка, какъ видно, окончателъно вникла въ наставленіе матери и углубилась въ книгу. Перерывовъ чтенія уже не было.

Тихо и внятно раздавались изъ сосѣдней комнаты слова: «Во едину же нощъ ходя великій Пахомій во обители, видѣ бѣса, во образѣ прекрасныя жены, къ обители грядущаго... Бѣсъ рече: почто всеу трудитесь?... Глагола святыи: лжени на главу твою... Рече же бѣсъ»...

Ветлугинъ далѣе уже не слышалъ. Онъ опять задремалъ. А когда онъ вновь очнулся, свѣтъ на потолокъ его комнаты погасъ, и не было изъ-за двери болѣе слышно ни голоса дѣвушки, ни укоризнъ и внушеній старушки. Кругомъ была полная тишина.

Антонъ Львовичъ вспомнилъ о лошадяхъ. Онъ вышелъ въ сѣни. Весеннее темное небо ярко мерцало звѣздами. Откуда-то сильно нахло цвѣтущими сиренями. За конюшнями былъ большой, съ вербами надъ рѣкой, огородъ. Съ той стороны тянуло прохладой. Тамъ раздавались звуки соловьевъ. А отъ дальнихъ дворовъ села, длинными переливками, то замирая, то опять громко отдаваясь, доносились пѣсви дѣвушекъ и парней. По ближнимъ клѣтушкамъ, сараичкамъ и сѣнникамъ, въ прохладѣ и тишинѣ, дружно перекликались пѣтухи. Одинъ брякнетъ звонко-звонко въ наставшей тишинѣ, и крикъ его подхватятъ другіе. Лошади подъ навѣсами сараевъ перестали жевать. На станціонномъ дворѣ все, до послѣдней кухонной собачонки, утомилось. Экипажей передъ крыльцомъ уже не было. Ветлугинъ съ трудомъ отыскалъ очередного ямщика, разбудилъ его и велѣлъ запрягать.

— А гдѣ карета тѣхъ барынь, что тутъ ночевали?—спросилъ онъ ямщика.

— Уѣхала.

— Въ какую сторону?

— Что-то не примѣтилъ.

— Давно?

— Вслѣдъ за краснорядцами.

— Не знаешь ли, кто эти барыни?

— А Богъ ихъ знаетъ. Мало ли въ ночь-то всякаго народа перебивается... Може городскія, а може и дальнія... Я, сказать тебѣ, не тутошній, вновѣ... Да и не напе это дѣло... Эхъ, мря-то, сударь, мря, темень, какая, мѣсяцъ зашелъ...

Ветлугинъ хотѣлъ справиться по книгѣ. Но для того надо было будить смотрителя. Онъ возвратился въ комнату, зажегъ опять свѣчу, вскрылъ одно изъ писемъ, принисалъ въ немъ нѣсколько строкъ, отыскалъ у подъѣзда почтовый ящикъ, бросилъ туда заготовленные письма, поднялъ воротникъ пальто, плотнѣе застегнулся и усѣлся въ телѣжку.

Подкормленная тройка, похрапывая, подхватила, и Антонъ Львовичъ, покачиваясь въ дремотѣ, понесся по мягкому выгону, а вслѣдъ затѣмъ и по большой дорогѣ.

Долго думалъ онъ о станціи и о черноглазой, съ худенькими руками, дѣвушкѣ за дверью; о Талищевѣ и о его богатой бѣдности; о чтеніи душеспасительныхъ Миней и о предразсвѣтныхъ соловьяхъ, съ такимъ увлеченіемъ надрывавшихъ нѣжныя горла въ росистыхъ тайникахъ надрубныхъ вербъ и сиреней.

«Однако, чтѣ же, въ самомъ дѣлѣ, стало съ моимъ отцомъ?» думалъ Ветлугинъ, какъ нѣкогда Одиссей, возвращавшійся къ берегамъ родного номоря, подъѣзжая на зарѣ къ губернскому городу, гдѣ жилъ его отецъ и гдѣ самъ онъ такъ давно не бывалъ.

И Ветлугину ясно припомнился этотъ возвратъ Одиссея въ родную Итаку, какъ тотъ плылъ на чуждомъ кораблѣ...

Проснулся, и милой отчизны своей не узналъ...

Такъ былъ отсутственъ давно; да и сторону всю ту покрыла Мглою туманною дочь громовержца, Афина...

Утро еще не начиналось.

Подгороднія деревушки тонули въ сумеркахъ. Ветлугинъ съ жадностью сталъ всматриваться въ знакомыя, столько лѣтъ невиданныя, окрестности.

Тамъ-и-сямъ, въ блѣдныхъ лучахъ разсвѣта, проглядывали синѣющія, въ даль уходящія равнины, съ темными стѣнами лѣсовъ и съ одинокими, головастыми стволами старыхъ, придорожныхъ вербъ; фабрики, постоянные дворы, мосты, окрестные дачи и сады, съ чуть видными за ними маковками городскихъ церквей.

Стало всходить солнце.

Влѣво свернула голубая излучина рѣки съ рядомъ очерченныхъ водяныхъ мельницъ и съ длинною тошкою гатью. Потянулись кузницы, заборы, кабаки и лавчонки предмѣстья. Мелькнули вывѣски колесника, столера и портного. На гребнѣ ярко размазаваннаго, зажиточнаго купческаго дома показалась знакомая, на длинномъ шестѣ, съ оконцемъ и дверкой, сѣрал скворешница. Приятно запахло раннимъ дымкомъ и городскими булками. Гдѣ-то раздался благовѣстъ. Сбоку, въ переулкѣ, послышалась бойкая дробь мѣщанскихъ голосовъ...

Ветлугинъ чувствовалъ, какъ шибко и радостно забилося его сердце.

«Въ этомъ же концѣ города,—размышлялъ онъ,—скоро выгянетъ знакомая съ дѣтства, пустынная и поросшая травой улица. За досчатымъ высокимъ заборомъ покажутся верхушки яблонь и развѣсистый шатѣрь старой, любимой отцовской груши. А за ними — красная, заштопанная косгдѣ новымъ тѣсомъ, кровля отцовскаго домика; завѣтная вышка мезонина, съ бѣлыми занавѣсками и геранями въ двухъ оконкахъ на улицу; голуби надъ фронтонами дома и кухни; невдали отъ отцовскихъ воротъ — полицейская будка и въ ней будочникъ, едва таскавшій ноги, державшій голосистаго перенела и ходившій къ сосѣдямъ подрѣзывать курамъ типуны. А у воротъ, на неизмѣнной, вытертой долгими годами лавочкѣ, въ картузѣ и въ халатѣ, въ туфляхъ и съ трубкой, подпоясанный носовымъ платкомъ и самъ отставной учитель и пенсионеръ, — Левъ Саввичъ Ветлугинъ...»

Антонъ Львовичъ вспоминалъ разныхъ сортовъ куръ, кудахтавшихъ когда-то по отцовскому двору: хохлатыхъ, хвостатыхъ, ногатыхъ, безхвостыхъ и всякихъ, а между ними длинноногого и бѣлаго дылду, сердитаго пѣтуха Петьку, съ гребешкомъ на бекрень, съ багровыми щеками, въ рыжемъ плюмажѣ и съ генеральскою осанкой, подававшаго голосъ всякій разъ, какъ у сосѣдей отзывалось нѣжное кудахтанье посторонней насѣдки или кто-нибудь хлопалъ калиткой. Антону Львовичу вспоминалась всякая всячина: ручныя куропатки, павлины; у конуры болѣе рѣзвая, чѣмъ злая, сторожевая собака Дружокъ; чуланчикъ въ сѣняхъ, къ зимѣ резервируемый въ тепличку для цвѣтовъ; въ саду — выводокъ

бѣлыхъ кроликовъ, а въ огородѣ, надъ кустами смородины и грядками фасоли и гороха, соломенное чучело, съ распластанными руками, въ старомъ жилетѣ и въ старой учительской треуголкѣ Льва Саввича, — словомъ, все то, что такъ любилъ и чѣмъ такъ беззаботно жилъ отставной учитель русской словесности и всеобщей исторіи, старый романтикъ и губернский Цинциннатъ, Левъ Саввичъ.

III.

Губернскій Цинциннатъ.

«Кто въ родномъ городѣ не зналъ Льва Саввича Ветлугина и кто его здѣсь не любилъ?» думалъ, минуя послѣдніе передъ отцовскимъ домомъ переулки, Антонъ Львовичъ.

Встрѣчая въ садикѣ, подъ грушей, заходившихъ къ нему бывшихъ учениковъ, Левъ Саввичъ говорилъ:

— Тамъ, на вышкѣ, — идеалы, сударики мои; тамъ — моя библиотека, мои любимые философы, поэты и историки. Здѣсь же, внизу, — природа въ миниатюрѣ, мое хозяйство и, такъ сказать, мой рай, хотя онъ и не на берегахъ Тигра и Евфрата... Какъ видите, я счастливъ и, какъ нѣкогда на покой влеститель Діоклетіанъ, сажу капусту въ этомъ тихомъ пріютѣ ничего не желающей старости...

Левъ Саввичъ былъ женатъ на собственной ученицѣ, на дѣвушкѣ изъ купеческаго званія.

Небогатая и добрая жена озолотила его вѣкъ несказаннымъ, хотя кратковременнымъ, счастьемъ. Умерла она отъ чахотки, когда Антону Львовичу пошелъ девятый годъ. Болѣзнь жены, а съ нею лишніе траты, запущеніе уроковъ и домашняго хозяйства сильно подѣляли средства Льва Саввича. Ему предстояло трудиться день и ночь, чтобы спасти отъ продажи съ молотка скромный женинъ домишко, гдѣ родился и подросъ Антоனுшка и гдѣ самъ Левъ Саввичъ, сынъ такого же учителя, зашедшаго нѣкогда въ эту губернію, провелъ лучшіе годы жизни. Онъ, наконецъ, его выкупилъ и долго считалъ себя за высокімъ заборомъ, подъ старою грушей, счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Онъ опять занялся уроками, сталъ перечитывать свои книги, копаться въ саду и вести съ такими же бѣдняками-учителями, какъ самъ, пылкія бесѣды о пересозданіи общества и всего міра.

Но надъ Львомъ Саввичемъ стряслась новая, тяжелая бѣда.

Антонущикъ пошелъ пятнадцатый годъ, и онъ былъ уже въ шестомъ классѣ родной гимназіи. Наступили переходные экзамены. Во время испытанія изъ латинскаго языка, въ залу вошелъ недавно назначенный изъ столицы директоръ гимназіи. Хотѣлъ ли экзаменаторъ-учитель отличиться передъ нимъ, или произошло это случайно, только онъ, ни съ того, ни съ сего, сталъ особенно трудными вопросами допекать одного болѣзненного, робкаго, хотя трудолюбиваго ученика. Ужъ онъ его и такъ, и этакъ. И изъ неправильныхъ глаголовъ спросилъ, и прокатилъ по всѣмъ тонкостямъ въ разборѣ какой-то древней басни; потомъ подхватилъ его въ когти мудренѣйшей римской поговорки, потрепалъ надъ выдержкой изъ рѣчи Цицерона и, наконецъ, безъ всякаго милосердія, швырнулъ въ пучину метаморфозъ Овидія, откуда тотъ уже и не вынырнулъ...

По классу прошелъ трепетъ. Директоръ, самодовольно шурясь на помертвѣлаго юношу, что-то укоризненное шепталъ о немъ учителю. — «Извольте садиться; вы ничего не знаете!» сказалъ послѣдній и поставилъ ученику единицу. Юноша зашатался, слезы сдавили ему горло. Ему вспомнилась родная конура, хворая мать, голодная, маленькія сестры. — «Позвольте мнѣ перемѣнить билетъ», съ усиленіемъ проговорилъ ученикъ, забывъ, что его совсѣмъ не по билету и спрашивали... — «Садитесь на свое мѣсто!» сухо раскланиваясь, объявилъ ему вѣжливый учитель. — «Это подлость!» негромко, и какъ бы въ сторону, раздалось съ одной изъ заднихъ скамеекъ, гдѣ сидѣли скромнѣйшіе изъ класса. Директоръ взглянулъ туда. Учитель вспыхнулъ. — «Надо спрашивать, какъ заведено, какъ положено — по билету!» повторилъ тотъ же голосъ громче. Всѣ обернулись и увидѣли, что эти слова слышались съ того мѣста, гдѣ сидѣлъ добродушный, но нервическій и пасмурный съ виду гимназистъ Антонъ Ветлугинъ. Онъ былъ блѣденъ, глаза смотрѣли въ землю, а въ рукахъ была стиснута истрепанная, точно собаками травленная, латинская грамматика. Директоръ всталъ, а за нимъ, съ сдержаннымъ гуломъ, всталъ и весь классъ. — «Вы должны выдать зачинщика, — объявилъ директоръ: — подумайте; черезъ четверть часа я возвращусь». Товарищи, однако, Ветлугина не выдали. Оставшись наединѣ съ учителемъ, классъ вышелъ изъ повиновенія. Съ невѣроятнымъ гамомъ и крикомъ, швыряя въ отстѣ-

павшаго и струсившаго учителя, чѣмъ попало, — линейками, книгами и чернильницами, гимназисты выскочили въ коридоръ и всею гурьбой окружили Антонушку. Дѣло, впрочемъ, этимъ не кончилось. Было назначено строгое слѣдствіе. Ветлугина исключили. Плохо пришлось съ этой исторіей и его отцу: онъ также чуть не потерялъ мѣста въ гимназіи. После недолгаго раздумья, Левъ Саввичъ списался съ знакомыми и отослалъ сына въ Москву, гдѣ тотъ, при помощи бѣдняка-студента, нѣкоего Аввакума Столешникова, приготовился къ университету и, черезъ два года, выдержалъ въ него экзамень. Но не повезло ему и въ университетѣ.

Онъ выдержалъ послѣдній, выпускной экзамень и принялся дописывать диссертацию на степень кандидата правъ, чтобы получить дипломъ и ѣхать служить на родину. Жилъ онъ въ ту пору, прятаясь отъ знакомыхъ и отъ товарищей, на одной изъ запущенныхъ дачъ столичнаго предмѣстья. Любимыми науками Ветлугина въ университетѣ были политическая экономія и теорія финансовъ, а потому его диссертация писалась по вопросу объ ассоціаціяхъ рабочихъ въ Западной Европѣ и о русскихъ артеляхъ. До срока подачи диссертации оставалось всего два дня. Ветлугинъ третьи сутки питался чуть не однимъ хлѣбомъ, не имѣя времени сходить въ городъ, въ ближайшую кухмистерскую. Его помѣщеніе состояло изъ крошечной комнатки, на чердакѣ полуразвалившагося, нѣкогда красиваго лѣтняго домика, торчавшаго среди необозримаго огорода. Нѣкоторые изъ его богатыхъ товарищей, не помышлявшіе ни о диссертацияхъ, ни о кандидатскихъ дипломахъ, въ это время предавались беззаботнѣйшимъ кутежамъ, тщетно зазывая съ собою и Ветлугина. Одинъ изъ такихъ кружковъ случайно набрелъ на пустынный огородъ, гдѣ обиталъ Ветлугинъ. Дѣло было подъ вечеръ. — «А! вотъ онъ, зубрило! — возгласила веселая гурьба: — вытащимъ его, поддипалу, и насильно съ собою увеземъ»...

И не совсѣмъ трезвая толпа, черезъ грядки, направилась къ домику. — Выписывая ссылку на Россію и раздумывая, не сослаться ли ужъ, кстати, и на Луи Блана, Ветлугинъ слышалъ снизу топотъ шаговъ, узналъ знакомые, нестройные голоса, и съ досадой захлопнулъ тетрадь. Но его въ особенности взорвало то обстоятельство, что впереди раскраснѣвшихся гулякъ, какъ онъ разглядѣлъ въ окно, шель

давно ему надѣвший, самодовольный, дерзкій и вѣчно толковавшій о собственномъ благѣ нахаль, сынъ кавалерійскаго генерала, состоявшаго при одномъ изъ военныхъ учреждений столицы. Этотъ господинъ учился плохо, зато славился, какъ практическій жуиръ, лихачъ и охотникъ до всякой попойки, особенно, гдѣ была игра въ карты.—«Бросай, Ветлугинъ, глупыя книги и тетради,—крикнулъ ему, появляясь на его порогѣ, предводитель гулякъ:—охота ли сидѣть надъ подобной дребеденью?..» Съ этими словами, свободный въ обращеніи путникъ подошелъ къ его столу, съ презрительной усмѣшкой развернулъ диссертацию Ветлугина и, пока остальные толпились снизу по лѣстницѣ, вслухъ сталъ читать: «но, пока бѣдность и голодъ не найдутъ своихъ правъ, человѣчество не выйдетъ изъ дикости»...—«Ахъ ты, копеечный либералъ!—расхохотался чтець:—бери лучше шапку и гряди во-слѣдъ за нами, а иначе — не прогнѣвайся... Ты вѣдь знаешь насъ, и особенно меня»... Кровь бросилась въ голову Ветлугина. Онъ смертельно поблѣднѣлъ, смѣрилъ глазами обидчика, съ руками въ жилетѣ и съ нахальной усмѣшкой стоявшаго спиной къ дверямъ, рванулся къ нему, — и не успѣли другіе товарищи вскрикнуть, какъ дерзкій щеголь взмахнулъ фалдочками пиджака и стремглавъ полетѣлъ по лѣстницѣ на головы остальныхъ. Прочіе кинулись-было на Ветлугина, но онъ смѣло выдержалъ ихъ нападеніе. На шумъ сбѣжались огородники; повѣсы увидѣли, что новый натискъ имъ не подѣ силу, и, пользуясь темнотою, скрылись.

Антонъ Львовичъ успокоился, къ утру дописалъ диссертацию, и кандидатскій дипломъ ему вскорѣ выдали. Товарищи, однакоже, предложили Ветлугину стрѣляться съ обиженнымъ. Скрѣпя сердце, онъ принялъ вызовъ и первый, съ своимъ секундантомъ Столешниковымъ, явился на мѣсто. Но начальство ли случайно провѣдало о вызовѣ, или свѣтскій шаркунъ струсилъ и сообщилъ заботливому папашѣ о предстоящей ему грозѣ, только дуэль не состоялась. Ветлугинъ и его секундантъ, съ поличнымъ, были арестованы. При обыскѣ, въ бумагахъ Антона Львовича отыскались запрещенныя книги и нѣсколько писемъ какого-то господина, который передъ тѣмъ мирно проживалъ въ Россіи, но вскорѣ уѣхалъ за границу и тамъ совершенно неожиданно объявилъ себя эмигрантомъ. «Что за чепуха! — подумалъ Ветлугинъ, третью недѣлю сидя подѣ арестомъ и видя, что глупая исто-

рія съ проученнымъ кутилой запутываетъ его болѣе и болѣе:—жить здѣсь, какъ вижу, окончательно невозможно! не лучше ли и мнѣ бѣжать за границу?»

Въ часы горькаго раздумья и тревоги, томимый неизвѣстностью, мелочными допросами и скукой заключенія, Ветлугинъ дѣйствительно замыслилъ бѣжать. Въ первый же разъ, какъ его, по холоду и слякоти, ночью привезли изъ слѣдственной комиссіи, онъ въ тюремный дворъ не вошелъ, а у воротъ, послѣ недолгой, отчаянной борьбы, вырвался изъ-подъ караула озадаченныхъ городскихъ, бросился въ сосѣдній темный переулочекъ, сѣлъ на извозчика, домчался до загороднаго парка, оттуда пробрался въ ближайшій лѣсъ и скрывался здѣсь болѣе сутокъ. Наконецъ, томимый жаждой и голодомъ, онъ вышелъ, въ ближайшемъ кабацѣ заложилъ часы, подарокъ отца, наскоро закусилъ, убѣдился, что за нимъ болѣе не слѣдять, и пѣшкомъ отправился на станцію желѣзной дороги, съ цѣлью уйти за границу и остаться тамъ, разумѣется, навсегда. На станціи его, однако, ждали тѣ же городовые. Онъ былъ узнавъ и, послѣ норовой, безуспѣшной борьбы, опять отвезенъ подъ арестъ. Слѣдствіе на этотъ разъ кончилось весьма скоро. Ветлугинъ очутился на жительство за Ураломъ. Начались годы тяжелыхъ испытаній, новыхъ ударовъ судьбы и упорнаго, однихъ умудряющаго, а другихъ еще болѣе ожесточающаго труда...

Антонъ Львовичъ ясно помнилъ свое послѣднее прощанье съ отцомъ: какъ онъ, исключенный гимназистъ, плача навзрыдь, садился въ кибитку съ попутчикомъ-купцомъ, а отецъ, грустно улыбаясь и утѣшая его, стоялъ несокрушимый и бодрый. Мысли объ отцѣ, какъ въ студенческіе годы, такъ и въ ссылки, составляли лучшее утѣшеніе для Ветлугина. Онъ съ любовью представлялъ себѣ его здоровый, статный видъ, твердую, смѣлую поступь, румянецъ свѣжаго, умнаго лица, добрый, ласковый взоръ и всю пылкость юношескаго негодованія при словѣ о людской неправдѣ, и беззабѣтную радость, когда рѣчь заходила тамъ, на вышкѣ, о лучшихъ, вѣчныхъ идеалахъ жизни.

Многое припоминалось ему на чужбинѣ. Городскіе балагуры, напримѣръ, утверждали, что когда тотъ край, еще въ дѣтствѣ Антона Львовича, какъ-то проѣздомъ, посѣтилъ уже неизлѣчимо-больной одинъ извѣстный русскій критикъ, — отецъ Ветлугина пришелъ въ неописанный восторгъ и тре-

петь. «Свѣточъ въ нашемъ мракѣ! воскрешеніе мертвой земли!» — восклицалъ онъ, передавая эту радостную вѣсть въ тѣсномъ кругу такихъ же, какъ онъ, бѣдняковъ, учителей-товарищей. И, какъ ни трудны и ни опасны были въ то время всякія попытки даже къ безвиннымъ и мирнымъ манифестаціямъ, онъ бросился, съ избранными изъ преданнѣйшихъ коллегъ, отыскивать знаменитаго критика. Онъ его нашелъ въ трактиръ возлѣ станціи, вызвалъ на крыльцо и, тутъ же, на улицѣ, сказалъ ему, отъ лица мѣстныхъ, не менѣе его взволнованныхъ педагоговъ, страстную и пылкую, хотя нѣсколько туманную и напыщенную рѣчь, причѣмъ билъ себя въ грудь и отъ избытка восторга чуть не разрыдался. И когда, смущенный этимъ неожиданнымъ почетомъ, скромный писатель всѣмъ пожалъ руки, отъ души поблагодарилъ ихъ за вниманіе, сѣлъ въ экипажъ и уѣхалъ, Левъ Саввичъ въ узелокъ платка взялъ на память изъ-подъ колесъ его тарантаса горсть песку. Этотъ песокъ долго потомъ, какъ помнилъ Антонъ Львовичъ, висѣлъ у отца въ узелкѣ, рядомъ съ портретами Новикова, Гоголя и Пушкина, надъ столомъ кабинета, служа для Льва Саввича памятникомъ сладчайшихъ воспоминаній, хотя въ то же время для городскихъ зубоскаловъ составляя предметъ нескончаемыхъ, пропитанныхъ желчью и злобой, насмѣшекъ.

При арестѣ сына и обыскѣ его жилища, между прочимъ студенческимъ хламомъ нашли пачку отцовскихъ писемъ. Старый либераль, въ непринужденной письменной бесѣдѣ съ сыномъ, не стѣснялся ничѣмъ: ни обсужденіемъ текущихъ отечественныхъ событій, ни анекдотами о мѣстныхъ властяхъ. И если эти конфискованные манускрипты когда-нибудь изъ полицейскаго архива попадутъ въ руки будущаго бытописателя страны, — изъ нихъ выкроится не одна, полная горечи и ѣдкаго остроумія, страница. Объ этихъ письмахъ, съ приложеніемъ выдержекъ изъ нихъ, изъ слѣдственной комиссіи было доведено до свѣдѣнія начальства Льва Саввича. Его лишили мѣста учителя, хотя за долговременную службу онъ и былъ уволенъ, какъ бы по собственному желанію, съ пенсіономъ. Опала властей отозвалась и на частныхъ урокахъ Льва Саввича. Средства его стали окончательно оскудѣвать. О переѣздѣ въ другую губернію нечего было и думать: онъ уже былъ въ лѣтахъ и обсиѣлся на мѣстѣ. Жизненные припасы, между тѣмъ, въ

городѣ сильно вздорожали. Какъ Льву Саввичу, такъ и другимъ, подобнымъ ему, отставнымъ бѣднякамъ, приходилось не разъ бывать и на пищѣ святаго Антонія, или пробавляться безконечными толками о неблагодарности судьбы вообще и грознаго начальства въ особенности.

Прежде, при покойницѣ женѣ, Левъ Саввичъ держалъ у себя пансіонеровъ. Онъ вздумалъ-было и теперь заняться тѣмъ же. Но разрѣшенія на это ему, какъ опальному, не дали. Друзья совѣтовали ему обратиться съ просьбой о пособіи къ богатымъ помѣщикамъ и къ купцамъ, которыхъ онъ когда-то обучалъ и которые сами теперь имѣли на возрастѣ дѣтей. Но перо падало изъ рукъ Льва Саввича. «Для чего?—думалъ онъ;—не всегда же Антонушка будетъ за тридевять земель!—въ люди выйдетъ, станетъ и мнѣ помогать!»

Лишившись мѣста въ гимназіи, Левъ Саввичъ сталъ такъ рѣдко писать сыну, что Антонъ Львовичъ почти ничего не зналъ какъ о подробностяхъ домашней жизни, такъ и вообще о дѣлахъ отца. Зато письма, писанныя сыну до этого событія, дышали такимъ избыткомъ любви къ человѣчеству, къ борьбѣ съ темными сторонами жизни, съ грубой жадной любостыжаніемъ и вообще съ наклонностями къ обиденнымъ сдѣлкамъ съ совѣстью, что сынъ, еще юношей, получая эти письма, долго носилъ ихъ при себѣ какъ святыню, чувствовалъ себя съ ними добрѣе, гордо выпрямлялся передъ натисками разныхъ неправдъ и, терпя нужду, среди чужихъ и вдали отъ родного угла, упорно и безъ усталости трудился. «Будь не Мареоу, искавшему счастья въ жалкой и суетной хлопотливости о домѣ, о теплѣ и о кускѣ хлѣба, — писалъ старикъ:—будь любящей Маріей, плакавшей у ногъ гонимаго Учителя вѣчной правды и добра!»

Года черезъ два послѣ ссылки сына, Левъ Саввичъ вскользь извѣстилъ послѣдняго, что имъ выпадаетъ отъ какой-то дальней родственницы небольшое наслѣдство и что для того онъ намѣренъ куда-то съѣздить и что-то получить. Но съѣздилъ ли отецъ и оставилъ ли за собой полученное достояніе, или продалъ его, и куда употребилъ вырученные деньги, сынъ этого не зналъ. Да и не до того ему было тогда...

Очутившись на жительствѣ въ холодной и непроглядной глуши, Антонъ Львовичъ, еще неопытный и восторженный юноша, занялся-было для своего пропитанія переписываніемъ бумагъ въ канцеляріи какого-то присутствія и обу-

ченіемъ дѣтей у туземныхъ чиновниковъ и купцовъ. Составлялъ онъ также торговыя и промышленныя обозрѣнія для мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей. Но редактора этой газеты перемѣнили, а вслѣдствіе непомерно-дешевой платы за учительство и за переписку бумагъ, онъ эти занятія бросилъ и поступилъ въ контору на чьи-то пріиски. Здѣсь сразу онъ попалъ въ такую жестокую передѣлку, что, находясь съ ввѣренной ему артелью на работахъ, въ тайгѣ, чуть не умеръ отъ сырости, холода и голода. Потомъ онъ былъ на чьемъ-то стеклянномъ, а спустя нѣкоторое время—на чугунно-литейномъ заводѣ. Но хозяинъ перваго вскорѣ разорился, а владѣлецъ второго, принявшій Ветлугина въ долю и сулившій ему горы барышей, такъ въ концѣ-концовъ его поднадулъ, что Антонъ Львовичъ, рассчитавшись съ нимъ, остался не только безъ барышей, но и безъ копейки денегъ.

Въ эти-то дни невзгодъ и тяжелаго труда, мысленно переносясь на родину, онъ благословлялъ судьбу, что отецъ не терпитъ такихъ лишеній, какъ онъ; что у отца есть хотя весьма скромный, но собственный уголъ, и что обстановка этого угла, съ наслѣдствомъ отъ родственницы, должна была улучшиться. Теперь, думалъ онъ, родителю, завязтому идеалисту и романтику, хотя подъ старость, выпала возможность кое-чѣмъ желаннымъ пополнить свой домашній обиходъ. Напримѣръ, Левъ Саввичъ, какъ предполагалъ сынъ, могъ расширить свою бібліотеку, выписывать на собственный счетъ какой-либо любимый журналъ, а быть-можетъ, черезъ покупку прирѣзать и часть сосѣдняго, чье-то заброшеннаго сада, съ большущими, какъ помнилъ Антонъ Львовичъ, кленами и съ такою развѣсистую рощей сиреней и акацій, что отъ ихъ дружнаго цвѣтенія весной въ кабинетѣ Льва Саввича пахло, какъ въ роскошномъ будуарѣ первѣйшей свѣтской красавицы. Наконецъ, черезъ это же наслѣдство, родитель могъ увеличить и подборъ любимыхъ куръ, кроликовъ и павлиновъ. А тамъ, улучшатся собственныя дѣла Антона Львовича, онъ рассчитывалъ и окончательно обезпечить судьбу отца.

Ветлугинъ надѣялся, что отецъ ему подробно сообщить о томъ, какъ онъ распорядился съ наслѣдствомъ. Не тутъ-то было. Отецъ либо молчалъ, либо изрѣдка присылалъ коротенькія записки, съ тѣми же совѣтами терпѣть, не падать

духомъ и трудиться. Срокъ ссылки подходилъ къ концу. Антону Львовичу разрѣшили избрать мѣсто жительства, гдѣ онъ пожелаетъ. Благодаря молвѣ о его занятіяхъ на заводахъ, онъ попалъ въ кружокъ бойкихъ сибиряковъ, на московскій кредитъ пробывавшихъ пути къ торговлѣ съ Средней Азіей. Антонъ Львовичъ писалъ отцу, что онъ уже два раза ѣздилъ съ караваномъ въ Бухару и что съ новыми хозяевами, въ близкомъ будущемъ, думаетъ, если все устроится хорошо, открыть товарные склады по Сырь-Дарьѣ. Получая столь радостныя вѣсти отъ сына, Левъ Саввичъ окончательно успокоился и сталъ еще рѣже ему писать.

Такъ тянулось время разлуки, — когда въ маѣ 1868 года, неожиданно узнавъ, что сынъ по дѣламъ хозяевъ очутился невдале отъ Урала, Ветлугинъ написалъ сыну, что дни стариковъ вообще сочтены, что онъ скучаетъ и былъ бы радъ отъ души, если бы тотъ его навѣстилъ, особенно въ виду нѣкоторыхъ нужныхъ и притомъ безотлагательныхъ дѣлъ.

Антонъ Львовичъ и безъ всякихъ дѣлъ давно выжидалъ случая побывать у отца. А потому снесся депешей съ хозяевами, получилъ отъ нихъ охотнѣе разрѣшеніе на побывку домой, немедленно пустился въ путь и, не помня себя отъ радости, подѣхалъ, наконецъ, къ родному городу, высматривая знакомую глухую улицу, кровлю отцовскаго дома, садъ съ яблонями и грушей, голубей и павлиновъ, а у ворота, на лавочкѣ, въ картузѣ и въ халатѣ, старика отца.

IV.

Старое гнѣздо.

Ожиданія Антона Львовича не сбылись.

Лавочка была пуста; а на пыльной, шумной и уже значительно застроенной улицѣ не было видно травы. Многое измѣнилось кругомъ. Дырявые деревянные тротуары уступили мѣсто кирпичнымъ и даже каменнымъ. Ветхая полицейская будка исчезла, а вмѣсто добродушнаго подрывывателя куриныхъ типунѣвъ, престарѣлаго и безногаго будочника, на перекресткѣ, съ свисткомъ на шнуркѣ, прохаживался бойкій, поворотливый и строгій на видъ городовоі. Преобразование чувствовалось во всемъ: въ надписяхъ на углахъ улицъ, въ нумераціи домовъ, въ увеличеніи магазиновъ и питейныхъ, и въ уменьшеніи навозныхъ кучъ,

собакъ и галокъ. Даже, какъ показалось Антону Львовичу, одна изъ собакъ гдѣ-то пронимыгнула въ намордникѣ.

Ветлугинъ всталъ съ перекладной. Онъ отворилъ калитку, оглядѣлся по сторонамъ, прошелъ дворъ, заглянулъ въ садъ и быстро, какъ въ оны дни, по ветхому крыльцу воѣхалъ въ домъ: никого не было видно.

«Куда же дѣлся такъ рано отецъ? Неужели успѣлъ встать и ужъ копается въ огородѣ? Или отецъ на вышѣхъ, въ библиотекѣ? Оттуда съ крылечка виденъ огородъ».

Войдя въ родительскій кабинетъ, Ветлугинъ удивился еще болѣе: передъ кресломъ, на рабочемъ столѣ, вмѣсто старыхъ, любимыхъ отцомъ поэтовъ, критиковъ и философовъ, лежало недавно изданное иностранное ученое руководство къ торговымъ и промышленнымъ предпріятіямъ, рядомъ съ вексельнымъ уставомъ и справочникомъ для тяжущихся. И тутъ же, возлѣ сочиненія: «Задѣльная плата и кооперативныя ассоціаціи» — красовалась кучка книгъ отечественной компіляціи, съ рисунками, вычисленіями и трактатами, разомъ по части всего: домоводства, счетоводства, овцеводства, куроводства, плотничьихъ дѣлъ, тайнъ биржевой игры, высшей коммерціи и эксплуатаціи. У одной изъ стѣнъ кабинета тянулся шкафъ съ картонами, въ какихъ обыкновенно хранятся дѣла. За перегородкой помѣщалась высокая письменная конторка, нѣсколько этажерокъ съ бумагами и неогораемый денежный сундукъ.

Антонъ Львовичъ подумалъ: «Понимаю! Отецъ отдалъ домъ въ наймы адвокату, нотаріусу, или подѣ какую-нибудь торговую контору».

Онъ мелькомъ взглянулъ на простѣнки между окнами и увидѣлъ здѣсь, рядомъ съ знакомыми, пожелтѣлыми портретами Новикова, Пушкина и Гоголя, очевидно вырѣзанные изъ модныхъ иллюстрацій, портреты Ротшильда, Стефенсона и Оффенбаха, и одной отечественной знаменитости, успѣвшей, незадолго передъ тѣмъ, не только прогремѣть геніемъ высшихъ коммерческихъ предпріятій, но даже — посредствомъ огромнаго проворства — нажить миллионы.

Ветлугинъ по знакомой скрипучей лѣсенкѣ поднялся на мезонинъ и, съ сильно забившимся сердцемъ, вышелъ на крылечко, откуда былъ видъ на зарѣчную часть города и на окрестныя, синѣющія поля. Шкапы съ отцовскими книгами вдоль стѣнъ; его дѣтскій, обрызганный чернилами,

письменный столикъ; пузатый березовый комодъ, стулья и кровать, а надъ кроватью картинка, изображавшая бѣгство Ломоносова изъ Холмогоръ и прибытіе Колумба въ Америку,—все оказывалось на мѣстѣ. Но отца не было и здѣсь.

Антонъ Львовичъ снова спустился внизъ. Его удивило полное отсутствіе во дворѣ какъ пернатыхъ, такъ и четвероногихъ. Одинъ состарѣвшійся пестъ Дружокъ, безъ малѣйшихъ признаковъ былого добродунія и рѣзвости, со сбившейся колтунами ветхой шерстью, метался на привязи и безсильно и злобно ревелъ изъ своей дыры на выглядывавшаго съ улицы ямщика. Ветлугинъ подумалъ: — «отецъ въ саду», и только-что сдѣлавъ нѣсколько шаговъ съ крыльца, какъ за угломъ дома столкнулся съ толстою, сѣдою, рослою и румяною старухой, въ платкѣ на затылкѣ и съ лоханкой какой-то стряпни, спѣшившею изъ палисадника въ кухню.

— Власьевна! няня!—вскрикнулъ Антонъ Львовичъ.

Старуха, опустивъ лоханку на-земь, растерянно и испуганно уставилась въ него глазами.

— Да кто же это? Постой-ка, постой?.. Антошенька! со-воль ты мой!.. Ахъ! да какой же ты сталъ большой!—вскрикнула Власьевна.

Они обнялись.

— А я, няня, представъ — принялъ тебя за городскую торговку.

— Какая я торговка! выдумалъ! — съ гордостью усмѣхнулась старуха.

— Да, именно,—не сглазить бы; ты раздобыла и франтоватая такая стала.

— Что же, не вѣкъ стряпухой быть.

— А гдѣ же папенька? я его все ищу...

— Видно, на биржѣ.

— На какой?

— Извѣстно, на какой, — одна и есть, гдѣ собираются купцы.

— Гулять, что ли, пошелъ?

— Гулять! У тебя, пострѣлъ, все гулять. Все еще вѣтеръ въ головѣ. Дѣло, стало, есть, коли пошелъ, а не гулять... Не добро за людьми,—люди за добромъ.

«Что за чепуха!—подумалъ Ветлугинъ,—отецъ на биржу ходить... И что онъ тамъ смыслить?»

— А это кто?—спросил онъ, указывая на бѣлобрысаго малаго, съ объемистой портфелью подъ мышкой, уходившаго въ калитку.

— Нашъ разсылный.

— Куда же его посылають?

— Мало ли куда. Точно у твоего отца дѣлѣ нѣту!

— У папеньки-то? Да ты, няня, шутишь, что ли? Или тутъ и впрямь живетъ кто-нибудь другой?..

— Не другой, а онъ самъ.

— Но какія же у отца дѣла, скажи ты мнѣ?

— Какія дѣла! Всякія... Тому купи, другому продай. Рядчики тоже къ намъ ходятъ... Да и мало ли другого чего? Что даромъ-то такъ сидѣть? Даромъ никто не накормить. Подъ лежащій камень и вода не течетъ. А голодный, сказываютъ, и у архимандрита украдетъ...

«Вотъ тебѣ и тихая пристань романтика! вотъ тебѣ и мирный пенсіонеръ на покой!—подумалъ Ветлугинъ.—Отецъ торговлей занимается, съ рядчиками водится, разсылныхъ держитъ! Что за чудеса...»

Онъ глянулъ сбоку на крыльцо и тутъ только увидѣлъ на его, нѣсколько покосившемся, фронтонѣ большую новую вывѣску съ надписью: «Агентство и коммиссіонерство по торговымъ и промышленнымъ предпріятіямъ».

Подъ невыразимый ревъ неузнававшего его Дружка, Антонъ Львовичъ прошелъ въ калитку, отпустилъ ямщика, попросилъ у Власьевны воды, умылся, возвратился въ домъ, не безъ удивленія еще разъ окинулъ взглядомъ преобразованный родной уголъ, увидѣлъ нѣкую долгонолую чуйку, которая отъ кухни косо посматривала на окно, у котораго онъ стоялъ и, когда нянька, со словами: «ну, теперь скоро явится!» ушла готовить чай, еще разъ прошелся по комнатамъ и вслухъ произнесъ: «поклонникъ эстетики съ чуйками водится! Почитатель Шиллера и Байрона затѣялъ агентство для торговыхъ спекуляцій!»

На улицѣ раздался стукъ извозчичьихъ дрожекъ. Въ калиткѣ показался Левъ Саввичъ.

Но онъ ли это былъ? Сынъ не вѣрилъ своимъ глазамъ.

Вмѣсто бодрого, прямого и свѣжаго человѣка, какимъ Антонъ Львовичъ оставилъ отца двѣнадцать лѣтъ назадъ, у воротъ стоялъ нахмуренный, сторбленный и худой, хотя довольно еще подвижной старикъ. Годы, очевидно, взяли

свое: волосы его были сѣды; лопатки худыхъ плечъ значительно выдвигались надъ спиной.

Не подозрѣвая прїѣзда сына, Левъ Саввичъ выслушалъ человека въ чуйкѣ, склонилъ голову, развелъ руками, въ родѣ того, что «дескать, что же дѣлать! — снялъ шляпу, отеръ платкомъ вспотѣвшую лысину и въ раздумѣ направился къ крыльцу. Онъ прошелъ въ кабинетъ, порылся на столѣ въ бумагахъ, загремѣлъ ключами, со вздохомъ нагнулся къ стоящему за перегородкой сундуку, слышалъ сзади шорохъ сдержанныхъ, незнакомыхъ шаговъ, обернулся и остоленѣлъ.

— Ахъ, ахъ!.. Кто это?.. кто?.. Да неужели Антоша! Другъ ты мой!..

Отецъ и сынъ кинулись въ объятія другъ друга.

— Да какъ же ты выросъ, возмужалъ, похорошѣлъ! а голосъ, а борода! нѣтъ, ты вышелъ еще лучше, чѣмъ я ожидалъ... Садись же, милый странникъ, рассказывай. Дай тебя послушать и на тебя посмотреть!..

Послѣ первыхъ взаимныхъ привѣтствій, новыхъ объятій и разспросовъ, Левъ Саввичъ объявилъ сыну, что отдастъ ему ту же вышку, гдѣ тотъ помѣщался съ дѣтства, и спросилъ, надолго ли онъ къ нему прїѣхалъ.

— Дней на пять, на шесть, а то и на недѣлю... Хозяева, какъ видите, не отказали.

Левъ Саввичъ покачалъ головой.

— Что ты, что ты, вѣтеръ-голова, помилуй! Столько лѣтъ не видались, а думаешь отдѣлаться недѣлей. Нѣтъ, другъ сердечный, у отца надо погостить долѣе. Сегодня же телеграфируй хозяевамъ. Отдохнешь. Посовѣтуемся. Тутъ я затѣялъ одно выгодное дѣло. Ты вѣдь практикъ... А? а? вѣдь практикъ? Ну, взглянешь, посудимъ... Ахъ, какъ же я радъ, какъ радъ. Впрочемъ, о дѣлѣ постѣ... Еще успѣемъ... Ты погостишь у меня, погостишь?

— Что же, — отвѣтилъ сынъ: — можетъ-быть, и долѣе побуду у васъ — хозяева добрые.

Левъ Саввичъ взявъ сына подъ руку и пошелъ съ нимъ по комнатамъ.

— Узнаешь? узнаешь старый улей? — спрашивалъ онъ: — вылетѣлъ ты изъ него на собственный трудъ, вольная, рабочая пчелка... Вотъ моя спальня, а это дѣловая конура, а вотъ и наши старыя любимыя книги...

— Дорогіе знакомцы; — съ огряднымъ вздохомъ сказалъ сынъ: — Жуковский, Пушкинъ, Куперъ, Вальтеръ-Скотъ... Такъ! они на прежнемъ мѣстѣ. А я ужъ было думать, что вы отдали домъ въ наймы другому...

— Это почему? И не воображать... А каково застроилась наша улица? Видѣлъ? Три магазина теперь у насъ подъ бокомъ; аптека въ ста шагахъ; французъ портной, нѣмецъ булочникъ, а на перекресткѣ отличный трактиръ, съ органомъ и съ газетами. Дума затѣваетъ газъ, водопроводы, — о желѣзной дорогѣ городъ съ земствомъ толкуеть...

— Ну, какъ же я радъ! какъ радъ! — продолжалъ старикъ: — а теперь пойдемъ подъ нашу старую грушу... Помнишь ее? Тамъ напьемся чаю и еще поговоримъ... Впрочемъ, что же это я? ахъ-ахъ! совсѣмъ я забылъ: человекъ меня ждетъ... Надо съ нимъ въ одно мѣсто съѣздить. Нынче праздникъ; завтра будетъ некогда... Что, милый, оторопѣлъ?.. Удивляешься?.. Не удивляйся. Не тѣ нынче времена настали: иная злоба долѣтъ дню. Люди, другъ сердечный, видно, поумнѣли. А прежде, по правдѣ сказать, мы-таки всѣ — и въ томъ числѣ, разумѣется, я первый — были порядочной размазней и трухой.

— Вы ли это, папенька, говорите? и какія же это настали особыя времена? — недовольнымъ голосомъ замѣтилъ сынъ.

Старикъ какъ будто не разслышалъ этихъ словъ. Онъ молча вышелъ на крыльцо, надѣлъ шляпу, взялъ сына за руку, улыбнулся и сказалъ:

— Эхъ-эхъ, Антонушка, долго объяснять и надо мнѣ ѣхать. Но, такъ ужъ и быть, изволь: я тебѣ кое-что передамъ вкратцѣ...

Нѣсколько померкшіе, добрые и ласковые глаза старика задумчиво и строго устремились куда-то вдаль. Брови насупились. Онъ какъ будто что-то видѣлъ, на что-то въ нерѣшимости хотѣлъ указать. Краска выступила на его умномъ, старчески-красивомъ лицѣ.

— Польза, вотъ знаменіе нашего времени! — началъ онъ, слегка пожимая руку сына: — польза себѣ и другимъ... Что смотришь? Удивляешься?.. Человекъ нынче позитивистомъ сталъ и въ значительное число старыхъ идеаловъ утерять вѣру. Прежде говорили: будь отшельникъ; теперь же говорить: хлопочи о достаткѣ, о всемогущей деньгѣ... Тяжело

сознаться, но не малая доля правды на сторонѣ упорныхъ въ наживѣ, бойкихъ и смѣлыхъ дѣльцовъ. Они, дѣйствительно, могущество, хотя зачастую это могущество — безъ души... Разбогатѣть ты, тогда ты и силенъ, и уменъ, и правъ во всемъ. Богатство, другъ ты мой, это — не кража и не преступленіе; это, милый мой, сила, двигающая горами... И глуны были всѣ мы, простофили и колпаки, погубившіе столько десятковъ лѣтъ на игру въ невинныя гулюшки, въ поэзію и въ дорогихъ когда-то мечтателей... Что и говорить: искусство—вещь хорошая, святая. Но ты, чай, знакомишь съ новѣйшими учителями міра? Они говорятъ, что замерзающій бѣднякъ изъ образовъ Гомера ни дровъ, ни теплаго угла себѣ не добудетъ; а слава безсребренника-философа не прокормитъ голодающей на мякинѣ и сосновой корѣ не только деревушки, а даже и одной убогой семьи... Вотъ истины! вотъ горькая правда...

— Что вы, папенька, что вы! Да вѣдь эти вещи несомѣстимыя. Кто же и двигать общество къ развитію, къ нравственному и къ вещественному богатству, какъ не наука и не искусство? А съ другой стороны, кто же, какъ не себялюбивые искатели и наживатели огромныхъ богатствъ усилили людской пролетаріатъ, а съ нимъ и всѣ бѣдствія міра?

— Ну, хорошо, хорошо!.. — снисходительно улынулся старикъ:—это—предметъ спорный. Пока до свиданія; пей чай одинъ, да распорядись съ обѣдомъ. Я же буду черезъ часъ, черезъ два; тогда и поговоримъ подробнѣе обо всемъ...

Левъ Саввичъ обнялъ сына, еще разъ ласково поглядѣлъ на него, простился, сѣлъ на извозчика и уѣхалъ.

Антонъ Львовичъ бросился отыскивать Власьеvну.

— Нѣтъ, няня, теперь я отъ тебя не отстану: разскажи-вай, что случилось съ отцомъ?

— Ничего не случилось,—какой былъ, такой и есть,—отвѣтила Власьеvна, возясь у кухонной печи.

— Полно шутить. Я его совсѣмъ не узнаю...

— Да я не шучу. Одумался онъ только, да и все тутъ.

— Но давно ли онъ такъ одумался?

— Постой, дай вспомнить. Лѣтъ шесть, али семь все хлопоталъ о дѣлахъ. А какъ съѣздилъ это за вашимъ наслѣдіемъ, да сбылъ эту вашу землю, такъ куда тебѣ и старость дѣвалась... Я и матери твоей служила, и тебя послѣ нея

досмотрѣла, и его на старости кажется бы не бросила... Ну, а теперь, можетъ-быть, и брошу...

— Что ты, развѣ отецъ тебя обижаетъ?

— Какъ тебѣ сказать? не все у насъ ладно...

— Да что же именно? говори, говори...

— Нешто самъ не примѣтилъ? все какъ есть перевелъ: и птицу, и огородъ... Ну, да самъ увидишь, и ужъ лучше ты не томи меня этими разспросами, иди: вонъ кофій перегорѣлъ, да и самъ-отъ онъ какъ бы еще не наѣхалъ, да не увидѣлъ бы, что мы тутъ шепчемся съ тобой...

Ветлугинъ побродилъ по двору и опять поднялся на вышку. Только здѣсь все было по старинѣ. — Онъ вынесъ на крылечко стулъ, присѣлъ, любясь на синѣющую даль, гдѣ почти видной дорогѣ шли путники и тянулись обозы, всю грудью вздохнулъ и самъ себѣ сказалъ: «Какъ здѣсь привольно и отрадно... Какія мирныя картины, просторъ и тишина... И какъ бы, кажется, здѣсь уютно и сладко жилось... Нѣтъ: отцу не живется—контору завелъ, хотя въ эту контору, гдѣ и касса стоитъ, всякъ можетъ войти, не встрѣтивъ даже и сторожа...»

Онъ бросилъ взглядъ и въ сосѣдніе огороды и сады. Чирканье птицъ оглашало зеленныя, полныя весенняго запаха, затишья. Солнце начало припекать. Антонъ Львовичъ оставилъ крыльцо. Онъ перебрался въ комнату, окнами во дворъ; взялъ съ полки шкапа пожелтѣлый томъ Веверлея, развернулъ его растрепанныя, слежавшіяся страницы, сѣлъ въ кресло и сталъ читать.

Читалъ онъ долго, останавливаясь въ раздумьѣ и медленно пробѣгая дорогія по воспоминаніямъ мѣста книги.

Бѣлая спущенная занавѣска въ полураскрытомъ окнѣ вышки заколыхалась. Съ откоса крыши въ комнату просунулась голова сѣрой кошечки, съ воробьемъ въ зубахъ. Ветлугинъ сидѣлъ такъ тихо, а молодой и глупый воробей, придержанный за крылья въ осторожныхъ зубахъ кошки, дышалъ такъ спокойно, что его похитительница скользнула на подоконникъ, мягкими лапками спрыгнула на полъ и знакомою дорожкой, не спѣша и сладко мурлыча, прошла мимо Ветлугина къ лѣстницѣ на чердакъ.

Антонъ Львовичъ вспомнилъ, какъ здѣсь же на вышкѣ онъ сидѣлъ, бывало, гимназистомъ, въ такой же тишинѣ и также беззаботно читалъ, развернувъ на колѣняхъ «Кла-

рису Гарло», «Путеводителя въ пустынь», или жизнь Ломоносова. И казалось ему тогда, что на полкахъ передъ нимъ не корешки перечитанныхъ и почти выученныхъ наизусть книжекъ, а дверцы и окна въ какой-то невѣдомый, волшебный и особый міръ...

И спускались къ нему, въ тѣ дорогіе дни, по лѣсенкамъ, изъ этихъ дверецъ и оконъ, въ разноцвѣтныхъ кафтанахъ, при шпагахъ и въ парикахъ, Ловеласы и Грандиссоны, въ черныхъ рясахъ иезуиты, въ мушкахъ и въ пудрѣ статныя и гордыя красавицы, въ пернатыхъ шлемахъ крестоносцы и въ лаптяхъ, съ котомкой за плечами, будущій рыбакъ-академикъ. И ждетъ онъ, бывало, что вотъ-вотъ одна изъ этихъ красавицъ возьметъ его за руку и скажетъ: «Пойдемъ со мною, другъ мой, по этой лѣсенкѣ, туда, въ сказочный міръ рыцарей и любви... Тамъ я отдамъ тебѣ мое сердце и буду твоею навѣки».

Теперь ему слышались изъ этихъ дверецъ и оконъ другія слова: «Не поѣду я туда, не поѣду... Истины я добиваюсь, истину хочу знать... А что истина?.. Все да презрять, все да отринуть... читай житіе!»

V.

НОВЫЯ ПТИЦЫ — НОВЫЯ ПѢСНИ.

Лѣстница заскрипѣла. На порогѣ раздался знакомый голосъ:

— Что, странникъ, замечтался? А вотъ я ужъ и обратно. Пойдемъ обѣдать. Все готово...

Отецъ съ сыномъ сошли внизъ. На столѣ уже дымились чаша съ супомъ. Прислуживать разсылный.

— Ну, какъ же твои дѣла? — спросилъ, утоливъ первый голодь, отецъ: — что думаешь далѣе предпринять?

— Какъ вамъ объяснить? Я пока, по примѣру Жерома Патюрё, все еще отыскиваю лучшее изъ общественныхъ положеній! Нѣтъ еще во мнѣ настоящаго дѣла. Занялся торговлей, но до сихъ поръ не выучился сберегать нажитого. А безъ этого, говорить, нельзя...

— А сколько получаешь жалованья отъ хозяевъ?

Сынъ объяснилъ. Левъ Саввичъ посвисталъ.

— Маловато, дружокъ, маловато. Вотъ и разница — между работою на жалованьи и въ качествѣ товарища.

— Но мнѣ не грозятъ случайности, — отвѣтилъ сынъ: — меньше риску, за то болѣе вѣрнаго.

— Меньше риску? И ты, ходившій съ караванами по Азіи, противъ этого волшебнаго слова?

Отецъ покачалъ головой.

— Рискомъ, — продолжалъ онъ, — великая Америка заселилась и стала государствомъ...

— Великая? — спросилъ Антонъ Львовичъ: — вотъ вы ее какъ теперь! Прежде вы не такъ честили эту страну, у которой нѣтъ своихъ первостепенныхъ поэтовъ и музыкантовъ.

— Она намъ примѣръ во многомъ, начиная съ бойкаго неугомоннаго колонизаторскаго труда... Вотъ, поговори о ней съ моимъ компаньономъ.

— Съ какимъ?

— Какъ, съ какимъ? Да, впрочемъ, хорошъ я! — спохватился отецъ: — я и забылъ тебѣ написать, что когда участокъ нашей покойной родственницы я продалъ и деньги рѣшился пустить въ оборотъ, то нашелъ себѣ и товарища...

— Напрасно: какъ бы съ этихъ денегъ, на склонѣ вашихъ дней, жить процентами.

— Ну ужъ, нѣтъ, извини: всякому тоже и приобрести что-нибудь хочется, увеличить достатокъ, особенно, коли еще есть силы...

Сказавъ это, Левъ Саввичъ слегка смѣшался и даже покраснѣлъ. Смѣшался и Антонъ Львовичъ. Обоимъ стало совѣстно другъ друга. Сынъ подумалъ: «значить, отецъ на меня не надѣется». Отецъ подумалъ: «этакъ, однако, сынъ еще приметъ меня за кулака».

— Скажите, папенька, — началъ Антонъ Львовичъ: — развѣ вамъ мало того, что у васъ есть и что прибавилось съ этимъ наслѣдствомъ? Я самъ дѣловой человѣкъ, самъ живу личнымъ трудомъ и не противъ честной наживы. Но всему есть время и мѣра. И меня, вонъ, судьба изъ-за хорошаго заработка бросаетъ чуть не къ границамъ Китая. Но мои годы и силы... и ваши, — кажется, разница немалая...

— Э, полно. Другіе же на склонѣ дней, такъ ты говоришь, наживаютъ, да еще какъ! Люди, посмотришь, дюжинные, такъ себѣ, не стоящіе, казалось бы, и вниманія, а глядишь, десятками, сотнями тысячъ вскорѣ ворочаютъ. Силачи міра, богатыри становятся. И все передъ ними усту-

пасть дорогу. Отчего же и мнѣ не рискнуть, а особенно при помощи того же, какъ ты упомянулъ, честнаго труда? Или ты скажешь: фантазёръ-отецъ, старый романтикъ или, какъ еще тамъ у васъ привыкли называть нашего брата — человѣка сороковыхъ годовъ...

— Помилуйте, папенька... Да вѣдь съ рисковыми оборотами связаны потери, а нерѣдко и полное разореніе. Зачѣмъ же вамъ, на старости, подвергаться лишеніямъ? Вы хотите играть въ карты, никогда въ нихъ не заглядывавши. У васъ есть сынъ... Я всегда думалъ: лично мнѣ не нужно многого... Заботы же о васъ меня не покидали никогда...

— Оно такъ, Антоша, и спасибо тебѣ за все. Только ты мнѣ этого не пой, хоть такъ пѣло и поетъ отцамъ всякое молодое, нарастающее поколѣніе. Я, другъ ты мой, пришёлъ вотъ къ какому ученію... И ты на это не обижайся... Хороши ли, нѣтъ ли птенцы, но родителямъ не слѣдъ на нихъ надѣяться. Есть у тебя состояніе, пока живъ, не раздѣляй его дѣтямъ, а вырасти ихъ, воспитай по чести, и пусть идутъ работать. Нѣтъ состоянія, самъ наживи и на птенцовъ не надѣйся. Да чтобъ дуло-то на старость у тебя было устроено поуютнѣе и всѣмъ полно, какъ слѣдуетъ; чтобы вѣтеръ на него не дулъ и ничья бы шальная рука его не разорила. Стукнулъ срокъ, запирайся туда, беззубая бѣлка, и лежи въ теплѣ, на постелькѣ изъ листьевъ и мховъ, до самаго твоего послѣдняго жизненнаго вздоха. Ты самъ по себѣ, и дѣти сами по себѣ. Такъ я рѣшилъ поступить; такъ совѣтую и тебѣ, Антонушка, сдѣлать, коли будетъ у тебя когда-нибудь потомство...

Сказавъ это, Левъ Саввичъ, съ торжествующею улыбкой, даже отодвинулся со стуломъ, точно желая получить разсмотрѣть, какое впечатлѣніе произвела эта рѣчь на сына.

— Ушамъ своимъ, папенька, не вѣрю. Да развѣ одно богатство вело когда-нибудь къ путному?... Опять же вы упомянули о дѣтяхъ. Согласенъ съ вами, не о богатствѣ для нихъ надо думать. Но вѣдь дѣти же наследуютъ имѣніе отцовъ. А взгляните, что вышло и что выходитъ изъ сынковъ нашихъ богачей? Развратники безъ воли и удержу, и больше ничего. Себялюбивые тупицы, словомъ, вреднѣйшій народъ. Да что! Какъ наследственное, такъ и благопріобрѣтенное богатство портитъ даже и хорошихъ людей... И я полагаю, что вы нарочно, ради шутки, прибираете такіа

слова о достаткѣ... И что вамъ, говоря по совѣсти, нужно? Вы прежде любили садъ, держали птицъ и огородъ. Матушкинъ домикъ выкупили изъ долговъ, поправили его и отдавали. Жили пенсіономъ и всѣмъ, кажется, были довольны... А теперь?.. вѣдь это скупость въ васъ, извините, говорить, зависть...

Въ глазахъ отца сверкнули горечь и обида.

— Ты упомянулъ о пенсіонѣ, — сказалъ онъ, понизивъ голосъ: — да знаешь ли, что я вонъ этому разсылному больше жалованья плачу, чѣмъ получаю пенсіона; а онъ еще у меня на готовой пицѣ и не обучалъ житейской мудрости столько юныхъ головъ, какъ твой покорнѣйшій слуга...

Сынъ помолчалъ. Разговорились о прошломъ.

— Что это у васъ тамъ въ узелѣ? песокъ изъ-подъ колеса великаго критика?

Отецъ нагнулся къ тарелкѣ.

— Не песокъ, а образцы съ хлѣбомъ Петра Иваныча, — отвѣтилъ онъ, слегка покраснѣвъ.

— Какого Петра Иваныча?

— Ключкова... Это мой компаньонъ. Вотъ человекъ... Мозги, братецъ мой, чисто организаторскіе. Создать что-либо, вдунуть во что душу живу, — его дѣло. Ты его долженъ знать. Онъ здѣшній помѣщикъ и тоже изъ университета, гдѣ ты учился, — чуть ли даже съ тобой не однокурсникъ.

Что-то далекое, смутное, давно забытое отозвалось въ мысляхъ Антона Львовича. «Неужели? — подумалъ онъ: — нѣтъ, не можетъ быть... тотъ былъ сынъ служащаго, председателя военно-судной комиссіи»...

— Сынъ здѣшняго помѣщика, Ключковы такого, кажется, не было, — сказалъ Антонъ Львовичъ.

— Былъ, былъ... Теперь и я вспомнилъ... Онъ именно твой соученикъ, и только не кончилъ университета; что-то съ третьяго или даже чуть не со второго курса вышелъ. Унесла его иная, болѣе черствая, но зато и болѣе близкая человѣчеству практика жизни. Если хочешь, оно и правда: и не всѣмъ же быть и учеными... Ну, словомъ, онъ — дѣловый человекъ. И ему-то, надо признаться, я и обязанъ тѣмъ, что попалъ на настоящій путь. И какъ это все живо у насъ дѣлается, ты себѣ представить не можешь, — какъ по маслу... Вчера положилъ въ предпріятіе рубль, завтра берешь изъ него два, а не то и три...

— Ключковъ, здѣшняго помѣщика сынъ! — повторялъ въ раздумьѣ Антонъ Львовичъ: — право, такого, кажется, не было... Притомъ, я держался своего особаго кружка...

— Ну-да, ну-да! — снисходительно согласился Левъ Саввичъ: — ты въ университетѣ жилъ одной наукой, трудился надъ книгами. А Ключковъ былъ не изъ особенно-усердныхъ посѣтителей лекцій. Онъ и тогда ужъ, бѣдовая голова, чуть ли торговлей не пробавлялся, хоть и генеральскій сынъ...

— Генеральскій сынъ? — вскрикнулъ и чуть со стула не вскочилъ Антонъ Львовичъ, соображая, что по всѣмъ даннымъ онъ именно этого Ключкова нѣкогда спустилъ съ лѣстницы.

— Что же ты удивляешься? — спросилъ Левъ Саввичъ: — а хоть бы и генеральскій сынъ... Отецъ его умеръ, онъ увидалъ, какъ залуплены дѣла, возвратился на родину и принялся за черную работу.

— Говорите, говорите, — перебилъ сынъ: — это очень любопытно...

— Да что же говорить? Ключковъ здѣсь, прямо надо сказать, душа всякаго дѣльнаго начинанія. Онъ — общій совѣтникъ, пособникъ и опекунъ. Кто у насъ устроилъ общество взаимнаго кредита? Онъ... Кто содѣйствовалъ къ открытію общества потребителей, товарныхъ складовъ, ссудосберегательныхъ кассъ приказчиковъ и чиновниковъ? Онъ же... Кому торговый и городской банки обязаны послѣдними перемѣнами директоровъ?.. Все онъ и онъ. Въ деревнѣ у себя Ключковъ почти сѣрый землепашецъ, здѣсь же, въ городѣ, ораторъ, публицистъ, и банкиръ-банкиромъ смотритъ: отлично обставленъ, отлично живетъ. Его городская квартира невдалекѣ отъ нашего дома. И представь, повторяю, онъ съ хорошими средствами, но въ разъѣздахъ по дѣламъ, въ губерніи, какъ истый пионеръ, спитъ зачастую на голой доскѣ, ѣстъ, что судьба пошлетъ, день на ногахъ, ночь на почтовыхъ... Людей, говорятъ, нѣтъ... Вотъ, братецъ, люди; вотъ носители нашихъ будущихъ судебъ.

Слушая отца, Антонъ Львовичъ искоса на него поглядывалъ и мыслилъ: «Такъ, такъ, тотъ самый Ключковъ. Изъ кутилы и уличнаго шаркуна наживателемъ денегъ сдѣлался. Что же, мудренаго нѣтъ ничего. Мотовство и кулачество сродни другъ другу. Но какъ съ нимъ сблизился отецъ? Тутъ про-

изошло что-нибудь особенное. Или Ключковъ дѣйствительно сталъ замѣчательнымъ въ своемъ родѣ челоѣкомъ, или онъ ловко надуваеъ отца. Кажется, придется у хозяевъ брать отсрочку и подождать здѣсь побыть. Надо лучше все это разузнать, а то какъ бы старика не впутали тутъ въ такую бѣду, что послѣ и не поможешь»...

Обѣдъ кончился. Отецъ и сынъ съ папиросками вышли въ садъ.

Левъ Саввичъ, послѣ двухъ-трехъ незначительныхъ вѣпросовъ сыну, вскользь замѣтилъ:

— Разумѣется, я не сразу оборвалъ съ прошлымъ... Силъ не хватило; нѣкоторыя прежнія, дорогія симпатіи еще остались: вожусь иной разъ и съ цвѣтами, въ театръ хожу и отъ литературы не отстаю. Но зато все остальное время отдаю новому, дѣловому труду. Одна только бѣда, Анто-нушка, всѣ деньги я затратилъ на послѣднее дѣло, а именно — на устройство нашей конторы... Предложенія сыплются, — а извернуться, начать, понимаешь ли, какъ слѣдуетъ, и нечѣмъ. И гдѣ взять денегъ для этого, ума не приложу.

— А вы вашему товарищу, папенька, такъ прямо и скажите, что нѣтъ, молъ, денегъ. Онъ и отчалить. Другого товарища найдете; будете дѣйствовать тише, но вѣрнѣе. Чтѣ церемониться!

— Чтѣ ты, голубчикъ, помилуй... Самъ практикъ, самъ эту науку проходишь,—а говоришь такія вещи... Этого нѣльзя. Кредитъ потеряешь; да притомъ и соблазнительно.

— Ну, вы, папенька, вотъ какъ устройте, — такъ на-шелся практической сынъ: — заложите кому-нибудь этотъ нашъ домикъ. Вотъ вамъ и деньги. Чтѣ его, въ самомъ дѣлѣ, жалѣтъ, коли выгодное дѣло сулитъ такіе барыши!

— Ужъ заложенъ,—съ соболѣзнованіемъ отвѣтилъ отецъ

— Такъ вы къ дому-то и всю усадѣбную землю кстати бы заложили, какъ садъ, такъ и огородъ.

— Заложено, братецъ ты мой, все, какъ есть, дворовое мѣсто...

— Такъ какъ же быть?—спросилъ озадаченный сынъ.

— Э, какъ быть! въ этомъ-то вся теперъ и сила. Ты — дѣлецъ, много перевидѣлъ видовъ и людей; имѣешь и связи... Ты и рѣшай... Чтѣ? попался?.. Вотъ тебѣ и первая отъ меня жизненная проба... Такъ подумай же объ этомъ

получше и выручи меня, какъ совѣтомъ, такъ и дѣломъ. О подробностяхъ переговоримъ послѣ...

— Куда же вы?

— Не засталъ давеча нужнаго человѣка, такъ опять надо къ нему. Предлагаютъ деньги въ ростъ — да условія тяжелы. Къ чаю непременно буду обратно и тогда наговоримся.

— А отдохнуть послѣ обѣда, съ газетой? подремать побылому? Я новостей вамъ кучу навезъ... Востокъ шевелится и пробуждается къ новой жизни...

— Отъ души радъ тебя послушать. Только не до Востока мнѣ теперь. У насъ тутъ свой Востокъ... Каждый часъ дорогъ. Бѣлкино душло еще не оснащено... Что? Все еще удивляешься? Не удивляйся, вѣкъ такой насталь... Въ мурью, въ норку, каждаго зоветъ желѣзная практика жизни. А вечеромъ, за чаемъ, изволь, отъ всей души перенесусь съ тобой въ царство идеаловъ... Ты, вѣдь, и въ самомъ дѣлѣ изъ такихъ любопытныхъ, сказочно-бойкихъ мѣстъ... оттуда, гдѣ солнца восходъ...

Старикъ и шутить, и быть озабоченъ. Онъ отдалъ кое-какія приказанія Власьевнѣ, послалъ за извозчикомъ, ласково махнулъ сыну рукой и опять уѣхалъ.

Къ вечернему чаю, однакоже, Левъ Саввичъ не возвратился, а пріѣхалъ уже далеко за полночь.

Не зажигая свѣчи, онъ на цыпочкахъ прошелъ прямо въ спальню, тихо раздѣлся и легъ. Но сынъ съ вышки, въ ночной тишинѣ, слышалъ, какъ его отецъ долго не могъ заснуть, какъ онъ тяжело поворачивался въ постели, вздыхалъ и даже стоналъ. Заснулъ старикъ уже почти на разсвѣтѣ, когда въ огородахъ и садахъ смолкло дружное кваканье лягушекъ и стрекотня кузнечиковъ, а въ предмѣстьяхъ лай собакъ и оклики часовыхъ, и когда въ раскрытыя окна вышки, изъ-подъ качнувшейся занавѣски, дохнуло свѣжестью ранняго утра.

На другой день Левъ Саввичъ опять повеселѣлъ и чуть не до вечера съ сыномъ ѣздить по городу. Онъ показал ему биржу, нѣсколько банковъ, помѣщенія управы и новаго суда; бѣмъ-то открытую, въ новѣйшемъ вкусѣ, гостиницу, на порогъ которой, впрочемъ, сидѣлъ и штопалъ нижнее платье совершенно растрепанный номерной; а наконецъ, и недавно учрежденную, при чьей-то книжной лавкѣ, читальню,

гдѣ Антону Львовичу весьма красивая, хотя не очень вѣжливая и суровая дѣвица-конторщица, ворча, отобрала для прочтенія нѣкоторыя необходимыя ученныя книги, еще не проникавшія за Уралъ.

Она недовольна была тѣмъ, что онъ отбиралъ книги, по ея мнѣнью, давно выпедшія изъ моды.

Левъ Саввичъ видимо уклонился отъ продолженія съ сыномъ вчерашняго разговора.

— Кто у васъ, папенька, скажите — какъ бы это выразиться? — дѣтели, или иначе, такъ-называемыя надежды общества? — спросилъ, между прочимъ, Антонъ Львовичъ: — кто ваши вожаки, носители общественныхъ задачъ? Помните стихи поэта:

Народамъ миль и дорогъ тотъ,
Кто спать ихъ мысли не даетъ?..

— Что за вопросъ? Я тебя не понимаю! — сказалъ, глядя въ сторону, отецъ.

— Не услышу ли знакомыхъ именъ? — продолжалъ сынъ: — назовите здѣшнихъ вождей, порадуите. Если это старые знакомые, я посѣтилъ бы кого-нибудь, поговорилъ бы по душѣ. Если же изъ новыхъ, я при случаѣ не отказался бы отъ знакомства съ ними... Вѣдь я уѣхалъ почти въ тѣ еще дни,

Когда свободно рыскалъ звѣрь,
А человѣкъ бродилъ пугливо...

— Я уже тебѣ назвалъ одного, — отвѣтилъ старикъ: — за этого ручаюсь: истинно дѣловая голова...

— Но неужто въ обществѣ, въ земствѣ, въ учебномъ мѣрѣ — никого нѣтъ?

— Не помню что-то...

— Вѣрить не хочется...

— Виноватъ, виноватъ: вспомнилъ Милунчикова — предсѣдателя одной изъ здѣшнихъ управъ... Такъ, такъ — со всѣмъ-было забылъ... Вотъ честный человѣкъ, и я случайно тебѣ его не назвалъ. Именно Милунчиковъ... Онъ на отличномъ счету у всѣхъ порядочныхъ людей. Только... не могу не прибавить — хвали сонъ, коли сбудется онъ...

— Что вы хотите сказать?

— А то, что у этого вождя и этого подвижника добра весьма мало средствъ для его подвиговъ... Улита ѣдетъ, да скоро ли будетъ. — У меня руки связаны, а ужъ у него и

хуже того... Вѣришь ли, онъ весь въ долгахъ, какъ журавль въ тинѣ: носъ вытащить — хвостъ завязить; хвостъ вытащить — носъ завязить... Для подвиговъ въ наши дни, повторяю тебѣ, нужны не одни дарованія и добрыя намѣренія, а еще нѣчто другое...

— Папенька! — не вытерпѣлъ, наконецъ, Антонъ Львовичъ: — тѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе дивлюсь я вамъ и недоумѣваю... Какой неожиданный случай обратилъ васъ, отшельника и мечтателя, въ слугу Мамона? Не вѣрится мнѣ, чтобы какой ни на есть дѣлецъ и практикъ, Клочковъ тамъ, или кто другой, ни съ того, ни съ сего, могъ произвести въ васъ такую рѣзкую невѣроятную перемену. То ли вы говорили и проповѣдывали прежде?

— Ну, что же я, однако, проповѣдывалъ?

— Не вы ли приводили мнѣ совѣтъ Спасителя юношѣ-богачу: роздать все бѣднымъ и идти вслѣдъ за Учителемъ правды, равенства и добра?

— То былъ вѣкъ одинъ, теперь другой, — перебилъ отецъ: — тогда вѣра горы двигала, нынче — деньги... Не рыбаки-апостолы теперь ведутъ человѣчество, а Лессепсы, да Стефенсоны; не проповѣдь на пустынной горѣ, а акціи съ вѣрными купонами... вотъ что!..

Новое время — новыя птицы,
Новыя птицы — новыя пѣсни...

VI.

Держи носъ по вѣтру!

Находилъ иной разъ Левъ Саввичъ будто случайно забытые сыномъ на его столѣ, рядомъ съ новѣйшимъ руководствомъ къ устройству промышленныхъ предпріятій, романы Диккенса и Бульвера, а возлѣ тайнъ по части биржевой игры и овцеводства — пѣсни Гейне, или трактатъ Дизраэли о гениі. Этихъ книгъ старикъ какъ бы не замѣчалъ. Разъ Антонъ Львовичъ, въ послѣобѣденный отдыхъ, сталъ даже читать отцу отрывки изъ «Надя и Дамаянти» Жуковского. Отецъ вздыхалъ, кряхтѣлъ, чесалъ въ затылкѣ, съ видимымъ удовольствіемъ прохаживался по комнатѣ, даже вслухъ подхватывалъ нѣкоторые стихи, но вслѣдъ за тѣмъ принимался за свое.

Однажды за завтракомъ, въ бесѣдѣ съ сыномъ о прош-

ломъ, о покойницѣ женѣ и о томъ, какъ бы она радовалась теперь на Антонушку, Левъ Саввичъ задумался и сказалъ:

— Какая досада! Не идетъ Ключковъ. Я ему два письма писалъ... А какія дѣла подвертываются... Достань мнѣ, говорю тебѣ, десятокъ — другой тысячу взаимы, у своихъ ли хозяевъ, или тамъ у кого самъ знаешь, и ты меня окончательно осчастливишь. Я разбогатѣю, понимаешь ли ты, разбогатѣю...

— Но какъ же вы разбогатѣете? Какой для того найдень вами волшебный способъ?

— А вотъ, придетъ Ключковъ — его спрашивай. Онъ тебѣ скажетъ. И самъ ты увидишь, какой это, по-истинѣ, дѣловый человекъ.

«Ключковъ! именно онъ! другому некому быть! Но что же, наконецъ, за сила здѣсь этотъ Ключковъ?» — размышлялъ Ветлугинъ, возвращаясь въ тотъ же вечеръ съ прогулки по городу. По словамъ отца, онъ ожидалъ это новѣйшее свѣтило родной губерніи увидѣть въ городѣ, при случаѣ, не иначе, какъ въ блистательной обстановкѣ, на примѣръ, въ каретѣ съ гербами и даже, пожалуй, съ ливрейнымъ лакеемъ. Но каково же было его изумленіе, когда при немъ къ крыльцу квартиры Ключкова подъѣхала почтовая телѣжка, съ болтавшеюся на ней, въ старой фуражкѣ, запыленной и всклокоченной головой спавшаго рядчика, и когда въ этомъ рядчикѣ онъ узналъ дѣйствительно того самого студента-товарища, изъ-за стычки съ которымъ онъ вынесъ когда-то столько непріятностей?

Ветлугинъ смѣшался и хотѣлъ пройти мимо. Но, разбуженный ямщикомъ, Ключковъ встрахнулъ съ себя ворохъ сѣна и пыли, прыгнулъ съ телѣжки, оправился, протеръ заспанные, сѣрые глаза, взглянулъ на Ветлугина и вскрикнулъ: — Антонъ Львовичъ, камрадъ! Да куда же вы? Не пушу... И не думайте мимо... Сейчасъ же сюда, вотъ на эту ступеньку...

Съ такими дружескими восклицаніями Ключковъ обнялъ Ветлугина, нѣкоторое время держа его за руку, внимательно и ласково смотрѣлъ ему въ лицо и потащилъ его по лѣстницѣ, вслѣдствіе чего озадаченный этимъ радушіемъ Антонъ Львовичъ чуть не упалъ.

— Подарокъ, истинный подарокъ! — хлопалъ въ ладоши,

поднимаясь по лѣстницѣ, Петръ Ивановичъ:—Иванъ Кузьмичъ! Романъ Кузьмичъ! дяденьки! мыться, бриться! Это мои слуги — мальчики, сыновья повара... Я подростокъ, камрадъ, держу: вѣрнѣ и безопаснѣ—взыщешь, къ мировому не такъ скоро угодишь.

Привыкшіе къ шуткамъ барина, слуги-мальчики распахнули двери и, хихикая подъ носъ, заматались по комнатамъ. Ключковъ ввелъ гостя въ кабинетъ, еще разъ пожалъ ему руку, усадилъ на диванъ и предложилъ сигару. И когда Ветлугинъ, вспоминая прошлое, сталъ-было что-то говорить въ свое оправданіе, Ключковъ перебилъ его словами: — Стыдно, милѣйшій, стыдно такъ забывать старыхъ товарищей; хоть бы строку когда-нибудь, этакій вы, заяцъ-Иванычъ, перебросили... О быломъ же ни слова! Я его не помню, и васъ прошу забыть. Мы повздорили на политической экономіи. Теперь, другъ вы мой, иная экономія у насъ на умѣ, — не политическая, а житейская... И потому будемъ опять друзьями.

Ключковъ протянулъ Ветлугину загорѣлую, жесткую руку, которую тотъ искренно пожалъ.

Было принесено умыванье. Съ головы и съ обнаженной шеи Петра Иваныча побѣжали черные потоки. Одного рукотомойника оказалось мало. Краснощекій и въ веснушкахъ Иванъ Кузьмичъ, прысая со смѣху, принесъ другой. Остриженный до невозможности коротко, съ лицомъ испуганнаго цыпленка, Романъ Кузьмичъ, сисясь, притащилъ третій. «Гопъ, гопъ, карапузики! лейте, лейте! Какова пыль!—бормоталъ, плескаясь, Ключковъ:—тутъ всякая, дяденька, всякая—полевая, городская и, по крайней мѣрѣ, съ пяти деревенскихъ базаровъ!»

Умывшись и побрившись, Ключковъ вышелъ гораздо моложе, чѣмъ былъ съ дороги. У него оказалось весьма пріятное, подвижное лицо: носъ луковичкой, ласковые, наигранные глазки, длинная пушистая борода, мягкая поступь и безпрестанно улыбавшійся ротъ. Онъ старательно, англійскимъ приборомъ, расчесалъ чисто вымытую макушку головы и плотный, загорѣлый затылокъ; надѣлъ свѣжую, тонкую рубашку; подъ воротничками повязалъ степенный, темный галстукъ; облекся въ щегольской сюртучекъ и досталъ изъ картонки черную городскую шляпу, а изъ комода пару новыхъ перчатокъ.

— Знаете ли вы лучшую и гениальнѣйшую изъ современныхъ народныхъ пословицъ?—спросилъ Ключковъ.

— Какую?

— Держи носъ по вѣтру, и все пойдетъ какъ по маслу..

— Но развѣ это народная пословица? — улыбнулся Ветлугинъ.

— Если еще не народная, то станетъ ею. Въ ней вся мудрость міра... Вотъ хоть бы я... университету я предпочелъ базаръ житейской суеты, сталъ ремесломъ янки, и не раскаиваюсь. Да и какъ раскаиваться!

Съ этими словами, Ключковъ потребовалъ чаю, усадилъ гостя къ столу и воркующимъ, нѣжнымъ голосомъ сталъ ему объяснять нѣсколько такихъ величавыхъ, чужихъ и собственныхъ торговыхъ предпріятій, что у Ветлугина даже голова закружилась. При этомъ Петръ Ивановичъ таё и сыпалъ, не то что десятками, а сотнями тысячъ рублей; клялся, протягивая объ закладъ свою руку, что мертвечина и фелетонный шелкопёръ онъ будетъ, если самъ не сочтетъ у себя въ карманѣ, да притомъ не далѣе, какъ черезъ пять-шесть лѣтъ, если не полмилліона, то ужъ никакъ не менѣе двухсотъ-трехсотъ тысячъ чистоганомъ.

— И старой курочкѣ дадимъ носъ помочить въ золотой водицѣ!.. — ласково подмигнувъ, присмакнулъ гостю Ключковъ.

— Какой курочкѣ? — удивился Ветлугинъ, которому это увлеченіе и этотъ задоръ самодовольнаго сластуна становились весьма приторны и гадки.

— Ахъ извините—я вѣдь всегда нараспашку...—папашену вашему, папашену! — хлопая ладонью по ладони Ветлугина, сказалъ Ключковъ:—просвѣтителю-то здѣшнему. Вы, какъ практикъ, меня оцѣните. Я первый надоумилъ этого невиннаго воробушка взяться за настоящее дѣло. Безъ меня онъ, простота, такъ и заглохъ бы въ эмпирияхъ, на эстетической размазнѣ... Теперь же, повторяю, и ему удастся вкусить отъ благоуханныхъ земныхъ брашенъ. Чтò ни толкуютъ, а всякому пожить хочется, потому что тамъ, на небѣ, будетъ ли еще хорошо,—философы не рѣшили, вонъ что Гартманнъ говоритъ! — за то здѣсь, на землѣ, мы проживемъ въ волюшку...

— Меня удивляютъ ваши слова,—сказалъ Ветлугинъ.

— Въ чемъ?

— Вы говорите о моемъ отцѣ, но — кажется, вы забываете о его дѣтахъ...

— О дѣтахъ? Но вашъ отецъ семерыхъ молодыхъ затянетъ за поясъ. А чтобы достигнуть дѣла, задуманнаго нами, такъ онъ способенъ, кажется, выполнить всѣ двѣнадцать подвиговъ Геркулеса... Онъ еще не вполнѣ усвоилъ себѣ великую пословицу — «держи носъ по вѣтру» — но уже начинаетъ ее понимать... Пойдемте же, милѣйшій, къ нему... потолкуемъ съ нимъ. А какъ стемнѣетъ, поѣдемъ въ клубъ. Я вамъ покажу, если хотите, здѣшнихъ губернскихъ тузовъ. По-правдѣ сказать, — порядочные сурки... Только объѣдаются, да въ карты играютъ. Никакой предприимчивости... Если же и склонишь ихъ на какое дѣло, то прежде всякаго телѣнка вываляешься въ грязи.

— Вотъ онъ, вотъ нашъ многострадательный Васко-де-Гама отъ границъ Монголіи явился! — восклицалъ Ключковъ, завидя изъ калитки Льва Саввича. — и ужъ какъ я ему обрадовался... Подъѣхалъ, гляжу съ-просонковъ — онъ самый и есть...

Левъ Саввичъ земли подъ собой не чувствовалъ при видѣ своего компаньона. Онъ безъ шляпы обѣжалъ съ крыльца, приветствуя его и спрашивая:

— Чтò, познакомились? познакомились? узналъ, чай, Антонушка, и пословицу — держи носъ... ха-ха! узналъ?

Антонъ Львовичъ, однакоже, не смѣялся. Онъ былъ снова и еще болѣе смущенъ при видѣ того, съ какою небрежностью коренастый и юркій Ключковъ обнялъ бранный, шатавшійся станъ Льва Саввича и какъ, подхвативъ старика подъ руку, потащилъ его обратно къ крыльцу. Антонъ Львовичъ невольно припомнилъ при этомъ видѣнную имъ, въ первый день пріѣзда къ отцу, на вышкѣ, сѣрую кошку, съ добродушнымъ воробьемъ въ зубахъ.

Послѣ общей бесѣды въ кабинетѣ о деревенскихъ и городскихъ новостяхъ, о торговлѣ и о хозяйствѣ, причѣмъ Ключковъ такъ и сыпалъ изысканными выраженіями привычнаго, хотя, гдѣ нужно, сдержаннаго и вѣжливаго говоруна, — Левъ Саввичъ, нагнувшись къ сыну, шепнулъ: «ну, что, Антонушка, видишь теперь, какіе люди у насъ родятся? Вотъ мой совѣтникъ и сотрудникъ... Лю и его и цѣни!» — Вслухъ онъ прибавилъ: «теперь мы съ Петромъ Ивановичемъ, въ нѣкоторомъ родѣ, Орестъ и Пиладъ. Не такъ ли, достойнѣйшій?»

Петръ Ивановичъ, какъ оказалось, не былъ охотникъ до сердечныхъ изліаній. Онъ неопредѣленно повелъ въ сторону сѣрыми, слегка улыбающимися глазами, промычаль какую-то любезность, всталъ и, приторно-ласково извиняясь передъ Антономъ Львовичемъ, что оставитъ его на минуту одного, пригласилъ Льва Саввича на пару нужныхъ словъ въ сосѣдную комнату. Разговоръ, очевидно, былъ дѣловой и секретный, такъ какъ даже и за порогомъ Ключковъ, для предосторожности, шепталъ Льву Саввичу на ухо, хотя, кромѣ ихъ двухъ, въ сосѣдней комнатѣ не было ни души. О чемъ они говорили—осталось неизвѣстнымъ. Но Антону Львовичу Ключковъ становился болѣе и болѣе подозрительнымъ.

Послѣдствіемъ этой таинственной бесѣды была въ ту же ночь новая бессонница Льва Саввича.

Антону Львовичу также не спалось. Онъ дочиталъ газету и только-что погасилъ лампу, какъ снизу по лѣстницѣ слышались шаги. На порогѣ вышки, съ книгой въ одной рукѣ и со свѣчей въ другой, въ очкахъ на лбу, показался Левъ Саввичъ.

— Ты не спишь, Антонушка?—тихо спросилъ онъ.

— Не сплю. Чтò съ вами, папенька?

— Ничего. Не спится и мнѣ что-то; видно, отъ духоты. Наступаютъ жаркіе дни. Такъ пришелъ съ тобою отъ скуки потолковать. Я сяду...

— Вотъ и отлично, потолкуемъ. Садитесь, папенька.

Антонъ Львовичъ придвинулъ отцу стулъ.

— Скажи мнѣ, Антонушка, по-правдѣ: ты еще не торопишься ѣхать отсюда?

— Не тороплюсь. Если нужно, я ужъ вамъ далъ слово у васъ погостить нѣсколько долѣе.

— Ну, такъ вотъ чтò... Впрочемъ, нѣтъ, позволь... Скажи мнѣ еще одно слово... Ты не связанъ этакъ особымъ ничѣмъ?

— То-есть, какъ не связанъ?

— Ну, понимаешь: въ жизни бываютъ разнаго рода обстоятельства. Иной разъ и не думаешь, а случится.

— Все-таки я васъ, папенька, не понимаю...

— Ну, хорошо... Выразусь яснѣе... Скажи мнѣ совершенно откровенно: ты, напримѣръ, не влюбленъ?.. Или нѣтъ, все еще не такъ: ты не думаешь жениться?

— Я свободенъ, — отвѣтилъ Антонъ Львовичъ: — совершенно свободенъ и не собираюсь жениться. Женитьба — роскошь, для трудового человѣка, — даже не роскошь, а — все, если жена станетъ помогать мужу идти далѣе въ его трудахъ, чѣмъ онъ могъ бы безъ нея пойти одинъ... Такой подруги я еще не нашелъ. И потому я пока вѣренъ старымъ идеаламъ: до сихъ поръ влюбленъ въ Клариссу Гарло... Помните, какъ я, украдкой отъ васъ, прочелъ этотъ романъ и потерялъ было отъ него голову?..

— Помню, помню...

— Женщины въ книгахъ только хороши, — сказалъ Антонъ Львовичъ: — въ жизни отъ нихъ лучше быть подальше.

— Разумѣется, ты воленъ въ своихъ дѣлахъ, — сказалъ отецъ: — хоть всякому родителю пріятно было бы видѣть сына въ счастливой парѣ и нянчить внучатъ... И тутъ въ городѣ есть отличныя невѣсты. Ну, да дѣло пока не въ томъ... Скажи, — что это у тебя за рукопись?

Левъ Саввичъ указалъ на столъ.

— Такъ, замѣтки, — кое-какія выписки изъ книгъ, которыя я добылъ въ здѣшней библіотекѣ.

— Зачѣмъ тебѣ онѣ?

— Пользуюсь случаемъ прочесть болѣе любопытныя изъ новинокъ, пока опять не уѣхалъ за Уралъ.

— А не лучше ли тебѣ и совсѣмъ туда не ѣхать?

— То-есть, какъ не ѣхать?

— Зачѣмъ тебѣ Азія и твои купцы, когда на родинѣ ты также можешь съ пользою трудиться?

— Объ этомъ я думаю, и если будутъ подходящія занятія, отчего же и не остаться здѣсь? Только тамъ ужъ у меня все налажено и въ будущемъ предстоитъ столько утѣшительнаго и выгоднаго труда.

— Ну, хорошо, оставимъ и это пока нерѣшеннымъ. А теперь займемся другимъ, моимъ собственнымъ дѣломъ. Буду говорить откровенно. Мнѣ нужна помощь... Ты у меня находчивъ, даровитъ, и отцу пособить, — не правда ли — сумѣешь... Такъ слушай же... Я по тебѣ сильно соскучился, и это было главной причиной, что я хотѣлъ тебя видѣть... Въ тайнѣ же я думалъ: не пойдешь ли и ты въ долю со мной?... Постой, постой! не горячись... Это, я уже тебѣ сказалъ, надо теперь отложить въ сторону. Я вижу самъ, что ты еще пока безъ особыхъ денежныхъ средствъ. Такъ вотъ что...

Левъ Саввичъ смолкъ. Дыханіе спиралось въ его груди. Онъ переставилъ свѣчку съ окна, у котораго они сидѣли, на столъ и растворилъ окно.

— Мы сегодня придумали,—началь онъ съ разстановкой:— то-есть Петръ Ивановичъ это придумалъ... Ты получишь подорожную и маршрутъ... И такъ какъ отъ твоихъ хозяевъ, вопреки моему ожиданію, тебѣ еще трудно надѣяться на ссуду денегъ, то ты безъ замедленія... прошу тебя... поѣзжай... хоть завтра или послѣ завтра... Видишь ли, я просилъ взаймы денегъ и звалъ въ долю тутъ еще одного господина, Вечерѣва... Поѣзжай къ нему... Что? удивился такому скорому рѣшенію?

— Къ Вечерѣву? Какой же это Вечерѣвъ? — спросилъ Антонъ Львовичъ.

— Помѣщикъ здѣшній, родственникъ того Милунчикова, о которомъ я тебѣ, помнишь, говорилъ. Я Вечерѣву писалъ нѣсколько писемъ, но онъ на одно отвѣтилъ, да вдругъ и замолчалъ.

— Но какъ же я, не будучи знакомъ съ этимъ Вечерѣвымъ, обращусь къ нему съ такимъ порученіемъ? Отчего этого не сдѣлать вамъ самимъ, или хоть бы тому же Ключкову?

— Тутъ есть нѣкоторыя обстоятельства. Ихъ тебѣ объяснить Ключковъ. Я же прошу тебя пока объ одномъ: не говорить Вечерѣву, что я въ долѣ съ Ключковымъ. Объ этомъ тебя просить и Петръ Ивановичъ... Видишь ли, какое, собственно, дѣло... Вечерѣвъ недавно продалъ своему сосѣду, Талищеву, лѣсъ, и теперь, какъ говорятъ, при значительныхъ деньгахъ. Все равно, отдастъ ихъ на проценты другому. Такъ, понимаешь ли... Какъ бы тебѣ это сказать?.. Впрочемъ, погоди... Начну нѣсколько издалека.

Антонъ Львовичъ приготовился слушать.

— Я у Вечерѣва училъ, лѣтъ восемь назадъ, его единственнаго, теперь уже покойнаго сына, — готовилъ его здѣсь къ поступленію въ гимназію и тогда жилъ цѣло лѣто у него въ деревнѣ. Ты въ тѣ поры былъ уже далеко и, разумѣется, этого знать не могъ. Старикъ меня полюбилъ и часто потомъ навѣщалъ; даже не разъ останавливался у меня, увѣряя, что у насъ много общаго. Ѣхать къ нему мнѣ бы не хотѣлось. Во-первыхъ,—старъ, а во-вторыхъ, и контора теперь въ рукахъ. Онъ, разумѣется,—на-

помни я ему новымъ, болѣе-толковымъ и откровеннымъ письмомъ,—вѣроятно, не откажетъ въ моей просьбѣ... Но чрезъ тебя это, понимаешь ли, какъ-то будетъ и вѣжливѣе, да и вѣрнѣе... Откровенность на бумагѣ, притомъ еще по случаю займа денегъ, выйдетъ невольно чѣмъ-то въ родѣ напоминанія о прошлыхъ заслугахъ. Да я, по-правдѣ, и не сумѣлъ бы написать новаго, въ этомъ же родѣ, письма. Онъ же, наконецъ, о тебѣ знаетъ, слышалъ какъ о твоихъ литературныхъ трудахъ, такъ и о твоихъ торговыхъ подвигахъ за Ураломъ... Даже, представь себѣ, присылать мнѣ вырѣзки изъ газетъ, гдѣ упоминалось твое имя. Человѣкъ онъ достойнѣйшій, съ сердцемъ, и въ окончательной помощи мнѣ, при твоёмъ посредствѣ, не откажетъ. А не то вступить и въ долю со мной... Все дѣло, понимаешь ли, въ томъ, чтобъ напомнить и поддержать уже разъ высказанное имъ согласіе...

— Но, еще разъ, папенька,—нетерпѣливо перебилъ Антонъ Львовичъ:—скажите мнѣ, для чего вамъ эти спекуляціи, желаніе обогащенія? Я рѣшительно этого не понимаю... Вы жили мирно, безъ хлопотъ, а теперь, на старости лѣтъ, пускаетесь въ рискованнѣе предпріятія...

— А! такъ ты спрашиваешь опять? Ну, слушай же,—рѣко сказалъ Левъ Саввичъ.

Но тутъ же, будто застыдись своей досады и рѣшимости, онъ отвернулся въ сторону и, точно въ таинственное будущее, пристально сталъ смотрѣть въ темное раскрытое окно, откуда, то-и-дѣло, на блескъ свѣчи, налетали жучки и бабочки, и доносились неясные звуки ночного гула, стоявшаго надъ городомъ.

— Ни о чемъ-то я, простота,—началъ опять Левъ Саввичъ:—ни о чемъ, повторяю, тебѣ, не мечталъ, живы здѣсь столько лѣтъ и, какъ старалъ, слѣпая сова, сидя вонъ тамъ за воротами. Улица наша, между тѣмъ, стала въ послѣднее время застраиваться. Знакомые и сосѣди начали втягиваться въ обороты, богатѣть... Но никому я, клянусь тебѣ, не завидовалъ! Только случилось... и вовѣки я этого не забуду!.. Случилось, Антонушка.. Какъ бы тебѣ это получше рассказать?.. Зашелъ я разъ, по близости, въ переулкѣ, въ новооткрытую здѣшнюю мѣщанскую школу и увидѣлъ тамъ, въ рубищахъ и босикомъ, толпу посинѣвшихъ отъ холода дѣтей, а среди нихъ оборваннаго, грубаго и пьянаго учителя изъ отставныхъ солдатъ... Боже мой! то былъ не учитель,

а жалкій нищій. Кое-какъ онъ вязалъ глупыя слова, и не вѣрилось, чтобы кто-нибудь у него учился. Но холодная, тѣсная и закопѣлая школа была биткомъ набита. Ну, что, подумалъ, я, коли бы этой толпѣ ребятешекъ да свѣтлую, обширную храмину, дѣльнаго, обезпеченнаго учителя и толковыя книги? Сколько хорошихъ людей вышло бы изъ народа? Однакоже, гдѣ взять на все на это денегъ? гдѣ взять?..

Левъ Саввичъ помолчалъ.

— Я уже былъ тогда въ отставкѣ, слѣдовательно безъ занятій. Подумалъ я, погадалъ, да и пошелъ, другъ ты мой, съ подписнымъ листомъ по чиновному дворянству, а тамъ и по зажиточнымъ купцамъ. И истомили, осмѣяли меня эти господа порядкомъ: и ничего-то я по тому листу не собралъ. — Нѣтъ, вру, — собралъ я три рубля, да чыхъ-то два истертыхъ пятналтынныхъ... А будь свои деньги, Боже ты мой! сейчасъ бы, кажется, бросилъ на это не одну тысячу... Да нѣту ихъ, милые вы мои, нѣту! думалъ я... Такъ-то... Богатому житье, а бѣдному вытье... И шевельнулась у меня тогда, Антонюшка, впервые, — сознаюсь тебѣ, — зависть къ богачамъ... А тутъ ударилъ неурожайный годъ... Ты помнишь его. Самъ ты собиралъ тогда и присылалъ въ здѣшній комитетъ изъ Сибири гроши. И спозналъ я, въ тѣ поры, въ конецъ все свое житейское, жалкое ничтожество. Червь червякомъ, безформенный слизнякъ, послѣдняя въ лѣстницѣ созданій животная личинка... На моихъ глазахъ выходили новыя книги. Купилъ бы ихъ для себя и для школы, но изъ пенсїи не хватало. Слышу, между тѣмъ, другіе успѣшно обдѣлываютъ свои дѣла. И вездѣ-то денъги, и вездѣ эта роковая сила; и все-то она ломитъ и, какъ нѣкогда римскій триумфаторъ, празднуетъ тысячи побѣдъ... Сказано въ пословицѣ: у богатаго и чортъ дѣтей качаетъ. А я, какъ то чучело, что у меня же въ ту пору стояло надъ градами, сижу безъ дѣла, да грѣюсь на солнышкѣ, да вывожу павлиновъ и кроликовъ. И опротивѣлъ мнѣ, Антонюшка, нашъ домъ, опротивѣла моя старость и праздность, мои птицы, цвѣты и эта удица. Много тяжелыхъ часовъ я провелъ съ тѣхъ поръ въ этой конурѣ: меня томила моя безпомощность и непригодность... И вдругъ подошло это наше наслѣдство... Извѣщенный о немъ, я ходилъ, какъ шальвой. И тутъ-то, въ новооткрытой нашей читальнѣ, я столкнулся съ Ключ-

ковымъ... Сошелся я съ нимъ почти невзначай. Я читалъ газету. Онъ съ кѣмъ-то спорилъ о политикѣ. Заговорилъ онъ и со мной, сперва объ Англіи, потомъ о Россіи. Да такъ-то все это вѣжливо, толково и умно. Наконецъ, рѣчь зашла о торговыхъ оборотахъ. Этотъ вопросъ живо меня занималъ. Я нѣсколько дней передъ тѣмъ все обдумывалъ, что предпринять съ нашимъ наслѣдственнымъ участкомъ? Онъ и посовѣтовалъ его продать. Да и какъ было поступить иначе? Посмотрѣлъ я на себя: руки, ноги и голова еще крѣпки, поработать могутъ. А тутъ Ключковъ сталъ предлагать такіа прибыльные дѣла. Я и подумалъ: да неужто же честь и нажива, апостольство правды и богатство не могутъ нынче ужиться вмѣстѣ?..

Левъ Саввичъ замолчалъ. Антонъ Львовичъ вздохнулъ.

Тихая весенняя ночь ласково съ надворья глядѣла въ раскрытое окно вышки, обдавая собесѣдниковъ прохладой и запахомъ цвѣтовъ. Трескотня кузнециковъ въ окрестностяхъ сада затихла. Звонѣль въ комнатѣ, у двери на лѣстницу, одинъ только сверчокъ. Левъ Саввичъ скажетъ слово, и сверчокъ откликнется. Левъ Саввичъ перестанетъ говорить, и онъ замолчитъ, точно слушаетъ въ тишинѣ, — что же будетъ, наконецъ, далѣе?

— Ну, такъ вотъ, — продолжалъ Левъ Саввичъ: — я и сошелся съ Ключковымъ. Онъ, какъ другъ, какъ братъ, вникъ въ мое положеніе, оцѣнилъ мои обстоятельства и намѣренія и сталъ меня надѣлять совѣтами. И что это были за совѣты! Вѣришь ли? То былъ не человѣкъ, а магъ... Съ его одобренія я, для опыта, предпринялъ одно дѣло и сразу, однимъ, такъ сказать, махомъ, положилъ въ карманъ такой кушъ, что если бы не самъ считалъ заработанныя деньги, подумалъ бы, что это во снѣ. Кто устоялъ бы передъ такимъ соблазномъ? кто? Переходя отъ одного дѣла къ другому, мы, наконецъ, затѣяли и почти, какъ ты видишь, устроили контору агентства... Только съ моей стороны не хватаетъ достаточно денегъ для вклада въ это дѣло. Ну, вотъ ты и достань... Посуди самъ... Или намъ вѣкъ съ тобой такъ и оставаться бѣдняками? И неужели честно и умно задуманное дѣло никогда не обратитъ этого домишка въ храмину силы, для подвиговъ правды и добра?

— Смотри, какъ посчастливится.

— А голова, а честныя убѣжденія зачѣмъ? Нѣтъ, Анто-

нушка, станемъ работать. Къ нашему агентству, не теперь, такъ потомъ, примкнешь и ты... И счастливая затѣя принесетъ желанный плодъ...

— Такъ какъ же, Антонюшка? — спросилъ, переходя, отецъ.

Сынъ медлилъ съ отвѣтомъ. Сердце его тревожно билось. — «Бѣдный, бѣдный, — думалъ онъ, — увлекли его, запутаютъ... какъ быть?». За рѣкой начинало бѣлѣть. Антонъ Львовичъ прошелся по комнатѣ, остановился у окна, выпрямился, нѣсколько мгновений, впившись глазами въ загоравшійся востокъ, помолчалъ и обратился къ отцу.

— Пожалуй, — въ раздумьѣ отвѣтилъ онъ: — только, смотрите, — съ однимъ условіемъ... Я готовъ разъяснить это дѣло и, такъ или иначе, устроить вамъ помощь со стороны Вечерѣва... Но вы позволите мнѣ прежде взглянуть на ваши счеты съ Ключковымъ.

— Это зачѣмъ?

— Да такъ ужъ нужно. И предупреждаю васъ, — если я въ этихъ счетахъ найду хоть что-либо неправильное, или подозрительное, не прогнѣвайтесь, — вы должны себѣ искать другого компаньона...

Старикъ задумался, но тутъ же улыбнулся и отвѣтилъ:

— О, будь спокоенъ, я за Ключкова не боюсь... И завтра же тебѣ вручу всѣ наши конторскія книги.

Антонъ Львовичъ засѣлъ за проверку счетовъ отца съ Ключковымъ и работалъ надъ ними нѣсколько дней. Онъ даже съѣздилъ для сличенія цѣнъ въ другія конторы, лавки и складочные дворы. Пока онъ сидѣлъ за этой работой, Левъ Саввичъ на ципочкахъ ходилъ мимо его комнаты и даже не заглядывалъ къ нему. Какъ книги, такъ и прочіе къ нимъ документы оказались, впрочемъ, въ исправности. Ветлугинъ, скрѣпя сердце, сказалъ объ этомъ отцу.

— Ну, вотъ, ну, вотъ, — обрадовался старикъ: — я же тебѣ говорилъ... Стало-быть, ты ѣдешь?

— Обѣщалъ: дѣлать нечего.

— Когда же?

— Вотъ снесусь съ хозяевами, и къ вашимъ услугамъ.

Ветлугинъ далъ отцу слово ѣхать къ Вечерѣву, а самъ разсуждалъ: — «книги въ порядкѣ, это правда, хоть не настолько, разумѣется, простъ Ключковъ, чтобъ не принять

съ этой стороны должныхъ мѣрь. Домъ заложенъ; въ остальномъ же отецъ и Ключковъ почти равны. Но нѣтъ! здѣсь кроется что-то недоброе, я въ томъ убѣжденъ. А что? не могу пока угадать. Ключковъ, по всей вѣроятности, затѣялъ это агентство на чужое имя для того, чтобы въ немъ изъ-за угла играть роль властелина-кота, а прочему человечеству оставить долю готовыхъ ему на потребу мышей. Не даромъ же у этого сластуна такія широкія надежды на скорую наживу. Какъ бросить въ такомъ положеніи отца? Весь этотъ его торговый, дѣловой задоръ, несмотря на его краснорѣчіе, очевидно—мыльный пѣзырь, невинная, хоть и искренняя затѣя сбитого съ толку мечтателя... Онъ на старости лѣтъ неожиданно увидѣлъ въ рукахъ значительную сумму денегъ и вздумалъ увеличить ее оборотами. Нашелся, разумѣется, и благовидный предлогъ—школа для бѣдныхъ... Задалъ бы ему эту школу Ключковъ, если бъ я во-время не подвѣхалъ! Нѣтъ, немедленно пошлю хозяевамъ денешу и пойду къ Вечерѣву»...

Въ тотъ же день Ветлугинъ телеграфировалъ хозяевамъ объ отсрочкѣ его пребыванія у отца, а самъ, въ ожиданіи отвѣта, сталъ читать добытаго въ библиотекѣ Спенсера и бродить по городу.

«Нѣтъ сомнѣнія, Вечерѣвъ многое мнѣ поможетъ объяснить, — разсуждалъ Ветлугинъ, — онъ любитъ отца, давно съ нимъ знакомъ, и даже друженъ, да и меня, какъ видно, знаетъ по слухамъ. Ключковъ обрисовалъ его не очень красиво. Но отчего онъ юдитъ и желаетъ скрыть передъ Вечерѣвымъ свое участіе въ дѣлахъ отца? И Вечерѣвъ тоже отвѣтилъ на одно изъ писемъ отца, да вдругъ и замолчалъ... Буду—только ужъ, разумѣется, не для поддержки ребяческой затѣи отца... Иное надо устроить, пока я въ этихъ мѣстахъ... Если Вечерѣвъ, дѣйствительно, какъ говоритъ отецъ, человекъ съ сердцемъ, я ему все объясню и, при его пособіи, поступлю такимъ образомъ: отцовскій пай въ агентствѣ сбуду кому-нибудь иному, договоръ Ключкова съ отцомъ постараюсь, во что бы то ни стало, разрушить, а Вечерѣву, за его ссуду для уплаты отцовскихъ долговъ, предложу въ залогъ этотъ самый дворъ и домъ, который теперь подъ залогомъ въ другихъ рукахъ. При такомъ условіи не совѣстно будетъ принять помощь отъ кого угодно. Современемъ эту закладную мы выкупимъ. И все у отца пойдетъ

по-старому, если только онъ былъ со мной откровененъ и если, кромѣ обязательства по закладной, нѣтъ у него болѣе долговъ».

VII.

Ормуздъ и Ариманъ.

Отвѣтъ отъ хозяевъ былъ полученъ, и Ветдугинъ зашелъ къ Ключкову сообщить ему, что завтра ѣдетъ. Ему хотѣлось также ближе ознакомиться съ подробностями о дорогѣ къ Вечерѣву. Бесѣдуя, они вышли прогуляться и завернули на почту, гдѣ Ключкову нужно было справиться, нѣтъ ли на его имя писемъ? Это случилось въ концѣ присутствія. Приемная была почти пуста. Они справились и сѣли отдохнуть.

— Времена плохія, ой, какія плохія! — вкрадчивымъ, въ душу лившимся голосомъ продолжалъ начатую рѣчь Ключковъ: — вотъ, хоть бы я, предсѣдатель комиссіи пользы и нужды нашего уѣзда. Но если бы вы знали, другъ сердечный... что за ученія начинаютъ всплывать въ здѣшнемъ обществѣ. Охранительныя силы гибнуть... Поднимаютъ голову самыя разрушительныя... Дисциплина повсюду ослабѣла...

«И этотъ о дисциплинѣ плачется! — подумалъ Ветдугинъ, — благо бы въ арміи служилъ, какъ Талищевъ; тому еще простиительно... А этотъ?..»

— Молодежь подъ вліяніемъ опаснѣйшихъ, проходимцевъ, — продолжалъ Ключковъ: — да и что вы сдѣлаете, если общая распушенность окружаетъ молодое поколѣніе? Что оно видитъ въ свѣтѣ? Какихъ проповѣдниковъ слышитъ?

Ключковъ замолчалъ. Съ улицы послышался негромкій звонъ колокольчиковъ и бубенцовъ и стукъ подъѣхавшаго тарантаса.

Ключковъ взглянулъ въ окно.

— Да вотъ вамъ, кстати, одинъ изъ здѣшнихъ новѣйшихъ проповѣдниковъ, — сказалъ онъ, отворачиваясь отъ окна.

— Кто такой?

— Милунчиковъ.

«А! отецъ его хвалилъ! — подумалъ Ветдугинъ, — онъ родственникъ Вечерѣва — отъ него, кстати, тоже можно кое-что узнать».

— Не слышали? — продолжалъ Ключковъ: — явленіе любопытное. Вѣроятно, за письмами да за газетами заѣхалъ. Ихъ два брата. Одинъ еще въ университетѣ, въ медики готовится — уроками живетъ. А этотъ — такъ мое почтеніе... Напичкался дрянными книжонками... Имѣніе на волоскѣ отъ продажи за долги, а его, такого-то санюлота и головорѣза, выбрали — куда бы вы думали? — въ предсѣдатели земской управы, въ хозяева, такъ-сказать, цѣлаго уѣзда... Ну, гдѣ, я васъ спрашиваю, ручательства въ спокойствіи общества? Гдѣ охрана собственности? Впрочемъ, ты съ нимъ родня и даже, если хочите, пріятели, — добавилъ Ключковъ: — и я васъ могу съ нимъ познакомить...

Въ комнату вошелъ и обратился къ дежурному чиновнику высокій, нервическій, съ исхудалымъ, добродушнымъ лицомъ и сильно близорукій господинъ. Его длинныя тонкія руки болтались, какъ бы не находя себѣ мѣста. Походка его была порывистая и вмѣстѣ надменная. Черная клинообразная бородка его плохо росла. Онъ былъ на видъ лѣтъ тридцати-двухъ-трехъ и съ перваго же раза внушалъ къ себѣ сочувствіе. Особенно привлекали его кроткіе, синіе и какъ-то странно, изъ-подъ густыхъ темныхъ бровей, то лаской, то строгимъ вниманіемъ, то какъ бы испугомъ и жалостью, блиставшіе глаза. На немъ были — черный бархатный жакетъ, модные клѣтчатые брюки и лаковые, поверхъ цвѣтныхъ чулковъ, полусапожки. Въ рукахъ онъ держалъ сѣрую, довольно помятую, пуховую шляпу.

— Предсѣдатель здѣшней управы и мой пріятель, Николай Ильичъ Милунчиковъ, — сказалъ Ключковъ, подходя къ нему съ Ветлугинымъ: — благодаря его трудамъ, какъ вы знаете, мы по-старому ломаемъ на земскихъ дорогахъ колеса и по суткамъ, какъ вы тоже на дняхъ убѣдились, сидимъ на станціяхъ безъ лошадей... А тебѣ рекомендую — г. Ветлугинъ... Прибыль издалека...

— Не Антонъ ли по имени? — спросилъ, пожимая руку Ветлугина, Милунчиковъ.

— Антонъ...

— Не вы ли авторъ статей: «Въ чемъ наше будущее?»

— Я, — не совсѣмъ охотно отвѣтилъ Ветлугинъ.

— А книги: «Русскія артели»?

— Я же... все это грѣхи юности...

Губы Милунчикова дрогнули. Густыя, темныя его брови

одвинулись. Онъ отвернулся къ окну и съ кроткой, несмѣлой улыбкой, слегка потирая грудь, точно сдерживая въ ней неожиданно занывшую пріятную боль, проговорилъ:

— Послушайте... Эти вещи... Да знаете ли? Это такая прелесть... Вы меня извините... Въ этой неприглядной глуши невольно и самъ сдѣлаешься дикаремъ... Какое рѣдкое знаніе жизни и какая сильная, искренняя любовь къ народу! Это не кабинетное писаніе; это крикъ живой и любящей души... Васъ не умѣли, да и не могли оцѣнить...

Милунчиковъ еще разъ пожалъ руку Ветлугину, сѣлъ къ окну, принявъ отъ дежурнаго чиновника дучу отобранныхъ для него журналовъ и газетъ и, еще не глядя въ нихъ, насмѣшливо обернулся къ Ключкову.

— А ты?—отнесся онъ къ нему:—такъ я и зналъ, такъ и предчувствовалъ. Ну, возможно ли это? Уѣхать, не подписавъ даже протоколовъ... А еще состоишь предсѣдателемъ комиссіи пользы и нужды...

— Пустяки. Я изъ уѣзда отлучился какихъ-нибудь на двое сутокъ. Не бросать же собственныхъ дѣлъ. Останься я, акціи торговаго банка мимо носа прошли бы. Да и взаимнаго кредита—вѣдь я тамъ директоръ... Но развѣ собраніе уже кончилось?

— А проектъ учительской семинаріи? А школа повивальныхъ бабокъ? А губернскій сборникъ? Вѣдь всего день бы ты переждалъ, день одинъ... Ты вотъ скрылся, а за тобою ускользнули другіе, и чрезвычайное собраніе вчера, разумѣется, за недостаткомъ гласныхъ закрыли...

Ключковъ на это промолчалъ.

— Да-съ, Антонъ Львовичъ,—продолжалъ онъ, указывая глазами на Милунчикова:—много здѣсь увидите любопытнаго! только смотрите, еще не опишите насъ...

— Есть чтó описывать,—презрительно пожалъ плечами Милунчиковъ, близорукими, мигающими глазами жадно вглядываясь въ развернутыя газеты:—развѣ тó, какими средствами, вы, господа охранители, оттираете изъ вашихъ собраний гласныхъ изъ крестьянъ?..

— Печальная комедія!—обратился Милунчиковъ къ Ветлугину:—было задумано хорошо и съ пользою для всѣхъ, а превратилось, по милости вотъ такихъ господъ, во чтó?.. Въ себялюбивые и надутые собственнымъ ничтожествомъ и пустотой сеймики поземельныхъ и капитальныхъ тузовъ...

Земство, это — пѣшеходъ, съ пудовыми гири на ногахъ; человекъ совершеннолѣтній — на бумагѣ, а на дѣлѣ — отдаленный подъ безсрочный надзоръ квартальнаго...

«Однако, онъ не отѣсняется!» — подумалъ Ветлугинъ.

— Ну, заиграли бабушкины куранты, — сказалъ, вставая и усиливаясь зѣвнуть, Ключковъ: — пойдемте... Нашелъ цивилизировавшийся... Теперь два битыхъ часа будетъ о насъ рассказывать... Богатъ мельникъ шумомъ, только слушайте его.

Милунчиковъ вскопчилъ. Газеты и журналы съ шумомъ посыпались съ его голѣвъ.

— Какъ? — вскрикнулъ онъ, неловко подбирая ихъ и принимаясь съ ними ходить по комнатѣ: — какъ? И ты еще скажешь, что это неправда? Неправда, что всѣ ваши подвиги рассчитаны на карманъ однихъ крестьянъ? Неправда, что вы берете у нихъ все и не даете имъ ровно ничего? Фарисеи! Что ты еще на-дняхъ проповѣдывалъ? Какія предположенія хоронилъ въ слѣпо вѣрящей тебѣ комиссiи пользы и нужды?

— А тысячу рублей для кого ты, сердобольный мытарь, выпросилъ у насъ? — сытымъ, хотя несмыльнымъ баскомъ, изъ другого угла комнаты, спросилъ, посмѣиваясь, Ключковъ.

— На всѣ-то школы въ уѣздѣ! Полно, это даже не смѣшно, а просто гадко! — плюнулъ Милунчиковъ: — чѣмъ чванится!.. Да ты своему свинопасу больше платишь жалованья, чѣмъ народнымъ учителямъ назначилъ... Упорные слѣпцы! Тупая, полинялая и жалкая толпа...

— Вотъ, какъ видите! — хихикая, указалъ на Милунчикова Ключковъ: — мы плохи — самъ онъ зато въ слѣпомъ царствѣ, — кривой король... Однако, слушай: будешь ли ты у Талищева на съѣздѣ?

— Собственного, честнаго контроля надъ земствомъ нѣтъ! — продолжалъ, не слушая Ключкова, Милунчиковъ: — вотъ главная всему причина!.. Что вы дѣлаете въ собранiяхъ? Съѣдетесь, усядетесь на день, на два, — издали понюхаете итоги, да обертки прихода-расходныхъ книгъ, — справите общiй обѣдъ, да скорѣе на радости и по нормамъ... Шутка ли, собранiя закрываются за недостаткомъ гласныхъ!.. Сознанiя и долга въ васъ нѣтъ... Впередъ вы не глядите... О будущемъ не думаете... И не только дальнiя губернiи, — смѣшно сказать! — смежныя уѣзды, подѣ-часъ, потребностей другъ друга не знаютъ... Печатные ваши отчеты валяются на

полкахъ управъ, неразрѣзанные нѣтъ... Вы, господа, выдохлись, выдохлись въ первые же три года, истрепались, какъ старыя кредитки... Не успѣли сказать вступительныхъ напыщенныхъ рѣчей, и уже стали рутиною, громкою кличкой, безъ всякаго содержанія и смысла...

— Да! еще бы читать стенограммы хоть бы твоихъ, положимъ, словоизверженій, — вклеить, еще ехидно подсмѣиваясь, но уже чувствуя себя значительно разбитымъ, Ключковъ: — лучше бы ты работалъ, а не витѣйствовалъ... Дороги и мосты, вонъ, такъ запустилъ, что мы только колеса ломаемъ....

— Университеты, гимназій — на чей счетъ заведены и содержатся? а? на чей? — болѣе и болѣе напирая на Ключкова, продолжалъ Милунчиковъ: — на миллионы, собранные съ народа! А самъ народъ у васъ безграмотенъ, тонетъ въ невѣжествѣ... Для кого ваши банки, училища, книги, театры и суды? А?... — Представьте, — съ горькой усмѣшкой и съ дрожавшей отъ негодованія нижнею челюстью обратился Милунчиковъ къ Ветлугину: — вы посторонній, заѣзжій, слѣдовательно, лучше оцѣните нашихъ общественныхъ дѣятелей. Знаете ли вы, что въ здѣшнемъ городѣ нѣтъ сносной воды для питья, нѣтъ освѣщенія и почти нѣтъ просвѣщенія, зато въ эти пять-шесть лѣтъ ровнѣхонько десять банковъ открыто... Десять банковъ!.. И все труды вотъ этого господина... Памятникъ ему!.. Адресъ!.. Почетное гражданство, съ брантмейстеромъ совмѣстно!.. Горожане, разумѣется, довольны... А крестьянинъ занялъ у сосѣда-кулака рубль, отдавай — два, а не то три... Трущобные кроты! совы!.. И еще думаютъ, что это такъ имъ даромъ и пройдетъ... Ошибаетесь... Ну, что смѣетесь? — обратился Милунчиковъ къ Ключкову: — отвѣчай, развѣ это не такъ? не такъ?..

Милунчиковъ до того, наконецъ, налегъ на Ключкова, что тотъ пересѣлъ ближе къ Ветлугину и даже руками на него замахалъ.

— Извините, — въ заключеніе обратился Милунчиковъ къ Ветлугину: — не могу хладнокровно смотрѣть на это общее наше жалкое прыганье, въ видѣ бѣлки въ колесѣ. Васъ же, гдѣ-бъ вы ни были, прошу вѣрить, что есть люди, которые вамъ горячо и искренно сочувствуютъ... Если вспомните меня и захотите видѣть — вотъ вамъ мой адресъ.

Онъ подаль карточку.

— Долго ли пробудете въ городѣ? — спросилъ Ветлугинъ.

— До вечера, завтра уѣду.

Милунчиковъ вышелъ. Черезъ минуту опять зазвенѣлъ его колокольчикъ и загремѣли его бубенцы.

— Что? видѣли? каковъ гусь? — спросилъ, выходя изъ почтовой конторы, Ключковъ (на немъ лица не было отъ оторченія): — а вѣдь избранъ чуть не единогласно... Ну, да я же ему это все вспоминаю... Недолго жить... Вотъ вамъ и нашъ земскій рай... Что, согласились бы вы жить среди такихъ господъ?

Ветлугинъ на это не отвѣтилъ. Не легко у него было на душѣ. И весь тотъ день передъ нимъ свѣтились добрые и полные грусти глаза Милунчикова, а въ ушахъ отдавался его надтреснутый, звучавшій безсильнымъ негодованіемъ и злобью голосъ.

«Ормуздъ и Ариманъ, — думалъ Антонъ Львовичъ, — бѣл-богъ и чернобога, добро и зло; идеалъ и практика... Какъ все это старо и какъ, въ то же время, неизмѣнно... Хорошій, повидимому, человекъ; но изъ-за чего такъ нерасчетливъ и не сдержанъ? Тутъ не съ Ключковымъ надо спорить, не на вѣтеръ силы терять, а дѣлать... Дороги и мосты у него, дѣйствительно, кажется, въ плохомъ видѣ — да и одни ли дороги и мосты?»

Вечеръ, наканунѣ отъѣзда, Антонъ Львовичъ провелъ въ прогулкѣ по городу. Кончалась вечерня. Народъ расходился изъ церквей. Ветлугинъ все приглядывался: не мелькнутъ ли гдѣ, у паперти, лица странницъ, читавшихъ на станціи Четы-Миней?... Но ихъ не было видно.

Не выходилъ у него изъ головы и Ключковъ... «Разумѣется, мыслилъ онъ, — найди отецъ-иного товарища — другое дѣло. Но ему понадобилась практика, Ариманъ... А на этомъ пути гдѣ же взять Ормуздовъ, гдѣ найти идеальныхъ людей? По неволѣ подвернулся ему этотъ чернобога, Ключковъ... Ну, да я постараюсь обратить его къ прежнимъ богамъ...»

Антонъ Львовичъ возвратился домой уже поздно ночью. Онъ прошелъ въ кухню къ Власьевнѣ, съ дѣлюю разбудить ее и узнать, принесли ли ему отъ портного новое платье, и распорядиться на утро о лошадахъ.

Власьева, однако, еще не спала. Въ ночной кофѣ и со свѣчей въ рукѣ, она копалась надъ перекладкой разнаго

хлама въ знакомомъ ему съ дѣтства собственномъ ея сундукѣ. При входѣ Антона Львовича, Власьева нѣсколько смѣшалась.

— Ты, няня, еще не спишь? Ужъ такъ поздно. Скоро станетъ свѣтать.

— Дѣломъ занимаюсь,—сердито крикнула старуха, тыча что-то на дно сундука.

— Какимъ дѣломъ?

— Укладываюсь... на всякій случай.

— Куда?

— Ужъ будто и некуда... Мало ли что... Неровень часъ, живешь-живешь, а придется иной разъ и отойти...

— Это ты еще откуда взяла?

— Откуда? откуда? зарядилъ! Что я, въ самомъ дѣлѣ, у васъ богадыка тутъ, что ли, какая? Точно и свѣту, что въ огнѣ... Чужіе, да и тѣ цѣнятъ. Вотъ Ключковъ, Петръ Ивановичъ, на кофту намедни подарилъ, а вчера прислалъ съ своими мальчѣнками стѣнные часы. «Хоть старенькіе, говорить:—бабушка, да съ кукушкой и съ боемъ»... А у твоего, старая-то, чтѣ нажила?

— Няня, полно! тебя ли слышу? въ твои годы! И ты туда-жъ, за всѣми, жадничаешь наживать?

— А нешто не сумѣю?—храбро подбоченилась Власьева:—увидишь... Вонъ нашей слободы баба въ городъ сюда пришла, блинами да печенками сперва торговала; а нонѣ, эвось — булки печеть и мнѣ лавчонку на базарѣ совѣтуетъ снять. Что глаза пялишь? Али не дѣло говорю? Нешто у васъ, что ли, жизнь? Ну, а на рынкѣ и съ человѣкомъ, съ настоящимъ, поговоришь, и живая копейка тебѣ въ руки по минутно; на чернѣйшій день пригодится.

«Вонъ оно, человѣчество!—подумалъ Ветлугинъ,—и няньку вѣкъ соблазнилъ... И ей тѣсно показалось старое, пригрѣтое мѣсто въ кухнѣ. И ее увлекаетъ нѣкій подозрительный Ариманъ...»

Въ полдень Антонъ Львовичъ получилъ послѣднія наставленія отъ отца и отъ Ключкова и послать за почтовыми... Пока Власьева хлопотала съ завтракомъ, а отецъ съ Ключковымъ просматривали текущую конторскую корреспонденцію, Ветлугинъ на извозчикѣ съѣздитъ навѣстить Милунчикова. Но послѣдняго въ городѣ уже не было. Онъ уѣхалъ рано на зарѣ.

— Не знаете ли, куда онъ уѣхалъ? — спросилъ Ветлугинъ квартирную хозяйку Мидунчикова: — не въ свою ли деревню?

— Къ своему родственнику, къ Вечерѣеву, хотѣлъ, кажется, заѣхать, — отвѣтила хозяйка.

«И отлично! — подумалъ Ветлугинъ, — «обоихъ увижу разомъ...»

Онъ возвратился домой, закусилъ и вышелъ на крыльцо, у подъѣзда котораго стояла запряженная перекладная.

— Я бы и самъ, другъ вы мой, съѣздили занять денегъ у Вечерѣева, — голубинимъ, воркующимъ басомъ умасливалъ Клочковъ, провожая Антона Львовича: — да мы съ Вечерѣевымъ нѣсколько не въ ладахъ. Поссорились тамъ за одно дѣло...

— За какое?

— Пустячное! Знаете стариковъ... Онъ былъ неправъ, — обидѣлъ меня и не хотѣлъ раскаяться. Ну, да я смотрю на это вотъ какъ — (Клочковъ растопырилъ пальцы и, ухмыляясь, поглядѣлъ сквозь нихъ на Ветлугина)... Мы съ Вечерѣевымъ, если хотите, даже нѣсколько свои. Но никогда не были дружны. Между нами будь сказано, онъ порядочная копилка, или, по просту, — стоячая вода. Я такихъ не люблю. Да и вы, я думаю, до такихъ не охотникъ. Слушайте, камрадъ. Если онъ сразу не войдетъ въ дѣло, вы не торопитесь уѣзжать. О! не уѣзжайте! Расшевелите его, заговорите ему зубы. Денегъ у него теперь довольно. Кромѣ участка лѣса, онъ, кажется, продалъ Талищеву еще и большой запасъ старыхъ дровъ. Но, какъ собака, самъ лежитъ на снѣгъ и другимъ не даетъ.

— Ужъ эти мнѣ наши рыцари-спячки! — продолжалъ Петръ Ивановичъ: — достались бы намъ съ вами его средства, встала бы у насъ на ноги эта мертвая земля!..

Лошади тронулись. Клочковъ даже на подножку тележки вскочилъ и выѣхалъ съ Антономъ Львовичемъ за ворота.

— Хлопочите же, камрадъ, хлопочите, — говорилъ онъ, заглядывая въ лицо Ветлугину: — главное, вездѣ и всегда помните великое изреченіе: держи носъ по вѣтру, и все пойдетъ какъ по маслу...

Левъ Саввичъ стоялъ на крыльцѣ, добродушно махнулъ оттуда сыну платкомъ и также покрикивалъ:

— Смотри же, Антонюшка, не ударь лицомъ въ грязь и

возвращайся съ побѣдой. Соштитомъ, иль на щитѣ... Помни... твоё посольство для насъ—торжество или полнѣйшее поражёніе... На тебя, въ эту минуту, такъ сказать, вся губернія смотритъ... ждётъ отъ тебя!.. Помнишь Наполеона у пирамидъ?

VIII.

Д у б к и.

«Отличился мой отецъ!.. И нужно же было ему столкнуться съ этимъ героемъ вѣка, съ этимъ російскимъ хитникомъ; Ключковымъ!»

Такъ размышлялъ Ветлугинъ, очутившись опять за городомъ, на просторѣ цвѣтушихъ полей.

«Да и я-то хорошій!—думалъ онъ,—и какъ все это вышло неожиданно. Ъхалъ навѣстить старика, отдохнуть въ родномъ углу, а попалъ въ такое дѣло... Что же, работалъ для другихъ, постараюсь и для него».

Недѣля жизни въ родномъ гнѣздѣ, несмотря на всѣ тревоги, оживила Ветлугина. Предстоявшіяся заботы казались ему легкими. Предположенія спасти отца и затѣмъ счастливо и прочно устроить его дальнѣйшій бытъ раскинулись заманчивою картиной.

Отъ мыслей о будущемъ отца Ветлугинъ перешелъ къ мыслямъ о будущемъ родины.

Много испытавшій, но не потерявшій вѣры въ людей, Антонъ Львовичъ, ни въ годы ученія въ столицѣ, ни въ тайгахъ и пескахъ Сибири, не переставалъ, въ золотыхъ снахъ о развитіи силъ общества, уноситься туда, въ это сверкавшее и манившее его будущее, гдѣ ему, днемъ и ночью, въ радости и въ печали, грезился теплый и радостный свѣточъ гражданскихъ побѣдъ и улучшеній — все оживляющій и все обновляющій. Видя людскія страданія, видя безумную роскошь счастливицевъ и рядомъ съ нею жалкое ничтожество бѣдняковъ,—онъ вѣрилъ въ одно—въ торжество разума на землѣ, и никакія горести не могли надломить его крѣпкихъ надеждъ. «Счастье придетъ!—думалъ онъ,—рано ли, поздно ли, солнце освѣтитъ непроглядную тьму... Талищевы и Ключковы не будутъ силой, рядомъ съ которой честные Милунчиковы пока по-неволѣ играютъ роль жалкихъ Донъ-Кихотовъ... Но мы-то, мы-то согрѣемся ли въ лучахъ грядущаго свѣтила?»

— Далеко ли до Дубковъ? — спросилъ Ветлугинъ на послѣдней станціи.

— Верстъ пятнадцать, — рукой подать, — отвѣтилъ староста: — тутъ за лѣсомъ будетъ тебѣ колдобинка, за колдобинкой тебѣ взволочка, а внизу его сейчасъ и Дубки...

Ветлугинъ поѣхалъ. Къ сумеркамъ стало прохладнѣе. Ни колдобинки, ни взволочка, однако, не было видно.

Узкая проселочная дорога, невдалека за поворотомъ съ пологого пути, пошла сплошнымъ кряжемъ лѣсистыхъ холмовъ, съ свѣжими, прохладными полянами и рощами орѣшника, клѣновъ и вязовъ. Внизу крутыхъ, то глинистыхъ, то песчаныхъ, обрывовъ, направо отъ дороги, мелькали пылающіе въ лучахъ заката плѣсы рѣки, надъ которыми въ вечерней тишинѣ раздавались крики коростелей и стоны горлянокъ, да перелетали проворныя стайки куликовъ.

Лѣшникъ на одномъ изъ перекрестковъ, видно, сбился съ пути. Лошади притомились. Ветлугинъ проѣхалъ часть и другой, а деревни Вечерѣева не было видно. Тянулася березовая роща. Колеса стучали по старымъ корнямъ.

Наконецъ уже поздно вечеромъ, когда высоко выплылъ на небо полный мѣсяцъ, роща стала рѣдѣть опять пахнуло воздухомъ полей, и Антонъ Львовичъ по косогору сталъ спускаться къ какому-то посѣлку, съ каменною церковью на выгонѣ и съ обширною усадьбой, и догадался, что это Дубки. На селѣ, расположенномъ поодаль, влѣво отъ усадьбы, не было слышно ни людского говора, ни глѣсень, ни даже лая собакъ. — «Эге-ге! да это ужъ выходить за полночь! — подумалъ Ветлугинъ, — какая досада; на первый разъ, и такъ опоздать! Пожалуй этотъ баринъ еще и не приметъ».

Дворъ, среди котораго остановились притомленные кони, былъ окруженъ красивыми каменными, подъ желѣзомъ, службами. Прямо противъ воротъ бѣлѣлъ высокій двухъ этажный домъ. Изъ-за его крыши выглядывали вершины еще болѣе высокихъ деревъ сада. Въ окнахъ было темно. Во дворѣ никто не отзывался на звукъ колокольчика, изрѣдка бряцавшего на дугѣ усталой коренной. Но гдѣ-то влѣво слышался раскатыстый смѣхъ, а еще лѣвѣе, за большимъ флигелемъ, выглядывавшимъ изъ другого запасного двора, раздавалось нѣчто въ родѣ треньканья бабалайки — и вслѣдъ затѣмъ къ телѣгѣ, на которой продолжалъ, толкуя съ ямщикомъ, сидѣть Ветлугинъ, подошелъ пожилой, съ виду полный, съ

кустоватыми, съдыми бровями и зоркими, глубоко сидѣвшими глазками — слуга, явно на-веселѣ. Узнавъ фамилію прѣзжаго, а также и то обстоятельство, что онъ изъ губернскаго города, да еще по дѣлу, слуга, прикрывая ладонью ротъ и слегка покачиваясь на короткихъ, вздрагивавшихъ отъ привычнаго усердія и пѣченія ножкахъ, сталъ низко кланяться и просить гостя слѣзть съ телеги.

— Кирилло Григорычъ дома?—спросилъ Ветлугинъ.

— Никакъ нѣтъ-съ... Да вы что же? Да вы пожалуйте-съ, время позднее... Милости просимъ переночевать съ дороги...

Ветлугинъ съ досадою отвернулся.

— Гдѣ же баринъ-то вашъ?

— Только вчера и уѣхалъ.

— Далеко ли и на долго ли?

— Верстъ за пятьдесятъ и—предположительно—на цѣлую недѣлю...

— Вотъ досада! А мнѣ сказали, что онъ здѣсь безвыѣздно живетъ.

— Точно такъ, сударь. Ужъ куда же имъ нонче и ѣздить! Баринъ старый; имъ бы только покой. Изрѣдка только ѣздить въ другую вотчину. Но въ эту пору онъ завсегда отлучается на именины къ одному тутъ старому своему сослуживцу и благопріятелю. Слѣзайте, ваша милость, переночуйте у насъ, отдохните. Время позднее; вы, можетъ, служашій. Баринъ будетъ недоволенъ...

— Надо же такое горе!—не могъ успокоиться Ветлугинъ:—никуда круглый годъ не ѣздить и вдругъ, какъ нарочно, уѣхалъ... А Милунчиковъ, Николай Ильичъ? онъ сюда ѣхалъ...

— Тоже не застали барина и проѣхали въ свою вотчину.

— Далеко отсюда?

— Верстъ двадцать.

Ветлугинъ понурился.

— Да вы не сумлѣвайтесь, ваша благородіе, — сказалъ Филатъ: — а мы, извините, маленько тутъ безъ барина, того-съ, какъ бы сказать, подгуляли. Но все вамъ будетъ миломъ-съ: и постель, и закусочка-съ... Баринъ нашъ добрый... данбартъ-человѣкъ-съ... Всѣ имъ довольны... И всякому у насъ чиновнику такъ ужъ заведено-съ, по порціи, кому что и куда... Вашему почтарю и конямъ тоже всего предоставимъ. Я теперъ за буфетчика-съ... Время позднее... видите...

— Ну, что, переночуемъ?—спросилъ Ветлугинъ ямщика. Тотъ, на всѣ лады божившійся дорогой, что подпадетъ подъ отвѣтъ и штрафъ, «хучь на часъ припоздастъ», и что «казенному ямщику не полагается ночевать въ сторонѣ»,— услыша про ужинъ, не оборачиваясь, отвѣтилъ: «Совѣтую и я, ваша милость, переждать. Мѣсто глухое; а какъ я уѣду, такъ вы, хоша разопнитесь, врядъ ли безъ барина тутъ и за деньги добудете лошадей: теперь рабочая пора».—«Рабочая!» прибавилъ со вздохомъ слуга.

— Дѣлать нечего, остаюсь... Гдѣ же вы мнѣ дадите переночевать?

— Въ саду, сударь, въ банькѣ-съ... Тамъ у насъ на этотъ счетъ такая бесѣдочка лѣтомъ! а зимой въ ней баня. Въ домѣ же безъ барина нельзя. Онъ у насъ на это строгъ и порядокъ любить. Заѣзжіе же, чиновники, али поѣшніе земскіе, все въ банѣ у насъ ночуютъ...

Ветлугинъ слѣзъ съ телѣги, а слуга ушелъ и скоро снова возвратился съ постельнымъ бѣльемъ. Перебросивъ бѣлье черезъ плечо, онъ у калитки въ садъ зажегъ свѣчу и, бережно заслоняя ее нѣсколько дрожащей, пухлой рукой, сказалъ: «пожалуйте, сударь: да осторожниѣе, не зацѣпитесь. У насъ не садъ, а дебрь; а цвѣтовъ столько, что хотъ лошадямъ коси на кормъ»...

— Какъ тебя звать?—спросилъ Ветлугинъ.

— Филатъ Ивановичъ нонче, а прежде Филькой звали; мы, сударь, стараго лѣса кочерга, и хотъ Богу мы не нужны, да и чортъ насъ не беретъ,—одначе своихъ господъ любимъ и не бросаемъ...

Гость и слуга окунулись въ темныя, полныя прохлады и лиственнаго запаха, развѣсистыя чащи сада. Отъ звука ихъ шаговъ, то здѣсь, то тамъ просыпались птицы и, съ тревожнымъ порохомъ толкаясь въ вѣтвяхъ, налетали на блескъ свѣчи. Скоро пахнуло сыростью, такъ какъ дорожка, казалось, подошла къ водѣ. Деревья стали рѣже. Скользявшій лучъ свѣчи освѣтилъ уголъ невысокаго, съ виду значительно запущеннаго аданія, съ готическими окнами, лѣпными карнизами и чугуннымъ, проросшимъ травой, крыльцомъ.

— Вотъ и банька-съ,—доложилъ, сѣменя проворными ножками, слуга.

— Что это? рѣка?

— Отъ самаго выгона течѣтъ-съ, и, какъ есть, вдоль

всего сада. Такъ пришлось. Камыши по ней большущіе. А дичи! И, отцы мои родные! Такъ и пырсаютъ тебѣ изъ-подъ ногъ... У меня есть и свое ружье... А-а-личное ружье!.. Баринъ подарилъ; говорить: охоться, Филать Ивановичъ... Ахъ, извините, кажись, въ замкѣ не тотъ ключъ...

Филать присѣлъ. Невѣрными, дрожащими руками онъ долго старался отворить дверь; наконецъ, онъ отперъ ее, но тутъ же нечаянно задулъ свѣчу и сказалъ опять: «ахъ, извините»...

«Однако, въ этомъ курятникѣ, надо полагать, не очень-то разоспишесь,—подумалъ Ветлугинъ, въ то время какъ Филать изъ кожи лѣзъ, на корточкахъ изловчаясь снова зажечь свѣчу,—зимой здѣсь баня, а лѣтомъ бесѣдка... Старые какое-нибудь, гниль; лягушки; улитки и пауки; а то, пожалуй, и летучія мыши... Запахомъ погреба, вѣроятно, отдаетъ, какъ всякое заброшенное жилье... Въ одномъ углу, ужъ это извѣстно, — расшатанная, ситцевая кушетка; въ другомъ — безногій столъ, дождевыя пятна на чуть-живой штукатуркѣ потолка... Печальные остатки прежнихъ, барскихъ затѣй»...

Какое же было удивленіе Ветлугина, когда, ступивъ изъ сѣней, онъ въ первой же комнатѣ, еще въ потемкахъ, подъ ногами почувствовалъ мягкій коверъ; а при блескѣ вновь зажженной свѣчки разглядѣлъ уютный, изящно отдѣланный и всѣмъ наполненный покой, гдѣ не слышалось ни гнили, ни запаха заброшеннаго жилья.

Пока слуга покрывалъ простыней и синимъ стѣганнымъ одеяломъ красный штофный диванъ, Ветлугинъ сталъ разсматривать мебель, драпировку и гравюры комнаты и остановился, какъ бы чѣмъ-то озадаченный...

Ему въ этой комнатѣ померещилось присутствіе тонкаго и чуть слышнаго пріятнаго запаха, и онъ подумалъ, что, вѣроятно, здѣсь гдѣ-нибудь, по близости, стоятъ тропическіе цвѣты.

— А теперь, сударь, и закусочку-съ,—сказалъ Филать:—только вы ужъ сами извольте приказъ отдать,—какой? Бѣлой очищенной, али настоечки съ зеленпой? У насъ всякая есть; только скомандуйте... Не думайте, что мы ужъ здѣсь совсѣмъ на краю свѣта... Оно точно, были мы въ колыяхъ и въ мяляхъ, а дѣло свое знаемъ... Все предоставимъ...

Послѣднія слова Филать произнесъ, отъ пріятности даже замуриваясь и слегка присѣдая, точно перепелъ, ночью во

ржи заслышавшій робкій топотъ перепелицы и готовый стремглавъ къ ней полетѣть и показать, каковъ онъ молодецъ.

— Умыться мнѣ, дружокъ, вотъ что нужно; а тамъ, пожалуй, дай хоть и закусить. Но гдѣ же здѣсь, ты говоришь, баня?

— Банька налѣво; тутъ сейчасъ изъ сѣней. Нонче тамъ садовые инструменты, да сѣмена для цвѣтовъ...

Филать ушелъ. А Ветлугинъ снова вопросительно поглядѣлъ вокругъ себя. Ему въ воздухѣ опять почудился тонкій, пріятный запахъ, но уже нѣсколько съ другимъ оттѣнкомъ: точно здѣсь набрызгали нѣжнѣйшими духами, или кто-нибудь пронесъ кадило съ дорогимъ пасхальнымъ ладаномъ.

«Что за странность!»—подумалъ Ветлугинъ. Обойдя комнату, онъ замѣтилъ въ углу, возлѣ печи, рѣзную лаковую дверку. Сперва онъ рѣшилъ, что это, вѣроятно, другой, чистый ходъ въ баню. Но дверь оказалась въ маленькую божницу, гдѣ передъ стекляннымъ съ образами кіотомъ, на старенькомъ аналоѣ, лежалъ молитвенникъ и теплилась серебряная лампадка. На полу былъ постланъ, закапанный воскомъ, коврикъ.

Недоумѣвая, что это за молельня, Антонъ Львовичъ возвратился въ первую комнату, взялъ свѣчу и отъ нечего дѣлать сталъ внимательно разсматривать висѣвшія по стѣнамъ старинныя, раскрашенныя гравюры. На нихъ изображалась охота въ голубыхъ горахъ Шотландіи, виды скалъ и озеръ, а между скалами—вереницы скачущихъ за сернами бѣлокрыхъ красавицъ и въ красныхъ плащахъ охотниковъ.

Между тѣмъ, возвратился Филать. Онъ внесъ умыванье, а вскорѣ затѣмъ большой серебряный подносъ, уставленный флагами и соленьями.

— Кто это здѣсь у васъ молится?—спросилъ Ветлугинъ, умывшись и сядя за закуску.

— Наша барыня.

— Развѣ у васъ есть и барыня? Мнѣ о ней ничего не говорили.

— Какъ бы вамъ доложить? Она почти что не живётъ сумѣстно съ бариномъ, уже нѣсколько годовъ. Посвятила себя, какъ есть, Богу и больше все ѣздитъ по богомольямъ.

— Почему же такъ?

— А Господь ихъ знаетъ; по какой-нибудь оказіи, вп-

дать, не сошлись съ бариномъ. Многое сказываютъ. Одни, что сонъ такой попричитлся барынь: не живи, молъ, съ нимъ, а ѣзди по церквамъ, да проводи время съ монашенками... А другіе говорятъ, что барыня будто бы въ прежніе годы свихнулась, что ли, а потомъ и покаялась.

— Не наше, разумѣется, сударь, дѣло; а господа у насъ, сказать, добрые,—настоящіе баре. Притомъ же вы, можетъ, думаете, что Филія повсегда пойдетъ въ церковь, а попадетъ въ кабакъ... Извините...

— Позволь, однако,—перебилъ рассказчика Ветлугинъ:—ты говоришь, что ваша барыня тутъ молится, а между тѣмъ, что она здѣсь почти не живетъ...

— Точно такъ-съ; она больше теперь въ другой ихней вотчинѣ, въ Пряхиномъ, проживаетъ. А здѣсь, видите ли, въ саду могила ихъ сына, что готовился когда-то въ гимназію и померъ, коли слышали. Я въ тѣ поры жилъ далече, у кандитера нанимался. Эту бесѣдку барыня особенно любить. Онъ здѣсь молится. А прежде тутъ у господъ садовые концерты справлялись, фейверки жгли надъ рѣкой...

— Красивая, однакоже, была ваша барыня! — замѣтил Ветлугинъ.

— Вы почему, сударь, знаете? Нешто во младости ихъ гдѣ видывали?—спросилъ Филатъ, и самъ тутъ же спохватился, что сказалъ не впопадъ, разглядѣвъ еще вполне молодое лицо гостя.

— Я по портрету сужу. Это ея портретъ?—спросилъ Антонъ Львовичъ.

Онъ оставилъ закуску и со свѣчей поднялся къ стѣнѣ, гдѣ, между скачущихъ за сернами шотландскихъ красавицъ, надъ диваномъ, въ круглой дубовой рамкѣ, висѣло акварельное изображеніе двѣнадцати или тринадцатилѣтней дѣвушки, съ восточнымъ типомъ смуглаго, худошаваго лица. Большіе, черные глаза и приди пышно выющихся, до плечъ обрѣзанныхъ волосъ—что-то вдругъ, хотя неясно, напомнили Ветлугину. — «Неужели!» — подумалъ онъ и замеръ со свѣчей въ рукѣ.

— Да это, сударь, не барыня, а наша барышня,—отвѣтилъ, шурясь изъ-подъ ладони на портретъ, Филатъ.

— Такъ у вашего барина и дочка есть?—спросилъ, помолчавъ, Ветлугинъ.

— Есть,—отвѣтилъ, становясь опять у двери, Филатъ;—

только, видно, тоже... какъ бы вамъ сказать?.. по матери ей написано пойти...

— Почему такъ?

— Съ малыхъ лѣтъ съ ней барышня ѣздитъ по церк-
вамъ, да по монастырямъ — то на одно богомолье, то на
другое. Недѣлю назадъ, слышно, изъ Пряхина опять куда-
то отъѣхали...

— Одна только у господъ вашихъ дочка?

— Вотъ, какъ цѣреть. И всего-то въ ней, сердешной,
нонѣ и поколѣнія Господскаго Вечерѣвыхъ состоитъ. Эхъ,
коли бы не барышня, а барченокъ покойный!.. Хозяиномъ
былъ бы здѣсь. Меня бы поставилъ въ егеря...

— И какая, сударь, добрая наша барышня, да краса-
вица, вотъ, какъ писанная — вдохнулъ Филать: — и всего
пошелъ ей восемнадцатый годикъ...

Ветлугинъ болѣе не прикасался къ закускѣ. Онъ сталъ
прохаживаться по комнатѣ. Филать принялся убирать со стола.

— Странно! — не утерпѣлъ, какъ бы про себя, замѣтитъ
Ветлугинъ: — такая молоденькая и такъ рано стала наклонна
къ молитвамъ...

— И, Боже, какъ наклонна! — даже зажмурился Филать: —
все святыя книги съ родительницей читаетъ, а мнѣ одинъ
разъ про мириканскихъ проповѣдниковъ читала, какъ ихъ
дикари пожирали да, анаемы, и поѣли. Я ихней кормилицѣ
Егоровѣ племянникъ.

— Но кто же это, однако, безъ нихъ накурилъ здѣсь
ладаномъ? — спросилъ Ветлугинъ: — и лампадка передъ кіо-
томъ зажжена.... Ты говоришь, что барыня съ дочерью ку-
да-то уѣхала?..

Филать поводитъ носомъ по воздуху, пожалъ плечами и
заглянулъ въ образную.

— У меня, сударь, насморкъ; ничего, какъ есть, не слышу.
Такъ временами залижетъ, что хоть отруби. Здѣшняго попа
дочка, Афросинья Андріяновна, безъ барыни за всѣмъ тутъ
ходитъ и наблюдаетъ. Это она, видно, и накурила. Постѣ-
завтра, кажись, какого-то святого... Счастливо, сударь, оста-
ваться.

Филать ушелъ. Ветлугинъ раздѣлся и легъ.

«Странное стеченіе обстоятельствъ! неспостижимо! — дума-
лось ему въ тишинѣ, — это она! она! никакого нѣтъ сомнѣ-
нія... Но что творится въ мірѣ! Тамъ — мой отецъ покидаетъ

старческий покой и съ пыломъ юноши бросается въ торговля предприятия, въ коловоротъ непосильнаго труда... Здѣсь же единственная, молодая дочь богатаго человѣка проводитъ дни по богомольямъ и, какъ отшельница далекой старины, думаетъ объ одномъ,—о загробной жизни...»

Ветлугинъ задулъ свѣчу. Въ рѣзное окно бесѣдки свѣтилъ сквозь чащу сада мѣсяцъ. Вскорѣ и онъ закатился въ темную кущи деревъ. Въ щель лаковой дверки пробивался только чуть видный свѣтъ лампадки.

«А что, если это не дочь священника тутъ была, а сами хозяйки возвратились?» пришло на мысль Ветлугину.

Онъ плотнѣе завернулся въ одѣяло и закрылъ глаза. Но сонъ отъ него бѣжалъ. Въ тѣлѣ чувствовалась дрожь. Кровь стучала въ вискахъ. Ему грезились черные, большіе глаза, пышные, вьющиеся волосы и блѣдныя, ладаномъ прокуреныя руки...

Долго Ветлугинъ не могъ заснуть. Онъ думалъ: «гдѣ она? и она ли именно обитаетъ въ этихъ мѣстахъ, ходитъ по этому полу и молится здѣсь, за эту дверь? Нѣтъ, не можетъ быть. Это случайное сходство... Я ошибаюсь...»

Передъ разсвѣтомъ, смуглое, сверкающее лаской и красотой лицо откуда-то будто склонилось къ нему, блѣдная рука въ темнотѣ какъ бы тронула его за голову, тихо и нѣжно прикрыла его усталые глаза и ему шепнула: «спи, еще вдоволь испытаній впереди... И не одну бессонную ночь ты будешь метаться въ постели и ломать голову надъ бѣдной, жалкой и грустной загадкой земли».

IX.

Въ библіотекѣ.

Утро давно загорѣлось. На зарѣ перепалъ дождь, и въ раскрытыя окна бесѣдки весело смотрѣли росистыя вѣтви черемухъ, акацій и жимолости. За ними, влѣво, въ пере-
| межку съ полянами, виднѣлись рощицы липъ и клёновъ, съ просвѣтами садовыхъ дорожекъ; вправо—голубая излучина рѣки, а за нею—картинныя холмы, съ зелеными оврагами, кустами и одиноко стоящими дубами. Все дышало свѣжестью; все было полно блеска и запаха цвѣтовъ. Въ прибрежныхъ вербахъ перекликались иволги. Въ полѣ гремѣли перепела... На крышѣ бесѣдки, шумно взлетывая, ворковали голуби.

Ветлугинъ вышелъ на крыльцо, увидѣлъ, что на рѣкѣ, недалеко отъ бесѣдки, устроена купальня, и, желая освѣжиться, отправился туда. Съ берега къ купальнѣ вела небольшая лѣсенка. Долго онъ плескался въ прозрачной, студеной водѣ, мысленно хваля за это удовольствіе незнакомаго хозяина и разсуждая о вчерашнемъ разговорѣ со служгой. Онъ одѣлся и только-что взялся за ручку дверецъ, какъ за камышами, съ другой стороны рѣки, послышались негромкіе голоса. Ближе и ближе, точно кто собирался съ выгона проникнуть въ садъ, отыскивая мостокъ или бродъ. Антонъ Львовичъ пріостановился и началъ слушать.

— Ой, да тише же!—говорилъ одинъ голосъ:—не столкни ты меня, Фросинька... Видишь, какъ дрожатъ жердочки: мостокъ такъ и ходитъ. А ты все толкаешься—шалишь.

— Упадешь, одной — хоть и Христовой — невѣстой на свѣтъ будетъ меньше,—отвѣтилъ другой, веселый и звонкій голосокъ.

— Во-первыхъ, ты уже знаешь мои мысли, — возразилъ первый голосъ:—да что ты, противная, смѣешься?.. Говорю тебѣ, не быть этому... А во-вторыхъ, если бы я и уто-нула...

Съ этими словами, обгоняя другъ друга, говорившія миновали мостикъ, и не успѣлъ Ветлугинъ опомниться, какъ дверь въ купальню распахнулась, и на ея порогъ, въ утреннихъ бѣлыхъ блузахъ и въ платочкахъ на головахъ, показались двѣ молоденькія особы: одна полная, невысокаго роста, веселая блондинка съ вздернутымъ носикомъ, съ голубыми, быстрыми глазками и съ красными, какъ яблоки, щеками; другая—сухощавая, съ лицомъ строгимъ и смуглымъ, точно опаленнымъ лучами жаркаго, южнаго солнца, стройная и гордая брюнетка.

При видѣ незнакомаго, бородатаго мужчины, такъ неожиданно забравшагося въ купальню и съ открытымъ ртомъ и съ фуражкой въ рукѣ неподвижно стоявшаго у двери, обѣ дѣвушки вскрикнули, отступили и на меновѣніе оторопѣли.

Блондинка едва удержалась отъ смѣха. Нагнувшись и зажимая ротъ, она первая взбѣжала на берегъ. Брюнетка медлила долѣе. Пораженная присутствіемъ незнакомца, она поблѣднѣла, въ упоръ ему метнула молнію быстрого и вмѣстѣ негодующаго взгляда, хотѣла что-то сказать и не могла: только ея нижняя губа нервночески дрогнула, да сердито

сдвинулись черныя брови.—«Алинька, да иди же!» хохотала тѣмъ временемъ изъ-за спины подруги блондинка.—«Иду!» отвѣтила, медленно поднимаясь по лѣстницѣ, брюнетка.

Ветлугинъ опомнился тогда уже, какъ обѣ дѣвушки скрылись въ чащѣ деревь. Онъ въ брюнеткѣ безъ труда узналъ ту особу, которую въ ночь передъ прїѣздомъ къ отцу увидѣлъ на станціи, за чтеніемъ Миней.

«Вотъ тебѣ и на!—разсуждалъ Ветлугинъ, выйдя изъ купальни на дорожку,—что ни часъ, то новая путаница: невпопадъ не засталъ хозяина; а тутъ, въ его отсутствіе, наѣхали его жена и дочка. Что подумаютъ они теперь обо мнѣ?»

Въ досадѣ и въ тревогѣ онъ принялся ходить по берегу, поджидая слугу и боясь отъ бесѣдки двинуться далѣе въ глубь сада. Оглашаемыя птичьими криками и свистами, темныя, развѣсистыя аллеи теперь смущали, волновали и пугали его.

— Такъ и есть... Подѣхали-съ,—раздался изъ-за деревь веселый голосъ Филата.

— Кто? и баринъ?

— Никакъ нѣтъ-съ; только барыня и барышня.

— Кто же съ барышней приходитъ сюда изъ-за рѣки купаться? Ихъ было двѣ.

— Именно, именно,—подхватилъ, хихикая, Филатъ:—мы вчера, сударь, проглядѣли... Ну-съ, а барыня съ барышней, поздно, въ сумеречки, и подѣхали на почтовыхъ къ священнику. Узнали, что барина нѣтъ дома, да и просидѣли тамъ въ бесѣдѣ за полночь. Меня не будили; встрѣтила ихъ Егоровна-садовница... Барышня съ поповной вчера, иначе, гуляли, да и приходили сюда посидѣть; онѣ же прибѣгли это и купаться.

— Ну, Филатъ,—сказалъ Ветлугинъ:—скорѣй же отыскивай ямщика и вели запрягать. Еще рано, и я сегодня же успѣю воротиться домой.

— Помилуйте, сударь, что вы! не обѣдавши-то, да опять за столько верстъ? Барыня узнаетъ, прогнѣвается!

— Я не къ барынѣ, а къ барину прїѣхалъ,—притомъ за дѣломъ,—отвѣтилъ Ветлугинъ:—барина нѣтъ; а потому и вели мнѣ запрягать.

Филатъ искоса глянулъ ему на сапоги, потоптался на мѣстѣ и, раздумывая: «строгій какой, видно, недоимку прї-

ѣхалъ собирать!» неохотно побрелъ ко двору, гдѣ вскорѣ брякнулъ колокольчикъ; тоже, какъ видно, не совсѣмъ охотно прилаживаемый отдохнувшимъ въ веселой компаніи ямщикомъ.

Филать возвратился опять.

— Къ барынѣ сейчасъ иду, — сказалъ онъ: — завтракъ велѣли подавать; и вы бы, сударь, къ нимъ, въ такомъ разѣ!

Онъ былъ уже во всѣхъ принадлежностяхъ стараго слуги, въ черномъ фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и въ перчаткахъ.

— Туда изволите къ чаю пожаловать? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ, голубчикъ, принеси, если можно, чаю сюда, — отвѣтилъ Ветлугинъ, садясь на крыльцо бесѣдки: — я по-дорожному; не разсчитывалъ видѣть хозяекъ и идти къ нимъ не могу.

— Помилуйте-съ... Пензачекъ у васъ, какъ есть, по модѣ; а ужъ насчетъ нашихъ господъ, такъ они, примѣромъ, совсѣмъ невзыскательны...

— Спасибо; я не могу. Надо къ ночи возвратиться въ городъ.

— Припоздаете; да и ямщикъ вашъ, тово-съ, какъ будто неладенъ: не ровенъ часъ, какъ бы еще и въ яму не завезъ.

Но Ветлугинъ былъ непреклоненъ. Ссылаясь на безотложность и спѣшность дѣла, онъ повторилъ просьбу — принести ему чаю въ бесѣдку и барынѣ о его приѣздѣ не сообщать. Филать исполнилъ его желаніе въ точности. — Ну-съ, лошади вамъ, сударь, готовы, — сказалъ онъ: — счастливаго пути, — а я теперь къ барынѣ. На почту посылають... — Ветлугинъ окольными дорожками выбрался изъ саду, сѣлъ въ телѣжку и велѣлъ ямщику ѣхать какъ можно скорѣе, боясь, какъ бы хозяйка, изъ любезности, не пригласила его и тѣмъ не задержала бы его на пути домой.

На взгорѣѣ, за церковью, однакоже, его догнали двое верховыхъ: тотъ же во фракѣ и безъ картуза, Филать и какой-то широкоплечій, молодцоватый паренъ, въ красной рубашкѣ, плисовыхъ шароварахъ и въ сергѣ.

- Что вамъ? — спросилъ озадаченный Ветлугинъ.

— Неравно, сударь, вашъ ямщикъ не заблудился бы! — началъ запыхавшійся Филать: — такъ барыня велѣли вамъ дать въ провозытые вотъ этого нашего другого кучера, Самсонку. Онъ, кстати, со станціи привезетъ, коли есть, для господъ письма, али газеты...

Рослаго каретного коня тутъ же пристегнули къ парѣ почтовыхъ. Молодцоватый Самсонъ, съ развѣвающимися красными ластовицами, молча усѣлся рядомъ съ ямщикомъ, принявъ отъ него на время вожжи, а ему поручилъ набить собственную свою трубку, и тройка дружно побѣжала въ гору.

— Дорожка, сударь, скатертью! не забывайте насъ! — кричалъ Филать, издали помахивая рукой и въ силу сдерживая, неумѣлыми колѣнами, свертывшагося по выгону раскормленного и рѣзваго барскаго коня.

«Ну, наконецъ-то выбрался! — отрадно вздохнулъ Ветлугинъ, когда усадьба, церковь, выгонъ и весь поселокъ Дубковъ остались далеко за его спиной: — съ порученіемъ отца чуть не вышелъ цѣлый каробъ приключеній. Впрочемъ, благодаря судьбѣ, еще легко отдѣлался... И хорошъ бы я былъ, сибирскій дикарь, въ таинственномъ приютѣ этихъ отшельницъ... Что подумали бы онѣ обо мнѣ, если бы я, послѣ глупой исторіи съ купальной, ни съ того, ни съ сего, вздумалъ еще проникнуть въ ихъ ладаюмъ накуранный монастырь?»

Солнце начало сильно припекать затылки молча и безъ устали курившихъ возницъ. Лошади бѣжали лѣнливо. Ветлугинъ распустилъ зонтикъ и, въ тѣни его, продолжалъ размышлять о томъ, какъ въ сущности все вышло хорошо: какъ онъ будетъ имѣть окончательно предлогъ удержать отца отъ опасныхъ торговыхъ затратъ вообще и отъ дальнѣйшихъ дѣлъ съ Ключковымъ въ особенности, — и какъ, покончивъ все, опять вольной птицей понесется за Уралъ...

Жаль ему было одного: изъ-за чего Вечерѣва возила по богомольямъ свою дочь? Эта мысль неотвязчиво стала его преслѣдовать и занимать.

— Станція, — сказалъ ямщикъ.

Ветлугинъ очнулся, открылъ глаза. Онъ дремалъ и не замѣтилъ, какъ проѣхалъ болѣе двухъ часовъ.

Телѣжка выбралась изъ рощи и крутымъ скатомъ медленно спускалась въ лѣсистую долину, къ станціонному двору. Самсонъ отпрягъ своего коня и сзади, нѣсколько поодаль, велъ его въ поводу. А съ противоположнаго края долины, другимъ, болѣе пологимъ скатомъ, пересѣкая пыльный и почтовый путь, также къ станціи, шестерикомъ спускался обширный дормезъ.

— Какъ бы намъ его опередить? — сказалъ Ветлугинъ,

понукая ямщика: — а-то заберутъ прежде меня почтовыхъ, и тогда какъ разъ здѣсь просидишь до поздней ночи...

Ямщикъ приударилъ. Телѣжка, пыля, быстро подкатила къ крыльцу. Карета, между тѣмъ, также миновала подошву холма, но не доѣхала до станціи и остановилась нѣсколько поодаль.

«Ну, на этотъ разъ удалось... Замѣтили, видно, что ихъ опередили, и сами уступили мнѣ очередь!» — обрадовался Ветлугинъ, всходя на крыльцо и подавая смотрителю подорожную.

— А вѣдь это наши! — воскликнулъ подоспѣвшій Самсонъ, разглядывая противъ солнца бѣлый пестерикъ знакомыхъ взмыленныхъ лошадей, изъ которыхъ одна уже радостно перекликалась съ его конемъ.

— Кто ваши?

— Баринъ возвратился...

Зеленая штофная занавѣска каретнаго окна поднялась. Оттуда выглянула сѣдая скулистая голова, съ смутлыми, тщательно выбритыми щеками и съ черными, какъ бы подернутыми желтизной, глазами, раздался голосъ: «Самсонъ, ты здѣсь зачѣмъ?»

Самсонъ подбѣжалъ къ каретѣ, снялъ картузь, объяснилъ, что провожаетъ какого-то господина, и сейчасъ же возвратился къ Ветлугину.

— Баринъ просить вашу милость къ себѣ, — сказалъ онъ.

«Не судьба! — помыслилъ Ветлугинъ, — и надо же было ввязаться этому провожатому и его бѣлому коню! не будь ихъ, — мы бы окончательно разъѣхались...»

«Да, положительно бы разъѣхались!» — повторялъ потомъ въ жизни много разъ Ветлугинъ, вспоминая этотъ вечеръ, станцію въ лѣистой, прохладной долигѣ, карету съ сѣдымъ старикомъ и все то, что безъ этого осталось бы для него навсегда чуждымъ и позабытымъ.

— Какъ? вы сынъ Льва Саввича Ветлугина, учителя моего покойнаго Володи? Вы — Антонъ Львовичъ?.. И, захавъ такъ далеко, не захотѣли меня подождать?.. Стыдно, молодой человѣкъ, стыдно! — внушительно и вмѣстѣ ласково отозвался костлявый и рослый, хотя нѣсколько сгорбленный старикъ, одѣтый въ бѣлую пикейную пару и съ бѣлою пикейною фуражкой на плотно остриженной сѣдой головѣ.

Вечеревъ вышелъ изъ кареты, бросилъ туда раскрытую

книжку французскаго романа, медленно снявъ бѣлыя, вязаныя перчатки, дружески протянулъ руки Ветлугину и сказалъ:

— Дайте же, я на васъ получше погляжу и васъ, отважный русскій пионеръ и мой юный другъ, — позвольте мнѣ васъ такъ звать, — покрѣче обниму.

Они обнялись.

— Вылитый Левъ Саввичъ! — съ ласковой улыбкой, взявъ Антона Львовича за обѣ руки и любуясь имъ, продолжалъ Вечерѣевъ: — точь-въ-точь вашъ батюшка былъ такой же въ тѣ годы, какъ поступилъ учителемъ въ здѣшнюю гимназію... Да, я познакомился съ нимъ именно въ то время. Былъ на актѣ, а онъ говорилъ рѣчь о вліяніи сатиры на общество Васъ, разумеется, тогда еще не было на свѣтѣ. О! это былъ восторженный и пылкій человекъ. Увы! годы и многое взяли свое. Онъ измѣнился; но я его попрежнему люблю. Мы давно не видались; письмами же перекидываемся... больше все бесѣдовали о васъ. Да, признаться, я-таки за вами слѣдилъ съ особымъ сочувствіемъ. Вы вѣдь развѣдчикъ, начинатель, — въ глубь Бухары проникали, въ Кашгаръ... Ваше имя мы даже въ газетахъ встрѣчали. Читалъ я, наконецъ, и разборъ изданной вами книги о рабочихъ... Будь живъ мой Володя, и онъ современемъ, можетъ, сталъ бы такимъ же дѣльнымъ, предприимчивымъ и работающимъ человекомъ, какъ и вы! — грустно заключилъ Вечерѣевъ, трепля Ветлугина по плечу.

«А глаза-то, глаза! точно у дочери! — думалъ тѣмъ временемъ, глядя на Вечерѣева, Ветлугинъ: — большіе и полные грусти и огня; сухи, но будто недавно плакали... И смуглый такой же, и гордое выраженіе лица»...

— Чему же я обязанъ вашимъ заѣздомъ? Изъ какихъ вы странъ, и какъ поживаетъ, чтó подѣлываетъ милый и почтенный отшельникъ, Левъ Саввичъ? Что его куры, кролики и павлины?

Ветлугинъ, нѣсколько путаясь и съ оговорками, сообщилъ Вечерѣеву о порученіи отца, сказалъ, что не смѣлъ бы поддерживать дѣтской его затѣи, но счелъ долгомъ навѣстить добраго знакомаго своего отца, и что если Кирилло Григорычъ не прочь отъ добрыхъ дѣлъ, то онъ готовъ съ нимъ обсудить, на чтó именно можетъ быть употреблена эта помощь. — Ветлугинъ ожидалъ, что Вечерѣевъ поморщится или снисходительно улыбнется и, подъ благовиднымъ предлогомъ,

сразу откажетъ ему въ просьбѣ отца. Вышло, однако, иначе. Вечерѣвъ задумался, еще крѣпче, пожалъ руку Ветлугину и, глядя вдаль, къ спящимъ окраинамъ долины, сказалъ:

— Такъ, такъ... Что дѣлать, знаю. Кое-что до меня дошло... Еще потеря, еще уходитъ одинъ... Время уже, видно, такое наступило... Вербуетъ оно, вербуетъ свои полки... Впрочемъ, обсудимъ... Кажется, можно ему пособить. Во всякомъ же разѣ, и прежде всего. Я отъи́нно радъ тому, что нѣкоторое мое промедленіе съ окончательнымъ отвѣтомъ дало мнѣ случай познакомиться съ хорошимъ человѣкомъ, а кольми паче съ такимъ, какъ вы. И потому, надѣюсь, вы теперь, Антонъ Львовичъ, не откажетесь возвратиться ко мнѣ.

Ветлугинъ медлилъ согласіемъ.

— Полноте, полноте, молодой дѣлецъ. Уступите намъ себя хоть на время... Самсонъ, ты оставайся, забереешь почту... А вещи ваши мы положимъ въ карету, и маршъ ко мнѣ. Небо какъ будто заволакиваетъ. Видно, завтра дождь. Намъ зато будетъ прохладнѣе ѣхать. Мои кони отдохнули и теперь побѣгутъ хорошо. Я ихъ, кстати, не вдали отсюда, на постояломъ дворѣ, подкормилъ и напоилъ...

Нечего было дѣлать. Ветлугинъ согласился; рассчитался со смотрителемъ, сѣлъ въ карету къ Вечерѣву, и сѣрый шестерикъ опять выбрался на бугоръ, звякнувъ бляхами и цѣпочками наборныхъ хомутовъ и дружною рысью понесся обратно въ Дубки.

— Но вы, Кирилло Григорьевичъ, уѣхали изъ дому, кажется, не менѣе какъ на недѣлю?—спросилъ Ветлугинъ.

— Такъ... Увы! мой пріятель и сослуживецъ Ченшинъ, къ которому я постоянно, разъ въ годъ, ѣзжу въ эту пору на именины, тоже увлекся приманками торговыхъ оборотовъ. Онъ принялъ долю въ устройствѣ желѣзной дороги черезъ сосѣдніе уѣзды и, не дождавшись меня, выѣхалъ за сто верстъ, на какой-то съѣздъ инженеровъ, землевладѣльцевъ и капиталистовъ. Нынче все предпріятія, съѣзды, проекты, да ассоціаціи. Одинъ я ни къ кому не пристаю и болѣе всего люблю покой и тишину...

Карета неслась.

Вечерѣвъ сталъ припоминать ту пору, когда отецъ Ветлугина готовилъ его сына въ гимназію. Онъ въ подробности разсказалъ, какъ проводилъ съ нимъ время, и какъ

Левъ Саввичъ плѣнялъ его чистотой убѣжденій и рѣдкою честностью восторженной души.

— Но какъ-же, однакоже, философъ! — воскликнулъ Кирилло Григорьичъ: — да и годы-то, повторяю, какъ бѣгутъ! Кто могъ бы думать, ожидать? Прошло какихъ-нибудь семь, восемь лѣтъ, и какъ онъ измѣнился! Да... Новый вѣкъ и новыя идеи... Дай Богъ вашему отцу успѣха... Я охотно ему помогу, охотно, тѣмъ болѣе, что, вѣроятно, вы же будете руководить его предпріятіями. Да и кому же больше? Вы практикъ, съ вами не опасно никому. Ну, а безъ васъ онъ, недавній затворникъ и мечтатель, того и гляди, еще попадетъ въ руки къ темнымъ личностямъ, какихъ теперь немало. Вотъ хоть бы мой сосѣдь...

— Кто такой? — спросилъ Ветлугинъ.

— А мало ли ихъ теперь у меня, да и у каждаго изъ насъ. Вѣрите ли, жажда къ обогащенію у нѣкоторыхъ изъ этихъ господъ пріобрѣтателей такова, что, кажется, отпадного не пожалѣютъ, если это будетъ выгодно для какой-нибудь ихъ спекуляціи...

«Ключковъ! — пробѣжало въ умѣ Ветлугина, — и здѣсь, видно, не на шутку насолилъ».

Вечерѣвъ съ презрѣніемъ откинулся въ уголъ кареты и замолчалъ.

— Зато, мой добрый другъ, — началъ онъ, погода: — я теперь живу какимъ-то вырождаемъ среди другихъ... Хозяйствомъ почти не занимаюсь... Вотъ хоть бы этотъ дѣсь. Вы думаете, что я продалъ его для барышей? Ничуть не бывало. Этотъ дѣсь былъ въ чрезполосномъ владѣніи; а здѣшнему предводителю Талищеву понадобились дрова для завода, такъ я съ моимъ порубежникомъ и кончилъ дѣло купчей...

— Но почему же вы, Кирилло Григорьевичъ, разлюбили хозяйство?

Вечерѣвъ, казалось, не слышалъ этого вопроса. Онъ глядѣлъ вдаль, къ зеленымъ, убѣгающимъ холмамъ, и молчалъ.

Ветлугинъ повторилъ вопросъ.

— Не къ тому, съ нѣкотораго времени, стремятся мои помыслы, — началъ тихо и какъ бы въ раздумь Вечерѣвъ: — я послѣдній изъ могиканъ... Да, цвѣты, картины, музыка и книги, — вотъ моя отрада, хотя прежде, говорю вамъ, и я былъ однимъ изъ неутомимѣйшихъ хозяевъ... И не новѣйшія реформы измѣнили меня... О, нѣтъ! Я не чертовый

и не жадный человекъ... Не новые порядки отняли у меня рабочий пылъ. Не о томъ, ахъ! не о томъ теперь болитъ моя душа...

Вечеревъ опять замолчалъ. Въ голосъ его будто что-то оборвалось; въ немъ, какъ показалось Ветлугину, дрожали слезы. Онъ закрылъ глаза, чуть слышно вздохнулъ и, съ трудомъ пересиливая себя, какъ бы желая отогнать нѣкую, особенно томившую его мысль, заговорилъ о другомъ.

— Ну, скажите... Видѣли вы мой домъ, паркъ, цвѣты? Понравилось вамъ у меня?

— Дома я не видѣлъ: я переночевалъ въ саду и сейчасъ же уѣхалъ обратно.

— Какъ? Вы ночевали въ бесѣдкѣ?

— Да.

— И вамъ не показали моего дома?

— Некогда было; я торопился, чтобы еще сегодня поспѣть къ отцу... Впрочемъ, на вашу усадьбу довольно было взглянуть и снаружи: все у васъ устроено съ такимъ вкусомъ.

Вечеревъ оживился.

— Самъ когда-то, самъ я хлопоталъ надъ всѣмъ этимъ... Паркъ въ двадцать десятинъ разбилъ, садъ насадилъ въ пятнадцать. Церковь построилъ, домъ, службы. При богатствѣ, вы скажете, это не диво. Не диво-то, не диво. Но сколько я надъ этимъ лично потрудился, сколько было въ началѣ разочарованій и неудачъ. Плоды зато собираю теперь...

Вечеревъ горько усмѣхнулся. Что-то недосказанное, тяжелое снова отозвалось въ его словахъ.

Карета мчалась мѣрною рысью. Виды мѣнялись. Солнце спряталось за тучей. На поля и на ближніе лѣсистые холмы легла густая тѣнь. Стали падать крупныя капли дождя.

Прошло нѣсколько минутъ. Ветлугину показалось, что его суровый собесѣдникъ, сидя съ нимъ рядомъ, отъ усталости вздремнулъ. Но, покосясь на него, онъ увидѣлъ, что Вечеревъ не спитъ. Лицо его стало еще сумрачнѣе. Глаза были устремлены въ окно.

— Вы,—съ усиліемъ и точно глотая подступавшія слезы, обратился онъ къ Ветлугину:—вы ничего не слышали о моихъ... о моей семьѣ?

Антонъ Львовичъ слегка смѣшался и отвѣтилъ, что не слышалъ ничего.

Вечеревъ вздохнулъ.

— Володя, Володя! — дрожащимъ голосомъ и точно про себя тихо прошепталъ старикъ: — жилъ бы ты на свѣтѣ, было бы у меня для кого работать и жить...

Съ этими словами, Вечерѣвъ плотно прижался къ каретному углу, закрылъ глаза и, какъ нѣкое привидѣніе, весь въ бѣломъ, молча просидѣлъ до конца пути.

Солнце опять выглянуло. За пригоркомъ блеснулъ крестъ церкви Дубковъ. Показалась крыша дома. Кони миновали выгонъ, рѣзко вбѣжали во дворъ и, фыркая, остановились у крыльца.

Нежданный возвратъ барина и давешняго гостя окончательно сбилъ съ толку Филата. Онъ вприпрыжку, придерживая фалды фрака, прибѣжалъ изъ флигеля и до того заметался у парадныхъ дверей, что еще долѣе, чѣмъ того въ бесѣдкѣ, не могъ отомкнуть незапертаго, впрочемъ, на этотъ разъ замка, и, въ довершеніе собственнаго смущенія, споткнувшись о давно знакомый порогъ, чуть не растанулся.

— Что, Филъ? — ласково усмѣхнулся Вечерѣвъ: — опять ручки прыгаютъ? Не утерпѣлъ въ уединеніи. А еще другомъ считаешься и притомъ — свободный гражданинъ...

— Я, Кирилло Григорьевичъ, ничего-съ... Лопни глаза. Даже маковой росинки во рту не бывало... зубъ заболѣлъ, такъ я лохманскихъ капель у попа просилъ...

— Ну, ну, отворяй и vedi... Знаю я твои, Филатъ Ивановичъ, лохманскія капли...

Гость и хозяинъ, мимо оторопѣвшаго Филата, черезъ маленькую переднюю вошли въ высокую, просторную, въ два свѣта, залу, съ хорами, роялемъ, каминомъ, копіями съ картинъ итальянской и испанской школъ и старыми, по стѣнамъ, семейными портретами.

Тяжело и медленно, точно бѣлая статуя командора, ступая по ярко-отчищенному паркету, Вечерѣвъ молча подошелъ къ окну, слегка расправилъ сгорбленный станъ, снялъ и на мраморный подоконникъ бросилъ перчатки, медленно обернулся, обѣими руками, съ улыбкой, крѣпко сжалъ руки Ветлугина и, досвѣтлѣвшими глазами показывая вокругъ себя, сказалъ:

— Вотъ и моя житейская пристань. Будьте гостемъ. Двадцать-пять лѣтъ я тутъ сиднемъ сижу, съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ изъ гвардіи. Да! сперва и я, какъ пріѣхалъ сюда и женился, вѣдь открытую и веселую жизньъ увлекался

надеждами, строилъ планы и смѣло носился по житейскимъ волнамъ. Но скоро я подобралъ всѣ паруса и бросилъ якорь. Въ этой пристани зато я не боюсь никакихъ бурь, никакихъ валовъ... Пылкія надежды разлетѣлись; осталось воспоминаніе о прошломъ, да невозмутимый покой настоящаго... Всѣ считаютъ меня человѣкомъ отжившимъ и чудакomъ. И дѣйствительно, съ виду я, вѣроятно, чудакъ. Начать съ того, что зимой я не отхожу вотъ отъ этого камина, любясь этими Мадоннами, рыцарями, да кардиналами, пишу мемуары, а лѣтомъ, съ утра и до поздней ночи, просиживаю вонъ на томъ балконѣ...

Говоря это, Вечерѣвъ ввелъ Ветлугина въ гостиную и распахнулъ изъ нея большую стекольную дверь на садовое крыльцо, откуда, изъ-подъ бѣлаго парусинаго навѣса, такъ и обдало ихъ нѣжнымъ благоуханіемъ цвѣтовъ.

— Мой сераль!—съ торжествующею улыбкою воскликнулъ Вечерѣвъ, указывая Ветлугину—вдоль рѣшетки балкона и на полянѣ—выставку всевозможныхъ уборныхъ растеній, какъ въ зелени, такъ и въ цвѣту,—азалей, гортензій, пеларгоній, японскихъ лилій и множества другихъ.

— Теперь въ мою бібліотеку!—сказалъ Вечерѣвъ, обрѣвъ руку съ Ветлугинымъ возвращаясь въ гостиную:—въ душѣ я хоть и энциклопедистъ, но развѣ можно не поклоняться такимъ поэтамъ, какъ Мильтонъ и Байронъ, Лессингъ и Данте? Я даже думаю...

Съ этими словами, Вечерѣвъ отворилъ дверь въ бібліотеку, глянулъ передъ собой и замеръ на ея порогѣ...

За угломъ одного изъ темныхъ дубовыхъ шкаповъ, у заслоненнаго желтою штофною занавѣсью окна, откинувшись на высокую спинку стариннаго кресла, въ чепцѣ и въ шали на плечахъ, съ полузажмуренными глазами, сидѣла жена Вечерѣва. Его дочь, въ сѣромъ платьѣ, съ бѣлой косынкой на груди, въ полусвѣтѣ сидѣла на скамеечкѣ у ногъ матери. На ея колѣняхъ была разогнута большая, въ старинномъ кожаномъ переплетѣ, біблія. Дѣвушка читала вслухъ и, за пышными прядями нависшихъ на руки и на лицо волосъ, не замѣтила, какъ вошелъ отецъ.

— Жена! Аггала!—вскрикнулъ Вечерѣвъ:—какими судьбами?

Дочь вскочила, уронила книгу и радостно повисла на груди отца.

Х.

Иуда Маккавей.

Не выпуская дочери из объятий и обращаясь къ молча вставшей женѣ, Вечерѣевъ спросилъ:

— Какими судьбами? вотъ не ожидалъ! ужъ кончили вояжъ?

— Мы часть дороги сдѣляли на пароходѣ, а тамъ пробыли недолго... оттого такъ скоро.

— И прямо сюда?

— Нѣтъ, по пути гостили еще у матушки Измарагды—она была нездорова.

Вечерѣевъ поморщился.

— Рекомендую,—сказалъ онъ:—Антонъ Львовичъ Ветлугинъ, сынъ Льва Саввича; помнишь?.. А вамъ рекомендую—моя жена,—Ульяна Андреевна... Въ Парасковеевскій скитъ ѣздили. Можетъ, слышали, тамъ крестная мать моей жены, инокиня Сусанна, теперь уже покойница, игуменьей была. Бадили поклониться ей праху, да завернули и въ другія мѣста. А я-то ихъ жду...

— Очень рада, очень... — оправляя шаль и привѣтливо взглядываясь въ нѣсколько-озадаченное лицо гостя, въ смущеніи сказала хозяйка: — какъ же... Валпего батюшку мы знаемъ, помнимъ и уважаемъ...

— Недобрая ты, плутовка!—цѣлуя и обнимая дочь, сказалъ Вечерѣевъ:—такъ долго меня не навѣщала... Рекомендую,—Аглая Кирилловна, моя дочь...

Ветлугинъ поклонился...

— Неожиданность, чистая неожиданность! — продолжалъ женѣ и дочери Вечерѣевъ:—но, какъ бы вы тамъ и какимъ путемъ ни ѣздили, я очень радъ. А теперь и васъ, Антонъ Львовичъ, мы подольше удержимъ. Не окончить же вамъ дѣла, да сейчасъ и ѣхать. Деревенскіе обычаи, вѣроятно, знаете? Притомъ же вы такой любопытный, для насъ, домохозяевъ, человекъ: столько видѣли, испытали... Проси, жена. Въ нѣкоторомъ родѣ россійскій Ливингстонъ... Я такъ, извините, васъ и вашему батюнкѣ называлъ... Представь, Антонъ Львовичъ съ караваномъ ходилъ къ Небеснымъ горамъ и, какъ видишь,—живъ... Проси...

— О, разумѣется!—поддержала, окончательно приходя въ себя, Вечерѣева:—для чего вамъ спѣшить!—побудьте здѣсь

денеж-другой; расскажите намъ о добромъ Львѣ Саввиѣ... Онъ такъ любилъ и такъ хвалилъ нашего Володю...

Вечерѣвъ съ увлеченіемъ сталъ рассказывать, какъ онъ впервые встрѣтилъ имя Антона Львовича въ журнальной статьѣ о попыткѣ нѣсколькихъ сибирскихъ торговцевъ проникнуть въ Камгаръ.

Дочь съ любопытствомъ покосилась на господина, который отъ Небесныхъ горъ, за какимъ-то дѣломъ, явился къ ея отцу и утромъ такъ неожиданно забрался въ ихъ купальню.

Полусвѣтъ ли комнаты препятствовалъ, или ужъ очень Ветлугинъ смѣшался, только въ первыя мгновенія новой встрѣчи съ Аглаей онъ ее недостаточно разсмотрѣлъ. Но когда Аглая, откинувъ за плечи волосы, молча обмѣнилась съ матерью быстрымъ и недоумѣвающимъ взглядомъ, какъ-бы говоря: «Каковы! опять пріѣхалъ! опять насъ съ тобою, родная, смутилъ!» и медленно, съ библией въ рукѣ, отошелъ къ просвѣту окна,—Ветлугину показалось, что по паркету полусвѣщенной, обставленной книжными шкапами, библиотеки, прошла развѣчанная царица или случайно слѣтѣвшая на землю, печальная и гордая фея.

Молодого странника, такъ еще недавно жившаго въ глуши, среди грубыхъ дикарей, приковало на мѣстѣ. Онъ слушалъ Вечерѣва, что-то ему отвѣчалъ и что-то объяснялъ, а между тѣмъ раздумывалъ: «такъ вотъ она, затворница! вотъ это странное, загадочное существо!» Онъ не могъ отвести взгляда отъ этого строгаго и выразительнаго лица, на которомъ, пока длилась бесѣда родителя съ гостемъ, — быстро смѣнялись то напряженное любопытство, то ласковое, дѣтское изумленіе, нетерпѣливость и робость, и рядомъ съ ними молніи лукавой и чуть замѣтной улыбки. Эта подвижность и чуткость молодости ясно говорили о томъ, сколько скрытой и сильной жажды къ жизни билось въ этой дѣвушкѣ. Но тутъ же, на это полное блеска, силъ и красоты, налитое пылкою кровью существо вдругъ, точно изъ какого-то невѣдомаго, рокового и темнаго міра, набѣгала тѣнь, — и ясность его померкала... Глаза пугливо и пристально устремлялись въ сторону, какъ бы ожидая оттуда иныхъ вѣстей и заветовъ. И, точно по мановенію чьего-то грознаго, блѣднаго дѣла, эта стройная, худощавая дѣвушка, казалось, была готова немедленно опустить руки, склониться покорной го-

ловой и безповоротно, отъ жизни и свѣта, пойти навстрѣчу мраку, полному призраковъ, печали и могильной тишины...

— Милости же просимъ, — сказалъ Вечерѣвъ, отворилъ дверь библіотеки и снова провожая гостя, жену и дочь въ гостиную, а оттуда на крыльцо въ садъ: — очень радъ, но бесѣдуемъ...

— Извините меня... Я сегодня утромъ васъ невольно испугалъ, — сказалъ Ветлугинъ, идя съ Аглаей впереди другихъ.

— Ничуть, — отвѣтила спокойно Аглая: — я, просто, была удивлена. Мы никакъ не ожидали.

— Полюбуйтесь, молодой человѣкъ, — началъ Вечерѣвъ, взявъ подъ руку гостя: — посмотрите на мои тюльпаны, примулы или на это море петуній...

Аглая сошла на цвѣтникъ, отыскала лейку и стала поливать грядку ночныхъ фіалокъ.

— Аглая, нарви намъ этихъ цвѣтовъ, — крикнулъ съ крыльца Вечерѣвъ: — полюбуйтесь, Антонъ Львовичъ... А? каковъ запахъ?

— Отсюда бы не ушелъ, — отвѣтилъ Ветлугинъ, принимая отъ дѣвушки цвѣтокъ: — фіалка-жъ... я лучше не знаю цвѣтовъ... Народъ ее зоветъ Ночной Красавицей...

Аглая сорвала и подала гостю еще нѣсколько цвѣтковъ.

— Такъ и вы любитель сада? — спросила она.

— Я наследовалъ эту любовь, — сказалъ, спускаясь къ грядкамъ, Антонъ Львовичъ: — отъ отца и отъ покойницы моей матери.

— Какъ? вы лишились матери? — сочувственнымъ, робкимъ взглядомъ окидывая гостя, спросила Аглая.

— Я лишился матери почти ребенкомъ. Мнѣ тогда было не болѣе девяти лѣтъ.

— Она теперь далеко, — какъ бы про себя, взглянувъ къ вершинамъ деревъ, сказала Аглая: — зато она теперь молится за васъ.

Что-то чарующее и нѣжное, какъ золотой, несбыточный сонъ, отъ звука этихъ словъ отозвалось въ душѣ Ветлугина. Ему показалось, что онъ въ это мгновеніе стоитъ не здѣсь, въ саду, а гдѣ-то далеко, у стѣны какого-то монастыря, въ Испаніи или въ Италіи; что сквозь рѣшетку монастырской ограды на него глядятъ темные мирты и кипарисы, а между нихъ мелькаютъ бѣлыя покрывала затворницъ.

Гость и Аглая обошли поляну и стали за чащей вазовъ у рѣки.

— Иной разъ такъ завидна смерть,—сказала Аглая:—молодость, счастье, надежды, все это такъ недолговѣчно...

— Вы неправы,—отвѣтилъ Ветлугинъ:—выше жизни нѣтъ ничего, и все, что внѣ жизни, — мракъ и запустѣніе безъ конца.

Сказавъ это, онъ невольно смѣшался и замолчалъ.

Такъ прошло нѣсколько мгновеній. Чуть замѣтный вѣтеръ колебалъ вѣтви деревъ. Душистой прохладой тянуло отъ рѣки.

— Да гдѣ же это вы, господа?—изъ-подъ навѣса крыльца раздался голосъ Вечерѣва:—я васъ зову, зову, а вы и не слышите.

Аглая отозвалась, вбѣжала на балконъ и съ новыми поцѣлуями бросилась на шею къ отцу. Ульяны Андреевны не было здѣсь. Она хлопотала объ обѣдѣ.

За обѣдомъ Кирилло Григорычъ оживился и почти не умолкалъ.

— Меня упрекають,—говорилъ онъ:—что я не ѣзжу въ столицы, безвыѣдно живу въ деревнѣ. А на что тамъ, я васъ спрашиваю, и смотрѣть? Что въ нихъ, въ этихъ столицахъ, скажите по-правдѣ, хорошаго? Развѣ тамъ чтутъ Моцарта, Гайдна, любятъ Рафаэля? Кромѣ водевилей, фальшивыхъ костей и зубовъ, да пародій на всѣхъ и все,—нѣтъ у современнаго человѣка ровно никакихъ идеаловъ... Рыцари желтаго шиньона, воля ваша, такъ и просятся въ желтый домъ...

— Нѣтъ, Кирилло Григорычъ,—перебилъ Ветлугинъ:—теперь вездѣ и во всемъ болѣе здороваго и полезнаго труда...

— Въ чемъ же этотъ трудъ? гдѣ наши великіе люди? гдѣ гении страны? Кто представляетъ нынче у насъ Пушкина, Брюлова? гдѣ преемники Глинки, Фонвизина?

— Въ переходныя времена гений какъ бы скрывается,—отвѣтилъ Ветлугинъ:—но это только такъ кажется: онъ нисходитъ въ чернорабочія силы, переселяется въ толпу...

— Великій народъ? народъ-гений?—рѣзкимъ голосомъ захохоталъ Вечерѣвъ:—ну-ка, чѣмъ помянуть наши времена? Не рядомъ ли неслыханныхъ общественныхъ скандаловъ, съ племянниками, отравителями богачей-дядюшекъ, и съ Маратами—изъ гимназистовъ четвертаго класса? Что же, что у васъ хорошаго?..

— Зданіе общества—выражусь сравненіемъ—заново перестраивается,—отвѣтилъ Ветлугинъ:—лѣса еще закрываютъ

его снизу доверху. Рабочіе лѣзутся вдоль стѣнъ и на крышѣ, висятъ въ качалкахъ подъ карнизами, сплужь по временнымъ подмосткамъ и лѣстницамъ... Стучать молотки, визжать пилы, сыплется пыльный мусоръ, и кирпичи изъ рукъ въ руки перебрасываются отъ земли до пятого этажа... Что будетъ изъ всего этого, трудно еще сказать. Но геній вѣка, сила вещей,—этотъ главный архитекторъ,—работаетъ безъ устали надъ всѣмъ... Больше свѣта окнамъ, больше простора и чистаго воздуха жилью!—думается, глядя на эти лѣса: да иначе и быть не можетъ... Время возьметъ свое... Видъ тамъ жить будутъ, жить, отъ верхняго яруса до нижняго, до подвала и до собачьей кануры...

— Вашими бы устами медъ пить! вашими!—вставая изъ-за стола и съ улыбкой поглядывая на молодого гостя, сказала Вечерневъ.

Аглая слушала ихъ молча и тотчасъ послѣ обѣда, накинувъ на голову платокъ, равнодушно и ни на кого не глядя, ушла. Она явилась опять уже въ сумерки.

Вечеръ хозяева и гость опять провели въ бесѣдѣ на садовомъ крыльцѣ. Здѣсь они пили чай, разливаемый Аглаей, здѣсь ихъ настигла и темная, оглашаемая соловьиными пѣснями и звономъ кузнечиковъ, ночь. Надъ садомъ выплылъ мѣсяцъ. Стало прохладнѣе. Всѣ перешли въ залу и, долго еще бесѣдуя, ходили здѣсь при лунномъ свѣтѣ... Аглая разспрашивала Ветлугина о Сибири, о ссыльныхъ, о пути въ эти далекіе края. Потомъ заговорили о Петербургѣ, о Москвѣ. Аглая вела рѣчь умно, хотя жизнь столицъ была ей незнакома и мало ее занимала.

— Ты бы, Кирилло Григорьичъ, что-нибудь гостю сыгралъ!—остановившись и мысленно уносясь въ прошлое тихой, полуосвѣщенной залы, сказала Ульяна Андреевна.

— А вы и музыкантъ?—спросилъ Ветлугинъ.

— Да, такъ себѣ: остатки молодости... Игралъ прежде на фортепіано, въ четыре руки съ женой. Теперь же, иной разъ, одинъ играю на віолончели.

— Сдѣлайте одолженіе, сыграйте, — подхватилъ Антонъ Львовичъ.

— Что же бы вамъ сыграть? И не потребовать ли огня?

— Для чего же?—сказалъ Ветлугинъ: — такъ, въ полумракѣ лучше...

— Гендели! — чуть слышно шепнула матери, стоя въ темномъ простѣнкѣ за колоннами, Аглая.

Ветлугинъ вздрогнулъ. Ему снова почудилось, что онъ гдѣ-то далеко; надъ нимъ громоздятся террасы, балконы и виноградники, и вдругъ съ одного изъ балконовъ надъ нимъ раздался шопотъ: «ты ли это? стой! я давно жду тебя!» Онъ невольно обернулъ голову... Аглая за колоннами уже не было. Она съ матерью ходила по залѣ.

— Не играете ли что-нибудь изъ Генделя? — спросилъ, подходя къ Вечерѣву, Ветлугинъ.

Кирилло Григорычъ сначала поморщился, точно сомнѣваясь, ужъ не смѣются ли гость и его ближніе надъ нимъ, неуклюжимъ и отжившимъ старикомъ? Но потомъ онъ ободрился, выпрямился и отвѣтилъ: «Съ удовольствіемъ! сыграю вамъ, если хотите, фантазію на мотивъ изъ оперіи этого композитора—Иуда Маккавей... Музыка строгая, въ родѣ средневѣковыхъ монашескихъ хораловъ... Гендель здѣсь особенно торжественъ и возвышенъ. Но, можетъ-быть, Антонъ Львовичъ, это не въ вашемъ вкусѣ?»

— О, помилуйте... Кто же не увлекался рыцарскими преданіями? Крестъ и мечъ, и битвы за милыхъ сердцу... Что можетъ быть дорожѣ! Это меня волновало съ дѣтства...

Аглая съ сочувствіемъ взглянула на гостя. Ей припомнились легенды о крестоносцахъ, какъ тѣ, съ шарфами обожаемыхъ красавицъ черезъ плечо, шли на гибель за вѣру. Съ своей стороны, и Ульяна Андреевна снисходительно встрѣтила слова Ветлугина и, глядя на него, шепнула дочери: «какъ онъ напоминаетъ своего отца... Такъ молодъ, а столько души!»

Кирилло Григорычъ, кряхтя вполголоса, вынесъ изъ кабинета потертый, китообразный футляръ, досталъ изъ него старую, потертую віолончель, сѣлъ у колоннъ, въ темной сторонѣ залы, подъ хорами, осѣдлалъ ее длинными, костлявыми ногами и, сказавъ: «извольте... я буду играть; а вы себѣ ходите... только не соскучьтесь меня слушать!» — крикнувъ, расправилъ руку и взялъ смычкомъ нѣсколько несмѣлыхъ, дрожащихъ и не совсѣмъ-то вѣрныхъ звуковъ.

Ветлугинъ помѣстился въ другомъ углу, близъ оконъ. Онъ до того при этихъ вступительныхъ потахъ смѣшался, что подумалъ: «какал, однако, жалость... И зачѣмъ я по-

просилъ старика играть? Хорошо выйдетъ у него этотъ блѣдный Гендель...»

Звуки, между тѣмъ, стали крѣпчать. Смычокъ началъ брать тверже и смѣлѣе, и гулкая струна, въ потемкахъ высокой залы, сверхъ всякаго ожиданія, передавая торжественный хоралъ, заплѣла не только правильно, но и съ неподдѣльнымъ чувствомъ.

Мать и дочь, обнявшись и изрѣдка перешептываясь, точно тѣни, подъ музыку двигались по залѣ. Онѣ то исчезали въ ся неосвѣщенной сторонѣ, то снова выходили на блѣдныя полосы мѣсяца, въ которыхъ чуть трепетали вѣтви глядѣвшихъ въ окна деревь.

Ветлугину стало казаться, что Аглая и ея мать были тѣми же звуками виолончели, что онѣ, слетая со смычка и то здѣсь, то тамъ плавая по залѣ, сливались съ ея чарующей и полной звуковъ темнотой.

«Видно, не разъ, — подумалъ Ветлугинъ, — одинокій и угрюмый старикъ, въ такія же лунныя ночи, оживлялъ своей игрой эту пустынную залу. Сколько хорошаго завезъ онъ въ эту глушь и дичь, гдѣ изъ другихъ выходили одни плотоядные звѣри, либо грубые, самодовольные и безсердечные пошляки...»

Ульяна Андреевна ушла во внутреннія комнаты. Разстроенная воспоминаніями о прошломъ, она украдкой утирала слезы. Многие вспомнилось Вечерѣвой: молодость и свѣжесть чувствъ, теплота непорванныхъ надеждъ и ничѣмъ неомраченная вѣра въ счастье.

Ветлугинъ также перенесся мыслями къ своему прошлому. Но онъ могъ думать только объ одномъ... Точно околдованный, онъ изъ темнаго угла слѣдилъ, какъ Аглая, заложивъ руки за спину и не поднимая глазъ, — упиваясь игрой отца, — медленно ходила взадъ и впередъ по залѣ.

«Какъ? — думалъ онъ, — и этой дѣвушкѣ суждено заглухнуть? Ей, — единственной дочери этого старика? И все, что судить жизнь и чѣмъ она дорога для мыслящаго существа, пройдетъ мимо, не коснувшись ея?»

Антонъ Львовичъ всталъ, подошелъ къ Аглаѣ и рядомъ съ нею сдѣлалъ нѣсколько шаговъ. Разговоръ не вылся. Все, что ни говорилъ гость и что ни отвѣчала ему Аглая, казалось такимъ обыденнымъ, блѣднымъ! Они замолчали, слушая музыку и продолжая ходить.

— Какіе звуки!—какъ бы про себя сказалъ Ветлугинъ. Аглая, казалось, не слышала его словъ.

— Гдѣ вы?—тихо спросилъ ее Ветлугинъ.

Аглая замедлила шаги.

— Извините,—продолжалъ онъ:—ваши мысли, вѣроятно, не здѣсь... вы далеко, не въ этихъ мѣстахъ...

— Да,—чуть слышно отвѣтила Аглая.

— Гдѣ же вы?

— На верху высокой-высокой горы, — полузажмурясь, точно, дѣйствительно, въ ту минуту она стояла надъ крутизной, сказала Аглая.

— Чтѣ же тамъ, на верху этой горы?

— Лѣсъ, свѣжій воздухъ, скалы... да мало ли еще что! И тишина, такая тишина... Ахъ, какое чудесное, синее, далекое небо... А въ небѣ свѣтлые, съ голубыми крыльями и съ огненными мечами, ангелы...

— А земля отсюда видна?

— Земли не видно... Да, впрочемъ, на землю нечего и смотрѣть. Нѣтъ на ней ничего утѣшительнаго...

— Кто вамъ это сказалъ?

— Обманъ, предательство, алчность сильныхъ и неприютное горе голодныхъ и бѣдныхъ, — сказала Аглая:— вотъ чтѣ... Или вы скажете, я неправа? Что же хорошаго тамъ у васъ на землѣ?—обращаясь къ гостю, спросила она.

— Все есть, и хорошее, и дурное,—тихо отвѣтилъ Ветлугинъ, стараясь не заглушить игры Вечерѣва:—жизнь—какъ жизнь... Она разнообразна. Для хорошихъ и честныхъ — это отраднѣй, хотя подчасъ и тяжелый подвигъ. Что изъ того, что иногда весь вѣкъ — борьба безъ конца за все, — за кровь и за пищу, за самыя первыя потребности? Въ этой-то борьбѣ и въ ея побѣдахъ надъ жизненными зломъ и заключается счастье...

Аглая, не глядя на Ветлугина, думала:

«Ну, продолжайте; что далѣе? я васъ слушаю...»

— Міръ отшельниковъ, міръ созерцательный, — продолжалъ Антонъ Львовичъ:—это не искренній отвѣтъ на призывъ матери-природы: это — измѣна и смерть. Кому, скажите, нуженъ жалкій, безумный подвигъ добровольнаго самоубійства? Мы рождаемся для счастья, для блага своего и другихъ. Кто говоритъ противное, тотъ либо достойный сожалѣнія слѣпецъ, либо недобрый человѣкъ.

Аглая ничего не отвѣтила на это, хотя словъ, только-что произнесенныхъ передъ нею, она никогда не слыхала. Сердце ея тревожно билось. Въ широко-раскрытыхъ глазахъ выразилось изумленіе и испугъ. Гость ее страшилъ, но, видѣвъ съ тѣмъ, ей дорого было его вниманіе. И она думала: «какъ жаль, что во мнѣ, дикой, несвѣтской и неумной, онъ не найдетъ того, что, быть-можетъ, хотѣлъ бы найти!»

Вечерѣвъ приостановился играть.

— Что? я еще вамъ не надобно?—отозвался онъ изъ-за колоннъ.

— О, нѣтъ, играйте, музыка превосходная!—поторопился ему отвѣтить Ветлугинъ.

— Не правда ли, какъ она отвѣчаетъ поэтической легендѣ о Маккавеяхъ?—спросилъ Вечерѣвъ:—помните, какъ это поэтически? Горсть храбрыхъ поразила полчища враговъ и возвратила своему отечеству независимость и свободу...

— Притомъ же вы такъ исполняете, — сказалъ Ветлугинъ:—віолончель у васъ поетъ, какъ канторъ въ средне-вѣковой капеллѣ... Мнѣ такъ и видится мрачный, готическій соборъ, разноцвѣтныя, узкія окна, густые клубы дыма, выходящія свѣчи и балконъ проповѣдника...

Вечерѣвъ сталъ опять играть. Аглая прошла нѣсколько шаговъ и обратилась къ Ветлугину.

— Скажите мнѣ,—спросила она:—вы читали библію,—ветхій завѣтъ?

— Читалъ...

— Это моя любимая книга, — продолжала она: — помните ли вы то мѣсто, какъ родные братья измѣнной продали въ рабство Іосифа?

— Помню...

— Не правда ли, какая низость? Было давно, а поражаетъ и теперь. Вѣрите ли?.. Однажды, еще ребенкомъ, проѣздомъ въ монастырь къ покойной бабушкѣ, я ночевала съ матерью на бѣдномъ постояломъ дворѣ... Было лѣто... Свѣтилъ, какъ вотъ и теперь, яркій полный мѣсяцъ. Меня положили у окна. Спать мнѣ не хотѣлось. Лежать надобно. Передъ тѣмъ мы ѣхали лѣсомъ... Птичьи крики, свѣтлыя поляны и цвѣты не выходили у меня изъ головы... Я встала, взяла со стола отъ матери эту книгу и, при свѣтѣ мѣсяца, стала ее читать на окнѣ... И съ той поры братъ, проданный родными братьями, не покидаетъ моихъ мыслей...

Чуть стемнѣетъ, во мракѣ мнѣ такъ и чудится бѣдный, предательски брошенный въ темницу Іосифъ... И я молюсь... Да и какъ не молиться? Люди въ первые вѣка для молитвы бросали все и уходили въ пустыню...

— Я съ вами несогласенъ,—возразилъ Ветлугинъ:—есть книги лучше упомянутой вами...

Аглая остановилась.

— Какія?—спросила она.

— Раскройте Евангеліе... Его, разумѣется, вы читали. Но — извините — вдумывались ли вы въ него? Тамъ говорится, что были на свѣтѣ простые рыбаки... Бросили они сѣти и, вслѣдъ за Учителемъ вѣчной правды и любви, пошли проповѣдывать людямъ прощеніе обидѣвшимъ насъ и трудъ на пользу ненавидящихъ, преслѣдующихъ насъ... Вотъ гдѣ задача жизни, и вотъ гдѣ ея вѣнецъ... Не въ пустыню современному человѣку надо идти, а въ самую глубь житейскаго моря. Надо прислушаться къ нуждамъ бѣдныхъ, узнать ихъ горести, помогать имъ, и они насъ благословятъ. Въ Евангеліи сказано—я помню эти великія слова: «отдай богатство твое неимущимъ его, и имѣти ѣмаше сокровище на небеси...»

Приливъ новыхъ, неожиданно нахлынувшихъ опущеній охватилъ и взволновалъ Аглаю. Многое вдругъ стало казаться ей въ иномъ свѣтѣ; но она и виду не подала, что была увлечена словами гостя. Только бѣлая косынка на сѣромъ ея платьѣ поднималась высоко, да пальцы рукъ судорожно сжимались. Она обрадовалась, когда изъ коридора блеснулъ свѣтъ лампы и возвратилась Уляна Андреевна. Ей даже стало чудиться, что кто-то незримый и крылатый парилъ надъ нею, и она, замирая, въ испугѣ слушала его шопотъ, ждала его прикосновенія...

Филатъ доложилъ, что подали ужинъ.

Вечерѣвъ взялъ еще нѣсколько звуковъ, кончилъ фіоритурой собственнаго изобрѣтенія, всталъ и началъ прятать виолончель въ тотъ же китобразный футляръ.

— А теперь, милости просимъ подтвердиться на сонъ грядущій!—сказалъ Вечерѣвъ:—мы по старинѣ—ужинаемъ.

За ужиномъ онъ разговаривалъ о своихъ дамахъ.

— Не понимаю,—сказалъ онъ:—изъ-за чего онѣ страдаютъ? Что можетъ быть выше тихой домашней жизни?

— И вы не скучаете?—спросилъ Ветлугинъ.

— Помилуйте, гдѣ тутъ скучать: я играю, читаю и изучаю Беранже, Руссо, перевожу безсмертнаго Мильтона... О, это—великій поэтъ... Кисть огненная...

— Прозой переводите?—спросилъ Ветлугинъ.

— Какой тамъ прозой? стихами, да еще какими. Одна бѣда: некому слушать. Вѣрите ли, даже забавно... Разъ я порезъ прочесть отрывокъ изъ перевода одному здѣсь собесѣду. А онъ извиняется: некогда, братецъ, проектъ перевода натуральныхъ повинностей въ денежные прислали, пишу протестъ. Я къ другому; тотъ говорить, да такъ искренно: не лучше ли въ преферансикъ?.. Ну, съ тѣхъ поръ я, разумѣется, ни къ кому ужъ и не ѣзжу...

— Ты, Кирилло Григорьичъ, напрасно, однако, всѣхъ коришь, — вмѣшалась Ульяна Андреевна: — твой пріятель Ченшинъ, къ которому ты теперь ѣдиль... онъ всегда былъ тебѣ по сердцу...

— Былъ, матушка, дѣйствительно, одинъ, да и тотъ вонъ сплылъ... Въ спекуляціи пустился и ужъ, разумѣется, моихъ переводовъ, какъ и другіе, слушать теперь не станетъ...

Аглая сидѣла молча, не поднимая глазъ отъ тарелки.

— Что задумалась?—спросилъ, бросая въ нее хлѣбнымъ шарикомъ, старикъ.

Она дѣтски-ласково улыбнулась отцу, налила себѣ въ стаканъ воды, чуть коснулась его губами и молча опять поставила на столъ.

— Какая тишина, — сказалъ Вечерѣвъ, глядя въ раскрытое окно: — даже мотыльки не летятъ на блескъ лампы. А кстати, Аглая, давно ли ты видѣла своихъ пчелъ?

— Давно... съ прошлой осени не видала...

— Ну, и отлично. Завтра же утромъ не худо бы всѣмъ намъ съѣздить взглянуть на твой пчельникъ. Славное мѣстечко, Антонъ Львовичъ, на взгорьѣ, у ручья. Доходъ съ пчелъ моя дочка прежде отдавала здѣшнимъ сиротамъ и бѣднымъ, а нынче все куда-то копить. Что красишь? Или и ты тоже собираешься на какія-нибудь аферы?.. Я, разумѣется, совѣтовалъ ей лучше тратить деньги на наряды; такъ куда! не слушаетъ... Ну, что, господа, ѣдемъ взглянуть на дочкино хозяйство?

Ветлугинъ молчалъ. Аглая вопросительно взглянула на мать.

— Нѣтъ, Кирилло Григорьичъ, утромъ намъ нельзя, — отвѣтила Ульяна Андреевна: — завтра мы заняты.

— Ну, такъ вечеромъ; это будетъ еще лучше.

Отъ ичель разговоръ перешелъ къ столичнымъ и другимъ новостямъ. Коснулись и недавнихъ событій за Ураломъ.

— Все ширятся и ширятся, — сказалъ Вечерневъ: — и что тамъ нашли привлекательнаго?

— Кто не былъ въ тѣхъ краяхъ, не пойметъ, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — страна ссылки скоро станетъ лучшею русскою колоніей.

Антонъ Львовичъ, вспоминая разспросы Аглаи, увлекся похвалами Азіи вообще и сталъ описывать широкія и многоводныя сибирскія рѣки, тамошнія, полныя драгоценныхъ металловъ, горы и долины, — и, какъ о чемъ-то волшебномъ, заговорилъ о сибирской веснѣ, о фазанахъ, дикихъ кабанахъ и оленяхъ, о древовидныхъ можжевеловникахъ и рощахъ боярышника, съ душистымъ багульникомъ, дикими анемонами и богородицыными слезками...

Аглая раскраснѣлась, Ветлугинъ не глядѣлъ на нее. Но онъ ощущалъ на себѣ ея внимательный, съ робкимъ любопытствомъ устремленный на него взоръ.

«Что со мной?» — пронеслось въ головѣ Антона Львовича, когда послѣ ужина, простившись съ хозяевами, онъ вышелъ въ садъ и темными росистыми дорожками вновь направился на ночлегъ въ знакомую бесѣдку.

«Что со мной? — повторилъ самъ себѣ Ветлугинъ: — и неужели вся моя жизнь клонилась именно къ тому, чтобы нечаянно на перепутьѣ, здѣсь, въ глуши, встрѣтить эту полную загадокъ, странную и чудную дѣвушку?..»

XI.

Потерянный рай.

Ветлугинъ взомель на крыльцо бесѣдки и остановился. Его невольно манило опять туда, къ этимъ сумрачнымъ и полнымъ дремоты дорожкамъ. Мѣсяцъ закатился за садомъ. Кругомъ было тихо. Кое-гдѣ только позванивалъ неугомонный кузнечикъ. Въ воздухѣ то здѣсь, то тамъ раздавался шорохъ летучихъ мышей. Слышался плескъ разыгравшейся въ сонныхъ омутахъ рыбы. Надъ рѣкой шелестели крылья возвращавшихся съ полевой кормежки дикихъ утокъ...

Ветлугинъ прошелъ нѣсколько дорожекъ. Передъ нимъ

опять поляна, дворъ и домъ. Окна вездѣ темны. Свѣтитсѣ одно только вверху.

«Видно, это еѣ комната», — подумалъ Антонъ Львовичъ. Его сердце сильно забилося. Малѣйшій звукъ кидать его въ холодъ и въ жаръ. Онъ хотѣлъ уйти и до мелочей принимался вспоминать, какъ все это съ нимъ случилось. Что случилось? Да и произошло ли что-нибудь особенное съ нимъ и вокругъ него?

Какъ онъ возвратился въ бесѣдку, какъ раздѣлся и заснулъ, этого онъ припомнить не могъ. Всталъ онъ довольно поздно. Утро давно наступило.

Наскоро одѣвшись, Ветлугинъ прошелъ къ дому и остановился. Со двора неся гулъ множества голосовъ. То были мѣстные крестьяне, кое-кто изъ сосѣднихъ деревень и духовенство. Справлялись поминки по хозяйскому сыну. Панихида отошла. Народъ кончалъ ранній заупокойный обѣдъ. Ульяна Андреевна съ церковнымъ причтомъ бесѣдовала на переднемъ крыльцѣ. Здѣсь же, нѣсколько поодаль, стояло нѣсколько монахинь. Аглая ходила между поминальщиками, подсаживалась къ знакомымъ крестьянкамъ, ласкала и цѣловала дѣтей и обносила водкой стариковъ.

— Много лѣтъ и счастья тебѣ, красавица ты наша! — сказала, подходя къ ней съ другими дворовыми бабами, худенькая, въ темномъ коленкоровомъ шугайчикѣ, кормилица еѣ Егоровна: — и отчего тебѣ все ѣздить, да ѣздить? Жила бы здѣсь... А мы тебѣ нашли бы хорошаго жениха, богатаго и вотъ какого красавца.

— Не придется мнѣ, кормилица, по душѣ никакой! — отвѣтила, краснѣя, Аглая.

— Отчего же не придется, птишка ты наша поднебесная? — подхватили другія бабы.

— Ужъ такая я, видно, народилась...

— Плетешь, матушка, путы путаешь, ненаглядная! — приставали къ Аглаѣ подгулявшія бабы: — знаемъ мы васъ, молодокъ-то. Ну-ка, глазкомъ сюда-туда метни... Али вѣкъ въ дѣвонькахъ быть?

Со стороны сада раздались знакомые мѣрные шаги. Дребезжащій обрывавшійся голосъ напѣвалъ пѣсенку:

«Lorsque l'ennui pénètre dans mon fort,

«Priez pour moi, je suis mort...

«Quand le plaisir, à grands coups m'abreuvant,

«Gaiement m'assiège et derrière et devant,
«Je suis vivant, bien vivant, très vivant»..

Изъ-за деревъ, съ простыней въ рукѣ, показался Вечерёвъ. Онъ былъ не въ духѣ.

— Три бабы — базаръ, — семь — ярмарка!.. Охъ, ужъ эти мнѣ поминки! — съ досадой, поморщившись, кивнулъ онъ ко двору: — все ладанъ, да рясы, да заупокойныя молитвы. Какъ найдутъ — монастырь монастыремъ. Матушка Сусанна годъ ужъ какъ скончалась, сынъ — семь лѣтъ. А онѣ все панихиды справляютъ... Жить не умѣютъ... и другимъ не даютъ... Ну, какъ же вамъ спалось?

— Ничего, благодарю васъ. Кто это монахини? — спросилъ Ветлугинъ, указывая на крыльцо.

Вечерёвъ бережно развѣсилъ на кустахъ простыню и съ презрительною усмѣшкой, подмигивая на инокинь, стоявшихъ возлѣ Ульяны Андреевны, отвѣтилъ:

— Какъ видите! любимое препровождение времени моея благовѣрной. Когда-нибудь вамъ расскажу. Предметъ, во всякомъ случаѣ, въ нашъ вѣкъ, любопытный... А знаете ли, какъ эту братію честить народъ?.. — усмѣхнувшись злобно, сказалъ Вечерёвъ.

— Не знаю.

— На что, говорить, прытокъ чортъ, да и тотъ монаху не попутчикъ; и потому: чернѣй монаха, говорить, не будешь...

Поминальщики разошлись. Кирилло Григорычъ съ приказчикомъ толковалъ въ кабинетѣ. Ульяна Андреевна въ комнатѣ изъ коридора бесѣдовала съ старшею изъ инокинь. Аглая вышла на балконъ. Не заставъ здѣсь отца, она возвратилась въ залу и подошла къ зеркалу. Ея глаза были заплаканы. Щеки горѣли. — «Противная, противная, — сказала она себѣ, глядя въ зеркало и утирая лицо, — всѣ спрашиваютъ... Когда бы ужъ скорѣе конецъ!»

Она обернулась, вздрогнула. Къ ней изъ гостиной подошелъ Ветлугинъ. Они поклонились другъ другу. Аглая сняла съ окна пачку новыхъ газетъ и предложила ихъ гостю.

— У васъ, кажется, хорошая бібліотека? — спросилъ Ветлугинъ.

— Старинная. Нѣкоторые находятъ, что въ ней мало новыхъ книгъ.

— Что вы изъ нея читали?

— Очень мало, или почти ничего... Боссюэта, Массильона, Шатобриана... кое-кого из русских... Дядя мой, Николай Ильич Милунчиковъ, привозилъ кое-что изъ своихъ книгъ— но мы съ нимъ рѣдко видимся...

— Хотите, я вамъ что-нибудь отберу въ нашей библиотекѣ?

Аглая смахнула платкомъ пыль съ фортепьяно, переставила на подзеркальникъ канделябръ, подумала и отвѣтила:

— Благодарю... Мнѣ совѣтовали... не знаю, есть ли въѣсъ... говорятъ, что это хорошо... «Освобожденный Иерусалимъ»...

— Кто вамъ это совѣтовалъ?

— Одна моя подруга.

— Дочь здѣшняго священника?

— О, нѣтъ,—сказала Аглая:—она такихъ книгъ не читаетъ: больше любитъ романы. Я упомянула о другой,—объ одной изъ послушницъ, жившихъ въ бабушкиномъ монастырѣ.

Аглая провела гостя въ библиотеку. «Освобожденного Иерусалима» не нашли. Зато Ветлугинъ отобралъ для нея кое-что ей незнакомое изъ Жуковского и Пушкина, а для себя нѣсколько томовъ Шиллера и изданіе Лермонтова. Принимая отъ Ветлугина выбранныя для нея книги, Аглая попросила у него на время и тѣ, которые онъ отложилъ для себя.

— Зачѣмъ вамъ разомъ столько?—спросилъ Ветлугинъ.

— Я ничего не люблю дѣлать наполовину, — отвѣтила Аглая:—и все это я прочитаю вмѣстѣ. Дядя говорилъ объ одной вещи... Послѣ, пожалуй, еще не удастся...

Обѣдали подъ навѣсомъ балкона, на воздухѣ. Аглая къ столу не вышла.

«Неужели она такъ усердно занялась чтеніемъ?»—спросилъ себя послѣ обѣда Ветлугинъ.

Всѣ разошлись по своимъ угламъ. Уходя въ бесѣдку, Ветлугинъ невольно взглянулъ на верхнее окно, гдѣ прошлую ночью свѣтился огонекъ. Это окно было теперь раскрыто и на немъ, возлѣ соломенной шляпки, стоялъ въ стаканѣ воды свѣже-нарванный пучокъ ночныхъ фіалокъ. Ветлугинъ сошелъ въ садъ и самъ не понималъ, куда идетъ. Онъ исколесилъ нѣсколько дорожекъ, спустился къ рѣкѣ, прилегъ къ пригорку и сталъ оттуда смотрѣть на

то же окно. «Ея ли это комната? — думаль Ветлугинъ, — и что значать эти фіалки?» Долго здѣсь сидѣлъ Антонъ Львовичъ. Крохотная сѣрая птичка, что-то высматривая, чирикала и прыгала передъ нимъ въ тростникѣ. Пчела звѣтѣла и вилась надъ алой чашечкой лугового цвѣтка. Въ травѣ прошмыгнула и вверхъ хвостомъ на какомъ-то стеблѣ, дыша зеленой грудью, усѣлась рѣзвая иперипа. «Придетъ зима, — размышлялъ Ветлугинъ, — ударить вьюга и все это замететъ. Не будетъ ни пчелы, ни ящерицы, ни птицы». Ему вспомнилось его далекое дѣтство, кроткій ликъ и русая, большимъ узломъ повязанная, коса покойной матери; сказки няни, игры съ прочими дѣтьми... «Нирвана, смерть, небытіе! — сказалъ онъ самъ себѣ, — откуда бы эта печальная истина ни приходила, оттого не легче. Правы великіе мыслители: счастье — дикая, неосуществимая мечта. Смерть поглощаетъ все: любовь, дружбу, славу, семейную жизнь, науку и всякое могущество. Чѣмъ болѣе побѣды ума, тѣмъ сознательнѣе безпомощность и злополучіе человѣка. Начало его — страданіе; конецъ — разлука со всѣмъ... И зачѣмъ люди любятъ, привизываются другъ къ другу, женятся?.. Нирвана, смерти!.. Подальше отъ всего этого»...

Ветлугинъ возвратился на балконъ. Тамъ не было никого. Онъ заглянулъ въ гостиную, въ бібліотеку и въ залу и вышелъ на переднее крыльцо. Здѣсь была вся семья.

У подъѣзда, гремя бубенчиками, стоялъ запряженный парой небольшой фаэтонъ. Коляска четверней стояла возлѣ. Вечерѣвъ съ женой сидѣлъ въ фаэтонѣ; въ коляскѣ сидѣла Аглая и дочь священника, Фросинька.

— Вотъ онъ, — воскликнулъ, завидя гостя, Вечерѣвъ: — а мы-то васъ ждемъ... Чуть не отложили поѣздки... Искали васъ вездѣ: по саду и даже за рѣкой. Я ужъ думаль, не пошли ли вы охотиться?

— Куда же вы это собрались? — спросилъ, точно просыпаясь, Ветлугинъ.

— Вотъ они, молодые-то дѣльцы... Ай-ай! Ужъ вы и забыли наше давешнее условіе о поѣздкѣ на пчельникъ? Надо же и хозяйкамъ доставить удовольствіе. Садитесь. Но, позвольте, однако... Куда васъ посадить? Съ нами тѣсно... Садитесь съ дѣвками... Вамъ, кстати, будетъ и веселѣе. Рекомендую — Афросинья Андріановна, дочь нашего священника.

Ветлугинъ поклонился.

— Антонъ Львовичъ, можетъ-быть, знатокъ въ агрономіи, — сказала Ульяна Андреевна: — и въ такомъ случаѣ не откажетъ сообщить дѣвицамъ что-нибудь о пчеловодствѣ... Въ древности покровителями пчелъ были святые Зосима и Савватій...

— Ну, ты опять за свое, — перебилъ Вечеревъ: — это ужъ никакъ не изъ агрономіи.

Ветлугинъ сѣлъ въ коляску. Загремѣли бубенчики, загудѣла пыль. Оба экипажа выѣхали за ворота.

Аглая молчала. Лицо ея было спокойно, но блѣдно. Коляска выбралась въ поле.

— Вы прочли что-нибудь изъ взятыхъ вами книгъ? — началъ Ветлугинъ

— Прочла.

— Что же именно?

— «Демона» и «Каменнаго Гостя». Я вамъ говорила — дядя мнѣ совѣтовалъ прочесть...

— Какъ же эти вещи вамъ понравились?

Аглая медлила отвѣтомъ.

— Не слѣдовало мнѣ ихъ читать, — сказала она.

— Почему? — спросилъ съ удивленіемъ Ветлугинъ.

— Странныя книги... увлекательно и вмѣстѣ страшно... Особенно «Демонъ», — какъ хороши! Нѣтъ, этого быть не могло...

— Но почему же не могло быть?

— Развѣ это допускается свыше? Развѣ такъ возможно?

— Чудные стихи! — перебила ее Фросинька:

Я врагъ небесъ, я зло природы —

И видишь, я у ногъ твоихъ...

И далѣе:

Святѣе захочетъ ли молиться,

А сердце молится ему...

— Да, это хорошо; но какъ грустно — какой поразительный конецъ! — сказала Аглая.

Она закрыла рукой глаза и, какъ показалось Ветлугину, даже вздрогнула.

Обыкновенно веселая и разговорчивая, Фросинька, тѣмъ временемъ, поглядывая на подругу, сидѣла нахмуренная и недовольная. Коляска отстала отъ фаэтона. Поле покрывалось сумерками. Перенела и жаворонки смолкали. Бѣлыя косынки развѣвались на головахъ дѣвицъ.

— Вы любите сельскую жизнь? — спросил Ветлугинъ Фросиньку.

— Не очень-то, — отвѣтила она: — впрочемъ, гдѣ жить? И въ деревнѣ бываетъ хорошо. Я, напримеръ, теперь сердата, — да, сердата, — потому что не постигаю людей... Изъ-за чего иные печалятся? изъ-за чего пасмурныя мысли? Для меня жизнь — праздникъ... И если бы отъ меня зависѣло, если бы только зависѣло... Ну, да что тутъ! Отобранныя вами книги мы вотъ съ нею читали вмѣстѣ... Не мигай мнѣ, Алинъка, не мигай!.. Я скажу правду: почаще бы вамъ, Антонъ Львовичъ, къ намъ ѣздить. Право, съ вами точно свѣтъ насталъ... Вотъ и побѣдки, и книги, и живая рѣчь... А здѣсь, въ этомъ скучномъ углу, развѣ жизнь? — съ тоски умереть. Заѣдетъ иной разъ Милунчиковъ, Николай Ильичъ... Но и онъ такой все хмурился, недовольный...

Аглая съ удѣломъ взглянула на откровенную подругу; даже завела было посторонній разговоръ. Но та не хотѣла угомониться.

— Полно, Аличка, не лукавь, — продолжала краснощекая Фрося: — какъ будто неправда? Вотъ ужъ я не люблю политики и пустяковъ. Что твоя мамаша — святая, всякъ знаетъ; что твой папаша постоянно вздыхаетъ или декламируетъ, какъ нѣмецкій пасторъ, и въ своемъ бѣломъ балахонѣ иной разъ похожъ на выходца съ того свѣта, тоже не секретъ... Мой родитель день-денской въ хлопотахъ по требамъ и по хозяйству. Ну, какъ тутъ откровенно не радоваться живой посторонней душѣ? Я же, хоть и дочь священника, или, какъ тамъ попросту насъ зовутъ, поповна, — ну, а ни одной скучной святоши не пускала бы къ себѣ и на порогъ. Отворила бы двери для всѣхъ добрыхъ и умныхъ людей, веселилась бы, оживила бы цѣлый околотокъ и добро дѣлала бы, только по-своему, а не такъ, какъ ниня... Ты, вонъ, все упраниваешь меня: научи, Фросинька, какъ мнѣ жить, какъ сдѣлаться хорошею... Вотъ я тебя и учу...

Аглая съ возрастающимъ изумленіемъ слухала смѣлыя рѣчи Фросиньки и не знала, куда глядѣть.

— Быть, годъ назадъ, здѣсь еще одинъ человѣкъ, — продолжала Фросинька: — бывший землемѣръ, теперь управитель имѣнія Галищева, Фокинъ. Попалъ онъ въ наши мѣста случайно. Но просьбѣ Кириллы Григорьича, межевалъ

прошлымъ лѣтомъ его черезполосный лѣсъ и тоже намъ отъ скуки читалъ и рассказывалъ. Только, нѣтъ... онъ какой-то странный...

Фросинька нахмурилась, а потомъ весело разсмѣялась.

— Бредить перестроить все человѣчество, — продолжала она: — а самъ цѣлые дни, какъ выпадетъ, бывало, отдыхъ, пролеживаетъ съ газетой и порваннаго локтя не соберется отдать въ починку...

Шесть-семь верстъ путники проѣхали скоро. Экипажи остановились на взгорьѣ, у небольшой тѣнистой рощицы, спадавшей къ ручью. Здѣсь-то, подъ липами и ольхами, бѣжали ряды чистенькихъ, покрытыхъ глиняными мисками, ульевъ, а среди нихъ стояла поросшая травкою землянка пчелинца.

Всѣ вышли изъ экипажей.

— Какой видъ, какое очаровательное затишье! — сказали Вечерневъ: — неправда ли?

Ветлугинъ подошелъ къ нему.

— Здѣсь только бы читать Мильтона, — воскликнулъ Вечерневъ: — знаете ли вы, мой другъ, сколько дивныхъ мѣстъ въ его «Потерянномъ Раѣ?»

Старикъ прошелъ между ульевъ, сталъ на краю взгорья, подъ деревомъ, поднялъ руку и, какъ древнѣйшій бардъ, освѣщенный отблескомъ зари, съ чувствомъ, хотя отъ волненія обрываясь, произнесъ:

«Ты, все проклявши, убѣжала...

«О, Ева, гдѣ же нашъ Эдемъ?

«Твердь неба зарею съяла,

«Когда по ней ты пролетала—

«И мракомъ путь мой застилала,

«А сатана былъ глухъ и нѣмъ...»

— Нѣтъ! нынѣшніе поэты не сравнятся съ прежними, — вздохнулъ, отходя къ дамамъ, старикъ: — гдѣ же отецъ Адріанъ?

— Папенька будетъ позднѣе, — отвѣтила Фросинька.

Хозяева занялись осмотромъ пчелъ. Гость бесѣдовалъ съ пчелинцемъ. Затѣмъ все общество взобралось на вершину холма, гдѣ, подъ старѣйшей изъ липъ, слуги разостлали коверъ и поставили самоваръ. Когда былъ разлитъ чай, подъѣхалъ на повозкѣ и священникъ. Вечерневъ ему и дѣду-пчелинцу объявилъ откровенную благодарность за наблюдение надъ хозяйствомъ Аглаи и подарилъ отцу Адріану, для его

пѣгашки, нѣсколько десятинъ овса, а пчелинцу—лѣсу: внукамъ на избу. Всѣ, начиная съ Вечерѣва, были въ духѣ.

Солнце догорѣло. Внизу, по кочковатымъ берегамъ ручья, поднялось многоголосое, далеко слынное кваканье лягушекъ. Вдали въ деревнѣ тянулось стадо овецъ. Бесѣда гостей и хозяевъ смолкла. Всѣ встали, любясь пышнымъ закатомъ зари.

Аглая, трогая зонтикомъ траву, молча стояла поодаль. Вечерѣвъ что-то ласковое припоминалъ женѣ.

— Право, Кирилло Григорычъ, — сказалъ Ветлугинъ: — рѣшительно бы отсюда не уѣхалъ...

— Да и не уѣжайте, — вполголоса обратилась къ нему Фросинька: — я вамъ, если вы любопытны... если вы добрый человѣкъ... послѣ что-то сообщу...

— Что же именно? — спросилъ, подходя къ ней, Ветлугинъ.

Фросинька оглянулась.

— Есть люди, которыхъ нельзя не жалѣть, — начала она и остановилась: — вы скоро, вѣроятно, услышите объ одной драмѣ... печальной и непостижимой... — Только молчите, заклиная васъ, до времени... послѣ объясню...

— Однако, пора и ѣхать, — сказалъ Вечерѣвъ: — подавайте лошадей.

Стали садиться въ экипажи. Фаятонъ со стариками Вечерѣвыми двинулся впередъ. Аглая сѣла въ коляску. Фросинька не подходила.

— А ты? — спросила подругу Аглая.

— Паленька беретъ меня съ собой въ слободку къ дяшкѣ: давно ему далъ слово. Не бойся, доѣдешь и сама.

Подожелъ священникъ.

— Да-съ, Аглая Кирилловна, ужъ извините, — поддержалъ оны: — завтра мой братъ именинникъ; такъ надо его навѣстить. А моя лошадедка притомилась. Весь день ѣздила по требамъ... Знаете, труда немало; хоть и толкуютъ про насъ, что попь да пѣтухъ, и не ѣвши, поють.

Аглая растерялась, взглянула на дорогу. Но фаятонъ родителей въ сумеркахъ погромыхивалъ уже далеко, и она, по-неволѣ, поѣхала одна съ Ветлугинымъ.

При спускѣ съ одного изъ кособоровъ лошади чего-то испугались и было-понесли. Кучеръ впопыхахъ чуть не выронилъ вожжей.

Аглая бросилась на подножку коляски.

— Куда вы, куда? — вскрикнулъ, хватая ее за руку Ветлугинъ.

— Ахъ, позвольте... Какъ быстро мчатся лошади! — впиваясь глазами въ темное, дѣтвѣнное навстрѣчу пространство, шептала Аглая.

— Умоляю васъ, Аглая Кирилловна, сядьте.

— Нѣтъ, нѣтъ погодите... Такъ хорошо.

Волосы Аглаи развѣвались. Рука была холодна. Замелькали кусты. Запахло сыростью. Коляска вѣзлась во что-то мягкое.

— Сбились мы? — спросилъ Антонъ Львовичъ кучера.

— Маленечко взяли въ сторону; да оно и лучше: по песку лошади одумаются.

И точно, коляска поѣхала тише. Начался сосновый боръ. Гдѣ-то, въ его глубинѣ, слышалось журчанье ручья. Откуда-то доносился лай собакъ. А вдали, сквозь чащу деревьевъ, какъ голова привидѣнія, поднимался красный шаръ мѣсяца.

Аглая сѣла на прежнее мѣсто.

— Не понимаю, — сказала она, — изъ-за чего беречь жизнь, когда всѣмъ и всему одинъ конецъ...

«Погашеніе всего въ небытіи! — пробѣжало въ умѣ Ветлугина, — натуръ-философы и отшельники сходятся на одномъ»...

— Жизнь коротка, — сказалъ онъ: — и подѣ-часть тяжела; но великіе міра, гениіи искусствъ и наукъ, повелители царствъ, умершие давно, дорого бы дали, чтобы промѣнять свои славныя могилы на жизнь послѣдняго нищаго на землѣ.

— Весь міръ единой души не стоитъ, — отвѣтила Аглая: — міръ не вѣченъ, только душа негнѣнна... Небо и земля мимо идутъ, словеса же Господни не идутъ мимо...

— Вы мало знаете жизнь, — возразилъ Ветлугинъ: — если бы вы ее узнали болѣе, вы убѣдились бы, что въ ней одинъ мигъ иногда стоитъ цѣлой вѣчности...

Аглая хотѣла отвѣтить и не находила словъ. Ей казалось, что между нею и ея спутникомъ въ это мгновеніе сидѣло третье существо; то была другая Аглая, новая, незнакомая на первую. «Слушай его, слушай!» — шептала ей эта вторая Аглая: — «онъ ласковый, добрый, умный такой, и не даромъ ты его встрѣтила»...

Вся помертвѣвъ, съ холодными руками, сидѣла Аглая,

боясь глядѣть въ обступившую ее темноту. Лошади неслись быстро.

Коляска стала спускаться къ усадьбѣ.

Сославшись на усталость, Ветлугинъ отказался отъ ужина. При прощаньи съ хозяевами, онъ мелькомъ, взглянувъ на Аглаю: глаза ея свѣтились страннымъ, тревожнымъ огнемъ. Въ лицѣ выражалась рѣшимость. Въ первый разъ, отвѣчая поклономъ на поклонъ гостя, она крѣпче обыкновеннаго, по-мужски, пожала ему протянутую руку и сказала:

— Мы говорили о вѣчности; можетъ быть, вы и правы— жизнь иногда ставить такія неразрѣшимыя загадки...

— Смотрите проще на жизнь, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — въ ей простотѣ—лучшее счастье.

— Счастье, сказали вы?.. Да если оно недолговѣчно, если все оно — одинъ мигъ... стоить ли думать о такомъ счастьѣ?

«Что она хотѣла сказать? — войдя въ свою комнату, точно опаленный искрами неожиданнаго блаженства, терялся въ догадкахъ Ветлугинъ: — что на умѣ у этой чудной дѣвушки?.. О! ей суждено счастье, и она его достигнетъ!» — «Вотъ съ кѣмъ трудиться, вотъ съ кѣмъ жить!» — повторялъ онъ, замирая отъ страха за свои безумныя, сладкія, дерзкія мечты.

Антонъ Львовичъ долго сидѣлъ на диванѣ, наконецъ сталъ раздѣваться и уже собирался задуть свѣчу, какъ къ нему постучались.

— Войдите, — сказалъ онъ: — дверь не заперта.

Вошелъ Кирилло Григорьичъ.

— Вы меня извините, — началъ черезъ силу, усаживаясь у постели гостя, старикъ: — я пришелъ къ вамъ за совѣтомъ, — пришелъ съ постѣвившей меня тяжкою бѣдой...

— Что съ вами? вы такъ блѣдны? — спросилъ Ветлугинъ.

— Я затрудняюсь... Но вѣрите мнѣ, я бы васъ не безпокоилъ...

— Говорите, говорите.

— Моя жена... — сказалъ Вечерневъ: — я этого только не замѣчалъ... кажется, окончательно помѣшалась... О, пожалѣйте меня, надѣлите совѣтомъ. Вы... вы такъ напоминаете мнѣ моего сына.

Голосъ старика задрожалъ. Слезы подступили къ его горлу.

— Мало того,—продолжалъ онъ:—что моя жена, ни съ того, ни съ сего, начала ѣздить по монастырямъ да по церквамъ... Нѣтъ, она... простите меня, старика, за откровенность!.. Она, безумная, и единственную нашу дочь... стала съ собой возить... И всегда я, всегда я, всегда ждалъ, что она ее погубить... А теперь, сегодня... О! зачѣмъ я ранѣе не принялъ мѣръ, ранѣе, слѣпой и негодный старикъ?

— Что же такое у васъ случилось? Не стѣсняйтесь, откройте мнѣ все по душѣ.

— Открыть? Вонъ кого спросите! тамъ!—вскрикнулъ Вечерѣвъ, указывая торжественно рукой вверхъ.

Его черные глаза были тусклы. Въ каждой чертѣ лица выражалось смятеніе, горечь и страхъ за нѣчто, ожидавшее его впереди.

— Тамъ!—еще громче закричалъ, дергая за руку Ветлугина, старикъ: — въ небѣ пишутся приговоры всему... Здѣсь же мы—жалкая мелочь и прахъ... Я потерялъ жену; потеряю, кажется, и дочь...

— Но что за причина подобному настроенію вашихъ близкихъ?

— У жены потеря сына: печаль, чтеніе отшельническихъ книгъ; у дочери, разумѣется, примѣръ матери: Пока Алинка училась здѣсь, съ дочерью священника, все было хорошо. Но я отпустилъ ихъ однажды въ скитъ къ крестной матери моей жены... Съ тѣхъ поръ и пошло...

— И давно это случилось съ вашей женой?

— Семь лѣтъ куралесить, семь лѣтъ! — задыхаясь и съ силой ударяя себя въ грудь, сказалъ Вечерѣвъ:—вѣрите ли? Какъ тутъ было дѣвочкѣ не сойти съ ума? Домъ у меня большой: помѣстье устроено отлично. Тутъ бы только жить, да жить. Такъ нѣтъ. Эта безумная, эта причудница, моя жена, всѣмъ пренебрегла. Началось съ того, что она стала запирается въ дальнихъ комнатахъ, окружать себя заховими монашенками и всякими попрошайками... Срамъ бывало: ходить простоволосая, неодетая; зажечь свѣчи передъ образами, накурить по дому ладаномъ. И вся эта компанія, на моихъ глазахъ, ночь напролетъ читаетъ подвижническія молитвы, либо въ пѣснопѣніяхъ славить про мучениковъ. Я васъ спрашиваю, каковъ былъ примѣръ для Аглаи?

— Да, — согласился Ветлугинъ: — но отчего же вы не

пробовали развлекать вашей дочери? Отчего не удалили от матери?

— О!—простоналъ Вечерѣвъ, отчаянно замотавъ головой и смаргивая покатившіяся по лицу слезы:—все было испробовано, все... Я предлагалъ женѣ отдать дочь куда-нибудь въ лучший пансіонъ. Она отдала ее, но—не прошло и года—отъ разлуки съ нею заболѣла. Я три зимы сряду совѣтовалъ везти Аглаю въ Москву или въ Петербургъ; а она повезетъ ее и опять очутится гдѣ-нибудь въ монастырѣ. И всякій разъ закупить ей новыхъ священныхъ книгъ: житія первыхъ мучениковъ, Оуму Кемпійскаго, Ефрема Сирина и другихъ... Этой зимой я рассчитывалъ прямо отнять у нея Аглаю и, съ племянницами одного знакомаго, отправить ее подальше въ чужіе края. Но она опять, изъ другой вотчины, гдѣ онѣ обѣ тогда гостили, уѣхала съ Аглаей на богомолье въ Кіевъ... Теперь, какъ вы знаете, онѣ снова ѣздили... Все сдѣлано и все испробовано: игрушки, наряды, веселыя сверстницы, опытные наставницы, ничто не помогло... ничто...

Вечерѣвъ откинулся въ кресло и закрылъ лицо руками.

— Успокойтесь,—бросился утѣшать его Ветлугинъ:—напрасно вы такъ отчаяваетесь... Мнѣ кажется... я давеча ѣхалъ съ Аглаей Кирилловной... я ничего въ ней такого не замѣтилъ...

— Ничего? — закричалъ опять, блуждающими глазами уставясь въ гостя, Вечерѣвъ: — ничего? — повторилъ онъ, дѣргая его за руку: — такъ слушайте же... Нынче, послѣ ужина,—за которымъ ни жена моя, ни Аглая ничего, какъ у какого врага, не ѣли,—всѣ разошлись по своимъ комнатамъ. Вдругъ меня зовутъ наверхъ... Тамъ съ дѣтства комната дочери. Я пошелъ туда. Смотрю, Аглая плачетъ. — «Что съ тобой?»—Молчитъ.—Оглядываюсь, у нея жена. — «Что все это значить?» спрашиваю у жены. Та подходитъ, ломаетъ руки!—«Заклинаю тебя, говорить: не откажи, сдѣлай Аглаю счастливой».

Вечерѣвъ помолчалъ.

— Вы понимаете, — продолжалъ онъ: — счастье дочери... Какъ отозвались во мнѣ эти дорогія слова? Что отвѣтили бы вы на моемъ мѣстѣ?

— Я спросилъ бы, въ чемъ это счастье?

— Такъ сдѣлалъ и я... Скажи, говорю, прежде, въ чемъ дѣло?—«Въ чемъ дѣло?»—говорить жена:—«вотъ въ чемъ—

помоги Аглаѣ: продай или заложь нашу другую вотчину и дай ей выдѣлъ». — «Но зачѣмъ ей, спрашиваю, эти деньги? Развѣ она не единственная наслѣдница всего нашего состоянія?» — «Отпусти ее, — говорить, — въ монастырь... Она внесетъ эту сумму на келью и, коли сподобитъ Господь, останется тамъ навсегда... Не лишай ее ангельскаго чина... Не бери на душу грѣха».... Обращаюсь къ Аглаѣ — та не возражаетъ.

Ветлугинъ остолбенѣлъ. Сердце его уняло. Надъ головой потянуло холодомъ.

— Чтѣ скажете на это? — спросилъ его Вечерѣвъ.

Ветлугинъ молчалъ. Онъ, казалось, не понималъ обращеннаго къ нему вопроса. Все въ душѣ его сразу будто умерло, погасло, куда-то улетѣло.

Вечерѣвъ не спускалъ съ него померкшаго взора.

И вдругъ, съ силой, снова задѣргавъ Ветлугина за руку, онъ закричалъ:

— Жалости въ людяхъ нѣтъ, жалости. Все пропаю; все проглядѣла эта сѣдая, глупая голова... Куда мнѣ ѣхать, кого просить? Все состояніе отдасть бы я, чтобъ этого не случилось... И если она... если Аглая... дѣйствительно пойдетъ въ монастырь... слушайте... жизнь моя тогда кончена... Я либо брошусь въ омутъ, либо застрѣлюсь...

— Вы хотите, — сказалъ Ветлугинъ: — сдѣлать вашу дочь счастливою? Въ вашей власти не соглашаться на просьбу жены...

— Не соглашаться? О! вы не знаете моей жены, не знаете... Она... Да что тутъ...

Старикъ не договорилъ. Онъ упалъ головой на столъ и повторяя: «вы не знаете моей жены», — зарыдалъ какъ ребенокъ.

XII.

Дѣдъ Лукашка.

Вѣсть о намѣреніи дочери поступить въ монастырь сильно сразила Вечерѣва. Онъ провелъ ночь безъ сна, а къ утру заболѣлъ. Черезъ день ему стало хуже.

Всѣ въ домѣ повѣсили головы. Прислуга ходила на цыпочкахъ. У двери въ кабинетъ, гдѣ лежалъ больной, сторожить Филать. Ветлугинъ хотѣлъ навѣстить Кирилла Гри-

горяча, по его къ нему не пустили. — «Барыня вторую ночь тамъ сидѣть, — пеннугъ ему многозначительно Филатъ:—за докторомъ послали»...

Аглая, не замѣчая гостя, нѣсколько разъ проходила въ кабинетъ и возвращалась оттуда съ заплаканными глазами.

Передъ обѣдомъ, по приглашенію Вечерней, наверху, въ комнатѣ Аглаи, отецъ Адріанъ отслужилъ молебенъ о здравіи болящаго. А къ вечеру, когда уже прѣхалъ докторъ, за кѣмъ-то усакалаъ новый верховой.

— Что это, за другимъ докторомъ поѣхали? — спросилъ Ветлугинъ Филата, который съ блюдомъ льда отъ погреба спѣшилъ на крыльцо.

— Никакъ нѣтъ-съ; барышня за дядею за своимъ послали,—отвѣтилъ на ходу Филатъ:—очень ихъ любятъ; такъ, видно, посовѣтоваться...

— Развѣ барину хуже?

— И не говорите; какъ пласть лежитъ, окажетъ...

Хозяйкамъ, въ такомъ положеніи, разумѣтся было не до гостя. Тѣмъ не менѣе, Ульяна Андреевна, посылая Ветлугину обѣдъ и чай въ бесѣдку, нѣсколько разъ поручала освѣдомляться, не нужно ли ему чего, и извинялась, что оставляетъ его пока одного.

Докторъ переночевалъ, прописать на утро новое лѣкарство и рано уѣхалъ.

Ветлугинъ рѣшилъ навѣстить священника. Ему хотѣлось повидаться съ Фросинькой.

Проходя по саду, онъ увидѣлъ, что съ балкона, какъ бы отыскивая кого-то, сошелъ какой-то господинъ. Въ немъ Ветлугинъ, приглядѣвшись, узналъ Милунчикова.

Въ концѣ поляны показалась Аглая. Она увидѣла дядю и радостно бросилась къ нему навстрѣчу.

Домикъ, гдѣ жилъ отецъ Адріанъ, стоялъ влѣво отъ церкви, на скатѣ выгона, подходившаго къ рѣкѣ. Комнаты его были такъ невысоки, что отецъ Адріанъ, вводя гостей въ пріемную, обыкновенно говорилъ: «не ударьтесь; съ непривычки тутъ какъ разъ получишь шишку». — Такъ отецъ Адріанъ Верхоустинскій встрѣтилъ и Ветлугина.

Самъ отецъ Адріанъ, однако, давно привыкъ къ своему жилью. Ростомъ въ сажень, коренастый, бѣлоглазый и широкобородый,—онъ, какъ великанъ Минотавръ въ миеническомъ лабиринтѣ, совершенно свободно вращался въ своемъ

обиталищѣ, отнюдь не стѣсняясь его размѣрами. Изъ-подъ его потѣртого, темнозеленаго подрясника выглядывали опойковые сапоги. На шеѣ былъ повязанъ желтый фуляровый платокъ. На груди болталась цѣпочка отъ часовъ. А книги и газеты на столѣ и портреты свѣтскихъ дѣятелей по стѣнамъ показывали, что міръ и многое, «яже въ мірѣ», не чужды ему. Онъ почти безпрестанно курилъ небольшую, на длинномъ чубукѣ, трубку, табакъ для которой, впрочемъ, былъ у него припрятанъ на поставцѣ, въ смежной дочерниной комнатѣ. Дверь въ послѣднюю была еще ниже сѣнныхъ дверей. А потому отецъ Адріанъ, проникая туда, то и дѣло долженъ былъ склонять свою мощную выю.

— Очень радъ васъ видѣть, очень,—сказалъ онъ Ветлугину:— а что вы остались и не уѣхали, это даже весьма похвально, болящаго человѣка не слѣдъ бросать. Какъ познакомились съ Кирилломъ Григорычемъ?

Ветлугинъ объясняетъ.

— Такъ-съ, такъ-съ,—вздыхнулъ священникъ:— ну,—а о горѣ его изводили слышать? о намѣреніи едиnorodной дочери-съ его, Аглаи Кирилловны? Каковъ случай и каково, можно сказать, произволеніе судьбы-съ?

— Это я слышалъ,—сказалъ Ветлугинъ:— отъ самого Кириллы Григорыча. Скажите: неужели это вопіющее дѣло можетъ осуществиться?

— Вы насчетъ формальностей, что ли-съ?—уходя за табакомъ въ смежную комнату, усмѣхнулся отецъ Адріанъ.

— Да, я полагаю, что и возрастъ давшей обѣтъ, и воли родителя будутъ сильной помѣхой въ этомъ случаѣ.

— Ошибаетесь, государь мой, ошибаетесь,—точно съ амвона, изъ дочерниной комнаты крикнулъ священникъ:— все-ленское правило гласитъ, что обѣты монашеской жизни должны даваться твердо и въ полномъ раскрытіи разума. А развѣ Аглая Кирилловна не тверда въ рѣшеніяхъ и лишена разума?..

— Но вѣдь здѣсь постороннее вліяніе, козни,—перебилъ Ветлугинъ.

— Потомъ, милостивый государь мой,—продолжалъ священникъ, не слушая его и опять показываясь въ первой комнатѣ:— для-ради поступленія въ монастырь уставами и закономъ требуется что-съ? Что требуется, отвѣчайте мнѣ? Собственное, непринужденное желаніе, свобода отъ прочихъ

обязанностей, сему роду жизни препятствующихъ, и дозволеніе начальства... Только-съ и требуется!.. Ну-съ, такъ позвольте же васъ, однако, допросить: развѣ Аглаю Кирилловну кто, въ данномъ случаѣ, принуждаетъ? или родъ ея жизни тому препятствуетъ? или, наконецъ, у этой благо-рожденной дѣвицы есть какое-либо начальство?.. отвѣчайте мнѣ...

— Но возрастъ,—перебилъ Ветлугинъ.

— Возрастъ? ха-ха! извольте! — неестественно махнувъ кудравой головой, снова заходилъ по горенкѣ священникъ: — законы церковные и гражданскіе требуютъ великовозрастія лишь для полного, такъ-сказать, постриженія, — а есть и полупостригъ, въ рясофоръ... И не все ли это едино для того, кто твердо и непреклонно рѣшился? Да-съ, государь мой, постриженіе власовъ совершается и при облеченіи въ новоначального монаха... Постригаемому въ эту степенъ вручается крестъ и вожденная свѣча, хотя изъ одеждъ монашескихъ такому дается лишь иноческа ~~ряса, да~~ ~~бучецъ~~ ~~безъ~~ ~~мантіи~~.

— Возмутительно, возмутительно! — хватаясь за голову, проговорилъ Ветлугинъ: — вчужѣ сердце разрывается... Такая молодая, такъ одаренная дѣвушка! И неужели здѣсь уже ничѣмъ нельзя помочь?

— Помочь? — какимъ-то страннымъ, бабьимъ голосомъ взвизгнувъ отецъ Адріанъ: — вы спрашиваете, нельзя ли тутъ помочь?

Онъ отвернулся, даже трубку поставилъ въ уголъ и, грузнымъ станомъ нагнувшись къ низенькому, раскрытому окну, будто высматривая въ него что-нибудь, нѣсколько мгновений помолчалъ. Только ряса на его мощныхъ раменахъ, отъ мѣрныхъ, тяжелыхъ вздоховъ, поднималась высоко.

— Да знаете ли вы, государь мой, — съ дрожавшей бородой и ударяя себя въ грудь, рѣзко обратился священникъ къ Ветлугину: — знаете ли вы, что если бы моя, вотъ тоже единая дочь, Евфросиня — вы ее изволили видѣть и слышать — ея въ эту минуту нѣтъ дома — если бы она, говорю, на моихъ глазахъ, затѣяла постричься, а это все едино, что и въ гробъ живой лечь, — такъ я не столько бы, кажется, печаловался, какъ теперь... Потому Евфросиня моя — дѣвка душевная и не такого склада... Увидѣла бы она тамъ эту подноготную, удумалась бы и черезъ полгода, а

не то и ранѣ, пытками бы заковыляла изъ этого, какъ выражаются, тихаго пристанища... Ну, а Аглая Кирилловна—иная статья-сь. Я ее знаю сизмалства; эта поступить по обѣту, такъ уже все одно, что въ омутъ кинется,—изъ одной гордости вовѣки не воротится вспять... Знаемъ мы этихъ отшельницъ —церковь грабятъ, да колокольни строить...

— Вы меня извините за эти рѣчи, — отвернулся, помолчать и опять начиная ходить по горенкѣ, священникъ:— вы посторонній, заѣзжій человекъ, и моему сану передъ вами не подобало бы такъ суетловить. Ну, да ужъ я такъ: чту и храню догматы вѣры и нѣтъ николи же и нѣтъ чегъ не измѣняю; а ужъ нустосвятства иныхъ, хоть бы черноризцевъ, —каюся предъ тобою, Господи, каюся!—выносить не могу и не умѣю, особливо же, коли еще они надъ нами, рабочимъ, бѣлымъ поповствомъ, такъ высоко и, сказать бы, не по заслугамъ, несутъ свою гордую главу... Не всякъ монахъ, на комъ клобукъ. Черны ризы не спасутъ, а бѣлы не погубятъ... Вотъ хоть бы и наше положеніе...

Отецъ Адрианъ присѣлъ и заговорилъ о дѣлахъ мѣстнаго прихода, о неудачахъ по устройству больницы, школы, о своемъ раннемъ вдовствѣ и о воспитаніи дочери. Онъ коснулся и той поры, когда въ Дубкахъ гостилъ отецъ Ветлугина.

— Какъ же-сь, мы познакомились съ вашими сатюшкой, —сказалъ священникъ:—познакомились... Человекъ онъ почтенный и разумный; великій эмпирикъ и до всего, надо сказать, своимъ разумомъ старается дойти, а на васъ вотъ какія надежды возлагалъ... Приятно-сь такихъ людей знакомство... Да, не думали мы, въ тѣ поры, что этому углу и дому грозить такое, можно сказать, запустѣніе...

На порогъ появился Филатъ.

— Поохотиться сударь, не желаете ли? —спросилъ онъ Ветлугина: —и я пошелъ бы съ вами, да у насъ гость. Утокъ гибель летаетъ. Дикіе гуси сѣли за деревней въ камынахъ.

— Пожалуй, —отвѣтилъ Ветлугинъ: —давай свое ружье. Пройдусь: что-то голова разбоглась,

— Съ наинимъ вамъ удовольствіемъ-сь. Не вѣрите, у ихъ преподобія спросите-сь: такихъ мѣстовъ поискать-сь...

Ветлугинъ взялъ ружье у Филата и вышелъ въ садъ.

«Какая досада,—разсуждалъ онъ:—неужели Фросинька все еще у дяди въ слободкѣ? Одна она могла бы здѣсь многое разъяснить, тѣмъ болѣе, что, кажется, и сама она вызывалась... Развѣ пойти туда, какъ бы охотясь, по пути?

Проходя къ вербамъ, гдѣ были мостики, Ветлугинъ очутился въ незнакомой ему части сада. Влѣво шла липовая роща, вправо рассажены ягодныхъ кустовъ. Здѣсь-то, у опушки рощи, онъ увидѣлъ издали невысокую, женскую особу. Пристально глядя на какой-то предметъ, она съ поднятой головой и съ протянутыми, какъ бы для молитвы, руками, точно привидѣніе, покачиваясь съ боку на бокъ, что-то шептала и кланялась. Ветлугинъ узналъ въ ней Ульяну Андреевну. Но какъ она измѣнилась.

Это была не ласковая, тихая съ виду старушка, какову онъ ее видѣлъ на станціи и въ первое время по прїѣздѣ сюда, а какая-то мрачная и грозная Пнеія. Она стояла передъ могильнымъ крестомъ, но, казалось, не молилась, а точно, одержавъ нѣкую побѣду и безпощадно укоряя побижденнаго, изрекала ему роковой приговоръ. Гнѣвные и вмѣстѣ радостные, ея глаза пылали, сѣдые волосы въ порядкѣ развѣвались изъ-подъ чернаго, наскоро наброшеннаго платка. И тихо раздавались изступленныя, точно шипящіе возгласы: «Боже мой! Господи! Да ты ли это? Ты ли, Царь небесъ? И мнѣ ли? За что такія милости? Господи! за что?»...

Ветлугинъ, недоумѣвая, что выражалъ этотъ, обдававшій холодомъ, молитвенный восторгъ Вечерѣвой, долго слѣдилъ за ней. Она еще нѣсколько разъ склонилась до земли, постояла и ушла. Ветлугинъ также выбрался за рѣку. Ему теперь становились понятнѣе и недавнее отчаяніе старика, и это радостное моленіе старухи. «Все, видно, кончено,—думалъ онъ,—событіе, зрѣвшее столько лѣтъ, увидѣло наконецъ свою развязку»...

Ветлугинъ поднялся на косогоръ. Передъ нимъ, вдоль рѣки, открылись дуга, холмы, дальніе поселки и лѣса. Здѣсь, на взгорьѣ, подъ сѣнью нѣсколькихъ, одиноко стоявшихъ дубовъ, Ветлугинъ увидѣлъ радъ рытвинъ, какъ бы остатокъ былаго жилья, сторожевой, соломенный шалаши, а возлѣ него бѣлаго, какъ лунъ, крестьянина. Старикъ сидѣлъ, у входа въ шалаши, на травѣ и строгаль тычинокъ, повидимому для подвязки хмеля или бобовъ. Ветлугинъ освѣдо-

мился отъ него, какъ пройти къ слободкѣ, гдѣ отца Адриана братъ дьякономъ состоитъ?

Дѣдъ объяснилъ.

— А чѣмъ лугами идетъ дорога до той слободки?

— Куда глазъ твой, батюшка, глянетъ—все нашего барина, все Вечерѣева. Все нажили его дѣды, да отцы, да и онъ самъ, кормилецъ, нажилъ! — отвѣтилъ, шамкая губами и снимая дырявую шапку, старикъ: — вся эта уйма, и тѣ вонъ лѣсочки, и эти озера—все его, милаго... Дай ему Господь много лѣтъ жить... дай ему счастья и радостей...

Ветлугинъ остановился. Тихая и ласковая рѣчь семидесятилѣтняго дѣда заняла его.

— Чтѣ ты, дѣдушка, самъ тутъ дѣлаешь?

— Я-то? Какъ чтѣ? — усмѣхнулся, подслѣповатыми глазами добродушно глядя снизу на Ветлугина, старикъ: — поле берегу, покосы, барскую тоже усадьбу. Мы у нашего барина договоренные, прошенные. Безъ насъ ему худо... Да и намъ ~~безъ него~~. Мы съ нимъ, какъ односемейники...

— Давно-жъ ты здѣсь, дѣдушка, сторожемъ?

— Я-то? Лукашка-то?

Дѣдъ опять усмѣхнулся.

— Сорокъ, а може и больше того годовъ, милый, этта при господскомъ добрѣ. Шутникъ ты, иначе, баринъ, балагуръ какой... Сколько дѣнь въ саду у насъ гостишь, а моей землянки и не запримѣтилъ. А дѣдко Лукашка, почитай, рядомъ-то съ твоей банькой—въ раkitникѣ, и живетъ. Ну, да Богъ съ тобой. Нонѣ все какъ-то, словно, рѣзвѣе, безтолковѣе-ча стало... Ишь, солнышко-то парить, парить.

Дѣдъ наставилъ ладонь и глянуть изъ-подъ нея.

— Ведро Господь даетъ. Птички давеча на зарѣ такъ это шилохвостыя разрѣзались, пѣли въ саду... Охъ-хо-хо... Эттакъ-то лежишь въ землянкѣ, отъ скуки обойдешь садъ, отгонишь воробьевъ, али галочье съ ягодъ, да и взберешься сюда въ гору, поглядѣть: не подбиваютъ ли гдѣ хлѣба, али травы? Да, много годовъ, милый, много такъ-то стерегу... Еще при титенькѣ нашего барина тута жилъ... Сколько времени ушло... Вонъ тоже двое зайчатъ намедни разыгрались тутъ около, по бугру. Вышли изъ овсовъ—махонькіе, вислоухіе, да шустрые, треклятые, такіе; да какъ зачали это кубаремъ, въ чуфарду играть... индо кишки со смѣху надорвались, на ихъ прыганье гляючи...

Дѣдъ такъ весело разсмѣялся, что улыбнулся и Ветлугинъ.

— Прощай, старикъ.

— Прощайте, милый.

— А что это съ вашей барыней?—спросилъ, уходя, Ветлугинъ:—отчего это она у васъ все молится?

— А ты нешто видѣлъ?

— Невзначай, только-что наткнулся въ саду.

— Видно въ липахъ?

— Да, возлѣ поляны, гдѣ кусты.

— Что-жь, братецъ ты мой... Ты пріѣхалъ, занялъ бесѣдку, а въ ней ея молебенчикъ; ну, она, сердечная, и мается по куткамъ... А подѣ липами, милый, могила барченка, ейнаго сына...

— Но изъ-за чего она все молится?

Дѣдъ понурился, точно не слышалъ этого вопроса, и, какъ бы съ кѣмъ мысленно бесѣдуя о далекомъ прошломъ, молча задвигалъ губами и бровями.

Ветлугинъ перекинулъ ружье за плечо, далъ дѣду на чай, ва указаніе пути, и пошелъ.

Ходилъ онъ долго. Слободку нашелъ. Но Фросиньку оттуда еще рано утромъ увезли на Вечерѣвскихъ лошадахъ. «Гдѣ же она?—разсуждалъ онъ, возвращаясь въ Дубки:—какъ жаль, что я получше о ней не разспросилъ...»—Дѣда Лукашку онъ увидѣлъ на томъ же мѣстѣ. Только дѣдъ сидѣлъ теперь на корточкахъ, покачивался и, улыбаясь, тщетно силлся набить себѣ трубку: онъ былъ уже нѣсколько навеселѣ. Руки его не слушались. Голова кружилась.

— Ты постой, баринъ,—крикнулъ дѣдъ вслѣдъ Ветлугину.

— А что тебѣ?

— Подойди.

Ветлугинъ подошелъ.

— Сядь тутъ.

Ветлугинъ сѣлъ.

— Законы знаешь?

— Знаю.

— Нашиши мнѣ прошеніе...

— Какое?

Дѣдъ замаялся. Ему и говорить хотѣлось, и что-то его сдерживало.

— Сирота я, братецъ ты мой, круглая,—всклипулъ онъ вдругъ:—и некому мнѣ, не то-что одежѣнку иной разъ по-

чинить, а и глазъ закрыть, какъ помру. Нѣтъ, вру: есть у меня внучка... Только лучше бы се и не вспоминать... Охъ, люди—люди! свѣтъ—горе...

Старикъ снялъ шапку, глянулъ въ ея дырявое дно, замоталъ головой и, вздохнувъ, прибавилъ: «такъ-то, милый; молодое горе тяжело, а старое и пуще того...

— Что же у тебя за горе, дѣдушка?

— Да ты не судейскій?

— Не судейскій.

— Ну, ладно. Про Антропку слышалъ тутъ? чай, сказы-
вали тебѣ?

— Не слыжалъ.

Дѣдъ помолчалъ, жуя губами, глянулъ по сторонамъ, сѣлъ и началъ:

— Ну, не выдай же, а я все тебѣ расскажу, все... Охъ! десять, а може и больше годовъ тому, противъ саду и какъ разъ на этомъ вотъ на самомъ мѣстѣ, гдѣ мы теперича съ тобой сидимъ, стоялъ дворъ, и жилъ тутъ, братецъ ты мой, кузнецъ Антропка. Ухъ, да и кузнецъ же былъ. На весь, какъ есть тебѣ, околотокъ. Чернявый, кудрявый, да рослый, а ужъ въ работѣ горячій былъ. И взялъ Антропка за себя Машку; мнѣ она, дѣвка, внучкой-то и приходится: здоровая этакая, русая, да высокая. Покорница мужу была. И за хозяйство взялась хорошо. Антропка въ кузницѣ день-денской. Её управляющій приставилъ къ огороду, въ садъ. И долго такъ-то въ огородъ она хаживала; а оттолъ бабенка стала, какъ слухъ прошелъ, и въ эту самую твою бесѣдку, что ли, къ барину навѣдываться. Я — сказать по правдѣ — не замѣчалъ. Да онъ, бабы-то, на это ловки. Ну, только Антропка былъ не таковъ. Его не проведешь... Сперва эта молчокъ, истомъ попреки, а тамъ и бить... Брось, говорить, барина, ладомъ; прошу въ такомъ разѣ. Какой онъ тебѣ полюбовникъ? На старого, да женатаго — меня, молодого-то мужа, безпутная ты этакая, промѣняла... А не бросишь, говорить, либо тебя изведу, либо никого не пощажу... Охъ, и не забуду же я вѣкъ того, что въ скорости увидѣть...

Дѣдъ помолчалъ.

— Маша, сказать, видно изъ баловства, по охотѣ все это дѣлала. Баринъ же Антропу всякія милости клалъ: хлѣба ли, скота ли, лѣсу, всего ему было вдоволь. А тамъ послалъ его и приказчикомъ въ свою другую вотчину. Только

этого, видно, мало стало Антропу. Съ зависти ли, съ горя ли, начал онъ погуливать, куражиться. Не хочу, говорить, въ той вотчинѣ; сюда переведите въ приказчики. Ну, а здѣшнему-то управляющему это не по душѣ пришлось. Понятно, Антропу отказали. Только тѣмъ дѣло не кончилось...

— Что же случилось?—спросилъ Ветлугинъ.

— Охъ, и не спрашивай. Сижу я разъ въ саду, починаю бредень... Барыни дома не было, къ роднымъ уѣхала. Я же въ тѣ поры кажинъ день рыбу на ужинъ господамъ вершами ловить. Было уже поздно вечеромъ. Зорьба такъ это разыгралась красно. Глядь, изъ бесѣдки выскочила Марья. Стала на крылечкѣ; волосы выбились изъ-подъ платка; да такая-то веселая. И шмыгнула подъ вербы, да черезъ мостокъ, куда-то, къ своей избѣ. А за нею, погодя, на дорожку вышелъ и баринъ. Курить, поглядывать по сторонамъ. Постоитъ онъ, братецъ, на крылечкѣ, покурить и пошелъ дорожкой къ усадьбѣ. Тутъ навстрѣчу ему вышелъ и здѣшній пражный приказчикъ, Нефёдычъ звали. Говорить, такъ и такъ: — а я подъ ракушкой, по близости, надъ вершой сажу: — что Антропъ, молъ, явился изъ той вотчины, да видно выпилъ и буйствуетъ на селѣ... Что-жъ, отвѣтили ему баринъ, поберегите его, чтобъ чего не сдѣлалъ худого; проснитъ, скажетъ, чего ему нужно. Разошлись они. И только-что Нефёдычъ поровнялся съ дорожкой, гдѣ опосля въ густахъ баринова сына схоронили, да какъ вскрикнетъ на своимъ голосомъ: «ой, Антропъ, что же это ты со мной?» застоналъ и упалъ...

— Что же, онъ убилъ его?

— Я къ нему... Добѣжалъ, милый ты мой, и самъ чуть со страху не упалъ. Вижу, Нефёдычъ лежитъ на травѣ, а кровь по кафтану такъ и бѣжитъ; а возлѣ Антропъ съ пожомъ хмельной стоитъ, шатается. «Иди, дѣдко, объясни!» — говорить: — пусть меня вяжутъ... Я его порѣшилъ!» — Сбѣжался народъ: въ волость дали знать. Становой Антропа связалъ и увезъ, а въ скорости его по суду и сослалъ.

— Нефёдычъ живъ остался?

— Куда! Антропъ добре-таки его добѣжалъ. Выскочилъ пѣзъ-въ-пустовъ, обшилъ его на дорожкѣ, — будто здоровается, — да снизу-то вверхъ пожомъ по животу его и черкнулъ... Видно, думалъ барина подстеречь, да въ хмелю-то на другого и наскочилъ... Но прожилъ Нефёдычъ и до почи... номеръ...

Дѣдъ замолчалъ. Надвинулась туча; сталъ накрапывать дождь.

— Войди въ мою мурию,—сказала Лукашка: — посиди тутъ, пока пройдетъ...

Антонъ Львовичъ присѣлъ въ палатѣ.

— Что же случилось съ женой Антропа?—спросилъ онъ.

— Съ Машкой-то?

— Да.

— А что ей? Тутъ осталась... Долго барыня не знала пастышаго дѣла; а тамъ, видно, ей кто и спелъ, что баринъ-то къ Машкѣ, не токма прежде, а и опосля будто въ избу хаживалъ— и что у Маши отъ барина и дитя, мальчикъ годовъ пяти былъ. И опять, милый ты мой... Охъ, инда страшно и вспоминать... На моихъ глазахъ опять недоброе дѣло случилось...

Дѣдъ замоталъ головой. Его покраснѣвшіе глаза тревожно мигали изъ-подъ нависшихъ бровей.

— Такое дѣло, братецъ, такое, что лучше бы и не вспоминать... Лѣтомъ мальчика Машкинаго нашли въ камышахъ; видно, игралъ и утонулъ... А вскорѣ... Сплю я это въ землянкѣ въ саду... Была, сказать тебѣ, поздняя осень. На-стали вѣтры, да такіе-то холода. Всю ночь буя была, стоишь стоялъ на дворѣ... Тутъ-то, въ самую, какъ есть, слухую полночь, слышу я, загудѣло что-то по саду еще болѣе; да этакъ-то трещить; пу, точно въ жарко-растопленной печи; а тамъ и освѣтило весь садъ... Вылѣзъ я изъ землянки — и ахнулъ... Антропкина изба, тутъ на бугрѣ, весь его дворъ и кузница горятъ; вѣтромъ разноситъ пы-лыми... На церкви ударили въ набатъ, и народъ, вижу, отъ зела бѣжитъ на пожаръ. Я заковылялъ берегомъ, запутался отъ страху въ осоки, сюдѣ-туда мыкаюсь, и никакъ не найду мостика.. Смотрю, а по тотъ бокъ рѣки тоже кто-то будто слоняется, ходитъ подъ косогоромъ въ темнотѣ. — «Кто тутъ?» окликнулъ я. Молчитъ. — «Кто ты, человѣче, отзовись». — Смотрю, паша барыня. — «Помоги, говоритъ, Лукьянушка; я выскочила на пожаръ поглядѣть, сбилась и никакъ не найду назадъ дороги». — Я ее, сердечную, и про-велъ... Да какъ встѣ се за руку-то по жердочкамъ мостика, сердце такъ и замерло... Думаю: неужто—прости Господи! — она это Антропкину-то избу?..

Старикъ вздохнулъ. Хмель, очевидно, уже сталъ выхо-дить у него изъ головы.

— Охъ, что же это я, — сказалъ онъ, оглядываясь и почесывая въ головѣ: — ты, баринъ, забудь, что я молюсь... Такъ съ хмелю, да сдуру, языкъ-то болтаетъ... Не она, убей Богъ, не она, мужъ Машинъ изъ ссылки бѣгалъ, онъ видно и поджегъ...

Небо опять прояснилось. Антонъ Львовичъ и дѣдъ вышли изъ шалаша.

— Не томи меня, дѣдушка, — сказалъ Ветлугинъ: — ну, ужели Марья сгорѣла.

Дѣдъ медленно перекрестился большимъ крестомъ.

— Нѣтъ, другъ мой, Богъ спасъ... Поднялъ я утромъ на мосту барынина платокъ и самъ его къ ней снесъ. Смотрю, въ одну ночь сударыня наша сѣдала стала; трясется, завидѣвши меня, какъ осиновый листокъ... Мучилась, полагать должно, она долго, не зная, сгорѣтъ ли кто въ Марьиной избѣ? Съ той поры у нихъ съ бариномъ вышло такое, что они сумѣстно, почитай, ужъ и не живутъ. Опосля пожара, какъ Марья въ одной-то сорочкѣ изъ огня въ окно высочила, баринъ Машу сперва подъ спудомъ держалъ въ разныхъ мѣстахъ; все опасался за нее. А какъ въ скорости наша барыня въ другую ихнюю вотчину на житье съѣхала, а потомъ у своей крестной стала подолгу гащивать, — Машка Марьей Титовной объявилась. Отселева выбралась. Люди брешутъ, что ее первоначально тугошній тоже баринъ, Ключковъ, подманилъ и держалъ у себя въ усадьбѣ; ну, а потомъ вышла она за купца, въ городъ переѣхала, да овдовѣла. Будешь въ городѣ, спроси: всякъ тебя ся домъ покажетъ. Сказываютъ, она и понынѣ лавку держитъ и заѣзжій дворъ. Можетъ, и правда. Миѣ барандоръ сколько разъ присылала да не раскушу... Да и впрямь: нешто они миѣ нужны? Онъ у меня одна сродственница и есть, сына мово Тита дочка.. Такъ нѣтъ, о дѣдъ Лукашкѣ и думать, безстыжая, забыла.. Коли бы не господъ, куда и голову преклонить не знала бы. Такъ я къ твоей милости... нельзя ли на Машку прошеніе въ судъ написать, чтобъ содержала меня?

Ветлугинъ посоветовалъ дѣду сперва написать къ внучкѣ письмо, а потомъ, пожалуй, думать и о судѣ.

— Черезъ нес, непутишую, и наша барыня, вонъ, какъ страждетъ, молится, — сказалъ старикъ: — мало ли что люди брехали и о пожарѣ, и что сынишку Маши будто кто утопилъ. Все пустяги... Такой барыни, какъ у насъ, поискать — добрая, тихая, молитвенная...

— Хорошо, дѣдушка... Это ты о барыні... А свою... дочку... зачѣмъ же она съ собой... по богомольямъ возить?

Лукашка неопредѣленно глянуть передъ собой и развелъ руками.

— Ужъ это, милый мой, не знаю... Видно, на то ихъ родительская воля. Надо думать, старая-то, навидѣвшись святого, тихаго житія у своей крестной, что ли, боятся, какъ бы и барышнинѣ муженѣкъ, какой опосля попадетсѣ, не повернулъ бы когда оглоблей къ чужому двору... Такъ-то... Ну, а возлѣ Бога-то, согласишь, оно спокойнѣе... Ты грѣшишь, а Богъ—нѣтъ, погоди; ты воровать, а онъ—нѣтъ, почтенный, стой... Такъ ужъ ты, милый, напиши писемцо... По гробъ жизни буду помнить... Экъ, парить-то, опять парить! ведро-то каково!

Старикъ сталъ глядѣть на небо. Хмель окончательно исчезъ. Глаза свѣтили прежней лаской и добротой.

— Тучкашла, да не съ той стороны,—сказалъ дѣдъ:— а галочье... Ишь ты, подѣ самымъ небомъ треклятыя рвють, точно вихремъ ихъ мететь... Ишь разыгрались... А гдѣ гнѣзда вывели? гдѣ?—у меня же въ ракитахъ... А куда за годами летаете?—Ко мнѣ же... Такъ-то... Слава тебѣ, Господи, слава тебѣ... А письма, пожалуй, баринъ, и не пиши... Богъ съ пею... Тако-ста жили, такъ безъ нея и померемъ... Теплынь-то какова, поди, теплынь, да тишина... Слава тебѣ... слава.

XIII.

Загадка.

Встлугинъ спустился въ садъ, но, не заходя къ бесѣдкѣ, взялъ вѣдро.

Онъ шелъ и самъ не сознавалъ, куда идетъ. У окраины поляны, окаймленной тѣнистыми, высокими вязами, онъ остановился, прилегъ подѣ дерево. Небо убиралось бѣлыми, нудравыми облаками. Птицы смолкли. Чуть замѣтный, теплый вѣтерокъ перепархивалъ по верхамъ травы. Запахомъ меда и смолы тянуло съ ихъ колебавшихся нарядныхъ головокъ и сочныхъ стеблей. Тутъ были всякіе цвѣты: бѣлые звѣздочками, синіе стаканчиками, красные и желтые султанами и кистями. Одни сплошнымъ ковромъ застилали садовыя поляны, другіе, точно стаи пестрыхъ бабочекъ, кучей усьмились на гибкихъ, высокихъ стебляхъ. при махнѣшкѣ дви-

жепи вѣтра качались, сквозя на солнцѣ всѣхъ разнообразіемъ весеннихъ красокъ...

Издали видѣлись зарѣчные холмы, поля и луга...

«Вотъ она, вотъ спящая царевна-Русь!—съ приливомъ печальной тоски, поднявшись на локти, мыслить Ветлугинъ:— вотъ эти тихо цвѣтушіе нивы, сады, необозримые луга и холмы... Все будто счастливо и спокойно. Ничто, кажется, не мутитъ этой поверхности общественного моря. А здѣсь же, въ этомъ же, повидимому, мирномъ затишьи, губятъ дѣвушку и никто ее не спасетъ и не спасетъ. Кто губитъ, за что и почему? спросите... Праздный вопросъ!.. Общество равнодушно, и нѣтъ человѣка, нѣтъ живого, сильнаго слова, чтобы ихъ образумить, остановить и переубѣдить... Кого переубѣдить? и кто станетъ слушать?... А мы, слѣпцы, мечтаемъ о всеобщемъ счастьи, о пересозданіи народа... Ребенка спасти не можемъ... Восемнадцатилѣтнюю дѣвушку отдають на жертву кучкѣ темныхъ святошъ, — и эти поля, холмы и луга остаются такъ же тихи и спокойны, какъ спокойны были и будутъ всегда»...

Ветлугинъ слылъ. Слезы подступили къ его горлу. Обхвативъ колѣни и склонясь на нихъ головой, онъ мыслилъ: «Нѣтъ, надо отсюда ѣхать, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Что я могу сдѣлать? Для нея я—ничто, послѣдняя песчинка, которую она топчетъ подъ ногами... Эта сила ни передъ чѣмъ, какъ видно, не отступитъ. Когда человѣкъ умеръ — всѣмъ, кому онъ дорогъ, остается только оплакать его и отойти отъ его могилы»...

До слуха Ветлугина долетѣлъ неясный шорохъ медленныхъ шаговъ. Онъ поднялъ голову. Вѣтви заслонили его. Вдоль деревьевъ, за которыми онъ лежалъ, обѣ руку другъ съ другомъ, алсеи, шли мужчина и женщина. То были Милунчиковъ и Аглая...

— Ахъ, Боже Господи! да что же это? — говорилъ первый:—ты вѣдь согласилась... Пережди хоть день рожденія твоего отца... смотри, какой гость у васъ—умный, честный, столько видѣлъ, испробовалъ,—не соскучишься...

— Но я должна, наконецъ,—перебила Аглая:—такъ нельзя; долѣе медлить нѣтъ силъ... Это мученіе, поймите, мученіе!..

— А болѣзнь отца?

— Не могу, не могу! — отвѣтила Аглая.

Слезы прервали ея слова.

— Притомъ же именно то, что вы мнѣ сказали—это-то самое и страшить меня...

— Но ты выслушай меня — ахъ! да какъ же мнѣ тебя убѣдить?.. какъ убѣдить?

Далѣе Ветлугинъ не разслушалъ. Говорившіе скрылись за гущиной сосѣднихъ деревь. Онъ взглянулъ на часы, всталъ и отправился въ бесѣдку. Туда скорѣ явился Филать.

— Кушать васъ, сударь, просятъ. Барину лучше какъ-будто стало, хотя они еще и въ постели. И Николай Ильичъ, г. Милунчиковъ, васъ спрашивали; я сказалъ, что вы на охоту отправились. Ну, что? убили что-нибудь?

— Плохо; не знаячи мѣсть: прогулялся, а стрѣлять не пришлось. Съ тобой когда-нибудь пойдемъ.

— Это можно-съ... вотъ, баринъ оправится...

Умывшись и приодѣвшись, Ветлугинъ поспѣшилъ въ домъ. На балконѣ его встрѣтилъ Милунчиковъ.

— Очень, очень радъ васъ видѣть! — сказалъ Милунчиковъ, здороваясь съ Ветлугинымъ;—но подъ какими грустными впечатлѣніями мы встрѣчаемся снова!

— Да, жаль Кириллы Григорыча—онъ такъ нездоровъ.

— А его дочь, вы, разумѣется, знаете? какое горе и какой ударъ для отца!

— Слышалъ я и это,—отвѣтилъ Ветлугинъ.

Милунчиковъ отвелъ его въ сторону.

— Сама судьба посылаетъ васъ сюда, — сказалъ онъ, оглядываясь и понижая голосъ;—умоляю васъ, не уѣзжайте отсюда, побудьте здѣсь. Вы жирой, съ душою человѣкъ... Вы хоть каплю утѣшенія прольете въ душу бѣднаго старика...

— Но какъ же,—началь-было Ветлугинъ:—у меня дѣла, надо ѣхать...

— О, помилуйте! — заговорилъ, пожимая ему руку, Милунчиковъ: — Кирилло Григорычъ радъ будетъ. Онъ даже черезъ меня и просьбу вамъ одну передаетъ... Разборъ его фамиліальныхъ бумагъ, просмотръ его мемуаровъ, ну, и переводъ Мильтона... Онъ давно задумалъ кое-что издать... Ну, знаете — старикъ, домосѣдъ! притомъ же вѣрить вашему вкусу. Не откажите просмотрѣть его переводъ, посравнить съ подлинникомъ и, гдѣ нужно, знаете, отмѣтить, что вы найдете слабымъ... Согласны?

— Я, право, не знаю,—сказалъ Ветлугинъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, безъ колебаній, уважьте просьбу старика.

Вы займетесь, углшите его. А тамъ и я опять зайду сюда. У меня завтра съѣздъ сельскихъ учителей, потомъ въ городъ нужно, въ управу... Ну, рѣшайтесь: согласны?

Ветлугинъ затруднялся отвѣтомъ.

— Кушать, братецъ, просите гостя, — сказала въ это время Ульяна Андреевна, показываясь на балконѣ: — здравствуйте, Антонъ Львовичъ! извините... за хлопотами съ больнымъ мы о васъ совсѣмъ и позабыли...

— Какъ здоровье Кирилы Григорыча? — спросилъ, раскланиваясь съ нею, Ветлугинъ.

— Благодаря Бога, сегодня легче. Что дѣлать! Не бѣжится. Бѣздилъ въ поле, — тогда, вѣроятно, и простудился. Меня же вы снова извините: кушайте съ Николаемъ Ильичемъ одни, а мнѣ что-то также нездоровится.

Милунчиковъ сходилъ въ кабинетъ и сѣлъ съ Ветлугинымъ за столъ, накрытый на три прибора въ залѣ. Къ третьему прибору, однакоже, никто не являлся. Въ концѣ обѣда изъ кабинета вышла Аглая. Ея лицо было спокойно. Глаза смотрѣли холодно и строго. Только ея взглядъ, упавшій вскользь на Милунчикова, на мгновеніе прояснился, и въ немъ мелькнуло что-то похожее на нѣжную, ласковую улыбку.

Отвѣчая на поклонъ Ветлугина, она сказала:

— Отецъ проситъ васъ къ нему зайти послѣ обѣда...

— Вѣрно, насчетъ Мильтона? — спросилъ Милунчиковъ.

Глаза Аглаи опять засвѣтились. Но она ни словомъ не отозвалась на замѣчаніе дяди, молча налила себѣ воды, отпила глотокъ и небрежно ушла во внутреннія комнаты.

— Дорого бы я далъ, блянусь, чтобы узнать настоящія мысли этой дѣвочки, — сказалъ Милунчиковъ, поднося къ своимъ губамъ ся стаканъ: — говорятъ, допьешь чужую воду, узнаешь... Эхъ, не будь она мнѣ племянница... Меня, по правдѣ, она только и слушается.

— Въ настоящемъ случаѣ, — замѣтилъ Ветлугинъ: — кажется, и вамъ что-то не совсѣмъ удается...

— Ну, нѣтъ, успѣлъ. Представьте, дала слово повременить, — шепнулъ Милунчиковъ: — и это ужъ великая побѣда! Идите же къ старику, а я къ сестрѣ. Подозрѣваю, это ся нездоровье — только предлогъ. Кажется, она теперь не одна: какая-то карета опять давеча подѣхала сюда съ черного двора. Должно-быть, снова монастырскіе послы... А, Антонъ Львовичъ? думали ли встрѣтить что-нибудь подобное въ нашемъ вѣкѣ?..

Ветлугинъ вошелъ въ кабинетъ. На диванѣ, спинной къ занавѣшенному окну, лежалъ, укрытый фланелевымъ одеяломъ, блѣдный и съ небритой бородой, Вечеревъ.

— Дайте мнѣ вась поблагодарить, мой добрый, молодой другъ!—костлявою рукою пожимая руку Ветлугина, сказалъ старикъ.

— Помилуйте, за что же?

— Вы не отказались посмотрѣть мои бесѣды съ старымъ другомъ,—сказалъ, указывая на полку шкапа, Вечеревъ:— дайте мнѣ его сюда.

Ветлугинъ подаль старигу туго набитый портфель.

— Вы прѣехали ко мнѣ за дѣломъ. Но, видите, я не-адоровъ. Двинуться изъ дому нѣсколько дней, вѣроятно, не смогу для выполненія просьбы вашего батюшки. А чтобы вы не скучали,—вотъ вамъ и дѣло... Что?.. не ожидали?.. вѣдь вы—дѣловой человекъ. Не откажите, между прогулками, такъ, во время отдыха, просмотрѣть и исправить, что нужно...

— А это,—указавъ рукою Вечеревъ:— въ томъ, вонъ, лѣвомъ ящикѣ, въ столѣ, мои записки. Я вамъ о нихъ говорилъ. Умру,—но откажите ихъ издать. Я такъ и ближнимъ моимъ завѣщаю... Что? надѣюсь, не откажете? Здѣсь некому, некому-съ, мой другъ, поручить... Уже извините на томъ. Земля клиномъ у насъ сошлась: не люди, а людшки кругомъ. И пробираю же я ихъ въ моихъ мемуарахъ. По смерти моей увидать свои изображенія...

Старикъ труднѣе и былъ раздраженъ. Вошелъ Милупчи-ковъ. Онъ тоже былъ не въ духѣ и опять, какъ въ почтовой конторѣ, болѣзненно и робко потирая свою плоскую грудь, тревожно мигалъ глазами.

— Прощайте,—сказалъ онъ, подходя къ постели боль-ного:—вду: мнѣ пора...

— Что? опять?—многозначительно подмигнувъ, какъ бы указывая за стѣной на нѣчто роковое и тяжелое, Вечеревъ.

— Охъ,—мрачно отвѣтилъ Милупчиковъ.

Старикъ сдернулъ съ себя одеяло. Въ красной флане-левой фуфайкѣ и въ бѣломъ ночномъ колпакѣ, онъ сбросилъ необутыя жилистые ноги на ковёръ, усялся на постели и спросилъ:

— Келейница?

— Да.

— Сиди домница?

— Да.

— Рангомъ?

— Мать казначел...

Старикъ нервически захохоталъ.

— Слышали?—спросилъ онъ, обращаясь къ Ветлугину:— напишите-ка въ ваши газеты, — хотя они этому и не поверятъ! — напишите, что ко мнѣ, къ постороннему, свободному человѣку, врываются въ домъ эти проходимцы, попрошайки...

— Вонъ ее, Николай Ильичъ! — побагровѣвъ и задыхаясь, крикнулъ Вечерѣевъ: — вопъ сейчасъ же и безъ всякаго снисхожденія! — продолжалъ онъ, дрожащей рукой повелительно указывая на дверь: — чтобъ духу ея не пахло въ моемъ домѣ, духу... Пусть Ключковы съ нею возьтятся, пусть Талищевы съ нею любезничаютъ, — я ее знать не хочу... Смерть, видно, мою почувли: какъ воронъ слетаются. Зачѣмъ мнѣ она? Не звалъ я ее, не звалъ...

— Полноте, полноте, — бросились утѣшать старика Ветлугинъ и Милунчиковъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, не успокоюсь, пока отсюда, слышите? изъ-подъ моей кровли не уберется эта чернорясница... Божья затворница!.. въ каретѣ четверней разъѣзжаетъ.. Въ шелку, въ бархатѣ... въ батистовые платки сморкается... Ладонка на вороту, а чортъ на шеѣ... Антонъ Львовичъ, вѣдь это — насиліе, разбой...

— Полноте, Кирилло Григорычъ, успокойтесь. Стоять ли?.. вамъ это вредно...

— Николай Ильичъ! развѣ не правъ народъ? — закричалъ еще громче, въ изступленіи размахивая руками, старикъ: — всякъ крестится, да не всякъ молится... А? вѣдь вѣрно? И потомъ: иной двѣ обѣдни слушаетъ, да и по двѣ души кушаетъ... Что?.. правда?.. Не вѣшай, Николай Ильичъ, не вѣшай... Спереди — блаженъ мужъ, а сзади — вскую шаташся языцы... Читаютъ — да будетъ воля твоя, а думаютъ — кабы-то моли! Вѣдь и Богу-то они цароватъ угодить на чужой счетъ... Смирны духомъ, да горды брюхомъ... ха-ха?.. А по-моему, не строй семи церквей, а пристрой семерыхъ дѣтей... По-моему...

Силы старику измѣнили. Онъ смертельно поблѣднѣлъ, покачнулся и тяжело рухнулъ на постель.

— Дурно ему, воды, воды, позвоните! — засуетился Милучниковъ.

По отъѣздѣ Николая Ильича, Ветлугинъ пробылъ нѣкоторое время возле больного, взять переданныя ему бумаги и отпра-вился въ бесѣдку. Въ саду онъ встрѣтился съ Фросинькой.

— Гдѣ вы были все это время?—спросила она, входя съ нимъ въ одну изъ боковыхъ дорожекъ и сядя на скамью.

— Утромъ навѣщала вашего батюшку, думала видѣться тамъ и съ вами.

— Ну, не будемъ же терять времени, — сказала Фро-синька:—за мной сейчасъ прислали... Есть у васъ что мнѣ сказать?

— Афросинья Адриановна,—началъ Ветлугинъ:—объясните мнѣ, что здѣсь творится? Вы мнѣ обѣщали что-то ска-зать... Я теряюсь въ загадкахъ... Или это тайна?.. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, Аглая Кирилловна рѣшилась идти въ мо-настырь?

Фросинька пристально взглянула на Ветлугина, вся вспы-хнула, покачала головой, погрозила ему пальцемъ и вздох-нула. Измученный двухдневной неизвѣстностью, волненіемъ и бессонницей, блѣдный и усталый, Ветлугинъ былъ въ эту минуту жалокъ. Она сама прошла рядъ сердечныхъ испы-таній и невзгодъ. «Что я такое? поповна и больше ничего!» говорила она себѣ. А между тѣмъ, мечтала выйти замужъ не иначе, какъ за героя, наприимѣръ, за ученаго, или за общественнаго, всѣми чтимаго дѣятеля, и вслѣдствіе того, не обращая ни малѣйшаго вниманія на мѣстныхъ искате-лей ея руки, сочувственно относилась ко всякой, мало-мальски порядочной, влюбленной душѣ. Зоркій глазъ ея сразу, еще два дня назадъ, во время поѣздки Вечеревыхъ къ пчельнику, замѣтилъ настроеніе Ветлугина. А потому и теиерь, сядя съ нимъ рядомъ, она потупилась, еще болѣе покраснѣла и, едва преодолевая собственное волненіе, сказала:

— Вы спрашиваете, идти ли Алинкѣ въ монастырь? Ахъ, Антонъ Львовичъ... Затѣмъ вы мнѣ сказали эти слова? Вы—честный человѣкъ, это видно по всему... Отвѣтьте мнѣ одѣо,—только по истинной совѣсти: дѣйствительно ли вамъ дорогá стала Алинка? Или это такъ, одно пустое воло-китство мужчины, праздныя слова и больше ничего?

— Не знаю, какъ другіе, — сказалъ Ветлугинъ: — а я

живъ свою готовъ отдать, лишь бы спасти Аглаю Кирилловну.

Въ глазахъ Фросиньки засвѣтился кроткій огонёкъ. Она глянула передъ собой на деревья, на кусты, хотѣла что-то сказать и остановилась.

— Да, именно такъ, вы правы! — сказала она, утирая покатившіяся слезы: — Алинъка достойная, добрая такая... Ахъ! если бы она это знала, если бы сама слышала эти слова!... О! вы еще не вполне узнали Алинъку, хоть она вамъ, кажется, и понравилась... Это — драгоценный кладъ; только кладъ этотъ лежитъ, — какъ бы вамъ вѣрнѣе сказать? — на днѣ темнаго и глубокаго колодца. Достать его трудно... А то, пожалуй, и вовсе не достанешь: какъ и кто возьмется за дѣло...

— Но скажите, однако, — хватался за соломенку Ветлугинъ: — неужели рѣшеніе Аглаи Кирилловны идти въ монастырь такъ непреклонно и безповоротно?

Фросинька утвердительно качнула головой.

— Но какаѣ же этому причины? Сказать бы: личное горе, бѣдность, или недостатокъ развитія... Ничего этого здѣсь нѣтъ...

— Много и долго надо рассказывать, — отвѣтила Фросинька: — да теперь и не время... А дѣло простое: сперва горе матери и удаленіе отъ отца; какое горе — послѣ отъ кого-нибудь узнаете; — потомъ уговариванія со стороны; частыя гощенія въ разныхъ обителяхъ, заискиванія монахинь, ну, можетъ-быть, и еще отъ чего-нибудь душа болить...

— Отъ чего же? Не вѣрится все мнѣ... какая душевная боль можетъ быть у такой молодой, не видѣвшей свѣта и неопытной дѣвушки?

— Слишкомъ много думала она, вотъ еще отчего. Отъ нѣкоторыхъ писаній, да отъ рассказовъ объ ужасахъ въ первыя христіанскія времена — хоть чья голова помутится. Какія ей книги, въ самомъ дѣлѣ, давали читать? — точно на клиросѣ въ начѣтницы Ульяна Андреевна ее готовила... Со мной была она въ пансіонѣ недолго, и сейчасъ ее оттуда взяли... Все, что знаетъ — она приобрѣла собственнымъ, врожденнымъ умомъ, да смѣткой... Притомъ же она такая скрытная... И, какъ бы вамъ это сказать, — она вся внутри себя... Горюстъ, не горюстъ, никому не скажетъ. Да что тутъ толковать! Она уже нѣсколько лѣтъ назадъ, тайно отъ отца, дала обѣтъ постриженія, на евангелии,

матери и подставленному отъ адъшней, сосѣдней игуменъ духовнику, покланяся...

— Какія вещи вы мнѣ рассказываете! И такого духовника терпятъ? Да хороша и мать... Афросинья Адриановна, посоветуйте, что тутъ дѣлать? Я на все готовъ, лишь бы спасти Аглаю Кирилловну... Съ матерью ли ея переговорить, постараться ее убѣдить, съ отцомъ ли условиться, ѣхать ли куда. Я все брошу и поѣду, куда скажете.

Ветлугинъ всталъ.

Фросинька огминулась, пошарила въ карманѣ и торопливо проговорила:

— Если такъ, то надо сѣбѣшить... Вы не выдайте меня?

— О, будьте спокойны.

Дѣвушка еще разъ помедлила, вынула изъ кармана мелкоисписанную бумажку и сказала:

— Читайте, только поскорѣе... Алинъка присылала вчера на слободку за моимъ отцомъ и написала мнѣ вотъ это письмо...

Изъ письма было написано: «Другъ мой, Фросинька! Поздравь. Маменька все сказала отцу. Надо было бы еще подождать, но она не выдержала. Такъ, видно, было рѣшено свыше. Сперва отецъ сильно противорѣчилъ, а потомъ, кажется, поколебался. Жаль мнѣ его бѣднаго, вотъ какъ жалъ! Да иначе невозможно. Онъ заболѣлъ. Привѣжай, утѣшь насъ, хоть знаю, что ты въ этомъ случаѣ противъ меня. Маменька вчера написала матушкѣ Измарагдѣ, и я знаю, что это письмо ее утѣшитъ. Дивная и высокаго разума особа. Ея не игуменъ, царицей быть. Впрочемъ, что же я? вѣдь ты не наша... Пожалуй, смѣешься теперь, читая это... Однако, постой, еще слово. Ты, нераскаянная, наговорила мнѣ, будто я, въ пѣкоторомъ родѣ, царевна-Песмыяна, произвела впечатлѣнїе на этого нашего гостя. Если это правда, грѣхъ будетъ великій, и ляжетъ этотъ смертный грѣхъ не на одной моей душѣ, потому что...»

Ветлугинъ не дочиталъ. Фросиньку стали кланяться. Она поспула: — «пу, Антонъ Львовичъ, не выдайте же меня. Видите, каковы дѣла. Это къ ней меня зовутъ... Постѣ поговоримъ...» сунула письмо обратно въ карманъ и убѣжала.

~~~~~

# ДЕВЯТЫЙ ВАЛЪ.

(ХРИСТОВА-НЕВЪСТА).

РОМАНЪ.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КРЫЛОШАНКА.

### XIV.

#### ТѢНЬ ПРОШЛАГО.

Вечернѣвъ сталъ оправляться. Благодаря наставшему за-  
тишью въ семьѣ и общимъ заботамъ о немъ, онъ дня че-  
резъ три всталъ съ постели, а еще черезъ день вышелъ и  
въ садъ.

— Работаете надъ моимъ переводомъ?—спрашивалъ онъ  
Ветлугина, заходя къ нему въ бесѣдку.

— Работаю; но... мнѣ нужны справки въ вашей библіотекѣ.

— Сдѣлайте одолженіе; мои книги въ вашихъ услугахъ.  
Одно меня безпокоитъ...

— Что же именно?

— Я до сихъ поръ не исполняю просьбы вашего отца... Но  
хоть бы и хотѣлъ, еще не могу; видите, силъ нѣтъ, и  
докторъ пока запрещаетъ всякія занятія. Да и дѣла мои  
не очень-то вообще исправны, порядкомъ запущены. Вотъ,  
оправлюсь, думаю Николая Ильича Милунчикова просить.  
Не возьмется ли поладить мое хозяйство? Только, горячь  
онъ, несдержанъ, и служба ему мѣшаетъ. А некого больше  
пригласить. Другіе, ближайшіе мои, еще болѣе ненадежны.

Старикъ пободрилъ. Но обычный строй его жизни нарушился. Эта жизнь до тѣхъ поръ такъ была размѣрена, что по извѣстнымъ привычнымъ занятіямъ Кириллы Григорыча можно было въ точности угадывать часы: поднималась завѣска въ его окнѣ—было четыре часа утра, и онъ, значить, сидѣлъ за своимъ дневникомъ; шелъ съ простыней купаться—было пять часовъ; пилъ чай—было шесть; садился съ книгой на балконъ—семь; отворялъ буфетный шкапчикъ за дверью въ коридоръ и, выпивая рюмку какой-то настойки, говорилъ: «банкетецъ! человекъ выпьетъ рюмку, лучше о себѣ думаетъ!» — былъ полдень, то-есть часъ завтрака; а съ тростью и съ букетомъ свѣжихъ цвѣтовъ возвращался отъ теплицъ—чаша съ супомъ стояла на столѣ, и бронзовый рыцарь на тумбѣ въ залѣ билъ въ колоколъ четыре часа.

Теперь не то.

Кирилло Григорычъ и купался, и съ книгой на балконѣ сидѣлъ, и гулялъ. Но все это выходило у него какъ-то иначе и путалось. То встанетъ поздно, купанье пропустить. То сядетъ съ книжкой подъ навѣсомъ крыльца, но, очевидно, не читаетъ ее. О банкетной рюмочкѣ забывалъ. Спустится въ садъ, пройдетъ двѣ-три дорожки и остановится, спустится на ближайшую скамью и, вздыхал, по часамъ глядитъ за рѣку, или въ гущину имъ же насаженныхъ деревъ..

«Уйдетъ она, уйдетъ, — тихо шепчетъ онъ, дотрогивался до любимого куста:—и жизнь моя кончится».

Одно проливало нѣкоторую надежду и воскрешало силы старика. Хотя онъ лично съ дочерью еще не объяснился о ея намѣреніи, но никогда она не была съ нимъ такъ нѣжна и заботлива, какъ теперь. Аглая не спускала съ него глазъ; сторожила его пробужденіе, приготовляла и носила ему утренній чай, убирала его столъ, чинила карандаши и предлагала ему читать вслухъ.

— Ну, что ты мнѣ будешь читать?—улыбался Вечерневъ, ласково трепая дочь по плечу:—гдѣ я грѣшныя, свѣтскія книги читаю—романы; а тебѣ бы «Гласъ трубный» пріятнѣе, или «Воздыханіе голубицы»? Не такъ ли, признайся?..

Аглая молчала на эти слова, еще нѣжнѣе жалась къ отцу и покидала его только въ то время, какъ ее зачѣмъ-нибудь звали къ матери, или когда къ нимъ подходилъ Ветлугинъ.

— Что ты уходишь отъ гостя?—спросилъ ее какъ-то съ

досадой отецъ: — онъ дѣльный такой, милый, умный. Еще обидится.

— Я? право не знаю! — равнодушно отвѣтила Аглая: — мнѣ казалось, у васъ дѣла...

— Именно дѣла, — усмѣхнулся старикъ: — только не особенно суть важныя, литературныя...

— Ну, мой добрый критикъ, — обратился однажды, при всѣхъ, за обѣдомъ, Вечерѣвъ къ Ветлугину: — какъ идетъ просмотръ моихъ тетрадей?

— На половинѣ; скоро кончу.

— А какъ находите мою библіотеку?

— Хороша, но требуетъ пополненія. Многихъ новѣйшихъ книгъ въ ней нѣтъ — и по части художественныхъ произведеній, и по различнымъ отраслямъ знаній.

— Не составите ли списка, какія именно книги слѣдовало бы приобрести? У меня есть въ Петербургѣ поставщикъ, и я бы къ нему обратился съ заказомъ. Кстати же, на-дняхъ я ему пишу.

— Съ удовольствіемъ.

— И у меня просьба къ Антону Львовичу, — тихо сказала, взглянувъ на гостя, Ульяна Андреевна.

Ветлугинъ смѣшался. Онъ никакъ не ожидалъ обращенія лично къ себѣ, обыкновенно молчаливой и задумчиво сидѣвшей при немъ, хозяйки дома.

— Какая просьба? — спросилъ онъ.

— Видите ли... какъ бы это, — сказала Ульяна Андреевна: — вы познакомились съ нашей библіотекой. Такъ я хотѣла узнать, спросить... не попадалась ли вамъ, между прочимъ, одна книга, которой теперь я никакъ не могу отыскать? Всѣ полки на-дняхъ перерыла... Изданіе рѣдкое... старинное...

— Названіе книги? — спросилъ Ветлугинъ.

— Но вы, можетъ-быть, такихъ книгъ не любите, онѣ не въ вашемъ духѣ? — поглядывая на мужа и на дочь, продолжала Вечерѣва: — теперь инныя сочиненія въ ходу... Вислиценусъ о Библии, Давидъ Штраусъ о жизни Спасителя...

— Да ты ужъ, матушка, прямо бы говорила, — перебилъ ее мужъ: — что тутъ за намеки? Не люблю я ихъ... охъ, не люблю... «Духовное Млеко» тебѣ, что ли, нужно? или «Угрозы Свѣтостокровъ» понадобился?

Аглая наклонилась къ тарелкѣ.

— «Таинства Массильона», — сказала Вечерёва: — такъ ли это, Алинъка?

— «Mystères, Oraisons funèbres», — отвѣтила Аглая.

— Далеко отъ «Млека» и отъ «Угроза» не ушли, милая моя, — съ горечью заключилъ Вечерёвъ.

Аглая, не дождавшись конца обѣда, встала, поцѣловала руку матери и молча ушла.

Въ тотъ же вечеръ, ѣдучи откуда-то, завернулъ въ Дубки Милунчиковъ.

Онъ взялъ Аглаю подъ руку и долго съ нею ходилъ по саду.

— Ну, чтó, какъ онъ тебѣ? — спросилъ онъ Аглаю.

— Кто?

— Да гость вашъ...

— Право, не знаю.

— Онъ тебѣ говорилъ что-нибудь?

— О чемъ?

Милунчиковъ помолчалъ.

— Аглая!

— Что, дядюшка?

— Уѣдемъ.

— Куда?

— Ахъ, я не знаю... Но ты не повѣришь... Мнѣ кажется, скажи ты только слово, и я бы тебя увезъ отсюда за тридевять земель.

— Довольно и безъ меня тамъ всякихъ.

— Да ты себѣ цѣны не знаешь, ты... будь я на мѣстѣ...

— Тс! — остановила его Аглая: — слышите, насъ уже зовутъ?

— Аглая! Аличка! — раздавался въ это время по саду голосъ Ульяны Андреевны.

Дня черезъ два Ветлугинъ, роясь надъ новыми справками въ библиотекѣ и высматривая, не увидитъ ли въ гостиной Аглаи, вспомнилъ о просьбѣ Вечерёвой.

«Списокъ книгъ старику я составилъ: надо и ей поискать эти Таинства», — подумалъ онъ. Посмотрѣвъ одинъ шкапъ, другой, онъ совершенно случайно, за кучей старыхъ газетъ, наткнулся на связку порожнего, истрепаннаго и полуизгрызаннаго мышами книжнаго хлама. Между послѣднимъ оказался и одинъ изъ желанныхъ томовъ Массильона.

Антонъ Львовичъ сдуть съ него пыль и пошелъ, съ цѣлью отдать его Вечерёвой. Это было послѣ обѣда. Кирилло Григоричъ, по обыкновенію, сидѣлъ на балконѣ.



— Гдѣ ваша жена?—спросилъ Ветлугинъ.

— Въ старый садъ, къ теплицамъ, кажется, пошла. А что, нашли для нея книгу?

— Нашелъ.

— Бросьте вы эту дребедень въ печку, — сказалъ Вечерѣевъ: — вонъ, Егоровна въ каменкѣ печку топить — подите и бросьте... мужу и дѣтямъ кашу варить... Право, это будетъ полезнѣе. А ей дайте Гюго или Беранже... кстати, вонъ я одного изъ нихъ перечитываю...

— Не могу, далъ слово.

— Ну, идите, несите ей. Я шучу.

Ветлугинъ остановился.

— Скажите, — спросилъ онъ: — говорили ль вы съ Агласей Кирилловной? какъ ея намѣреніе?

— Нѣтъ еще, я съ нею не говорилъ.

— Что же вы медлите? или вы полагаете, что она одумается, уступить?

— Вотъ видите ли, — отвѣтилъ Вечерѣевъ: — скоро день моего рожденія, — черезъ недѣлю, — надѣюсь, и вы его проведете съ нами? Что вамъ спѣшить? Ну, и придумать — я ее тогда и спрошу. Я убѣжденъ, она подаритъ мнѣ при этомъ свое согласіе, раскается и забудетъ свои бредни...

Зайдя къ Егоровнѣ, Ветлугинъ узналъ, что старая барыня только-что была у нея съ барышней, навѣдывалась къ ея больной дочери Пашуткѣ и пошла въ паркъ, за ручей.

— Такъ барышня любитъ тебя, заходитъ къ тебѣ? — спросилъ Ветлугинъ.

— Какъ ей, голубушкѣ, не жалѣть меня! Мужъ-то мой, садовникъ, день-денской при дѣлѣ. Ну, дѣтокъ же, сами видите, сколько. Пашутка испугалась, какъ брата маво, кузнеца Антропа, судъ ссылалъ — съ той поры все и хвораетъ...

— Живъ ли твой братъ? — спросилъ Ветлугинъ.

— Бѣгалъ два раза изъ ссылки, а въ третій-то, какъ окружили его солдаты острожные, въ лѣсу-то... онъ просить: пустите, голубчики, — а они его и пристрѣлили...

Ручей, о которомъ упомянула Егоровна, пересѣкалъ садъ и въ концѣ его впадалъ въ рѣку. Перейдя черезъ мостъ, Ветлугинъ очутился въ обширномъ, дикомъ паркѣ, гдѣ еще ни-разу не былъ. Хозяева, очевидно, также рѣдко здѣсь гуляли. Дорожки его были запущены. Со стороны дома эта

мѣстность была заслонена плодовыми плантаціями; къ рѣкѣ она поднималась нѣсколько въ гору, причемъ съ нея, увѣнчанной старыми дубами, крутизны открывался видъ на рѣчную заливъ и на село, раскинутое дугой по его берегу.

Ветлугинъ прошелъ паркъ, исколесилъ нѣсколько его просѣкъ и взошелъ на крутизну, но Вечерѣвой не было видно. Онъ уже хотѣлъ отправиться обратно за ручей, какъ изъ-за деревъ, съ зонтикомъ и съ четками въ рукахъ, вышла Ульяна Андреевна.

Видъ ея былъ задумчивъ и растерянъ. Она шла, не поднимая головы... Нѣсколько озадачившись неожиданнымъ появленіемъ Ветлугина, она было остановилась, но оправилась и, принимая отъ него книжку, сказала:

— А, вы напли!.. Какъ я вамъ благодарна; садитесь.

Они сѣли подъ деревомъ, на каменной скамѣ, стоявшей у края прибрежной крутизны.

— Великій мыслитель,—сказала Ульяна Андреевна, указывая на томикъ Массильона:—самъ Вольтеръ отдавалъ ему справедливость... И какая простота! Хороня Людовика Четырнадцатаго, знаменитый проповѣдникъ указалъ на пышный дворецъ, на золотомъ окованную гробницу славнаго короля, поднялъ глаза и только сказалъ: «одинъ Господь великъ, мои братья, одинъ Онъ»... И всѣ были поражены силой этихъ простыхъ словъ и плакали...

«Спрошу я ее о дочери»,—подумалъ Ветлугинъ, глядя на старуху. Но онъ не находилъ словъ для вопроса.

Молчала и Вечерѣва.

При видѣ молодого лица и полныхъ жизни, ласковыхъ глазъ Ветлугина, Ульянѣ Андреевнѣ вспомнился ея покойный сынъ Володя, а потомъ и нѣкогда столь же молодой и цвѣтущій силами Кирилло Григорьичъ. Женившись на ней, онъ привезъ ее сюда и такой же ласковый, съ такими же свѣтлыми, добрыми глазами, сидѣлъ съ нею здѣсь, на этой самой скамейкѣ. Но какъ это было давно!

Это былъ первый годъ ихъ женитьбы.

Тридцати-пятъ лѣтъ съ небольшимъ, Кирилло Григорьичъ, въ чинѣ полковника гвардіи, вышелъ въ отставку, навѣстилъ разоренное село покойнаго отца, увидѣлъ Ульяну Андреевну, тогда еще статную, двадцати-четырехлѣтнюю красивую дѣвушку, на балѣ уѣзднаго предводителя Милунчикова, ея дяди (отца Николая Ильича),—влюбился въ нее

безъ ума, женился на ней, и оба они, полные надеждъ и счастья, поселились здѣсь. Старое село называлось Веселымъ.

Гдѣ они, эти невозвратные дни?

Двадцать-пять лѣтъ назадъ, былъ такой же теплый, весенній день.

«Бросимъ старую, мрачную и полную непривѣтливыхъ воспоминаній усадьбу отца, — сказалъ тогда Кирилло Григоричъ, — тамъ онъ кутилъ и буйствовалъ; тамъ узнала горе и, брошенная съ первыхъ годовъ замужества, зачахла моя мать... Мы, дорогая моя, построимъ новую усадьбу, ниже старой, здѣсь, въ дубовой рошѣ, у ключа, подъ этой крутизной. И вся наша жизнь будетъ тиха и ясна, какъ этотъ ключъ».

Дѣло было рѣшено. Молодые, любящіе другъ друга и горячо вѣрившіе въ жизнь, мужъ и жена не разъ потомъ сидѣли здѣсь, подъ этими старыми деревьями, уносясь мечтами въ будущее и любуясь видомъ полей, подраставшаго сада и бѣгущей въ густыхъ камышахъ рѣки.

Работа закипѣла. Застучалъ топоръ. Старая дубовая роща, по этотъ бокъ ручья, перерѣзана полянами и дорожками. По другой его бокъ разбитъ новый, въ англійскомъ вкусѣ, садъ, построены бесѣдки, теплицы, и возведенъ новый, въ два этажа домъ. Село названо Дубками. Въ комнаты новаго дома, изъ прежней отцовской усадьбы, перенесены фамиліные портреты, библіотека и часть старинной, еще дѣдовской мебели. Остальное все замѣнено новымъ. Копіи съ картинъ, обои, ковры, зеркала, бронза и посуда, съ общаго согласія, выписывались изъ столицъ. Библіотека обогатилась покупкой по случаю на какомъ-то заграничномъ аукціонѣ. На мѣстѣ сломаннаго отцовскаго дома забѣлѣла красивая каменная церковь. Крестьяне вздохнули свободнѣе. Ихъ избы, сараи и амбары перестроены. Скота у нихъ прибавилось, повинностей уменьшилось. Вечерѣвъ терпѣливо занимался хозяйствомъ, уплатилъ отцовскіе долги и вскорѣ сталъ у сосѣдей прикупать земли, лѣса и луга. Онъ выписывалъ книги, журналы и ноты; въ семейные праздники, при помощи кое-кого изъ сосѣдей, устраивалъ квартеты. Жена только мало помогала ему въ трудахъ—въ устройствѣ сада, усадьбы и въ хозяйствѣ. Дѣтей у нихъ не было въ теченіе четырехъ лѣтъ. На пятомъ году послѣ женитьбы у нихъ родился сынъ. И какъ они ему были рады! Всѣ за-

видовали ихъ счастьемъ. Они выѣзжали, изрѣдка давали вечера... А далѣе что?

Далѣе, старый, деревенскій жизненный складъ взять свое. Жена болѣе и болѣе оказывалась не подъ пару мужу. Она любила наряды, выѣзды въ городъ, къ сосѣдямъ, любила танцы, шумное общество, балы...

Работа Кириллѣ Григорьичу вскорѣ стала не по сердцу. Да и для чего, для кого было трудиться? На его рассказы о хозяйствѣ его жена зѣвала и говорила: какъ это скучно! Сосѣди читающіе вскорѣ замѣнились сосѣдями нечитающими, зато танцующими, играющими въ карты и охотниками до милаго ничего недѣланья, смѣха, прогулокъ и вѣчныхъ пересудъ. Ульяна Андреевна перестала стѣсняться: не пропустила ни одного званого съѣзда у знакомыхъ помѣщиковъ и даже ни одного бала, не только въ губернскомъ, но и въ уѣздномъ собраніи, предоставляя другимъ заботиться о ребенкѣ, забавлять его, а потомъ и учить.

Кирилло Григорьичъ, видя такое настроеніе жены, сперва спорилъ съ нею, а потомъ сталъ и свои досуги проводить отдѣльно отъ нея: за книгами и газетами, съ виолончелью, либо съ лопаткой и съ ножомъ въ саду.

Володя подростъ. Явились гувернантки. Ульяна Андреевна не могла нахвалиться одною изъ нихъ, а потомъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, стала ее ревновать къ мужу и удалила. Праздная молва подхватила это событіе и стала его повторять на десятки ладовъ. За толками объ одной гувернанткѣ, пошли толки о другой. Многіе увѣряли, что Вечерѣва напрасно мучить ревностью мужа, что онъ передъ нею правъ, что ему не до волокитства. Тѣмъ не менѣе, начался сперва негласный, а потомъ и гласный разладъ мужа съ женой. Ульяна Андреевна на время бросила-было выѣзды, зашла дома, а тамъ опять стала разѣзжаться. Чтобъ избавить себя отъ соперницъ, а мужа отъ соблазна, она уговорила Кириллу Григорьича нанять для Володи учителя. Но она сама вскорѣ влюбилась въ одного изъ наставниковъ, по очереди съ тѣхъ поръ наѣзжавшихъ въ Дубки. Раздушенный французъ-педагогъ, съ шелковистыми русыми усами, масляными глазками и умѣньемъ играть въ пикетъ, вскружилъ голову вѣтренной и пылкой женщины. «Это — не чета моему бирюку, корпящему надъ своими альдами, да эльзевирами!» — думала она... Но бѣсъ запретной любви не долго

держалъ въ своихъ оковахъ Вечерѣву. Французъ соблазнился прелестями горничной Малашки, былъ уличенъ и съ позоромъ изгнанъ. Володѣ пошелъ двѣнадцатый годъ. Отецъ, оставя на время свои книги, отвезъ его въ губернской городъ, съ цѣлью подготовить въ гимназію. Мальчикъ былъ хилый. Разлука съ родительскимъ домомъ чуть не вогнала его въ чахотку. Онъ въ то время жилъ у Льва Саввича Ветлугина. Его опять взяли въ деревню, причемъ съ нимъ туда на лѣто переѣзжалъ Левъ Саввичъ.

Распри жены съ мужемъ не прекращались. Ульяна Андреевна, въ припадкѣ новой ревности, стала подозрѣвать мужа въ ухаживаньи то за одной сосѣдкой, то за другою. При этомъ она нѣсколько разъ даже уѣзжала отъ мужа къ дядѣ — предводителю, умершему вскорѣ затѣмъ. Въ это же время произошелъ и прискорбный случай съ кузнецомъ Антономъ, — его ссылка, пожаръ его избы и смерть отъ потопленія его сына. «По дѣломъ ей! — шептались втихомолку сосѣди: — такъ ревнуетъ къ мужу, а сама...» — А вслѣдъ затѣмъ, въ началѣ сырой и гнилой зимы, въ деревнѣ заболѣлъ, какъ думали сперва, лихорадкой, и Володя. Кирилло Григорычъ потерялъ голову. Экипажи и верховые гонцы были разосланы за лучшими врачами. Но Ульяна Андреевна не вѣрила въ опасное положеніе сына. Ея невѣріе и спокойствіе дошли до того, что когда одинъ изъ мѣстныхъ врачей поручился ей за скорое выздоровленіе сына, она, несмотря на просьбы мужа, уѣхала въ другую ихъ вотчину, с. Пряхино, куда должна была по пути захватить ея крестная мать, игуменья отдаленнаго монастыря, Сусанна. На-утро отъ мужа къ Ульянѣ Андреевнѣ была доставлена астафета. «Опомнись, — писалъ Вечерѣвъ: — что ты дѣлаешь, безумная? послѣдней... у Володи тифозная горячка»...

Тутъ только, дѣйствительно, одумалась и пришла въ себя Вечерѣва. И никогда послѣ того она не могла забыть мучительныхъ часовъ, проведенныхъ ею въ дорогѣ, когда она, въ грязь и слякоть, на подставныхъ лошадяхъ, сѣла домой. Ничто не помогло. Володя жилъ недолго. Онъ черезъ нѣсколько дней скончался на рукахъ матери. У изголовья умирающаго сына Вечерѣвой ясно представилось все ея прошлое, вся пустота и все ничтожество ея жизни, какъ матери и жены. Она упала передъ мужемъ на колѣни

и умоляла его объ одномъ: о возможности спасти отъ зараженія тифомъ другое ихъ дитя, а именно, дочь, которая въ это время также подросла въ Дубкахъ и на которую Ульяна Андреевна, до той минуты, обращала еще меньше вниманія. Игуменья Сусанна, не заставъ Ульяну Андреевну въ Пряхинѣ, завернула въ Дубки. Это было въ день похоронъ Володи. Аглаю, съ кормилицей Егоровной, посадили въ карету къ крестной матери, и та увезла ее къ себѣ въ обитель.

Ясно помнила Ульяна Андреевна другое мгновеніе, когда, послѣ перваго посѣщенія Аглаи, гостившей въ скитѣ у крестной, она возвратилась домой, забила въ старый, пустынный садъ, взшла сюда на крутизну, взглянула на крестъ церкви, на дорогу въ имѣніе покойнаго дяди, и горько зарыдала. Садовый ключъ, попрежнему, тихо бѣжалъ подъ ея ногами. Долго она здѣсь молилась и плакала, вспоминая прошлые, свѣтлые дни и прося у неба ихъ возврата. «Нѣтъ! они не возвратятся!» — съ горечью рѣшила она: — «я—грѣшница, великая грѣшница; и нѣтъ мнѣ прощенія и забвенія моихъ проступковъ на землѣ!»

Здѣсь-то, мучимая раскаяніемъ за прошлое и тревогой о будущемъ счастья дочери, она, послѣ долгой, томительной мольбы къ Богу—о прощеніи ея тяжкихъ грѣховъ, поклялась спасти по-своему Аглаю отъ участи, испытанной ею самой... И съ той поры она въ Дубкахъ уже была почти гостьей, а постоянно жила либо въ монастырѣ у крестной матери, отъ которой, подъ разными предлогами, не торопясь брать дочери, либо въ Пряхинѣ. Кирилло Григорьевичъ на все махалъ рукой и только изрѣдка, отрываясь отъ своихъ книгъ и цвѣтовъ, съ тоской оглядывался и спрашивалъ себя: «да гдѣ же Аглая? и что она ее безумная, таскаетъ съ собой? Вотъ и крестная ея померла; а она все къ ней ѣздитъ туда и въ другіе монастыри... Не добромъ это пахнетъ, не добромъ. Надо принять мѣры, образумить чудачку»... Но мѣры не принимались...

Многое передумала Ульяна Андреевна, сидя въ эту минуту съ Ветлугинымъ на каменной скамьѣ.

Глядя на исхудалое, когда-то красивое лицо Вечерѣвой, на ея строгіе, каріе, нѣсколько затуманенные и тревожно смотрѣвшіе глаза, на ея высохшіе, тонкіе пальцы и на рано посѣдѣвшіе волосы, Ветлугинъ въ свой чередъ унесся

мыслями въ далекое прошлое. Онъ соображалъ, что съ такими же остатками бывшей красоты, хотъ не столько печальная, была бы теперь и его покойная мать; и какъ бы онъ хотѣлъ, чтобы его мать была теперь жива, или чтобы Ульяна Андреевна стала его матерью!.. Безумныя и дикія мечты!..

— Очень вамъ благодарна,—повторила Вечерѣва, пожимая руку Ветлугина и пробѣгая глазами приписанную имъ книгу:—мужъ мнѣ сказалъ, что вы оказали ему еще и другую услугу, сняли копію съ плана проданнаго имъ лѣсного участка...

— Снять эту копію было легко. Я просидѣлъ надъ нею вчера не болѣе часа... Планъ сдѣланъ превосходно.

— Вы находите?—улыбнулась и чуть замѣтно вздохнула Вечерѣва:—а знаете ли, кто снималъ этотъ планъ съ натуры?

— Какой-то землемѣръ... Онъ живетъ теперь у одного изъ вашихъ сосѣдей... Фокинъ, кажется...

— О! о немъ такъ легко не отзывайтесь; это—искатель руки Фросиньки! — перебирая четки, шутила Вечерѣва:—что же, дай имъ Богъ счастья. Оно такъ рѣдко на землѣ... Только дочь отца Адріана что-то разборчива: ужъ дважды отказывала этому жениху... «Толстъ, говорить, да и больно ужъ простъ». — Вотъ, вы и подите нынче съ дѣвушками. А простые, казалось бы, для деревенскихъ обычаевъ лучше... Вы какого объ этомъ мнѣнія?

— Афросинья Адріановна — дѣвушка достойная, — отвѣтилъ Ветлугинъ:—и за хорошими женихами у нея, вѣроятно, дѣло не станетъ... Пока же могу сказать одно, что лучшей подружки для вашей дочери трудно желать...

Ульяна Андреевна склонилась къ книгѣ Массильона и снова стала ее пробѣгать.

Ветлугинъ подошелъ къ краю крутизны.

— Это, вотъ, чернѣетъ,—обратилась къ нему Вечерѣва:—видите? — лѣвѣе за рѣкой... это — дорога въ имѣніе моего дяди, Милунчикова... Только,—увы!—и дяди моего уже нѣтъ на свѣтѣ, и имѣніе это за долги досталось другимъ... Николай Ильичъ живетъ въ другой сторонѣ, въ помѣстьѣ своей покойной матери.

— Пріятно вамъ наслаждаться плодами своихъ рукъ! — сказалъ Ветлугинъ:—рѣдкому выпадаетъ такая доля.

— У деревьевъ, что ни годъ, весна,—продолжала, вставая, Ульяна Андреевна:—только у людей весна и счастье бывають въ жизни разъ и болѣе не повторяются...

Передъ Вечерѣвой опять невольно стали проноситься образы прошлаго: ея свѣжесть и молодость, первые дни счастья въ этомъ тихомъ, уютномъ гнѣздѣ, кудрявый и ласковый, нѣжно любившій ее Володя, быстроглазая и рѣзвая малютка Алинъка, и много-много сладкихъ уюваній и надеждъ.

Гость и хозяйка вышли на поляну. Пчелы звенѣли надъ цвѣтами. Ласточки рѣяли, весело гоняясь за мушками. Пиволги перекликались надъ рѣкой.

Антонъ Львовичъ высматривалъ, не мелькнетъ ли вдали, за кустами, Аглая, и думалъ:—«не спросить ли Вечерѣву, изъ-за чего она такъ безсердечно хочетъ погубить свою дочь?»

— Охота вамъ, Ульяна Андреевна,—сказалъ Ветлугинъ:—думать о смерти, когда, взгляните,—вкругъ васъ все цвѣтеть, все радуется и стремится къ жизни... Мало того—правда ли?... мнѣ говорили... не хочется вѣрить... правда ли, будто ваша дочь... намѣрена отказаться отъ свѣта и пойти въ монастырь?

Вечерѣва остановилась. Тревожные огоньки сверкнули въ ея угасшихъ глазахъ.

— Это еще не рѣшено, — подумавъ, отвѣтила она: — но если бы и такъ, что сказали бы вы на это?

— Болѣе печальной,—выражусь прямѣе,—болѣе непоправимой ошибки еще не дѣлали тѣ, отъ кого зависить счастье дѣтей...

— Я другого мнѣнія, — сказала Вечерѣва: — на-дняхъ, на сонъ грядущій, я читала одну французскую книгу... Называется она «Le lendemain de la mort»... Знаете ли, что я вынесла изъ нея? Я убѣдилась, что если бы на этомъ мѣстѣ, гдѣ мы теперь стоимъ, чернѣли двѣ свѣжія могилы и если бы въ нихъ были зарыты я и моя дочь, — миръ былъ бы еще прекраснѣй и счастливѣй, потому-что однимъ горемъ было бы менѣе на землѣ...

— Нѣтъ, Ульяна Андреевна, нѣтъ. Чѣмъ больше горе, тѣмъ слаще побѣда надъ нимъ. Мы не должны падать духомъ... Намъ дана сила воли, разумъ. А передъ вами—готовый рай... У васъ прекрасная дочь... Какая мать пошла бы утѣшенія въ счастья дочери?



— Вотъ вы какое слово сказали!—проговорила, опускаясь на ближнюю скамью, Вечерѣва:—а кто отвѣтчикъ за дочь, съ кого взывается тамъ за каждое ея прегрѣшеніе, за каждый шагъ въ жизни? Нѣтъ, вы скажите откровенно...

— Есть возрастъ, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — въ которомъ человѣкъ отвѣчаетъ самъ за себя.

— Послушайте, — обратилась къ нему Вечерѣва: — отвѣтите мнѣ одно! уважаете ли вы чужія искреннія убѣжденія?

— Хотя бы они противорѣчили общимъ, яснымъ, какъ день, законамъ природы и человѣческаго ума? — спросилъ Ветлугинъ.

— Да, и въ особенности, если вы съ ними не согласны?—дрожащими руками перебирая четки, спросила Вечерѣва.

Ветлугинъ медлилъ отвѣтомъ. Она не спускала съ него тревожно-внимательнаго взора.

— Есть явленія, передъ которыми пельзя оставаться равнодушнымъ, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — разумѣется, я — посторонній, случайно заѣзжій человѣкъ... Но смотрите, чтобъ вы послѣ сами не раскаялись и горько не оплакивали того, что еще можно остановить...

Вечерѣва встала. Пятна выступили на ея блѣдномъ, худомъ лицѣ. Пока говорилъ Ветлугинъ, она судорожно развязывала и опять завязывала ленты чепца.

— Сердечно васъ благодарю, сердечно, — сказала она: — вы молоды, и много совѣта отъ васъ трудно, да и нельзя было ожидать. Но я попросила бы васъ объ одномъ: не говорите болѣе объ этомъ съ моимъ мужемъ... Онъ еще слабъ. Ему нуженъ покой и покой... А это его можетъ пуще разстроить.

Гость и хозяйка возвратились въ домъ.

«Такъ вотъ каковъ этотъ человѣкъ! — пробѣжало въ умѣ Вечерѣвой: — о! это у него вырвалось не случайно! Надо принять мѣры, надо поспѣшить. Какъ жаль, что опять заболѣла матушка Измарагда. Пресить навѣдаться. А какъ теперь оставить одну Аглаю?»

## XV.

### Въ скитѣ у бабушки.

Просмотрѣвъ переводъ Мильтона, Ветлугинъ, по предложенію Вечерѣва, согласился и на просмотръ его записокъ.

Они сходились для общихъ сужденій, спорили, дѣлали отмѣтки того, что слѣдовало въ запискахъ выпустить, разъяснить или пополнить. Постѣтилъ Вечерѣва и Галищевъ. Кирилло Григорычъ, впрочемъ, былъ не очень радъ посѣщенію этого сосѣда и даже не предложилъ ему повидаться съ Ветлугинымъ.

Нѣсколько разъ въ Дубки опять наѣзжалъ и Милунчиковъ. Вечерѣвъ съ отцомъ Адріаномъ игралъ въ шахматы; Милунчиковъ съ Аглаей читалъ въ подлинникъ Вальтеръ-Скотта. Аглая всегда охотно проводила время съ дядею. Николай Ильичъ обыкновенно говорилъ ей о своей общественной службѣ, о письменныхъ и словесныхъ стычкахъ съ врагами, о темныхъ продѣлкахъ разныхъ пройдохъ и кошляковъ и о томъ, что онъ работаетъ почти одинъ, безъ поддержки, безъ союзниковъ и безъ малѣйшей надежды на успѣхъ.

«О! если бы я могла помочь этому доброму, честному человѣку!»—думала, глядя на дядю, Аглая.

— Знаешь что, Аглая?—сказалъ онъ одинъ разъ.

— Что?

— Брось свои помыслы о монастырѣ, выходи замужъ за хорошаго человѣка, и ты—ты будешь мнѣ пособницей, союзницей.

Аглая вспыхнула, потомъ поблѣднѣла и, залившись слезами, молча убѣжала отъ дяди.

Устраивались въ Дубкахъ и чтенія вслухъ: романовъ Купера и Диккенса, повѣстей Гофмана, поэмъ Жуковского и Пушкина. Въ томъ числѣ была прочтена переведенная Жуковскимъ Овидіева поэма «Цейксъ и Гальціона». Читали по очереди Ветлугинъ и Милунчиковъ, а иногда Фросинька. Ульяна Андреевна, изъ приличія только, сидѣла въ началѣ этихъ чтеній; болѣе же ссыдалась на нездоровье и оставалась въ своей комнатѣ. Особенно заняла Аглаю Овидіева поэма. У нея изъ головы не выходили образы Цейкса, утопавшаго въ разлукѣ съ Гальціоной, и Гальціоны, въ отчаяніи бросившейся съ утеса.

Милунчиковъ въ перерывы чтенія, объясняя Аглаѣ авторъ, бралъ ее подъ руку, уходилъ съ нею въ садъ, и оба они, болышю частью, возвращались не-по-себѣ: онъ—недовольный, нахмуренный, Аглая — съ окаменѣлымъ, внутрь себя устремленнымъ взоромъ и еще болѣе блѣдная.

— Чтò? плохи твои дѣла, Николай Ильичъ? — говорилъ въ такія минуты Вечерневъ: — вижу по тебѣ, опять козпль противъ тебя? опять подкобы?

— Такова моя доля, — отвѣтилъ Николай Ильичъ: — вѣрите ли, такъ иной разъ жутко, такъ что, кажется, все бросилъ бы, все...

Послѣ одного изъ заѣздовъ въ Дубки, Милунчиковъ объявилъ, что ему надо готовиться къ собранію гласныхъ у Талищева, и на прощанье прибавилъ, что теперь онъ сюда будетъ уже не скоро.

Аглая съ укоризной взглянула на дядю.

— А съ вами, Антонъ Львовичъ, мы, вѣроятно, еще увидимся въ городѣ? — сказалъ Николай Ильичъ, обнимая племянницу.

— Да, и я... надѣюсь къ тому времени, по пути... и мнѣ пора... — отвѣтилъ какъ-то разсѣянно Ветлугинъ.

«Итакъ, онъ тоже уѣдетъ, — пробѣжало въ головѣ Аглаи: — а за нимъ»... Она себѣ не договорила. Передъ ней носился образъ утонувшаго въ морѣ Пейкса. Она развернула переводъ Овидіевой поэмы и стала читать описаніе бури, погубившей возлюбленнаго Гальціоны:

«Вдругъ поднялся и бѣжить, раскачавшись, ударить —

«Валь огромный... Воздвигся страшный, девятый...

«Мачта за бортъ, и руль пополамъ... И, вставъ на добычу,

«Грозенъ, жаденъ, смотреть изъ бездны валь-побѣдитель»...

---

Было утро.

Фросинька вошла въ комнату Аглаи. Здѣсь же, разложивъ по столу кусокъ какой-то черной ткани, сидѣла и Ульяна Андреевна. Аглая за пальцами вышивала золотомъ по бархату воздуха на церковь. Фросинька поздоровалась съ ними, бросила бѣглый, досадивый взглядъ вокругъ по комнатѣ, вздохнула и молча, съ иглой, усѣлась помогать Аглаѣ съ другой стороны пялецъ.

— Вотъ, Алинъка, ты опять плохо спала эту ночь, — продолжала начатый разговоръ Ульяна Андреевна: — а все оттого, что матери не во всемъ слушаешь, къ свѣтскому богу, чѣмъ къ духовному, свои помыслы обращаешь. Лучше бы, когда смута на душу падетъ, помолилась лишній разъ, страстной просвирки съѣла бы, крещенской бы водицы напилась...

А ты романы этого верхогляда, Николая Ильича, вздумала слушать...

Аглая на это смолчала. Только брови ея сдвинулись, да рука съ иглой дрогнула.

— Также вонъ и мать-казначей, дружокъ, замѣтила, что ты все еще грѣшишь, — въ свѣтломъ платьѣ по сю пору ходишь; книжку тоже какую-то, не очень одобрительную, видѣла она у тебя. Черная ряска тебѣ давно приготовлена, папочка тоже. Думаю вотъ кроить тебѣ и другую перемѣну. Пора объ иномъ нарядѣ думать, а не о романахъ... Чтѣ сказалъ пророкъ?.. благо есть человѣку, егда возьметъ яремъ закона въ юности своей, сядетъ наединѣи умолкнетъ...

— Ахъ, маменька, не томите вы моей души, — вскрикнула, не вытерпѣвъ, Аглая:—хочу—поступлю въ монастырь, хочу—здѣсь останусь. Силой ничего не возьмете. И что вы меня корите! Дайте надуматься; дайте хоть вдоволь... наплакаться...

Слезы не дали Аглаѣ договорить. Она склонилась головою къ пальцамъ.

— Ну, ну, полно, дай тебя поцѣлую, — оправляя волосы дочери, ласково проговорила Вечерѣва:—прости ты меня... Такъ, сорвалось... Матушка Измарагда вонъ все хвораетъ; говорить, ей лучше. А все надо бы ее навѣстить. Да вотъ, видишь сама, еще нельзя... Работайте, мои милыя, работайте... Богъ съ вами...

Вечерѣва, кряхтя и дѣлая знаки Фросинькѣ, чтобъ та утѣшила Аглаю, спустилась внизъ, въ свою комнату.

Фросинька вскочила, сѣла на диванъ и, хватая книги, лежавшія на столѣ, стала ихъ раскрывать и бросать на столъ.

— Вотъ опять, опять, чѣмъ тебя окружили! — сказала она раздражительно:—«Мечъ Духовный», «Виноградъ церковный»... Это еще что?.. «Діакониссы древней церкви», «Жизнь Параскевы-Пятницы»... А это?.. «Монастырскія письма»... «Свѣтъ съ Востока»... Ахъ ты, Господи, Боже мой... Этакую красавицу, милую, добрую, въ гробъ живую кладутъ!

— Да чтѣ же мнѣ дѣлать? — спросила, не поднимая головы отъ пальцевъ, Аглая:—вѣдь я обѣтъ дала, и обѣщанная... Не могу же я, не могу... Пойми ты это? Не терзай хоть ты меня...

— Что дѣлать? А вотъ что: прогони всѣхъ этихъ велепницъ, на глаза къ себѣ ихъ не пускай, а тамъ—перегода—не долго думая, и замужъ выходи...

— Кто? я?—въ ужасѣ отшатнулась Аглая:—образумся... что ты говоришь?

— Да, ты, ты... Что шепчешь и глядишь такъ на меня? Не думаешь ли, что некому посвататься? Есть такой человекъ, и ты отлично это знаешь...

— Послушай, — перебила ее, вставая и гордо выпрямляясь, Аглая: — если ты мнѣ хоть разъ еще осмѣлишься намекнуть, если упомянешь — помни, мы съ тобой не знакомы. Я согласилась подождать нѣсколько дней. Но вотъ тебѣ моя рука — заикнись ты, или кто другой, еще хоть словомъ, — я пойду къ отцу, объявлю ему свое рѣшеніе и немедленно, слышишь?—немедленно уйду отсюда навсегда.

— Спасибо и на томъ!—въ свой чередъ, вставая и кланяясь въ поясъ, горько усмѣхнулась Фросинька: — что ты упорна, я знаю; что ты на своемъ захочешь поставить, коли пойдетъ на то, я также не сомнѣваюсь. Прощай. Но помни, будешь лить горькія слезы, будешь ломать руки и молить, чтобы воротилось прошлое, и чтобы я съ тобой о немъ, какъ тогда, хоть словечкомъ перемолвилась... Будетъ поздно, и ты на меня не пеняй.

Фросинька взяла зонтикъ, накинула на голову платокъ и, не оглядываясь, вышла.

«Воротись, воротись», — хотѣла ей крикнуть Аглая, но слова ея не слушались, и она, опершись рукой о пальцы, стояла неподвижная, блѣдная, убитая.

Что сталося за эти дни съ Аглаей? Она не могла отвѣтить и себя не узнавала.

Ея мысли путались. Сонъ бѣжалъ отъ глазъ. Тяжелая, тупая подавленность и растерянность чувствовались во всемъ ея существѣ. Ихъ смѣняли порывы вспыльчивости и непомятого раздраженія.

Пригнѣздившись въ сумерки въ углу дивана, или раздѣвшись, но не ложась еще въ постель, она по цѣлымъ часамъ сидѣла наверху, въ своей комнатѣ, со сдвинутыми бровями, сухимъ, окаменѣлымъ взоромъ, упорно глядя въ одну точку: на платаной шкапъ, на «Кедръ-Ливанскій» на стѣнѣ, на лампу, или въ раскрытое окно. Она плакала и не знала, о чемъ плачетъ.

Ей мерещились темныя, душныя кельи, высокая церковь за каменной стѣной, множество свѣчей и возгласы молитвъ. Въ черныхъ мантияхъ и въ клобукахъ ее встрѣчаютъ монахи. «Когда же ты, красавица, къ намъ-то, въ наше тихое пристанище?»—говорятъ онѣ. А впереди ихъ выступаетъ сама игуменья. «Пора, Аглаюшка, охъ, ужъ пора!»—говоритъ она, — годы бѣгутъ, а грѣхи, что тяжелыя каменя, навѣки заваливаютъ душу... А еретики, хульники и нечестивцы только и ждутъ того, какъ бы тебя соблазнить и отвратить отъ спасенія... Оле, богохульства — рѣчи ихъ! Спасайся, спасайся... Человѣкъ, еще общаетъ общѣ Богу, да не сквернитъ словесе своего, и да сотворить»... — Ей слышатся ласковыя шутки и тихія, лстывыя рѣчи келейницъ. Чернорясницы кланяются ей и общимъ соборомъ манятъ ее скорѣе къ нимъ, въ недоступныя мірскому соблазну и сокровенныя кельи, увѣряя, что къ ней очень будетъ идти и эта черная ряса, и этотъ черный, бархатомъ обшитый, клобучокъ...—«Не слушай его, не слушай,—говорятъ онѣ,—самарянинъ онъ и бѣса имать»...

«Прочь искусительницы, прочь. Дайте жизни, простора и свободы! — шепталъ ей иной, внутренній голосъ, — есть иные, далекіе края. Есть суровая, полная дикой красоты, пустыня сѣвера. Туда бы тебѣ улетѣть, туда»... — Тянется тамъ широкая, многоводная рѣка. Дремучій боръ стоитъ по ея берегамъ, съ смолистымъ запахомъ лиственницъ и елей, съ дикими анемонами и богородицыными-слезками. И все это—лѣсъ, рѣка и цвѣты, залито солнечнымъ блескомъ, пышными красками краткой, но дружной весны. Крики птицъ и крики лодочниковъ на ясной глади водъ. Съ горъ спускается съ товарами караванъ. Разбиваются палатки, развьючиваются усталые верблюды. Зажигаются костры. Солнце гаснетъ, а горный воздухъ сотрясаютъ крики летящихъ съ юга журавлей. И самой бы Аглаѣ хотѣлось, въ этотъ мигъ, быть на свободѣ, тамъ, на берегахъ этой сней, многоводной рѣки, съ этими дремучими, дикими лѣсами, лодочниками, анемонами и вольными журавлями. И онъ, одинъ онъ, молодой и смѣлый, предприимчивый и столько испытавшій на своемъ вѣку, могъ бы дать ей эту свободу и эту жизнь. Развѣ и тамъ, рядомъ съ нимъ, нельзя спастись? Развѣ и тамъ не люди? Онъ ей такъ хвалилъ эти далекіе, нездѣшніе, привольные края...

Но опять передъ глазами монастырь. Заунывно звучить церковный колоколъ. Слышатся звуки подвижническихъ молитвъ. Кого-то постригаютъ.

Холодъ пробѣгаетъ по жиламъ Аглаи. Она бросается на колѣни передъ образомъ, молится, но молитва бѣжитъ отъ ея мыслей. «Одинъ могъ бы тебя спасти, одинъ!—думается ей: — тотъ, котораго тебѣ такъ хвалили дядя... Онъ иначе устроить твою судьбу. Съ нимъ будетъ жизнь, понимаешь ли ты, жизнь, а не смерть!..»

Но гдѣ онъ, что дѣлаетъ, думаетъ и съ кѣмъ говорить въ эти мгновенья? И неужели этотъ скромный и такой сдержанный человѣкъ рѣшился бы, — какъ увѣряетъ эта смѣлая и вѣтреная, все замѣчающая Фросинька, — объясниться съ ней и помѣшать ей, вопреки ея рѣшенію, надѣть рясу и клобукъ? Неужели, наконецъ, и она, дочь Ульяны Андреевны, способна совершить такой невѣроятный, такой страшный грѣхъ: забыть данный обѣтъ и все то, на что она, вѣдучи сюда, такъ еще недавно, окончательно и торжественно рѣшилась? «Человѣкъ, еще обѣщаетъ обѣтъ Богу, да сотворить»...

Смертный ужасъ охватываетъ Аглаю. Страшные призраки растутъ, тѣснятся надъ нею. Вотъ кончина, вотъ гробъ и могила, а за нею темная, безразсвѣтная ночь, вѣчныя муки и страданія безъ конца. Малѣйшій порохъ за дверью приводитъ ее въ содроганіе. Ей казалось, что кто-то поднимается по лѣстницѣ, идетъ къ ней, сталъ за дверью и готовится войти, обнять ее, осыпать ласками и поцѣлуями. Гдѣ скрыться, куда бѣжать отъ него, отъ самой себя?

Аглая изнемогла въ борьбѣ съ призраками. И хотѣлось ей, въ эти же мгновенья, видѣть еще хоть разъ этого самаго Ветлугина, котораго она такъ боялась, о чемъ-то его спросить и что-то съ нимъ переговорить. Она то садилась за палецъ, то снова горячо и страстно, до изнеможенія силъ, молилась, или по часу сидѣла молча, какъ убитая, безсознательно свертывая и развертывая какую-нибудь ленточку, или раскрывая книгу, которой, между тѣмъ, передъ собой не замѣчала. Ей хотѣлось и внизъ сойти, и было жутко. И послушалась бы она, кажется, сразу во всемъ этого же Ветлугина, и былъ онъ ей въ то же время страшенъ и ненавистенъ. Хотѣ однимъ глазомъ, невзначай, въ какую-нибудь щель, или въ это раскрытое окно, кажется.

глянула бы она на него. Но нѣтъ его. Изъ-за отброса окна виденъ весь садъ: воть поляна, вершина дальнихъ деревьевъ, а воть крыша и уголъ его бесѣдки. Но его не видно. Гдѣ онъ? Да, впрочемъ, и лучше, что его не видать. Она страдаетъ... И неотвязчивымъ шмелемъ жужжать ей въ уши и жалать ее грозныя рѣчи матери: «Помни же, Аглая. Полюбишь кого изъ мужчинъ, ужъ этимъ самымъ ты смертельно и навѣки согрѣшишь... Богъ тебя за то накажетъ, и душа твоя погибнетъ. Бойся грѣха, а паче бойся мужчинъ. Всѣ они съ виду нѣжны и милы таковы, а у каждаго бѣсъ въ душѣ. И вѣрь ты мнѣ, полюбить тебя мужчина только для того, чтобы насмѣяться, загубить тебя и потомъ бросить»...

Аглая сквозь землю бы провалилась отъ этихъ словъ матери. «И ужъ правду ли говоритъ бѣдная, потерявшая вѣру въ жизнь женщина?» — думала она и не знала, съ кѣмъ бы ей посоветоваться, съ кѣмъ бы отвести душу? Она бродила по комнатамъ, занималась ничтожными вещами. То къ кормилицѣ Егоровнѣ заберется въ комнату, возится съ ея дѣтми, ляжетъ на знакомый ей съ дѣтства кормилицы сундучокъ и плачетъ. То къ дѣвушкамъ въ прачешную зайдетъ, возьметъ утюгъ и, слушая ихъ болтовню, гладить по полчаса какой-нибудь воротничокъ; или такъ, наконецъ, безъ всякаго дѣла, бродить по комнатамъ, въ одну заглянетъ, — какъ будто ищетъ кого, — въ другую, и опять поднимается наверхъ молиться.

Аглая въ такія мгновенія ясно вспоминалась вся ея жизнь — между страдавшей матерью и одиноко-старѣвшимся отцомъ. Этотъ грустный семейный разладъ рано возбудилъ любопытство и горькое раздумье въ наблюдательномъ, сосредоточенномъ и пылкомъ ребенкѣ. Ея искренняя печаль и подчасъ невольныя, необъяснимыя слезы сдѣлали ее по-настоящему другомъ и повѣренной ея матери. Аглая вездѣ ее сопровождала. Особенно ей понравился далекій лѣсной скитъ бабушки Сусанны...

Сперва онѣ тамъ погостили только осень и зиму. Потомъ онѣ стали навѣдываться сюда и въ лѣтніе мѣсяцы. Здѣсь-то худенькая, быстроглазая и постоянно молчаливая дѣвушка стала, ни съ того, ни съ сего, уединяться отъ всѣхъ, не пропускать ни одной церковной службы, молиться часто и долго, вглядываясь во все окружающее и отыскивая разрѣ-



шенія тяжкихъ, мучившихъ ее вопросовъ и сомнѣній. Она вслушивалась въ толки бабушки съ инокинями. «Такъ молодца, а ужъ ищеть истины небесной!»—говорила о ней съ гордостью мать Сусанна. Здѣсь-то, наконецъ, Аглая незамѣтно стала уклоняться отъ дѣвическихъ игръ и отъ подругъ и мечтать объ одномъ,—о трѣхъпадении бѣднаго міра и о неустанной, вѣчной молитвѣ за него. А однажды бросилась на шею матери и сказала ей: «ты согласишься, родная,—ты хотѣла спасти меня... бѣсаніе въ одномъ, говорила ты,—я думаю о монастырѣ»... Мать въ восторгѣ прижала ее къ груди. «Ты угадала мою мысль,—сказала она:—Господь просвѣтилъ тебя... слушай Его и не измѣняй слову»...

Это случилось четыре года назадъ.

Аглая кой-какось четырнадцать лѣтъ. Гостила она съ матерью въ ту нору, по обыкновенію, въ бабушкиномъ скиту. Незадолго передъ тѣмъ она впервые и совершенно случайно, отъ одной изъ инокинь узнала кое-что изъ тайнъ своей семьи и, между прочимъ, о сылѣ кузнеца Антропа, объ утопленникѣ, его сынѣ, и о кончинѣ брата Володи, котораго Аглая страстно любила, хотя смутно помнила.

Она выжидала время и, при случаѣ, затаивъ волненіе, обратилась съ разспросами о томъ къ гостившей съ ними въ обители Егоровнѣ. Кормилица передала ей, какъ старая барыня, за ссорой съ бариномъ, преглядѣла болѣзнь Володи; и перешла къ разсказу о судьбѣ Антропа.—«Ушелъ Антропушка, съ другими острожниками,—причитывала въ слезахъ Егоровна, забывъ, съ кѣмъ она говорить,—охъ, барышня-лебедушка! а ихъ солдаты-то и окружили въ болотѣ.—Не бейте, солдатунки, молитъ братецъ Антропъ: дайте мать родну-землю поглядѣть, на могилкѣ родителей; сына помолиться. А они изъ ружей какъ выпалаты, да прямо-то ему въ самую грудь... Склонился онъ, сердечный, кровь такъ и бѣжитъ по рубахѣ, а самъ говорить: за что, солдатунки, за что?»—Егоровна отъ слезъ не могла говорить далѣе.

Сидѣла она въ то время съ Аглаей у опушки монастырскаго лѣса. Прямо передъ ними была поляна; за ней рѣка, а надъ берегомъ старое монастырское кладбище. Поразилъ Аглаю разсказъ кормилицы. Антропъ всталъ передъ нею, какъ живой.

«Бѣдный, бѣдный,—подумала Аглая,—и сынъ его утонулъ, и жена его бросила, и убили его безъ покаянія...»

Слушая Егоровну, она прилегла къ копнѣ сѣна подь деревомъ, — въ то время кончили косить монастырскіе луга, и поле опустѣло, — задумалась и стала дремать. Кормилицу въ это время кто-то крикнулъ изъ обители къ Ульянѣ Андреевнѣ. «Сиди-жь ты, моя лебедушка, — сказала Егоровна, — а я, вотъ, на минутку сбѣгаю» — и ушла.

Въ глазахъ Аглаи помутилось. «Видно, солнце зашло за тучку», — подумала она. Въ лѣсу п на полянѣ настала мертвая тишина. Только высокая, пахучая, нескосенная трава на кладбищѣ чуть колыхалась, да изъ-за лѣса, безъ всякой, повидимому, причины, какъ по покойному, раздался тихій, дребезжащій церковный благовѣстъ.

И вдругъ Аглая увидѣла, что между зеленыхъ могилъ, какъ бы играя тамъ, мелькнуло одинокое дитя. Ближе и ближе. Оказывается — мальчикъ, да такой худенькій, робкій, блѣдный. На немъ бѣлая рубашечка. Ножки у него были босыя. А хорошенькій какой! Русыя кудри, голубые глаза. За нимъ, подалѣе, другой мальчикъ, поменьше... Да что же это, и почему онъ босой?.. Сердце Аглаи дрогнуло. Она замерла, не вѣрять себѣ. — «Ты ли это, Володя? ты ли?» — радостно вскрикиваетъ она, бросаясь къ первому мальчику. — «Не подходи! — кивая головой, отвѣчаетъ онъ, — это я; но ко мнѣ еще нельзя»... — «Да какъ же ты выбѣлся, Володечка? какъ вышелъ на свѣтъ? ахъ, какъ я рада! Кормилица, гдѣ ты? сюда, сюда!» — кричитъ, вѣб себя отъ восторга и вмѣстѣ отъ ужаса, Аглая. — «Не зови никого, — говоритъ ровнымъ, тихимъ голоскомъ блѣдный, худенькій мальчикъ, — мнѣ Антропъ помогъ! на рукахъ онъ вынесъ оттуда меня и своего сына... Онъ спрятался за канавой, боится, чтобъ не увидали... Прощай; намъ долго нельзя, пора назадъ...» — «Подожди, о! подожди хоть минутку, дай за тебя насмотрѣться!» — молила Аглая. — «Нельзя, — горестно качая головой мальчикъ, — тяжела, охъ, да какъ же тяжела земля надъ нами... И ты одна, сестра, можешь отвалить ее, можешь дать намъ подышать... Помоги... помоги!» — «Чѣмъ, Володя, говори?» Мальчикъ не отвѣчаетъ, хочетъ уйти. — «Куда же ты, Володя, Володечка?» — ломая руки, кричала Аглая. Но бѣлый мальчикъ не послушалъ ее, убѣжалъ и опять скрылся между могилами...

Аглаю замертво нашли на травѣ, у кладбищенской канавы, привели въ чувство и стали спрашивать, что съ

ней. «Волка подъ дѣсомъ увидала», — ответила она и никому не сказала настоящей причины. Такъ бы это дѣло и кончилось. Но мысль, чѣмъ бы именно она могла пособить брату, мучила ее и не давала ей покоя. Бѣлый мальчишъ подходилъ во всякъ къ ея постели, становился передъ ней, улыбался и тихо говорилъ: «Аличка, помоги мнѣ, помоги; силы нѣтъ; сжался—давить!».

Разъ, передъ выѣздомъ изъ бабкиной обители, Аглая увидѣла, какъ постригали какую-то писанную красавицу, вдову-мѣщанку. Пѣли вступительный тропарь: «Объятія отче отверсти ми потщися». — «Что пришла еси, сестро?» — спрашивалъ постригающій игумень. — «Житія ради постническаго». — «Вольною ли мыслию желаеши сподобитися ангельскаго образа, — сохранить себя до конца живота, въ дѣвствѣ, цѣломудріи и послушаніи?» — «Ей Богу содѣйствующу, честный отче...» — «Се Христосъ невидимо здѣсь предстоитъ, — возглашалъ игумень: — возьми ножницы и подаждь мнѣ...» «Вотъ о чемъ просилъ меня Володя», — рѣшила, уходя изъ церкви, Аглая и на другой же день сперва матери, а потомъ игуменѣ Сусаннѣ объявила о своемъ желаніи также постричься въ монастырь. Остальное взялась устроить Ульяна Андреевна.

Ветлугинъ съ перваго появленія смутилъ и взволновалъ Аглаю. Она до того испугалась своего настроенія, что тогда же рѣшилась обо всемъ переговорить съ Фросинькой. «Фросинька, ангелъ мой! — сказала она, кинувшись ей какъ-то въ садъ на шею: — объясни ты мнѣ, что это такое? и когда это со мной сдѣлалось? Отчего я вдругъ стала такою?» — «Какою?» — спросила ее съ изумленіемъ Фросинька. — «Да развѣ ты не видишь? не понимаешь?» — «Хоть убей, не возьму въ толкъ», — терялась Фросинька. — «Ахъ, ты ничего не хочешь видѣть, или я глупа!» — съ сердцемъ вскрикнула и, расплакавшись, убѣжала отъ нея Аглая. Когда же Фросинька, съ своей стороны, какъ-то вздумала пуститься съ ней въ толки о гостѣ, Аглаѣ показалось, что мечтательная и вѣтреная подруга сама влюбилась въ него по уши. Она вспыхнула отъ страха и отъ стыда и, едва дослушавъ ее, подумала: «теперь всему этому надо положить конецъ, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше... Попрошу дядю, чтобы онъ уговорилъ его уѣхать, а не уѣдетъ, я сама ему скажу»...

Нѣсколько разъ Аглая собиралась вызвать Ветлугина на объясненія, чтобъ тутъ же сразу отнять у него всякую надежду. Она тщательно одѣвалась, по нѣскольку разъ принималась расчесывать свои волосы и — что рѣдко съ ней бывало — накалывала на грудь какой-нибудь бантикъ, или пучекъ цвѣтовъ, и, раскраснѣвшись, чуть сдерживая волненіе, быстро сходила внизъ, а оттуда въ садъ... Но сомнѣнія росли, выводы и соображенія падали, пугались. Желаніе видѣть Ветлугина, объясниться съ нимъ, уступало мѣсто смущенію, робости... Иной разъ невзначай она встрѣчалась съ нимъ, съ видимымъ равнодушіемъ слушала его, а когда онъ уходилъ, начинала плакать, ломать руки, вздыхать, и теряться въ догадкахъ...

— Да такъ ли ужъ это все? — сказала разъ въ такія минуты матери Аглая.

— Что такое? — спросила Ульяна Андреевна.

— Дочь застала ее за укладкой бѣлья въ спальнѣ.

— Такъ ли все это? — повторила, какъ бы про себя, съ страннымъ блескомъ глазъ Аглая: — я все думаю, думаю... Письма объ Аеонѣ я читала сейчасъ...

— Ой, читай, Алинька, читай, слушай угодниковъ. Послушаніе — паче поста...

— Страшные подвиги на Аеонѣ совершаютъ отшельники, — продолжала, не слушая матери, Аглая: — отъ людей отрекаются, отъ страстей, плоть и душу свою клянутъ и предають на истязаніе... По десяти, по пятнадцати часовъ изъ церкви не выходятъ, молятся до омертвѣнія...

— Мать Паисія, Алинька, на Аеонѣ не была, нельзя, — тамъ пятьсотъ лѣтъ женскій полъ ногою не ступалъ, — а въ Иерусалимѣ была, — святопробскаго дерева и масла привезла, святой огонь ѣла и слышала, какъ дѣмны воютъ въ аду... Вотъ, ее спроси...

— Да не о томъ, мамонька, не о томъ, — перебила, хватаясь за голову, Аглая.

— О чемъ же?

— Ну что, если понесту, даромъ всѣ эти муки и истязанія? Что, если тамъ за гробомъ — мракъ... если нѣтъ награды за это отреченіе отъ жизни? Что... да нѣтъ! страшно! вы о томъ не думали и этого не поймете...

Аглая ушла. Ульяна Андреевна отъ изумленія только руками развела. Она была перажена.

«Это все дядя ее научает! это его слова!—замирая от страха, думала она,—надо ѣхать къ матушкѣ Измарагдѣ... надо ѣхать»...

Ульяна Андреевна получила новыя, важныя вѣсти изъ монастыря и на этотъ разъ не вытерпѣла: послѣ утренняго чая уѣхала туда на цѣлый день. Уѣзжая, она просила Аглаю не разставаться съ отцомъ и быть съ нимъ какъ можно ласковѣе. «Ты знаешь, черезъ недѣлю ужъ и срокъ»...— прибавила она.

Ветлугинъ въ то утро кончилъ пересмотръ записокъ Вечерѣва и также собирался, черезъ день—черезъ два окончательно уѣхать изъ Дубковъ. Хотя, вслѣдъ за прибытіемъ сюда, онъ и извѣстилъ отца, что порученіе его будетъ, по всей вѣроятности, выполнено, и что если онъ прогоститъ здѣсь лишнее время, то на это слѣдуетъ смотрѣть, какъ на дружескій плѣнь со стороны Вечерѣва, — но этотъ плѣнь становился, наконецъ, ему не подъ силу. «Зачѣмъ я здѣсь!—разсуждалъ онъ, — какая польза? Аглая, видимо, избѣгаетъ меня. Застану ли ее въ саду, съ книгой, она издали еще замѣтитъ меня, встаетъ со скамьи и уходитъ. Говорю ли съ ней, она точно не слышитъ меня, едва отвѣтитъ и, кажется, думаетъ: «ты здѣсь причѣмъ? и когда, наконецъ, уѣдешь?»

Въ день отъѣзда Вечерѣвой, послѣ обѣда, Ветлугинъ опять взялъ у Филата ружье и пошелъ за рѣку, въ дуга. Онъ бродилъ тамъ до вечера, возвратился уже въ сумерки, не заглядывая въ домъ, прошелъ къ себѣ въ бесѣдку, заперъ дверь на ключъ, и, не зажигая свѣчи, какъ было, въ платьѣ и въ сапогахъ, бросился на постель. Жаркій ли день его такъ утомилъ, душевная ли тревога его поддомлила, только онъ чувствовалъ себя какъ въ лихорадкѣ. Голова горѣла, по тѣлу пробѣгали ознобы. Онъ на мгновеніе забылся тяжелымъ сномъ, но опять раскрывалъ глаза, прислушивался и приглядывался къ темнотѣ.

То ему грезилось, что въ окно бесѣдки заглядываетъ и ищетъ его глазами Ульяна Андреевна. То въ углу, за печкой, ему мерещился, полусвѣщенный лампадкой модельни, спрятавшійся тутъ Вечерѣвъ. Кирилло Григорьичъ внушительно подмигивалъ ему и будто говорилъ: «что? обошли меня, стараго хрыча, обошли; и никто мнѣ не помогъ!» А

раза два Ветлугину почудилось, что Ульяна Андреевна уже не подь окномъ, а здѣсь же, въ потемкахъ, сидитъ на стулѣ, возлѣ его дивана, смотритъ на него, шепчетъ: «все да презрять, все да отринуть!» и холодомъ могилы вѣетъ отъ нея... Смерть, конецъ...

Антонъ Львовичъ очнулся и долго не могъ понять, гдѣ онъ и отчего такъ быстро проснулся?

Точно кто-нибудь его громко назвалъ по имени, или толкнулъ. Въ ушахъ его звенѣло. Въ воздухѣ было душно. Сидя на постели, онъ сталъ прислушиваться и глядѣть кругомъ. Въ темнотѣ, за окнами бесѣдки, вспыхивали яркія зарницы. Ветлугинъ сообразилъ, что его разбудило сильнымъ ударомъ грома.

Онъ вышелъ на крыльцо, постоялъ здѣсь, постѣдиль за молніей, раза два пышно озарившей садъ, возвратился въ бесѣдку, распахнулъ всѣ окна настежь, прилегъ и опять хотѣлъ заснуть. Сонъ бѣжалъ отъ него. Что-то непонятное гворилось вокругъ...

За бесѣдкой раздавался странный, непрерывный шорохъ, будто шумѣли встревоженные вихремъ деревья, — вѣтра, между тѣмъ, не было, — или впотьмахъ надъ садомъ летѣла безконечная туча насѣкомыхъ. Ветлугинъ снова вышелъ изъ бесѣдки. Деревья молчали. Ни одинъ листъ не шевелился на нихъ.

«Что за странность?» — подумалъ Ветлугинъ, и только-что ступилъ отъ крыльца, зарево молніи блеснуло ему прямо въ глаза, и въ то же мгновеніе новый ударъ грома оборвался надъ садомъ и, казалось, упалъ въ пяти шагахъ отъ бесѣдки. Тутъ только Ветлугинъ, въ блескѣ молніи, разглядѣлъ разбуженныхъ необычной, ночной грозой птицъ, пугливо метавшихся во мракѣ поверхъ деревъ, и понялъ причину слышаннаго имъ шороха.

Вспышки молній становились чаще и чаще, сливаясь въ одно, то голубое, то желтое, то алое сверканіе. Ббахъ, ббахъ! залпами учащенной канонады вторили имъ оглушительные удары грома, отдаваясь во мракѣ полей и, то и дѣло, сотрясая окна и стѣны бесѣдки. При блескѣ молніи было видно, какъ дальнія вербы шевелились отъ налетающаго вѣтра и, точно уходя отъ берега, качали огромными, косматыми головами.

И опять темнота. А дальше, гдѣ-то за рѣкой, минуетъ садъ,

падалъ дождь. Гдѣ-то въ оврагахъ бѣжали и журчали проворные дождевые ручьи. Кажется, конецъ грозѣ...

Но мгновенно опять и еще ярче вспыхиваетъ все пространство сада, парка и взгорья надъ рѣкой. Изъ мрака выдѣляются аллеи, дальніе липы и дубы, въ концѣ сада, на крутизнѣ, домъ и крыши надворныхъ строеній, а за ними, въ темномъ небѣ, крестъ церкви и вспугнутыя ночной грозой птицы...

«Спитъ ли она теперь?»—подумалъ Ветлугинъ, отходя отъ бесѣдки. Онъ обогнулъ первые кусты. Песокъ слегка хрустѣлъ подъ его ногами. Онъ миновалъ одну дорожку, другую, вышелъ къ дому, взглянулъ на окно Аглаи. Вездѣ тихо. Онъ постоялъ нѣсколько мгновеній. «Безуміе, безуміе,—подумалъ онъ,—завтра же ѣду отсюда!»—и только-что хотѣлъ идти обратно, какъ невдали отъ него послышались другіе шаги. «Кто бы это былъ? неужели?..»—мелькнуло въ головѣ Ветлугина. Холодъ пробѣжалъ по его жиламъ. Онъ сбѣгалъ нѣсколько шаговъ.

— Филать, это ты?—произнесъ изъ потемокъ тихій, дрожащій голосъ.

Ветлугинъ замеръ. То была Аглая.

## XVI.

### Благовѣсть.

— Проводи меня, мнѣ страшно... мнѣ показалось,—продолжала, не двигаясь съ мѣста, Аглая.

— Вы ли это? вы не спите?—отозвался, шагнувъ къ ней черезъ поляну, Ветлугинъ.

Онъ подошелъ къ ней. Она молчала. На ней, прикрывая ея плечи и руки, былъ наскоро наброшенъ платокъ.

— Чтѣ съ вами?—повторилъ Ветлугинъ.

Онъ почувствовалъ, какъ кровь мгновенно прилила ему въ лицо. Руки его дрожали.

Мысли къ Аглаѣ понемногу возвратились. Судорожно кутаясь въ платокъ, она нѣсколько постояла, обернулась, испуганно оглянулась къ сторонѣ дома, крѣпко взялась за руку, протянутую ей Ветлугинымъ, и, точно убѣгая отъ чего-нибудь, тяготившаго ее, неровной поступью пошла съ нимъ вдоль поляны.

— Ахъ, какъ страшно, какъ я испугалась, — сказала,

вздрагивая, Аглая: — я рада, что это вы... а мнѣ показалося...

— Что съ вами? скажите мнѣ, не бойтесь, — успокаивать ее Ветлугинъ: — не помогу ли я вамъ?

Они дошли до конца поляны, сѣли подъ деревомъ на скамью. Но Аглая черезъ минуту встала опять, при блескѣ зарницъ прошла далѣе, повернула къ парку и, дойдя до второй, скрытой за деревьями поляны, сказала: «здесь». Они сѣли подъ навѣсомъ бесѣдки изъ дикаго винограда.

— Вы хотите мнѣ помочь? — все еще не приходя въ себя, проговорила Аглая: — вы слишкомъ добры, и я ничѣмъ этого не заслужила.

Она перевела духъ.

— Позвольте, позвольте; не возражайте! — продолжала она, оглядываясь: — выслушайте меня. Я такъ испугалась. Мнѣ представилось... Нѣтъ, не то... Мои мысли совсѣмъ путаются... Вы знаете, у Егоровны, моей кормилицы, заболѣла дочь... Здѣсь постоянно столько больныхъ... несчастное мѣсто.

Аглая остановилась.

— Такъ вотъ, — продолжала она: — мужъ Егоровны вчера уѣхалъ въ другое наше имѣніе; я и отпустила ее къ дѣтямъ и осталась ночевать наверху одна. Маменька тоже уѣхала. Я не трусиха. Но, посудите сами... Чуть только я легла и закрыла глаза, — странно и вспомнить, онъ опять и явился.

— Кто? — спросилъ Ветлугинъ.

— Онъ... онъ подошелъ ко мнѣ, сталъ и глядитъ такъ жалобно...

— Да кто же онъ? кто? — допрашивалъ Ветлугинъ.

— Онъ... да Боже мой!.. бѣлый мальчикъ... Вотъ..... Люди напѣ... — отвернувшись, отвѣтила Аглая.

— Какъ? что вы сказали?

— Ахъ, не то, опять не то! — просящимъ безпокойнымъ взоромъ взглянула на него Аглая: — мнѣ бы не слѣдовало... И я никому не говорила... Но, Боже, какая пытка! Я теряюсь, я не вынесу этого. Судите, какъ знаете; я вамъ первому это передамъ.

Волненіе болѣе и болѣе охватывало Аглаю. Съ трудомъ преодолевая внутреннюю дрожь, она крѣпче закуталась въ платокъ, робко придвинулась къ Ветлугину, еще разъ оглянулась къ дому и за рѣку, въ темноту, откуда слышались



послѣдніе вздохи уходящей вдаль грозы, и чуть слышнымъ шопотомъ, съ перерывами, недомолвками и со слезами рассказала Ветлугину, какъ, во время пребыванія у бабки, ей впервые привидѣлся покойный братъ, Володя.

— Но вѣдь это было во снѣ!—успокаивалъ ее Ветлугинъ.

— Знаю, знаю, и сама понимаю, что не слѣдуетъ вѣрить снамъ. Но измучишься. Притомъ, есть знаменія... Послушайте! не могу этому не вѣрить!.. Если бъ вы видѣли его, если бъ взглянули... Какая жалость! худенькій, робкій, блѣдный,—совсѣмъ дитя... Подойдетъ, станетъ и молить... Ахъ, да о чемъ же онъ молить, скажите вы мнѣ! — заключила, хватая себя за голову, Аглая:—не даромъ же все это... не даромъ...

Слезы не дали ей договорить. Платокъ скатился съ ея плечъ. Волосы въ беспорядкѣ упали на лицо.

«Ее ли я слышу,—разсуждалъ Ветлугинъ,—и она ля едитъ теперь рядомъ со мной, складками платья касается меня? Я ей все скажу, все. Я раскрою ей бездну, куда ее толкають. Передамъ, что мнѣ жаль ея, что я ее полюбилъ и снасу, во что бы то ни стало! что она грезилась мнѣ всюду, съ дѣтства, въ юности, въ лучшія мои мгновенія».

— Знаменіе, вы сказали?—спросилъ Ветлугинъ:—хорошо, пусть это будетъ знаменіе. Вы добываетесь его смысла. Вамъ тяжело, и вы спрашиваете, какъ вамъ быть? Я вамъ отвѣчу за вашего брата, — сердечнымъ, дрогнувшимъ голосомъ, несмѣло сказалъ и смолкъ Ветлугинъ:—не того ждешь отъ васъ и не о томъ молить вашъ братъ, что, подъ влияніемъ другихъ, вы рѣшили сдѣлать...

Аглая молча взглянула на него.

— Не вѣрьте ничѣмъ свѣтамъ. Вѣрьте себѣ одной!—смѣлѣе и тверже продолжалъ Ветлугинъ:—ваши тревоги, ваши сомнѣнія и эти страстные поиски за истиной, это—борьба за жизнь. И вы достойны жизни. Не идите въ монастырь. Оставайтесь въ свѣтѣ, будьте лучшимъ его украшеніемъ. Вамъ ли преждевременно посвятить себя затворничеству и отреченію отъ міра и отъ ближнихъ, когда вы можете принести столько пользы и счастья себѣ и другимъ? Вы—дочь богатыхъ родителей. Бѣдность, Аглая Кирилловна, вопреки толкамъ монаховъ,—не благополучіе, а злое гѣре для человѣка,—тяжкіе кандалы на ногахъ, не дающіе множеству хорошихъ людей свободно идти по жизненной дорогѣ... Достатокъ

прежде всего,—долгъ, обязанность. И вы въ долгу передъ свѣтомъ, обществомъ.

Аглая не глядѣла на Ветлугина. Но гнѣвомъ райской птицы въ ея душѣ отдавались его слова. Перебирая въ рукахъ платокъ и не поднимая глазъ, она жадно слухала Ветлугина и думала: «онъ правъ, да мнѣ-то что изъ того?»

— Взгляните, что творится хоть бы здѣсь, передъ вашими глазами, — убѣждалъ Ветлугинъ: — поселокъ вашихъ бывшихъ крестьянъ, по ошибкѣ ли прежнихъ владѣльцевъ, или по собственному ихъ невѣдѣнію, расположенъ по болотистому заливу рѣки. Лихорадки, горячки и всякія повальныя болѣзни, какъ вы же говорите, изнуряютъ взрослыхъ, безжалостно убиваютъ дѣтей. Вотъ о чемъ, вѣрьте мнѣ, между прочимъ, просилъ васъ тотъ... тревожившій васъ мальчикъ... Вашимъ влѣніемъ могутъ быть осушены болота. И васъ благословятъ сотни людей.

Ветлугинъ помолчалъ.

— Да мало ли, — продолжалъ онъ: — всмотритесь въ нужды этихъ и окрестныхъ бѣдняковъ. Сколько добра они ждутъ отъ васъ и отъ другихъ... Вы ли, Аглая Кирилловна, на вашемъ искусствѣ, будете служить какой-нибудь выжившей изъ ума, но всѣмъ обезпеченной, темной старухѣ, когда вокругъ васъ, по измамъ, столько семействъ тонуть въ непроходимомъ невѣжествѣ, или, полчаса, безъ пособій, мрутъ, какъ мухи, и когда ваши услуги въ монастырѣ легко можете замѣнить любая поденщица? Наконецъ, вы убьете отца... Скажите, ужъ одно это дастъ ли вамъ счастье, дастъ ли желанный покой?

Аглая подняла голову.

— Поздно мнѣ все это слышать! — сказала, вставая, она: — я дала обѣтъ и должна его исполнить.

— Но вы еще такъ молоды, — вставая въ свой чередъ, возразилъ Ветлугинъ: — какое поприще могло бы еще открыться передъ вами и сколько добра вы разсѣяли бы вокругъ себя?

— Сны, видѣнія, я согласна съ вами, — сказала Аглая: — это — плодъ взволнованной, разстроенной души. Но разъ принятое рѣшеніе должно быть исполнено.

Она ступила нѣсколько шаговъ.

— Аглая Кирилловна! — вскрикнулъ ей вслѣдъ Ветлугинъ, чувствуя, какъ вдругъ упало его сердце.

Она остановилась.

— Я васъ слушаю,—не обращиваясь, тихо сказала Аглая.

— Я завтра ѣду... Во имя дружбы, которою вы меня сегодня подарили,—сказалъ Ветлугинъ: — еще разъ закли-  
наю васъ, одумайтесь, не губите себя.

— Поздно, поздно! — рѣшила, уходя Аглая: — дай Богъ  
вамъ счастья на вашемъ пути! я съ своего не сойду...

Ветлугинъ остался убитый, ошеломленный. Въ воздухѣ  
еще пахло грозой. За рѣкой начинало бѣлѣть.

Утромъ того дня возвратилась въ Дубки Ульяна Андреевна.

— «Что барышня?» спросила она на крыльцѣ встрѣтив-  
шую ее Егоровну. — «Спать еще», отвѣтила кормилица. Улья-  
на Андреевна на цыпочкахъ взойшла на верхъ въ комнаты  
дочери, неслышно отворила дверь съ лѣстницы и въ умиле-  
ніи пробыла нѣсколько мгновеній... Аглая, спиной къ ней,  
стояла на колѣняхъ передъ образомъ и, устремивъ на него  
глаза, со сжатыми руками, неподвижно и горячо молилась.

Ветлугинъ проспалъ чай, проспалъ и время завтрака.  
«Видно, наморился надъ писаньемъ,—разсуждалъ Филатъ,  
приходя къ нему и опять уходя, съ размышленіемъ: — ишь  
и вещи свои уложилъ, собрался; должно быть, уѣзжать хо-  
четъ—пусть выпится». — Антонъ Львовичъ спалъ тревожно,  
ему грезились то голубыя, то алыя молніи, частый ливень  
и косматые вербы, а въ небѣ крестъ церквей и стаи кру-  
жившихся, спугнутыхъ ночью грозой птицъ. Грезилась ему  
и Аглая...

Онъ проснулся незадолго передъ обѣдомъ. Голова его  
была тяжела. Онъ всталъ, вспомнилъ встрѣчу и разговоръ  
подъ виноградной бесѣдкой, позвалъ Филата, узналъ, что  
Вечерѣва уже возвратилась и что господскія лошади те-  
перь въ сборѣ, попросилъ чаю и, сказавъ, что выйдетъ  
только къ обѣду, взялъ перо и сталъ писать. То было письмо  
къ Аглаѣ. Онъ хотѣлъ его передать черезъ Фросиньку. Мысли  
не слушались. Прошелъ часъ, другой. Письмо не писалось.

— Кушать просить,—объявилъ показавшійся въ дверяхъ  
Филатъ.

Ветлугинъ разорвалъ начатое письмо, привелъ себя въ  
порядокъ и вышелъ въ садъ. Воздухъ былъ влажный. Па-  
рило. Кругомъ стоялъ густой, смолистый паръ отъ деревь и  
цвѣтовъ.

— Что это, дѣдушка, было сегодня ночью? — спросилъ Антонъ Львовичъ дѣда Лукашку, увидя его, съ пучкомъ готовыхъ тычинокъ, подъ ракитою, въ саду.

— Воробьиная ночь, милый, нонѣ была.

— Къ добру же это, или не къ добру?

— Какъ кому. Молодымъ все къ добру. А вотъ я такъ лежалъ всю ночь въ землянкѣ, да думалъ, укажъ не вонецъ ли свѣту пришесть? Передъ концомъ всего, оно этакъ-то будетъ; въ книгахъ написано, и барышняя, какъ махонькая была, сказывала...

— Что же она тебѣ, дѣдушка, сказывала? — спросилъ Ветлугинъ.

— Земля, говоритъ, загорится и вода загорится. Такъ огнемъ-то рѣки по землѣ и потекутъ и пожгутъ всѣхъ грѣшниковъ... Охъ, страшно-то какво! Выришь ли? — вскочилъ это я нонѣ ночью, хочу молиться и не могу... Забылъ, милый, какъ есть, всѣ молитвы... Грѣхъ-то какой! Надо къ дьячку сходить, чтобы опять выучилъ. Памятью, братецъ ты мой, плохо становлюсь...

— Ну, и мнѣ, дѣдушка, не по себѣ...

Дѣдъ, мигая отъ солнца, посмотрѣлъ на Ветлугина.

— Что такъ? — спросилъ онъ.

— Точно хмельной... Иду, вонъ, мимо цвѣтовъ, голова кружится...

— Оно бываетъ, сердечный. Кого сегодня ни спроси, всѣ будто въ угарѣ. Ишь, и цвѣтики ожили, — точно кадильнички курятся... А пчелъ-то, пчелъ послѣ грозы! равно мошки рѣютъ... Всякому жить хочется, всякому... и старому, прости Господи, и молодому...

— За обѣдомъ собралась вся семья. Даже Фросинька, такъ было недружелюбно разставшаяся съ Аглаей, сидѣла здѣсь же, рядомъ съ нею. Всѣ, кромѣ Кириллы Григорьевича, знали мысль Ветлугина ѣхать въ тотъ день. Ему только Антонъ Львовичъ еще не успѣлъ этого сообщить.

Минувшая ночь оставила глубокіе слѣды въ Аглаѣ. Она сидѣла, почти не замѣчая того, что вокругъ нея говорилось и дѣлалось, и несвязно отвѣчала на шуточные разспросы отца о ея пребываніи съ матерью, годъ назадъ, въ какой-то пустыни, гдѣ, подъ видомъ іеромонаха-проповѣдника, нѣсколько мѣсяцевъ проживалъ бѣглый солдатъ.

— Представьте, Антонъ Львовичъ, — сказалъ при этомъ

Вечерёвъ:—благочестиваго дезертира тѣмъ только въ этой обители и училили, что ловкій слѣдователь подкрался къ нему въ келью и громко сказалъ: «Савоновъ, гдѣ фельдфебель?»—Тотъ въ испугѣ и отвѣтилъ: «Не могу знать, ваше благородіе».—А эти добродушныя барыни, да и другія съ ними, наперерывъ искали его вниманія, слушали его поученія...

— Совѣтъ же онъ не поучалъ, а только съ прочими пѣлъ на клиросѣ,—занималась Ульяна Андреевна.

Аглая виду не показывала, какъ ее тяготили эти шутки отца. Только ея лихорадочно блестящіе глаза, минуя Ветлугина, пугливо и пристально порой взглядывали на мать.

— И охота тебѣ, Кирилло Григорьевичъ,—сказала Ульяна Андреевна:—говорить такія вещи? Что за празднословіе! этимъ ты бросаешь тѣнь и на истинно-благочестивыхъ людей, живущихъ по монастырямъ.

— Благочестивыхъ? — съ досадою вскрикнулъ: и закашлялся старикъ: — ну, нѣтъ... Не знаю, гдѣ больше благочестія... Дубки—тотъ же монастырь. Спрятаться отъ бурь житейскихъ, коли пошло на то, можно и здѣсь; въ родномъ гнѣздѣ.

Мать и дочь переглянулись.

— Вотъ, хоть бы и я,—продолжалъ Вечерёвъ:— пусть мятется свѣтъ. Пусть работаютъ пылкіе молодые умы. Мнѣ не опасны никакія бури и волненія. Что мнѣ! Я вошелъ въ пристань и своей жизни не измѣню. Время мое кончилось, пѣсня спѣта. Остается жить, какъ живутъ птицы, деревья, да эти цвѣты. Я такъ и живу... А тамъ, за этимъ домомъ, садомъ и полями—хоть трава для меня не расти.

— Это—эгоизмъ,—сказалъ Ветлугинъ.

— Эгоизмъ! Извините: лучше быть скромнымъ лакомъ, послѣднимъ быльемъ родныхъ полей, лучше откровенно ничего не дѣлать, чѣмъ представлять изъ себя шумиху и вѣрой въ мнимый ходъ спящаго общества надувать себя и другихъ... Словомъ,—я отрѣзанный ломоть. Или нѣтъ, постоите... Читали-ль вы, Антонъ Львовичъ, про индійскихъ факировъ, какъ они цѣлые годы, въ родныхъ лѣсахъ, стоятъ на одномъ мѣстѣ, созерцая тихій священный потокъ?

— Читалъ.

— Ну-съ, я тоже теперь, въ нѣкоторомъ родѣ, — индійскій факиръ. А факиры несчастны только тогда, если кто

помутить ихъ завѣтный потокъ... Надѣюсь, убѣжденъ, что моего не помутить никто... Я спрятался въ нору и—за всѣ блага шумныхъ, душныхъ городовъ—не отдамъ этого зеленого затишья...

Кирилло Григорьевичъ внушительно взглянулъ вокругъ себя.

— Правъ ли я? — съ сердитымъ, громкимъ сморканьемъ обратился онъ къ Ульянѣ Андреевнѣ: — я знаю, ты не согласна со мной; что же дѣлать? Останемся всякъ при своемъ. Мой рай грѣховенъ, но я вѣрю въ него и его не покину.

Всѣ на это промолчали.

— Вы, Антонъ Львовичъ, кажется, также со мной не согласны? — улыбнулся Вечерневъ: — или есть что-нибудь прочнѣе моихъ книгъ, моей музыки и этого мирного деревенскаго затишья.

— Я съ вами не согласенъ, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — картины сельскаго счастья, которыя вы сейчасъ рисовали, не вѣчны... Но вы, извините меня, упомянули также о волненіи свѣта, о буряхъ общественныхъ, о работѣ молодыхъ и пылкихъ умовъ. Такіе умы, быть-можетъ, гдѣ-нибудь и работаютъ, только—увы!—не у насъ. У насъ, вообще, любятъ больше болтать, чѣмъ работать. Большинство нашихъ усилій до сихъ поръ походило на нѣчто въ родѣ прыганья бѣлки въ колесѣ. И мы, я думаю, скорѣе должны бояться другого, — не чрезмѣрнаго движенія, — а возврата общества вспять... Надо много дружныхъ усилій честныхъ и мыслящихъ людей, чтобы удержаться отъ напора враждебныхъ, задерживающихъ вліяній...

— Такъ, такъ, молодая вы моя душа! люблю въ васъ адвоката юности. Но вы меня не переувѣрите. Не только мы съ вами, но, ручаюсь, ваши внуки и правнуки не дождутся того, чего бы вы желали. Припомните мои слова: вотъ я теперь — одинъ изъ первыхъ землевладѣльцевъ въ уѣздѣ, а Филатъ Ивановичъ, хотя и вольный человѣкъ, опять не въ мѣру выпивши, стоитъ, вонъ, у меня за стуломъ... То же—вѣрите мнѣ—будетъ черезъ десять, черезъ двадцать лѣтъ и болѣе. Явленіе грустное; но человечество всегда, и въ каменный періодъ, и на свайныхъ постройкахъ, дѣлалось на слугъ и на господъ. Таково оно было въ Египтѣ—при фараонахъ, въ Америкѣ при Ментезумѣ, и при Ноѣ, когда всѣ еще ходили въ звѣриныхъ кожахъ. Другимъ оно не будетъ и въ тѣ времена, когда желѣзныя дороги замѣ-

нятся воздушными шарами, а наследственные собственники, по новому учению, — выборными... Всесвѣтныѣ прогрессистамъ, что бы ни говорили, не удастся бросить камня, которыми окончательно замутился бы потокъ жизни общества... и этого уголка...

— Опасны не прогрессисты, — негромко возразилъ Ветлугинъ.

— Кто же? кто? — допрашивалъ Вечерѣевъ.

Обѣдъ въ это время кончился. Всѣ встали и перешли въ садъ, на балконъ.

— Равнодушіе общества, вотъ что опасно! — сказалъ Ветлугинъ, чувствуя, какъ все въ немъ при этомъ заговорило: — равнодушіе умнаго — передъ заблужденіями глупца, богатаго — передъ неисконною бѣдностью нищаго, всѣхъ — передъ воцѣлющими нуждами другъ друга. Всякій ссылается на другого. Вотъ, извините, хоть бы и вы... Я не понимаю этого вашего гордаго отношенія къ окружающему. Вы говорите: пусть врываются въ окна этого дома въ этотъ садъ новыя вѣянія времени; вы остаетесь ко всему равнодушны. Но и вы не отставали отъ вѣка: вы выписывали машины, новѣйшія руководства къ хозяйству, и сами надъ всѣмъ трудились. Положимъ, что хорошо въ теоріи, то у насъ подъ часъ оказывается непримѣнимымъ на дѣлѣ. Вы не захотѣли продолжать попытокъ далѣе; бросили все, сложили руки и сказали себѣ — довольно! по Сенькѣ шалка. Но у васъ, повторяю, была молодость. Неужели въ васъ окончательно изсякло негодованіе противъ ненужныхъ стѣсненій, противъ грубаго нахальства однихъ и дживаго потворства всякому произволу другихъ? Я этому не вѣрю... Человѣкъ долженъ жить такъ, чтобъ каждое мгновеніе быть готовымъ на призывъ своего долга... И добрые, честные люди уже тѣмъ полезны, что живутъ въ данное время на свѣтѣ...

Аглая не спускала глазъ съ Ветлугина. Онъ еще ни разу не казался ей такъ дорогъ и милъ. Она невольно любовалась имъ, его пылавшимъ, смѣлымъ взоромъ и одушевленнымъ лицомъ, и съ тайнымъ трепетомъ, замирая, думала: «Боже мой, да неужели-жъ меня, дику и простую, можетъ полюбить этотъ, не погрязшій въ общей тинѣ, съ такимъ горячимъ сердцемъ и чуткою душою, человѣкъ? Нѣтъ! это — искушеніе, бѣсовскій обманъ, и больше ничего! Боже, прости меня, грѣшную, и помилуй!» Она искала силы покаянія

и съ ужасомъ сознавала теперь, какъ и прежде, въ этомъ свое безсиліе...

— Ого! браво! браво!.. — воскликнулъ Вечерѣвъ: — что значить молодая кровь! Да вы—чистый трибунъ. Вамъ не по торговой части, а прямо бы тамъ же, по близости, въ Японію, что ли, въ миссіонеры. Охъ, юность, юность! И все это оттого, что у васъ самихъ, милый мой, нѣтъ ничего... Были бы вы сами собственникомъ, не то бы заговорили...

Слушая разговоръ Ветлугина съ отцомъ, Аглая думала: «Брата Володи нѣтъ въ живыхъ. Что, если бы онъ не умиралъ и сидѣлъ здѣсь же, среди насъ? Походилъ ли бы онъ на этого человѣка? Или, рано бросивъ ученіе и мысли о добрѣ, онъ подошелъ бы, какъ и другіе, подъ уровень окружающаго, измельчалъ бы и погрязъ въ общей пустотѣ?»

При мысли о ночной встрѣчѣ съ Ветлугинимъ, Аглаѣ казалось, что это случилось уже давно, и она радовалась, что это было и что этого никто не зналъ.

Ветлугинъ помолчалъ. Нѣсколько замѣшившись и обращаясь къ Вечерѣву, онъ сказалъ:

— Теперь, позвольте, Кирилло Григорычъ, съ вами проститься.

— Какъ? что? полноте, полноте, въ четвергъ день моего рожденія; неужели вы насъ оставите?

— Очень вамъ благодаренъ; но у меня дѣла; надо побить съ отцомъ, да и далѣе ѣхать.

— Нѣтъ, мы васъ не пустимъ. Жена, проси...

Ульяна Андреевна пробормотала что-то вѣжливое, хотя и не столько радушное и ласковое, какъ въ первый день пріѣзда гостя. Фросинька дѣлала какіе-то знаки Аглаѣ. Та сидѣла молча. Когда, наконецъ, старикъ, видя, что гость не остается, сказалъ: — «ну, нечего дѣлать; останьтесь хоть еще день-другой», — Аглая встала, передвинула у рѣшетки какой-то пѣвѣтокъ и вышла. За нею ушла Фросинька, а потомъ и Ульяна Андреевна.

Хозяинъ и гость посидѣли еще нѣсколько времени. Вечерѣва вызвали къ приказчику.

— Такъ не останетесь до четверга? — спросилъ, уходя, старикъ.

— Не могу; завтра я просилъ бы у васъ лошадей.

— Ну, спасибо и за то. А сегодня вечеромъ мы окончательно поговоримъ объ устройствѣ дѣла вашего отца. Жду только одной справки, и затѣмъ я къ вашимъ услугамъ.



Ветлугинъ сошелъ съ балкона. Ему хотѣлось еще разъ взглянуть на то мѣсто, гдѣ онъ вчера сидѣлъ и говорилъ съ Аглаей. Онъ направился къ виноградной бесѣдкѣ, побылъ тамъ и пошелъ въ паркъ.

Въ это мгновеніе раздался благовѣстъ ко всенощной. На утро было воскресенье. — «Пойду, загляну въ церковь, — подумалъ Ветлугинъ: — Аглая, вѣроятно, будетъ тамъ».

Но едва онъ прошелъ нѣсколько шаговъ, какъ, — невдале отъ выхода изъ парка въ садъ, — встрѣтилъ Аглаю.

— Остановитесь! — отрывисто сказала она, глядя въ сторону.

Ветлугинъ замеръ. Земля заколыхалась подъ его ногами.

— Сверните сюда, — скороговоркой продолжала она: — вотъ такъ, за эти деревья...

Они стали за густую изгородь, окаймлявшую одну изъ полей.

## XVII.

### Звѣзды.

— Скажите ли вы мнѣ правду? — не поднимая головы, груднымъ, надорваннымъ голосомъ спросила Аглая... — Нѣтъ, не то... Исполните ли вы мою просьбу?

— Я весь къ вашимъ услугамъ. А на мою искренность вы можете всегда разсчитывать.

— Да, вы — добрый и... честный человѣкъ, — продолжала Аглая: — я въ этомъ убѣждена. Думая долго, я, наконецъ, готова вѣрить и тому, что наша встрѣча и все это... наше знакомство... произошли случайно... Но что вамъ надо отъ меня? скажите откровенно... Вы слѣдите за мной... Вы у меня постоянно передъ глазами...

Она выпрямилась, подняла голову, но тутъ же, какъ бы въ изнеможеніи, прошептала: — Боже, какое мученіе, какая казнь!

— Да въ чемъ же, въ чемъ дѣло? — порывался сказать Ветлугинъ.

Но его губы дрогнули, не произнося ни слова. Горло сжалось. Въ глаза ударилъ яркій снопъ лучей. Ему вспомнились зарницы минувшей ночи...

Онъ чуть не зашатался. Въ приливъ робости и смущенія, съ изнывающимъ отъ любви и жалости сердцемъ, онъ глядѣлъ въ умоляющее измученное ожиданіемъ, блѣдное лицо Аглаи и не зналъ, что ей сказать.

Впослѣдствіи, много времени спустя, мысленно переносясь къ этому мгновенію, Ветлугинъ ясно припомнилъ, какъ и что съ нимъ тогда произошло. Аглая говорила ему какія-то слова, а передъ нимъ почему-то мелькала картина синяго озера, мрачная, скалистая стремнина и молодой, обезсиленный травлей олень, кидajícíся въ бездну со скалы; гдѣ-то темной ночью видѣнный лѣсной пожаръ, а въ дыму и въ пламени горящаго села—слабый, чуть слышный плачь забытаго ребенка...

Онъ склонился къ Аглаѣ, взявъ ее за руку и сказалъ ей:

— Не бойтесь меня... передъ вами другъ... братъ, готовый свою жизнь положить, лишь бы вы были счастливы.

— Если вы,—возразила, тихо освобождая отъ него руку, Аглая: —если моя дружба хоть чѣмъ-нибудь вамъ дорога, умоляю васъ, уѣзжайте отсюда, безъ колебаній, — и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, — завтра же, сегодня, если можно... Лучше намъ разстаться друзьями.

— Хорошо... Если мой отъѣздъ необходимъ, если вы того желаете, дайте мнѣ, на прощанье, сказать еще слово... Выслушайте меня.

— Говорите, слушаю, — робко сказала Аглая, чувствуя, какъ холодъ и трепетъ побѣжали у нея съ головы до пятъ.

Ветлугинъ медлил. Онъ понималъ, что это свиданіе было послѣднимъ, и что, спустя мгновеніе, между нимъ и Аглаей ляжетъ пропасть, черезъ которую для нихъ обоихъ уже не будетъ возврата.

— Вы понимаете, — началъ онъ: — минута разставанья. Она все собой заслоняетъ! Я хотѣлъ многое вамъ передать, а нѣтъ силъ, чтобъ сказать одно слово—прощайте. Неужели мы больше не увидимся? Неужели...

— Послушайте, — перебила его Аглая: — зачѣмъ эта нерѣшительность, слабость? Вы не хоронили друзей? Считайте, что я умерла, и что мы съ вами теперь на моихъ похоронахъ...

— Право, разберите все это, — продолжала она, ступивъ опять на дорожку и идя рядомъ съ Ветлугинымъ: — стоять ли вамъ, Антонъ Львовичъ, думать о комъ-нибудь въ этихъ мѣстахъ? Ваше поприще—на иномъ пути. Вы—другого міра человѣкъ. Здѣсь же—глушь, сонъ, или, какъ говоритъ мой дядя,—а онъ васъ очень уважаетъ,—застой. Вы такъ одарены... Вамъ ли помириться съ ничтожной долей? Вамъ ли закабалить себя въ жалкой житейской пустотѣ?

— Скорѣе о васъ слѣдуетъ это сказать, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — вы стремитесь къ пути, несвойственному ни нашимъ лѣтамъ, ни вашему положенію въ свѣтѣ...

— Моя судьба и ваша — большая разниа, — возразила Аглая: — что ожидаетъ каждую изъ насъ? Какова доля русской женщины въ семьѣ, въ обществѣ? Я мало жила, но я знаю, я видѣла много несчастныхъ примѣровъ. Стоитъ ли жить? Сколько несчастій выпадаетъ на долю женщины въ наше время... Гдѣ ея поприще, въ чемъ ея призваніе, гдѣ ей примѣнить душевныя силы?

— Болѣе вѣры въ жизнь, Аглая Кирилловна, болѣе надежды на себя. Гдѣ одинъ не сможетъ, сможетъ другой; гдѣ одинъ ослабѣетъ въ борьбѣ съ житейской долей, тамъ... не ослабѣютъ двое...

Ветлугинъ сказалъ это и никогда потомъ, въ другихъ обстоятельствахъ и подъ другими впечатлѣніями, не могъ забыть, какъ дѣтски-растерянно взглянула на него при этомъ Аглая, какой неподдѣльный ужасъ изобразился въ ея лицѣ, и какъ она хотѣла что-то сказать, склонила голову и молча пошла далѣе.

Они приблизились къ мостику черезъ ручей, но не взошли на него, а обогнули смежную съ нимъ аллею и, снова направивъ въ паркъ, остановились у его отдаленной поляны.

Въ это мгновеніе, въ виду цвѣтущихъ, осыпанныхъ печалами травъ и кустовъ, подъ теплымъ лучомъ тихаго, весенняго вечера, Аглая показалась Ветлугину такою желанной, такою полной прелести и чистоты, что онъ невольно подумалъ: «какъ бы ласково и нѣжно я обнялъ тебя, какъ бы приглубилъ и высказалъ тебѣ всю душу, если бы ты была моею!..»

Онъ искалъ словъ, воображалъ себѣ ея борьбу и волненіе. Земля точно уплывала изъ-подъ его ногъ.

— Если бъ вы были... моей женой... — началъ онъ и остановился: — кто помѣшалъ бы нашему счастью? Кто сказалъ бы — умирайте, когда бы обнимъ намъ хотѣлось жить?

Ветлугинъ тихо ее обнялъ. Аглая не отвѣчала. Бѣлая накидка медленно вѣдымалась на ея груди.

Они сдѣлали еще нѣсколько шаговъ, незамѣтно достигли края парка, взошли на крутизну и сѣли на скамьѣ, на которой, столько лѣтъ назадъ, впервые сидѣли отецъ и мать Аглаи.

— Вы со мною не согласны? — спросилъ Ветлугинъ.

Аглая молча положила обѣ руки на плечи Ветлугина. Губы ея были блѣдны, глаза сухи. Сердце билось шибко.

Она вся похолодѣла. Что-то расцвѣтало, загоралось внутри ея. Таинственная завѣса будто распахнулась передъ ея глазами, и лучезарные горизонты открывались за нею. «Ты искала истины, боролась, колебалась!—шептала ей внутренній голосъ,—вотъ истина... ты ее нашла,—бери...»

— На-дняхъ, — сказала Аглая: — мнѣ снилось, что я молила дядю спасти меня, — онъ не слушалъ меня и не понималъ... Вдругъ стѣны моей комнаты сами собой исчезли, упали; я неожиданно, чудомъ вылетѣла отсюда... Я была какъ на крыльяхъ... Рядомъ со мною было другое существо...

Она не договорила. Ветлугинъ взялъ ее за руку. Рука ея была холодна. Онъ опять обнялъ Аглаю. Она не сопротивлялась.

— А Божій судъ?—спросила она, обращая блѣдное лицо къ Ветлугину.

— О! мы заслужимъ прощеніе всякаго суда.

Аглая крѣпче прижалась къ груди Ветлугина.

— Божій судъ!—шептала она:—да! все это такъ неожиданно... Вы мало меня знаете... Я боюсь... Ахъ, зачѣмъ мы прежде не встрѣтились?

— Не бойтесь, мою васъ...

— А если вы не будете со мной счастливы? Что вы нашли во мнѣ? Чтò?

— Вы себѣ цѣны не знаете, вы...

— Съ однимъ условіемъ! — перебила, чуть вздрогнувъ, Аглая:—даете ли мнѣ слово?

— Клянусь... Приказывайте... все исполню...

Аглая взглянула въ направленіи къ дому, взяла за руку Ветлугина и сказала:

— Объ одномъ молю — сами ужъ вы тамъ... все это... — скажите отцу, матери... У меня силъ не хватитъ...

Церковь, поселокъ и далъ за рѣкой горѣли въ лучахъ заката. Старые дубы и липы таинственно молчали вокругъ. Надъ ихъ вершинами синѣла кроткая, безоблачная глубина вечерняго неба. Слышенъ былъ малѣйшій шорохъ въ травкѣ, стукъ съ вѣтки на вѣтку падающаго сучка. Жаворонки смолкли. То тамъ, то здѣсь начинали по саду отзыватья соловьи...

На колокольнѣ прозвонили опять.

— Ну, голубчикъ Алинька, будетъ же тебѣ отъ матери, — встрѣтила Аглаю у церковной ограды Фросинька: — поздравляю, ты прогуляла всенощную. А я, хоть дѣль дома погорю, пошла, чтобъ только тебя увидѣть...

Аглая не смотрѣла на свою подругу.

— Раздумалась это я, — продолжала Фросинька: — о твоей, да и о своей судьбѣ. Ты права... Ни ему, да и никому другому, я болѣе не пособница и не покровительница... Въ нихъ влюбисься, а они, противные, такіе гордецы... Вздумаль ѣхаты! Ну, и пусть ѣдетъ — счастливаго пути... Охъ, охъ... Видно, такъ ужъ намъ на роду написано. А чуть ты уѣдешь въ Красный-Куть и надѣнешь клобукъ, и я, Алинька, за тобою...

Дѣвушки подошли къ паперти. Служба кончилась. Отецъ Адрианъ уже былъ дома. Дьячокъ заперъ церковь и, гремя ключами, съ поклономъ прошелъ за ограду, ярко залитую лучами догорающей зари.

Аглая, потупившись и точно не видя ничего, съ опущенными, какъ у статуи, руками, стояла передъ Фросинькой.

Вдругъ она подняла голову, вздохнула; блуждающимъ взоромъ взглянула вокругъ себя, порывисто и страстно обхватила ничего не ожидавшую подругу, склонилась ей на плечо и, осыпая ее страстными, горячими поцѣлуями, стала ей что-то шептать.

— Да полно... что ты шушукаешь? ровно ничего не слышу, — перебила ее съ досадой Фросинька: — ты иной разъ такъ тихо говоришь, такъ тихо, что и сама себя, вѣрно, не слышишь...

— Ахъ, Фроничка, другъ ты мой, слушай! — вся покраснѣвъ, торопливо и испуганно заговорила Аглая: — не до всенощной мнѣ теперь; и ни въ Красный-Куть, ни въ другой монастырь я, вѣроятно, болѣе не поѣду... все кончено, все...

— Да что же такое кончено? Ахъ, да говори же... ничего, хоть убей, не понимаю! — начала теряться въ догадкахъ Фросинька.

— Я... я... — дрогнувшимъ голосомъ проговорила Аглая.

— Тыфу ты! — сердито вырвалась отъ нея Фросинька: — говори, или я уйду...

Аглая бросилась къ ней и опять сжала ее въ объятіяхъ.

— Я... — сказала она, цѣлуя подругу: — я... дала слово Ветлугину... и... и...

Опять поцѣлуй. Аглая не договорила.

— Какъ? что?—въ испугѣ отшатнулась Фросинька:—что ты сказала? да говори же...

— Я... выхожу за него, и онъ увезетъ меня... О! мы убѣжимъ отсюда за тридевять земель...

Фросинька всплеснула руками. Блѣдная от радости и волненія, она въ свой чередъ бросилась обнимать и цѣловать Аглаю.

— Такъ ты его полюбила? Такъ онъ тебя переубѣдилъ? Ахъ какъ я рада! переубѣдилъ? Да говори же, скрытница, говори!—допрашивала она Аглаю, тормоша ее за плечи и за холодныя, худыя руки.

— Что мнѣ говорить? и не спрашивай лучше!—вся просіявъ, отвѣтила Аглая.

— Но какъ же, какъ онъ тебя переубѣдилъ? Не правда ли? умный, достойный человѣкъ?

— Какъ заговорилъ онъ опять о монастырѣ, мнѣ до того совѣстно стало, до того, Фроничка, и за матушку-игуменью, и за все, знаешь, что она и маменька такъ хвалятъ, что сквозь землю, кажется, передъ нимъ провалилась бы...

— Вотъ новость, вотъ неожиданность!—ломая руки отъ радости, восклицала Фросинька:—что же вы теперь? А да говори же, неприступная, говори!

Обѣ дѣвушки, обнявшись, пошли изъ церковной ограды.

— А когда объявите родителямъ?—спросила Фросинька:—надо скорѣе.

— Нѣтъ. Я ему посовѣтовала написать прежде къ его отцу.

— Это зачѣмъ?—съ удивленіемъ спросила Фросинька.

— А какъ же, безъ родительскаго благословенія нельзя. Развѣ долго списаться? день-два...

— Ну, ужъ извини; я не медлила бы. Ты знаешь свою мамашу.

— О, полно! неужели она помѣшаетъ моему счастью? неужели...

— Да счастье-то, по ея убѣжденію, въ чемъ состоитъ?—перебила Фросинька.

— Такъ отцу надобно сказать. Какъ полагаешь?

Фросинька задумалась.

— Не совѣтую,—сказала она:—Кирилло Григорычъ не вытерпитъ, проговорится.

— Такъ какъ же?—спросила Аглая.

— Ужъ лучше, въ такомъ случаѣ; молчи...

Смерклось.

Отъ церкви дѣвушки, обнявшись и толкуя, прошли въ садъ и долго тамъ ходили, утопая въ морѣ золотыхъ мечтаній и надеждъ.

Онѣ плакали, радуясь, что не все на свѣтѣ — горе и обманъ, что ихъ дружба чиста и неразрывна, что сердца ихъ не даромъ бились вѣрой въ жизнь, и что одной изъ нихъ вскорѣ улыбалась картина полного счастья.

Мѣсяца не было видно. Зато небо ярко мерцало тысячами звѣздъ...

— Гдѣ же, однако, наши дѣвицы?—спросилъ Вечерѣвъ, сидя съ гостемъ и съ женой на балконѣ:—что-то не въ мѣру сегодня загулялись.

— Слушаютъ соловьевъ, -- отвѣтила Вечерѣва: — скоро конецъ ихъ пѣснямъ.

— А каково поютъ!—воскликнулъ Вечерѣвъ:— слушайте, Антонъ Львовичъ, слушайте. Вонъ, тотъ, что надъ рѣкой... или этотъ, у виноградной бесѣдки... Весны я жду всегда, какъ праздника. Въ пѣсняхъ соловьевъ слышу души Гайдна, Бетховена, Моцарта... А каковы звѣзды? Смотрите, — вы знакомы съ космографіей? Вонъ бѣлый Сатурнъ, — вонъ, точно голубой, Сиріусъ. А какъ сильно блещетъ и будто волнуется Млечный-Путь... У каждого человѣка своя звѣзда.

— И у меня?—спросилъ Ветлугинъ.

— И у васъ, у всякаго. У Аглаи тоже. Аглая значитъ — блистающая, прекрасная. Этимъ именемъ называлась младшая изъ трехъ харитъ, дочь Юпитера и Эвримоны. Этимъ названо одно кохинхинское деревцо, *Aglaja odorata*, и весьма красивая, небольшая планета—вонъ, въ той сторонѣ неба... между Юпитеромъ и Марсомъ... Этотъ астероидъ обращается вокругъ солнца разъ въ четыре года и триста двадцать-семь дней...

— Я незнакома ни съ ботаникой, ни съ космографіей, — сказала Вечерѣва:—но я убѣждена, что это небо и эти звѣзды такъ же легко угаснутъ, какъ наша жизнь цѣлыхъ народовъ; вѣчны только наши добрыя дѣла, во славу Божию...

— И въ удовольствіе матушки-Измарагды, — подсказалъ Вечерѣвъ.

Ульяна Андреевна закусила губы.

«Не вѣрится, не вѣрится!—разсуждалъ въ это время

Ветлугинъ,—не сонъ ли все это? и меня ли ждетъ блаженство, котораго я не отдамъ за вѣчность міра?...

Обрадованный неожиданнымъ согласіемъ гостя—пробыть еще нѣсколько дней въ Дубкахъ, — Вечерѣевъ оставилъ Антона Львовича съ женой, а самъ вышелъ въ залу, усѣлся съ виолончелю у раскрытаго въ садъ окна и сталъ играть. Плавные, гулкіе звуки опять огласили темную залу и балконъ.

Вслушиваясь въ эти звуки и вглядываясь въ сумрачныя аллеи сада, Ветлугинъ сидѣлъ, какъ очарованный.

Онъ не замѣтилъ, какъ ушла Ульяна Андреевна, и долго ли игралъ Кирилло Григорьичъ. Ему казалось, что на балконѣ онъ не одинъ. Нѣкто другой, облокотясь о его кресло и положила руку на его плечо, молча стоялъ возлѣ него. Изъ мрака на него глядѣли чьи-то глаза. Кто-то тихо дышалъ и, не шелохнувшись, любовался его грѣзами и счастьемъ... То былъ другой Ветлугинъ, и оба они точно были близки другъ другу и вмѣстѣ чужды. И тотъ, кто смотрѣлъ на него, казалось, мыслить: «тебя ли я вижу? и неужели путь твоихъ испытаній пройденъ, и ты у берега, у пристани, на порогѣ хлынувшего на тебя, неожиданнаго, свѣтлаго счастья?»

### XVIII.

### Письмо.

Настало воскресенье.

Утромъ въ праздники отъ Вечерѣевыхъ обыкновенно ѣздили на почту. Ветлугинъ написалъ два письма и передалъ ихъ Филату, съ просьбой отослать съ барскимъ нарочнымъ.

Едва онъ одѣлся и напился чаю, какъ въ бесѣдку къ нему вошелъ Вечерѣевъ. Старикъ былъ въ духѣ, но какъ-то странно улыбаясь и разсѣянно смотрѣлъ по сторонамъ.

— Спасибо вамъ, Антонъ Львовичъ, — сказалъ онъ, съ чувствомъ пожимая руку Ветлугину:—спасибо; вы уважили мою просьбу, погостили у насъ, освѣжили собой стариковъ.—Сказалъ и замолчалъ. Ветлугинъ, роясь въ бумагахъ, неспокойно выжидаль, что онъ сообщитъ далѣе.

Теперь надо подумать и о выполненіи просьбы вашего батюшки,—продолжалъ Вечерѣевъ:—срокъ полученія долга съ покупателя моего дѣла, Талищева,—сегодня. Я получилъ отъ него письмо, что онъ готовъ, и по условію съ нимъ



долженъ отправиться для расчета на его заводъ. Это, впрочемъ, недалеко, потребуетъ менѣе дня времени. И чтобъ не откладывать, я дамъ ему знать, что выѣду на свиданіе съ нимъ завтра или послѣзавтра.

Ветлугинъ поклонился.

— Да, еще одно слово...—прибавилъ, съ нѣкоторою заминкой, Вечеревъ:—одно ваше письмо—къ отцу, переданное вами Филату для отсылки на почту, я отослалъ давеча прямо въ городъ: встрѣтилась надобность въ губернское казначейство; вы завтра и отвѣтъ можете получить... А другое письмо—вотъ вамъ обратно... Я случайно взглянулъ на его адресъ. Вы пишете въ городъ... на пакетъ адресъ—Петру Ивановичу Ключкову... А онъ — ближайшій мой сѣдъ... всего въ десяти верстахъ отсюда.

Ветлугинъ смѣшался. Ему крайне стало досадно, что отецъ взялъ съ него слово молчать объ участіи Ключкова въ его дѣлахъ.

— Скажите, вы почему знаете этого господина?—спросилъ Вечеревъ.

— Онъ мнѣ товарищъ по университету.

Старикъ нахмурился.

— Ивините меня,—сказалъ онъ:—это — вредный и негодный человекъ, въ полномъ смыслѣ слова. Его считают дѣльцомъ. Отъ души жалѣю дѣловыхъ людей, если такіе, какъ Ключковъ, между ними—не рѣдкость и не исключеніе.

— Что же онъ?—спросилъ Ветлугинъ.

— Да какъ вамъ сказать? Это—образецъ самаго возмутительнаго, черстватаго и набитаго помыслами о собственномъ благѣ мѣщанства. Жажда къ наживѣ у этого господина такъ сильна, что покойнаго своего дядю, при раздѣлѣ бабкинаго имѣнія, изъ-за какихъ-то луговъ, онъ до того оскорбилъ, что съ тѣмъ сдѣлался ударъ, и дядя умеръ. Общество было заговорило; но пройдоха какъ-то отвертѣлся и теперь опять даже въ большомъ ходу. Этотъ его дядя былъ неимовѣрный добрякъ и простота, небывалой честности человекъ; онъ, пока отецъ Ключкова служилъ въ столицѣ, сохранилъ отъ продажи съ молотка его имѣніе—и получилъ, какъ видите, должное возмездіе...

— Вы съ нимъ видаетесь?—спросилъ Ветлугинъ.

— Я? нѣтъ, Богъ спасъ. Изъ-за нѣкоторыхъ его экспериментовъ надъ моей особой, я не принимаю его уже давно...

Ветлугинъ вспомнилъ слова дѣда Лукашки о томъ, будто Ключковъ отбилъ жену кузнеца у Вечерѣева.

— Эксперименты надо мной—еще пустяки,—продолжалъ Вечерѣевъ:—но спросите другихъ, такъ услышите нѣчто въ родѣ цѣлой эпопеи. Впрочемъ, скажу и о себѣ... Бывая у меня довольно часто, какъ сосѣдъ и въ нѣкоротомъ родѣ свой,—онъ мнѣ внучатный племянникъ,—Петръ Ивановичъ, въ одинъ прекрасный день, недолго думая, такъ исподтишка поднадулъ меня, что я просто ахнулъ. Дѣло, впрочемъ, нехитрое. Онъ воспользовался неясностью нѣкоторыхъ, въ одной моей съ нимъ сдѣлкѣ по хозяйству, условій. Я, вѣроятно, все это скоро бы позабылъ. Но вотъ, чѣмъ онъ меня срузалъ: когда я, спохватившись, уперся-было и сталъ его стыдить,—какъ вы думаете, что онъ мнѣ отвѣтилъ? «Полноте, говорить, дяденька, сами виноваты,—зачѣмъ такъ оплошно написали условіе? Промახнись я, вы бы, пожалуй, тоже не простили»... Хорошъ баринъ? а?... Да такъ это добродушно сказалъ, съ вѣжливой улыбкой и мягкимъ голосомъ.

Вечерѣевъ плюнулъ.

— Я, было, каюсь, и на это отсердился,—продолжалъ онъ:—чего въ глуши не простишь сосѣду? Нѣтъ, не угомонился—подкупилъ одну тутъ сваху и, годъ назадъ, вздумалъ сватать за Аглаюшку одного сосѣда. Та, вонъ, и теперь еще—дита; перепугалъ дѣвочку чуть не до смерти...

Краска бросилась въ лицо Ветлугину.

— Кого же онъ сваталъ? Это любопытно...

— Съѣздилъ къ игуменьѣ Сусаннѣ, познакомился съ ней и подослалъ сперва эту сваху, а потомъ и самъ ей открылся: устройте, говорить, чтобъ дочь Вечерѣева вышла замужъ за старшаго сына Талищева,—онъ ремонтеромъ служить, и зовутъ его Рашей, то-есть, Романомъ. Какъ получить, говорить, за нею Вечерѣевское состояніе, подѣлится съ вами. Каковъ гусь? а?... Вы, кажется, говорили, что познакомились съ Талищевымъ на станціи?

— Да, познакомился.

— Этого старшаго его сына видѣли?

— Нѣтъ видѣлъ младшаго.

— Одинъ другого стѣбать. Представьте, лицо у этого старшаго Раши, чисто лошадиное. А надутъ, какъ сычъ, какъ индѣйскій пѣтухъ. Глупъ и золъ. Старуха-то, покой-

ница Сусанна, сообщила о его сватовствѣ моей женѣ, а я узналъ отъ Милунчикова. Мы посмѣялись. Съ тѣхъ поръ ни Ключковъ, ни этотъ Раша ко мнѣ ужъ, разумеется, ни ногой. Отецъ Раши, однакоже, навѣдывается, будто по дѣлу,—но вижу, что мысли объ устройствѣ сына имъ еще не оставлены...

— Скажите,—обратился Ветлугинъ къ Вечерѣву:—Ключковъ отъ васъ всего въ десяти верстахъ?

— Да, а что? вы съѣздить къ нему хотите? — спросилъ Вечерѣвъ.

Ветлугинъ прошелся по комнатѣ, поглядѣлъ въ окно, сълъ и, со словами: «отъ васъ Кирилло Григорычъ, я не утаю!»—передалъ Вечерѣву все, что зналъ объ отношеніяхъ Ключкова къ отцу и что его теперь тяготило въ этихъ отношеніяхъ.

— Понимаю васъ, мой добрый другъ, понимаю!—съ суровою нѣжностью, крѣпко пожимая руку Ветлугина, сказалъ Вечерѣвъ:—вы—истинный сынъ; уважаете все, даже слабости въ отцѣ,—и оберегаете его. Лучшаго сына и я бы не желалъ имѣть... Ъхать вамъ къ Ключкову надо, надо! И вы не откладываете: я поѣду на свиданіе съ Талищевымъ, а вы къ нему...

— А знаете ли, — прибавилъ совсѣмъ развеселившійся старикъ:—что вашъ сотоварищъ по ученію, Ключковъ, считается у насъ первымъ финансистомъ въ губерніи? Банковъ наоткрывалъ, ссудо-сберегательныхъ кассъ, взаимныхъ и всякихъ вспоможеній... А между тѣмъ, удивляешься, неужели онъ былъ въ университетѣ? Вѣрите ли, онъ, напрымѣръ, не шутя, подъ словомъ юрисдикція, подразумѣваетъ «дикцію юристовъ», то-есть, адвокатское краснорѣчіе, да всюду въ такомъ смыслѣ и приплетаетъ это слово.

— Явившись отъ васъ, изъ столицы,—продолжалъ Вечерѣвъ:—онъ-было, каюсь, плѣнилъ и меня. Тогда только что вводились нынѣшніе порядки. Большинство совѣтовало на уменьшеніе доходовъ. Ключковъ рѣшилъ не унывать. Одѣлся въ простую дубленку и высокіе сапоги, сталъ посѣщать ярмарки, торговать, вступилъ въ подрады. Имя его загремѣло. Онъ казался адоровай, свѣжей силой. Ему повѣрили... Теперъ не то... Его я раскусилъ. Это, повторяю, — представитель вреднѣйшаго нарастающаго поколѣнія себялюбцевъ. Помыслы его вертятся на одномъ—на прибыли. Душа у него

хищная, и правомъ онъ хищникъ — шакаль-шакаломъ и смотритъ: лапы мягкія, ко когти — мое почтеніе. Нѣтъ подальше отъ такихъ людей! Онъ, слышно, мостится, свергнуть Милунчикова и быть у насъ предсѣдателемъ управы. Уже набираетъ партію...

— Что же? Ыдемъ къ Ключкову?—спросилъ, выходя отъ Ветлугина, Вечерѣвъ.

— Подумаю... время еще терпѣть...

— Ну, какъ знаете,—я же, кстати, пошлю справиться, въ деревнѣ ли онъ теперъ.

До обѣда Ветлугину не удалось встрѣтиться съ Аглаей и переговорить съ нею наединѣ. Онъ былъ какъ въ туманѣ. Вчерашнее объясненіе, его признаніе и слово, данное Аглаей, казались ему невѣроятнымъ, чуднымъ сномъ.

Аглая была весела, ласкалось къ отцу, суежилась съ услугами ему и на все дѣтски-безпечно улыбалась: на шутки отца и на споръ его съ гостемъ о какомъ-то философскомъ вопросѣ, на ворчанье матери и на собственное веселье. Самое солнце какъ-то особенно радостно освѣщало комнаты, балконъ, садъ и всю душу Аглаи...

Ульяна Андреевна, какъ всегда, была сдержанна, суха и молчалива. Только разъ, оставшись съ гостемъ на балконѣ, она, какъ показалась Ветлугину, что-то ужъ очень пристально и недоувѣрчиво посмотрѣла вслѣдъ проходившей Аглаѣ и сказала Ветлугину: «жаль, что вы ѣдете. Но что же дѣлать. Вашъ добрый отецъ, вѣроятно, сильно ужъ по васъ соскучился. Зато намъ было пріятно. Уѣдете, не забывайте насъ».

За обѣдомъ Вечерѣвъ разговорился о двухъ предметахъ: о ярмаркѣ и о частномъ сѣздѣ гласныхъ, по вопросу концессіи, имѣющемъ быть завтра въ помѣсть Талищева, селѣ Рѣчномъ. По сосѣдству же съ Рѣчнымъ, какъ слышалъ Кирилло Григорычъ, завтра утромъ, для освященія церкви, вновь построенной при чьей-то купеческой фабрикѣ, ожидали мѣстнаго архіерея.

— Вы поѣдете мимо этой фабрики?—спросилъ Ветлугинъ.

— Нѣтъ, дорога на винокуренный заводъ Талищева идетъ лѣвѣе. Рѣчное—правѣе и всего отсюда въ пятнадцать верстахъ. Хотя мѣстность тамъ красивая,—черезъ рѣку отъ Рѣчного, въ дремучемъ сосновомъ бору, на высокой мѣловой

горѣ, располагается женскій Краснокутскій монастырь; любимое мѣсто прогулокъ моихъ барынь, — но я туда не поѣду: ярмарку я давно знаю, земскій сѣздъ меня не занимаетъ, — вотъ, если бы концертъ Серве, или покойнаго Паганини, — а съ архіереемъ я не знакомъ...

Послѣ обѣда на балконъ подошла и Фросинька.

— Къ вамъ, Кирилло Григорьичъ, — сказала она: — кто-то тамъ, въ передней, пришелъ.

Старикъ позвалъ Филата, и тотъ черезъ минуту подаль ему на подносѣ три письма: одно было къ Вечерѣву, два къ Ветлугину. Пока старикъ читалъ свое, Ветлугинъ издала еще на одномъ изъ пакетовъ узнать руку отца и вскрылъ это письмо.

Оно состояло изъ слѣдующихъ строкъ: «Антонунка, другъ мой! Долѣе таить отъ тебя я не могу. Со мной случилось великое горе. Выручай меня. Я выдалъ Ключкову скрытое отъ тебя, по его желанію, обязательство, которое разорить, погубить меня. Твое промедленіе выводитъ его изъ себя. Онъ грозитъ представить это обязательство ко взысканію. Ради твоей любви ко мнѣ, ради всего, что тебѣ дорого, либо безотлагательно возвращайся сюда, либо навѣсти Ключкова въ его деревнѣ и умоли меня пощадить»...

Ветлугина какъ громомъ поразило.

— Представьте, — обратился къ нему, между тѣмъ, Вечерѣвъ: — пріятель-то мой, Ченшинъ, къ которому я ѣздитъ, когда вы меня здѣсь не застали, — совсѣмъ, кажется, рехнулся... Мало одного желѣзно-дорожнаго сѣзда, на нашъ затѣялъ явиться. Пишетъ, что завтра надѣется быть въ Рѣчномъ, и меня туда просить.

— Что же, поѣзжай, — сказала Вечерѣва.

— Съ ума ты сошла! да я и его не пушу... Ему ѣхать какъ разъ мимо завода, гдѣ я буду сводить счеты съ Талищевымъ. Останусь нарочно тамъ ночевать, договорю лѣсниковъ беречь его, арестую и доставлю завтра къ вечеру сюда. А прогляжу его, поѣду къ Талищеву и все-таки привезу его къ намъ...

— Кстати, — прибавилъ Вечерѣвъ: — теперь и вы, Антонъ Львовичъ, если хотите, оставайтесь у Ключкова ночевать. Успѣшнѣе кончите съ нимъ, что надо. Онъ завтра, нужно думать, отправится въ Рѣчное, а вы сюда. Ну, къ обѣду или къ вечеру опять мы и съѣдемся. Сейчасъ я узналъ,

что Ключковъ, со вчерашняго вечера, благополучно обрѣтается въ своей Ключковѣ. Что же, ѣдемъ? Я велю готовить лошадей.

— Ёдемъ,—черезъ силу проговорилъ Ветлугинъ.

На немъ не было лица.

Черезъ часъ къ крыльцу были поданы лошади: Вечерѣву—четверня сѣрыхъ въ коляскѣ, а гостю, пожелавшему прокатиться въ недалекую Ключковку верхомъ, — осѣдланый гнѣдой.

Сообщая о томъ Ветлугину, Вечерѣвъ сказалъ: «Заходите, поѣзжайте мимо церкви, тамъ сейчасъ и битая дорога; а не то—черезъ бродъ и прямо полемъ. Конь лихо скачетъ и не спотыкается. Эхъ! будь я помоложе, я вамъ не уступилъ бы и, пославъ впередъ подставу, верстъ десять-пятнадцать сдѣлалъ бы на кровномъ скакунѣ»...

Вечерѣвъ и его гость еще не сейчасъ уѣхали. Къ старику, какъ всегда передъ отъѣздомъ хозяевъ, явились, съ разными вопросами, приказчикъ, конторщикъ и садовникъ. А тѣмъ времененъ, какъ баринъ, бесѣдая съ ними, отдавалъ нужныя приказанія Антонъ Львовичъ окольными дорожками пробрался за ручей, миновалъ одну поляну парка, другою, взглянулъ направо, нѣтъ и нѣкоторое время былъ въ большой тревогѣ.

Ему послѣ обѣда удалось шепнуть Аглаѣ, чтобы та приходила сюда къ одной изъ полянъ, бывшей въ сторонѣ отъ всѣхъ дорожекъ. И вотъ, хрустнулъ валежникъ, раздался шорохъ платья. Кто-то гущиной, напрямикъ пробирался къ нему. Между вѣтвей мелькнулъ сѣрый зонтикъ и бѣлая накладка.

Аглая стояла передъ Ветлугинымъ.

— Ну, вотъ и я здѣсь, — запыхавшись и черезъ силу перевода духъ, проговорила она: — едва сюда добѣжала; отецъ кончаетъ разговоръ съ приказчикомъ и какъ разъ васъ спохватился... Спѣшите къ нему: не простившись съ вами, онъ не уѣдетъ. До свиданія...

Ветлугинъ медлилъ.

— Неужели мы все-таки простимся? — сказалъ онъ: — и на цѣлые сутки?

Онъ боялся огорчить ее вѣстью объ отцѣ.

— Слушай!—вдругъ сорвалось задушевное, нѣжное слово у Аглаи:—слушай! — продолжала она, сквозь вѣтви деревь

ища глазами крестъ церкви:—страшно мнѣ, жутко; я боюсь и заглянуть впередъ! Упреки, можетъ-быть, даже проклятiя матери, стыдъ передъ людьми, ужасъ загробнаго наказанiя... Но я всѣмъ, какъ видишь, пренебрегла. Ты мой и я твоя... Смотри же мнѣ прямо въ глаза,—прибавила она:—и вотъ тебѣ мой завѣтъ — я хочу тебя успокоить... Помни: ести кто-нибудь и когда-нибудь тебѣ скажетъ, что я тебя разлюбила, — клянусь тебѣ этою церковью, могилой моего брата и всѣмъ святымъ, что я никого до тебя не любила, никого, кромѣ тебя, не буду любить и останусь тебѣ вѣрна до могилы и за могилой. Ну, ты доволенъ? доволенъ?

Она страстно схватила его за руки и притянула къ себѣ.

— А ты... ты мнѣ клянешься? — спросила она, пряча пылавшее лицо на его груди.

— Клянусь... Но ты будто не спокойна?

Аглая взглянула на Ветлугина. Въ глазахъ ея были слезы.

— Какъ быть спокойной? Вѣдь это—грѣхъ, Боже, какой грѣхъ!—сказала она, закрываясь руками:—и какъ все это со мною такъ неожиданно случилось?

— Мужайся, крѣпись. Чего намъ теперь бояться? — успокаивалъ ее Ветлугинъ.

— Такъ, такъ. Но все... вдругъ... Ты, напримѣръ, можешь получить депешу отъ твоихъ хозяевъ. Другое что неожиданно помѣшаетъ.

— Полно; да развѣ кто теперь властенъ надо мной, кромѣ тебя?

— Однако, ты ѣдешь.

— Я остаюсь. Сейчасъ пойду и скажу, что раздумалъ. Дѣло не спѣшное; можно и послѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ,—ласково зажимая ротъ Ветлугину, проговорила Аглая:—дѣла твоего отца... Я не знаю, но убѣждена, что тебѣ ѣхать надо.

Ветлугинъ передалъ ей подробно причину поѣздки къ Клочкову.

— Вотъ видишь, я угадала,—сказала Аглая:—поѣзжай, устраивай дѣло своего отца; но прошу тебя, здѣсь и всегда—думай о Богѣ... молись ему, и я буду молиться, чтобъ онъ укрѣпилъ тебя и еще болѣе просвѣтилъ твою душу...

— Была бы ты крѣпка въ данномъ словѣ, а объ остальномъ я не забочусь.

Аглая задумалась. Она вдруг точно перенеслась куда-нибудь...

Не выпуская изъ рукъ руки Ветлугина и глядя въ чашу деревъ, какъ будто ожидая оттуда кого-нибудь, она сказала:

— Прости меня, но я скажу правду... Я боюсь за тебя. Ты вѣдь — маловѣръ, а то; пожалуй, и вовсе невѣрующій... Ну, да Господь поможетъ... Твоя любовь — та же твоя вѣра. Будетъ любовь, будетъ и вѣра! — переведя взоръ на церковь, прибавила Аглая.

Она вынула изъ кармана финифтяный, въ золотой оправѣ, образокъ, перекрестилась, поцѣловала его и надѣла на шею Ветлугина.

— Это, вотъ, тебѣ, — сказала она: — икона Богоматери Одигитрии, покровительницы странствующихъ... Ею меня благословила передъ смертью бабушка Сусанна. Ты идешь недалеко и не надолго, но я прощу тебя, не снимай ее, молись ей... Дашь слово?

— Даю...

— Не осуждай меня... Ты — ученый, развитой человекъ; я — простая. Въ чемъ твое назначеніе и въ чемъ призваніе, я не вполне еще знаю. Но я вѣрю, что ты можешь идти только къ высокимъ, честнымъ цѣлямъ, и я отъ тебя не отступлю ни на шагъ. Смотри только, какъ бы въ этой глуши, изъ-за меня, ты не отступился отъ своихъ заветныхъ помысловъ и какъ бы, хотя на мигъ, не ослабилъ въ своихъ трудахъ. Ну, да объ этомъ еще впереди. А теперь прощай, милый странникъ, прощай.

Она склонилась къ плечу Ветлугина. Онъ крѣпко обнялъ ее.

— Когда же конецъ? — спросилъ онъ.

— Возвращайся; завтра будетъ отвѣтъ отъ твоего отца. Я приготовлю своего.

— А твоя матушка?

Аглая на это замаялась.

— Я соображу, — отвѣтила она: — и все тебѣ сообщу.

Черезъ нѣсколько минутъ Вечерѣвъ поѣхалъ на свиданіе съ Талицевымъ, а Ветлугинъ сѣлъ на гнѣдого, разспросявъ Филата о дорогѣ и черезъ бродъ отправился къ Ключюну.

Но едва онъ выѣхалъ за рѣку и сталъ подниматься на взгорье, какъ увидѣлъ, что по мостику изъ сада вышли



Фросинька и Аглая и, стоя на берегу, издали махали ему платками. Онъ возвратился къ нимъ.

— Алинъка рѣшила, — сказала, оглядываясь къ сторонѣ сада и подходя по луку, Фросинька:—чтобы, вслѣдъ за вашимъ возвращеніемъ, вамъ объясниться какъ съ Кирилломъ Григорьевичемъ, такъ и съ Ульяной Андреевной. Откладывать далѣе нельзя. Я, между тѣмъ, уговорю своего отца, и онъ васъ здѣсь, если будетъ нужно, въ тотъ же день обвѣнчаетъ. Къ сожалѣнію, отца теперь нѣтъ дома,—а то бы хоть и сегодня... Онъ уѣхалъ къ благочинному.— съ другимъ здѣшнимъ духовенствомъ встрѣчать архіерея. Послѣзавтра возвратится.

— А какъ вы думаете, согласятся ли родители Аглаи Кирилловны?—спросилъ Ветлугинъ.

— Кирилло Григорьевичъ будетъ радъ, за него я ручаюсь. А на Ульяну Андреевну, ужъ коли на то пойдетъ, мы и не посмотримъ. Главное, что пока еще никто и ничего здѣсь не знаетъ. Алинъкъ и безъ того не до признаній, — а я нѣма, какъ рыба... Лишь бы это устроилось. Такъ согласны?

— Тысячу разъ согласенъ, и не знаю, какъ васъ, Фросинья Адриановна, благодарить...

— Ну, такъ съ Богомъ же, побѣжайте и возвращайтесь, да поскорѣе,—сказала Фросинька:—охъ, ужъ эти влюбленные,—хлопочи о нихъ! Посажу Аглаю за пяльцы; станемъ васъ ждать, да обсуждать подробности дѣла. Ахъ, если бы все это удалось!

— До свиданія. Смотрите же, не попадитесь въ чепъ-нибудъ. Какъ бы не догадалась Ульяна Андреевна. Она что-то ужъ очень двусмысленно весь день сегодня на меня поглядывала...

— О, будьте спокойны, не бойтесь. Все пойдетъ, какъ по писаному. Возвратится мой отецъ, и тогда увидите, — все разомъ устроится...

Ветлугинъ тронулъ поводомъ.

Породистый конь, фыркая и перебирая тонкими, красивыми ногами, снова выбрался въ гору.

Ветлугинъ еще разъ оглянулся на стоявшихъ у берега дѣвушекъ, на садъ и на окна дома, бѣлѣвшаго поверхъ деревьевъ. Оттуда никто въ это время сюда не смотрѣлъ. Аглая и Фросинька, обнявшись, безпрепятственно махали ему изъ-подъ вербъ платками.

Ветлугинъ сталъ переезжать за косогоръ. Усадьба, крестъ церкви и луга по ту сторону рѣки исчезли. Ветлугинъ вспомнилъ о другомъ, привезенномъ ему отъ отца письмѣ.

Онъ остановился, распечаталъ его и сталъ читать.

Письмо было отъ его бывшаго учителя, товарища и друга, Аввакума Столешникова.

Столешниковъ ему писалъ:

«Ахъ ты, Сахаръ Медовичъ, оптимистъ и идеалистъ! насмѣшилъ ты меня совсѣмъ. Какъ вольтеровскій докторъ Панглосъ, ты скоро станешь, кажется, говорить, что все идетъ къ лучшему въ этомъ изъ лучшихъ міровъ. Поздравляю за открытіе. Ты даже перещеголялъ невиннаго воробышка, — Огюста Конта. Сей пресловутый социологъ, вопреки своимъ великимъ предшественникамъ, кончилъ тѣмъ, что сталъ защищать собственность, а о капиталѣ выразился, что онъ — сила почтенная, такъ какъ составляетъ необходимое основаніе раздѣленія труда. Ты же, пріѣхавъ на родину, началъ романтическими грѣзами о какой-то плѣннѣйшей тебя на станціи монашенкѣ (зри приписку въ одномъ изъ твоихъ писемъ!), а кончилъ идилліей по поводу перерожденія твоего отца, бросившаго хлѣбъ духовный для поисковъ хлѣба иного рода. Ты надъ нимъ трунишь. Эй, другъ Антонъ, образумься. Вспомни насъ, придавленныхъ и голодающихъ, трудящихся во тьмѣ и неспособныхъ на свойственные тебѣ сдѣлки съ толпой грабителей, захватившихъ въ свои руки судьбы брэннаго міра. Воротись къ намъ, суровымъ и озлобленнымъ, пока еще есть время и пока мы считаемъ тебя своимъ союзникомъ, а не врагомъ. Вѣрь ты мнѣ, что весь твой оптимизмъ — дѣтская мечта. Сѣдовласый старецъ, твой отецъ — извини ты меня — съ затѣями о школѣ для бѣдныхъ, по совѣсти, не стоитъ выведеннаго яйца. Твоя же монашенка, — опять-таки извини ты меня, неотёса! — можетъ быть, она уже тобой розыскана, и ты съ нею пустился въ любовныя объясненія, — при первомъ вѣрномъ случаѣ, промѣняетъ тебя на проповѣди любого, медоточиваго и тонкоруннаго, современнаго попа, или на увѣщанія какой-либо вадыхательницы, матушки Перепетуи, поклоняющейся снамъ, да Пятницѣ съ Буредомомъ и съ Паликопой. Бросай все и возвращайся къ намъ. Срокъ моему сидѣнью также, наконецъ, истекъ, и я, какъ и ты, могу теперь двигаться, куда угодно. Средствъ только мало! А потому перѣду пока въ

Москву. Являйся и ты. Разумѣется, что и говорить, — на нашей дорожкѣ тебя ждутъ тернія, а, можетъ быть, и еще что-нибудь похуже. Зато мы честно выполнимъ свое призваніе. Итакъ, жду тебя или твоего письма... Откликнись! Друзей у насъ прибываетъ и еще прибудетъ. Пора дѣйствовать наступить, вѣроятно, вскорѣ. Отвѣчай. Твой—Аввакумъ Столешниковъ».

«Тотъ же мечтатель и грубый, хоть добрый ворчунъ!» — подумалъ съ усмѣшкой Ветлугинъ, разрывая и бросая по вѣтру письмо:—«какъ жаль, что такъ измѣнился. Оттого и сердится на всѣхъ!»

Онъ оправился, далъ волю коню и поскакалъ по указанной ему дорогѣ въ Ключковку.

### XIX.

#### Подъ смоковницей.

— Кого я вижу! Антонъ Львовичъ, камрады! какими судьбами? вотъ разодолжили!

Такъ восклицалъ Петръ Ивановичъ Ключковъ, съ крыльца стараго домика Ключковки, въ лицѣ въѣзжавшаго въ ворота всадника узнавая Ветлугина.

— Милости просимъ, сюда, сюда...

Ветлугинъ взошелъ на крыльцо.

— Ну, помучили вы насъ, — продолжалъ, здороваясь съ нимъ, Ключковъ: — очень радъ! Видно, Вечерѣевъ и васъ поприжалъ. Какъ вы нашли старика? Не правда ли, чудакъ? Потчивалъ музыкой, стихами? и что нашъ заемъ? Да говорите же, не мучьте...

— Кто это у васъ? — вполголоса спросилъ Ветлугинъ, указывая глазами на добродушнаго, сильно загорѣлаго, сутуловатаго и съ короткими ножками господина, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ крыльца сидѣвшаго на бѣговыхъ дрожкахъ.

Подушку дрожекъ этого господина замѣнялъ потертый коврикъ. Лошадка была небольшая, хомутъ и вожжи веревочныя. Онъ сидѣлъ сгорбившись и вслѣдствіе разговора съ Ключковымъ былъ, очевидно, не въ духѣ. При появленіи Ветлугина, онъ слегка приподнялъ сдвинутую шляпу, тронулъ вожжами и медленно поѣхалъ за ворота.

— Это — землемѣръ, управляющій моего кума, Талищева, — сказалъ Ключковъ: — я продалъ куму лошадей, то-

есть, собственно, продалъ даже и не я, а, по своей глупости, мой приказчикъ, Кузьма; и, представьте, такъ продешевилъ, что просто обидно. Срокъ сдачи подошелъ, а цѣны, между тѣмъ, поднялись чуть не вдвое.

— Ну, для кума можно и уступить, — замѣтилъ, еще не входя въ сѣни, Ветлугинъ: — между пріятелями счастье легко.

— Такъ-то такъ, — вздохнулъ Ключковъ: — только всему же есть границы. Не будь у приказчика довѣренности, я бы даже имѣлъ право не признавать этой, сдѣлки Фокина.

«Фокина? вотъ это кто!» подумалъ Ветлугинъ, вспоминая слова Ульяны Андреевны, что Фокинъ сватался за Фросянку.

— Ну-съ, дорогой гость, милости же просимъ подъ мою смоковницу, — любезно сказалъ Ключковъ, вводя Ветлугина въ залу, а оттуда въ кабинетъ: — извините за беспорядокъ. Вы у челоуѣка дѣла, застрѣльщика и пионера ирактивни, а не бѣлоручки. Помните университетскія времена? Не то было тогда. А потому, не удивляйтесь, если родительская зала у меня зачастую, при ссынкѣ хлѣба, идетъ за амбаръ, а спальня матери за кладовую или за пивальню койской сбури. Родители чуть не до тла промотали состояние, зато я наживаю.

Зала-амбаръ невольно заняла Ветлугина. Половина этой комнаты, чуть не до потолка, была завалена связками выдѣланныхъ кожъ, льна и пеньки. Другая половина загромождена сдвинутой мебелью, на спинкахъ которой висѣли образцы веревокъ и хомуты. Тутъ же клочками лежали свѣже-остриженные овечьи руна, мѣшки съ пробами муки и снятые со стѣнъ фамиліные портреты, изъ которыхъ однимъ былъ даже прикрытъ ящикъ съ какимъ-то многоплоднымъ ячменемъ.

— Ко мнѣ ѣздить люди дѣловые, свренькіе, — сказалъ Ключковъ: — они не обижаются при видѣ этой житейской лабораторіи. Дорожка пыльна, зато цѣль свѣтла... Разбогатѣемъ, и въ золоченныхъ палатахъ сумѣемъ жить. Батюшка былъ генераль, да постоянно безъ грѣша денегъ; а я какъ поустрою дѣла, такъ никакого мнѣ и генеральства не будетъ надо...

При входѣ въ отцовскій кабинетъ, Ключковъ нѣсколько смутился и бросился даже кое-что прибирать.

Да и какъ не смутиться?

На стѣнѣ, на старинной и дорогой раскрашенной гравюрѣ Діаны охотницы, висѣли снятыя съ дороги парусиныя панталоны; на портретѣ Ермолова просушивалось бритвенное полотенце. Нѣсколько заношенныхъ, съ невынутыми заплатами, рубашекъ были брошены по стульямъ и по диванамъ. На письменномъ столѣ, рядомъ съ бюстомъ, Кавура, было выстроено нѣсколько запечатанныхъ разноцвѣтныхъ флагъ съ водкой. На невысокомъ шкапикѣ, за печью, лежала кучка книгъ свѣтскаго и, судя по переплетамъ, духовнаго содержанія, а возлѣ нихъ видѣлись просфора и четки. На этажеркѣ, съ вышитыми золотомъ рукавами и воротникомъ, былъ брошенъ мундиръ почетнаго мирового судьи. На оттоманкѣ, подъ наряднымъ шелковымъ халатомъ, спала борзая собака. На окнѣ, сѣдѣло висѣла на Велугина, сидѣла другая собака — лагаван. Въ полурастворенную дверь изъ коридора, рыча, просовывалась морда третьяго пса — водолаза...

— Охранителей у васъ, однако, не мало, — сказать, сторонясь отъ собакъ, Велугинъ.

— Не бойтесь, не кусаются. Я — охотникъ; да и мѣста здѣсь глухія. Неровенъ случай. Вотъ, я и держу.

— Эти флаги съ виномъ зачѣмъ у васъ?

— Держу нѣсколько питейныхъ, въ главныхъ селахъ. Нельзя — надо вліять на писарей и старшинъ... царство кабака-съ...

— А эти четки?

— Такъ... одна знакомая духовная особа прислала, — отвѣтилъ Ключковъ, пряча просфору и четки въ шкапъ.

Онъ ушелъ распорядиться съ чаемъ.

Велугинъ взглянулъ на книги, лежавшія на шкапѣ, и, сверхъ всякаго чаянія, рядомъ съ «Поѣздкой на Валаамъ» и какою-то брошюрой «Агафьюшкой», увидѣлъ «Островъ Утопію» Томаса Мора, — «Будущность общества» Консидерана и еще что-то подобное.

— Зачѣмъ вамъ эти книги? — спросилъ онъ вошедшаго Ключкова: — и какъ онѣ у васъ мирятся съ «Агафьюшкой»?

— А какъ же... нельзя... Надо со всѣми ладить... Вращаешься въ разныхъ слояхъ. Священникъ, вліятельная монахиня заговаряютъ, я имъ объ Агафьюшкѣ. Милунчиковъ съ братіей припрутъ къ стѣнѣ, я изъ Конта, или изъ Спенсера. Да согласитесь, другъ, оно, вѣдь, и любопытно загля-

нута, какъ, молъ, душегубы-прогрессисты нашему брату, собственнику, висѣлицу готовить... Въ особенности милъ Консидерантъ, какъ онъ излагаетъ шельмеца Фурье, — эти его фаланстеріи, унарховъ и омнарховъ. Настанетъ, говорить, общее удовлетвореніе страстей, — и тогда, говорить, на полюсахъ будутъ расти лимоны... Это недурно. Не правда ли? Что можетъ быть выше ублаженія грѣшной плоти? Тамъ, на небесахъ, будетъ ли хорошо, философы еще не рѣшили. Здѣсь же мы спуску не дадимъ ничему, — не правда ли? А все жаль: анаѣмски Кузьма продешевилъ лошадей... Больше тысячи цѣлковыхъ потеряю... А теперь, милости просимъ въ садъ; хотя онъ тоже нѣсколько запущенъ, но тамъ, на просторѣ, пріятнѣе.

Они прошли въ садъ, гдѣ у пруда, подъ яблоней, уже выхлѣвъ самоваръ, были разложены подушки и стояли всѣ принадлежности къ чаю.

— Да-съ, — продолжалъ, протягиваясь на травѣ и предлагая то же сдѣлать и гостю, Клочковъ: — пріятна доля прітѣсеннаго землевладѣльца, когда у него, благодаря посильнымъ трудамъ, въ карманѣ очутится пятьдесятъ тысячъ, и онъ приляжетъ отдохнуть подъ своею смоковницей. Не правда ли? хе-хе... А еще пріятнѣе доля того землевладѣльца, у котораго въ карманѣ очутится не пятьдесятъ, а сто или даже двѣсти тысячъ... Тогда... о, да что и говорить...

Клочковъ вздохнулъ и замолчалъ. Лежа на спинѣ, съ закинутыми за голову руками, онъ глядѣлъ на Ветлугина, на деревья и на тихо шушукавшій самоваръ и, отъ избытка собственнаго благодушія, очевидно, даже умилился. Вечеръ, между тѣмъ, разыгрался во всей красѣ. Отъ кустовъ запахло росистой листвою. Гдѣ-то вблизи, за садомъ, началъ выщелкивать перепелъ. Солнце пышно золотило верхи дальнихъ деревьевъ. Изъ-за пригорка доносилось мычаніе подхлывшихъ съ поля коровъ, блеяніе овецъ и веселые крики загонявшихъ ихъ ребятнишекъ.

— А наживи землевладѣлецъ триста тысячъ, — заключилъ въ сладкомъ раздумьѣ Клочковъ: — его отдыхъ подъ смоковницей былъ бы еще отраднѣе.

Ветлугинъ слушалъ его разсѣянно.

— Интересно, однако бы, знать, Петръ Ивановичъ, — обратился къ нему, чтобы чѣмъ-нибудь поддержать рѣчь, Ветлугинъ: — зачѣмъ вамъ большое богатство? Меня давно зани-

масть вопросъ: что именно шевелится въ душѣ людей, подобно вамъ, ящущихъ быстрой и значительной наживы? Я и другихъ объ этомъ спрашивалъ. Отвѣчайте мнѣ откровенно... Положимъ, вы, наконецъ, нажили пятьдесятъ, ну, даже сто тысячъ... Что же далѣе?

— Выдумали, сто... Пятьсотъ тысячъ!.. О меньшемъ, мнѣй вы мой ягненокъ, я и не мечтаю... На пятистахъ, вотъ на чемъ, будетъ моя пристань...

— Хорошо, пусть и пятьсотъ. Вы ихъ современемъ, можете-быть, и наживете... Ну, признайтесь же, что вы съ ними станете дѣлать?

— Что стану дѣлать?

— Да...

Клочковъ не отвѣчалъ. Ветлугинъ разсматривалъ его съ презрительнымъ, брезгливымъ любопытствомъ.

— Вотъ видите, вы молчите,—сказалъ онъ:—да иначе и быть не можетъ. Вы ничего новаго, по части житейскихъ благъ, не придумаете. Привычки у васъ останутся тѣ же. Вкусъ развѣ притупится, да ослабѣетъ желудокъ. Но не ослабѣетъ позывъ къ болѣе и болѣе наживѣ. Вѣдь жажда къ богатству, Петръ Ивановичъ, это — современная бездонная бочка Данаидъ... Развѣ вы этого не знаете? Сколько туда ни лейте, все будетъ мало...

— Я отъ васъ, Антонъ Львовичъ, такого мнѣнія не ожидалъ,—даже обидѣвшись, сказалъ Клочковъ:—эхъ, вы, извините,—простота, простота. А еще дѣловой человекъ. Пятьсотъ тысячъ!.. Да вѣдь это, другъ вы мой,—полмилліона... Ай-ай! Чего только не сдѣлаешь на эти деньги, чего же приобрѣтешь?

— Но вы не отвѣчаете на мой вопросъ, — не отставалъ Ветлугинъ:—что же именно сдѣлаешь и что приобрѣтешь?

— Всякая твоя прихоть будетъ исполнена,—продолжалъ съ искреннимъ увлеченіемъ и точно въ какомъ-то оупьянѣніи Клочковъ: — каждая, каждая, наконецъ... красавица... ну, женщина-перль... первѣйшая француженка... станетъ тебѣ доступна...

— Странно мнѣ,—перебилъ его Ветлугинъ:—чуть только русскій человекъ задумаетъ объ увѣнчаніи своего задушевнаго дѣла, ему прежде всего мерещатся заѣзжія француженки.

— Настроишь дворцовъ, — продолжалъ, откинувшись къ дереву и не слушая Ветлугина, Клочковъ:—пожуируешь въ

Парижѣ, умрешь въ Ниццѣ... А ужъ кланяться-то тебѣ будутъ разные губернскіе ротозѣи, ноги, руки станутъ цѣловать, твоей тѣни будутъ молиться, отъ рюриковой дружины твой родъ произведутъ...

Мысль о губернскихъ ротозѣяхъ и о Рюрикѣ окончательно умилила Ключкова. Онъ улыбался про себя, что-то мычалъ и, слегка подремывая, даже забылъ о самомъ присутствіи своего гостя.

Съ соломенной крыши кирпичнаго, нештукатуреннаго зданія, виднѣвшагося въ концѣ сада, слетѣла какая-то ночная птица. Она душно крикнула въ деревьяхъ.

— Что это у васъ за зданіе?—спросилъ Ветлугинъ.

— А?... что?... Да... это—куполь надъ памятникомъ моего родителя... онъ вѣдь скончался здѣсь, будучи въ отпуску...

— Что же этотъ памятникъ въ такомъ видѣ?

— Крыша годъ назадъ провалилась, такъ я ее прикрылъ соломой... Некогда починить... Да, по правдѣ, родитель полегитъ и такъ... Починю, какъ окончательно поправятся обстоятельства...

— Но, какихъ же вамъ еще обстоятельствъ?

— Вотъ, поконту кое-какія затѣи... устроимъ, какъ слѣдуетъ, съ вашимъ батюшкой контору, тогда и расскажу... Позвольте, однако, какъ ваше посольство къ Вечерѣву? мы еще и не говорили съ вами.

Ветлугинъ помолчалъ.

— Ну, зачѣмъ вамъ мой отецъ?—сказалъ онъ:—право, удивляюсь! Развѣ онъ годится вамъ въ товарищи? Не лучше ли вамъ поискать другого, побойчѣе и поопытнѣе?

Ключковъ привскочить и сѣлъ на корточки. Глаза его миготъ проснулись.

— Извините вы меня, милый другъ,—сказалъ онъ, стараясь быть какъ можно спокойнѣе:—буду говорить откровенно. Душа у васъ отцовская, мяконькая. Оба вы—практики на дѣлѣ, но не въ душѣ. Вонъ, вы и горяченькія тамъ статейки пописывали въ журналахъ, и любовный романъ, чай, способны разыграть съ какой-нибудь дѣвочкой. Все это въ вашей натурѣ. Оттого такъ и боитесь всего. Забыли пословицу: «держи носъ до вѣтру»?.. А не забыли—такъ и basta. О нѣжностяхъ, о пустякахъ не думайте... А чтобъ васъ, милѣйшій камрадъ, окончательно успокоить насчетъ отца, я кое-что вамъ покажу. И это даже—мой долгъ: я совершенно понимаю ваши сомнѣнія, понимаю и цѣню...



Съ этими словами, Ключковъ пригласилъ гостя обратно въ домъ, провелъ его въ кабинетъ, зажегъ лампу, отомкнулъ ящикъ письменнаго стола и, выкладывая изъ него разныя бумаги, сказалъ:

— Вы, очевидно, сомнѣваетесь въ моихъ средствахъ? угадалъ я? Успокойтесь. Отъ моего отца я получилъ мало или почти ничего. Говоря на древнемъ руссiйскомъ языкѣ, у него была сотняжка дупъ, да и тѣ заложенные и перезаложенные. Кое-что я получилъ еще отъ бабки. Ну-съ, это все, однако, было вздоръ. Долги моего превосходительнаго родителя чуть не поглотили всего. Да я взялся за умъ. Приѣхалъ сюда и сталъ работать. Ничѣмъ не пренебрегалъ, — торговалъ хлѣбомъ, пенькой, даже воскомъ и пукомъ. Перины въ Москву поставлялъ. Охъ, тяжелыя были времена! Я унижался, корчился въ три погибели, отказывалъ себѣ во всемъ. Не скорѣ вздохнулъ свободнѣе. И уже теперь могу сказать, что собственнымъ трудомъ и родовое имѣніе почти удвоилъ, да обзавелся, милый вы мой, капиталцемъ. Это съ тѣхъ поръ, какъ сталъ бумагами торговать. Вотъ вамъ въ доказательство закладная купца на пивной заводъ; а вотъ нѣсколько векселей съ одного матушкина сына — по пятиалтынному за рубль достались; что, хорошо? Эти, вотъ, съ трактирщика; этотъ... ну, этого не стоитъ... (Ключковъ замаялся и сунулъ вынутый вексель въ кучу другихъ бумагъ). А это, камрадъ, съ Милунчикова... да-съ! на тысячу, не болѣе... Но все полезно, чтобъ держать его на уздечкѣ, при иныхъ его общественныхъ подвигахъ. Это, вотъ, опять — росписка съ прокурора судебной палаты, — въ карты его, на всякій случай, на пятьсотъ рублей обыгралъ: что ни говори, пригодится! — онъ теперь — сила... Итого сорокъ семь тысячъ!.. Еще три тысячки — и пятьдесятъ. А тамъ и выше, и выше. А вотъ, письма отъ первѣйшихъ торговыхъ и промышленныхъ тузовъ: зовутъ меня въ свои предпріятія, шлютъ на заключеніе разные проекты, предлагаютъ занятія, мѣста... Что, милордъ, хорошо? И все это добыто собственнымъ трудомъ... Да, ночей не досыналъ; по-уши иной разъ сидѣлъ въ грязи.. И скоро, скоро откроются передъ вашимъ покорнымъ слугою такіе жизненные пути, о которыхъ теперь еще жутко и думать.

— Только все же я полагаю бы, — сказалъ Ветлугинъ: — что мой отецъ — вамъ не пара!

— Оно, если хотите, и я, наконецъ, такъ думаю,—отвѣтилъ Ключковъ:—но кто мнѣ замѣнить его, добряка, ну, и его средства?

— Поискали бы другого, авось найдется.

Ключкову блеснула счастливая мысль. Онъ неопредѣленно глянулъ въ отпертый ящикъ, медленно задвинулъ его, звонко щелкнулъ замкомъ и точно про себя сказалъ:

— Вы не хотите ли занять его мѣсто?

— Да... ужъ лучше хоть бы и мнѣ!—отвѣтилъ Ветлугинъ, не зная, какъ приступить къ рѣшительному объясненію объ обязательствахъ отца и вмѣстѣ остерегаясь сдѣлать ложный шагъ.

— Такъ, значить, держи носъ по вѣтру? — подмигнувъ, хихикая, Ключковъ.

— Именно,—отвѣтилъ Ветлугинъ.

— Такъ и отцовскій векселекъ подмахнете своимъ поручительствомъ? — спросилъ Ключковъ, опять собираясь отомкнуть столъ: — а не то, можетъ-быть, и вовсе его на себя переписнете? Мнѣ это, если сказать по правдѣ, было бы даже покойнѣе: то—старикъ, а то—вы... У васъ вонъ какія связи торговыя, опытность. Вы скорѣе устоите въ дѣлѣ; да съ васъ, извините, и взыскать вѣрнѣе. Вѣдь я говорю на чистоту,—своя рубанка, знаете...

— О какомъ векселѣ вы сказали?—спросилъ Ветлугинъ.

— А какъ же; вашъ батюшка выдалъ мнѣ, за вступленіе его въ мои дѣла, вотъ это обязательство. Нельзя,—надо было, на всякій случай, себя обезпечить. Вѣдь его домъ и дворъ заложены, при моемъ пособіи, другому...

Ветлугинъ взглянулъ въ бумагу: то былъ, дѣйствительно, вексель на его отца, и вексель на весьма крупную цифру. Сердце его сжалось.—«Вотъ что проглядѣлъ я при повѣркѣ счетныхъ книгъ; — подумалъ онъ, — какъ бы, однако, помочь дѣлу? какъ бы выручить отца?»

Ветлугинъ выдержалъ себя и спокойно замѣтилъ:

— Что-жъ, я готовъ подписаться и на вексель. Надо только это оформить. Мы посчитаемся съ вами, составимъ домашнее условіе о моемъ вступленіи въ ваши дѣла, вмѣсто отца; вы подпишите условіе, а я отъ себя вексель.

— Когда жъ? сегодня? — спросилъ, поглядывая на него, Ключковъ: — и притомъ, старый ли вексель вы подпишите, или мы замѣнимъ его; отъ вашего лица, новымъ? У меня и бумага для этого есть...

— Я на все согласен, — отвѣтил Ветлугинъ: — и готовъ это устроить хоть сегодня.

Послѣ ужина Клочковъ провелъ гостя въ отведенную ему комнату. Они посчитались, и старый вексель былъ уничтоженъ, а новый переписанъ на имя Антона Львовича. Условіе въ огражденіе векселя они рѣшили написать по-утру. Проектъ условія Ветлугинъ хотѣлъ обдумать повнимательнѣе.

Гость и хозяинъ провели ночь подъ разными впечатлѣніями. Клочковъ былъ очень доволенъ и рассуждалъ: «Изъ этого вертуна выйдетъ прокъ».

Ветлугинъ почти не спалъ. — «Я взялъ на себя немало-важное обязательство, — но я спасъ отца! — думаю онъ — какъ-нибудь выплачу, извернусь, зато отцу теперь не будетъ грозить полное разореніе, а не то и тюрьма...»

За утреннимъ чаемъ, въ кабинетѣ Клочкова, Ветлугинъ засталъ вчерашняго посѣтителя, Фокина. На этотъ разъ онъ его лучше разсмотрѣлъ.

Управляющій Талищева оказался человѣкомъ лѣтъ сорока, небольшого роста, съ добродушными, лѣнивыми и будто смѣющимися, зеленоватыми глазками. Круглое, загорѣлое лицо, мясистый, пухлый носъ, свѣтлорусая, клиномъ, борода, и объемистое, нѣсколько отвисшее брюшко — дополняли его черты. Онъ былъ въ сѣромъ потертомъ пиджакѣ, въ полиняломъ голубомъ шейномъ платкѣ и съ кнutoмъ въ рукѣ. Онъ сидѣлъ у письменнаго стола, влѣво. Ветлугинъ, съ стаканомъ чая, помѣстился у того же стола, вправо. Клочковъ расположился между нихъ, посрединѣ.

Ветлугинъ хотѣлъ покончить съ условіемъ, но выжидалъ, пока увидѣтъ Фокинъ.

— Ну-съ, Козырь Иванычъ, — началъ прерванный разговоръ съ Фокинымъ Клочковъ: — скажите... такъ, знаете, откровенно, по-сосѣдски, — почему Кузьма продалъ вамъ лошадей?

— Какъ почему? — удивился Фокинъ.

— А такъ же, — многозначительно подмигнувъ Ветлугину Клочковъ: — цѣны бываютъ всякія, тайныя и явныя.

Фокинъ уныло окинулъ глазами концы своихъ разставленныхъ ножекъ и молча вздохнулъ.

— Странное, Петръ Иванычъ, дѣло, — сказалъ онъ: — мы съ вами толковали вчера, да, видно, будемъ говорить о томъ же и сегодня... Сами изволите знать, почему? Мы не

впервые съ вами встречаемся. Были таки въ общихъ дѣлахъ. Цѣну вашему приказчику вы сами назначили въ письмѣ. Я прочелъ это письмо и тогда только приступилъ къ покупкѣ... Такъ кто же здѣсь виноватъ?

— Условіе... росписка Кузьмы... съ вами? — спросилъ, взглядывая на Ветлугина, Ключковъ.

Его глаза какъ бы говорили: «что? слышали? каковъ гусь?»

— Еще бы не со мной, — отвѣтилъ Фокинъ: — я ваши обычаи, Петръ Ивановичъ, знаю: шутить въ дѣлахъ не любите... Изъ молодыхъ вы, да ранній... Балагуръ, но требуете точности...

— Покажите росписку...

Фокинъ изъ кармана панталонъ вытащилъ объемистый сафьянный бумажникъ; шурясь, поглядѣлъ въ него, какъ въ нѣкій глубокий колодезь, бережно вынулъ оттуда требуемую росписку; послунивъ палецъ, развернулъ ее, разгладилъ на коѣнѣхъ и не подаль, а какъ сидѣлъ, нѣсколько издали показалъ ее Ключкову.

Петръ Ивановичъ улыбнулся. Улыбнулся, глядя на него, и Фокинъ. Оба они, какъ видно, хорошо знали другъ друга.

— Ну-съ, — какъ бы успокоившись, сказалъ Ключковъ: — радуйтесь; поддѣли меня. Чуть не даромъ теперь придется отдавать вамъ лошадей.

— Полноте, Петръ Ивановичъ, полноте, — глядя въ бумажникъ и снова собираясь туда уложить росписку, перебилъ Фокинъ: — вамъ ли это говорить? И такія ли вы правляли дѣла? Извѣстная вещь — торгъ: нынче дешево, завтра втрое дороже... А будете по совѣсти расплачиваться, на-чистоту, вѣрите, время все вамъ возвратитъ сторицей...

— А покажите, однако, еще мнѣ эту росписку, — замѣтилъ Ключковъ: — срокъ, кажется, еще не вышелъ...

И когда Фокинъ, продолжая поученіе, сказалъ: «желай пользы другимъ, будетъ польза и тебѣ... на этомъ-съ, Петръ Ивановичъ, стоитъ теперь вся школа позитивистовъ!» и въ разсѣянности двинулъ росписку по столу, Ключковъ мизинцемъ лѣвой руки незамѣтно столкнулъ росписку въ ящикъ, шелкнулъ ключомъ и тихо отодвинулся отъ стола.

— Ну-съ, любезный позитивистъ, — объявилъ онъ: — теперь давайте торговаться снова...

— Какъ снова?

— А такъ же: я въ свѣтъ — джентльменъ; въ торговыхъ

же оборотахъ я — кулакъ и кремень. И такова уже почва въ Россіи; какъ видите, я этого даже и не скрываю.

— Что вы, что вы, Петръ Ивановичъ, — захихикалъ и задвигался животомъ оторопѣлый Фокинъ: — оставьте шутки. Я вашему Кузьмѣ подъ росписку дать тысячу цѣлковыхъ... И деньги не мои...

— Да я и не шучу. О какомъ задаткѣ и о какой роспискѣ вы говорите? Нѣтъ росписки, и вы не докажете, что она была. Меня надули, и я тѣмъ же отвѣчаю... Не хотите снова торговаться, не прогнѣвайтесь: я васъ болѣе не задерживаю...

Фокинъ всталъ. На немъ не было лица.

— Это — ваше послѣднее слово? — спросилъ онъ, судорожно сжимая ручку кнута.

— Последнее...

— Вы не шутите?

— Не шучу.

Фокинъ сдѣлалъ два шага къ двери и опять возвратился.

«Что же это онъ? — подумалъ, краснѣя, Ветлугинъ, — за кого же меня-то онъ, негодяй, считаетъ?»

— Позвольте, — сказалъ онъ Фокину: — Петръ Ивановичъ дѣйствительно пошутилъ. Онъ вамъ сейчасъ отдастъ росписку обратно.

Въ глазахъ Ключкова сверкнули змѣйки.

— То-есть, какъ отдать? — спросилъ онъ, не глядя на Ветлугина.

— Ну, да; вы г. Фокину возвратите этотъ документъ, такъ какъ вы же сами... мнѣ давеча сказали, что хотите надѣяться только подтрунить; иначе и быть не могло.

— Когда я вамъ это говорю?

Ветлугинъ не отвѣтилъ.

— На пару словъ, — сказалъ, вставая, Ключковъ.

Ветлугинъ вышелъ съ нимъ въ смежную комнату.

— Что все это значить? — глухо спросилъ Ключковъ: — вы, милѣйшій, серьезно вздумали вмѣшаться въ это дѣло?

— Да, серьезно! — отвѣтилъ Ветлугинъ: — и мнѣ жаль, что вы не оцѣнили моей услуги.

— А если я васъ не слушаюсь? — дергая себя за галстукъ, злобно прошепталъ Ключковъ.

Онъ задышался.

— Не думаю, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — вы должны поступить по моему совѣту... для вашей же пользы.

— Такъ и ты, Брутъ, противъ меня? — съ изуродованнымъ отъ бѣшенства лицомъ, постарался улыбнуться Ключковъ.

— Послушайте, — глядя въ глаза Ключкову, твердо сказалъ Ветлугинъ: — если вы сейчасъ же и при мнѣ не отдадите этому господину росписки, я буду свидѣтелемъ противъ васъ на судъ... А не то — лучше одумайтесь, — я ни за что не ручаюсь...

— Ого, такъ вотъ вы какъ! этого еще не доставало! угрозы въ моемъ домѣ...

Ключковъ оглянулся. Руки его судорожно вздрагивали. На углахъ губъ проступила пѣна. Онъ вспомнилъ стычку съ Ветлугинымъ въ университетѣ.

— Вы не очень-то, — продолжалъ онъ запальчиво: — теперь вы — мой должникъ! Вексель безсрочный. Я подамъ его ко изысканію, и вамъ не сдобровать.

— Можете дѣлать все, что вамъ угодно, — спокойно отвѣтилъ Ветлугинъ: — ни я, ни отецъ мой въ обиду вамъ отнынѣ не дадимся... примемъ мѣры...

— Ахъ вы, заяцъ Иванычъ! — вдругъ засмѣялся и даже на диванъ отъ смѣха упалъ Ключковъ: — да вѣдь я, въ самомъ дѣлѣ, только пошутилъ. Вотъ, смотрите, смотрите...

Съ этими словами онъ бросился въ кабинетъ, отперъ столъ, отдалъ Фокину росписку и, съ извиненіями, весьма любезно проводить его на крыльцо.

— Ну, не стыдно ли вамъ, — обратился онъ сумрачно къ стоявшему на прежнемъ мѣстѣ Ветлугину: — эхъ, эхъ, камрадъ, не хорошо! вообразили, что я и взаправду...

«Тыфу ты, какая гадость! — думалъ тѣмъ временемъ, стоя у окна, Ветлугинъ, — надо же было наткнуться на это скверное происшествіе... Въ какія руки попался-было отецъ!»

— Впрочемъ, что же я? Не хотите ли закусить? Не поѣдемъ ли вмѣстѣ къ Талищеву? — засуетился вокругъ него Ключковъ: — пока вы спали, я и лошадей велѣлъ приготовить; вонъ и вашъ верховой. Его разсѣдлатъ бы... Отсюда не далеко...

Ветлугинъ пришелъ въ себя и уже хотѣлъ обернуться, заговорить. Онъ вспомнилъ, что условія, въ объясненіе и огражденіе векселя, Ключковъ еще не подписалъ. Но вдругъ и уже противъ его воли въ немъ закипѣло такое негодованіе и омерзѣніе къ этому Ключкову, къ его вспотѣвшему,

взволнованному лицу и старавшимся придать прежній, добродушный вид маслянымъ глазкамъ, что онъ схватилъ фуражку, не оборачиваясь къ Ключкову, вышелъ на крыльцо, сѣлъ на коня и безъ оглядки поскакалъ со двора.

«Отлично, однако, я отъ него отдѣлался! — размышлялъ тѣмъ временемъ, глядя на него изъ-за занавѣски окна, Ключковъ, — чего добраго, еще учинилъ бы скандалъ. А если я съ Фокинымъ сплеховалъ, зато, вмѣсто старика Ветлугина, моимъ должникомъ теперь самъ этотъ господчикъ, — да еще по безсрочному и безденежному векселю — недурно, Петя, недурно!»

Ключковъ погладилъ себя по животу, досталъ ключи, отперъ шкафчикъ, досталъ съ полки бутылку стараго портвейна, серебряную старинную чарочку и банку съ ананасовымъ вареньемъ. Налилъ чарочку, отпилъ, посмаковалъ и всю ее допилъ; налилъ, погода, и выпилъ другую. Наложилъ на блюдо варенья, сѣлъ его съ разстановкой, заперъ все попрежнему въ шкафъ, ключи положилъ въ карманъ и, закуривъ сигару, прошелъ во внутреннія комнаты. Тамъ, съ чулкомъ въ рукахъ, въ дешевенькомъ, ситцевомъ, густо-накрахмаленномъ платьѣ и въ башмакахъ на босу ногу, сидѣла круглолицая, съ красными руками, ямочками на щекахъ и съ нѣжными карими глазами, дѣвушка, — повидимому, — недавно взятая гдѣ-нибудь на селѣ. Губы ея, при входѣ Ключкова, подернуло, на рѣсницахъ висѣли слезы.

— Ничего, Вѣрочка, ничего, — заговорилъ Ключковъ, прохаживаясь передъ нею по дѣвичьей: — вотъ, разживусь... поправляюсь... ну, и табѣ, и тѣтѣ... ну, и ты — заживемъ...

«Молчать бы, пучеглазый! — срывалось съ языка дѣвушки: — молчалъ бы, аспидъ!.. тошно!..»

Но она ничего не сказала; только пригнулась ближе къ работѣ, и слезы чаще стали капать на руки, державшія чулокъ.

«Да и въ самомъ дѣлѣ, — рассуждалъ, уходя въ кабинетъ, Ключковъ, — изъ-за чего я стану сорить деньгами, великодушничать? Вотъ, въ предсѣдатели бы скорѣе, въ предводители, а тамъ... Все, что пока скопилось, въ оборотѣ... Нличныхъ, свободныхъ денегъ нѣтъ...»

Сказалъ это онъ себѣ о деньгахъ и совралъ. Въ послѣднюю поѣздку въ городъ онъ на акціяхъ торговаго банка заработалъ нѣсколько тысячъ чистоганомъ и собственноручно положилъ ихъ на текущій счетъ въ обществѣ взаимнаго кредита.

— Такъ и ты, Брутъ, противъ меня? — съ изуродованнымъ отъ бѣшенства лицомъ, постарался улыбнуться Ключковъ.

— Послушайте, — глядя въ глаза Ключкову, твердо сказалъ Ветлугинъ: — если вы сейчасъ же и при мнѣ не отдадите этому господину росписки, я буду свидѣтелемъ противъ васъ на судѣ... А не то — лучше одумайтесь, — я ни за что не ручаюсь...

— Ого, такъ вотъ вы какъ! этого еще не доставало! угрозы въ моемъ домѣ...

Ключковъ оглянулся. Руки его судорожно вздрагивали. На углахъ губъ проступила пѣна. Онъ вспомнилъ стычку съ Ветлугинымъ въ университетѣ.

— Вы не очень-то, — продолжалъ онъ запальчиво: — теперь вы — мой должникъ! Вексель безсрочный. Я подамъ его ко изысканію, и вамъ не сдобровать.

— Можете дѣлать все, что вамъ угодно, — спокойно отвѣтилъ Ветлугинъ: — ни я, ни отецъ мой въ обиду вамъ отнынѣ не дадимся... примемъ мѣры...

— Ахъ вы, зайцъ Иванычъ! — вдругъ засмѣялся и даже на диванъ отъ смѣха упалъ Ключковъ: — да вѣдь я, въ самомъ дѣлѣ, только пошутилъ. Вотъ, смотрите, смотрите...

Съ этими словами онъ бросился въ кабинетъ, отперъ столъ, отдалъ Фокину росписку и, съ извиненіями, весьма любезно проводить его на крыльцо.

— Ну, не стыдно ли вамъ, — обратился онъ сумрачно къ стоявшему на прежнемъ мѣстѣ Ветлугину: — эхъ, эхъ, камрадъ, не хорошо! вообразили, что я и взаправду...

«Тыфу ты, какая гадость! — думалъ тѣмъ временемъ, стоя у окна, Ветлугинъ, — надо же было наткнуться на это скверное происшествіе... Въ какія руки попался-было отецъ!»

— Впрочемъ, что же я? Не хотите ли закусить? Не поѣдемъ ли вмѣстѣ къ Талищеву? — засуетился вокругъ него Ключковъ: — пока вы спали, я и лошадей велѣлъ приготовить; вонъ и вашъ верховой. Его разсѣдлатъ бы... Отсюда не далеко...

Ветлугинъ пришелъ въ себя и уже хотѣлъ обернуться, заговорить. Онъ вспомнилъ, что условія, въ объясненіе и огражденіе векселя, Ключковъ еще не подписалъ. Но вдругъ и уже противъ его воли въ немъ закипѣло такое негодованіе и омерзѣніе къ этому Ключкову, къ его вспотѣвшему,



взволнованному лицу и старавшимся придать прежній, добродушный видъ маслянымъ глазкамъ, что онъ схватилъ фуражку, не оборачиваясь къ Ключкову, вышелъ на крыльцо, сѣлъ на коня и безъ оглядки поскакалъ со двора.

«Отлично, однако, я отъ него отдѣлся!» — размышлялъ тѣмъ временемъ, глядя на него изъ-за занавѣски окна, Ключковъ, — чего добраго, еще учинилъ бы скандалъ. А если я съ Фокинымъ сплеховалъ, зато, вмѣсто старика Ветлугина, моимъ должникомъ теперь самъ этотъ господинъ, — да еще по безсрочному и безденежному векселю — недурно, Петя, недурно!»

Ключковъ погладилъ себя по животу, досталъ ключи, отперъ шкапчикъ, досталъ съ полки бутылку стараго портвейна, серебряную старинную чарочку и банку съ ананасовымъ вареньемъ. Налилъ чарочку, отпилъ, посмаковалъ и всю ее допилъ; налилъ, погода, и выпилъ другую. Наложилъ на блюдо варенья, сѣлъ его съ разстановкой, заперъ все попрежнему въ шкапъ, ключи положилъ въ карманъ и, закуривъ сигару, прошелъ во внутреннія комнаты. Тамъ, съ чулкомъ въ рукахъ, въ дешевенькомъ, ситцевомъ, густо-накрахмаленномъ платьѣ и въ башмакахъ на босу ногу, сидѣла круглолицая, съ красными руками, ямочками на щекахъ и съ нѣжными карими глазами, дѣвушка, — повидимому, — недавно взятая гдѣ-нибудь на селѣ. Губы ея, при входѣ Ключкова, подернуло, на рѣсницахъ висѣли слезы.

— Ничего, Вѣрочка, ничего, — заговорилъ Ключковъ, прохаживаясь передъ нею по дѣвичьей: — вотъ, разживусь... поправляюсь... ну, и табѣ, и тѣткѣ... ну, и ты — заживемъ...

«Молчалъ бы, пучеглазый! — срывалось съ языка дѣвушки: — молчалъ бы, аспидъ!.. тошно!..»

Но она ничего не сказала; только пригнулась ближе къ работѣ, и слезы чаще стали капать на руки, державшія чулокъ.

«Да и въ самомъ дѣлѣ, — разсуждалъ, уходя въ кабинетъ, Ключковъ, — изъ-за чего я стану сорить деньгами, великодушничать? Вотъ, въ предсѣдатели бы скорѣе, въ предводители, а тамъ... Все, что пока скопиль, въ оборотъ... На личныхъ, свободныхъ денегъ нѣтъ...»

Сказалъ это онъ себѣ о деньгахъ и совралъ. Въ послѣднюю поѣздку въ городъ онъ на акціяхъ торговаго банка заработалъ нѣсколько тысячъ чистоганомъ и собственноручно положилъ ихъ на текущій счетъ въ обществѣ взаимнаго кредита.

XX.

Бойцы селъ и городовъ.

Очутившись въ полѣ, Ветлугинъ вскорѣ замѣтилъ, что сбился съ дороги.

Онъ проѣхалъ одинъ перекрестокъ, другой, но пути къ Дубкамъ не находилъ. Ключовка давно скрылась за пологимъ холмомъ. Хлѣбныя нивы шли вправо и влево, попережку съ пахотами. Вдали синѣли, покрытыя лѣсами, какія-то возвышенности. Кое-гдѣ торчали стоги сѣна, чернѣли межевыя тропинки. Но ни жилья, ни одинокаго путника не было видно.

Ветлугинъ рѣшилъ возвратиться къ Ключкову, чтобъ лучше разспросить дорогу къ Вечерѣвымъ. Но проѣхалъ версты-три и увидѣлъ, что попалъ еще въ болѣе незнакомую мѣстность. Начались овраги, глубокия долины. На днѣ какого-то луга журчалъ ручей.

«Что за странности!» — разсуждалъ Ветлугинъ, оглядываясь по сторонамъ. За однимъ изъ холмовъ онъ примѣтилъ пыль, поѣхалъ въ ту сторону и подъ небольшимъ лѣскомъ нагналъ какую-то телѣжку. На облукѣ сидѣла и правила тощею лошаденкою дѣвочка лѣтъ десяти. За телѣжкой, держась за ея кузовокъ, шли трое нищихъ слѣпыхъ. На вопросъ Ветлугина, не знаютъ ли они дороги въ Дубки, дѣвочка только сильнѣе стала погонять еле-двигающую ногами клячонку, а нищіе отвѣтили, что они — не здѣшніе, а ѣдутъ на ярмарку въ Рѣчное.

— Гдѣ же Рѣчное?—спросилъ Ветлугинъ.

— Кто ихъ зна. Верстъ семь, коли не болѣ.

«Значитъ, опять надо назадъ!» — подумалъ Ветлугинъ.

Но не проѣхалъ онъ обратно и двухъ верстъ, какъ навстрѣчу ему, изъ молодой осинової рощи, на тройкѣ сытыхъ саврасокъ, вылетѣлъ небольшой тарантасъ. Въ тарантасѣ сидѣлъ Милунчиковъ.

Они поздоровались.

— Вы, вѣрно, отъ Талищева?—спросилъ Милунчиковъ.

— Нѣтъ, отъ Ключкова; но никакъ не попаду обратно въ Дубки.

— Вы сбились. Къ Вечерѣвымъ отсюда не менѣе двѣнадцати верстъ. А къ Талищеву версты три. Я ѣду туда

и могъ бы васъ подвезти. Вмѣстѣ оттуда мы проѣхали бы и къ Вечерѣвымъ.

— Очень вамъ благодаренъ, — отвѣтилъ, поглядывая на своего усталого коня, Ветлугинъ: — но я запыленъ; да и конь мой, видите, врядъ ли поспѣетъ за вашими.

— Мы его привяжемъ за тарантасомъ и потихоньку доберемся; а при въѣздѣ въ Рѣчное приодѣнемся на постояломъ.

«Можетъ-быть и Кирилло Григорьичъ туда подѣдетъ, если не перехватилъ по дорогѣ своего пріятеля!» — помыслилъ Ветлугинъ.

— А что это за церковь бѣлѣтъ, вонъ, на горѣ? — спросилъ онъ, указывая вдаль.

— Это — Красный-Кутъ, монастырь. Онъ черезъ рѣку, за Рѣчнымъ, а невадала за нимъ и моя усадьба.

Ветлугинъ принялъ предложеніе Милунчикова, и вскорѣ передъ ними открылся поселокъ и барская усадьба Рѣчного. Пока они умывались, чистились и вновь одѣвались на постояломъ дворѣ, Ветлугинъ разсказалъ о столкновеніи Клочкова съ Фокинымъ.

— Вотъ они, мои соперники по общественнымъ дѣламъ, — съ отвращеніемъ сказалъ Милунчиковъ: — а что прикажете дѣлать? — Надо бороться. Самый этотъ сѣздъ, собственно, устроенъ противъ меня. Я везу туда одинъ проектъ, хотя знаю, что на этомъ пробномъ сеймикѣ, на этой маленькой биржѣ, передъ осеннимъ собраніемъ, сдѣлаютъ попытку заранѣе и навѣрняка уронить мое же имя. Талищевъ и Клочковъ все это время работали, ѣздили и подбирали голоса, чтобы смѣстить меня во что бы то ни стало.

— Да, и я слышалъ, что противъ васъ готовится походъ.

— Я не боюсь, — отвѣтилъ, выходя съ постоялаго двора, Милунчиковъ: — за меня будутъ крестьянскіе и мѣщанскіе голоса. Я — недоучка, и это — мое великое и тяжкое горе; но я, по возможности, старался чтеніемъ наверстать оборыши воспитанія. Я искренно полюбилъ дѣло народа и не измѣню ему до конца...

— Но что вы сдѣлаете одинъ?

— О, я не одинъ. Армія честныхъ людей понемногу пополняется новобранцами. Ихъ будто мало, не видно; но это такъ только кажется. Выбывъ изъ строя одинъ, взамѣнъ его явятся другіе...

— Вы думаете, я мало вынесъ отъ этихъ нагленцовъ? — продолжалъ Милунчиковъ, подходя къ тарантасу: — съ перваго моего появленія въ здѣшнемъ околоткѣ, обо мнѣ заговорили, какъ объ измѣнникѣ своему сословію; осливали меня, какъ опаснаго демагога и революціонера... На меня посыпались всякія сплетни; мерзвѣйшіе пасквилы сочинялись обо мнѣ здѣшними тушицами, не только въ прозѣ, но и въ стихахъ.

Милунчиковъ нервически закашлялся.

— Вѣрите ли, ко мнѣ и къ моимъ знакомымъ по почтѣ разсылались безчестнѣйшія анонимныя письма, въ газеты проникали невѣроятныя выдумки и клеветы.

— Понимаю, какъ это васъ должно было огорчить.

— Огорчить и ослобить, — подхватилъ Милунчиковъ: — но что же дѣлать? Такъ хороша природа, и такъ среди нея, подчасъ, безобразно человѣчество, особенно его всѣмъ обезпеченная и сытая половина...

— Въ чемъ главные нападки вашихъ враговъ? — спросилъ Ветлугинъ.

Милунчиковъ помолчалъ.

— Все изъ-за того же, — отвѣтилъ онъ, какъ-то робко глянувъ въ сторону: — изъ-за упорнаго нежеланія признать силу вещей и честно откликнуться на голосъ вѣка.

— Впрочемъ, — рѣшительно прибавилъ Милунчиковъ, садясь въ тарантасъ вслѣдъ за Ветлугинымъ: — противъ личныхъ оскорбленій — а безъ нихъ, вѣроятно, дѣло опять не обойдется — я принялъ нѣкоторыя мѣры. Вонъ, въ ногахъ у меня — ящикъ съ пистолетами... Я полагаю, что давно пора пустить кровь клеветникамъ. Немало накопилось всякой драни, которую слѣдуетъ вывести на свѣжую воду.

Павель Ѳедоровичъ Талищевъ весьма радушно встрѣтилъ Ветлугина.

— Очень радъ, — сказалъ онъ, вводя его въ залу: — будьте гостемъ. Но какими судьбами вы попали въ нашъ околотокъ?

Ветлугинъ передалъ, что ночевалъ у Клочкова, а по пути отъ него встрѣтился съ Милунчиковымъ, который и привезъ его сюда.

— Такъ это вы ночевали у Клочкова? — многозначительно замѣтилъ Павелъ Ѳедоровичъ: — ну, вдвойнѣ же радъ васъ

видѣть... Вы тамъ изъ-за меня воевали съ моимъ кумомъ. Охъ, ужъ этотъ куманекъ! Онъ, впрочемъ, тоже адъсь. Милости просимъ.

Талищевъ представилъ Ветлугина своей женѣ и познакомилъ его съ обоими своими сыновьями, гусаромъ Рашей и гимназистомъ Николушкой, а также съ нѣкоторыми изъ гостей.

— Не поскучайте у насъ, — сказалъ онъ: — прежде въ деревняхъ было веселье. Собственная музыка, пѣвчіе... Теперь же мы — разбитые, припертые къ стѣнѣ. Какъ отшельники первыхъ вѣковъ, мы одѣлись во вретище, посыпали пепломъ главу и, точно въ подземелья, только изрѣдка собираемся въ оставленныя усадьбы — поспѣвать на развалинахъ нѣкогда процвѣтавшихъ хозяйствъ... Словомъ, передъ вами — бойцы селъ и городовъ...

Бойцы селъ и городовъ, однако, какъ сразу замѣтилъ Ветлугинъ, отнюдь не походили на древнихъ отшельниковъ: не одѣвались во вретище и пепломъ своихъ головъ не посыпали. Съездъ былъ, какъ съездъ. По комнатамъ мелькали высокіе шиньоны, шуршали длиннѣйшіе шлейфы, а за ними увивались щегольскіе фраки, пиджаки и сюртуки. Всюду слышался оживленный, беззаботный разговоръ о модахъ, мѣстныхъ и столичныхъ новостяхъ. Словомъ — все было по старинѣ и отнюдь не напоминало ни объ упадкѣ веселья вообще, ни о развалинахъ сельскихъ хозяйствъ въ особенности.

«Ишь, старый плутъ, какого Лазаря мнѣ пѣлъ тогда на станціи!» — подумалъ Ветлугинъ, прогуливаясь съ Талищевымъ по залѣ.

— Не угодно ли закусить? — отнеслась къ Антону Львовичу хозяйка дома.

Объ руку съ ней Ветлугинъ направился въ столовую. Гдѣ-то послышалось нетерпѣливое пощелкиванье картъ. Онъ обернулся. Съ бубновой десяткой въ рукѣ и съ улыбкой посланца строгихъ, но милостивыхъ боговъ, навстрѣчу ему съ старшимъ Талищевымъ показался Ключковъ. Въ новомъ фракѣ, въ лаковыхъ полусапожкахъ и въ бѣломъ галстукѣ, Петръ Ивановичъ, объ руку съ другомъ, неся по залѣ, отыскивая для одной важной и чиновной особы партію въ ералашъ.

— Вы не играете? — спросилъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, Ветлугина.

И не успѣлъ тотъ опомниться, какъ Ключковъ прибавилъ:

— Очень радъ... Ну, какъ находите здѣшнее общество? Анна Романовна, приберите моего староа соученика къ рукамъ... Найдите ему невѣсту. Что? попались? Посмотрите-ка, сколько хорошенекъ.

Хозяйка собственноручно поднесла Ветлугину закусить и налила ему вина. — «Куда, однако, дѣлся Милунчиковъ?» — подумалъ Антонъ Львовичъ, усѣвшись въ сторонѣ.

— Вы говорите объ управѣ; но хорошъ и новый судъ! — произнесъ кто-то изъ кучки фрачниковъ, стоявшихъ у стола: — поѣхалъ я по дѣлу въ городъ. Смотрю, наши митрохинскіе по улицамъ шляются, милостыню просятъ... Что вы, братцы? спрашиваю. — Мы «присяжные», отвѣчаютъ: «натгали изъэвонда, держать въ судѣ, а денегъ на харчи не даютъ; мы и ну-ка-си просить на хлѣбушку». Вотъ наши російскіе юри!.. Вотъ наша неподкрашенная народная совѣсть!..

— Ха-ха-ха! — отозвались на это пустые и сытые голоса: — именно — жури... народная совѣсть!

— А Милунчиковъ съездъ учителей затѣялъ, по волостныхъ банкахъ толкуетъ! — сказалъ кто-то.

— Да гдѣ онъ?

— Говорять, здѣсь.

— Какъ? прѣхать?

— Да.

— Ну, много же, видно, у него храбрости. Не одобровать ему. Отзовутся кошкѣ мышкины слезки.

— А слышали вы, — перебилъ кто-то: — въ газетахъ опять явилась пасквильная статья о нашей губерніи. Тутъ все: и меньшая братія въ обидѣ, и тупость высшихъ слоевъ, и невѣсты, не уберегшія свѣтильниковъ въ ожиданіи жениха.

— Кто же, кто ея авторъ? — слышалось со всѣхъ сторонъ.

— Авторъ открытъ, — произнесъ, подходя изъ залы съ газетнымъ листомъ, старшій сынъ Талищева, Романъ Павловичъ: — вотъ и статья. Сейчасъ получилъ отъ сестры Петра Ивановича.

— Открытъ? это любопытно.

Гусара окружили.

— Дѣтей сестры Ключкова, — началъ онъ, косясь на Ветлугина: — какъ вы, можетъ-быть, знаете, обучалъ медикъ-студентъ... братъ предсѣдателя нашей управы, Милунчикова...

— Говорите, слушаемъ! — не совѣмъ, впрочемъ, смѣло и оглядываясь, подхватили нѣкоторые изъ слушателей.

— Этот именно молодой человек и оказался автором статьи, в которой в таком черном виде изображен весь здешний край...

— Будьте осторожны, — шепнул кто-то из непосвященных ремонтёру: — у вас, говорят, в настоящее время в гостях брат Милунчиков.

— Мне стесняться нечего, — в благородном негодовании, храбро сказал старший Талищев, красня: — пусть, кто хочет, меня слушает... У молодого человека сделан обыск, найдена переписка с чужими краями... Его схватили и, вероятно, выплут за Урал. Граф бадил к жандармскому генералу и просил его извинить нашу губернию от этих послов интернационалки.

«И все, представьте, врет!» — чуть слышно шепнул кто-то сзади Ветлугина.

Ветлугин оглянулся.

За ним стоял его утренний знакомец, управитель Талищева, Фокин. Руки последнего с трудом обхватывали шевелившийся от позывов к смеху живот, а насмешливо прищуренные глаза, лениво и презрительно обращаясь кругом, как бы говорили Ветлугину: «Какова, батюшка, коллекция? и каково это вам, на свежий-то нос, так сказать, с вольного воздуха?»

— Так это неправда? — спросил, отходя с ним к сторонке, Ветлугин.

— Прежде всего, позвольте вас поблагодарить за дашнюю услугу, — сказал, пожимая руку Ветлугина, Фокин: — сейчас только узнал, кто вы. А теперь и об этих господах. Все, что вы сейчас слышали, — чистое вранье. Я все их гадкое нутро насквозь вижу и знаю... Помилуйте... Впрочем, нет, тут не совсем удобно... Если вы удостоите пройти ко мне во флигель, так я вам и не то о них расскажу...

— А Вечерёва, Кириллы Григорьяча, здесь нет? — спросил Ветлугин.

— Не видно что-то. Он ночевал у нас нынче на заводе, с моим принципом счёты сводил и остался там кого-то поджидать.

Ветлугин с Фокиным прошли во флигель.

— Вот моя пещерка, — сказал Фокин, усаживая гостя в кресло своей комнаты, а сам располагаясь против

него на кровати: — что же касается до истории со студентомъ Милунчиковымъ, такъ она разыгралась почти на моихъ глазахъ. Я—сосѣдъ сестры Ключкова и, какъ нарочно, въ ту пору,—это было дня четыре назадъ,—вздвигъ навѣстить свое хозяйство. Отсюда не далеко—верстъ двадцать. Учитель Милунчиковъ, добрейшій и весьма неглупый малый, сталъ поперекъ горла у Ключкова, во-первыхъ, тѣмъ, что его братъ предсѣдителемъ здѣшней управы, трудится, какъ муравей, и не якшается съ прочею здѣшнею мразью; а во-вторыхъ, и потому, что сперва сдержанно, а потомъ и безъ всякихъ стѣсненій сталъ сообщать, какъ сестрицѣ Ключкова, такъ и кое-кому изъ сосѣдей, о множествѣ не совсѣмъ нравственныхъ дѣлишекъ ея братца... Тамъ, знаете, въ числѣ иного прочаго, случилась незадолго весьма печальная исторія съ одною крестьянской сироткой, Вѣрочкой,—у слѣпой тѣтки онъ ее сманилъ... Ну, да это въ сторону... Статью же о здѣшнихъ палестинахъ, можетъ-быть, точно написалъ и студентъ Милунчиковъ. Я про то не знаю и не спорю. Да я бы и самъ ее написалъ, если бы только напечатали. Но никакой переписки съ чужими краями у студента не было и не нашли; политическими дѣлами онъ не занимался, и графъ, губернскій предводитель, жандармскаго генерала противъ него не вооружалъ. А напротивъ, самъ Ключковъ, безъ дальнѣйшихъ околичностей, при мнѣ, налетѣлъ съ пріятелемъ становымъ къ своей сестрицѣ. У юноши учителя сдѣлали формальный обыскъ и отобрали кое-какія, по всей вѣроятности, даже цензурныя рукописи и книжки. А послѣ обыска бѣднягу разсчитали, да, не говоря худого слова, и выпроводили за межу имѣнія вотъ-де, каковы всѣ эти Милунчиковы. Контракта у студента съ этими господами не было. Братъ его находился въ отлучкѣ. Защитить было некому... Я его въ ту пору натгалъ на дорогѣ и даже подвезъ до первой станціи... Случилось все это такъ неожиданно... Плакать сердечный не плакалъ; зато ужъ ругался такъ-то зло и хорошо и столько про всѣхъ этихъ господъ причитывалъ, что я, вѣрите ли, чуть со смѣху дорогой не умеръ... Между прочимъ, онъ завѣрзалъ честью, — да это и изъ другихъ источниковъ я знаю,—что будто мой принципалъ, совмѣстно съ Ключковымъ, уже нѣсколько лѣтъ сряду сочиняетъ нѣкій новый и совершенно гениальный проектъ россійской конституціи...



— Какъ, что?—невольно улыбнулся Ветлугинъ.

— Честью завѣряю, что не лжетъ.

— Въ чемъ же состоитъ этотъ проектъ?

— Между прочимъ, въ такомъ преобразованіи сбора податей, чтобы несостоятельныхъ плательщиковъ изъ крестьянъ было разрѣшено отдавать въ особыя уѣздныя, арестантскія, недоимочныя роты... Вы не вѣрите? Ей-Богу, я не шучу. Эта конституція замѣчательна, наконецъ и тѣмъ, что предлагаетъ возобновить Семибоярскую Думу и, какъ бы вы думали, еще что? новгородское вѣче, куда бы, впрочемъ, отъ народа могли быть избираемы не всѣ, а лишь тѣ, кто чиномъ не ниже статскаго совѣтника...

— Сказавъ это, Фокинъ разразился такимъ дѣтски-пискливымъ и раскатистымъ смѣхомъ, что разсмѣшилъ опять и Ветлугина.

— И едва-лишь гдѣ-либо,—продолжалъ, помахавъ на себя пашкой, Фокинъ:—разумѣется, послѣ доброй дружеской выпивки, заходить рѣчь о будущихъ боярахъ-министрахъ этой Думы, министромъ финансовъ называютъ Ключкова, а внутреннихъ дѣлъ и сельскаго хозяйства—Талищева...

— Вы упомянули о своемъ имѣніи,—сказалъ Ветлугинъ:—отчего вы сами тамъ не хозяйничаете?

Фокинъ вздохнулъ.

— Долго рассказывать... Душа болитъ. Слишкомъ тяжело было бы мнѣ тамъ одиночество. Имѣніице крошечное, оборотнаго капитала нѣтъ; и я давно бы его продалъ. Но тамъ умерла моя мать... Послѣ смерти отца, мы остались съ нею вдвоемъ. Я былъ еще дитя; у нея долги. Не на что было меня учить. Она нанялась къ сосѣду-помѣщику, другу Вечерѣва, Ченшину — въ ключницы, а меня на свои сбереженія, при пособіи этого добраго человѣка, отправила въ межевой институтъ. И жила она по найму у Ченшина, пока я вышелъ въ землемѣры. Домъ и хозяйство наше пустѣли. Я поспѣшилъ на родину, часы считалъ, чтобы скорѣе перевезти старушку на родное пепелище. И мы съ ней тамъ поселились. Но только-что она вздохнула на свободѣ, принялась за устройство стараго гнѣзда, размечталась о счастьѣ, думала, наконецъ, меня женить, какъ простудилась въ хлопотахъ по хозяйству, заболѣла,—докторовъ въ нашей глуши мало, время было зимнее, насилу ихъ дозволялся,—у нея открылась скоротечная чахотка, и она умерла...

— Однако, намъ пора,—заклучилъ, вставая, Фокинъ:— пойдемъ въ домъ... Будущій министръ финансовъ уже навѣрное гласитъ тамъ о любимомъ своемъ предметѣ, о близкомъ будто бы, изъ-за нынѣшнихъ порядковъ, государственномъ банкротствѣ Россіи,—чтобъ ему черти ѣсть не давали на томъ свѣтѣ, какъ онъ утормъ-то меня, расподѣлюющій человѣкъ, настращаль съ этою роспиской...

Возвратясь къ остальнымъ гостямъ, Фокинъ оставилъ Ветлугина, а самъ ушелъ заняться размѣщеніемъ приведенныхъ военныхъ музыкантовъ и фейерверка. Ветлугинъ присѣлъ въ заѣздъ.

Въ одномъ углу этой комнаты, за карточнымъ столомъ, сидѣли Клочковъ, хозяинъ дома и два посредника. Они говорили о назначеніи новаго губернатора, причѣмъ одинъ изъ посредниковъ утверждалъ, что губернаторъ—изъ нынѣшнихъ, богатъ, имѣетъ сто тысячъ дохода и вмѣстѣ такой обходительный, такой обходительный.

— А ужъ насчетъ глядѣнія въ сторону,—замѣтилъ Клочковъ:— такъ этотъ еще почище, чѣмъ нашъ нынѣшній-то двужильный.. Никакихъ, говорить, направленій не потерплю;—ни на земство, ни противъ земства, ни за школы, ни противъ школъ,—сиди въ своемъ вертоградѣ и молчи, какъ бы ничего этого не было, или какъ бы все это было и даже въ избытѣ. У меня, говорить, взглядъ прямолинейный—гляди въ одну точку, ожидай внушеній, и баста; все остальное—соблазнъ, котораго, разумѣется, я не допущу, и въ этомъ, безъ сомнѣнія, мнѣ помогутъ всѣ добронадежныя силы губерніи.

— Но ихъ уже нѣтъ, этихъ силъ,—сказалъ со вздохомъ, сдавая карты, хозяинъ дома.

— Какъ нѣтъ?—спросилъ Клочковъ.

— А такъ же,—продолжалъ Талищевъ:— развѣ вы не читали послѣднихъ извѣстій?

— Какихъ?

— Пишутъ, что вскорѣ станутъ обсуждать вопросъ о введеніи общей воинской повинности.

— Это еще впереди,—замѣтилъ Клочковъ:—и бабушка вообще надвое сказала...

— Ну, ужъ извините, не надвое,—отозвалась отъ другого карточного стола важная дама:— приступаютъ, и вскорѣ приступаютъ. И чѣмъ, я васъ спрашиваю, вознаграждать насъ

за то, что наши Васи, Вани и Поли будутъ сравнены съ солдатами и ротнымъ офицерамъ, дядюшкамъ нашихъ лакеевъ, станутъ сапожищи чистить?

— И притомъ, за что же это все? за что?—сказалъ, прикрывая королемъ шестерку сосѣда, одинъ изъ посредниковъ:—вѣкъ идетъ, и мы идемъ. Хотѣли, чтобъ либералами были,—мы ими стали: въ комитетахъ о собственности, какъ о прошлогоднемъ снѣгѣ, отзывались, всякій искъ, терпѣніе и сокращеніе выносили, свелись почти на нѣтъ... Раздался голосъ о патриотизмѣ, о нравственномъ преобореніи, — гдѣ мы были? тутъ же... Мы страхомъ божьимъ исполнились, церковныя поучительства вездѣ завели...

— И зачѣмъ имъ все это нагодилось?—прибавилъ Талищевъ:—или Суворовъ и Румянцевъ, говоря по совѣсти, были слабѣе безъ этихъ новѣйшихъ россійскихъ прелестей?

— А нравственность? нравственность?—отозвалась отъ другого карточнаго стола жена мирового судьи:—что почерпнуть у солдатъ наши дѣти? Какой духъ отъ нихъ вынесутъ?

— А манеры, ма-шеръ, манеры?—возводя глаза къ потолку, сказала сидѣвшая возлѣ нея хозяйка дома:—вѣдь въ полкахъ такой сбродъ, такой... дѣти Боноваловъ, барабанщиковъ...

— Притомъ, и всякой пропагандѣ при этомъ будетъ легче, — продолжалъ Талищевъ:—не пройдетъ двухъ-трехъ лѣтъ... Всталъ бы Суворовъ, отпѣлъ бы онъ имъ... впрочемъ, говорить о перемѣнахъ...

Тутъ Талищевъ, оставя карты, вполголоса передалъ слухъ о выходѣ въ отставку нѣсколькихъ высшихъ сановниковъ, въ томъ числѣ разомъ чуть не трехъ министровъ; и о замѣнѣ ихъ такими лицами, о которыхъ никто и не слышалъ и которыхъ онъ чуть ли не самъ откопалъ гдѣ-то въ глубинѣ двадцатыхъ годовъ,—а, наконецъ, и о близкомъ будто бы упраздненіи всѣхъ, не только произведенныхъ, но и предположенныхъ реформъ...

Ветлугинъ не дослушалъ. Силь у него не хватило.

«Да гдѣ же это я?» разсуждалъ онъ, оглядываясь по сторонамъ. Онъ всталъ и вышелъ въ гостиную. Тамъ онъ подсѣлъ къ дивану и принялся просматривать лежавшія на столѣ иллюстраціи.

— Слышали, Авдотья Петровна?—спросилъ старшій сынъ

Талищева нарядную дамочку, жену почетнаго мирового судьи, сидѣвшую съ нимъ у рояля.

Столъ, у котораго расположился Ветлугинъ, отдѣлился отъ рояля рѣшеткой, обвитой плющемъ.

— Чтѣ?—спросила дамочка.

— О матери Измарагда?

— Ну?

Гусарь произнесъ нѣсколько словъ, которыхъ Ветлугинъ не разслушалъ.

— Да что вы шепчетесь? говорите громче! — сказала дамочка.

Гусарь указалъ глазами на плюшовую рѣшетку, за которою сидѣлъ Ветлугинъ.

— Quelle idée! — усмѣхнулась, привываясь вѣромъ, дамочка: — онъ не опасенъ... правда ли, говорятъ, что это — купеческій приказчикъ изъ Кяхты?

— Что вы, что вы! — возразилъ, оглядываясь на рѣшетку, гусарь.

— Да присмотритесь — отъ него, право, нанкой и корицей пахнетъ...

Гусарь, уткнувшись въ платокъ, такъ усердно разсмѣялся, что дамочка принялась его останавливать: дѣлала ему знаки и махала на него платкомъ; онъ же сталъ весь красный, а его старообразное лицо даже прослезилось.

— Ну, такъ что же Измарагда? что? — спросила вполголоса дамочка, видя, что сидѣвшій у стола Ветлугинъ окончательно углубился въ разсматриваніе иллюстрацій.

— Да Вечерѣвскую-то дочку? — отвѣтилъ гусарь: — неужели не слышали?

— Вашу бывшую страсть?

— Бывшую, да! — сказалъ, сладко жмуря глаза, Талищевъ: — теперь вы знаете, кто моя богиня...

— Farceur! — вскрикнула, отвернувшись, дамочка, шловоливо ударяя его вѣромъ по рукѣ: — такъ чтѣ же Измарагда съ Вечерѣвой?

— Сподобила...

— Какъ сподобила?

— А такъ же, настоящимъ, то-есть, манеромъ, — въ аккуратъ, пикнуть не дала... Какъ хотите, дѣло выгодное... Старики не долго протянутъ. Ну, а послѣ нихъ ужъ, разумѣется... и не долго ждать...

— Кто же помогал? кто? неужели?..

Талищевъ опять заговорилъ вполголоса; Ветлугинъ раза два услышалъ имя Ключкова. Въ гостиную въ это время вошли другіе гости. Кто-то слылъ за рояль. Раздались звуки изъ «Прекрасной Елены». Чей-то голосъ фальцетомъ запѣлъ: «Я царь, тыфу! я мужъ царицы». — Ветлугинъ прошелъ въ садъ. — «Толкуйте себѣ», разсуждалъ онъ: «стройте планы—каково-то будетъ ваше разочарованіе?»

Возвратясь черезъ нѣсколько времени къ остальнымъ гостямъ, Ветлугинъ увидѣлъ Милунчикова.

— Гдѣ вы были?—спросилъ онъ его:—я васъ искалъ.

— Я встрѣтилъ здѣсь нашего земскаго подрядчика и все его уговаривалъ что-нибудь сбросить въ цѣнѣ на мостъ,—отвѣтилъ Милунчиковъ.

— Когда же обсужденіе вашего проекта?

— Что-то медлятъ: вѣроятно, послѣ обѣда. На сытый желудокъ, видно, спокойнѣе.

Подошелъ Николушка Талищевъ и сообщилъ, что отецъ проситъ Николая Ильича и Антона Львовича въ кабинетъ.

— Вотъ, господа, — началъ Талищевъ-отецъ, подвигая кресла Милунчикову и Ветлугину:—изъ Петербурга пишутъ, что податная комиссія подходитъ къ концу и что, вѣроятно, въ ней выскажутся за всесловныя подати.

— Что же, давай-то Богъ, — отвѣтилъ, спокойно усаживаясь, Милунчиковъ:—я думаю, этого нельзя не желать.

— Какъ кому, — нѣсколько въ сторону сказалъ старшій Талищевъ:—есть люди, которымъ, безъ сомнѣнія, нечего терять. Эти господа, можно сказать, даже еще выиграютъ въ общемъ водоворотѣ... Перепадутъ кое-какія крупинки...

Милунчикова передернуло. Всѣмолча впились въ него глазами.

— Вы утверждаете, — началъ онъ: — что люди бѣдные, люди безъ состоянія, готовы на всякія крайности. Устраните ихъ бѣдность, и они вамъ грозить не станутъ. Если у меня нѣтъ собственности, это еще не значитъ, чтобы я ее не признавалъ и не уважалъ. Нѣтъ собственности сегодня, она у меня, при моихъ трудахъ, можетъ быть завтра... Но вы не мѣшайте мнѣ трудиться, а главное — не берите съ меня болѣе того, что вы сами даете.

— Ну, дяденька, — не вытерпѣлъ на это Ключковъ:—поправляю васъ, это—ученіе санкюлотовъ...

Варывъ хохота покрыть эти слова.

— Я ужъ вамъ однажды сказалъ, что вы—неудавшійся фарисей,—отвѣтилъ, стараясь не выйти изъ себя, поблѣднѣвшій Милунчиковъ:—но, впрочемъ, вы и этого названія не стоите... потому что...

— Договоривайте, договаривайте, россійскій Мирабо,—насильно посмѣиваясь, сказалъ Ключковъ.

— Да что! — презрительно отрѣзалъ, вставая, Милунчиковъ:—еще вѣрнѣе выразиться, вы—даже не земскій дѣятель, а земскій яретка...

Въ кабинетѣ настала мертвая тишина. Большинство слушателей потушило глаза. Талищевъ-отецъ не зналъ, что дѣлать. Ключковъ сидѣлъ опѣшенный, съ раскрытымъ ртомъ и куда-то пропавшими глазами. Милунчиковъ, объ-руку съ Фокинымъ, молча вышелъ изъ кабинета.

— Однако, онъ тебя отбрлил!—замѣтилъ кто-то Ключкову.

— Сочтемся... Не то еще ему будетъ,—злбно отвѣтилъ, уходя съ Романомъ Талищевымъ, Ключковъ:—я ему все припомню... да и Фокину, который съ нимъ дружить...

— Вотъ, подите съ ними,—заговорилъ, подсаживаясь къ Ветлугину и утирая лицо, Талищевъ-отецъ:—индо въ потъ прошибли. Не могутъ не сцѣпиться. Какъ сошлись, такъ и пошла писать: соперники...

— Что же, пора бы и обѣдать?—выполголоса отнеслась къ мужу вошедшая хозяйка.

— И я думаю. Все ждали вотъ и къ дѣлу еще не приступили.

— Кого вы ждете?—спросилъ Ветлугинъ.

— Вечерѣва. Онъ остался ожидать у меня на заводѣ своего пріятели Ченшина. Да, видно, тотъ запоздалъ. А отъ завода не далеко и до другой вотчины Вечерѣва. Какъ бы не пробѣжалъ туда на встрѣчу своему пріятелю. Очень ужъ они дружны.

— Кто этотъ Ченшинъ?

— Золотопромышленникъ, богачъ. Намъ бы его участіе было очень полезно.

Позвали всѣхъ обѣдать. Въ окна столовой съ крыльца раздался хоръ трубачей. Идя съ другими изъ кабинета, Ключковъ сказалъ въ столовой Фокину: «А вы, дружище, готовьте свои кишечки: будетъ у насъ погромъ, на перваго на васъ напустимъ доморощенныхъ Пугачевыхъ, чтобъ вы

поменьше любезничали съ меньшими братьями и не прибавляли имъ, на чужой счетъ и въ подрывъ сосѣдямъ, разныхъ льготъ и облегченій».

— Я не долго буду вашимъ сосѣдомъ... уже просить у Павла Федоровича расчетъ... Не могу-съ..

— Ну, это еще мы увидимъ.

За обѣдомъ Клочковъ, перешепнувшись съ старшимъ Талищевымъ, то-и-дѣло подливалъ Фокину вина. — «Да не пью же я, Петръ Ивановичъ, — отозвался тотъ, — говорить вамъ, что не пью! Мнѣ нездорово, запрещено». — «Вздоръ!» — перебывали его услужливые сосѣди.

Настроение взрослыхъ перешло и на юное поколѣнiе, подъ предводительствомъ Николушки Талищева возсѣдавшее на другомъ концѣ стола. Хозяинъ дома сперва было защищалъ своего управляющаго. А потомъ и онъ, подвыпивъ портеру и соображая, что этотъ бука-Фокинъ, какъ разъ передъ рабочей порой, попросилъ у него расчета, махнулъ на все рукой и самъ, не безъ удовольствiя, сталъ слѣдить за нападками на него Николушки и его друзей. «Да потѣшайтесь вы! чтобъ васъ!» думалъ Павелъ Федорычъ, поглядывая на шумѣвшую вокругъ него веселую компанiю: «въ самомъ дѣлѣ, отчего бы Фокину и не пить? Въ наши дни, въ старину, такимъ господамъ вино выливали за галстукъ»...

Взволнованной и подгулявшей компанiи нужна была искупительная жертва. И эта жертва нашлась...

## XXI.

### П о с о л ъ.

Послѣ обѣда дамы рѣшили кататься. Онѣ уговорили хозяйку и нѣкоторыхъ изъ мужчинъ, въ томъ числѣ Ветлугина, и въ трехъ экипажахъ спустились къ рѣкѣ, съ цѣлью проѣхать къ заливу, противъ котораго былъ расположенъ Краснокутскiй монастырь. Ветлугинъ охотно согласился на эту прогулку. Вечерѣвъ не являлся; Милунчиковъ съ прочими гласными былъ приглашенъ въ кабинетъ, гдѣ, наконецъ, началось обсужденiе разныхъ проектовъ, въ томъ числѣ записки Клочкова. Остальные гости не занимали Ветлугина.

«Какая тоска, — думалъ онъ, прислушиваясь къ ихъ рѣчамъ, — все измѣняется на свѣтѣ: только сужденiя и анекдоты этихъ господъ тѣ же, что были еще въ тѣ времена,

какъ я учился азбукѣ и ходить въ курточкѣ и въ дѣтскихъ воротничкахъ».

Поѣздка къ заливу не удалась: рѣка, отъ прорыва чьей-то плотины, затопила въ томъ мѣстѣ луга. Ѣздили въ монастырскую рошу. Возвратились поздно вечеромъ.

Ветлугинѣ отыскалъ Милунчикова.

— Что съ вами, Николай Ильичъ?—спросилъ онъ:—вы будто не въ духѣ...

— А, прахъ ихъ поberi; это — не слуги края, а враги. Ужъ я спорилъ-спорилъ. Непремѣнно подамъ протестъ. Потому только и норовятъ вести дорогу на эти мѣста, что здѣсь ихъ собственныя норы... Возмутительно. Особенно этотъ Ключковъ. Онъ меня до того взбѣсилъ, до того... Ёдемъ!.. Велю сейчасъ запрягать. Надо только условиться еще кое-о чемъ съ нашимъ подрядчикомъ. Подождите меня.

Милунчиковъ вышелъ въ садъ. Въ это время на крыльцѣ разносили чай, ликёръ и мороженое.

На одной изъ дорожекъ къ нему подошелъ младшій хозяйскій сынъ. Объ руку съ Николушкой шелъ его пріятель, гимназистъ Коребякинъ.

— Разрѣшите нашъ споръ, — отнесся послѣдній къ Милунчикову. Николай Ильичъ остановился.

Коребякинъ былъ юноша лѣтъ восемнадцати, нѣсколько суроваго вида, плотно стриженный, дебелый, сутуловатый и застѣнчивый. Круглый сирота, безъ протекцій и поощреній, пробившись до седьмого класса гимназіи, онъ, отъ природы не одаренный блестящими способностями, учился весьма усердно, былъ на хорошемъ счету у товарищей и страшно трусилъ срѣзаться на выпускномъ экзаменѣ. Онъ втихомолку строилъ планы о томъ, какъ, по выходѣ изъ гимназіи, займетъ у отца Талищева денегъ, уѣдетъ въ Петербургъ, поступитъ тамъ въ университетъ, выдержитъ экзаменъ на кандидата, а тамъ и на магистра, добьется каедръ, — словомъ, плавалъ въ волшебныхъ мечтахъ. Экзамены были на носу. Въ Рѣчное, по зову Николушки, онъ пріѣхалъ дня на два съ кѣмъ-то изъ городскихъ гостей. «Подготовлю почву», — думалъ онъ: «тамъ и за экзамены. Николушка моими тетрадами только и жилъ — и не замѣтитъ моей нужды онъ не можетъ». — Николушка, однако, его нужды не замѣчалъ. Онъ уже успѣлъ пріобрѣсти ту своеобразную дальнозоркость, при которой иные смертные ни



чего не видать вблизи, хотя зато все отлично видать вдали. Юный Талищевъ давно уже глядѣлъ на остальныхъ людей не прямо, не въ лицо, а какъ-то поверхъ головы, черезъ человѣка, точно стоявшіе передъ нимъ были до того малы, что ихъ нельзя было и замѣтить.

— Въ чемъ же у васъ, господа, споръ? — спросилъ Милунчиковъ, бывшій въ дружбѣ съ Коребякинымъ.

— Коребякинъ увѣряетъ, — началъ Николушка: — будто скоро уничтожать чипы. Возможно ли это?

— Да, — отвѣтилъ разсѣянно Милунчиковъ: — онъ правъ. Въ Англіи, да и въ другихъ странахъ, чиповъ давно нѣтъ. Тамъ я сегодня — пивоваръ, завтра — членъ палаты общинъ, а черезъ мѣсяцъ министръ и канцлеръ королевства, или, какъ въ Америкѣ, — даже и главнокомандующій.

— То въ Англіи и въ Америкѣ, а мы въ Россіи, — возразилъ Николушка, глядя сквозь лорнетку на носки собственныхъ ботинокъ.

— Такъ что же, что въ Россіи? — перебилъ Коребякинъ: — издадутъ законъ, и у насъ не будетъ чиновъ.

— А то, — усмѣхнулся юный Талищевъ: — что пока вы, господа, будете мечтать объ изданіи этого закона, я попаду въ мировые судьи, а тамъ, при связяхъ отца, въ члены окружнаго суда; года черезъ три-четыре меня сдѣлаютъ председателемъ суда, тамъ уже не далеко и въ члены судебной палаты, а следовательно, и въ генералы... Вотъ и говори мнѣ тогда: ваше превосходительство... И буду я васъ, молодчикъ, въ тѣ поры, принимать не иначе, какъ по докладу дежурнаго...

— Ну, это еще мы увидимъ, — сказалъ не совсѣмъ увѣренно Коребякинъ: — до той поры какъ бы не упразднили не только чипы, но и способъ раздачи мѣстъ...

Юноши, какъ видно, черезчуръ хватили ликёру и потому болтали нѣсколько неумѣренно.

— Ай, ай, въ ваши годы, Николай Павлычъ, и такія сужденія! — какъ бы про себя, хмури брови, замѣтилъ Милунчиковъ: — немного же вы внесете въ ваше поколѣніе...

— Чего-съ? — обидѣлся и вскинулся по уши юный Талищевъ: — лучше бы вы читали наставленія своему брату, но другимъ.

— Нечего мнѣ ему читать наставленій; онъ самъ за собой смотритъ.

— Плохо же онъ смотреть, — усмѣхнулся озлившійся юноша: — былъ бы умнѣе, не попался бы въ исторію, что его обыскали и ссылають.

— Что за вздоръ? въ какой исторіи? — мѣнялся въ лицѣ, спросилъ Милунчиковъ: — кто это вамъ сказалъ? отбѣчайте, или...

— Нечего грозить, нечего; я и такъ съ удовольствіемъ сообщу. Тайны нѣтъ никакой. Спросите у любого; это всѣмъ разсказалъ мой братъ...

«Новая безчестная клевета! что за мерзости!» пробѣжало при этой вѣсти въ головѣ Милунчикова. Онъ не взвидѣлъ свѣта передъ собой и, не слыша, что ему далѣе говорить, вѣрный Талищевъ, бросился отыскивать старшаго брата, Романа Павлыча.

Подъѣзжая отсутствіемъ дамъ, старшій Талищевъ въ саду, подъ вербами, затянулъ «Феню». Друзья подхватили хоромъ. Онъ скинулъ венгерку и, въ красной канаусовой рубашкѣ, вскрикивая и вскидывая кверху руки, пустился въ присядку. Его примѣру послѣдовалъ его другъ, уланъ Подсыпанінъ, за уланомъ — секретарь окружнаго суда. Всѣ были въ духѣ, веселы и беззаботны. Ликѣрь и прочіе напитки начинали оказывать свое дѣйствіе.

Когда гусарь кончилъ пляску, Ключковъ взялъ его подъ руку, отошелъ въ сторону и сталъ съ нимъ шептаться. Вслѣдъ затѣмъ гусарь вмѣшался въ кругъ молодежи и вполголоса сказалъ:

— Господа, дамы еще въ уборной... Слѣдовало бы кое-съ-гдѣмъ раздѣлаться. Среди насъ есть человѣкъ, котораго не мѣшаетъ проучить, хотя бы только для острастки...

— Кто такой? кто? — подхватили слушатели.

— Нашъ управляющій, Фскингъ, — отвѣтилъ, озираясь, гусарь: — онъ непременно что-нибудь умышляетъ. За обѣдомъ ничего, какъ есть, не пилъ; а послѣ обѣда ни съ того, ни съ сего, попросилъ у отца расчесть. Онъ только слушалъ насъ... Не напоить ли его общими силами?

— Напоить, напоить! — отозвались довольные голоса.

Тотчасъ же вызвалась гучка охотниковъ. Самого гусара въ это время отозвалъ въ сторону подошедшій, съ нахмуреннымъ лицомъ, Милунчиковъ. А пока они отправлялись объясняться въ дѣмъ, остальные брѣсаясь отыскивать Фокина. Они его нашли у пруда, за устройствомъ выписан-

наго изъ города фейерверка. Подъ предлогомъ разрѣшенія какого-то пари, они дружески провели его въ садъ и сперва ласково, потомъ настойчивѣе стали требовать, чтобы онъ пилъ.

Ничего не подозрѣвая и видя въ постояннѣе подгуливающихъ палуновъ одну изъ обычныхъ этой братіи забавъ, Фокинъ началъ-было отпучиваться, упираться ногами и руками, брыкаться и даже подпрыгивать, причемъ опрокинулъ нѣсколько поднесенныхъ ему старановъ вина. Шутники перемигнулись, подхватили его подъ руки и увели въ амбаръ, временно преобразованный въ довольно удобное помѣщеніе для гостей. Вслѣдъ затѣмъ здѣсь произошла сцена, какой, разумѣется, не ожидали не только управляющій Талищева, но и сами расходившіеся шутники.

Фокинъ, въ неравной борьбѣ, порядкомъ толкнулъ младшаго хозяйскаго сына. Николушка освирѣпѣлъ, при помощи другихъ повалилъ Фокина на кресло, а потомъ на диванъ, надавилъ ему грудь колѣномъ и крикнулъ: «ну, господа, теперь помогайте!» Кто-то схватилъ Фокина за руки, а остальные съ хохотомъ стали ему насильно лить въ ротъ вино, а потомъ и водку. И когда, наконецъ, появившій грозу Фокинъ началъ съ ругательствами стыдить обезумѣвшихъ озорниковъ, стиснулъ челюсти и спряталъ въ уголъ дивана голову, нападающіе вспомнили, что они еще недавно были всемогущими потентами своихъ околотковъ, и общими силами—юные и взрослые—навалили на Фокина...

Ветлугинъ ничего этого не зналъ. Клочковъ, подзадоривъ другихъ, подослалъ къ Антону Львовичу одного изъ членовъ уѣздной управы. Этотъ послѣдній догналъ Ветлугица въ концѣ двора и, выйдя съ нимъ за ворота, сталъ ему объяснять свой давнишній проектъ о необходимости поощренія прочныхъ и неизмѣнныхъ стихій въ государствѣ, о замѣнѣ сельскихъ школъ древонасажденіями и почвоорошеніями. Этотъ господинъ говорилъ долго и съ азартомъ, присюсюкивая и брызгая слюною. Ветлугинъ не зналъ, куда отъ него дѣться.

На пути ко двору Антонъ Львовичъ услышалъ какой-то странный и какъ бы задержанный, щемившій душу крикъ. Онъ остановился, повелъ глазами къ крышѣ Талищевского амбара и остолбенѣлъ...

По гребню амбара, прячась за его слуховое окно, безъ шапки и въ разорванномъ сюртукѣ, пробирался Фокинъ.

Во дворѣ, глядя на амбаръ, толпилась часть Талищевскихъ гостей.

Въ сторонѣ, съ ручной пожарной трубой, стоялъ Николушка Талищевъ. Онъ качалъ изъ бочки воду. Другіе, пересмѣиваясь и громко разговаривая, ждали, что изъ этого будетъ.

— Что вы, что вы, господа? — сказали, подходя въ Талищеву, Ветлугинъ: — какъ вамъ не стыдно? управляющій вашего батюшки...

— Да вода не холодная, — отозвался совсѣмъ охмелѣвшій Николушка: — надо же его согнать оттуда... Еще ушибется... Онъ вырвался отъ насъ и пролѣзъ въ слуховое окно...

— Да что глядѣть! — крикнулъ кто-то изъ толпы: — качай, Талищевъ, и цѣлись...

— Антонъ Львовичъ, крикните людей! — отозвался съ крыши Фокинъ.

— Лучше лѣзьте опять въ окно! — захохоталъ, цѣлясь въ него трубой, Николушка.

Судьбѣ было угодно положить предѣлъ этой исторіи. Съ выгона загрѣмѣли колеса двухъ экипажей. То подъѣзжали новые гости.

Шутники разбѣжались.

Осада съ Фокина была снята.

Ветлугинъ, при помощи подоспѣвшихъ на его зовъ дворовыхъ, досталъ лѣстницу и снялъ съ амбара взволнованнаго и огорченнаго до слезъ Фокина. Они прошли во флигель.

— Вотъ они, передовые-то! вотъ вожди народа! — съ скрежетомъ зубовъ въ бѣшенствѣ восклицалъ Фокинъ: — и это теперь-то, теперь, во дни реформъ... Что же было прежде, Антонъ Львовичъ, прежде?

Обмывъ грязь и даже слѣды крови съ своихъ рукъ и съ лица и кое-какъ снова пріодѣвшись, Фокинъ приказать косолапому мальчнкѣ-слугѣ скорѣ снаряжать ему въ повозку кони и объявить, что тотчасъ же ѣдетъ въ городъ, съ жалобой къ судебному слѣдователю. Ветлугинъ также рѣшилъ немедленно отсюда уѣхать. Онъ пошелъ отыскивать Милунчикова.

— Это вы, Антонъ Львовичъ? — спросилъ, встрѣтись съ нимъ среди окончательно стемнѣвшаго двора, Коробякинъ: — куда идете?

— Ищу Милунчикова. Мы условились съ нимъ отсюда ѣхать вмѣстѣ.

— Опоздали, онъ уже уѣхалъ.

— Куда?

— Да гдѣ же вы были, что ничего не знаете?

— Я былъ у Фокина.

— Да, слышалъ, слышалъ, и съ нимъ исторія... бѣдный!

— Но что же съ Милунчиковымъ?

— У него что-то вышло съ Романомъ Павлычемъ. Они долго и крупно говорили, и вслѣдъ затѣмъ Ключковъ увелъ Талищевъ въ кабинетъ, а Милунчиковъ крикнулъ лошадей и уѣхалъ. Это у нихъ часто бываетъ. Вамъ же онъ поручилъ сказать, что извиняется—дѣло встрѣтилось... Охъ, въ воздухѣ накопилось много горячихъ веществъ. Быть, кажется, грозъ... Надо въ городъ возвращаться, выпускные экзамены у насъ начинаются, а надо къ Милунчикову, онъ очень просилъ къ себѣ...

Ветлугинъ возвратился къ Фокину и сообщилъ ему слышанное,

— Что же, ѣдемъ въ городъ теперь вмѣстѣ, — сказалъ ему Фокинъ:—не скакать же вамъ ночью къ Вечерѣвымъ верхомъ.

— Нѣтъ, не могу, я имъ далъ слово возвратиться сегодня. Попрошу у васъ провожатаго...

Въ сѣняхъ въ это время послышался разговоръ.

— Кто тамъ?—окликнулъ Фокинъ.

— Письмо барину, — отвѣтилъ мальчикъ-слуга, подавая Ветлугину пакетъ.

— Кто привезъ?—спросилъ не совсемъ спокойнымъ голосомъ Ветлугинъ, вскрывая печать.

— Вечерѣвскаго попа, что ли, дьячокъ... Поповна, скаываетъ, на бѣговыхъ дрожкахъ прислала...

Письмо было отъ Фросиньки. Оно состояло въ слѣдующемъ:

«Произошло неслыханное и ужъ на этотъ разъ совершенно неслыханное, печальное событіе. Перо падаетъ у меня изъ рукъ. Но васъ надо предупредить, я и пишу. Вслѣдъ за вашимъ отъѣздомъ, Аглая Кирилловна, несмотря на извѣстныя вамъ объясненія и рѣшенія, вдругъ и ужъ теперь, кажется, окончательно измѣнила образъ своихъ мыслей. Опа, — по двумъ-тремъ словамъ, переданнымъ мнѣ, — въ минувшую ночь увидѣла какой-то глубоко поразившій ее сонъ и сегодня рано объявила матери, что безповоротно и немедленно поступаетъ въ монастырь... Матушка ли ей

все у нея выпытала и снова пригрозила ей всякими страстями, или и въ себѣ ужъ она, сердечная, усомнилась... Только теперь онѣ заперлись у себя и никуда не выходить. Ульяна Андреевна стережетъ ее, какъ архангелъ съ грознымъ мечомъ, и никого, даже Егоровны, къ ней не допускаетъ. Какъ онѣ поступить? неизвѣстно. Полагаю, однако, что дождутся Кирилла Григорыча». — *Притиска:* «Это я вамъ писала утромъ. Посланный возвратился отъ Ключкова и сказалъ, что васъ тамъ нѣтъ. Посылаю въ Рѣчное. Не тамъ ли вы?—Наши ждутъ съ часу на часъ Кирилла Григорыча. Приѣзжайте скорѣе. Можетъ-быть, не все еще потеряно. Васъ старикъ любить и послушается. Не придумаю ли съ нимъ чего-нибудь для спасенія Аглаи? Посылаю нашего дядьку съ тѣмъ, чтобы онъ сперва заѣхалъ на заводъ Талищева,—не тамъ ли вы съ Кирилломъ Григорычемъ, а потомъ въ Рѣчное. Слѣшите, хотя надежды мало, но, быть-можетъ, сила любви сдѣластъ то, чего не способны сдѣлать другія людскія средства. Вы другъ друга такъ полюбили... Притомъ же... ну, да остальное при свиданіи... Слѣшите... Уважающая васъ, покорная слуга — Евфросинія Верхоустинская».

Ветлугинъ какъ сумасшедшій бросился въ сѣни и на крыльцо, потомъ возвратился, хотѣлъ что-то сказать Фокину и обезсиленный упалъ на кресло.

— Что съ вами? — испуганно спросилъ Фокинъ, видя блѣдное, измѣнившееся лицо Ветлугина.

— Ничего, такъ себѣ. По одному торговому дѣлу почувилъ непріятное извѣстіе отъ Вечеревыхъ.

Фокинъ подозрительно покосился на него. «Странно!—подумать онъ,—гостилъ у Вечеревыхъ, а переписывается съ Фросинькой. Ужъ не влюбился ли онъ въ нее?»

— Письмо къ вамъ Верхоустинская прислала?—спросилъ перѣшительно Фокинъ.

— Да.

— Какъ вы ее находите?

— Славная, славная она, добрая такая — ослѣпить хорошаго человѣка, ослѣпить, — протянулъ Ветлугинъ, самъ не сознавая, что говоритъ.

И вдругъ онъ опять вскочилъ.

— Не могу, — сказалъ онъ: — не могу, извините меня. Прощайте, до свиданія. Надо ѣхать... А будете когда-нибудь

въ городѣ, вотъ вамъ адресъ; меня не найдете, такъ отца.

Крѣпко пожавъ руку озадаченнаго Фокина, онъ опять вышелъ на крыльцо, отыскавъ дычка, предложилъ ему въ дрожки запрячь свѣжаго Вечерѣвскаго коня и сказалъ:

— Веди его, голубчикъ, сторожкой, къ пруду; а я схожу въ домъ, попрошусь съ хозяевами... своего коня привяжи сзади.

Онъ вошелъ въ переднюю, одѣлся. Его никто не замѣтилъ. Слуги толпились у двери въ залу. Изъ сада гремѣлъ хоръ гусаровъ-трубачей. Начались танцы. Ветлугинъ рѣшился уѣхать, никого не беспокоя. Онъ прошелъ въ садовую калитку. Обогнувъ уголъ дома, онъ обернулся. Въ одно изъ оконъ въ садъ было видно, какъ по залѣ двигались танцующія пары и какъ, въ какой-то фигурѣ кадрили, маленькая фалдочками фрака, легкимъ зефиромъ носился по паркету и любезничалъ съ первой красавицей бала Ключковъ. Визави съ нимъ, съ Авдотьей Петровной танцевалъ румяный, раздушенный и завитой гусаръ, Раша Талищевъ.

Пройдя садъ, Ветлугинъ вышелъ къ плотинѣ, сѣлъ съ дычкомъ на дрожки и поѣхалъ въ Дубен.

— Что, почтенный, такъ запоздалъ? — спросилъ онъ дычка.

— На заводъ еще было велѣно заѣхать.

— Кирилы Григорыча тамъ ужъ не засталъ?

— Отѣхали.

— Куда?

— Знать, домой. Какъ-нибудь разминутись въ лѣсу. На заводъ кумъ у меня при амбарѣ; такъ лошаденку подкормилъ и самъ маленьчко вздохнулъ. Теперь мы напрамикъ. Мигомъ доѣдемъ.

Путь нѣкоторое время шелъ лугами.

Проѣхавъ версту-другую, Ветлугинъ черезъ рѣку въ темнотѣ, какъ бы на воздухѣ, увидѣлъ ряды яркихъ огней.

— Что это? — спросилъ онъ: — не монастырь?

— Онъ, сударь, самый и есть, — отвѣчалъ дычокъ: — посвященнѣйшій владыко храмъ вчера здѣсь-ча у купцовъ на заводъ святилъ и переѣхалъ по дорогѣ въ Красный-Кутъ. Нешто вы не были нонче въ обители у обѣдни? Много, сказываютъ, было народу, здѣшнихъ и дальнихъ... А это, вонъ, монастырскія окна такъ сияютъ на радости, что всемилостивѣющій нашъ владыко архипастырь сподобилъ посѣщеніемъ — какъ мать игуменью, такъ и всѣхъ

тутошнихъ сестёръ. Нылъ-жъ, сказывалъ встрѣчный народъ, въ присутствіи архимастыря, введенскій городской іеромонахъ ксати постригалъ очередныхъ бѣлицъ... Оно, къ случаю, всегда такъ бываетъ... Вы, баринъ, однако, потише... Гдѣните, точно на курьерскихъ... Моя пѣгашка, въ такомъ разѣ, за вашею не посигѣтъ, — какъ бы еще и ногъ не протянула.

Тутъ только Ветлугинъ обратилъ вниманіе на то, что конь его спутника былъ далеко не изъ рѣзвыхъ, притомъ значительно утомленъ. Да и мирный служитель храма уже давно одною рукою держась за коврикъ дрожекъ, а другою за собственную, сѣрую пуховую шляпу, на каждомъ толчкѣ подпрыгивая за спиной Ветлугина, едва успѣвалъ переводить духъ.

Путь отъ Рѣчнаго къ Дубкамъ, то ускоряя, то замедляя бѣгъ коня, Ветлугинъ проѣхалъ въ сильномъ волненіи.

Бойкій конь Вечерѣва несея шибко. Поповская пѣгашка также сначала-было рассказкалась, но потомъ стала сильно натягивать поводъ. — «Нѣтъ, лучше я встану, — побѣду верхонъ! — сказалъ дычокъ: — а то оторвется еще, и не поймашь». — Это было уже невдалекѣ отъ Дубковъ, когда съ вершины зарѣчнаго холма, въ лунномъ сіяніи, обрисовался очеркъ Вечерѣвской усадьбы и повѣяло запахомъ близкаго сада у рѣки.

Чего не передумалъ въ эти часы Ветлугинъ!

Вглядываясь въ ночную тьму, онъ соображалъ, отчего не видно огня въ верхнемъ окнѣ дома? Тамъ ли Аглая, или внизу, въ кабинетѣ у матери? И что за сонъ такой она видѣла?

Странныя картины проходили въ мысляхъ Ветлугина. Опъ будто въ церкви. Стоитъ передъ алтаремъ, рядомъ съ Аглаей. Ихъ вѣчаютъ. Съ клироса гремитъ хоръ пѣвчихъ, а въ глубинѣ, между темныхъ колоннъ, въ длинныхъ черныхъ мантияхъ и скуфьяхъ, толпятся нахлынувшія монахини. Онѣ окружаютъ Ульяну Андреевну и съ блѣдными, угрожающими лицами что-то шепчутъ, показывая на него... «Грѣхъ, великій грѣхъ!» — говоритъ еле-живая отъ страха Аглая. — «Ты не бойся, — отвѣчаетъ онъ: — все кончено, ты моя...» Они выходятъ изъ церкви, садятся въ карету. Свѣжій вечеръ гаснетъ надъ полями. Лошади мчатся. А сзади



песется грозная погоня черныхъ мантий и клобуковъ... Слышатся крики: «держи ихъ, держи!...»

— Вотъ и пріѣхали, — сказалъ, нагнавъ Ветлугина на взгорьѣ, дычка: — вы себѣ спускайтесь, а я дойду пѣшкомъ; что-то ужъ больно подбился... на вашей раструскѣ... попенницу ломить...

Ветлугинъ поблагодарилъ дычка, съѣхалъ къ рѣкѣ, миповалъ бродъ, привязалъ лошадь съ дрожками у сада къ вербѣ, перелѣзъ черезъ ограду и впотьмахъ, знакомыми дорожками, направился къ балкону.

Мѣсяцъ склонялся къ закату. Теплая майская ночь стояла во всей красотѣ и таинственности, безъ птичьихъ криковъ и звона стрекозъ, съ ярко-мерцавшимъ звѣзднымъ небомъ, съ свѣтяками въ травѣ и въ кустахъ и съ благоуханіемъ, полного дремоты, росистаго сада.

Ветлугинъ останоился.

«Не пойти ли прежде къ Фросинькѣ? — подумалъ онъ, — не разбудить ли и не вызвать ли ее? Что произошло, послѣ ея письма ко мнѣ, съ Аглаей? Э! Прямая дорога — самая короткая... Надо немедленно и теперь же видѣться не съ Фросинькой, а съ самой Аглаей... Но какъ съ нею видѣться? Какъ ей дать знать, что я здѣсь, въ саду, у ея окна?»

Ветлугинъ терлся въ догадкахъ. — «Переднее крыльцо въ домѣ, — разсуждалъ онъ, — навѣрное заперто. Съ двичьяго же крыльца и подавно невозможно проникнуть къ Аглаѣ, такъ какъ у входа къ ней изъ коридора — спальня Ульяны Андреевны. Сверхъ того, на крыльцахъ, по деревенскому обычаю, надо думать, спать очередные сторожѣ. Балконъ и подавно, вѣроятно, запертъ. А повидаться съ Аглаей, сказать ей нѣсколько словъ — необходимо».

Ветлугинъ неслышными шагами обошелъ домъ, постоялъ у обонхъ крылецъ, гдѣ явственно слышался хланъ спавшей прислуги, и съ замираніемъ сердца тронулъ ручку балконной двери... Дверь оказалась не заперта.

«Не войти ли въ домъ и не проникнуть ли, черезъ бібліотеку и коридорную лѣстницу, вверхъ, въ комнаты Аглаи?»

Эта смѣлая мысль явилась непрошено, мгновенно. Точно трубный звукъ она отозвалась въ ушахъ Ветлугина и обдала его холодомъ и страхомъ. Волосы шевельнулись на его головѣ...

«Невозможно... безуміе! — сказалъ онъ самъ себѣ: — по чему же невозможно?... Въ домѣ спать; я пройду тихо, незамѣтно — уговорю ее — завтра будетъ поздно...» Ему вспомнилось бѣство Казановы изъ-подъ свинцовой тюремной крыши въ Венеціи, страница изъ какой-то легенды о лѣстницѣ, свитой изъ бѣлокурыхъ косъ заточенныхъ въ башнѣ и обреченныхъ на казнь монахинь...

Дыханіе Ветлугина замерло, глаза застлало туманомъ. Онъ вошелъ въ гостиную. Полъ скрипнулъ подъ его ногами. Въ залѣ также раздался какой-то звукъ, будто тоже подъ чьею-то ногой тамъ заскрипѣла половица. Ветлугинъ переждалъ, вошелъ въ библіотеку и остановился. Ему показалось, что кто-то въ это время глянулъ на него въ окно изъ сада: то былъ блѣдный ликъ заходившаго надъ деревьями мѣсяца...

«Что со мной и что я дѣлаю? — пробѣжало опять въ головѣ Ветлугина: — я — гость, я — посторонній, заѣзжій, и пробираюсь почью въ комнаты дочери пріютившаго меня челоука! Нѣтъ, прочь отсюда, прочь!»

Ветлугинъ, однакоже, не остановился. Онъ вошелъ въ дѣвичью, въ коридоръ, ностоялъ передъ дверью Ульяны Андреевны и началъ взбираться по лѣстницѣ къ комнатамъ Аглаи. Окно въ дѣвичьей было раскрыто, и въ него, съ ночной прохладой, проникало сіяніе заходившаго мѣсяца.

Въ это мгновеніе, будя ночную тишину, раскатисто и звонко заржалъ оставленный за садомъ конь. Ему по близости отвѣтило ржаніе поповой пѣганки.

«Ну, и отлично, — подумалъ Ветлугинъ, — дѣячокъ отвѣжетъ коня и отведетъ его на конюшню».

Съ этою мыслью, Ветлугинъ миновалъ послѣднія ступени лѣстницы и уже взялся за ручку двери въ комнату Аглаи.

На дворѣ ясно прозвучали копыта Вечерѣвскаго коня, домовито и ласково фыркавшаго, въ ожиданіи близкаго стойла и корма. На дѣвичьемъ крыльцѣ потянулся одинъ изъ сторожей и, громко зѣвнувъ, что-то проговорилъ, точно сказалъ товарищу: — «А баринъ-то этотъ?... пробирается къ барыни... — Не вслохнутъ ли его?»

Вправо, на себѣ, какъ бы невзначай наравившись на кого, трусливо и злобно зачала испуганная голосистая собачонка. Гдѣ-то изъ стенокъ и ужъ точно не въ этой деревнѣ, а дагдѣ, крикнулъ одинокій, чуть слышимый пѣтухъ. И опять тишина...

Ветлугинъ перевелъ дыханіе.

Держась одной рукой за поручень лѣстницы, другую онъ протянулъ передъ собой, коснулся внотьмахъ двери, бо-режно нажалъ ея скобу, и дверь безъ усилій отворилась.

Лунный свѣтъ слабо освѣщалъ эту комнату.

— Аглая, Аглая!—шепнулъ Ветлугинъ.

Отвѣта не было.

— Аглая!—повторилъ онъ.

Никто не отвѣчалъ.

Ветлугинъ подошелъ къ окну, въ которое изъ сада видѣлась вершина сосѣдней липы, отворилъ его и сталъ со-ображать, что это за комната?

«Что, какъ дьячокъ, отвѣдя коня, изъ усердія разбудить кого-нибудь изъ прислуги, и меня стануть тутъ искать?»—пронеслось въ мысляхъ Ветлугина.

Не успѣлъ онъ это подумать, какъ внизу подъ липой, въ то же мгновеніе послышался шорохъ чьихъ-то торопливыхъ и, казалось, тревожныхъ шаговъ...

## XXII.

### Молитвенникъ.

Ветлугинъ сталъ ни живъ, ни мертвъ. Въ глазахъ его потемнѣло. Онъ сталъ за откосъ окна и изъ-за него взглянулъ внизъ: въ саду, подъ липой, дѣйствительно мелькало что-то бѣлое... Не то служанка, не то сторожъ шарилъ, по-видимому, отыскивая его.

Ветлугинъ еще переждалъ. Наконецъ, онъ вздохнулъ свободнѣе: изъ-подъ дерева беззвучно выкатилась сѣрая собачонка. Прислушиваясь кругомъ, она нѣсколько постояла и, обнюхивая дорожки, убѣжала въ глубь сада.

«Ну что, если здѣсь гдѣ-нибудь, подъ столомъ или подъ диваномъ, спитъ другая собачонка?—полумалъ онъ,—и что если она съ лаемъ кинется на меня и перебудитъ весь домъ?»

Но въ комнатѣ было тихо, какъ и на дворѣ.

Въ правомъ углу, передъ стариннымъ кіотомъ съ обра-зами, стояла погашенная теперь большая лампада. По кре-ламъ и по столу были разбросаны книги, гарусъ и узоры. Къ дивану были придвинуты раскрытыя, съ недоконченной работой, пилыцы. На письменномъ столѣ стояли двѣ до по-ловины обгорѣвшихъ стеариновыхъ свѣчи и вазочка съ по-лузавядшимъ пучкомъ ночныхъ фіалокъ...

Ветлугинъ пѣсколько мновеній постоялъ надъ этимъ пучкомъ, досталъ изъ кармана спичечницу, зажгъ одну изъ свѣчей, заслонилъ ее рукой и поглядѣлъ кругомъ. Изъ комнаты вели двое дверей: одна пальво, въ которую онъ вошелъ, другая направо.

Ветлугинъ заперъ дверь на лѣстницу и подошелъ къ комнатѣ направо.

«Если Ульяна Андреевна проспится, услышитъ мои шаги и придетъ сюда,—разсуждалъ онъ:—я все ей выскажу, все... Я буду съ ней безпопаченъ... Такъ поступать нельзя. Это—но католическій монастырь... Мгѣ давно слово... Я—женихъ... Если же успѣю увидѣть Аглаю одну, безъ свидѣтелей, я ее бережно уседу, мимо матери и сторожей, и мы убѣжимъ... Или нѣтъ,—я ее спрячу въ домѣ у Фросиньки, и завтра же отецъ Адрианъ насъ обѣщаетъ»...

«А что, если Аглая спитъ не одна?—пробѣжало въ его умѣ:—и неужели, наконецъ, здѣсь, за этимъ порогомъ, ея спальня?»

Онъ отворилъ дверь направо. Комната за ея порогомъ оказалась не спальней, а чѣмъ-то въ родѣ классной. Въ такомъ видѣ она, вѣроятно, оставалась съ тѣхъ поръ, какъ въ ней жилъ и учился покойный сынъ Вечерѣва: съ географическими картами, съ рисунками звѣрей, птицъ и насекомыхъ и съ засушенными полевыми цвѣтами подъ стекломъ на стѣнахъ. Не найдя ничего и здѣсь, Ветлугинъ прошелъ въ слѣдующую, какъ видно, послѣднюю комнату. Но и она оказалась также пуста. На этотъ разъ была, дѣйствительно, спальня. Бѣлый кисейный полобокъ закрывалъ чистую, несмятую постель. Шитыя шелкомъ бархатныя туфли лежали возлѣ нея на коврѣ. У изголовья, на кругломъ столикѣ, стояла недопитая кружка воды и лежалъ, заложенный бумажкой, старинный молитвенникъ.

«Аглая не спитъ, — подумалъ Ветлугинъ: — неужели она еще внизу, у матери? Надо ее подождать. Но гдѣ и какъ я спрячусь здѣсь?» Онъ пристально взглянулъ вокругъ. Рядомъ съ уютностью и чистотой, въ комнатѣ былъ страшный безпорядокъ. Въ одномъ углу стоялъ раскрытый сундукъ съ частью выброшеннаго на диванъ и даже на полъ бѣлья. Въ другомъ, на кучѣ сметаннаго, но несвынесеннаго сора, валялась половая щетка. Старинный платяной шкафъ былъ также раскрытъ, и въ него, очевидно, второпяхъ, кучей были набросаны платья, пустые картонки и банимаки.

«Что же это значить?—разсуждалъ Ветлугинъ:—или она ужъ уѣхала?— Но куда?— Неужели въ монастырь?— И не дождавшись меня?— А она такъ мнѣ клялася!»

«Нѣтъ, она не уѣхала!»—замирая отъ радости, подумалъ Ветлугинъ. Сзади его послышались какъ бы шаги.

Онъ возвратился въ предыдущую комнату.

Тамъ не было никого. Шелестъ послышался отъ вприхпущей въ окно летучей мыши.

Ветлугинъ возвратился въ спальню, раскрылъ лежавшій на столѣикѣ молитвенникъ, сталъ его перелистывать и тутъ только замѣтилъ, что онъ былъ заложень какимъ-то письмомъ. Въ глаза ему бросилось имя Аглаи. Онъ невольно пробѣжалъ первыя строки письма, сталъ читать далѣе, и свѣча чуть не выпала у него изъ рукъ.

На большой четверткѣ толстой, желтоватой бумаги, крупными каракулями были безграмотно написаны слова:

«Поспешай, государыня ты моя, матушка Іульянія Андрѣвна. Поспешай, наша денная покровительница, ночная богомольница. Пресвященныи здѣсь. Отецъ Гervasiй при такой оказiи станѣтъ пастригать нашихъ двухъ блѣницъ; настрижетъ и твою милую Аглаюшку. Надѣйся на Господа. Нѣтъ его краше, нѣтъ добрее. А о вносѣ на келью сказать будетъ и опосля. Благодаримъ ты и такъ, на щедрыхъ твоихъ подарочкахъ, на рыбкѣ, да на медахъ, на мучикѣ, да на боченочкахъ. Довольны, ахъ, какъ довольны твоею милостью и будемъ ждать. Ты наша охрана, наше тепло некупленное. Не доведишь же, штобъ класи за несдержаніе твоего слова. Припасайтесь къ Небесному-Жениху, ой, припасайтесь: да надѣнется Онъ на васъ, на обѣихъ, златъ вѣнецъ, чинъ ангельской. — Ваша молеыльница, скудоумная и смиренная раба Божія, отродія нищаго, Измарагда».

Ветлугинъ, вторично пробѣжавъ письмо, безъ памяти бросился впизъ по лѣстницѣ, тихо отперъ дверь въ комнату Улыны Андревны, убѣдился, что и эта комната пуста, прошелъ въ столовую и въ кабинетъ Кириллы Григорыча и остановился. Здѣсь также не было ни души. Домъ совершенно опустѣлъ. Вечерѣвъ еще не возвращался, а его жена и дочь, очевидно, выѣхали изъ имѣнія. «Все кончено — подумалъ Ветлугинъ,—вес, и счастье, и жизнь... Куда теперь идти? и что станется отнынѣ съ моею свободой и вѣрой въ себя и въ людей?»

Ветлугинъ стоялъ передъ рабочимъ столомъ Вечерова. Среди кучи разныхъ дѣловыхъ бумагъ, на этомъ столѣ лежала подготовленная къ печати тетрадь переводовъ изъ Милтона; а въ углу, за печью, какъ мумія, торчали футляръ съ виолончелью. Ветлугину припомнился другой старикъ, его отецъ. Тотъ страдалъ отъ бѣдности; этотъ — въ избыткѣ богатства...

Ветлугинъ ухватился за грудь. Сердце его надрывалось. Ноги подкашивались.

Со свѣчей въ рукѣ, онъ вышелъ въ пустую, высокую залу, гдѣ въ памятный первый вечеръ его пребыванія здѣсь онъ съ Аглаей слушалъ игру на виолончели ея отца. Высоко приподнявъ свѣчу, онъ взглянулъ на потемнѣвшіе, въ старинныхъ рамахъ, портреты предковъ этой семьи, на дамъ въ пудрѣ и въ кружевахъ, на разноцвѣтные кафтаны, мундиры и парики мужчинъ, и съ горькой усмѣшкой сказалъ: «такъ-то, господа богачи... Гдѣ же ваше счастье?»

Онъ задулъ свѣчу, поставилъ ее на столъ, прошелъ къ двери на балконъ, отперъ ее и съ рыданьемъ упалъ на скамью, съ которой столько лѣтъ и съ такой, повидному, гордою вѣрою въ неизмѣнность людского счастья Кирилло Траторычъ любовался видомъ полей, цвѣтами и деревьями насаженного имъ сада. Вспомнились теперь Ветлугину и слова Фросиньки о томъ, что Аглая — кладъ на днѣ глубокаго и темнаго колодца.

«Въ священный потокъ факира упалъ обвалъ скалы! — подумалъ, вставая со скамьи, Ветлугинъ: — какъ старикъ переживетъ это горе? А я-то, я-то!.. Старики отжили свое, — мой вѣкъ только-что еще начинается»...

На востокъ бѣлѣло.

Отъ рѣки сталъ подниматься туманъ. Пернатое населеніе сада, какъ и въ ночь перваго объясненія Ветлугина съ Аглаей, начинало просыпаться и, чирикаая, кое-гдѣ уже взлетывало надъ вершинами еще темныхъ, росистыхъ деревьевъ. Занималась заря.

Ветлугинъ, прошелъ къ бесѣдкѣ, посидѣлъ на ея крыльцѣ, собралъ и уложилъ свои вещи, еще разъ оглянулся на домъ и на садъ, постоялъ надъ спускомъ къ купальнѣ, увидалъ вдаль, межъ ягодныхъ кустовъ, уже вставшаго и отгонявшаго воробьевъ дѣда Лукашку и еще сумрачными дорожками направился ко двору отца Адріана.

Священника не было дома. Отъ его воротъ, на встрѣчу Ветлугину, съ ведрами въ рукахъ, шель вчерашній его знакомецъ, дьячокъ. Онъ его остановилъ, узнавъ, что Фросинька уже не спитъ, и попросилъ его вызвать ее на крыльцо.

Фросинька вышла. На ея нерасчесанныхъ волосахъ былъ накинута платокъ; глаза были сильно заплаканы.

— Что, скажите, здѣсь произошло? — спросилъ Ветлугинъ: — не жалѣйте меня, говорите все откровенно.

Дѣвушка повела взглядомъ къ опустѣлой усадьбѣ Вечеревыхъ, вздохнула и молча подала Ветлугину письмо.

Онъ его распечаталъ. Письмо было отъ Аглаи къ Ветлугину.

Она писала:

«Безѣйный и навѣки любимый другъ! Не корите и не проклиняйте меня. Я раньше нашей встрѣчи дала другой обѣтъ и должна его исполнить. Послѣ вашего отъѣзда, я испытала такія муки, такія угрызенія совѣсти, что изнемогла, не выдержала и, окончательно рѣшась покориться своей долѣ, дѣлаюсь теперь тамъ измѣнницей. Увлеченіемъ расположеніемъ къ вамъ, я не соразмѣрила силы первой преданности, преданности обѣту. Не ищите меня тамъ, за чертой, гдѣ иная жизнь. Не тратьте напрасно душевныхъ силъ и не дѣлайте попытокъ меня оттуда исторгнуть. Я — жалкая, слабая, грѣшная, но — прежде всего — горячо вѣрующая женщина. Для васъ не тайна: я васъ люблю... Боже скажу: я васъ не разлюблю до могилы и за могилой. Но я не могу быть вашей. До васъ мое сердце было свободно. И если бы я стала великой грѣшницей и преступницей, если бы, — чего, разумеется, не случится никогда! — оставила когда-нибудь монастырь, то я, не задумавшись, вышла бы замужъ только за васъ... Но я надѣваю рясу и кlobуку и никогда ихъ не сниму. И вы меня не смущайте. Умоляю — пощадите меня. Считайте, что я умерла, терзалась, любя васъ, молясь за ваше будущее и желая вамъ тамъ, въ свѣтѣ, быть навсегда лучшимъ, честнѣйшимъ и первымъ между людьми. Доли со мной умалила бы, затемнила бы васъ. Служите на пользу родины. Вы, можетъ-быть, не вѣрите въ загробную жизнь. Я же въ нее вѣрю, и моя молитва за васъ дойдетъ до Бога. Антонъ Львовичъ! Молю васъ: берегите свою душу. Не бросайте вашихъ силъ даромъ. Не падайте духомъ. Отдайте себя тѣмъ, кому ваша

помощь будеть дорога. Аглая болѣе нѣтъ. Она отнынѣ въ могилѣ. И не считайте всего, что случилось, загадкой. Говорю вамъ прямо и отъ всей души: я иду въ монастырь потому, что признаю за неискупимый, смертельный грѣхъ нарушить дапный обѣтъ постриженія. Пожалуйте меня, но не проклинайте. Прощайте. До свиданія, тамъ—далеко, за гробомъ.—Ваша—Аглая».

Ветлугинъ прочелъ это письмо разъ и другой.

Въ глазахъ его вертѣлись огни. Чтò-то отрывалось отъ него, прощалось съ нимъ, уходило прочь и навсегда...

Рядомъ съ нимъ слышалось сдержанное, глухое рыданіе. Онъ оглянулся на Фросиньку. Та сидѣла, склонясь на руки головой.

— Итакъ, — началъ Ветлугинъ, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе: — гдѣ же Аглая Кирилловна?

— Вчера уѣхала и вчера же... постригла въ Краснокутскомъ монастырѣ...

Громовой ударъ менѣе сразилъ бы Ветлугина, чѣмъ эта вѣсть. Но онъ съ виду остался спокоенъ. Только пальцы его рукъ судорожно сдвинулись.

— Жаль Кириллу Григорьича... Гдѣ онъ? — спросилъ Ветлугинъ.

— Еще не возвращался.

— Но поужали его не извѣстили, и онъ не знаетъ ничего?

— Кирилло Григорьичъ возвращался вчера изъ другой своей вотчины и случайно, на постояломъ монастырскомъ дворѣ, узналъ обо всемъ. Онъ бросился въ обитель. Были уже сумерки. Подъ горой онъ встрѣтилъ карету преосвященнаго. Онъ вышелъ изъ экипажа, хотѣлъ остановить владыку, хотѣлъ ему чтò-то передать. Но старика либо не узнали, либо въ темнотѣ не замѣтили. Тогда Кирилло Григорьичъ поѣхалъ въ монастырь и потребовалъ свиданія съ женой и съ дочерью. Чтò между ними было, неизвѣстно. Люди только сказываютъ, что Кирилло Григорьичъ сильно гнѣвался и пожелалъ видѣть игуменью. А когда та къ нему вышла, онъ сталъ ей грозить процессомъ, потомъ началъ что-то объяснять, но не докончилъ, на всѣхъ вдругъ затопалъ ногами, закричалъ, заплакалъ... и расхохотался...

— Что же, — заключила, утирая слезы, Фросинька: — мудренаго тутъ нѣтъ ничего... Хотъ кого убьютъ такіа дѣла. Будь и послышите его человѣкъ, такъ тронется умомъ. А



бѣдная Аличка! Бросилась къ нему, повисла на шеѣ. Но уже было поздно: онъ ее не узнавалъ... Тогда его опять посадили въ коляску, и кучеръ, съ Ульяной Андреевной, повезъ его къ Ченцину, гдѣ, говорить, есть докторъ. Всѣ эти вѣсти и письмо отъ Алиньки къ ночи привезла мнѣ провожавшая ее въ монастырь Егоровна.

— И вы думаете, что теперь все кончено? — спросилъ Ветлугинъ.

У него еще теплилась надежда.

— Все... О, я хорошо знаю Аглаю! Она вѣрно выразилась: теперь ужъ она зарыта въ могилѣ.

— Нельзя ли мнѣ добыть здѣсь лошадей? — спросилъ, затанувъ тяжкій вздохъ, Ветлугинъ: — я бы уѣхалъ... Хотя до станціи нельзя ли, или обратно въ Рѣчное? Тамъ мнѣ дать бы другихъ лошадей Фокинъ.

Фросинька, при имени Фокина, вспыхнула.

— Разумѣется можно, — сказала она: — вотъ, я пошлю за Филатомъ. Онъ вамъ все устроитъ. Люди здѣсь потеряли головы. Хотя бы Филать... Передъ вами, вотъ, приближалъ ко мнѣ, дрожить и кланется, что въ барскихъ хоромахъ домовые, — что кто-то тамъ по верху и по низу ходитъ со свѣчей. Насилу его успокоила.

— А вашъ батюшка когда возвратится? — спросилъ Ветлугинъ.

— Жду его съ минуты на минуту. Видно благочинный задержалъ.

Пока Филать ладилъ лошадей, подѣхалъ и отецъ Адріанъ. Этотъ на себя не походилъ отъ горя и досады, что такіе бѣды стряслись надъ почтенной семьей Вечерѣвыхъ. Онъ задыхался отъ волненія. Воронникъ рясы давилъ ему горло. Пѣсуда на поставцѣ дрожала отъ его тяжелыхъ шаговъ по комнатѣ.

— Вы бы, папенька, повліяли, — сказала Фросинька: — вы бы сообщили ключарю, отцу протопопу Закхей... Онъ — человекъ съ вѣсомъ, близкій къ владыкѣ, и могъ бы оказать помощь, открыть ему глаза...

— Протопопъ? Закхей?

— Да...

Отецъ Адріанъ тяжело нагнулся къ окну.

— Онъ неразлученъ съ владыкой въ дорогѣ, — продолжала Фросинька: — и если бы сказать, я убѣждена...

— Неразлучень? спазаль бы? изволь, матушка, слунай! — отвѣтили, глядя въ окно, отецъ Адріанъ: — изволь... И ужъ такъ-то неразлучень, что и другихъ не допускаетъ къ нему! Сажаетъ въ карету и высаживаетъ подъ руки... Да что... Вѣринъ ли? Ночевать владыко рѣшилъ въ Марьяномъ. Ну, и я по пути прибился, — только не у отца Савла, а у понамари, — знаешь, черезъ дворъ. И посмотрѣлся же я на заботы, да на хлопоты этого ключаря, Закхея... Сказаль бы! Неразлучень!.. Одинъ соблазнъ, да и только...

— Что же, что, — приготовилась слушать Фросинька.

— А вотъ что, — обернулся отецъ Адріанъ къ дочери и къ гостю: — зашелъ ключарь въ кухню отца Савла и говорить его стряпухъ: собаки злыя? — Злыя, — отвѣчаетъ бабенка. — А пѣтухи есть? — Какъ не бытъ! — смѣется та. — Да ты, говорить, не смѣйся; кричать по утрамъ? — Кричать. — Ну, бабочка, смотри же ты у меня, чтобъ ни одинъ пѣтухъ у тебя не подалъ голосу до утра, и чтобъ ни одна пѣсяя глотка не тивкнула. — Да какъ же быть тому? — смѣется пуще прежняго стряпуха... — А какъ знаешь... собакъ сиречь въ подвалъ, а пѣтухамъ хотъ носы позавязывай. — Озадачилъ онъ бабу. Одначе, своего добился: ни пѣтухъ, ни единая шавка, представьте, голосу не подали до утра, пока спалъ владыка...

— Мало того, — продолжалъ, принимаясь ходить по комнатѣ, отецъ Адріанъ: — всталъ я нынче чуть зорька, и пошелъ у отца Савла табачку па трубочку попросить. Глянулъ съ галерейки въ оконце, — а ключарь ужъ всталъ и сидитъ одѣтый у двери, за которою владыка опочивалъ, — сторожить, значить. Но отчего, думаю, сидитъ онъ подъ часами? Смотрю, часы остановилъ, чтобъ маятникомъ да боемъ не беспокоить владыку... Постоялъ я, подумалъ: знаетъ ли самъ-то пастырь, какъ старается для него соборный протопопъ? Подумалъ, табакъ не сталъ просить, да такъ сюда и отѣхалъ... Дай-ка, Евфросинья, своего; съ гори нашимъ набьемъ трубочку...

Въ полдень Ветлугинъ простился съ Верхоустинскими.

— Позвольте, — сказала, отозвавъ его на прощанье въ сторону, Фросинька: — еще слово... Вы были вчера въ Рѣчномъ... и видѣли тамъ Талищевского управляющаго Фокина...

— Видѣлъ.

— Не собирався онъ сюда?

— Нѣтъ, не собирався.

Фросинька замялась.

— Видите ли, — продолжала она, стараясь говорить небрежнѣе: — онъ общалъ обмежевать здѣшнюю церковную землю, и мой отецъ его просилъ объ этомъ... Неужели онъ забылъ?

— Не знаю... Мнѣ объ этомъ онъ не говорилъ...

— Жаль... А я было, кстати, хотѣла сообщить ему... одно тутъ, впрочемъ, небольшое дѣло, — начала Фросинька, но покраснѣла и не договорила.

«Что дѣлать? какъ быть? — думалъ Ветлугинъ, выѣзжая изъ Дубовъ, гдѣ для него блеснуло-было такое счастье, — ее обманули и насильно увезли въ монастырь. Иначе быть не могло»...

### XXIII.

#### Мать Измарагда.

— Гдѣ васъ, сударь, прикажете высадить? — спросилъ Ветлугина Филатъ, на этотъ разъ прѣхавшій нѣсколько кабаковъ и нигдѣ не рѣшившійся вынуть.

Горе барина, котораго онъ съ приказчикомъ ѣхалъ провѣдать, разомъ вышибло у него всякую мысль о хмелѣ.

— А? что? — отозвался погруженный въ раздумье Ветлугинъ.

— Въ Рѣчномъ у Талищева встанете? или съ нами поѣдете къ Ченшину?

— Разумѣется, къ Ченшину, — сказалъ Ветлугинъ: — не видясь съ Кирилломъ Григорьичемъ, не уѣду. Жаль старика, вотъ какъ жаль.

— Ужъ и какъ не жаль, — искренно вздыхалъ Филатъ: — пропали наши головушки... Рѣшилась... рѣшилась наша барышня... изъ сударыни, изъ господской дочки, черницей стала!

Путники миновали Рѣчное. Ихъ лошади, прѣхавшія въ ночь съ Егоровной, притомились. Да и зной былъ довольно силенъ. «Покормить бы, сударь, слѣдовало, — сказалъ приказникъ, — а то за заводами пойдутъ вски; не пристали бы наши кони. По холодку дождемъ скорѣе».

Телѣжка заѣхала на постоянный дворъ, стоявшій подъ лѣсомъ, у озера, на перекресткѣ нѣсколькихъ дорогъ. Филать задалъ корма лошадямъ, закатилъ телѣжку подъ сарай и, закусивъ, отправился съ приказчикомъ отдыхать на сѣнникъ.

Ветлугинъ также забрался въ какую-то темную боковушку и, наморенный тревогами прошлой ночи, заснулъ, и когда его разбудили, на дворѣ уже вечерѣло. Подкормленная тройка весело похрапывала у крыльца. Путники двинулись далѣе. Обогнувъ лѣсокъ, они стали спускаться къ рѣкѣ. За рѣкой открывался рядъ горъ. На одной изъ нихъ блеснули церковныя главы и забѣлѣла ограда монастыря. Сердце Ветлугина сжалось.

— Это чья усадьба?—спросилъ онъ, отвернувшись отъ горы.

— Гдѣ?—отозвался съ облучка Филать.

— За рѣкой вонъ, лѣвѣе монастыря. Садъ по горѣ и зеленая крыша видна...

— Николай Ильича, Милунчикова,—отвѣтилъ Филать:—лешто вы тутъ не были? Намъ ѣхать мимо ихъ двора.

Пробравшись по мосту и свернувъ берегомъ влѣво, въ объѣздъ монастырской горы, телѣга вскорѣ, дѣйствительно, поровнялась съ усадьбой Милунчикова, миновала его дворъ, шумѣвшую темными колесами водяную мельницу и стала подниматься въ гору. Когда она проѣзжала окраиной сада, зелеными уступами спадавшего къ рѣкѣ, — вверху, на одномъ изъ уступовъ, раздался рѣзкій и отрывистый звукъ, какъ бы отъ брошенной полосы желѣза или пистолетнаго выстрѣла.

— Что это?—спросилъ Ветлугинъ.

— Молодые господа, видно, воробьевъ пугаютъ, — отвѣтилъ Филать:—у Николая Ильича постоянно гостятъ ихніе родственники и друзья, Покромскіе барченки, Корбякины, Подсыпанина, ихъ сосѣда, шурья. Очень Николая Ильича всѣ любятъ.

Телѣжка взобралась на вершину горы. Лошадямъ дали издохнуть.

— Вонъ наша дорога, — сказалъ Филать:— а эвона спѣть и къ Ченшину.

Вправо и влѣво съ горы открылась неоглядная даль холмовъ, лѣсовъ и полей, будто плавающихъ въ голубой пеленѣ тумана. Отъ монастыря послышался благовѣстъ къ вечернѣ.

Ветлугинъ вздрогнулъ.

— Вотъ что, Филать, — сказалъ онъ: — поѣзжайте-ка вы впередъ, а я зайду къ Милунчикову; есть дѣло. Да, кстати, уговорю его тоже навѣстить Кирилу Григорыча. Мы съ нимъ васъ догонимъ.

— Счастливо оставаться, — раскланялись приказчикъ и Филать: — а ваши вещи мы возьмемъ съ собой.

— Берите.

Ветлугинъ, однако, отправился не къ Милунчикову.

Когда телѣга скрылась изъ виду, онъ напрямикъ, вершиной горы, обогнулъ усадьбу Николая Ильича, выбрался на торную, проѣзжую дорогу, достигъ монастырской ограды, вошелъ въ ворота и, незамѣченный никѣмъ, проникъ въ церковь, гдѣ въ то время кончалась вечерня и находилось немало окрестнаго и дальняго народа, гостившаго здѣсь со вчерашняго праздничнаго дня. Съ клироса несло мѣрное пѣніе стихирь. Каильный дымъ застилалъ полуосвѣщенную церковь. Ветлугинъ посмотрѣлъ во всѣ стороны: ни Аглаи, ни ея матери не было видно. Прошли «Свѣте тихій». — Вечерня кончилась. — Народъ сталъ выходить изъ церкви. Вышелъ и Ветлугинъ. По мосткамъ монастырскаго двора, съ потупленными головами, отвѣшивая поклоны встрѣчнымъ, въ черныхъ мантияхъ, рясахъ, съ четками и въ клобукахъ, потянулись старицы, послушницы и клирошанки.

Ветлугинъ освѣдомился, гдѣ помѣщеніе игуменьи, подошелъ къ ея крыльцу, доложилъ ей о себѣ, какъ о проѣзжемъ путникѣ, и получилъ отвѣтъ: «Матушка Измарагда проситъ обождать въ ихней горенкѣ, сейчасъ выйдутъ».

Ветлугинъ сѣлъ въ горенкѣ игуменьи, поглядѣлъ вокругъ себя и сталъ гадать, что за человѣкъ была матушка Измарагда?

Келья, гдѣ онъ сидѣлъ, находилась въ верхнемъ отдѣленіи главнаго обительскаго зданія. Окнами она выходила на рѣку и на зарѣчные лѣса и луга. Это была просторная, прохладная, чистая и весьма нарядная комната, съ бѣлыми кружевными занавѣсками, съ мягкой шелковою мебелью, съ дорогими лампадами у горящихъ золотомъ образовъ и съ портретами духовныхъ знаменитостей по стѣнамъ. Цвѣтныя стояли на всѣхъ окнахъ, полъ былъ устланъ дорогимъ мягкимъ ковромъ. На столѣ лежало нѣсколько священныхъ книгъ. За открытымъ окномъ, въ большой, красивой проволочной клѣткѣ, поглядывая на синѣющіе по низу луга и

лѣса, съ жердочки на жердочку мѣрно прыгалъ черный, съ желтымъ клювомъ, дроздъ.

«Измѣженная, сластолюбивая черничка! — злобно подумалъ Ветлугинъ, подходя къ окну, — заранѣе вижу ее — чистоплотная, худенькая, на ладанъ дышащая старушка, съ желтоватымъ, въ мелкихъ складочкахъ, личикомъ, съ плаксивыми и усталыми отъ долгаго церковнаго бдѣнія глазками. Придетъ, сядетъ, смиренно сложить на колѣняхъ ручки, зѣвнетъ, перекрестить ротъ и, перебирая четки, станетъ ждать, что я ей скажу. Я стану говорить, а ей, въ предвкушеніи скораго ужина и сна, вонъ, за той, вѣроятно, дверью, будетъ мрещиться другая, еще болѣе уютная и прохладная горенка, занавѣшенная кисейнымъ пологомъ постель, мягкія подушечки, отсутствіе мухъ и сладкій, заслуженный долгимъ молитвеннымъ стояніемъ покой. Воображаю, какъ она растерлется, когда я ей себя назову; сонные глаза многомъ проснутся. И ей ни съ того, ни съ сего, пожалуй, представится еще темная осенняя ночь: разбойники съ ножами ломаются въ дверь, къ желѣзному сундуку съ монастырскою казною. Сверкаетъ лезвіе широкаго ножа. «Съ нами крестная сила! — вскрикнетъ она, ломая руки, — пощади, кормилецъ, пощади, отродія нищаго не погуби...»

— Что угодно вашей милости? — спросилъ негромкій, но твердый голосъ за спиной Ветлугина.

Онъ оглянулся.

Передъ нимъ стояла высокая, дородная, съ красивымъ, бѣлымъ и полнымъ лицомъ и съ большими сѣрыми глазами, инокиня. Густыя, черныя брови, усики надъ вздернутой губой, взглядъ строгій, властный и проницательный. Вся она будто изъ камня изваяна, стройная, гордая, точно говорить: «вотъ я какая, смотри на меня и робѣй передъ моею силой и красотой!»

— Что вашей милости нужно? — вѣжливо повторила инокиня, указывая гостю на кресло у стола и пристально оглядывая его: — вѣроятно, не здѣшніе, устали съ дороги? садитесь.

Ветлугинъ невольно сѣлъ. Онъ угадалъ, что передъ нимъ была нгуменя Измарагда.

— Съ кѣмъ имѣю честь? — перебирая четки и также садясь съ другой стороны стола, съ разстановкой, небрежно спросила она.

— Я Ветлугинъ, — отвѣтилъ Антонъ Львовичъ, взглядываясь, какое впечатлѣніе произведутъ эти слова на игуменью.

Что-то въ родѣ легкаго облачка мелькнуло въ сѣрыхъ, ясныхъ, какъ у сокола, и полныхъ ума глазахъ Измарагда. Но ни одна черта въ ея спокойномъ, мраморномъ лицѣ не дрогнула, ни одна складка ея шерстановой черной рясы не шевельнулась.

— Очень почтена вашимъ посѣщеніемъ, — съ снисходительнымъ поклономъ проговорила игуменья: — но чѣмъ же я могу быть вамъ полезна?

— У васъ, сударыня, въ обители находится дочь г. Вечерѣва.

— Такъ точно. А вамъ она сродственница приходится, что ли?

— Она мнѣ дала слово, — проговорилъ Ветлугинъ: — я ей — женихъ.

Игуменья помолчала.

— Что же отъ меня-то вамъ, сударь, угодно? — спросила она.

— Аглаю Кирилловну заперли здѣсь противозаконно, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — силой увлекли ее сюда, обманомъ...

— Противозаконно! Какъ вы изволили сказать? не слышалась ли я?

— Да, ее заманили сюда, воспользовались ея неопытностью... Вы это хорошо знаете.

— Во-первыхъ, не противозаконно, — и, во-вторыхъ, не обманомъ, — строго, но вѣжливо продолжала Измарагда: — мірской полъ, сказано въ законѣ, да не пострижаетъ монаховъ; дѣвицу Вечерѣву постригъ іеромонахъ. Не достоинъ, сказано тамъ же, безъ искуса постригати и возлагати рясу на нихъ, Аглая Кирилловна, почитай, три года, въ мірской одеждѣ и безъ принужденія, у назначенной ей въ приницы старицы, всякій искусь, на дому и въ нашей честной обители, выносила... Что же милостивецъ, гдѣ беззаконіе и гдѣ притѣсненіе? Отвѣчайте, слушаю.

Ветлугинъ не узнавалъ себя. Куда дѣлась его смѣлость, паходчивость и непреклонность? Судорожно ухватись за ручку креселъ, онъ сидѣлъ, не шелохнувшись, глядѣлъ на бѣлолицую, съ темными усиками, свѣтлоокую инокиню и не зналъ, что ей говорить. Онъ чувствовалъ, — передъ нимъ была сила...

— Молодую дѣвушку,—проговорилъ онъ:—не видѣвшую свѣта, почти дитя, спокойно допустить до такого шага, принять ее къ себѣ! Гдѣ же уваженіе къ духу закона?

Измарагда смѣрила его глазами.

— Можеть, вы, сударь, полагаете, что ваша невѣста одумается? возвратится въ свѣтъ? Такъ, что ли, я поняла ваши слова?

Надежда блеснула Ветлугину.

— Разрѣшите... не мѣшайте мнѣ,—сказалъ онъ:—повидаться съ Аглаей Кирилловной.

— Это зависитъ не отъ меня; я ужъ вамъ доложила—здѣсь ея мать.

— Ну, такъ вотъ что,—сказалъ онъ:—я напишу записку и вы не откажите сейчасъ же переслать ее къ Аглаѣ Кирилловнѣ.

— А далѣе?

— Предоставьте ей поступить такъ, какъ она сама пожелаетъ.

Чуть замѣтная, съ примѣсью лукавства и презрѣнія, усмѣшка мелькнула въ безстрастныхъ глазахъ игуменя.

— А ты, сударь, поступишь ли такъ, какъ тебѣ скажетъ Аглая Кирилловна?—съ грубою откровенностью, покачивая головой, спросила Измарагда:—даешь ли слово?

— Даю.

— Въ такомъ разѣ пиши,—небрежно сказала игуменя.

Ветлугинъ вынулъ изъ кармана визитную карточку, придвинулся къ столу и дрожащей рукой сталъ на ней писать. Слова несвязно ложились подъ карандашомъ.

Измарагда въ раздумѣ стала перебирать четки. Многое ей вспомнилось въ это мгновеніе: собственная молодость, лютая купеческая семья, темныя ночи, густой лѣсокъ, бракъ уходомъ, пирушки въ какомъ-то пѣхотномъ полку, измѣна, разлука — глобукъ...

«Искушеніе! — искоса поглядывая на гостя, думала игуменя, — искушеніе! глаголю безбрачнымъ и вдовицамъ—добро имъ есть... О дѣвахъ же повелѣнія Господня не имамъ... Охъ, искушеніе!»

А тихій вечеръ ласково глядѣлъ со двора. Душистой прохладой тнуло въ раскрытое окно. Гдѣ-то внизу, подъ горой, гоготали гуси, куковала кукушка, раздавался грохотъ и плескъ мельничныхъ колесъ.



Дроздь въ клѣткѣ пересталъ прыгать. Онъ сидѣлъ и слушалъ, — слушалъ кукушку, шумъ мельницъ и крики гусей. И вдругъ, протянувъ желтый носъ, онъ вздрогнулъ, закрылъ глаза и защелкалъ такъ порывисто и звонко, что, казалось, вообразилъ и себя не въ клѣткѣ, а тамъ — на привольѣ — внизу, гдѣ шумѣли мельницы, кричали птицы и стояли, полныя вечерней прохлады, синѣющіе озера и лѣса.

Ветлугинъ писалъ: «Аглая Кирилловна! Я здѣсь, въ монастырѣ, у вашей игуменьи. Смѣло идите ко мнѣ. Я никому васъ не дамъ въ обиду и, если пожелаете, отвезу васъ обратно къ вашему отцу. Тамъ вы рѣшите свою судьбу. Жду отвѣта.—А. Ветлугинъ».

— Вы кончили?—спросила Измарагда.

— Кончилъ.

Игуменья позвонила.

Вошла и въ поясъ настоятельница поклонилась бѣлокурой, съ румянцемъ во всю щеку, съ карими, лучистыми глазами и съ густою босой, молодая келейница. Измарагда строго сказала ей: «Неси, Лушенька, знаешь, къ той... барышнѣ Вечерѣвой»...

Келейница взяла записку Ветлугина, опять низко поклонилась игуменѣ и удалилась. Прошло нѣсколько мгновеній. Дроздь за окномъ то смолкалъ, то опять неистово щелкалъ, сквозь проволочные прутья клѣтки косясь на синѣющую подъ горою даль. Измарагда шевелила четками... Ветлугину мгновенія казались часами. «Покажутъ ли Аглаѣ мое письмо», думалъ онъ: «и допустить ли ее ко мнѣ?»

Лушенька возвратилась. Отвѣсивъ на этотъ разъ поклонъ и Ветлугину, она ему подала на подносѣ двѣ записки, а сама стала поодаль, не глядя на него, но какъ бы думала: «жалъ мнѣ тебя, сердечный, вотъ какъ жалъ».

Ветлугинъ сталъ читать принесенныя записки.

Въ одной былъ отвѣтъ Аглан.

«Зачѣмъ вы не исполнили моей просьбы?—писала она:—зачѣмъ вы меня смущаете? Еще разъ и окончательно повторю вамъ, что я здѣсь не по принужденію, а по своей доброй волѣ. Я посвящаю себя молитвѣ и прошу меня забыть навсегда.—Аглая В.»

Другая записка была отъ Ульяны Андреевны.

«Признаюсь,—писала Вечерѣва:—я никогда не ожидала, чтобы сынъ добраго, почтеннаго и всѣми нами уважаемаго

Льва Саввича позволить себѣ такой недостойный поступокъ. Неотлучно находясь при моей дочери, какъ ея другъ и мать, я отношу ваше поведеніе къ промаху молодости и прошу васъ, милостивый государь, оставить въ покоѣ какъ этотъ, ни въ чемъ передъ вами неповинный домъ молитвы и смиренія, такъ равно и всѣхъ насъ,—тѣмъ болѣе, что въ эту минуту я сильно разстроена болѣзнью мужа и, возвратясь сюда, сама слегла въ постель, а потому и лишена всякой возможности лично вамъ доказать всю непозволительность и легкомысліе вашей выходки.—Готовая къ услугамъ, уважающая васъ—Іуліянія Вечерѣва».

Сердце Ветлугина облилось кровью.

«Бѣдная, бѣдная Аглая!» рассуждалъ онъ, сжимая въ рукѣ оба письма и сознавая, что черезъ мгновеніе, едва онъ отсюда уйдетъ, между нимъ и Аглаей навсегда ляжетъ бездна.

Онъ обернулся, съ цѣлью сказать на прощаньи игуменѣ все, что накипѣло въ его душѣ. Но ни игуменьи, ни келейницы Лушеньки въ комнатѣ уже не было. За дверью раздавался шопотъ. Были слышны сдержанные шаги.

На порогѣ, съ ключами въ рукахъ, улыбаясь и кланяясь, появилась сѣдая, съ лицомъ ребенка и совсѣмъ глухая инокиня-старушка. Чтò ей ни говорилъ Ветлугинъ, она только трясла маленькой головкой, моргала бровями и, топчась на мѣстѣ, да разводя руками, ласково повторяла: «ничего, соколикъ ты мой, какъ есть, не слышу. Десять годовъ уже не слышу; оглохла еще въ тѣ-воси поры, какъ наши монастырскіе лѣса было-загорѣлись»...

Ветлугинъ въ изнеможеніи присѣлъ на стулъ.

— Не хочешь ли, сударикъ, въ трапезу, съ дороги закупить?—спрашивала сердобольная ключница:—у насъ свѣжая северянка, грибочки, балычки, а не то лапшицы не хочешь ли молочной, медку?

— Выпустите вы меня, матушка, отсюда прочь; вотъ что мнѣ нужно:—прокричалъ на ухо глухой старухѣ Ветлугинъ.

Ключница сначала озадачилась, но потомъ сильно обрадовалась, что поняла, наконецъ, нетерпѣливые знаки гостя. Она провела его за ворота, указала ему каменную лѣстницу, просвѣченную внизъ по горѣ, и, низко кланяясь, точно по заученному, проговорила: «господа купцы, вы — наши отцы; мы вами сыты, не забывайте насъ и на дальніе дни».

XXIV.

С о н ъ

Становилось темно. У монастырскаго постоялаго двора, по милости вчерашняго праздника, было немало народа.

«Милунчикова успѣю навѣстить и завтра,—подумалъ Ветлугинъ:—надо спѣшить повидаться съ Вечерѣвымъ. Что-то съ нимъ, бѣднымъ?»

Онъ отыскалъ попутчика, договорить его и, благодаря сытой крестьянской лошадеи, приѣхалъ къ Ченшину часа черезъ два. Но Кириллы Григорыча здѣсь ужъ не было. Ему къ вечеру стало хуже, и докторъ, жившій у его друга, посоветовалъ немедленно везти его въ городъ, куда онъ съ Ченшинимъ, этимъ докторомъ и съ Филатомъ и уѣхалъ.

«Ну, я его хоть тамъ еще увижу», подумалъ Ветлугинъ. Онъ переночевалъ въ домѣ Ченшина, при помощи Вечерѣвскаго приказчика добылъ добрую тройку и уѣхалъ въ городъ. «Старикъ боленъ,—разсуждалъ Ветлугинъ,—ему теперь не до меня. Спасти Аглаю можетъ еще одинъ человекъ—Милунчиковъ. Онъ ей дядя, и она его любитъ, вѣрить ему. Навѣщу старика и сейчасъ обратно сюда, къ Милунчикову».

По пути, въ какомъ-то селѣ, гдѣ была волость и гдѣ нужно было кормить нанятыхъ лошадей, онъ познакомился со становымъ. Разговорились о томъ, о другомъ, Ветлугинъ передалъ ему и о случаѣ въ Вечерѣвской семьѣ.

Старичокъ-становой былъ изъ отставныхъ моряковъ, балагуръ и нѣкогда щеголь, любившій и до нынѣ при случаѣ кутнуть и поволочиться. Онъ выслушалъ Ветлугина со вниманіемъ, и даже слезы выступили на его глазахъ.

— Эхъ,—сказалъ онъ:—эхъ! я знаю Вечерѣва, знаю и его жену. За нею я даже когда-то и ухаживалъ. Барынька была деликатная и обходительная. Дочурки, впрочемъ, ихней не знаю и не видѣлъ. Но только тутъ ужъ не подѣлаешь ничего...

— Почему же?

Становой крикнулъ въ усь.

— А вотъ почему-съ,—сказалъ онъ, разставляя пальцы:—эта баба-съ, сказать, Измарагда, самая язвительная. Случится что въ монастырь, и на порогъ не пустить. Иди, говорить, не иначе, какъ по закону и съ понятными. А ужъ

о поклонѣ какомъ и не думай... Самая прекратительная и недоступная гордячка. Уваженія къ намъ нынче мало; все слѣдователи забрали въ свои руки. А работы не уменьшилось: вездѣ поспѣвай, по первоначальнымъ дознаніямъ. Тамъ — убійство, тамъ — конокрадство и пожаръ, здѣсь — дуэль...

— Какъ? даже и дуэль?—спросилъ Ветлугинъ.

— Что же вы удивляетесь? не далѣе, какъ вчера, была дуэль возлѣ тѣхъ мѣстъ, откуда вы теперь идете.

— Между кѣмъ?

— Исторія скверная. Дрались... предсѣдатель уѣздной управы Милунчиковъ и одинъ здѣшній помѣщикъ...

— Ключковъ? — спросилъ Ветлугинъ.

— Нѣтъ, не Ключковъ, а гусарскій ремонтёр Талищевъ, сынъ здѣшняго предводителя, коли знаете. Дѣло вышло изъ-за сплетни о братѣ Милунчикова, обучавшемъ дѣтей сестры Ключкова.

«Вывернулся и тутъ, — подумалъ Ветлугинъ, — даже на дуэль за себя выставилъ другого»...

— Есть раненные?—спросилъ онъ.

— Раненъ вызвавшій на дуэль, — отвѣтилъ становой: — и, какъ говорятъ, весьма тяжело...

— Кто? Талищевъ?

— Нѣтъ, Милунчиковъ.

— Гдѣ они дрались?

— Въ имѣніи Милунчикова.

Ветлугинъ вспомнилъ выстрѣлъ, слышанный имъ наканунѣ, при проѣздѣ мимо усадьбы Милунчикова. «И эта надежда спасти Аглаю ускользаетъ!» пронеслось въ его мысляхъ.

— Не туда ли вы изводите ѣхать?—спросилъ онъ станового.

— Туда. А что?

— И я съ вами бы... Я знакомъ съ Милунчиковымъ.

— Извините меня. Кажется, это будетъ напрасло...

— Почему же?

— Да никого тамъ не застанете, — отвѣтилъ становой: — раненаго увезли въ городъ; а ранившій, съ повинной головой уѣхалъ въ расположеніе своего полка, въ другой уѣздъ. Остаются секунданты.

— Кто они?

— Смѣшно сказать: со стороны Талищева какой-то нѣмецъ-учитель, а со стороны Милунчикова—гимназистъ старшаго класса Коребякинъ.

Ветлугинъ простился со становымъ и уѣхалъ.

«Бѣдный Коребякинъ,— разсуждалъ онъ, — пропалъ его окончательный экзаменъ и вся его карьера. А Ключковъ? Даже въ секунданты не пошелъ, а уступилъ эту честь нѣмцу-учителю. Жаль Милунчикова! Нарвался-таки на кровавую развязку... И гдѣ же? У себя дома. Какъ-то обойдется ему эта дуэль?»

«Но Аглая, Аглая!» схватывая себя за голову и чуть не задыхаясь отъ слезъ, повторялъ себѣ, подъ звонъ колокольчика, Ветлугинъ.

Онъ терялся въ догадкахъ и не могъ себѣ простить отъѣзда къ Ключкову, не могъ понять, какъ случилась такая быстрая перемена съ Аглаей.

Дѣло, между тѣмъ, произошло слѣдующимъ образомъ.

Проводивъ Ветлугина, Аглая осыпала поцѣлуями Фросянку и, сказавъ ей: «иди теперь, иди, милочка, я останусь одна: дай мнѣ надуматься!» — до поздняго вечера бродила по саду, радостно перебирая въ умѣ все странное и все неожиданное и дорогое, что произошло съ нею за эти быстро мелькнувшіе дни.

Ульяна Андреевна издали видѣла, какъ та ходила по дорожкамъ, садилась на скамьи, опять вставала и принималась ходить. Старуха недоумѣвала, что значило это состояніе Аглаи. Настали сумерки. Въ домѣ все стихло. Узнавъ, что дочь прошла къ себѣ въ комнату, она также поднялась къ ней наверхъ, подождала, пока Аглая раздѣлась, прилегла на диванѣ, противъ ея кровати, и проговорила съ нею далеко за полночь. О многомъ онѣ бесѣдовали: о прошломъ, о своихъ поѣздкахъ, о нѣкоторыхъ знакомыхъ. О монастырѣ старуха не упоминала.

«Сказать ли матери? обрадовать ли ее моимъ счастьемъ?» срывалось у Аглаи съ языка. «Вотъ удивилась бы... не повѣрила бы!» думала она, улыбающимися, счастливыми глазами вглядываясь въ суровое и тощее, омраченное раздумьемъ лицо лежавшей передъ нею матери.

— Я тебѣ почитаю Лѣствицу,—сказала Ульяна Андреевна:—хочешь?

— Читайте, родная, читайте, — сквозь золотыя грезы. сладко свернувшись на постели, отвѣтила Аглая.

Слушала она, однако, недолго. Сонъ началъ ее одолевать, и она не замѣтила, какъ подъ тихое чтеніе старухи заснула.

Погушивъ свѣчу и прислушиваясь къ спавшей дочери, задремала и Ульяна Андреевна.

Быль третій часть ночи.

Аглая проснулась. Ей померещился какой-то шумъ. Она вскочила, съѣла на кровати и стала вслушиваться. Въ комнатѣ было тихо. Ульяна Андреевна также спала, склонясь на ручку дивана.

«Душно что-то», подумала Аглая. — Она встала, отворила окно, перевѣсилась съ подоконника въ садъ и, жадно потянувъ въ себя свѣжаго воздуха, прошептала: «гдѣ же ты? хоть бы приснился»...

И Ветлугинъ Аглаѣ приснился.

...Гдѣ она?.. Въ скитѣ у бабушки. Онъ обѣщалъ къ ней придти. Но какъ и когда? Она дрожитъ отъ страха. Что, какъ его увидать? Огни по кельямъ гаснутъ. Надвигается ночь. Въ окна свѣтятъ звѣзды. Вездѣ тишина. Но неужели онъ, безумный, войдетъ въ ея горенку ночью? Она прислушивается. Нѣтъ, она этого не вынесетъ. Лучше бы онъ не приходилъ. А въ концѣ длиннаго, темнаго коридора, тамъ, гдѣ уже не видно и ночныхъ огней, раздаются чьи-то знакомые, легкіе шаги. Она вскакиваетъ, запираетъ на ключъ дверь и гаситъ лампаду. Неужели онъ войдетъ и теперь?

...Шаги ближе и ближе. Кто-то сталъ у самой двери, тронулъ ручку замка. «Нѣтъ, онъ не войдетъ», думаетъ Аглая: «дверь замкнута на ключъ». А онъ — и вотъ онъ.. И что же это? Дверь безъ малѣйшаго звука распахнулась. Кто-то незримый шагнулъ черезъ порогъ и остановился. Это не Ветлугинъ. Его не видно, но Аглая чувствуетъ, что онъ — власть имѣющій. Благовуханіе смурны и ладала распространяется отъ его одеждъ. Онъ простеръ руки, ищетъ ее во мракѣ. Гдѣ отъ него спрятаться? Куда уйти? Аглая въ страхѣ бросается съ постели, хватается за подоконникъ. Поздно... Она слышитъ шелестъ его одеждъ. Что-то, будто крылья, движется за нимъ по воздуху... Горячее дыханіе касается лица Аглаи. Голова ея кружится... Борьба съ нимъ бессильна... Страстные поцѣлуи осыпаютъ ея руки, плечи.

Сонъ улетѣлъ.

Сидитъ Аглая, и сладко ей, и слезы ее дунать. Да гдѣ же онъ? куда скрылся? И кто это былъ? Ветлугинъ ли? И неужели онъ ей нынче больше не приснится?

Аглая увидала новый сонъ.

Грезится ей, что она стоитъ на краю отвѣснаго утеса. У ея ногъ бушуетъ море. Она ждетъ Ветлугина. Небо ясно, но волны пѣнятся, шумятъ и съ ревомъ бросаются на берегъ. «Гдѣ онъ, гдѣ? и скоро ли возвратится?» — думаетъ Аглая. И видитъ она: къ берегу по волнѣ несется трупъ. Лицо его блѣдно. Глаза закрыты... Она вглядывается, — это Ветлугинъ. «Милый, милый!» — силится она крикнуть. Но голосъ ея замираетъ, оборвался. Она хочетъ сбѣжать къ волнамъ и не можетъ двинуться съ мѣста. Ноги ея не слушаются. «Ты погибъ, и я жить не хочу!» — вскрикиваетъ, наконецъ, она: «прощайте, люди, прощай, міръ!» — Аглая бросается со скалы... Но у нея за спиной вырастаютъ крылья, она взлетаетъ въ воздухъ и бѣлой чайкой уносится по зыбкимъ волнамъ...

— Мамочка, родная! проснитесь, да проснитесь же! — очнувшись, въ ужасѣ, звала свою мать Аглая.

— Что? что тебѣ? Господь съ тобой! — испуганно успокаивала ее Ульяна Андреевна.

— Сонъ... ахъ, какой мнѣ привидѣлся сонъ! — блуждающими глазами вглядываясь въ темноту, повторяла Аглая.

— Страшный, или пріятный?

— Сперва пріятный, потомъ такой... такой, что я ужъ и не знаю...

— Что же за сонъ?

И въ забытѣ, почти еще въ бреду, пересѣвъ на диванъ къ матери, Аглая, не долго думая, передала ей все, что видѣла въ ту ночь во снѣ.

Ужасъ объялъ Ульяну Андреевну, когда она, среди отрывочныхъ и несвязныхъ словъ Аглаи, дважды услышала имя Ветлугина.

«Такъ вотъ что — огненной струей пробѣжало въ сѣдой головѣ старухи, — такъ вотъ куда теперь ея мысли! А я-то присматривалась, гадала»...

Ульяна Андреевна встала, зажгла свѣчки, дала дочери напиться святой воды и опять сѣла возлѣ нея.

— Добрые сны, Аличка, отъ Бога, злые отъ дьявола, —

сказала она:—вспомнимъ же о Богѣ. Станемъ ему молиться, чтобы онъ простилъ и во всемъ помиловалъ бы.

— Ахъ, нѣтъ, пѣтъ!—шептала Аглая, обнаженными, жаркими руками страстно сжимая шею матери:—не то... совсѣмъ мы не о томъ... Вы его не знаете... Позвольте мнѣ, разрѣшите... Я люблю его... Благословите меня на счастье съ нимъ...

«Медлить нечего,—раскидывала умомъ Ульяна Андреевна, тихо освобождаясь отъ объятій и поцѣлуевъ Аглаи: — пропущу это мгновеніе, тогда ужъ ничего не воротить»...

Она скрыла бурю, вставшую въ ея душѣ, покорила себя и до конца ласково и тихо выслушала тайну дочеринной любви, вывѣдала весь ходъ ея встрѣчъ, сближенія и объясненій съ Ветлугинымъ.

Аглая кончила свою исповѣдь.

— Что же, родная, вы согласны?.. благословляете насъ?—спросила она.

Старуха прошла по комнатѣ, накинула на плечи Аглаи платокъ, упала на колѣни предъ образомъ и, ломая руки, проговорила:

— «Велика и неисповѣдима твоя милость, Господи. Ты ослѣпилъ меня. Ты же и открылъ мнѣ глаза»...

— Ну, Аглая, теперь слушай! — обратилась, подходя къ дочери, старуха:—я все теперь тебѣ должна открыть... Сонъ твой развязалъ мнѣ руки... Грѣхъ, великій грѣхъ — жаловаться дочери на отца... Ну, да ужъ такъ тому вѣрно быть. Слушай...

Ульяна Андреевна помолчала, собралась съ духомъ и разсказала Аглаѣ объ отношеніяхъ Кириллы Григорыча къ женѣ кузнеца Антропа. Она не скрыла своего негодованія и ревности и своихъ мученій безъ конца.

Аглая слушала ее, устремляя нѣмой, молящій взглядъ на иконы и по временамъ вздрагивая. Смертный ужасъ хлынулъ въ лицо Аглаи, когда мать кончила разсказъ, Ульяна Андреевна прижала ее къ своей груди. Горькія, жгучія слезы катились изъ глазъ старухи.

— Ты молода еще, Аличка,—сказала она:—но теперь-то тебѣ и подумать о спасеніи. Далѣе будетъ видно. Всѣмъ, всѣмъ намъ грозитъ такая же судьба.

— Да не всѣ же люди на одинъ ладъ, — ломая похолодѣвшія руки, восклицала Аглая: — за что всѣхъ осуждать? Я жить, мамочка, хочу, жить...



— Жить?—грозно отшатнулась старуха:—а что значить сонъ? отвѣчай... Въ какую бездну ты готовишься упасть?

— Вы знаете, — возразила Аглая: — отецъ никогда не позволятъ мнѣ пойти въ монастырь...

— Отецъ? А знаешь ли, чему ты можешь подвергнуться, если... если послушаешь его?.. Ты станешь женой, будешь матерью... А знаешь ли ты, чѣмъ стала, по милости твоего отца, твоя мать?..

Ульяна Андреевна встала, выпрямилась. Глаза ея зажглись недобрымъ огнемъ. Она поблѣднѣла. Губы ея дрожали.

— Мамочка! молчите! ради Бога, молчите!—кинулась къ ней, зажимая ей ротъ, Аглая:—не гнѣвайте Бога!

— Поздно, — сказала глухо Вечерѣва: — поздно! я стала... я...

Ульяна Андреевна произнесла нѣсколько несвязныхъ, чуть слышныхъ словъ.

— Изба? изба? — въ ужасѣ спросила Аглая: — мамочка, неужели это правда?

— Хуже!—отвѣтила старуха:—хуже, хоть въ этомъ... въ избѣ... я не виновата...

— Что же? что?—хватая за руки мать, вскрикнула Аглая.

— Я,—проговорила старуха:—я—великая грѣшница! и въ искупленіе своей вины, я обѣщала тебя Богу... Я... видѣла, — при мнѣ тонуло дитя той женщины, — я стояла въ кустахъ, на берегу... никого кругомъ не было... и я не могла, когда оно утонуло...—заклчила шопотомъ свое признаніе старуха.

Аглая зашаталась и замертво упала къ ногамъ матери.

«Мученица Оиваида, цѣломудрія ради убіенная, помоги еѣ!»—твердила Ульяна Андреевна, приводя дочь въ чувство и не спуская глазъ со старыхъ иконъ, по которымъ уже скользили лучи загорѣвшейся зари.

Черезъ часъ мать и дочь отослали впередъ гостившую въ Дубокахъ обительскую казначею, наскоро уложились, велѣли запрягать и, незадолго до полудня, уѣхали въ Краснокутскій монастырь.

## XXV.

### Возвратъ.

Былъ теплый, тихій вечеръ, когда Встлугинъ снова подѣхалъ къ воротамъ отца. Солнце еще не заходило.

Льва Саввича дома не засталъ, какъ и при первомъ свиданіи. Няня Власьева встрѣтила его, пригорюнившись и со вздохами. Она уже, очевидно, знала о его неудавшемся сватовствѣ.

— Ты, няня, еще здѣсь?—спросить Ветлугинъ:—а я думалъ, что ты уже оставила отца и торгуешь въ лавочкѣ на базарѣ.

— Какъ же! у тебя все торговать... Брошу я его, на старости лѣтъ, особливо теперь. У него, сердечнаго, душа по тебѣ не на мѣстѣ, и самъ-то ужъ онъ не радъ, что и посылалъ тебя въ эвдакія дѣла...

— Гдѣ же отецъ?

— Тутъ, батюшка ты мой, такая оказія подошла, что жалости подобно. Утромъ-то привезли больного-пребольного этого Вечерѣева...

— Какъ? гдѣ онъ, гдѣ? я сейчасъ къ нему поѣду.

— Не знаю, соколъ. Самъ-отъ старой придетъ, скажетъ.

— Но какъ же здоровье Вечерѣева? Говорилъ отецъ?

— Сперва Ченшинъ баринъ пріѣхалъ, сказалъ, что у него ударъ, а послѣ звали дохтуровъ, говорятъ—рехнулся, что ли.

— Куда же, скажи, отецъ теперь уѣхалъ?

— А приходилъ за нимъ толстый-претолстый такой, землемѣръ онъ, что-ли-ча, шутъ его побери. Глянула я на него—тумба-тумбой, и съ козлиной бородкой. Отъ тебя адресную записку приносилъ. И оба они, съ нашимъ-то, вдвоемъ поѣхали къ другому, опять-таки больному... какъ бишь его? Тоже, сказываютъ, твой знакомый... и его также быдко привезли сюда къ дохтурамъ... Застрѣлили его кто-то, что ли...

— Къ Милунчикову отправился?

— Ну, да, да... къ этому самому и есть...

— Гдѣ же это, няня? Я съѣздила бы пока хоть туда.

— Опять-таки, милый, не знаю, не говорили. Не наше бабье дѣло, да очень ужъ и торонились.

— Ахъ, какъ жалы! Но кого звали изъ докторовъ?

Власьева назвала.

— Ну, няня, такъ поѣзжай же хоть къ кому-нибудь изъ этихъ докторовъ. Узнаешь тамъ адресъ Вечерѣева и Милунчикова и розыщи у нихъ отца, да, кстати, я напишу записку... Будешь у Вечерѣева, узнай, коли онъ при памяти, то попроси прочитать.

— Пиши записку,—вдохнула Власьева: — поѣду... Эко горе-то на людей... Тотъ умомъ, гсремичный, тронулся, а этого, какъ галку, ахвинцеры подстрѣлили... Не водись съ ними! Я мимо ружья иду, такъ отъ страху-то индо въ пятки колеть. А они стрѣляются! Давай записку, отвезу.

Ветлугинъ къ Вечерѣву написалъ слѣдующее: «Если вапа болѣзнь не такъ тяжела, если вы въ силахъ меня принять, не откажите мнѣ въ этомъ. Дайте мнѣ, до отъѣзда отсюда, вылить душу передъ отцомъ Аглаи Кирилловны. Дайте высказать вамъ благодарность за ваше гостепріимство и за ласки ко мнѣ и къ моему отцу».

Отославъ Власьевну, Антонъ Львовичъ взобрался на вышку. Сколько событій совершилось съ той поры, какъ онъ сидѣлъ здѣсь на крыльцѣ! Онъ сталъ глядѣть на городъ, на его зарѣчье и на окрестныя поля.

Заря догорала. Голубыя сумерки легкимъ туманомъ застилали главы городского собора, рядъ освѣщенныхъ лучами заката домовъ, церкви предмѣстій, ближніе огороды и сады и вершины лѣса, сплошнымъ бряжемъ уходившаго за синѣющіе издали равнины и холмы, туда, гдѣ еще такъ недавно былъ Ветлугинъ.

Все, что пережилъ онъ давно и что случилось въ эти быстро мелькнувшіе дни, воскресло и встало теперь передъ его глазами.

Онъ вспомнилъ такой же вечеръ. То было давно, а именно, двѣнадцать лѣтъ назадъ. Въ горькомъ раздумьѣ, убитый тоской, стоялъ онъ съ отцомъ на городскомъ кладбищѣ. Наутро онъ оставлялъ родину и пришелъ проститься съ могой матери.

Помнилъ Ветлугинъ, какъ и гдѣ онъ въ ту пору стоялъ. Помнилъ онъ гимназическую поношенную курточку, тетрадь дневника и какихъ-то стихотвореній въ карманѣ; подстывшія къ горлу слезы, мысль о чужбинѣ, тѣни заката и сильно подбитые сапоги... Одной ногой онъ стоялъ на дорожкѣ, а другою, какъ живо онъ помнилъ теперь, потрогивалъ траву на могилѣ матери. Ласточки рѣяли. Чирикали воробьи. Отецъ стоялъ возлѣ. — «Антоша», — сказалъ онъ тогда: — «не забудь этой минуты... Ты вырастешь, станешь человекомъ... Меня, вѣроятно, уже не будетъ на свѣтѣ. Приходи сюда почаще... Ея, матери твоей, нѣтъ въ живыхъ... Она не дождалась тебя видѣть большимъ. Но она

такъ тебя любила». — Отецъ закрылъ руками лицо и отошелъ... Онъ плакать.

А Антонъ Львовичъ продолжать смотрѣть на могилу и думать: вотъ именно здѣсь, подъ этой травой, лежитъ она; и не увидитъ онъ болѣе никогда ея кроткихъ, ласковыхъ глазъ, не услышитъ ея нѣжнаго голоса. И не хотѣлось ему тогда вѣрить, что его мать умерла, хотя онъ ясно помнилъ ея тихую кончину и весь печальный, надрывавшій душу похоронный обрядъ. Онъ прислушивался въ то время, не вздохнетъ ли она подъ землей и не скажетъ ли: — «Антонюшка, возьми меня отсюда; мнѣ жить хочется, любоваться тобой»...

Мысли рожались. Ветлугинъ глядѣлъ съ балкона. Ему грезились иная темная могила и въ ней иное дорогое существо...

«А бѣднякъ Милунчиковъ? — спрашивалъ онъ себя, — будетъ ли онъ спасенъ, или ужъ мучится въ послѣдней, предсмертной борьбѣ?»

Снизу на вышку кто-то взошелъ, сдѣлать по комнатѣ нѣсколько шаговъ и остановился.

— Кто тутъ? — спросилъ Антонъ Львовичъ, взглядываясь въ темноту.

Стоявшій за дверью ступилъ на крыльцо.

Отецъ и сынъ бросились въ объятія другъ другу.

— Что, Антонушка, оборвалось? — сказалъ Левъ Саввичъ: — что дѣлать! неудача мнѣ и тебѣ...

Они сѣли. Антонъ Львовичъ началъ рассказывать. Левъ Саввичъ его остановилъ.

— Все знаю, мой другъ, все, — сказалъ онъ: — сперва этотъ помѣщикъ Ченшинъ, что привезъ Вечерѣва, кое-что мнѣ сообщилъ, да Вечерѣвскій камердинеръ; потомъ землемеръ Фокинъ.

— А самъ Вечерѣвъ? — спросилъ антонъ Львовичъ.

— Никого не узнать. Бредить, какъ въ горячкѣ и, кажется, отъ нервнаго удара, дѣйствительно, даже тронулся умомъ... Вотъ катастрофа, вотъ жалость!.. Ну, а еще скажи ты мнѣ: Аглая-то, Аглая!.. Ахъ, бѣдная, бѣдная! Неужели?.. Еле до твоего письма я слышалъ о ней. Ее такъ хвалили. А твоя встрѣча! нужно же было тебѣ ѣхать. И все я выповить, я...

— Полноте, папсышка, вы-то здѣсь при чемъ?

— Ну, не говори, не говори. И это правда, скажи? Въ самомъ дѣлѣ, она осталась въ монастырѣ? Въ городѣ только и разговора. Вотъ времена... Каковы явленія въ обществѣ, каковы повороты!.. Милый ты мой, извини; но, если тебѣ не очень въ тягость, облегчи душу, Расскажи, сдѣлай милость, какъ все это случилось?..

Антонъ Львовичъ, съ остановками и отступленіями, въ подробности передалъ отцу весь ходъ своего знакомства съ Аглаей, свое сближеніе съ ней, окончательное объясненіе и свой отъѣздъ.

— Но какъ же, какъ она рѣшилась измѣнить тебѣ, нарушить слово и остаться въ монастырѣ?

— Поздно, видно, встрѣтились мы, — отвѣтилъ Антонъ Львовичъ:—ранѣе было надо. Не судьба.

— А какъ находишь мать?—спросилъ, погода, старикъ:—она всегда мнѣ казалась какою-то странною. Что-то тайное, необъяснимое проглядывало въ ней.

— Много тайнаго,—сказалъ и замолчалъ Антонъ Львовичъ.

— Ну, а игуменья? игуменья? — спросилъ отецъ: — ты, говоришь, пытался видѣться съ Аглаей, былъ въ монастырѣ. Что за челоуѣкъ эта благовѣрная Измарагда?

— Особа, изъ рукъ которой Аглаѣ, ужъ, разумѣется, не вырваться никогда.

— Бой Баба! Антонушка? бой? Говорятъ, едва грамотѣ знаетъ,—а какія обдѣлываетъ дѣла...

— Сила,—отвѣтилъ Антонъ Львовичъ:—и если тамъ достаточно такихъ силъ, борьба съ ними не легка.

— Еще бы,—вдохнулъ отецъ:—однихъ богатствъ сколько у нихъ... Земли, воды, лѣса, постоянные дворы, а у иныхъ даже лавки, гостиницы... Могилами на кладбищахъ торгуютъ. Какъ не быть силъ... Дай-ка ихъ миліоны на науку, въ помощь народу, не сидѣлъ бы онъ въ кабакахъ.

— Что Милунчиковъ?—спросилъ, погода, Антонъ Львовичъ:—вотъ еще кого мнѣ жаль. Что съ нимъ, и есть ли надежда на его выздоровленіе?

— Охъ, и не спрашивай. Я прямо отъ него. Раненъ онъ въ правую грудь и, вообрази, говорятъ, смертельно... По крайней мѣрѣ, таково мнѣніе здѣшнихъ медицинскихъ тузовъ. Вотъ тебѣ и дуэли, и судъ чести. Вызвалъ негодяя, думалъ его проучить; а выходитъ, что гибнешь самъ...

— Не побѣхъ ли намъ къ нему? — спросилъ Антонъ Львовичъ.

— Что же, я охотно. Онъ съ Фокинымъ въ Московской гостиницѣ, а Вечерѣва помѣстили въ Петербургской.

На дворѣ, между тѣмъ, окончательно стемнѣло. По близкимъ улицамъ и по зарѣчью засвѣтились ряды огней. Левъ Саввичъ, поглядывая на сына, молчалъ. Молчалъ и Антонъ Львовичъ.

Многое проносилось въ головѣ старика: горе сына, собственные, не сбывшіяся надежды. Онъ повторялъ про себя: «Кто могъ думать, кто могъ ожидать? Ключковъ—этотъ дѣлецъ, эта бойкая неутомимая природа, оказался такимъ недостойнымъ, такимъ темнымъ человѣкомъ. Фокинъ теперь все мнѣ разсказалъ о немъ. Правъ былъ сынъ, что не довѣрялъ ему, опасался его. Надо разспросить Антонунку... да ужъ разспрашивать ли? Треклятые полчища!.. Нѣтъ съ ними общаго, нѣтъ примиренія! Не жить овцѣ съ волкомъ, не плавать плотвѣ со щукою»...

Антонъ Львовичъ всталъ. Облокотясь о перила крыльца, онъ взглянулъ внизъ. Темное пространство устьянаго огоньками города затихало у его ногъ. Такъ затихло прошлое Антона Львовича; такъ мелькнетъ и затихнетъ неясное, подступающее будущее. Чье-то стихотвореніе о тихомъ, свѣтломъ ангелѣ, съ бѣлыми крыльями и золотыми кудрями, слетающемъ въ душу страдальцевъ, вспомнилось Ветлугину. Ангелъ улетѣлъ. Душа осиротѣла.

И было теперь опять два Антона Львовича: одинъ стоялъ здѣсь, на крыльцѣ отцовской вышки; другой виталъ далеко, тамъ, гдѣ—на вершинѣ зеленой горы — ограда и церковь, а возлѣ церкви, въ глухой кельѣ, Аггала...

Увидитъ ли онъ ее когда-нибудь? Или все улетѣло, все простилось и умерло навсегда?

За спиной Антона Львовича снова слышались шаги. Кто-то опять и еще тише взошелъ наверхъ по лѣстницѣ, приблизился къ порогу крыльца и остановился.

— Это ты, няня?—спросилъ Антонъ Львовичъ.

— Я...

— Была у Милунчикова?

— Нешла. Чуть собаки хвоста на площади не оторвали.

— А у Вечерѣва?

— Этого разыскала.

— Принесла отвѣтъ?

— Принесла... на словахъ...

— Самого Вечерѣева видѣла? что онъ, скажи: лучше ли ему?

— Какъ не самого! Жди... Племянничекъ подѣхалъ...

— Какой племянничекъ?

— А нашъ-то оболдуй, Петръ Ивановичъ Ключковъ, чтобъ ему, лѣшему, счастья не было ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ. Я ему треанасемской, иродовой душгѣ, и подарки его отнесу назадъ. Знала бы, и не ходила бы къ нему; да наткнулась на него въ гостиницѣ, возлѣ Вечерѣевского номера. Онъ говоритъ: подай мнѣ письмо; съ какой, говорю, стати? не къ вамъ... А онъ, аспидъ, вырвалъ, распечаталъ твою записку, прочиталъ, да и говоритъ при ихъ-то людяхъ: скажи, говоритъ, тѣтенька, молодому-то своему барину, да и старому тоже скажи, чтобъ мимо меня теперь больше къ Кириллѣ Григорьичу, къ Вечерѣеву, не обращались... Его жена, говоритъ, и дочка перебрались въ монастырь, такъ предводитель, говоритъ, по эптахветѣ вызвалъ меня и упротилъ взять дядошку на мое попеченіе. Можетъ статья, и опекуномъ его буду... Да я, говоритъ, притомъ, кое-что узнать—отъ игумени письмо получилъ. И въ колодець совѣтую не плевать, какъ молодой-то твой у меня, въ Ключковѣ, плюнулъ; придется напиться, да еще, можетъ, какъ! Видѣли мы, говоритъ, такихъ... Скажи ему, прибавилъ дяволь, чтобъ готовилъ денежки по вексельку за отца... у того, говоритъ, скоро ничего не будетъ, продадутъ его домъ и дворъ, со всѣмъ его курятникомъ и голубятникомъ, а онъ, говоритъ, расписался мнѣ теперь за отца.

Послѣднія слова Власьевна проговорила черезъ силу, отвернулась, плюнула и, не выдержавъ, расплакалась.

— Какъ, расписался за меня?—спросилъ, вспыхнувъ, Левъ Саввичъ.

Сынъ объяснилъ.

— Ахъ онъ, негодяй, ахъ, наглецъ! — вскрикнулъ старикъ:—да я на него... да онъ у меня... Какъ онъ смѣетъ! Слышите ли? Срокъ векселя еще къ Покрову; да и дѣла у насъ тоже совмѣстныя... Сколько общаго товару... Примусь-ка считать, такъ можетъ еще и на него насчитаю. А онъ впуталъ, уговорилъ...

— Полноте, папенька, оставьте его въ покоѣ. Ваши дѣла съ Ключковымъ я разобралъ и васъ въ обиду ему не дамъ.

Хотя вы, извините, и банкротъ,—но еще не унывайте. Я не фду отсюда до тѣхъ поръ, пока не избавлю васъ какъ отъ товарищества Ключкова вообще, такъ и отъ его угрозъ въ особенности. Обращусь къ купечеству. Моихъ сибирскихъ хозяевъ, чай здѣсь знаютъ. Нужно будетъ, и по телеграфу съ Сибирью спишемся. Словомъ, будьте спокойны. Мы съ няней снимемъ выѣску съ крыльца; а вы, куда слѣдуетъ, немедленно заявите о прекращеніи вашего агентства. Живите, папенька, непрежнему, съ старыми вашими друзьями, съ книгами, съ садомъ. А устроится, не нынче — завтра, мой дѣла, тогда мы, и безъ вашего агентства, откроемъ задуманную нами школу. Такъ ли? идетъ?

— Идетъ,—тихо вздохнулъ старикъ.

— А я и кахетинскихъ куръ опять посмотрѣла, — радостно воскликнула Власевна:—троицкая дьяконица дешево продаетъ. Нашлось столько, что весь огородъ у нихъ выѣли. И самыя настоящія—перо къ перу,—желтыя, есть и бѣлыя; а ноги тебѣ, какъ у гренадера...

— Ну, и отлично, няня,—заключилъ Антонъ Львовичъ:—а теперь, пойдѣте, проводите меня къ Милунчикову...

— Мы пѣшкомъ, Антонушка, пѣшкомъ. Тутъ не далеко, и пройти не мѣшаетъ.

— Съ удовольствіемъ.

Сперва улицей, потомъ переулками отецъ съ сыномъ прошли на площадь, гдѣ была Московская гостиница и гдѣ, въ двухъ смежныхъ комнатахъ, было помѣщеніе Милунчикова и Фокина.

Передъ одной изъ комнатъ, въ узенькомъ, полуосвѣщенномъ коридорѣ, Ветлугиныхъ встрѣтилъ совершенно растерявшійся Фокинъ.

Безъ галстука и въ растегнутомъ жилетѣ, онъ вполголоса отдавалъ спѣшныя приказанія заспанному гостиничному слугѣ и сперва не замѣтилъ гостей. Лицо его было измучено тревогой и безсонницей, глаза красны, волосы всклоочены. Въ рукѣ онъ держалъ записку. «На извозчика скорѣе, за докторомъ»,—сказалъ онъ, понукая слугу.

## XXVI.

### У пристани.

— Какія событія! — воскликнулъ, завидя Антона Льво-



вича и его отца, Фокинъ: — кто бы могъ ожидать? Я думалъ о своемъ дѣлѣ начать хлопоты, а пришлось... Такой отличный человѣкъ, въ цвѣтѣ дѣятельности, надежда общества, и вдругъ...

— Оно, большею частью, съ подобными людьми такъ-то вдругъ! — замѣтилъ со вздохомъ Левъ Саввичъ: — и изъ-за чего онъ себя погубилъ?.. Дѣла общества плохи; но они еще не дошли до такого трагическаго діапазона, чтобъ прибѣгать къ этому утонченному виду самоубійства. Надо было бы терпѣть, ждать... Жаль его, жаль...

— Ну, что же теперь съ нимъ? — спросилъ Антонъ Львовичъ: — есть надежда?

— Вотъ, войдите, увидите сами, — сказалъ, глядя куда-то въ уголъ, Фокинъ: — тоскуетъ онъ; все это время метался, стоналъ... Боль, очевидно, адская... Сильная жажда, изрѣдка бредъ... Все говорить: воздуху мало... А какое мало! пуля, по словамъ доктора, пробила ребро и, зацѣпивъ верхушки праваго легкаго, остановилась въ груди... Я ему настежъ раскрылъ всѣ окна... Говорить, напрасно увезли его изъ деревни, — тамъ бы свѣжѣе... Я отправилъ нарочнаго къ его брату-студенту: онъ тутъ, у одного учителя-пріятеля, въ тридцати верстахъ. А этого опять послалъ за докторомъ... Что-то ужъ очень подозрительно сталъ онъ покоенъ и даже будто храбрѣе... Это либо къ поправленію, либо скоро капутъ. Васъ же, Антонъ Львовичъ, онъ раза три сегодня вспоминалъ... О какой-то все вашей статьѣ толковалъ въ бреду...

— Ну, а дѣло ваше... съ обидчиками? Были у слѣдователя?

— Ну ихъ, — я радъ, что и такъ отъ нихъ отдѣлался. До того ли теперь!

Фокинъ махнулъ рукой. Онъ на цыпочкахъ провелъ гостей сперва въ свой номеръ, потомъ отворилъ дверь въ комнату Милунчикова.

Первое впечатлѣніе, при взглядѣ на эту комнату и на самого больного, подало посѣтителѣмъ нѣкоторую надежду. Ни запаха лѣкарствъ, ни вида бинтовъ, корпій и вообще какихъ-либо грозныхъ хирургическихъ препаратовъ не было здѣсь. Гостиница этою стороною выходила въ смежный купеческій садъ. Въ окна комнаты врывался свѣжій, напоенный ночнымъ запахомъ травъ и деревьевъ воздухъ.

Милунчиковъ лежалъ на кровати, облокотясь лѣвымъ бо-

комъ о подушки. Правый бокъ, прикрытый чистой простыней, страшно вздувался отъ наложеннаго на него пузыря со льдомъ. Маленькое лицо Милунчикова стало какъ бы еще меньше и было мертвенно-блѣдно. Глаза горѣли сухимъ, лихорадочнымъ блескомъ. Грудь дышала порывисто и тяжело. Носъ заострился и потемнѣлъ.

— У пристани, у пристани!—надтреснутымъ, звенящимъ голосомъ проговорилъ Милунчиковъ, усиливаясь улыбнуться навстрѣчу входившихъ гостей:—жизнь ставить точку, пунктумъ... Вотъ, всѣ мнѣ пророчили, что умру отъ чахотки. А меня,—добавилъ онъ, тревожно вглядываясь въ лица посетителей:—подцѣпила глупая нуля гусарскаго ремонтера... и вся-то она, представьте, съ горошину величиной, — засѣла, проклятая, въ самыхъ ребрахъ... Кто бы могъ думать, Антонъ Львовичъ, а? А бѣдняжка-то, племянница моя Аглая?.. Бдучи сюда, я о ней узналъ... Она умерла нравственно, и умираю физически...

— Полноте думать о смерти, — перебилъ его, стараясь скрыть и собственное смущеніе, Антонъ Львовичъ:—я полагаю, что вамъ хуже; а вы молодымъ. Крѣпитесь. Да и что падать духомъ? Если бъ вы были ранены въ грудь навывлетъ, дѣло другое; а ваша рана положительно не опасна... Люди съ пулей въ груди живутъ по десяткамъ лѣтъ...

— Я и самъ такъ думаю,—пободръвъ и устремляя ласковый взглядъ на Фокина, сказалъ Милунчиковъ: — вотъ, благодаря моему спасителю, пулю надняхъ вынуть. Теперь еще нельзя. Придется, разумѣется, потерпѣть. Ну, да что-жъ дѣлать... Хочу, господа, безъ хлороформа... Теперь зато, пока, жуирую... Ахъ, васъ вспомнилъ сегодня, Антонъ Львовичъ. Представьте, нѣтъ худа безъ добра...

— Не говорите, Николай Ильичъ, такъ много: вамъ вредно!—остановилъ его Фокинъ.

— Нѣтъ, позвольте, не перебивайте, надо досказать,—закашливаясь страннымъ, звенящимъ кашлемъ, возразилъ Милунчиковъ:—хочу Антону Львовичу сообщить одну весьма пріятную новость, а при этомъ скажу и одни стихи...

— Поэзія! гдѣ она?.. Аглая—вотъ поэзія, не правда ли?—шепнулъ Милунчиковъ, притягивая къ себѣ за руку Ветлугина:—знаете что? посватайтесь, вы ее, можетъ, спасете... Впрочемъ, извините,—говорю, кажется, въ бреду,—жалъ ее, вотъ какъ жалъ...

Милунчиковъ, морщась, но удерживаясь отъ стоновъ, поднялся на подушкѣ, закрылъ на мгновеніе отъ боли глаза, помолчалъ и, улыбаясь, проговорилъ вслухъ:

— Да, Антонъ Львовичъ, поздравьте... Губернская управа приняла, наконецъ, на-дняхъ мои проекты какъ объ открытіи новыхъ школъ въ здѣшнемъ уѣздѣ, такъ и объ изданіи самостоятельнаго мѣстнаго органа нашего земства... Теперь то закипать у насъ вопросы... Не въ Петербургѣ умъ, въ провинціяхъ...

Милунчиковъ опять помолчалъ.

— Я, какъ узналъ объ этомъ сегодня отъ доктора, — продолжалъ онъ: — то все думаю, думаю, — земство такъ и стоитъ у меня передъ глазами: споры, борьба съ враждебными элементами, съ собственною лѣнью и равнодушіемъ. Вѣдь земство, господа, — единственная надежда общества...

— Полноте, полноте, не говорите такъ долго! — остановилъ его Ветлугинъ-отецъ.

— Нѣтъ, погодите, — перебилъ, замахавъ рукой, Милунчиковъ: — едва оправлюсь, возьму отпускъ и напишу въ деревнѣ, для первой же книжки нашего изданія, статью, по мысли родственную съ вашей... о будущемъ... Да!.. нельзя не радоваться... Какъ это выразился поэтъ? помните?

Милунчиковъ снова закрылъ глаза. Онъ еще болѣе поблѣднѣлъ, помолчалъ, и задыхаясь, тихо проговорилъ:

— Безсмертный Пушкинъ... Вотъ нашъ вожакъ. Вотъ гражданинъ... Рядомъ съ отчаяніемъ у него всегда надежда. Помните его стихи изъ не вполне изданной девятой главы Евгенія Онегина? Какъ, бишь, это?.. Да, вспомнилъ:

«На берегъ радостный выносить  
Мою ладью девятый валъ»...

— Онъ надѣялся, вѣрилъ, что и девятый, грозный валъ не всегда топить углые житейскіе корабли...

Съ послѣдними словами, Милунчиковъ окончательно не выдержалъ, обезсилѣлъ, покачнулся и упалъ спиной на подушки. Глаза его по-узакрылись. Щеки подернулись синевой. Изъ груди продолжалъ вылетать рѣзкій, какъ бы обо что-то цѣплявшійся и обрывавшійся свистъ.

Черезъ день Милунчикову стало хуже. Черезъ два онъ уже былъ въ непрерывномъ бреду. Ветлугины навѣщали его по нѣскольку разъ въ день. Зайдя къ нему какъ-то

вечеромъ, они его застали въ лучшемъ состояніи. Фокинъ отъ усталости и тревоги не походилъ на себя. Больному нужно было перемѣнить повязку. Его приподняли, — онъ хотѣлъ что-то сказать, склонился и блѣдный, съ померкшими глазами, упалъ на руки Ветлугинныхъ.

Въ сосѣдней комнатѣ раздались шаги.

— Что—тихо спросилъ вошедшій докторъ.

— Обморокъ,—отвѣтилъ Фокинъ.

Докторъ нагнулся къ кровати. У него были рѣдкіе, ровные и необыкновенной бѣлизны зубы, круглая лысинка и щегольскіе, свѣтлорусые бакены. За нимъ вошелъ фельдшеръ. Удаляясь въ сосѣднюю комнату, Антонъ Львовичъ слышалъ, какъ Милунчикова приводили въ чувство, какъ онъ опять заговорилъ и какъ докторъ, прописавъ ему лѣкарство и сдавая его на ночь фельдшеру, на вопросъ больного: «скоро ли операція? и буду ли я живъ?» отвѣтилъ: «операцію можно завтра: послѣ нея вамъ окончательно будетъ лучше»...

— Ну что, докторъ, онъ и въ самомъ дѣлѣ можетъ еще выздороветь? — спросилъ Антонъ Львовичъ медика, выходя съ нимъ и съ Фокинымъ въ коридоръ. Ветлугинъ не хотѣлъ помириться съ мыслью, что онъ въ Милунчиковѣ теряетъ послѣднюю надежду на спасеніе Аглаи.

— Если у него есть отецъ, мать, сестры или братья, — сказалъ съ разстановкой докторъ, тонкими, въ перстняхъ пальцами расчесывая шелковистые бакенбарды: — то я на эту ночь посовѣтовалъ бы посадить у его изголовья кого-нибудь изъ сердечно любимыхъ имъ его близкихъ... Остальнымъ же, господа, совѣтую лучше отсюда уйти...

— Почему?—несмѣло спросилъ подошедшій Левъ Саввичъ: — мы бы возлѣ него посидѣли, помогли бы ему.

— Помощи ему не нужно... Не мѣшайте ему... Пусть остается одинъ, со своими надеждами на жизнь... Намъ болѣе нѣтъ тутъ дѣла... Мы... въ концѣ нашей латыни. Она здѣсь иже ни причеъ.

— Вы думаете?—испуганно спросилъ Левъ Саввичъ.

— Онъ завтра къ вечеру или много къ ночи, умереть... Агонія же начнется, вѣроятно, около полудня. Его задушить экссудатъ, отекъ легкаго... Въ такихъ случаяхъ, это скоро... чикъ, и конецъ...

Докторъ слегка поклонился, сурово принявъ отъ Фокина

что-то въ бумажкѣ, сѣлъ въ новенькія щегольскія дрожки, нахмурился и, выпрямившись, какъ шесть, уѣхалъ.

— Погибъ! — прошепталъ Левъ Саввичъ.

— А, вреть онъ! — сердито сказалъ Антонъ Львовичъ: — точно всезнающій! медицина ошиблась, да еще какъ!

Прощаясь съ Фокинымъ, Ветлугины взяли съ него слово извѣстить ихъ, если съ больнымъ произойдетъ какая-либо перемена къ худшему, и также ушли.

— Какъ мнѣ его жаль, какъ жаль! — повторялъ, иди обратно съ отцомъ, Антонъ Львовичъ: — да! я, кажется, жизнь за него отдалъ бы... Сколько искренности, беззаветнаго увлеченія. Кажется, дѣла кругомъ вотъ какъ плохи, а онъ умираетъ, надѣясь и вѣря... Даже смѣшно...

Льву Саввичу показалось, что сынъ, говоря это, утиралъ слезы.

Ветлугины не сразу воротились домой. Они, сами того не замѣчая, прошли въ ближайшее предмѣстье, взобрались, уже почти за городомъ, на обрывистый берегъ рѣки и, бесѣдуя, просидѣли тамъ, пока начался разсвѣтъ.

— Не вѣрю я въ будущее общества, — сказалъ, вставая, отецъ: — дуэль Милунчикова что? Явленіе исключительное... Страшенъ повсемѣстный застой, страшно равнодушіе всѣхъ къ своимъ дѣламъ.

Антонъ Львовичъ молчалъ. Свѣтлые, чистые образы Агланъ и Милунчикова не отходили отъ его глазъ.

Еще сумрачными, полными дремоты улицами Ветлугины пошли домой. Они не переставали говорить о Вечерѣевѣ и его дочери, о Милунчиковѣ и о тѣхъ, кто выигрываетъ отъ ихъ общаго горя.

— Да неужели же, — сказалъ Левъ Саввичъ: — въ самомъ дѣлѣ, на весь этотъ сильный міръ негодяевъ, невѣждъ и глупцовъ не явится кары по заслугамъ? Густая; ухъ, какал густая тьма еще кругомъ. И гдѣ, спрашиваю я тебя, спасеніе отъ общаго зла? Неужели мы такъ и не дождемся надежной пристани?

— А зачѣмъ намъ пристань? — останавливаясь у своего двора, съ сердцемъ возразилъ Антонъ Львовичъ: — рано намъ еще заботиться о пристани... Мы — общество юное. Намъ еще думать не о покоѣ. Вонъ, горюхъ, у насъ чети-  
реста столичныхъ и провинціальныхъ журналовъ и газетъ;

но зато и пятьсотъ монастырей. Видно, нашей ладѣ еще немало носиться по бурнымъ житейскимъ волнамъ...

— По волнамъ-то по волнамъ,—сказалъ, переступая порогъ калитки, Левъ Саввичъ:—только не всѣ мореходы возвращаются оттуда, куда пошли. Вотъ и Милунчиковъ сказалъ намъ полные надежды стихи о девятомъ валь... А старые моряки говорятъ, что на кого набѣжитъ этотъ роковой, грозный валь, тому не сдобровать. Захлестнетъ онъ и потопитъ всякаго... И выбралъ же Милунчиковъ какіе стихи!.. Даже и Пушкинъ, какъ нарочно, не кончилъ именно этой самой девятой главы, которую въ шутку сравнилъ съ гибельной для мореходовъ, но будто бы не для него, роковою волной.

— Да... какъ кому! — въ раздумѣ, какъ бы про себя, замѣтилъ Антонъ Львовичъ:—иной разъ человѣкъ, кажется, вотъ-вотъ окончательно погибъ. А глядишь, его опять вынесла эта же грозная пучина на радостный берегъ...

У него еще роились бое-какія надежды. Онъ уповалъ на выздоровленіе Милунчикова, а съ нимъ и на перемѣну въ судьбѣ Аглаи.

Отецъ сомнительно покачалъ головой. Они подошли къ крыльцу.

Здѣсь, прикурнувъ у ступеней, ожидала ихъ Власьева.

— Ты, няня, уже встала?—спросилъ Антонъ Львовичъ:—не спишь?

— Я всю ноченьку, другъ ты мой, глазъ не смыкала... Вотъ тебѣ записка...

Власьева утирала слезы.

— Отъ кого?—спросилъ Антонъ Львовичъ.

— Этотъ-то толстый, Фокинъ, что ли, сперва самъ на извозникѣ пріѣзжалъ, а не заставъ насъ, прислалъ это письмо.

— Что же, видно, Милунчикову хуже? — спросили въ одинъ голосъ сынъ и отецъ.

— Читайте; вотъ, я и свѣчу залгу, — сказала Власьева:—лампадку въ спальнѣ давно засвѣтила... сказываютъ, ему плохо...

Антонъ Львовичъ вслухъ прочелъ слѣдующія строки Фокина: «Докторъ ошибся... Агонія у нашего бѣднаго друга началась ранѣе, чѣмъ онъ ожидалъ. Онъ уже въ безпамятствѣ»...

— Ну, Антоша, ты—человѣкъ молодой, ложись спать,—сказалъ, опять сходя съ крыльца, Левъ Саввичъ:—а я—старикъ... пойду, взгляну на Милунчикова, закрою ему глаза...

— Нѣтъ, папенька, пойдемте вмѣстѣ... Мнѣ дорого приять его послѣдній вздохъ. Да наконецъ...

Антонъ Львовичъ не договорилъ.

Ветлугины вышли снова на улицу, разбудили спавшаго вблизи извозчика, доѣхали до гостиницы и робко вступили въ коридоръ.

Здѣсь, сверхъ ожиданія, все спало и было спокойно. Только изъ крайней двери направо раздавался какой-то странный, гудящій и звенящій звукъ, точно тамъ проснулся ретивый и неугомонный мастеровой, слесарь или токарь,—сѣлъ онъ за станокъ и уже завелъ свою далеко слышную и надоедающую мирнымъ сосѣдямъ шестерню.

— Не ошиблись ли мы комнатою? — подходя къ этой двери, сказалъ Левъ Саввичъ...

Но они не ошиблись. Ихъ на порогъ той комнаты встрѣтили Фокинъ и фельдшеръ.

— Чтò у васъ... тамъ за дверью?—робко спросилъ старикъ, испуганными, растерянными глазами указывая наѣво. Фокинъ бережно, отворилъ эту дверь.

Комната Милунчикова приняла нѣсколько другой видъ. Поперекъ ея теперь помѣщалась створчатая, обитая зеленымъ, потемнѣлымъ коленкоромъ ширма. По сю сторону жирмы, передъ круглымъ столикомъ, стоялъ въ старенькой рясѣ и со свѣчей въ рукѣ, негромко читая отходную, худенькій священникъ. Левъ Саввичъ нагнулся, поглядѣлъ въ щелку ширмы и дрожащею рукою привлечь къ ней сына.

— Къ пристани, къ пристани идетъ!—зашепталъ, всхлипнувъ, старикъ:—скоро счастливые всѣхъ насъ будетъ...

Антонъ Львовичъ также привикъ къ ширмѣ. За нею, вытянувшись во весь ростъ и со сложенными на груди руками неподвижно лежалъ на кровати Милунчиковъ. Онъ дѣйствительно подходилъ къ пристани: бредилъ въ послѣдней агоніи.

Ему грезилась нѣкая обширная храмина, ораторы на трибунѣ, рѣчи о благѣ страны, рукоплесканія... Грудь его вздымалась судорожно и высоко. Нечеловѣческіе, гудящіе и свистящіе звуки, какъ отъ расшатанной, сорвавшейся съ оси шестерни, вылетали изъ этой груди. Было видно, какую

борьбу за жизнь выдерживали эти еще недавно живые силы.

— Если это—смерть,—пожимая руку сыну, сказали блѣдный, какъ полотно, Левъ Саввичъ:—то могу одно замѣтить, что это—тяжелая, мрачная исторія...

На похороны Милунчикова Антошъ Львовичъ не пошелъ. Въ день этихъ похоронъ онъ поднялся на вышку, легъ ничкомъ на постель и такъ, не раздвываясь, пролежалъ болѣе сутокъ.

→ Что съ тобою, 'Антонушка, другъ мой,—спросилъ, навѣстивъ его, Левъ Саввичъ. Сынъ ничего не отвѣтилъ. Старикъ нѣсколько разъ послѣ того опять поднимался на вышку, стоялъ на порогѣ комнаты сына, прислушивался, не стонетъ ли, не вздыхаетъ ли онъ, качалъ головой и уходилъ.

Сынъ легъ однимъ человѣкомъ, всталъ другимъ. Лицо его стало блѣдно, осунулось. Глаза были сухи. Но онъ не жаловался ни на что. Всталъ и принялся за дѣла. Снесся съ хозяевами, посѣщалъ кунцовъ, биржу.

Вывѣска съ крыльца была снята и спрятана на чердакъ; картонки и касса отосланы знакомому нотаріусу. Разсылный рассчитанъ. Власьева наняла поденщицу и съ нею вымыла целокомъ не только полы, окна и двери въ домѣ, но и оба крыльца. А когда все было приведено въ предѣльный порядокъ, достала святой воды и обрызгала ею всѣ комнаты. Левъ Саввичъ велѣлъ затопить печь въ кабинетѣ и тайкомъ отъ сына бросилъ въ нее кучу книгъ, которыя было завелъ: туда попали—руководство къ промышленнымъ предпріятіямъ и къ высшей коммерціи, вексельный уставъ и другія. Портреты Ротшильда и Стефенсона также были брошены въ огонь.

Черезъ двѣ недѣли послѣ похоронъ Милунчикова, Антошъ Львовичъ собрался, наконецъ, въ путь и послалъ за почтовыми лошадьми. Вечерѣвъ, котораго онъ въ это время не разъ навѣщалъ, попрежнему его не узнавалъ. Доктора нашли Кирилу Григорыча безнадежнымъ. Аггас, по слухамъ, также заболѣла.

— Куда же ты теперь, Антонюшка?—спросилъ, стараясь казаться бодрѣе, Левъ Саввичъ:—опять умишишься далеко!..

— Я устроилъ, папенька, ваши дѣла, перевелъ и остальные ваши обязательства на себя,—отвѣтилъ Антошъ Львовичъ:—теперь вамъ остается начать вашу прежнюю, без-



заботную жизнь. Не печальтесь. Я предчувствовалъ, что ваши затѣи съ агентствомъ—случайное, навѣянное другими настроеніе, и я отъ души радуюсь тому, что вы отъ него отказались...

Сынъ обнялъ и поцѣловалъ отца.

— Но куда же ты теперь, куда,—спросилъ опять отецъ.

— Я долженъ немедленно заняться дѣлами моихъ хозяевъ-сибиряковъ. Вы уже знаете, что съ ними, въ мое отсутствіе, приключилась немалая бѣда: московскіе первостатейные купцы, отъ имени которыхъ они вели азіятскую торговлю, — получили отъ нихъ послѣдніе товары и вдругъ прекратили платежи... Дѣло обыкновенное, заурядное... Надо, видно, приниматься за прежнія занятія юстиціей и начинать въ защиту хозяевъ процессъ.

— Что же, помоги тебѣ судьба.

Передъ выѣздомъ отъ отца, Антонъ Львовичъ отправилъ въ Москву, къ Столепникову, слѣдующее письмо:

«Благодарю тебя, любезный Аввакумъ, за указаніе новаго мѣста твоего жительства. Это пригодилось мнѣ скорѣе, чѣмъ я ожидалъ. Послѣ столь долгой разлуки съ тобой, въ твою жилище въ Москвѣ, вѣроятно, скорѣе за симъ явится и самъ писавшій эти строки. Ты во многомъ еще идеалистъ; но касательно меня, кажется, угадалъ... Между нами и тѣми, кто въ настоящее время не съ нами, кто на той, болѣе сильной теперь сторонѣ, примиреніе дѣйствительно, повидимому, невозможно. Меня подхватила роковая волна... Куда она меня унесетъ, не знаю. Но не будемъ унывать и пойдемъ навстрѣчу ожидающей насъ и нашихъ друзей борьбѣ... Пока ѣду въ Сибирь, а тамъ, черезъ мѣсяцъ, черезъ два, — я у тебя.—Твой А. Ветлугинъ».

Къ отцу Ветлугинъ, мѣсяцъ назадъ, пріѣхалъ рано утромъ. Выѣхалъ онъ отъ него теперь поздно вечеромъ. Власьева плакала навзрыдь. Она, дѣйствительно, отнесла Ключкову обратно его подарки, — какъ кофту, такъ и часы съ кушковой.

Ключковъ, однакоже, не унывалъ.

Въ благородномъ клубѣ въ тотъ день былъ по подпискѣ обѣдъ. Проѣзжая мимо клуба, Ветлугинъ на его убранномъ цвѣтами балконѣ увидѣлъ оживленное общество. Среди нѣсколькихъ губернскихъ тузовъ, во фракѣ, въ бѣломъ гал-

стукъ и съ сигарой въ рукѣ, стоялъ Ключковъ. Онъ, очевидно, былъ въ отличномъ настроеніи духа, о чемъ-то ораторствовалъ, размахивалъ руками. Тузы глубокомысленно его слушали. «Не стѣсняется и во всемъ вѣренъ себѣ!» подумалъ, глядя на него, Ветлугинъ.

Въ нѣсколькихъ верстахъ за городомъ Ветлугина захватила ночь.

Теплый воздухъ спящихъ полей былъ неподвиженъ. Мѣсяцъ въ эти ночи уже вовсе не восходилъ. Небо зато мерцало тысячами звѣздъ.

«Аглая... — думалъ Ветлугинъ,—ея отецъ сказалъ, что этимъ же именемъ называется одна изъ звѣздъ, между Юпитеромъ и Марсомъ, и что путь ея совершается вокругъ солнца въ четыре года и во сколько-то дней»...

Ветлугинъ невольно поднялъ глаза къ небу и сталъ на немъ чего-то искать.

Телѣжка быстро катилась по мягкой столбовой дорогѣ. Звѣзды тихо мерцали въ безоблачной вышинѣ.



# Оглавление

## V тома.

### Девятый валъ. (Христова невѣста). Романъ.

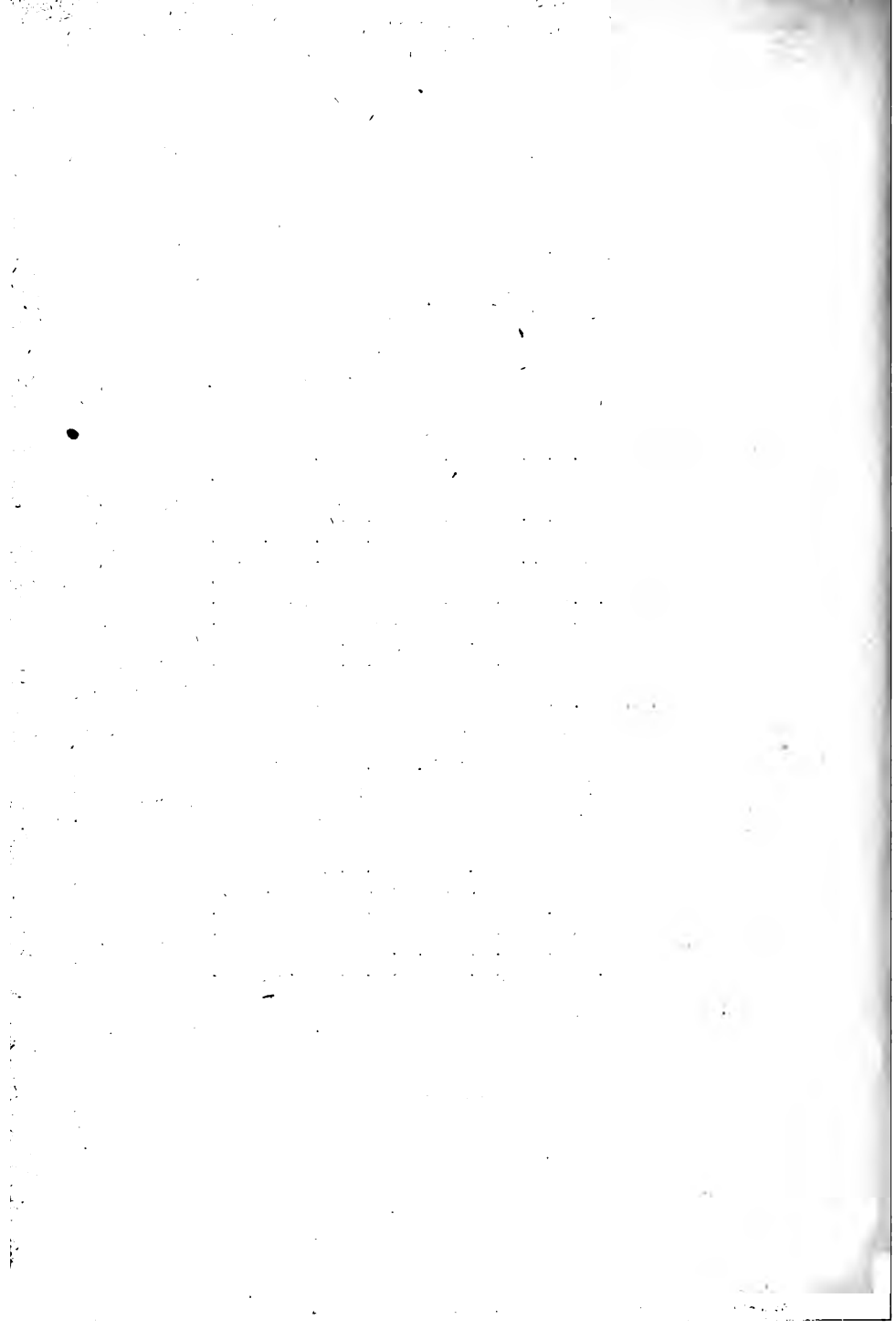
#### Часть первая. Передъ обителью.

|                                     | стр. |
|-------------------------------------|------|
| I. Новый Одиссей . . . . .          | 3    |
| II. Четы-Миней . . . . .            | 10   |
| III. Губернскій Цинциннатъ. . . . . | 17   |
| IV. Старое гнѣздо. . . . .          | 25   |
| V. Новыя птицы-новыя пѣсни. . . . . | 33   |
| VI. Держи носъ по вѣтру! . . . . .  | 41   |
| VII. Ормуздъ и Ариманъ. . . . .     | 54   |
| VIII. Дубки. . . . .                | 62   |
| IX. Въ библиотекѣ. . . . .          | 70   |
| X. Гуда Маккавей. . . . .           | 82   |
| XI. Потерянный рай . . . . .        | 93   |
| XII. Дѣдъ Лукашка. . . . .          | 106  |
| XIII. Загадка . . . . .             | 118  |

#### Часть вторая. Крылошанка.

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| XIV. Тѣнь прошлаго. . . . .        | 127 |
| XV. Въ скитѣ у бабушки. . . . .    | 139 |
| XVI. Благовѣсть. . . . .           | 153 |
| XVII. Звѣзды. . . . .              | 163 |
| XVIII. Письмо. . . . .             | 170 |
| XIX. Подъ смоковницей. . . . .     | 181 |
| XX. Бойцы селъ и городовъ. . . . . | 194 |
| XXI. Посолье . . . . .             | 207 |
| XXII. Молитвенникъ. . . . .        | 219 |
| XXIII. Мать Измарагда. . . . .     | 227 |
| XXIV. Сонъ . . . . .               | 235 |
| XXV. Возвратъ. . . . .             | 241 |
| XXVI. У пристани. . . . .          | 248 |





# СОЧИНЕНІЯ

# Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,  
ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,  
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. МАРКСА.  
1901.



Типографія А. Ф. Мариса, Немайл-ур., Ж. Гр.

МНН

191

191

191

191

191

191

# ДЕВЯТЫЙ ВАЛЬ.

(ХРИСТОВА НЕВѢСТА).

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ВЪ СВѢТѢ.

XXVII.

Въ Москвѣ.

Прошло болѣе трехъ лѣтъ.—Было начало осени 1871 года.

Погода стояла теплая и свѣтлая. Къ небольшому двухъ-этажному домику, на Никитскомъ бульварѣ, въ Москвѣ, едва стало смеркаться, подошелъ, съ портфелемъ подъ мышкой, озабоченный человекъ. Онъ дернулъ за звонокъ, спросилъ слугу, не заѣзжалъ ли кто-нибудь безъ него, и вошелъ въ дверь, на которой была прибитая мѣдная дощечка съ надписью: «Ходатай по дѣламъ». Поднявшись на крыльцо, этотъ господинъ прошелъ въ небольшой, уютный кабинетъ, бросилъ портфель на этажерку, взялъ съ рабочаго стола пачку нераспечатанныхъ писемъ, подошелъ къ окну, сѣлъ въ кресло и задумался.

«Одно и то же,—размышлялъ онъ, — старая вѣчная пѣсня... Тѣхъ грабятъ чужіе, эти жалуются на своихъ; тѣ ищутъ потеряннаго, эти — новой прибыли; въ томъ мѣстѣ требуютъ приданнаго, въ этомъ — развода; тѣхъ обидѣли, эти сами обижаютъ... Труда немало. А время бѣжить и бѣжить»...

Человѣкъ, разсуждавшій такимъ образомъ, былъ Антонъ Львовичъ Ветлугинъ. Но какъ онъ измѣнился: его сухое и строгое лицо стало еще суше и строже. Сѣдина пробивалась въ бородѣ и волосахъ. Глаза были такъ же свѣтлы, но въ нихъ отражалась преждевременная усталость. Руки были блѣдны и худы; движенія угловаты.

Онъ прочелъ нѣкоторые изъ писемъ и, не распечатывая остальныхъ, просидѣлъ въ креслѣ до поры, пока на дворѣ окончательно стемнѣло. Фонарей на улицѣ еще не зажигали. Ъзды почти не было слышно. Комнаты мало-по-малу утонули въ потемкахъ и тишинѣ. Изъ маленькой пріемной, со старою мебелью, потертымъ ковромъ и кучами газетъ и книгъ по окнамъ и столамъ, слышался мѣрный стукъ часового маятника. Одно изъ оконъ кабинета, уставленного книжными шкапами, этажерками и картонками съ дѣлами, выходило въ небольшой садъ. Надъ вершинами стемнѣвшихъ деревьевъ и надъ крышей сосѣдняго дома еще мерцала блѣдная полоска зари. Скоро и она погасла.

«Пора зажигать лампу! пора за работу! — подумалъ, рѣшившись встать, Ветлугинъ, — надо приготовить дѣло къ завтрашней защитѣ; надо справиться съ судебнымъ уставомъ; а сколько писемъ писать»...

Но лампа не зажигалась, судебный уставъ не раскрывался, рука не бралась за перо. Ветлугинъ сидѣлъ, глядѣлъ на уголъ рабочаго стола, прислушивался къ стуку маятника въ гостиной, къ шагамъ прохожихъ за окномъ, и размышлялъ... Гдѣ были его мысли? И какими судьбами онъ очутился на жительствѣ въ Москвѣ?

Разставшись, три года назадъ, съ отцомъ, Ветлугинъ возвратился за Уралъ. Туда его звали дѣла хозяевъ. А эти дѣла въ то время приняла весьма дурной оборотъ. Первостатейные московскіе купцы, на деньги которыхъ хозяева Ветлугина вели торговлю, въ томъ году совершенно неожиданно прекратили свои платежи. Стала носиться молва, что это банкротство, грозившее окончательнымъ разореніемъ нѣсколькимъ второстепеннымъ торговымъ домамъ, было умышленное.

Ветлугинъ, съ довѣренностью отъ хозяевъ, уѣхалъ въ Москву и повелъ переговоры съ ихъ компаньонами. Но на первыхъ же порахъ онъ убѣдился, что мировая невозможна, и рѣшился начать формальный процессъ. Онъ много вы-



терпѣлъ съ этимъ процессомъ: не разгибая спины, просидѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ надъ подборомъ необходимыхъ бумагъ и изученіемъ подходящихъ законовъ; совѣтовался съ опытными юристами, писалъ и подавалъ прошенія, разъясненія, и съ утра до вечера ѣздилъ по старымъ и новымъ присутственнымъ мѣстамъ. Весь этотъ трудъ Ветлугинъ несъ, живя въ тѣсной канурѣ отдаленнаго подворья, и зачастую нуждался въ рублѣ.

Начавъ искъ противъ московскихъ тузовъ, Ветлугинъ наткнулся на цѣлый рядъ такихъ же точно процессовъ. Это дѣло тянулось около двухъ лѣтъ и кончилось побѣдой для Ветлугина. Онъ выигралъ его во всѣхъ инстанціяхъ, вызвалъ къ расчету съ противниками своихъ хозяевъ, но ѣхать съ ними обратно за Уралъ отказался.

— Я, господа, вашъ слуга попрежнему, — сказалъ онъ: — но Москвы не оставляю. Ко мнѣ стали обращаться другіе, и мнѣ удалось имъ пособить такъ же, какъ и вамъ. Дѣло теперь у меня, сверхъ ожиданія, столько, что не оберешься. Записываюсь окончательно въ адвокаты...

— Охъ, баринъ, берегись, — говорили на это его хозяева: — дѣло берешь трудное; съ нимъ либо рыбку ѣсть, либо на медъ сѣсть.

— Не боюсь, господа, — отвѣчалъ Ветлугинъ: — время для судовъ настало иное. И комаръ лошадь свалить, коли волкъ пособить...

Ветлугинъ какъ рѣшилъ, такъ и сдѣлалъ: сталъ заниматься хожденіемъ по дѣламъ и на этомъ поприщѣ оказался далеко не изъ послѣднихъ. Имя его, впрочемъ, рѣдко попадалось на столбцахъ газетъ, отводящихъ мѣсто судебнымъ извѣстіямъ, и не было связано ни съ однимъ изъ тѣхъ, болѣе или менѣе громкихъ и знаменитыхъ, уголовныхъ процессовъ, которые за послѣдніе годы надѣлали столько шума въ столичныхъ и губернскихъ судебныхъ округахъ. Произошло это, вѣроятно, потому, что Ветлугинъ бралъ на себя ходатайство и публичную защиту только по такимъ дѣламъ, которыя онъ завѣдомо считалъ совершенно чистыми.

Въ первый годъ своего пребыванія въ Москвѣ, Ветлугинъ, для лучшаго ознакомленія съ судебнымъ міромъ, занялся въ качествѣ помощника при конторѣ одного изъ адвокатовъ по гражданскимъ дѣламъ. Въ срединѣ второго

года московской жизни, онъ открылъ собственную адвокатскую контору, а въ началѣ третьяго года у него было уже столько дѣлъ, что онъ не зналъ, какъ съ ними справиться. Не всѣ процессы Ветлугинъ, какъ водится, выигрывалъ, за то ни по одному онъ не вызывалъ укоризнъ и проклятій своихъ довѣрителей. Значительную долю заработковъ онъ удѣлялъ на уплату отцовскихъ долговъ и отъ души обрадовался, когда ему удалось, частью на собственный заработокъ, частью займомъ, погасить послѣднее изъ обязательствъ, выданныхъ имъ за долги отца.

Это случилось въ концѣ третьяго года его пребыванія въ Москвѣ.

Ветлугинъ въ это время уже жилъ безъ тѣхъ лишеній, какія привелось ему испытать въ началѣ его переезда въ Москву, хотя его обстановка и теперь была далеко не такъ щеголевата, какъ у значительной доли его модныхъ товарищей по ремеслу.

Былъ у Ветлугина, для справокъ и переписки съ довѣрителями, и секретарь. Это мѣсто занялъ у него бывшій его учитель, а потомъ пріятель и товарищъ по университету,—Аввакумъ Андреичъ Столешниковъ.

Столешниковъ былъ изъ тѣхъ смертныхъ, происхождение которыхъ даже и для близкихъ къ нимъ людей остается иногда всю жизнь загадкой. При появленіи его въ университетѣ, на вопросъ товарищей, откуда онъ и кто его родители, Столешниковъ отвѣчалъ, что онъ—обыватель Голодалкиной волости, села Обнишухина, а что состоянія у его отца—тараканъ да жуколица, крестъ да пуговица, мѣшокъ да рядно... Между студентами онъ былъ коноводомъ всѣхъ недовольныхъ, шумѣлъ и горячился на сходкахъ и слылъ за человека съ сильной волей, отважнаго и стойкаго, вообще—бойца за правду. Онъ учился усердно, хотя не выдержалъ выпускного экзамена,—единственно, впрочемъ, потому, что не имѣлъ приличнаго платья, и почти не посѣщалъ въ послѣдніе полгода лекцій одного изъ самыхъ строгихъ профессоровъ. Ветлугинъ на котораго Столешниковъ съ перваго же знакомства производилъ глубокое впечатлѣніе, былъ лѣтъ на пять, на шесть моложе своего пріятеля. Университетская исторія, бросивъ Ветлугина на Уралъ, и Столешникова, одновременно съ нимъ, точно вѣтромъ сдула съ

лица земли. Его арестовали, по поводу той же исторіи и еще изъ-за каких-то заграничныхъ воззваній, въ квартирѣ знакомаго ему фортепьяннаго подмастерья. Онъ исчезъ изъ университета и, какъ говорится, пера не оставилъ. Зналъ о немъ кое-что только Ветлугинъ: они были въ перепискѣ, и дружба ихъ въ долговременной разлукѣ не ослабѣвала. Попавъ на житье въ Архангельскъ, Столешниковъ терпѣлъ страшную бѣдность, голодалъ и, водясь съ чернымъ народомъ и съ мелкимъ чиновничествомъ, жилъ изъ милости сперва у какого-то отставленнаго за старостью отъ службы канцеляриста, а потомъ въ сырой землянкѣ, у разстриги-попа, гдѣ заболѣлъ тифомъ и чуть не умеръ. Онъ не покидалъ своего любимаго занятія — чтенія, и то-и-дѣло умудрялся попадаться въ проступкахъ противъ мѣстныхъ предрѣжащихъ властей. За неуваженіе къ распоряженіямъ полиціи онъ не разъ былъ отводимъ въ участокъ и сажаемъ подъ арестъ, а однажды былъ призванъ для внушеній, за смѣлыя и необдуманныя рѣчи, къ самому губернатору. Послѣдній, послѣ продолжительныхъ распеканій и наставленій, сказалъ ему слѣдующее: «Послушайте, Столешниковъ, за васъ меня просятъ. Но ваше положеніе измѣнится, и вы отсюда уйдете только тогда, если окончательно и навсегда оставите вашу неумѣренную и ни къ чему не ведущую, завирательную болтовню и станете заниматься не баклушами, а какимъ-нибудь полезнымъ дѣломъ, ну, напримѣръ, хоть бы службой... Но если бы вы, паче чаянія, уѣхали отсюда, не перемѣня права, то, вѣрьте мнѣ, старому воробью, опять гдѣ-нибудь попадетесь: отъ своего хвоста не уйдешь»...

Въ маѣ 1868 года Столешникову разрѣшили оставить мѣсто его ссылки. Онъ переѣхалъ въ Москву, гдѣ въ какой-то купеческой семьѣ жила учительницей одна его дальняя родственница. При ея помощи и онъ на первыхъ порахъ принялся давать уроки. Малый онъ съ виду былъ степенный, даже внушалъ къ себѣ своимъ большимъ ростомъ, басистымъ голосомъ и длинною рыжею бородой нѣкоторое невольное уваженіе. Трудъ онъ отдавался, особенно въ началѣ, со всѣмъ пыломъ, имѣлъ крайне доброе сердце, трусилъ женщинъ и страстно любилъ дѣтей. А потому, въ качествѣ учителя и при помощи старушки-родственницы, не чаявшей въ немъ души, — ему такъ повезло, что онъ

вскорѣ не только приобрѣлъ множество выгодныхъ уроковъ, но и завелъ обширный кругъ знакомства, особенно между учащеюся молодежью. Часы, свободные отъ учительскихъ занятій, онъ посвящалъ посвѣщенію публичныхъ лекцій и диспутовъ, сѣздамъ педагоговъ и засѣданіямъ различныхъ благотворительныхъ и воспитательныхъ комитетовъ. Голова его горѣла. Съ языка не сходили слова объ общемъ благѣ. Онъ опять ожилъ, переродился, не чувствовалъ подъ собой земли и, разумѣется, вскорѣ забылъ и свое недавнее пребываніе на сѣверѣ, и свои тяжкія невзгоды.

Ветлугинъ, какъ обѣщалъ Столешникову въ письмѣ, такъ и сдѣлалъ: едва пріѣхалъ въ Москву, тотчасъ пустился его отыскивать. Онъ его засталъ на полномъ ходу его педагогической и ораторской дѣятельности. Жилъ въ это время Аввакумъ Андреичъ въ качествѣ репетитора двухъ гимназистовъ, сыновъ какого-то торговаго туза, въ Плетешкахъ, у денисовскихъ бань. Отсюда онъ ежедневно и большую часть пѣшкомъ дѣлалъ невѣроятные концы на другіе уроки: сегодня шелъ на Патриаршіе пруды, завтра — на Арбатъ или на Волхонку, послѣзавтра — къ Спасу въ Оливкахъ, и въ тотъ же день иной разъ поспѣвалъ еще на засѣданіе какого-нибудь благотворительнаго комитета въ Лефортово или къ Покрову въ Лѣвшинѣ.

Оба пріятеля, при встрѣчѣ послѣ столь долгой разлуки, до того обрадовались другъ другу, что на первое время почти не разставались. Ветлугинъ болѣе недѣли прожилъ въ тѣсной учительской каморкѣ Столешникова, чтобы только досыта наговориться съ былымъ другомъ и наглядѣться на него. Столешниковъ плѣнялъ и тѣшилъ его: несмотря на признаки довольства, добытаго учительскимъ усиленнымъ трудомъ, онъ, попрежнему, ходилъ нечесанный, въ старомъ, потертомъ пальто, съ большою, какъ у древнихъ ревнителѣй благочестія, бородой и въ невыразимо скрипучихъ и рѣдко чищенныхъ сапогахъ. Онъ безпрестанно курилъ какія-то крѣпчайшія, бурныя папирсы, свѣряя, что табакъ достаетъ за невѣроятно денежную цѣну, по знакомству, первой масти и безъ бандеролей. Мысли о всемъ онъ держался, какъ и во время оно, совершенно крайнихъ. Съ Ветлугинимъ, съ первыхъ же дней ихъ новой встрѣчи, онъ сталъ спорить обо всемъ. Ветлугинъ, отъ такого разговорнаго задора и споровъ съ пріятелемъ, сначала было

даже сильно опѣшили. «Ужъ не отсталъ ли я отъ движенія общества за эти годы? — подумалъ онъ, — не устарѣлъ ли я, наконецъ? Сколько пылу, сколько беззаветныхъ и чистыхъ вѣрованій въ этой душѣ! О! хоть бы капеллька этихъ надеждъ и вѣрованій мнѣ»... Онъ съ особымъ вниманiемъ сталъ слѣдить за Столешниковымъ и за диспутами, которые иной разъ поднимались въ его комнатѣ, насквозь прокуренной крѣпчайшимъ безбандерольнымъ табакомъ.

Проберется, бывало, Ветлугинъ къ прiятелю и остановится на порогѣ. Въ дыму папиросъ и сигаръ, по стульямъ и по дивану, виднѣются разгорѣвшiяся лица его гостей, а самъ Столешниковъ, понурясь, сидитъ на постели, глядитъ себѣ подъ ноги и сурово ораторствуетъ. Его рѣчи, въ подобныя часы, отзывались вдохновенною смѣлостью. Онъ забывалъ, что находится въ Москвѣ, въ Плетешкахъ, у денисовскихъ банъ. Задачи педагогики отодвигались назадъ. Впередъ выступали инныя, болѣе, какъ онъ выражался, широкія и насущныя задачи.

И когда Ветлугинъ, вмѣшиваясь въ слова Столешникова, старался допытаться, какими же средствами онъ и его прiатели располагаютъ для выполненiя своихъ задачъ, Аввакумъ Андреичъ восклицалъ: «О! успокойся, мирный скворецъ! Не воображай себѣ насъ безумцами, идущими въ воду, не спросясь броду... Есть у насъ уже и осязательныя начинанiя... Мы основываемъ свой печатный органъ, — приобретаемъ въ пользованiе на правахъ аренды одну здѣшнюю газету... Но этого мало: мы на-дняхъ покупаемъ типографiю... Будемъ на складчину печатать дешевыя книги для народа... Да погоди же, не вскакивай и слушай далѣе... Ты отсталъ отъ того времени, когда мы съ тобой изучали «Ueber die Freiheit des Willens» великаго Артура Шоппенгауэра, — а я ему вѣренъ... И помани ты мое слово, не пройдетъ и двухъ лѣтъ, какъ по нашимъ слѣдамъ двинутся новыя дѣльцы»...

— Все это такъ, — скрѣпя сердце, говорилъ иногда глазъ на глазъ своему другу Ветлугинъ: — но я замѣчаю, Аввакумъ, что ты начинаешь отставать отъ уроковъ... Ты же самъ передалъ мнѣ на-дняхъ жалобу своихъ хозяевъ на то, что ты оставляешь безъ вниманiя ихъ дѣтей.

— Э! объ этомъ я думаю менѣ всего, — отвѣчалъ Столешниковъ: — надо же кому-нибудь дѣйствовать. Погляди

получше вокруг себя: Неужели не видишь? — Что передъ нашими глазами? — Что? Совершенно уснувшее общество... Да и самъ-то ты о чемъ мнѣ писалъ, окунувшись на-короткѣ хоть бы въ благодатную жизнь твоей родины? А? — Неужели забылъ? — Ну, а я такъ помню... Отвѣчай: отчего погибъ въ вашей губернской трущобѣ этотъ бѣднякъ, этотъ вашъ земскій дѣятель — Милунчиковъ? И отчего опять-таки торжествуетъ хоть бы этотъ прощальга, вашъ Ключковъ? Да, наконецъ, отчего... пошла въ монастырь... и эта... ну, не буду, не буду, Антонъ! молчу!.. Такъ подумай, дружище, получше, и тогда ты не скажешь: по-силамъ ли я беру на себя мои новые труды?

## XXVIII.

### Отъ своего хвоста не уйдешь.

Заботы объ общемъ благѣ вскорѣ печально отозвались на Столешниковѣ. Не прошло и полугода, какъ онъ лишился большинства своихъ уроковъ. «Что же? оборвалось на учительствѣ, вывезетъ литература!» — подумалъ онъ. Но оказалось иное. Типографію, основанную по мысли Столешникова нѣкимъ благотворительнымъ комитетомъ, для печатанія дешевыхъ учебниковъ для сельскихъ школъ, — за несоблюденіе какихъ-то важныхъ формальностей — опечатали, а потомъ и закрыли. Это до такой степени озадачило Аввакума Андреича, что онъ совершенно растерялся: лишился сна и аппетита, сталъ бросаться къ встрѣчному и поперечному съ жалобами, написать нѣсколько ѣдкихъ обличительныхъ статей и болѣе мѣсяца не имѣлъ присутствія духа явиться на глаза къ Ветлугину. Но одна бѣда, какъ всегда случается, вела за собою другую. Случилось новое горе. Въ одинъ сквернѣйшій октябрьскій день, послѣ трехъ неожиданныхъ и почти послѣдовательныхъ предостереженій, закрыли и ту преобразованную, по мысли Столешникова, и нелишенную простодушной злости газету, которую, съ такими усилиями и съ такими пыжкими убожаніями на лучший ходъ дѣль, удалось взять въ аренду одному изъ зажиточныхъ москвичей. Раздраженіе Столешникова при этомъ достигло крайнихъ предѣловъ...

Во-первыхъ, объ этомъ онъ извѣстилъ Ветлугина не лично, а почему-то объемистымъ и полнымъ отчаянія пись-

можъ, по городской почтѣ; затѣмъ, въ тотъ же день онъ ему назначилъ депешей свиданіе въ аллеѣ на Чистыхъ Прудахъ. Являсь туда и ходя съ нимъ взадъ и впередъ подъ намокшими отъ холоднаго дождя деревьями, онъ говорилъ о своемъ горѣ битый часъ и все-таки не успѣлъ, какъ бы того желалъ, излить другу всю горечь и злобу наболѣвшей души. Онъ жаловался на притѣсненія свыше, на трусость и измѣну товарищей. Наворачивая, отъ ливня и бури, на затылокъ воротникъ пальто, онъ увѣрялъ, что напрасно мѣшають друзьямъ народа; что ихъ дѣло не умереть, а будетъ развиваться въ то что бы то ни стало, хотя бы нынѣшніе сподвижники этого дѣла потянули все до еди-наго. Утапывая мокрую дорожку бульвара и едва сдержи-вая, подъ порывами пронзительнаго вѣтра, шляпу и какой-то совершенно неправдоподобный зонтикъ, онъ озирался по сторонамъ тусклыми, помутившимися глазами и, крѣпко сжимая въ холодныхъ, костлявыхъ рукахъ дрожавшія отъ скорби и жалости къ нему руки Ветлугина, кричалъ ему на ухо: «не сдавайся, и я не сдамся! все принесемъ въ жертву чести и общаго долга! все!»...

Буря не унималась. Вѣтеръ шумѣлъ въ деревьяхъ. Дождь наискось, крупными каплями, хлесталъ по зонтику и по спинамъ пріятелей. Небо было сѣро и пасмурно. Зловѣщія облака низко неслись надъ кровлями потемнѣвшихъ до-мовъ.

— Слушай, Ветлугинъ! — сказалъ на прощанье Столешниковъ: — вотъ три недѣли я не силю въ сутки болѣе трехъ-четырехъ часовъ. Видишь, какъ я обносился и похудѣлъ... Охъ, братъ, совѣстно сказать... я давно питаюсь чуть не подаяніемъ... Но я не унываю и надѣюсь, наше дѣло не погибнетъ... Слушай, братъ Антонъ!.. Дай мнѣ взаимны, погоди, не вынимай бумажника, сочту, сколько именно? — дай мнѣ пятьдесятъ, нѣтъ! сто цѣлковыхъ... Такъ видишь ли, у меня созрѣлъ такой планъ, такой, — ну, да увидишь тогда... На-дняхъ у насъ явятся новые, неожиданные пособники, да какіе! лвы... да и порывы никому, даже тебѣ, ни слова, молчу... Я нарочно на время скроюсь, такъ-сказать, сту-шусь, но вскорѣнны обо мнѣ услышишь... О, ты услы-шишь, и тогда рѣшишь, былъ ли я правъ? Прощай!

— Эй, Аввакумъ, лучше обожди. Вотъ тебѣ деньги; но послушай меня, дай пройти этимъ невзгодамъ, дай выяс-

ниться дѣлу. Лучше успокойся и хоть на время перейди жить ко мнѣ.

— Ни за что, ни за что, — кричалъ изъ-подъ зонтика Столешниковъ: — ты сталъ адвокатомъ, слѣдовательно, другомъ собственниковъ. И ты насъ не понимаешь, да и не можешь понять... Не я къ тебѣ, а ты ко мнѣ, любезный другъ, явишься съ поклономъ и съ повинной головой. И если мы, обладатели будущаго, поощримъ тебя, то развѣ за то, что ты теперь — мало на что пригодный инвалидъ, хотя былъ когда-то тоже ретивымъ служакой... Прощай, до новаго свиданія, при иномъ порядкѣ вещей, — у порога жилища, на которомъ будетъ написано: гражданская свобода и восстановление правъ человѣчества...

Снабженный пособіемъ Ветлугина, Столешниковъ исчезъ изъ Москвы.

Слухи о немъ замолкли. Даже его родственница ума не могла приложить, куда онъ дѣлся, и увѣряла, что либо его вагономъ гдѣ-нибудь раздавило, либо онъ ушелъ за границу.

А между тѣмъ, черезъ полгода послѣ его исчезновенія, стали ходить слухи о смутахъ въ средѣ молодежи, о стычкахъ школьниковъ съ полиціей, о какихъ-то подметныхъ письмахъ и арестахъ, — то въ той губерніи, то въ этой, а наконецъ, и объ открытіи нѣкоей цѣльной подпольной организаціи. Сердце Ветлугина, что ни день, стало обливаться кровью. Онъ съ тайнымъ трепетомъ обращался къ каждому газетному листу, всякій разъ боясь, въ извѣстіяхъ о заварившейся кашѣ, натолкнуться на дорогое для него имя неугомоннаго и сердечно любимаго имъ товарища.

«Гдѣ-то онъ теперь? — размышлялъ Антонъ Львовичъ, — въ какихъ мѣстахъ и въ какихъ слояхъ носится въ эти смутные, неприглядные дни, достойный лучшей участи, бѣднякъ Аввакумъ? Попался ли онъ, нераскаянный боецъ, въ какой-нибудь невѣроятной передригъ и сидитъ нынѣ гдѣ-нибудь подъ арестомъ, или его уже нѣтъ болѣе на свѣтѣ? — Что значить его молчаніе, и отчего онъ не подаетъ о себѣ вѣсти?»

Прошло болѣе года. — Подъѣхалъ какъ-то поздно вечеромъ къ своей квартирѣ Ветлугинъ и увидѣлъ на выступѣ крыльца высокаго, согнутаго и какъ бы дремлющаго отъ сильной усталости господина, въ смятой фуражкѣ, забрызганной грязью одеждѣ и обуви и съ дорожнымъ, какъ у



богомольцевъ, мѣшкомъ черезъ плечо. Поднявшись на крыльцо, Ветлугинъ невольно его разбудилъ. Незнакомецъ всталъ, протянулъ руки... Антонъ Львовичъ остолебенѣлъ: передъ нимъ стоялъ Столешниковъ.

Нѣсколько мгновеній они молча глядѣли другъ на друга.

— Аввакумъ! Ты ли это?

— Я самъ и есть...

Пріятели обнялись. Ветлугинъ потащилъ Столешникова къ себѣ, усадилъ его, раздѣлъ, далъ ему умыться, облекъ его въ собственное чистое бѣлье, въ халатъ и въ туфли, накормилъ его, напоилъ чаемъ и сталъ разспрашивать.

— Ахъ, ты безпутный, столько времени не писалъ... Гдѣ же ты странствовалъ и откуда явился?

— Съ той стороны...

— Съ какой?

Столешниковъ пальцемъ показавъ за спину...

— Понимаешь? — сказалъ онъ: — да чтѣ и толковать... Отъ своего хвоста, какъ видишь, не ушелъ... Или нѣтъ, врутъ, дьяволы, подлецы! на зло имъ ушелъ... ну, да!.. спасся и въ зубы имъ не дался.

— Какъ спасся? Отъ кого? Развѣ ты въ чемъ-нибудь попадался? Расскажи...

— Эхъ, братъ, тяжело и рассказывать. Попасться-то, я, дѣйствительно, попался, на первыхъ же порахъ, да переодѣтый ушелъ. А когда окончательно все подготовилось, въ самую что ни на есть роковую пору, ну, словомъ, понимаешь ли, когда, наконецъ, и мнѣ выпадала честная доля дѣйствовать, тутъ, какъ нарочно, неожиданная судьба, роковое стеченіе обстоятельствъ... и умчали меня въ таръ-тарары...

— То-то, я никогда не встрѣчалъ твоего имени.

— И мудрено было встрѣтить. Меня тамъ не было...

— Гдѣ же ты находился въ этихъ передрыгахъ?

— На родинѣ былъ... у родителей, — отвернувшись, мрачно отвѣтилъ Аввакумъ Андреичъ.

— Какъ, развѣ у тебя и родители есть?

— Еще бы... Слѣшней вопросъ!.. Мать-старуха при смерти въ то время была, ну и захотѣла меня повидать; а отецъ написалъ... Нелзя же, я поѣхалъ туда, да тамъ всю эту бурю, больше двухъ мѣсяцевъ, и пробылъ. Ну, разумѣется, все и пропустилъ, все пролетѣло мимо, и я, какъ видишь, цѣлъ...

Столешниковъ, ероша бороду, сердито смотрѣлъ себѣ подъ ноги.

— Да и отлично, что ты уцѣлѣлъ. Ахъ, ты чудакъ, чудакъ... Еще жалѣеть. Но кто же твой отецъ? я, право, извини, до сихъ поръ и не зналъ...

— Что извиняться! — уныло отвѣтилъ Столешниковъ: — срамъ и сказать... И ты этого, сдѣлай милость, не открывай никому... Мой родитель — изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ, и жилъ онъ постоянно управляющимъ то на винныхъ, то на лѣсныхъ заводахъ у разныхъ помѣщиковъ; ну, а съ недавняго времени не то, позоръ и сказать! — становымъ въ родномъ уѣздѣ служить... можетъ-быть, даже... и взятки беретъ! Самъ не видѣлъ, но спорить противъ того не буду! — опять отвернувшись и какъ-то дико улыбаясь, добавилъ Столешниковъ.

— А матушка же твоя, надѣюсь, выздоровѣла?

— Умерла, — еще мрачнѣе отвѣтилъ Столешниковъ: — умерла на моихъ рукахъ.

Пріятели замолчали. Имъ было тяжело смотрѣть другъ на друга. Ветлугинъ вспомнилъ о «жилищѣ гражданской свободы», у порога котораго Столешниковъ надѣялся съ нимъ встрѣтиться.

— Однако, братъ, у тебя уже и нѣкоторое благосостояніе? — съ напускною усмѣшкой замѣтилъ Аввакумъ Андреичъ, озираясь по сторонамъ: — мягкая мебель, просторныя комнаты, даже зеркала и цвѣты... Ахъ, ты эстетикъ, эстетикъ. Былъ добродѣтельнымъ скворцомъ, имъ и умрешь. Не понимаю, какъ можно допускать у себя такой избытокъ, когда столько неимущихъ, приниженныхъ и гонимыхъ гибнетъ въ подвалахъ, не только безъ зеркалъ и цвѣтовъ, но даже безъ куска насущнаго хлѣба... Постепеновецъ! пайныка, лежебока...

— Ну, перестань браниться, успокойся, — улынулся Ветлугинъ: — нѣтъ худа безъ добра... Я счастливъ уже и тѣмъ, что могу, наконецъ, хоть бы тебѣ предложить опять раздѣлить со мной этотъ уголъ. Вѣдь ты, Аввакумъ, теперь тоже изъ числа неимущихъ... А отказываться не имѣешь права уже потому, что и я когда-то пользовался твоимъ гостепріимствомъ. Такъ идетъ? идетъ? Ты согласишь? Мы станемъ жить вмѣстѣ. А чтобы тебѣ не тяжело было дѣлить со мной все, что я имѣю, будемъ вмѣстѣ трудиться.

И ты увидишь, что моя адвокатская работа ничуть не ниже твоих задач, о которых мы с тобой мечтали в иные дни...

Столешиников искоса и робко взглянул на приятеля. Ему показалось, что он слышался.

— Как? Что ты сказал?—спросил он, поглядывая на Ветлугина:— ты мне предлагаешь у себя занятия, зовешь меня к себе, после всего, что было со мной, и не боишься... огласки?

— Я нуждаюсь в добром помощнике, — ласково и искренно ответил Ветлугин: — и если ты, Аввакум, хочешь, если подаришь меня своими услугами, это место за тобой и на каких хочешь условиях.

— Нить, брат, что-то странно, не могу! дай подумать! — нерешительно ответил Столешиников, поглядывая то на свои жилистые, в туфлях, ноги, то на свои загорблые, потрескавшиеся от дороги руки: — у тебя, чай, народ не такой, как я, бывает, надо приубраться, одеждой обзавестись — надо приличное обхождение; ну, а я — ты знаешь... не из бѣлоручек...

Приятели поспорили, но скороладили.

Столешиников, в качестве помощника, поселился у Ветлугина. И хотя, попрежнему, родъ жизни он велъ нѣсколько странный и подчасъ даже дикій, по недѣлямъ не позволялъ зимой топить въ своей печкѣ, спать, не раздѣваясь, отказывался отъ вина, ѣзды на извозникахъ и даже отъ сигаръ, но за работу принялся усердно, а въ свободные отъ занятій дни, съ утра до вечера, не выходилъ изъ своей комнаты, шагаль тамъ взадъ и впередъ; либо заунывнымъ басомъ напѣвая бурлацкія пѣсни, писалъ какія-то записки, рвалъ ихъ, снова писалъ и опять разрывалъ въ мелкіе клочки.

— Въ чемъ наше спасеніе? — спросилъ онъ однажды Ветлугина.

— Въ насъ самихъ...

— Какъ такъ? — даже привскочилъ Столешиниковъ.

— Очень просто. Надо, чтобы всякъ изъ насъ и всѣ мы вмѣстѣ были готовы каждый мигъ встрѣтить лучшія времена. Надо, чтобы обновленное будущее застигло насъ способными къ его воспріятію. Иначе, это будущее станетъ такою же мертворожденною попыткой, какъ и многое бывшее у насъ... Согласись, еще далеко до увѣнчанія общественнаго зданія...

— Далеко? Что же мы-то въ немъ за припасы? — спросилъ, усмѣхаясь, Столешниковъ.

— Мы—свай...—отвѣтилъ Ветлугинъ.

— Свай только? даже не кирпичи? иначе, мы — свайные люди?

— Именно. Развѣ не почтенное дѣло—быть вогнаннымъ по маковку въ землю, въ сознаніи, что надъ тобою, на твоихъ плечахъ, современемъ возведется счастье родины? Если бы не росли тѣ дубы да сосны, что болѣе полутора вѣковъ назадъ забивались въ трясину подъ петровскія постройки, не было бы у насъ ни родного намъ съ тобою университета, ни академій.

— Свайные люди!—не могъ успокоиться Столешниковъ:—будущее счастье!.. Но гдѣ же отрада для настоящаго?

— Въ семьѣ,—тихо отвѣтилъ Ветлугинъ.

Столешниковъ подумалъ: «ужь не затѣялъ ли онъ жениться на какой-нибудь купчихѣ? Такъ нѣтъ... сколько ни смотрю, ничего подобнаго не видно...»

— Такъ по-твоему отрада—только въ семьѣ? въ норѣ?—спросилъ Столешниковъ:—вотъ какъ! значить, вездѣ отбой? Значить, коли не удалось быть орлами, то всѣмъ, подобно тебѣ, стать трудолюбивыми, зерноядными скворцами? Не ожидалъ я этого отъ тебя.

— Кстати, впрочемъ, какъ поживаетъ твой отецъ?—спросилъ онъ, погодя, чтобы замѣть тяжелый разговоръ.

— Помаленьку... Сталь, впрочемъ, въ послѣднее время что-то ужъ часто похваривать.

— Лѣта подошли... Пора...

Настало молчаніе. Маятникъ уныло отзывался изъ гостиной.

— Расскажи, что, вообще, новаго на твоей родинѣ?—спросилъ Столешниковъ:—пишетъ ли тебѣ оттуда, какъ бишь его, Фокинъ, что ли?

— Какъ же; я съ нимъ въ постоянной перепискѣ. Онъ, какъ ты знаешь, три года назадъ женился на дочери Вечерѣвскаго священника, на Фросинкѣ, и имѣетъ отъ нея двухъ близнецовъ-дѣтей. Да, я отъ души радъ, что онъ устроился, а главное — поселился въ одномъ городѣ съ моимъ отцомъ.

— Такъ и онъ туда переѣхалъ?

— Да, онъ служитъ кассиромъ въ одномъ изъ тамошнихъ банковъ; а жена его прослушала курсъ въ школѣ акуше-

рокъ, основанной тамъ, какъ ты знаешь, по мысли покойнаго Милунчикова, и удачно практикуеть по окрестнымъ волостямъ. Талищевъ болѣе не предводителемъ; сынки же его не унывають: гусарь, отбывъ арестъ за дуэль съ Милунчиковымъ, жуируетъ; не отстаеть отъ него и Николушка: говорятъ, очень успѣшно выдаетъ векселя, и его отецъ уже немало за него заплатилъ — дѣла ихъ, вообще, поматнулись...

— Ну, а старикъ Вечерѣевъ?

— Онъ все еще въ помѣшателствѣ.

— На чьихъ же рукахъ?

— Подъ вѣдѣніемъ своего опекуна, Ключкова.

— Ну, а сей великій мужъ?

— О! онъ, говорятъ, блаженствуетъ, — помочилъ носъ въ крупныхъ прибыляхъ на разныхъ спекуляціяхъ и теперь, слышно, дорѣ ему не братъ.

— Ахъ ты, Петька треклятый, — не выдержавъ, крикнулъ Столешниковъ: — свинчатка себялюбивая!

— Да, братецъ, онъ на второе трехлѣтіе избранъ въ председатели уѣздной управы и попрежнему, вообще, въ почетѣ и въ ходу... Да и что ему! теперь такіе-то только люди и торжествуютъ. Какъ тараканы выползають изъ щелей и засиживаютъ еще недавно чистыя стѣны... На-дняхъ, представъ, я читалъ въ газетахъ его рѣчь, произнесенную имъ по случаю проѣзда черезъ тѣ мѣста какого-то сановника... Ужъ чего тамъ этотъ Худояръ-Ханъ ни напелъ: выражалъ желаніе, чтобъ Россія была русскою, чтобъ царствовалъ вездѣ порядокъ, а въ сердцѣ каждаго — неукоснительность, неупустительность и еще, кажется, чувствительность, — чтобъ всѣ сидѣли подъ своими смоковницами, и прочее... «Юрисдикція» у него, правда, исчезла. Зато явилось новое слово: цѣлесообразность... Все у него должно быть цѣлесообразно: нужны деньги, — о развитіи силъ страны нечего думать, а увеличивай только подарки, и дѣло въ шляпѣ; нужны солдаты, — бери съ тысячи хоть по сту чело-вѣкъ... Мы на все, говоритъ, готовы, — а потому и подносимъ хлѣбъ-соль... Это онъ запѣлъ, разумѣется, какъ все свое состояніе, по слухамъ, обратилъ въ капиталъ и въ капиталъ что-то очень круглый и крупный...

— Ну, а дочь Вечерѣева? — негромко и какъ бы нѣхота, спустя нѣсколько минутъ, спросилъ Столешниковъ.

Ветлугинъ въ это время перебиралъ бумаги на столѣ.

— Дочь Вечерѣва? — спросилъ онъ, повидимому, совершенно спокойно.

— Ну, да... ты меня извини — я не изъ пустого любопытства... Вчужъ жаль ее...

— Помилуй, я охотно, — отвѣтилъ, закуривая сигару, Ветлугинъ: — но что тебѣ о ней сказать? Она попрежнему въ монастырѣ и не думаетъ изъ него выходить.

— Не думаетъ?

— А разумѣется... Изъ-за чего ей выходить? Тамъ стараются всячески ее удержать... Да что ты, чудакъ, такъ на меня смотришь? Развѣ узналъ о ней что-нибудь особенное?

— Я?... ничего!.. Такъ, просто, вспомнилась она мнѣ, я и спросилъ! — отвѣтилъ, искоса взглядываясь въ Антона Львовича, Столешниковъ.

Но какъ онъ ни глядѣлъ, ничего не прочелъ въ лицѣ Ветлугина. Послѣдній, при словахъ объ Аглаѣ, и бровью не повелъ. Онъ сидѣлъ совершенно спокойно и съ виду былъ даже въ духѣ: съ улыбкой смотрѣлъ на своего собесѣдника и мысленно радовался, что его пріятель, за это время жизни у него, не только оправился, пободрѣлъ и сталъ спокойнѣе, но даже, сверхъ всякаго чаянія, начинать оказывать нѣкоторое вниманіе къ своей одеждѣ и къ своей личной судьбѣ. Адвокатскими дѣлами, въ качествѣ помощника Ветлугина, онъ занимался до того усердно, что послѣдній сталъ даже стѣсняться въ порученіяхъ ему.

— Такъ твой отецъ похварываетъ? — спросилъ Столешниковъ своего пріятеля.

— Да.

— Откуда ты это знаешь?

— Самъ онъ объ этомъ мнѣ не писалъ, но я это знаю отъ Фокина. Впрочемъ, что-то и Фокинъ, въ послѣднее время, не очень-то отзывается на мои вопросы объ отцѣ, и я нѣсколько теряюсь въ догадкахъ, что бы это значило? Вотъ, уже болѣе двухъ мѣсяцевъ не имѣю отъ него писемъ.

— Не удивляйся, другъ Антонъ. Видно, и онъ также зерноядной птицей сталъ, скворцомъ тамъ или дятломъ. Долбитъ себѣ носомъ по мирнымъ дупламъ, усердно ищетъ червячковъ для дѣтокъ, да для супружницы, а о другихъ у него, надо полагать, и помысловъ нѣтъ.

— Ну, я этого не думаю.

— А я такъ думаю, и весьма, — возразилъ Столешниковъ: — займешься собственной норою, вѣрь мнѣ, объ остальномъ вольномъ свѣтѣ, какъ разъ, и забудешь.

## XXIX.

### Опустѣлая усадьба.

Итакъ, поздно вечеромъ, въ началѣ осени 1871 года, Антонъ Львовичъ Ветлугинъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и тщетно собирался приняться за обычную работу. Мысли его были далеко, а именно, на родинѣ, откуда до него въ послѣднее время доходило весьма мало вѣстей.

Наконецъ, онъ всталъ, зажегъ лампу, взглянулъ на часы, увидѣлъ, что скоро полночь, протянулъ руку къ коробкѣ съ бумагами и тутъ только разглядѣлъ, что на столѣ лежало еще одно, имъ не замѣченное, а потому и нераспечатанное письмо. Онъ по почерку угадалъ, отъ кого оно, дрогнувшей рукой распечаталъ его и сталъ читать. Письмо было отъ Фокина.

«Не гнѣвайтесь на меня, многоуважаемый Антонъ Львовичъ», писалъ Фокинъ: «причина нѣкоторой остановки въ моей перепискѣ съ вами произошла оттого, что моя жена, любезная и несравненная моя Фросинька, снова за это время готовилась къ родамъ, и недавно — благополучно подарила мнѣ третьего сына. Но чтѣ же я говорю о себѣ? Знаю, что вы не того ждете отъ меня...

«Вашъ отецъ — можетъ ли быть милѣе и достойнѣе человѣкъ? — болѣе и болѣе заставляетъ меня задумываться. Съ виду онъ какъ-будто и ничего; даже считаетъ себя совершенно благополучнымъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ вы (это онъ мнѣ сообщилъ по секрету) уплатили его послѣдніе долги и, казалось бы, окончательно обезпечили ему тихую и безмятежную жизнь. Онъ, попрежнему, возится съ садомъ, огородомъ и съ птицами. Одна изъ послѣднихъ, а именно, каменный дроздъ (*Petrocincla saxatilis*), по милости какъ-то забравшейся въ клѣтку знакомой вамъ бѣлой кошки, ослѣпъ на оба глаза. Сколько ни хлопоталъ Левъ Саввичъ о возстановленіи его зрѣнія, ничто не помогло: дроздъ остался навсегда слѣпцомъ-Велизаріемъ. Но, представьте, — заботами вашего отца онъ доведенъ до того, что началъ гнѣть по-

прежнему, и посторонній человѣкъ даже не догадается, что онъ слѣпой.

«Словомъ, съ виду вашъ батюшка какъ-будто и ничего: все у него, кажется, хорошо и благополучно. Онъ разговорчивъ, ласковъ и, разумѣется, не нахвалится вами; читаетъ высылаемые на его имя книги и журналы, навѣщаетъ старыхъ друзей. А между тѣмъ,—странное и, казалось бы, необъяснимое дѣло,—онъ видимо и съ каждымъ днемъ хирѣетъ. Вы меня извините,—но я буду говорить совершенно откровенно, тѣмъ болѣе, что вы меня объ этомъ и просили...

«Сперва я думалъ, что онъ чѣмъ-нибудь боленъ. Вслѣдствіе того, я попытался послать къ нему, по вашему назначенію, одного изъ лучшихъ здѣшнихъ врачей. Тотъ осмотрѣлъ его, совершилъ надъ нимъ аускультацию и всякую перлюстрацію и объявилъ мнѣ, что Левъ Саввичъ, по его мнѣнію, не боленъ ровно ничѣмъ. А когда я спросилъ медика: надеженъ ли вашъ отецъ? онъ отвѣтилъ: поручиться ни за что нельзя,—и опредѣлилъ причину постепеннаго упадка его силъ отсутствіемъ, какъ онъ выразился, болѣе энергическаго импульса, а вслѣдствіе того замѣтнымъ нарушеніемъ кровообращенія, дыханія, питанія и проч. Вспомня вашъ совѣтъ, я на-дняхъ, какъ бы отъ себя, сказалъ Льву Саввичу, не съѣздить ли ему къ вамъ, а не то, не переѣхать ли и вовсе на житье съ вами въ Москву? что тамъ-де и для умственной дѣятельности больше пищи, и кругозоръ столичный шире. Но онъ и слушать не захотѣлъ.—«Сынъ у меня—занятой, работающій человѣкъ», сказалъ онъ: «и стѣснять его собою я не хочу».—А посему, если бы вы меня, Антонъ Львовичъ, спросили, что же вамъ въ такомъ случаѣ предпринять, я бы вамъ посовѣтовалъ одно: сами пріѣзжайте и взгляните на отца... Три года разлуки — тяжелы хоть бы и не для стараго человѣка. Вашъ пріѣздъ, если окончательнo и не спасетъ его отъ медленнаго угасанія, то хоть на время его оживитъ»...

Ветлугинъ дочиталъ послѣднія строки, уронилъ письмо на столъ, склонился на руки головой, задумался, и когда очнулся, часы пробили три часа ночи.

«Если вашъ пріѣздъ окончательнo его и не спасетъ, то хоть на время оживитъ,—размышлялъ онъ, глядя на портретъ отца, висѣвшій надъ столомъ,—бѣднякъ, бѣднякъ! А я-то былъ за него покоенъ. Нѣтъ, такъ его оставлять



нельзя... На-дняхъ же надо ѣхать къ старику. А тамъ, при свиданіи, мы вмѣстѣ придумаемъ, какъ устроить его на будущее время».

Сборы Ветлугина не были велики.

Благодаря чугункѣ, соединившей за эти годы его родной городъ съ Москвой, онъ могъ доѣхать къ отцу съ небольшимъ въ сутки. А потому защиту ближайшихъ къ слушанію дѣлъ онъ передовѣрилъ товарищу по профессіи, а контору и текущую переписку поручилъ Столешникову, уложить въ дорожный мѣшокъ небольшой запасъ бѣлья, газетъ и сигаръ и безотлагательно выѣхать.

Погода въ день его выѣзда стояла пасмурная и холодная. Накрапывалъ дождь.

Выѣхалъ Ветлугинъ вскорѣ послѣ обѣда. Сперва онъ читалъ и бесѣдовалъ кое-съ-кѣмъ изъ сосѣдей по вагону; но вскорѣ заснулъ. На-утро вагонъ, гдѣ онъ сидѣлъ, почти опустѣлъ. Отъ скуки онъ опять принялся за газеты. Чтеніе, однако, не шло на умъ. Онъ сталъ курить и глядѣть въ окно. Скоро и это надоѣло. Нехотя онъ выходилъ къ завтраку и обѣду. Къ вечеру вагонъ опять наполнился. Гдѣ-то пассажиры пересаживались въ другіе вагоны. Дождь усилился и безъ умолку, медкими каплями, хлесталъ въ окна. Дорога шла сперва лѣсистыми холмами, а потомъ потянулись обнаженные, почти безжизненные равнины. Звенѣли желѣзные мосты, мелькали станціи, телеграфные столбы и будки. Паровозъ пыхтѣлъ и разстилалъ облако дыма и пара. Провѣзжіе отваливали и опять приваливали. Кто-то ночью заспорилъ съ сосѣдомъ, потомъ сталъ препираться съ кондукторомъ. Кто-то тонкимъ, жалобнымъ голоскомъ рассказывалъ о падежѣ скота, о неурожаѣ хлѣба, конокрадствѣ и поджогахъ окрестныхъ селъ. Какіе-то господа изъ военныхъ играли на чемоданѣ въ карты. А паровозъ гремѣлъ, пыхтѣлъ, свистѣлъ и въ непроглядной тьмѣ сыпалъ вороха вертѣвшихся и медленно гасшихъ искръ. Ветлугинъ задремалъ на мысли: «такъ блеснула и такъ угасла и скрылась Аглая»...

Утро слѣдующаго дня было также пасмурно, но сухо. Въ воздухѣ потеплѣло.

Ветлугинъ проснулся. Поѣздъ, послѣ обычной стоянки, медленно отъѣзжалъ на это время отъ какой-то станціи.

— Гдѣ мы?—спросилъ Ветлугинъ проходившаго черезъ вагонъ кондуктора.

— Красный-Кутъ.

Что-то знакомое, далекое, забытое страстно мелькнуло и замерло въ его мысляхъ.

«Красный-Кутъ!—мыслилъ онъ,—ужь не тотъ ли это монастырь, куда поступила Аглая?»

Онъ бросился къ окну, опустилъ стекла и съ шибко забившимся сердцемъ направо и налево сталъ высматривать знакомую картину: не мелькнетъ ли гдѣ въ сторонѣ высокий, обрывистый берегъ рѣки, сплошной лѣсъ по гребню издали синѣющей горы, крыши келій и золотыя церковныя главы надъ бѣлокаменной монастырской стѣной? Ничего этого не было видно. Ветлугинъ снова отошелъ отъ окна.

Поездъ выбрался изъ цѣпи невысокихъ зеленѣющихъ холмовъ и неся по гладкому, изрѣзанному черными пахотами полю. Ни деревни, ни горы, ни лѣсистаго оврага. Кое-гдѣ только видѣлись потемнѣвшіе отъ вѣтра стоги; вдали, по проселку, тащились возы, да съ молодыхъ озимей, отъ свиста и грохота набѣгавшаго паровоза, взлетали стаи галякъ и грачей.

Черезъ полчаса поездъ опять началъ уменьшать ходъ. Очевидно, приближалась другая станція. Вправо отъ дороги еще тянулась прежняя гладкая равнина. Съ лѣвой же стороны открылся довольно крутой, сбѣгавшій къ рѣкѣ косогоръ. Ветлугинъ опять подсѣлъ къ окну и, пользуясь тихимъ ходомъ поезда, въ разсѣянности началъ разглядывать картину чьей-то деревенской красивой и, какъ казалось, заброшенной усадьбы.

Прямо противъ холма, по гребню котораго двигался поездъ, за небольшой рѣкой, обрисовался старый, обширный садъ, за садомъ бѣлый двухъ-этажный домъ, а за домомъ церковь. Правѣе, по берегу той же рѣки, обозначились избы села.

Ветлугинъ глядѣлъ на эту картину, и тѣ, что представилось ему въ это мгновеніе, казалось сномъ...

— Станція!—крикнулъ кондукторъ на площадкѣ.

— Какая?—спросилъ Ветлугинъ.

— Дубки.

Ветлугинъ выскочилъ изъ вагона.

— Долго ли стоять здѣсь поѣздъ? — спросилъ онъ сторожа, бывшаго у звонка.

— Пять минутъ...

Ветлугинъ узналъ, что до города остается всего три станціи, расспросилъ, когда въ тотъ день опять идеть туда поѣздъ, бросился въ вагонъ, взялъ дорожный мѣшокъ, и когда раздался послѣдній звонокъ—онъ уже былъ въ полѣ.

«Куда-жъ это я иду и зачѣмъ?» самъ себя спросилъ Ветлугинъ, по небольшой тропинкѣ отъ станціи спускаясь къ рѣкѣ:—«вотъ садъ, домъ, а вонъ и крыльцо, съ котораго когда-то былъ виденъ этотъ самый, тогда еще пустынный кособоръ... Ставни въ домѣ наглухо закрыты, значитъ, никто въ немъ, попрежнему, не живетъ»...

Ветлугинъ миновалъ лугъ, подошелъ къ рѣкѣ и не сразу, въ высокихъ, пожелтѣвшихъ отъ осени камышахъ, отыскалъ мѣсто, гдѣ на другой берегъ были перекинуты тѣ двѣ жердочки, по которымъ, въ первое утро его пріѣзда въ Дубки, прибѣжали къ купальнѣ Фросинька и Аглая...

Ветлугинъ прошелъ въ садъ, миновалъ знакомыя прибрежныя вербы и остановился. Купальни уже не было, и мѣсто, гдѣ она стояла, можно было узнать только по нѣсколькимъ торчавшимъ изъ воды столбамъ.

«Гдѣ же бесѣдка, въ которой я тогда гостилъ?—размышлялъ Ветлугинъ:—она была невдали отъ купальни».

Онъ пошелъ влѣво. Бесѣдка, попрежнему, стояла за липами. Но онъ ее не узналъ, такъ она обветшала и потемнѣла. Штукатурка на ней потрескалась и кое-гдѣ обвалилась. Окна были съ выбитыми стеклами; наружная дверь не заперта. Ветлугинъ ступилъ на крыльцо, вошелъ въ сѣни и взялся за знакомую дверную скобу. Сердце его сжалось.

Здѣсь онъ провелъ столько отрадныхъ и вмѣстѣ столько мучительныхъ часовъ. Здѣсь нѣкогда, между картинъ, изображавшихъ охоту въ горахъ Шотландіи, висѣлъ портретъ Аглаи; рядомъ была молеельня, съ кіотомъ и съ постоянно теплившейся лампадкой.

Ни охотничьихъ картинъ, ни портрета, ни молеельни въ настоящее время здѣсь уже не было. Бесѣдка была пуста. Подъ потолкомъ лѣпились гнѣзда ласточекъ. Воздухъ свободно проникалъ въ разбитыя окна. Полъ, какъ ковромъ, былъ устланъ листьями сосѣднихъ деревь.

Ветлугинъ постоялъ, вышелъ опять на крыльцо и углу-

бился въ садъ, убранный послѣдними цвѣтамм осени... Яблони стояли сизыя, клёны и липы золотые, рябины красныя. Разноцвѣтный листь въ типинѣ медленно сыпался съ деревь... Пахло мхомъ и древесной корой. Паутина бѣлыми, длинными нитями неслась по воздуху, цѣпляясь за травы и за кусты.

Садъ былъ до того запущенъ, что Антонъ Львовичъ, на первыхъ порахъ, съ трудомъ распозналъ нѣсколько дорожекъ, когда-то расчищенныхъ и усыпанныхъ пескомъ.

Никѣмъ несдержанныя вѣтви на привольѣ раскидывались во всѣ стороны. Древесный молодникъ и высокія, разнообразныя травы дружно глушили поляны и просвѣты аллей. Это былъ не садъ, а дикій, полузаглохшій лѣсъ.

«Чудеса! — мыслилъ Ветлугинъ, — какъ мало нужно для разрушенія усилій человѣка! Прошло какихъ-нибудь три года; и какъ все здѣсь запустѣло... Отъ потраченныхъ, когда-то усердныхъ трудовъ не сохранилось почти ни слѣда!.. Чтѣ же, за это время, сталося съ самимъ человѣкомъ, съ хозяиномъ этого сада, и съ его судьбой?»

Ветлугинъ направился къ дому Кирилы Григорыча, причемъ каждый шагъ ему пришлось дѣлать съ немалымъ трудомъ. Колочія травы цѣплялись за его платье, вѣтви сбиали фуражку съ его головы. Въ одномъ мѣстѣ онъ черезъ силу пробился сквозь огромные, пожелтѣлые доухи. Въ другомъ ему преградила дорогу поляна, заросшая сѣдымъ, съ красными шишками, репейникомъ.

Въ знакомыхъ ракетахъ, гдѣ была землянка Лукашки, онъ спугнулъ зайца. Вислоухій русакъ, слыша его шаги, сдѣлалъ нѣсколько неуклюжихъ, лѣвивыхъ прыжковъ, присѣлъ на полянкѣ, поводитъ ушами и, не спѣша, тѣмъ же ковыляющими прыжками направился въ сосѣдніе кусты. Ветлугинъ пошелъ ко двору. Пестрый вальдшнепъ съ шумомъ вырвался изъ-подъ его ногъ и, беззвучно мелькая между деревь, пронесся въ надрѣчный березнякъ. Ветлугину померещились чьи-то шаги... Онъ оглянулся: по невысокой травѣ, у корней молодого осинника, суетливо разгребал влажную листву, топталась стайка дикихъ куропадокъ. Передняя завидѣла Ветлугина и присѣла; за нею, наставя головки, присѣли и другія. Еще мгновеніе, стайка взвилась и, звеня крыльями, перелетѣла за ручей, въ другую, такую же разноцвѣтную и пустынную часть сада...

Деревья рѣдѣли. Ветлугинъ вышелъ на поляну передъ домомъ. Вотъ балконъ, а вотъ и старая липа у окна Аглаи. Но ни скамьи, ни навѣса на крыльцѣ, ни цвѣтовъ на полянѣ не было. Бурьянъ, въ перемежку съ какимъ-то бойкимъ кустарнымъ молодникомъ, густо застилалъ эту поляну.

Ветлугинъ присѣлъ на балконѣ. Ему вспомнились бесѣды съ Аглаей; вспомнилась и та тяжелая, послѣдняя ночь, когда онъ, возвратясь сюда и не найдя въ опустѣломъ домѣ никого, вышелъ на балконъ и съ рыданьемъ бросился на скамью. Тишина вокругъ дома и въ саду была и теперь такая же, какъ тогда.

«Куда же и къ кому мнѣ теперь идти?—размышлялъ Ветлугинъ,—и зачѣмъ нескромными и бесполезными разпросами нарушать этотъ покой и эту общую тишину? Что мнѣ могутъ сказать?—И знаетъ ли могильщикъ то, что скрыто въ нѣдрахъ могилы?—А этотъ домъ теперь—та же могила... Думала ли въ тѣ часы Аглая и думалъ ли я самъ, что когда-нибудь, какъ въ это мгновеніе, я одинокимъ, случайнымъ пришельцемъ буду стоять здѣсь, у двери этого, нѣкогда полнаго жизни, дома, тѣтно ожидая, что онъ снова проснется и снова оживетъ?—Гдѣ-то бѣднякъ Вечеревъ и какъ ему живется подъ охраной столь заботливаго опекуна? Ужъ живъ ли онъ? Да и жива ли сама Аглая?»

Въ воздухѣ надъ Ветлугинимъ послышались серебристые звуки. Точно кто-нибудь по близости тронулъ струнный инструментъ, или вѣтромъ съ поля занесло чью-либо далекую пѣсню. Антонъ Львовичъ поднять голову...

Въ небѣ, надъ садомъ, тянулась чуть видная вереница дикихъ журавлей.

### XXX.

## Просители.

Ветлугинъ сошелъ съ балкона.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, глядя на улетающихъ журавлей, чуть замѣтной тропинкой, межъ кустовъ, пробиралась отъ двора босоногая дѣвочка. Въ рукахъ у нея было лукошко. На видъ ей было лѣтъ девять-десять.

— Вамъ дяденька, кого?—закидывая за уши русые волосы, обратилась дѣвочка къ Ветлугину.

— Священника, отца Адриана, хотѣлъ бы я повидать, если онъ дома.

— Нѣту-ти. Третій день, какъ уѣхалъ. И изба его заперта.

— Куда же онъ уѣхалъ?

— Въ городъ, къ дочкѣ.

— Дѣдъ Лукашка живъ?

— Померъ.

— Кто же у васъ за домомъ здѣсь смотритъ?

— Егоровна...

— Веди же меня къ ней,—сказалъ Ветлугинъ.

Худенькая, блѣдная Егоровна до того обрадовалась Ветлугину, что выронила заступъ, съ которымъ копалась на грядкѣ у своего жилья, и долго не знала, какъ и о чемъ съ нимъ заговорить. Ея сапоги были оборваны, черный каленкоровый шугайчикъ на плечахъ обносился, а робкіе, добрые глаза смотрѣли испуганно.

— Ну, какъ же вамъ тутъ живетъ?—спросилъ ее Ветлугинъ.

— Плохо, сударь; совсѣмъ насъ разорилъ опекунъ. Былъ у насъ прежде и хлѣбъ, и скотинка, — а теперь на семь дворовъ одинъ топоръ... А тутъ дѣти. Хвороба на нихъ пошла. Я троешку похоронила, какъ мужъ померъ; одна Пашутка осталась. Ни откуда ни совѣту, ни привѣту нѣтъ.

Долго жаловалась Егоровна.

— Можешь ли, милая, отпереть и показать мнѣ барскій домъ?—спросилъ Ветлугинъ:—хочется старое жилье вашихъ господъ посмотреть.

— Что же, отчего нельзя? можно.

Егоровна захватила ключи, при помощи дочки раскрыла кое-гдѣ ставни, отомкнула переднія сѣни и ввела гостя въ домъ.

Здѣсь все было на мѣстѣ. Только спертый, отсылавшійся погребомъ воздухъ напоминалъ, что тутъ давно никто не жилъ; да пыль густымъ слоемъ лежала на полу, по мебели и рамамъ портретовъ и картинъ.

— Гдѣ же, милая, теперь вашъ старый баринъ?—спросилъ Ветлугинъ, проходя съ Егоровной изъ залы въ гостиную.

— На рукахъ Франца Карлыча, лѣкаря, живетъ.

— А изъ прислуги кто къ нему приставленъ? — Вѣрно, Филатъ?

— Когда бы Филатъ Ивановичъ!—Онъ бы его, сердечнаго, вотъ какъ жалѣлъ и доглядалъ... А то опекунъ выжить и

Филию, а приставилъ, какъ есть, посторонняго, изъ тамошнихъ, что ли, фершаловъ. Ну, какая постороннему человѣку нужда съ умалишеннымъ возиться?—Фершалъ же притомъ, понятное дѣло, день-денской по другимъ большимъ занятъ и порекомендовалъ нашего барина своей супружницѣ; а та, сказываютъ, сдала его на руки сыну, парнишкѣ лѣтъ двѣнадцати... Ну, и слышимъ мы, сударь, что этотъ парнишка Кириллу Григорыча сильно обижаетъ: дразнить тамъ его и ему грубить, а не то — запретъ его, сорванецъ, въ комнату, да и уйдетъ съ другими мальчишками въ бабки на улицу играть...

Ветлугинъ не вѣрилъ своимъ ушамъ.

— Что же вы не жалуетесь?—спросилъ онъ.

— Кому?

— А хоть бы старой барынь...

— Богъ прибавилъ,—отвѣтила, крестясь на образъ, Егоровна:—еще запрошлую осень, на Покрова, она—голубушка наша—въ монастырѣ и померла...

Ветлугинъ задумался. «А что же вы не жалуетесь вашей барынь?» хотѣлъ онъ спросить. Но слова его не слушались.

— Барышня неоднократно навѣщала отца, да онъ ее, сердечную, не узнаетъ!—прибавила Егоровна.

Ветлугинъ молча прошелъ изъ гостиной въ библіотеку. Здѣсь также все было по-старому: шкапы съ книгами, кресло, на которомъ три года назадъ, при первомъ появленіи Ветлугина, сидѣла Ульяна Андреевна; скамеечка возлѣ кресла, столъ и высокіе, старинные подсвѣчники на столѣ. Прибавились только два объемистыхъ, наглухо заколоченныхъ ящика.

— Что это?—спросилъ, указывая на нихъ, Ветлугинъ.

— А это, сударь, Кирилло Григорычъ, еще до своей болѣзни, выписалъ изъ Петербурга какія-то книги. Только не удалось ему, сердечному, ихъ читать; книги привезли, какъ ужъ онъ ума лишился...

— Ну, а опекунъ видѣлъ эти книги?—спросилъ Ветлугинъ.

— Показывала я ихъ опекуну; только тотъ толкнулъ ихъ этакъ-то ногою по ящику, да всего и проговорилъ: «и охота была старику выписывать эту дрянь!» Вонъ и слѣдъ отъ его сапога виденъ: тогда еще грязно было на дворѣ. А при господахъ на цыпочкахъ тутъ ходилъ, барина дяденькой звалъ, денегъ у него все просилъ, какъ еще не повздорились.

— Дурной же, видно, человекъ вашъ опекунъ,—сказалъ Ветлугинъ, чувствуя, какъ краска бросилась ему въ лицо:— не бережетъ чужого достоянiя. А эти книги мнѣ хорошо извѣстны; ихъ Кирилло Григорычъ выписалъ по моему совѣту. Да! жаль, отъ души жаль старика... Какъ все здѣсь безъ него пошатнулось и опустѣло...

— Отъ бѣды, батюшка-баринъ, ни на какомъ конѣ не уйти... А опекунъ одно толуетъ, какъ найдеть сюда: не смѣйте барышню тревожить ничѣмъ. О чемъ нужно, ко мнѣ, говорить, обращайтесь... Аки змѣй, драконъ лютый, такъ и рыкаетъ тутъ на всѣхъ...

— Ну, прощайте же, Егоровна,—сказалъ, выходя опять въ садъ, Ветлугинъ.

— Куда же это, сударь, вы изволите путь держать? — спросила Егоровна.

— Отца-старика ѣду навѣстить.

— А сами гдѣ нынче изволите жить?

— Въ Москвѣ?

— Служите?

— По судейскимъ дѣламъ хлопочу...

Егоровна стала вертѣть въ рукахъ платокъ. Ей пришла на умъ счастливая мысль.

— Какъ же вы, сударь, такъ-то, не закусивши, ѣхать отселева хотите?—засуетилась она.

— Спасибо, голубушка, не могу. Доберусь засвѣтло до станціи и тамъ перекушу. Видишь сама, разгуливается вѣтеръ; дождь опять собирается, буря заходить...

— Ну, батюшка-баринъ, а вы ужъ меня, старуху, извините. Далеко ли тутъ до станціи? Рукой всего подать. У меня же хранится господскій самоваръ; да найдемъ чаю и сахару,—къ дядьку Пашутка сбѣгаемъ. Милости просимъ не отказать; хоть стаканчикъ на дорогу откушайте.

Ветлугинъ взглянулъ на часы и согласился. Егоровна провела его къ своей камenkѣ, а сама у ея порога принялась вздувать самоваръ.

Каменка представляла небольшую, довольно опрятную комнату. Два ея окна были почти вровень съ землей. За печью были примощены нары для спанья. Подъ образами стоялъ столъ; вдоль оконъ тянулась скамья. Ветлугинъ снялъ пальто и присѣлъ на скамью.

На дворѣ начинало темнѣть. Ветлугинъ поднялъ глаза на



стѣну, между оконъ, и невольно пристать. Рядомъ съ крошечнымъ зеркальцемъ, здѣсь висѣлъ тотъ самый портретъ Алмаи, которымъ онъ когда-то такъ любовался въ бѣсѣдѣ. Ветлугинъ снялъ его, поднесъ къ окну, долго смотрѣлъ на него и со вздохомъ опять повѣсилъ на стѣнѣ. Глядя на него, онъ и не замѣтилъ, какъ вошла Егоровна, какъ она и чай ему подавала и о чемъ-то снова, съ причитаньями и со слезами, ему рассказывала...

Съ надворья послышались голоса. Ветлугинъ глянулъ въ окно. У крыльца толпилась куча крестьянъ.

— Что это?—спросилъ Егоровну Ветлугинъ.

— Здѣшніе старики къ вашей милости съ поклономъ и съ просьбой пришли; не откажите, выйдите къ нимъ...

Ветлугинъ вышелъ. Дымчатая, клочковатая туча со всѣхъ сторонъ надвинулась надъ потемнѣвшимъ садомъ. Порывистый вѣтеръ, качая деревья, врвался на садовыя поляны и столбами кружилъ по нимъ засохшую листву.

— Что вамъ, братцы?—спросилъ, отвѣчая поклономъ на поклоны крестьянъ, Ветлугинъ.

— Къ тебѣ, кормилецъ, пришли. Какъ, значить, наслащамшися про твою милость, что ты хлопочешь по судамъ. Не откажи, помоги и намъ на нашемъ сиротствѣ.

— Что же у васъ за дѣло?

— Очень терпимъ отъ здѣшняго опекуна... Не человекъ онъ, сударь,—иродъ треклятый, душегубъ...

— Но что же я, господа, могу для васъ сдѣлать? Я, дѣйствительно, хлопочу по судамъ. Но для вашихъ дѣлъ съ владѣльцами есть особая власть. Къ нимъ обратитесь.

Крестьяне, однакоже, и слушать не хотѣли возраженій Ветлугина.—«Ты насъ разбери и защити»,—говорили они, выкладывая передъ нимъ цѣлый коробъ своихъ обидъ и огорченій.

— Перво-на-перво, наши господа,—говорили они:—намъ, а не другимъ отдавали въ наймы излишнія земли; а опекунъ лѣтось роздалъ ихъ всѣ, на нѣсколько лѣтъ, заходимъ гуртовщикамъ... Потомъ и сюда погляди, каково оно: прежде мы пользовались и лугами, и лѣсомъ, и рыбной ловлей; а нонѣ и это все отдано чужимъ... Ну, гдѣ же правда?—Была намъ разсрочка и въ отбывкѣ издѣльной повинности, и подь казенныя подати раздавали намъ на отработокъ деньги. Опекунъ же, чтобъ ему нелегко на томъ свѣтѣ дышалось,

и это отмѣнить. Обѣдняли мы, кормилецъ, совсѣмъ. А штрахами насъ эти опекунскіе приказные ужъ такъ-то разоряютъ, что не токмо короввѣнкѣ, али тамъ овцѣ, — курицѣ за межу нынче выдти нельзя... Ужъ коли твоей милости чего нельзя, то хоша прошеніе отъ насъ, куда слѣдъ, напиши. Прежде-таки писывать за насъ эти просьбы батюшка, отецъ Адріанъ; а таперича и ему пути заказаны. Опекунъ намедни ему такъ пригрозилъ, что коли, говорить, батюшка, ты не уймешься, такъ я и архіерея на тебя подниму. Я, молъ, съ нимъ, свой человѣкъ...

— Хорошо, — отвѣтилъ Ветлугинъ: — я найду, кого за васъ попросить. А теперь прощайте... Миѣ пора ѣхать.

— Счастливаго пути, кормилецъ!

Ветлугинъ отправился къ станціи. Вѣтеръ не умолкалъ и до того шумѣлъ по саду и стучалъ запертыми ставнями и дверьми, что, казалось, хотѣлъ разрушить и домъ, и садъ. При видѣ мгновенно склонившихся древесныхъ вѣтвей и вершинъ, казалось, откуда-то налетѣли злые, крылатые духи и желѣзными когтями рвали съ оголенныхъ деревьевъ послѣдніе, поблекшіе листы.

Ветлугинъ взобрался на гору, сѣлъ въ вагонъ и уѣхалъ, богда на дворѣ уже стояла непроглядная темнота.

На ближайшей станціи къ поѣзду подвалило нѣсколько новыхъ путниковъ. Эти господа, очевидно, были между собою знакомы и находились въ отличномъ расположеніи духа. Несмотря на другихъ путниковъ, они громко разговаривали, шутили и смѣялись.

Ветлугинъ не обратилъ-было на нихъ никакого вниманія. Но, когда одинъ изъ этихъ проѣзжихъ, бывшій, очевидно, душой и вожакомъ остальныхъ, заговорилъ о какой-то исторіи въ средѣ мѣстной молодежи, неблагосклонно отзываясь о слабости новаго начальника губерніи, выразился: «нѣтъ, тѣтенька, будь я губернаторомъ, я бы ихъ пробралъ», — Ветлугинъ приподнялся изъ своего угла и черезъ спинку скамьи, при свѣтѣ фнаря, въ господинѣ, недовольномъ властями, узналъ стараго своего знакомаго, Ключкова.

Петръ Ивановичъ за это время, впрочемъ, нѣсколько измѣнился. Для большей представительности и благоприличія, онъ сбрилъ усы, но зато отпустилъ длинные, дипломатическіе бакены и до того возмужалъ и раздобрылъ, что напоминалъ, если не штатскаго генерала, то банкира. На

немъ была щегольская, на сибирскихъ куницахъ шубка и боярская соболиная шапочка. Онъ говорилъ еще круглѣе и полновѣснѣе, держалъ себя еще степеннѣе и осмотрительнѣе, а на шутки собесѣдниковъ посмѣивался ровнымъ, ласковымъ, но вмѣстѣ и внушительнымъ баскомъ.

— Да!—вдругъ сказалъ онъ, обращаясь къ кому-то изъ собесѣдниковъ:—насчетъ акцій-то, начетъ бракованныхъ... Ты, Романъ Павловичъ, вѣроятно, помнишь, какъ, четыре года назадъ, я выразился Іосифу Димитричу, что не умру безъ того, чтобы не нажить пятисотъ тысячъ... Помнишь?...

— Помню, помню,—отозвался Раша Талищевъ.

— Ну, такъ поздравь... Мои учредительскіе паи проданы—я вчера получилъ депешу — и эти пятьсотъ тысячъ я уже нажилъ...

— Значить, держи носъ по вѣтру? — воскликнулъ и подобострастно захихикалъ Талищевъ.

— Именно, именно,—отвѣтилъ, снисходительно улыбаясь, Ключковъ.

Когда поѣздъ, приблизясь къ городу, остановился и публика засуетилась у выходныхъ дверей, Талищевъ снова обратился къ Ключкову:

— Петръ Ивановичъ, это твоя коляска?

— Моя.

— Не подвезешь ли меня?

— А тебѣ куда?

— Я тутъ по близости, десять шаговъ...

— Садись.

Талищеву было вовсе не по пути. Но онъ подобострастно прыгнулъ въ коляску, лишь бы проѣхаться рядомъ съ Ключковымъ. А Петръ Ивановичъ разсѣлся на упругихъ подушкахъ и, запахиваясь куницами, крикнулъ остальнымъ собесѣдникамъ:

— Господа, смотрите же, въ клубъ: сегодня суббота. Экономъ прислалъ мнѣ навстрѣчу депешу, что получена невѣроятной величины дососина и притомъ живая... не пропустите...

Ключковъ, какъ оказалось, не только — вмѣсто Осипъ Димитричъ—говорилъ Іосифъ Димитричъ, но уже былъ сластунъ и объѣдало и послѣднее качество ставилъ себѣ въ особую заслугу.

XXXI.

Счастливый мірокъ.

Проѣзжая мимо квартиры Фокиныхъ и видя въ ихъ окнахъ свѣтъ, Ветлугинъ подумалъ: «заѣду я къ нимъ: родитель, пожалуй, уже спитъ. Посижу у нихъ, разспрошу о старикѣ и переночую въ гостиницѣ, а къ отцу лучше отправлюсь поутру».

Былъ десятый часъ, когда Ветлугинъ вошелъ въ незапертыя сѣни и въ переднюю Фокиныхъ. Изъ-за двери направо, по всей вѣроятности въ небольшую залу, неслись веселые дѣтскіе голоса; казалось, за этой дверью помѣщалась обширная и шумная дѣтская школа. Ветлугинъ остановился и нѣкоторое время не рѣшался туда войти.

Нѣсколько голосовъ напѣвали какую-то пѣсню. Ей вторилъ смѣхъ, звонъ погремушекъ, дробь барабана и пискъ оглушительной игрушечной дудки. «Да тише вы, тише! тише!» — какъ бы въ отчаяніи раздавался чей-то голосъ, тщетно пытаясь унять непокорное полчище рѣзвыхъ весельчаковъ.

Антонъ Львовичъ отворилъ дверь, но, вмѣсто школьной залы, очутился въ спальнѣ хозяевъ. Шумъ, оглушившій его, производили двое хозяйскихъ дѣтей, веселые и пузатые мальчуганы-близнецы, Ганя и Даня. Первый изъ нихъ, а именно Ганя, толстощекий и бѣлый, какъ пряничный генералъ, сидя на игрушечномъ конѣ, дудилъ въ дудку и изъ всѣхъ силъ билъ кулакомъ въ барабанъ. Второй, кудрявый и черноглазый, какъ жукъ, Даня, въ отцовскомъ жилетѣ и въ матушкиномъ чепцѣ, сидѣлъ на полу, кричалъ и размахивалъ какой-то костяной, съ бубенчиками, погремушкой. Сама Фросинька, въ блузѣ и платкѣ на небрежно причесанныхъ волосахъ, держала третьяго мальчика, новорожденного Вовика. Вовикъ только-что проснулся и также слегка брыкался и кричалъ. Она его распеленала, покормила грудью и, покачивая и осыпая его поцѣлуями, напѣвала пѣсню, отчего и не замѣтила, какъ вошелъ неожиданный гость.

— Антонъ Львовичъ! Какими судьбами! Миша, Миша, сюда! — закрисѣвшись, съ крикомъ бросилась въ сосѣднюю комнату Фросинька.

За дверью натѣво слышались тяжелые и торопливые шаги. Кто-то впопыхахъ двинулъ стуломъ и уронилъ книгу.

Ветлугинъ думалъ обратиться вслѣдъ.

На порогъ маленькаго, полуосвѣщеннаго кабинета показался совершенно квадратный, безъ галстука, съ полуобнаженной мохнатой грудью и въ широчайшемъ свромѣ пиджакѣ, русобородый, невысокій и добродушный господинъ. Глаза его улыбались, руки несмѣло и ласково были протянуты впередъ.

— Представьте, я васъ едва узналъ! здравствуйте!—сказалъ Ветлугинъ, пожимая руку Фокина.

— А вы-то какъ подарили! глазамъ не вѣрится! наконецъ-то! сюда же, сюда, ко мнѣ!—засуетился Фокинъ, вводя гостя въ кабинетъ:—что это? саквояжъ съ вами? Угадываю... значить, у отца еще не были?.. И отлично... почувте у насъ...

— Нѣтъ, благодарю, я къ вамъ на минуту; какъ здоровье отца?

— О, мы васъ не пустимъ. Отецъ здоровъ... Утромъ пойдемъ къ нему вмѣстѣ,—а теперь и его только потревожите, и сами не заснете до утра.

Дѣлать нечего, Ветлугинъ размыслилъ и сказалъ, что остается.

— Но гдѣ же вы меня положите? не лучше ли я пойду въ гостиницу?

— Слышишь, Фросинька: гдѣ мы его положимъ? въ гостиницу хотеть! вотъ они, столичные-то мудрецы.

— Полноте, Антонъ Львовичъ,—обратилась къ Ветлугину подоспѣвшая хозяйка:—вы — такой рѣдкій гость; а у насъ, кабинетъ этотъ свободенъ, и угольная еще есть.

Фросинька пустилась хлопотать.

Она и въ спальню бѣгала, и съ кухаркой шепталась, и ключами гремѣла, и чуть не плакала отъ радости. Черезъ полчаса на ярко освѣщенномъ и уставленномъ всякой снѣдью столѣ кабинета пыхнулъ самоваръ. Приодѣтая и раскраснѣвшаяся отъ суеты и удовольствія Фросинька, съ великими усилиями и даже угрозами, уложила дѣтей спать. Новорожденный скоро затихъ. Зато близнецы долго еще не унимались, оглашая спальню смѣхомъ и криками, и то и дѣло просовывая краснощекія, веселыя головки въ переднюю. Разъ, въ порывѣ неудержимаго любопытства и задора, они даже высочили въ одѣхъ рубашенкахъ и босикомъ въ кабинетъ.

— Радуюсь вашему счастью,—сказалъ Фокинымъ Ветлу-

гинъ, когда все кругомъ утомнилось и затихло: — радуюсь и сердечно васъ поздравляю...

— Но, вѣроятно, не завидуете? — улыбнулся, поглядывая на жену, Фокинъ.

— Нѣтъ... и завидую... отъ всей души...

— Что же? зачѣмъ дѣло стало? Мало ли на родинѣ не-вѣсть? Приглядитесь-ка, да и сватайтесь. А ужъ какъ отца-старика этимъ утѣшили бы, да и съ нами, можетъ, въ такомъ случаѣ не разстались бы...

— Не по коню корми! — отвѣтилъ со вздохомъ Ветлугинъ и заговорилъ о другомъ.

Фросинька влажными, искренне сочувствующими глазами молча глядѣла на него, невольно переносясь мыслями за три года назадъ. — «Боже мой, Боже! — думала она, — да неужели же все это на самомъ дѣлѣ случилось? И можно-ли повѣрить, можно ли допустить, чтобы теперь передо мной сидѣлъ тотъ самый Антонъ Львовичъ, который тогда, въ тѣ золотые дни, неожиданно-негаданно явился въ Дубкахъ и такъ увлекъ-было Аглаю? Куда дѣлась эта навѣкъ улетѣвшая пора? Куда дѣлись ихъ грёзы, свиданія, клятвы, любовь? И неужели, наконецъ, не сонъ и то, что Аглая, бѣдная Аглая, до сихъ поръ томится въ монастырѣ?»

Фросинька плохо спала эту ночь. Не очень-то спокойно провелъ ее на новомъ мѣстѣ и Ветлугинъ.

Давно невиданныя картины чужого и тихого и полного счастья убаюкивали и вмѣстѣ раздражали его. Передъ нимъ, въ темнотѣ, не уходя отъ него, какъ живые стояли волшебные и свѣтлые образы семейныхъ радостей, мерцали ласковые и теплые лучи ихъ. Что-то благоуханное, кроткое и нѣжное носилось и вѣяло надъ нимъ. Онъ прислушивался къ возгласамъ ребятишекъ, смѣявшихся и бредившихъ во снѣ, и къ шепѣту матери, осторожно унимавшей ихъ. Дѣтскій смѣхъ казался ему не смѣхомъ, а пелестомъ ручья, гдѣ-то бѣжавшаго въ затишнѣй деревѣ. Дѣтскіе возгласы напоминали жужжаніе пчелъ по берегу этого ручья. Близнецы Ганя и Даня тащили его туда, въ сочную зелень спящихъ дубавъ, боролись съ нимъ, прятались отъ него и опять съ нимъ барахтались, теребя его за носъ и за бороду. А крохотный Вовикъ сидѣлъ у него на плечѣ, и Ветлугинъ, придерживая его за голенькія полныя ножки, бѣгалъ съ нимъ гдѣ-то по ярко освѣщеннымъ дорожкамъ и лужкамъ.

«Нѣтъ, нѣтъ, я вамъ не отдамъ этого карапузика, не отдамъ!» — твердилъ Ветлугинъ, крѣпко ухватясь за простыню и не замѣчая, что никакого карапузика у него не было и что передъ нимъ, заливаясь хохотомъ и тщетно пытаясь его разбудить, давно въ пунцовомъ брачномъ халатѣ стоялъ Фокинъ.

Ветлугинъ глянулъ во всѣ глаза и вскопчилъ.

На дворѣ было ясное, теплое утро. Комната была залита свѣтомъ, падавшимъ сквозь зелень стоявшихъ по окнамъ цвѣтовъ. Ветлугинъ одѣлся, напился чаю, поблагодарилъ хозяевъ за угощеніе и за ночлегъ, взявъ извозчика и съ Фокинымъ отправился къ отцу.

Нѣтъ, — сказалъ Фокинъ, когда они подъѣхали къ калиткѣ: — идите сами; не хочу мѣшать вашему свиданію. Зайду познѣе; а не то, вы съ нимъ къ намъ пожалуйте вечеромъ, усюветесь.

Отца Ветлугинъ засталъ еще въ спальнѣ, за утреннимъ кормленіемъ его пернатыхъ и четвероногихъ друзей. Старикъ сидѣлъ на постели, въ красной фуфайкѣ и въ бѣломъ вязаномъ колпакѣ. Передъ нимъ, ожидая обычной подачки, на заднихъ лапкахъ стояла вновь добытая собачка, Шарикъ. На скамеечкѣ, мурлыча и шевеля хвостомъ, сидѣла бѣлая кошка — Машка. Въ окно заглядывалъ новый ручной журавль. А на краю чайнаго столика, временно вынутый изъ клетки, нахохлившись, сидѣлъ слѣпой каменный дроздъ. Размоченный бѣлый хлѣбъ, крынка молока и остатки жаренаго помѣщались здѣсь же, на столѣ.

Антонъ Львовичъ вошелъ въ то время, какъ Левъ Сарвичъ домыта, накормилъ дрозда и, отливъ въ тарелку молока, только что собирался подать его Шарикъ.

— Ахъ, ахъ! — вскрикнуть, старикъ, завидя на порогѣ сына: — ахъ, да что же это? что?..

Онъ хотѣлъ приподняться, хотѣлъ что-то сказать, но только развелъ руками и, отмахиваясь ими, молча опустился на постель.

Антонъ Львовичъ смотрѣлъ на отца и не вѣрилъ глазамъ: такъ онъ снова перемѣнился за эти годы.

— Антошушка! Антоша! да ты ли это, въ самомъ дѣлѣ? — вскрикнувъ, наконецъ, заливаясь радостными слезами, старикъ.

Онъ привсталъ, крѣпко обнявъ сына, цѣлуя посадить его

возлѣ себя, сдать на руки вбѣжавшей съ новыми возгласами и слезами Власьевнѣ кормленіе своихъ друзей, и, стараясь быть какъ можно бодрѣе, принялся одѣваться.

Передъ Антономъ Львовичемъ, въ поношенной фуфайкѣ и въ свившемся на затылкѣ колпакѣ, суетливо топтался не прежній, жаждавшій трудиться, хотя помятый годами челевѣкъ, а совершенно ослабѣвшій и упавшій духомъ старикъ. Съ погасшими глазами, улыбкой безъ жизни и съ выдавшимися еще болѣе лопатками плечъ, Левъ Саввичъ дрожащими, невѣрными руками хватался то за одну вещь, то за другую, въ разсѣянности держалъ передъ собой подтяжки, запонки или шейный платокъ и не зналъ, что съ ними дѣлать. Власьевна поспѣшила къ нему на выручку. Она ему дала умыться, одѣла его, застегнула и объявила, что поданъ самоваръ. Отецъ съ сыномъ перешли въ залу.

— Ну, какъ же ты поживаешь, и что твои адвокатскіе успѣхи? — спросилъ Левъ Саввичъ сына: — слышалъ, слышалъ; не мало изъ вашей братіи подають надежды. А сперва чуть-было не всѣ кинулись на это поприще, какъ на золотосную розсыпь... Такъ ты доволенъ занятіями?

— Доволенъ.

— Дѣло по тебѣ?

— По мнѣ.

— Отрадно наполняетъ твою жизнь?

— Не могу пожаловаться.

Левъ Саввичъ обмакнулъ кусокъ хлѣба въ чай, хотѣлъ его поднести ко рту и задумался.

— Пріятно слышать, — сказалъ онъ: — новая дорожка; и пока она не заросла быліемъ да тернѣемъ, иди по ней смѣло. Ну, и намъ, педагогамъ; наставникамъ юнаго челоуѣчества, видно, зубы на полку класть.

— Какъ такъ? — спросилъ Антонъ Львовичъ.

— Все кончено, Антонушка, все! — какъ-то безнадежно-насмѣшливо поморщился Левъ Саввичъ: — мы, учителя стараго закала, свое отжили, стали ненужнымъ хламомъ, а потому и долой насъ со свѣта, бесполезныхъ, долой... Другимъ мѣсто, лучшимъ насъ... Такъ-то! Все новыя системы изобрѣтають...

— Дѣло, о которомъ вы заговорили, — нахмурился, отвѣтилъ Антонъ Львовичъ: — настолько же важно и сложно, какъ вопросъ о совѣсти, о вѣрѣ... Легко его касаться — нѣтъ



пользы. Такие вопросы по очереди всплывают въ человѣчествѣ, глубоко и порой страшно, страшно потрясая общество. Но они лучше всего рѣшаются въ жилищахъ, въ нѣдрахъ семействъ. Тамъ имъ подводится оцѣнка; тамъ они принимаются или отмѣняются. Время—лучшій судія...

— Такъ ты проповѣдуешь о сидѣньѣ сложа руки, о ожиданіи у моря погоды? спасибо тебѣ... А знаешь ли ты пословицу?

— Какую?

— Пока солнце взойдетъ, роса очи выѣстъ.

— Я не отвергаю частныхъ усилій.

— А! договорился-таки, договорился! такъ слушай же!— понижая голосъ и дергая сына за руку, оказалъ старикъ:— помнишь мои мечты объ общеобразовательной школѣ? Помнишь? Чѣмъ кончилась тогда эта затѣя? чѣмъ? разлетѣлась дымомъ... Ну, а если бы она не разлетѣлась, я посмотрѣлъ бы, какъ легко далась бы нашимъ противникамъ борьба съ нами...

Вечеръ отецъ съ сыномъ провели у Фокиныхъ. Левъ Саввичъ возился съ дѣтьми. Ганя и Дана сперва носили и накладывали ему на колѣни свои игрушки, потомъ прятались отъ него, а его заставляли искать себя подъ стульями и диванами; наконецъ, запрягли его въ повозочку и до того, погоняя его, смѣялись и опять шумѣли, что Фросинька выбилась изъ силъ и заперла ихъ, а съ ними и Льва Саввича въ угольную, откуда, впрочемъ, шумъ и гамъ неслись еще въ болѣеишей степени.

— Премилая семья, чистѣйшая Аркадія!—сказалъ, уходя отъ Фокиныхъ и утирая лысину, старикъ:—не расстался бы съ ними. Счастливый мірокъ... Какъ видишь, у нихъ только и отдыхаю.

— Позвольте узнать,—спросилъ сынъ:—сколько потребовалось бы денегъ для устройства школы, подобной той, о которой вы когда-то думали?

Старикъ остановился. Они шли въ это время глухимъ гереулкоу.

— Странный вопросъ,—сказалъ Левъ Саввичъ:—зачѣмъ тебѣ нужно это знать?

— Да я такъ спросилъ. О дѣтяхъ Фокина вы заговорили,—мнѣ и вспомнились ваши мечты о воспитаніи.

Левъ Саввичъ поглядѣвъ себѣ подъ ноги, двинулся далѣе и, приложивъ пальцы къ губамъ, нерышительно отвѣтилъ:

— Какъ тебѣ сказать? Да не мало: тысячи двѣ, а не то и болѣе потребуется на первое время. Все зависитъ отъ того, какъ вести дѣло: самому, или съ товарищемъ.

— Ну, положимъ, вы сами повели бы это дѣло. Есть ли у васъ помощники, есть ли надежные дѣльцы, чтобы устроить и двинуть такое предпріятіе?

— Э!—свистнулъ и головой покачалъ Левъ Саввичъ.—О чемъ ты спрашиваешь? Есть ли знающіе и дѣльные люди? Да кабы только на нашу ниву да слетѣла бы такая благодѣтельная фея! А о пособникахъ, другъ ты мой, я и думать не буду...

Болѣе двухъ недель въ этотъ пріѣздъ прожить Антонъ Львовичъ у отца и не замѣтилъ, какъ мелькнуло это время. Объ Аглаѣ ни съ отцомъ, ни съ Фросинькой онъ заговорить не рѣшался. Кое-что о ней узналъ онъ только вскользь отъ Власевны. Но эти вѣсти были далеко не утѣшительны.—«Живетъ Аглаѣ Кирилловна безвыѣздно въ Красномъ-Кутѣ,—говорила Власевна:—и ужъ такъ-то примѣрно, такъ примѣрно, что хотъ бы и не такой молоденькой да богатой. Барыня Фокина намедни ѣздила къ ней, такъ индо чуть не плакала, сказывая мнѣ... Стоить, говорить, Вечерневская барышня на клиросѣ,—какъ свѣча негасимая теплится, молится.. А ужъ блѣдна, да худая,—ну, въ гробъ краше кладутъ».

Въ эти дни Антону Львовичу довелось побывать въ засѣданіи окружного суда и послушать двухъ знаменитостей изъ мѣстныхъ товарищей по профессіи. Одинъ изъ нихъ, защищая какого-то мѣщанина отъ обвиненій въ кражѣ тулупа и объясняя значеніе косвенныхъ уликъ, ссылался не только на Бентама, Стержи и Вильяма Уильза, но даже на какое-то девятое, филадельфійское или бостонское изданіе трактата объ уликахъ американца Симона Гринлея.

По пути изъ суда Антонъ Львовичъ посѣтилъ и земское собраніе. Но и оно оставило въ немъ не лучшее впечатлѣніе. Онъ забрался на хоры и сѣлъ, съ упорною рѣшимостью пробыть тамъ до конца засѣданія. Терпѣнія, однако, у него не хватило. Болѣе часа онъ просидѣть тамъ не могъ.

Пренія собранія велись до того вяло и непроходимо

скучно, что сами гласные дремали, а председатель, какой-то отставной, съ краснымъ носомъ, генералъ, и прямо заснулъ.

— Каковъ нашъ парламентъ,—сказалъ, подсаживаясь къ нему на хоры, Фокинъ: — подумаешь, столпы отечества! А у каждаго ноетъ мысль: батюшка, Сидоръ Федоровичъ, когда же отпустишь насъ водочки выпить да клубную кулебяку уплести.

— Всѣми дѣлами земства,—продолжалъ Фокинъ: — успѣшь и мирно заправляешь у насъ секретарь губернской управы: нѣкій Агафоновъ, бывшій что-то долге секретаремъ закрытаго нынѣ приказа общественнаго призрѣнія. Онъ знаетъ всѣ ходы и выходы, и всѣ имъ тутъ довольны, а онъ ужъ и пуще того—второй домъ строить.

Случился какой-то праздникъ.

Возвращаясь отъ Фокиныхъ домой, Ветлугинъ у подъѣзда красиваго, новенькаго дома замѣтилъ особую суету. Щегольскія кареты, коляски и пролетки те и дѣло высаживали у крыльца этого дома разныхъ чиновныхъ, торговыхъ и иныхъ тузовъ.

— Кто здѣсь живетъ? — спросилъ Ветлугинъ одного изъ кучеровъ.

Кучеръ презрительно смѣрилъ его глазами и, вынувъ изо рта трубку, нѣхотя отвѣтилъ:

— Извѣстно кто... Петръ Ивановичъ Клочковъ...

— Что же это у него за сѣздъ?

Кучеръ на это уже ничего не сказалъ. Отвѣтилъ за него невзрачный и оборванный мужичёнка, дровосѣкъ сосѣдняго двора, подъ надзоромъ сердитаго и мрачнаго городского, за какую-то провинность, подметавшій цѣлую улицу.

— Вы про этотъ домъ? — спросилъ онъ, косясь на плечу городского.

— Да,—отвѣтилъ Ветлугинъ.

— Рожденіе грахва Клочковскаго, — сказалъ мужикъ: — краснокутска игуменья, значитъ, кунецство и самъ архирей таперича у ихъ сіятельства чай пьютъ.

«Вотъ оно, что значить пятьсотъ тысячъ! — подумалъ Ветлугинъ,—ужъ и графомъ его величаютъ».

XXXII.

Тепличка.

Передъ отъѣздомъ отъ отца, Велутинъ сходилъ въ одну изъ банкирскихъ конторъ, куда по переводу изъ Москвы Столешниковъ выслалъ ему занятія у кого-то изъ доверителей деньги.

— Гдѣ отецъ?—спросилъ онъ Власьевну, возвратясь домой.

— Гдѣ? извѣстно—въ теплицѣ... цвѣты какіе-то затѣялъ еще съ утра пересаживать.

Антонъ Львовичъ вошелъ въ тепличку.

— Что это вы, папенька?—спросилъ онъ:—къ зимѣ готовитесь?

— Да, дружокъ, кое-что въ новую землю перенону. То вонъ — гіацинты, нарциссы; а это — японская лилія; диво, братецъ, а не цвѣтокъ. Пять дѣлковыхъ нѣмцу въ Гагѣ заплатилъ, по почтѣ выписалъ.

— Я къ вамъ съ одной просьбой, — сказалъ, нѣсколько помолчавъ, сынъ.

— Съ какой?—спросилъ, не переставая по локти возиться въ черной, какъ пухъ, рыхлой землѣ, отецъ.

— Оставьте эти мѣста и переѣзжайте жить со мною въ Москву.

— Это на какомъ основаніи?—сморщивъ брови, спросилъ старикъ.

— Видите ли... Что такъ-то жить намъ все порознь? Право... Вспомните: въ ожиданіи успѣха отъ затѣянной вами конторы, я былъ когда-то готовъ поселиться въ этихъ мѣстахъ и работать вмѣстѣ съ вами. Контора не осуществилась... Зато мнѣ удалось устроиться въ Москвѣ. Отчего бы вамъ теперь не жить и... не трудиться вмѣстѣ со мной? Повѣрьте, рядомъ съ моими занятіями, и вы могли бы предпринять какое-нибудь почтенное дѣло, по душѣ...

— Напримѣръ?—съ горькой усмѣшкой спросилъ старикъ.

— Ну, вы могли бы заняться изданіемъ учебниковъ, пристроиться при какомъ-нибудь ученомъ учрежденіи, а не то и самимъ основать хоть бы контору нотариуса... Последнее занятіе даже было бы какъ разъ по васъ. Вы — добраго, честнаго нрава, строго-образованы, трудолюбивы и точны въ словахъ и дѣлахъ. Нотаріальная контора, съ человѣ-

комъ, подобнымъ вамъ, во главѣ,—была бы находкой, кладомъ для всѣхъ.

Левъ Саввичъ отставилъ цвѣточный горшокъ.

Покашливая и кряхтя, онъ пересѣлъ на выступъ изразцовой печурки, устроенной въ углу теплицы, а сына усадилъ на скамеечку, на которой самъ передъ тѣмъ сидѣлъ, и отирая платкомъ землю съ рукъ и съ колѣнъ, съ нескрываемою досадой сказалъ:

— Послушай, Антонъ... Ты, видно, мало меня знаешь... Я никогда, слышишь ли?—никогда не оставлю этого города и этого угла... (Онъ указалъ пальцемъ на разохшійся, запачканный пескомъ и перегноемъ полъ теплички). И ты, я тебя прошу, не возобновляй болѣе этого разговора... Я здѣсь состарился... Каждый годъ, мѣсяцъ и часъ, каждое мгновеніе моей жизни связаны съ судьбами этихъ мѣстъ.

Левъ Саввичъ замолчалъ.

Руки его безсильно упали на колѣни. Лицо приняло суровое, полное безнадежной тоски выраженіе.

— Въ такомъ случаѣ, у меня другая къ вамъ, папенька, просьба,—тихо и несмѣло подвигаясь къ отцу, сказалъ Антонъ Львовичъ.

— Говори!—не глядя на сына, сухо отозвался старикъ.

— Ваша рѣшимость остаться здѣсь, вѣрите, понятна мнѣ и дорога. Нельзя ее не цѣнить и не уважать... Я и самъ бы... Ну, да что тутъ... О вашемъ переездѣ ко мнѣ я заговорилъ единственно потому, что насъ съ вами на свѣтѣ только двое... Притомъ же, трудъ вмѣстѣ... я думалъ, я хотѣлъ... И это еще можетъ осуществиться, по крайней мѣрѣ, я не теряю надежды...

Голосъ Антона Львовича дрогнулъ и оборвался.

— Словомъ, — сказалъ онъ, подавляя слезы: — вотъ, папенька, деньги... Но это еще не все, не все... Я вамъ вскорѣ еще вышлю, къ новому году вышлю, или весной... Прошу принять это... И такъ какъ вы рѣшились остаться здѣсь, то теперь же и приступайте къ открытію задуманной вами общеобразовательной школы...

Левъ Саввичъ взглянулъ на сына и денегъ не взялъ. Но въ лицѣ Антона Львовича, въ это мгновеніе, выразилась такая любовь къ отцу и такая мольба о согласіи на его просьбу, что старикъ молча склонился къ сыну, припалъ головой на его плечо, и только тихія, горячія слезы, хлы-

нуция изъ глазъ отца, показывали, съ какимъ восторгомъ онъ принять неожиданный и такъ кстати предложенный ему подарокъ.

— Ну, Антонушка, — проговорилъ онъ, наконецъ, придя въ себя и громко, неестественно сморкаясь: — спасибо тебѣ! Вотъ одолжилъ... Я теперь дважды родился: одинъ разъ — тамъ, давно, шестьдесятъ, что ли, лѣтъ назадъ, а другой разъ — сегодня... Да, вотъ такъ сынъ у меня... да... Теперь ты, мой другъ, увидишь, что и какъ я сдѣлаю на этотъ капиталъ... А эта лідія надолго мнѣ будетъ дорога. Съ нею будутъ связаны мои дунція, воспоминаія о тебѣ...

Левъ Саввичъ всталъ, бережно отставилъ къ сторонѣ пересаженный цвѣтокъ, еще разъ крѣпко обнявъ сына и, повесѣлѣвши глазами, глядя вокругъ себя, бодро вынулъ съ нимъ изъ теплички:

Черезъ два дня у Льва Саввича былъ званый вечеръ.

Въ ярко освѣщенномъ кабинетѣ сидѣли: кое-кто изъ духовенства (въ томъ числѣ разминувшійся съ Антономъ Львовичемъ и опять прїѣхавшій въ городъ отецъ Адрианъ), дватри сосѣднихъ домовладѣльца изъ купцовъ, Фокины и нѣсколько молодыхъ представителей мѣстнаго учебнаго міра.

Послѣ долгихъ преній и споровъ, на этомъ вечерѣ былъ обсужденъ и всѣми одобренъ составленный Львомъ Саввичемъ планъ начальной школы для проходящихъ бѣдныхъ дѣтей.

Антонъ Львовичъ, по пресѣбъ отца, отсрочилъ свой отъѣздъ.

Разрѣшеніе на открытіе школы было получено не безъ затрудненій. Антонъ Львовичъ для этого ѣздилъ къ инспектору училищъ, къ полиціймейстеру и губернатору. Сносились для того почему-то денешами съ начальникомъ учебнаго округа и даже съ Петербургомъ.

Для школы въ ближней улицѣ было нанято опрятное, теплое, хотя и невѣзфиліовое помѣщеніе: «Храмина создается, храмина!» радостно шептала Левъ Саввичъ сыну, возясь съ покупкой мебели, книгъ и прочаго.

Антонъ Львовичъ не раскаялся, что остался такъ долго у отца. Онъ имѣлъ удовольствіе присутствовать не только при основаніи, но и при самомъ открытіи школы.

Левъ Саввичъ былъ на верху блаженства и положительно ногъ подъ собою не чувствовалъ.

Куда дѣлась его старческая озабоченность, куда дѣлся пасмурный, верчливый и угнетенный видъ! Онъ помолодѣлъ на десять-пятнадцать лѣтъ, ходилъ бодро, говорилъ съ жаромъ, суетился, бѣдилъ къ учителямъ, по начальству и въ лавки. Та же была обстановка въ домѣ, тѣ же стѣны, мебель; но теперь другой человекъ жилъ здѣсь, и будто все для него дѣшало и звучало новымъ.

— Увидишь, Антонюшка, увидишь, — твердилъ онъ: — одна-другая такая школа, и общество одумается, выйдетъ на настояшій путь... А ты еще сомнѣвался, глядя на меня!..

Устроивъ отца, Ветлугинъ, наконецъ, себѣ сказалъ, что ему болѣе здѣсь дѣлать нечего, и черезъ день, черезъ два рѣшилъ обратно ѣхать въ Москву.

Наканунѣ отъѣзда онъ обѣдалъ у Фокиныхъ.

— Вы — магъ, — сказала ему въ концѣ обѣда Афросинья Адриановна: — вашего отца, положительно, теперь не узнать.

— Магъ-то онъ магъ, — перебилъ жену Фокинъ: — только отчего бы и самому Антону Лѣвовичу не перенести еяда хоть бы и своей адвокатской дѣятельности?

— Что же, а я не теряю надежды! — отвѣтилъ Ветлугинъ, окидывая радостнымъ взоромъ счастливыя, разгорѣвшіяся лица хозяевъ и миловидныя рожицы ѣхавшихъ тутъ же, верхами на стульяхъ, въ Москву ихъ дѣтей: — что и говорить... Ужъ какъ хотѣлось бы пожить съ отцомъ на закатѣ его дней... Да и вообще, здѣшній край... родина... Подыскивайте мнѣ дѣло. Попадется въ этихъ мѣстахъ подходящій процессъ, — давайте знать; я охотно возьмусь за него. А тамъ, смотря по ходу дѣла, и совсѣмъ, можетъ быть разобью здѣсь свою палатку...

«А объ Аглаѣ и не вспоминаешь! — взглядывая на Ветлугина, подумала Фросинька, — неужели онъ ее забылъ?»

Фокину принесли изъ банка бумаги. Онъ извинился и ушелъ съ ними въ угольную.

— Афросинья Адриановна, — тихо сказалъ, подсаживаясь ближе къ Фросинькѣ, Ветлугинъ: — скажите, какъ поживаетъ... вы ее видѣли... вы ее нашли?

Фросинька обомлѣла. Широко раскрывъ изумленные, кротко вопрошающіе глаза, она нѣсколько секундъ не могла проронить ни слова.

— Вы объ Аглаѣ? — наконецъ проговорила она: — такъ вы о ней помните, вамъ она попрежнему дорога?

— Фросинька, голубушка, милая! — не выдержавъ и совершенно забывъ, съ кѣмъ говорить, вскрикнулъ и двинулся къ ней Ветлугинъ: — убейте меня, растерзайте, только скажите, увижу ли я ее и выйдетъ ли она когда-нибудь изъ монастыря?

— Что вы, что вы, успокойтесь! — отшатнулась отъ него въ уголъ дивана Фросинька. — какъ ей теперь выйти? Это невозможно... ее не выпускать.

— Ну, побужайте къ ней, просите ее, молитесь, — пусть отдастъ все, что имѣетъ, монастырю, коли въ ней нуждаются! пусть только броситъ его и возвращается въ свѣтъ.

— Жаль мнѣ васъ, Антонъ Львовичъ, но, повторяю, этому не бывать...

— Да отчего же? развѣ души въ ней нѣтъ? Вѣдь она гибнетъ... Голубушка, Афросинья Адриановна... Извините, извините меня — я самъ не помню, что говорю... Я — безумецъ...

Ветлугинъ еще хотѣлъ что-то сказать, но ухватился за голову, закрылъ лицо руками и молча выбѣжалъ изъ квартиры Фокиныхъ.

Вечеромъ онъ прислалъ Афросинѣ Адриановнѣ письмо, извиняясь, что, подъ вліяніемъ предстоящей разлуки съ отцомъ, наговорилъ ей много лишняго, а отцу объявилъ, что утромъ окончательно уѣзжаетъ.

Новое разставаніе съ отцомъ и съ роднымъ краемъ сильно заболело Ветлугина.

«Всѣ счастливы по-своему, всѣ полны отрадной хлопотни, надеждъ на близкое и далекое счастье, — думалъ онъ, облокотясь о подушку и вслушиваясь въ шумъ и гулъ городскихъ улицъ: — одинъ я все еще на распутьи; одинъ я не имѣю твердой почвы подъ ногами... Тѣ же тѣтеньныя условія, холодъ и сухость одинокихъ, ни съ однимъ горячимъ, близкимъ и любящимъ сердцемъ не раздѣленныхъ заботъ...»

Въ мысляхъ Ветлугина роились впечатлѣнія пережитаго, картины прежнихъ и теперешнихъ Дубковъ, образы Аглаи, Столешникова, Фокиныхъ и ихъ дѣтей.

«Да, — повторилъ самъ себѣ Антонъ Львовичъ: — всѣ заняты по-душѣ, всѣ копошатся, тащутъ пылинки, воображая ихъ бревнами... Одинъ я все еще — кимвалъ бряцающій, мѣдъ звеняща... Умру, — что пользы было въ моемъ существованіи? Милліоны Ветлугиныхъ, милліоны мошекъ рождаются и умираютъ безъ слѣда. А другіе, не Ветлугины?»



Чѣмъ они похвалятся?.. Нирвана, Нирвана—угасаніе, примиреніе всѣхъ и всего въ небытіи...»

Что-то робкое, молящее о жизни, о надеждахъ на жизнь, тихо прильнуло къ груди, къ сердцу Ветлугина. Онъ невольно вдрогнулъ, повелъ передъ собою руками. Никого... Мертвая тишина!.. Только слышно, какъ сердце мѣрно колотится въ груди.

Ветлугинъ всталъ, зажегъ лампу, взглянулъ на часы, взялъ перо и сѣлъ писать.

Первыя попытки ему не удавались. Онъ начиналъ и опять разрывалъ написанное. Прешло болѣе часа. Онъ принялся ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Отворилъ форточку. Свѣтлое, здѣшнее небо широко раскидывалось надъ стихшимъ городомъ. «Гдѣ-то она?»—чуть слышно прошептала Ветлугинъ, глядя въ окно... На него повѣдало чѣмъ-то нѣжнымъ, опьяняющимъ, душистымъ... Онъ оглянулся: на столѣ стоялъ, не замѣченный имъ до того, горшокъ съ цвѣткомъ. Лилія, пересаженная Львомъ Саввичемъ, пышно расцвѣла за эти дни, и старикъ съ вечера перенесъ ее въ комнату сына. Ветлугину вспомнилась ночь на станціи, бесѣдка въ саду Дубовъ... Онъ опять сѣлъ, уронилъ голову на знакомый съ дѣтства гимназическій столикъ, пробылъ въ полубытіи съ четверть часа, схватилъ перо и, съ горькой усмѣшкой сказавъ себѣ: «Да! я любилъ эту странную дѣвушку, я вѣрилъ ей!»,—написалъ слѣдующее письмо:

«Аглая Кирилловна! По всей вѣроятности, вы удивитесь, можетъ-быть, останетесь даже недовольны, увидѣвъ, кто къ вамъ пишетъ это письмо. Что дѣлать... Иногда люди поступаютъ вопреки собственнымъ убѣжденіямъ и желаніямъ. Я/же, сверхъ того, дѣйствую такъ теперь еще и подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ, совершенно случайныхъ и даже постороннихъ обстоятельствъ. Итакъ, къ дѣлу.—Три года назадъ мы съ вами встрѣтились и разстались навсегда. Я думалъ, что въ жизни мнѣ уже не представится случая съ вами говорить. Вышло иначе. Въ прошломъ мѣсяцѣ я прибылъ въ этотъ край, съ цѣлью провѣдать своего отца: но—каюсь—не утерпѣлъ и мимоходомъ заглянулъ въ Дубки. Не скрою отъ васъ: я вспоминалъ васъ тамъ на каждомъ шагу,—вспоминалъ и—простите за откровенность—невольно осуждалъ. Чѣмъ вы были до выбора печальнаго жребія и чѣмъ стали теперь?.. До мгновенія, въ которое вы окончательно

и безповоротнo рѣшились выполнить такъ рано и такъ опрe-метчиво данный вами обѣтъ, — ваша совѣсть, ваши помыслы и всѣ ваши поступки были чисты, безъ упрека и безъ грѣха. Теперь вы — грѣшница, мало того, вы теперь — почти преступница... О! не бросайте этого письма, если оно васъ огорчить, прочтите его до конца и не старайтесь объяснить моихъ словъ безуміемъ, дерзостью или недостойнымъ желаніемъ насъ обидѣть. Противъ той, кого я такъ искренно и такъ сильно когда-то полюбилъ, не будешь ни дерзкомъ, ни мстителемъ, ни злымъ. Я могу вамъ сказать только правду, вылить передъ вами свою душу...

«Аглая Кирилловна! Оглянитесь на себя и оцѣните, взвѣсите все, что вы сдѣлали за это время. Вашъ отецъ, до вашего поступленія въ монастырь, былъ по своему спокойнѣе и счастливѣе. Онъ отрадно и тихо доживалъ мирный вѣкъ въ устроенномъ имъ мирномъ углу. А теперь гдѣ онъ и что съ нимъ?

«Даже — рана собственная жизнь. Не знаю, нашли ли вы, въ вашемъ тихомъ и запертомъ отъ вѣяній міра пристанищѣ, тотъ невозмутимый, тотъ душевный покой, котораго ищутъ всѣ, мечтающіе о подобныхъ мѣстахъ? Не стану спорить о томъ, что обыденный, простой и скромный мірекой трудъ и простыя, житейскія заботы о близкихъ къ намъ и о ихъ насущныхъ, кровныхъ нуждахъ, по моему, во сто кратъ выше иной, хотя бы самой искренней молитвы о тѣхъ же близкихъ. Убѣжденія могутъ быть разныя... Но я не могу не передать вамъ, Аглая Кирилловна, того, что я своими глазами увидѣлъ и своими ушами услышалъ въ дорогѣ мнѣ до воспоминаній имѣнія вашего больного и всѣмъ, — боюсь прибавить, — даже и вамъ забытаго отца.

«До вашего поступленія въ монастырь, имѣніе вашего отца, если не было въ особенно извѣстномъ положеіи, то не было разорено... Ваши бывше крестыяне, по разнымъ причинамъ, если не видѣли полнаго обезпечиванія тѣхъ или другихъ своихъ нуждъ, то не были и бездушно унетаемы. Теперь ваше имѣніе — знаете ли вы это? — пустыня... Домъ и нѣкогда такъ вѣлѣбанный вашимъ отцомъ садъ — могила... Ваши бывше крестыяне обидѣли. Скажу болѣе: они теперь — почти нищіе. Вы, можетъ-быть, не повѣрите; — но у нихъ нѣтъ къ наступающей зимѣ ни дровъ, ни сносной одежды; ни хлѣба дѣтямъ, ни корма для удѣльщика отъ

надежда скота. Договорю ли остальное?.. Вашъ опекунъ до-  
велъ ихъ всевозможными притѣсненіями до того, что они, —  
случайно провѣдавъ о моемъ пребываніи въ Дубкахъ и о  
моемъ адвокатскомъ ремеслѣ, — явились ко мнѣ въ вашей  
усадьбѣ съ просьбою взять ихъ защиту — противъ кого же? —  
противъ васъ... Я имъ далъ слово ходатайствовать за нихъ  
и выполняю этимъ письмомъ свое обѣщаніе... Это ли та  
награда, которую вы думали заслужить принятымъ на себя,  
никому недорогимъ и никѣмъ неоцѣненнымъ подвигомъ?

«Такимъ образомъ, вы нехотя нравственно убили отца,  
привели въ запустѣніе вашъ родной уголь и погубили собствен-  
ную молодую жизнь. Кончаю еще однимъ и послѣднимъ, горь-  
кимъ признаніемъ... Судьба, вѣроятно, имѣла глубоко-разумные  
виды, если насъ съ вами — я ли это говорю? — во время  
тогда развела... Мы, надо думать, не были бы счастливы  
другъ съ другомъ, по разности нашихъ нравовъ и убѣжде-  
ній. Оно правда, жизнь для васъ и для меня — не насла-  
жденіе, а подвигъ. Но я стою за подвигъ — во имя правъ  
и потребностей своей жизни. Вы же нашли подвигъ тамъ,  
гдѣ, по-моему, жизнь кончается и начинается царство смерти...

«Прощайте и не поминайте лихомъ. Простите меня ве-  
ликодушно за эти слова. Я долженъ былъ ихъ сказать и,  
если бы ихъ не сказалъ, я не былъ бы достоинъ того вни-  
манія, которымъ вы когда-то меня «дарили». *Притиска.* «Еще  
хотѣлось мнѣ вамъ сказать нѣсколько словъ... Но для чего?  
Не все ли равно?.. Ахъ, Аглая, Аглая!.. Неужели?.. Нѣтъ,  
довольно... Прощайте.—А. Ветлугинъ».

Антонъ Львовичъ выѣхалъ, какъ и рѣшилъ, на другой  
же день. Провожали его отецъ и Фокины. Письмо къ Аглаѣ  
онъ думалъ переслать по почтѣ. Но боязь, чтобы оно не  
пропало, онъ передалъ его на прощаньи Фросинкѣ, съ  
просьбою переслать его при случаѣ въ монастырь.

— Однако, загостился ты у своего Цяцинната! — началъ,  
встрѣчая Ветлугина на московской станціи, Столешниковъ —  
уѣхалъ на недѣлю, а пробылъ тамъ мѣсяцъ...

— Особаго ничего не случилось безъ меня; изъ-за чего  
же было торопиться?

— Какъ не случилось? Сколько выгодныхъ предложеній  
пропущено! Сколько блестящихъ рѣчей за тебя другіе ска-

зали... Вонъ, отъ одной, что Птицынъ произнесъ, до сихъ поръ газеты какъ въ чаду...

— Пусть ихъ въ чаду. На нашу долю еще станеть.

— Ну, а выгоды, выгоды? На-дняхъ одно дѣло предлагали, да какое? Я чуть волосъ не рвалъ съ досады, что тебя не было здѣсь. Потому съ родины тебя обогнала депеша...

— Отъ кого?

— Фокинъ телеграфируетъ... Двѣ нѣкія дѣвицы, какъ бишь ихъ?... Да! Ченшины... Дѣло о злоупотребленіяхъ опеки, разорившей огромное имѣніе ихъ малолѣтняго племянника. И Фокинъ непремѣнно совѣтуетъ тебѣ взять этотъ процессъ...

— Но противъ кого дѣло?

— О, ты не ожидаешь... звѣрь выставленъ красный... Представъ—противъ Петра Ивановича Ключкова...

Ветлугина бросило въ холодъ и дрожь.

«Ужъ не о другѣ ли Вечерѣва, Ченшинѣ, идетъ дѣло?» подумалъ онъ.

### XXXIII.

## Тихое пристанище.

Часть высокой каменной стѣны, окружавшей церковь и кельи общежительнаго Краснокутскаго монастыря, одной стороной примыкала къ проѣзжей, нагорной дорогѣ, а другою къ оврагу, по которому весной съ шумомъ сбѣгали воды и за которымъ начинался сплошной, вѣнчавшій обительскую гору лѣсъ.

На площадкѣ, внутри стѣны и нѣсколько поодаль отъ другихъ домиковъ, была построена каменная, въ одинъ ярусъ, просторная и подъ желѣзомъ келья Ульяны Андреевны Вечерѣвой. Много труда и заботъ положила Ульяна Андреевна на построение этого уютнаго и снабженнаго всякими удобствами жилища. Здѣсь она думала въ мирѣ, тишинѣ и молитвахъ, съ ненаглядною своею Алинкой, прожить долгіе годы, дожидаться принятія дочерью, «послѣдованія малыя схимы», то-есть окончательнаго пострига, а тамъ—можетъ-быть—и счастья увидѣть Аглаю во главѣ обители, преимницей матери-игуменьи Измарагды.

Келью три года назадъ начали строить въ іюнѣ и кончили въ одно лѣто. Къ зимѣ Ульяна Андреевна уже посе-

лилась въ ней, на своемъ собственномъ хозяйствѣ. Какъ игуменья, такъ и всѣ монахини наперерывъ старались угождать барынѣ и барышнѣ Вечерѣвымъ. Въ свободныя часы, навѣщая ихъ и работая или бесѣдуя съ ними, онѣ предупреждали малѣйшія ихъ желанія и не могли достаточно налюбоваться чистотою, опрятностью и убранствомъ ихъ небольшихъ, теплыхъ и свѣтлыхъ комнатъ.

«Сейчасъ видно барыню знатную, негордую и щедрую!» говорили объ Ульянѣ Андреевнѣ заходяимъ богомольцамъ внимательныя инокини: «въ одно лѣто сударыня поставила экой домъ-отъ и ничего на него, какъ есть, не пожалѣла... Цѣловъ изъ своихъ теплицъ навела, мебели изъ деревенскаго дома, ковровъ, посуды и всякаго добра... Всю дочкину пчелу также сюда перевела,—шутка ли, до полтысячи колодокъ... Образницу въ своей спальнѣ устроила такую, что хоть бы въ часовнѣ ей быть не стыдно... Въ обительскую казну вкладъ за себя и за дочку, по своимъ средствамъ, вызвалась внести... А помрутъ, и домъ ихній, и все навезенное сюда добро на обитель же, общають, останется...»—Богомольцы, крестясь и вздыхая, въ умиленіи поглядывали на новенькую вечерѣевскую келью и разносили объ ея обитательницахъ хвалебныя вѣсти.

Поселясь съ матерью въ монастырѣ, Аглая мало-по-малу стала привыкать къ тяжелому, принятому на себя, новому роду жизни. Образы прошлаго незамѣтно поблѣднѣли, ушли въ темную даль. Душевная рана стала заживать. Строгіе, внутрь себя глядѣвшіе глаза внимательнѣе и привѣтливѣе начали смотрѣть на окружающее. Только ея лицо подернулось желтизной и стало какъ бы еще холоднѣе, осунулось и точно окаменѣло. Ни улыбки, ни упрека, ни малѣйшаго раздраженія не было видно на этомъ лицѣ. Одна, твердая, спокойная и непреклонная рѣшимость выражалась на немъ. Безъ ропота и безъ мысли объ утомленіи, несмотря на слабость здоровья, отстаивала Аглая раннія утреннія и позднія ночныя бдѣнія: эктеніи съ каѳизмами, сѣдальными, поліелеемъ и катавассіями, литургіи съ антифонами, тропарями и кондаками и вечерни съ пареміями и канонарханіемъ подобныхъ, самогласныхъ и богородичныхъ стихирь.

Какъ рѣдкая не только изъ новоначальныхъ, но и давнишнихъ бѣлицъ, Аглая безпрекословно выполняла всѣ обительскіе уставы и послушанія: была уважительна къ стар-

шимъ, ласкова и внимательна къ младшимъ. Идя зачѣмъ-либо къ матери-игуменѣ, она съ покорностью творила иконамъ, а потомъ и ей положенные поклоны, становилась у порога и съ опущенными глазами, молча ожидала ея наставлений и приказаній.

Всѣ монастырскія власти, мать-игуменья и мать-казначей, мать-регентъ и мать-секретарь, съ соборными старицами, клирошанками и всякими обительскими подручницами, не знали, какъ нахвалиться Аглаей. — «Это — не малосхимница, а великосхимница!» говорили объ Аглаѣ въ Красномъ-Кутѣ.

Собираясь къ Ульянѣ Андреевнѣ утромъ въ праздники, или въ будніе вечера «посумерничать» да въ тихой бесѣдѣ испить дорогого и душистаго барыниного чайку, съ изюмомъ и мягкими тминными булочками, а не то и съ винцомъ, — суровыя и постныя инокини, мале-по-малу оживляясь, откидывали съ сѣдыхъ лбовъ воскрылія камилавокъ — «платъ, еже имать покрывало, сирѣчь племъ надежды спасенія» — и, утирая платочками вспотѣвшія и раскраснѣвшіяся лица, добрыми отзывами объ Аглаѣ утѣшали нѣжное сердце Ульяны Андреевны.

— Вотъ, сударыня-матушка, — говорили онѣ, перебирая кипарисовыя, терновыя и янтарныя четки и большимъ, мѣрнымъ крестомъ крестясь на богатую, серебромъ и золотомъ въ опочивальнѣ Ульяны Андреевны горѣвшую образницу: — дочь-отъ у тебя — всеѣ нашей обители краса... Ни съ кѣмъ-то она, душевная, не спорить и ни съ кѣмъ-то не сварится. Послушлива къ старшимъ, независтлива, несмутъ-яна и незлоязычна, — а ужъ кротка, кротка! — и о красѣ своей ничуть не думаетъ...

— Ну, гдѣ ужъ тамъ красота! — неохотно отереживалась Ульяна Андреевна.

— Ахъ, нѣтъ. Не говори, матушка, не говори, хороша она, ахъ, какъ хороша!.. На молитву ли станеть; канонъ ли Богородицѣ читаетъ, аки негасимая свѣща по покойнику, стоитъ, не оглянется. Въ рукодѣльной, али за трапезой, — словъ ея не слыхать, точно воробышка подъ дождемъ-непогедою, нахохлѣсь, сидитъ, перынькомъ не поведеть... А какъ въ писаніи притомъ начитана, увы намъ, увы, да и полно! — даромъ что молода.

— Много благодарны за похвалы, не стоить Аглаушка! — съ притворнымъ смиреніемъ кланялась Ульяна Андреевна.

— А голосъ-отъ каковъ у твоей дочери!—не унимались инокини:—запоетъ на клиросъ херувимскую ли тебѣ, «свѣтѣ-тихій» ли,—«да исправится молитва моя» заведетъ, такъ куда тебѣ и мать Флавіана,—весь хоръ, какъ есть, соловушкой покрываетъ... Да вотъ еще: демественному, старогреческому пѣнію обучена... И гдѣ ты, матушка, выхолила, выростила ее такимъ херувимчикомъ, въ такой тихости да святости, середь грѣшнаго міра, такъ ее воспитала?

— У матушки Сусанны въ обители первый наказъ намъ дали!—отвѣчала Вечерѣва.

— То-то, видно, что Богомъ хранимая тамъ обитель,—продолжали старицы:—у насъ не то... Вонъ и старше твоей дочушки, дѣвки наші—Варварушка да Лушенька, а куда имъ! Міръ обуялъ... хи-хи, да ха-ха!.. барабаны въ головѣ... Намедни съ матушка-игуменя ужъ ихъ, пучеглазыхъ-то, за нескромныя рѣчи да за пересмѣшки начала, начала, на поклонны обѣихъ чернохвостницъ за трапезой, при всѣхъ, въ который разъ ставила, стыдила... А твоя... точно мана-тейная... Ну, да чтò и говорить!.. Ужъ и грѣхъ-то любить-ся земною красой, человѣчью персть при жизни возно-сить,—вотъ какой грѣхъ!.. А не утерпишь, не отгонишь искушенія, на твою-то, сударыня, касатку, на бѣлую лебедь, Аглаюшку, гляючи... Ангелъ херувимскій, да и того ей мало...

— Помоги вамъ Господь, Мать-Царица небесная, да ваши привѣты да за ласки!—заклѣвала эти отзывы Ульяна Андреевна:—Аглая у меня дочь, надо правду сказать, добрая и покорная... Одного боюсь, матери, одного: слаба она что-то становится здоровьемъ, да и я вотъ сама, по моимъ грѣхамъ, все хвораю, хилѣю... Охъ, недолго мнѣ прожить съ нею, недолго радоваться на нее. А ужъ чтобъ дожить того счастья, какъ она совѣмъ Христовою невѣстой станетъ, такъ я и не думаю. Сподобится же она этой божеской милости, и я за нею тутъ навѣки остануся...

— Молись, матушка-сударыня, молись: Господь праведныя молитвы услышитъ и сподобитъ тебя дожидаться всего, чего ты себѣ и ей желаешь...

Такъ толковали сердобольныя инокини съ Ульяной Андреевной.

Но не сбылись ихъ утѣшенія. Ульяна Андреевна, перейдя въ новопостроенную келью, прожила въ ней зиму, весну и лѣто, а осенью, въ началѣ второго года своего

пребыванія въ этомъ монастырѣ, простудилась подъ дождемъ и вѣтромъ на похоронахъ игуменьиной тетки, глухой члѣвницы, старицы Платонида, заболѣла горячкой и, несмотря на всѣ старанія дочери, окрестныхъ врачей и всей обители, умерла...

Безропотная твердость и преданность волѣ Провидѣнія, съ какими дочь вынесла эту роковую, неожиданную для всѣхъ потерю, еще болѣе возвысили Аглаю въ глазахъ цѣлаго монастыря. Ея здоровье, начинавшее и безъ того слабѣть, было теперь въ-конецъ потрясено. Тѣмъ не менѣе, она не упала духомъ, не сломилась. Блѣдная, съ выпрямленнымъ станомъ и крѣпко въ похолодѣвшихъ рукахъ сжимая поминальную свѣчу, Аглая молча и безъ слезъ выстояла послѣднія, погребальныя молитвы. Не спуская глазъ съ изможденнаго болѣзнию, суроваго и какъ бы 'кому-то даже изъ за-могильнаго міра грозившаго лица покойной матери, она думала про себя: «Боже, какое горе, какой страшный ударъ! Но, вѣроятно, такъ надо; на то воля свыше»...

Дождавшись мгновенія, когда носильщики, при блескѣ свѣчъ, въ ладонномъ куреніи, собирались наглухо заколотить крышку чернаго гроба, Аглая тихо подошла къ уснувшей родительницѣ, положила передъ нею послѣдніе, прощальные поклоны, обняла ее, вынула изъ кармана ножницы, захватила у себя рукой крупную косму пышныхъ, отроставшихъ волосъ, отрѣзала ее, положила на грудь матери, прошептала: «видишь, видишь, родная? я»... хотѣла еще что-то сказать, но пошатнулась и безъ чувствъ упала на руки подоспѣвшихъ къ погребальному катафалку монахинь.

Смерть матери не нарушила ничѣмъ обычнаго вниманія и добрыхъ отношеній къ Аглаѣ обитательницъ Краснаго-Кута. Напротивъ, ласки игуменьи и остальныхъ иночницъ къ ней, послѣ этого печальнаго событія, даже усилились, хотя она сама этого и не замѣчала. Да и не до наблюденій ей было теперь, въ полной новаго, неисходнаго горя жизненной порѣ...

Вслѣдъ за похоронами матери, она сама такъ занемогла, что прохворала всю осень и часть зимы и окончательно оправилась только къ веснѣ третьяго года своего пребыванія въ монастырѣ.

Жила Аглая въ той же, построенной матерью, кельѣ. Прислуживала ей, по выбору игуменьи, то-есть, убирала ее



и ея комнаты немолодыхъ лѣтъ бѣлица изъ монастырскихъ чернорабочихъ. Эта служба была до крайности хлопотлива и добра, но въ высшей степени безпамятна и даже глупа. Для особой же охраны и для поддержанія въ Аглаѣ рѣшимости навсегда посвятить себя монастырю, вмѣстѣ съ нею, заботами матери Измарагды, была поселена одна изъ старѣйшихъ и смиреннѣйшихъ, инокинь, особо чтимая за чистоту нрава, но страдавшая удушьемъ, мать Асенефа. Заходили, впрочемъ, навѣщать Аглаю, котя урывками, за дѣломъ или въ праздники, и нѣкоторые изъ послушницъ, въ томъ числѣ внучка матери Асенефы, Варварушка, и та самая Лушенька, которая когда-то отъ нея и отъ покойницы ея матери отнесла Ветлугину извѣстные отвѣтныя письма. Обѣ эти бѣлицы, Лушенька и Варварушка, были, какъ и Аглая, клирошанками, то-есть, состояли въ хорѣ, а потому никому и не было въ удивленіе, что, переписывая ноты или разучивая новыя пѣснопѣнія, онѣ заходили къ Аглаѣ и порой по-долгу просиживали у нея.

Съ первымъ весеннимъ тепломъ силы Аглаи стало понемногу, но замѣтно возстановляться.

«Что такъ-то сидѣтъ, взаперти?—разъ въ ясный мартовскій день, подумала она,—пойду, разомнусь».

Благословясь у матушки-игуменьи, она, какъ пчела, вынутая изъ душевнаго погреба, несмѣлою поступью, пошатываясь, направилась въ безлистный и еще пустынный садъ, а оттуда въ рукодѣльную. Бѣлицы, давно не видѣвшія ея и, по обыкновенію, работавшія въ ту пору, — кто восковые цвѣты, а кто фольговныя ризы на образа, — встрѣтили ее ласковою, веселою улыбкою.

— Экъ, глазыньки-то у барышни подтянуло, туманомъ заволокло! — говорили, приглядываясь къ ней, молодыя послушницы: — а бѣды рученьки захудали, щеки осунулись, плечики—что у малаго ребенка запали...

Аглая улыбалась на ласки сестеръ, силилась и съ своей стороны сказать имъ доброе слово, пыталась и сама взяться за общую работу. Но еще силъ не хватало, кружилась голова, и работа падала изъ рукъ.

«Весеннимъ воздухомъ, что ли, пахнуло на меня?» — подумала она и, не спѣша, возвратилась къ себѣ въ келью.

«Добрыя онѣ какія! — разсуждала она, останавливаясь

на крыльцѣ: — но всѣ ли онѣ добрыя? Можетъ-быть, и не всѣ... Да мнѣ-то какое дѣло? Но отчего же онѣ такъ ласкаются ко мнѣ, берегутъ меня, обслуживаютъ мнѣ нарасхватъ?»

Тутъ только, невольно для нея и необъяснимо почему, вспомнилось Аглаѣ, что когда она, сутки назадъ, впервые послѣ болѣзни, вошла къ игуменѣ и, сотворивъ напередъ уставной поклонъ, подошла къ ея благословенію, — въ строгихъ и до того времени всегда къ ней внимательныхъ глазахъ игуменьи блеснулъ какой-то странный и будто враждебный въ ней огонекъ... «Мнѣ такъ показалось!» — подумала она тогда, тѣмъ болѣе, что мать Измарагда, вслѣдъ затѣмъ, какъ бы одумалась и приняла ее отъѣнно-радушно и тепло.

На лицахъ двухъ-трехъ старицъ, подъ надзоромъ которыхъ въ руководѣнной въ то утро работали обительскія послушницы, Аглая также примѣтила нѣкую особую, дотошъ невиданную ею черту. Эти лица будто говорили: «Да, вотъ она, богатенькая!.. Какъ ее встрѣчаютъ и величаютъ... Посмотримъ, однако, долго ли будутъ тебя пестовать, да чествовать?..»

И протянулось это, дѣйствительно, недолго.

При жизни матери Аглая не знала, какъ отдѣлаться отъ общихъ, охотно предлагавшихся ей услугъ. Ей и шубку на плечи, при выходѣ отъ матушки Измарагды или съ церковной службы, накидывали, и теплые сапожки надѣвали ей на ноги, во время великопостнаго всенощного стоянія на холодномъ церковномъ полу. Она видѣла эту заботливость и это вниманіе, и они ее не тяготили. Теперь было не то. Правда, хилой и слабой Аглаѣ приносили особо изготовленные кушанья; по два раза на день Лушенька и Варварушка забѣгали къ ней отъ игуменьи узнать о ея здоровьи; дворовыя служки усыпали у ея крыльца пескомъ, и пушистый игуменьинъ коврикъ не разъ подстилался ей въ церкви на клиросѣ. Но во всемъ этомъ, невѣдомо ей самой — почему, сказывалось что-то подозрительное и неискреннее. — «Да, вѣдь, онѣ охотно же все это дѣлаютъ!» — упрекала она себя, — не онѣ, а я, неблагодарная, гордая, не искренна... — И Аглая давала себѣ клятву: быть еще добрѣе и достойнѣе расточаемыхъ ей ласкъ.

— Ты, матушка-барышня, въ сорочкѣ, видно, родилась, —

говорила ей ея сожительница, мать Асенефа: — тобою здѣсь не надышатся, на тебя не наглядятся.

И въ самомъ дѣлѣ: суровая купеческая вдова, мать Аноія, несла ей кринку свѣжаго, густого молока отъ игуменьиной коровы; зубастая и всѣхъ бранившая новая ключница, старица Еликонида, несла лукошко грибовъ, кѣмъ-то подаренныхъ настоятельницамъ, или миску яицъ изъ-подъ собственныхъ Еликонидаиныхъ хохлатокъ. Аглая щедро всѣхъ отдавала, но тѣ отъ ея подарковъ отказывались.

«Что за притча!» — думала она и не находила разгадки своимъ сомнѣніямъ.

— Отчего онѣ ничего отъ меня не берутъ? — спросила она какъ-то свою прислужницу.

— Сама заказала!.. матушка-игуменья! — простоудушно отвѣтила работница.

— Но отчего же? развѣ я зачумленная какая?

— Махонькаго не возьмутъ, больше, гляди, сташишутъ! — во весь ротъ осклабясь, сболтнула глупышъ-работница.

«Искушеніе! искушеніе! — творя крестныя знаменія, шептала Аглая, — вѣрно, такъ слѣдуетъ меня смущать... Надо покориться, надо терпѣть»... Она клала земные поклоны, усердно молилась и старалась не думать о томъ, что видѣла и слышала.

Дни шли за днями. Силы Аглаи возстановились. Она понемногу опять вошла въ отправленіе положенныхъ уставовъ и обрядовъ. Но прежнее спокойствіе къ ней уже не возвращалось. Вопреки собственному желанію, она съ каждымъ днемъ пристальнѣе взглядывалась въ окружающее. «Да что же это значить? — безпрестанно спрашивала она себя, — Господи! дай мнѣ силу побороть мои сомнѣнія, мои грѣшныя мечты!..» Сомнѣнія и странныя, дикія грѣзы то-и-дѣло приходили ей на умъ.

Стоя на клиросѣ, или, по очереди, за трапезой читая вслухъ положенный канонъ, она пугливо взглядывала по сторонамъ, тихо крестилась и старалась сообразить, гдѣ она и что съ нею?.. Да неужели она, въ самомъ дѣлѣ, находится въ этомъ монастырѣ? И неужели все то, что говорилось, читалось и дѣлалось въ немъ, — исполнялось по обѣту Господа, для врачеванія и спасенія души?..

«Царство Мое не отъ міра сего...» раздавались въ ухахъ Аглаи слова Спасителя. А между тѣмъ эта огражденная

каменной стѣной, суровая и строгая обитель, это «тихое пристанище» немолчныхъ молитвъ, покаянія и поста, какъ убѣдилась Аглая, быть тотъ же міръ, то же поприще соблазновъ и всякой житейской суеты. Она глядѣла вокругъ себя и не вѣрила своимъ глазамъ; прислушивалась къ будничному говору и къ толкотнѣ обители и не вѣрила своимъ ушамъ.

«Что пришла еси и чего ищешь здѣсь?» — спрашивалъ, въ присутствіи Аглаи, вновь принимаемыхъ инокинь постригающій духовникъ. — «Житія смиренного и постнаго, спасенія отъ міра и грѣховъ его ищу!» — отвѣчали постригаемые черницы. Выходило же наоборотъ. Препоясавшія свои чресла силою высшей истины, во умерщвленіе грѣшной плоти, — служили той же плоти, какъ и остальные міряне. Давшія тяжкій обѣтъ «злопострадати за Христа» и, какъ онѣ древніе подвижники, «алкати, жаждали и нагствовать, до послѣдняго часа, во имя Его», — сытно ѣли, сладко пили и одѣвались не только въ теплыя, но даже въ изысканныя одежды, не хуже прочихъ мірянъ.

Чтобы не видѣть этого, Аглая въ свободные часы чаще и чаще записалась въ своей кельѣ и молилась, либо читала вслухъ старецъ Асенефъ «Письма Святоторца», или сказанія о подвигахъ Антонія великаго и Θεодосія Печерскаго. Но та же хвора, вѣчно кашляющая мать Асенефа выслушиваетъ ее, подопретъ лицо кулачкомъ и, зѣвнувъ, начинаетъ жаловаться на оскуднѣніе достатковъ и доходовъ монастырской казны. — «Миновали красные годы! вымерли знатныя печальницы да вкладчицы нашей честной обители! — причитываетъ, перебирая четки, старая Асенефа, — была генеральша Асавулова, да купчиха Караулова... Каждый годъ покойная настоятельница, мать Назарета, да по началу и новѣшныя игуменьи, получали въ даръ отъ нихъ то деньги, то цѣлые обозы со всякими припасами, съ хлѣбомъ, съ рыбою и бакалеей. А теперь, какъ померли тѣ радѣльницы, оскудѣла наша трапеза, божьими сиротами мы стали... Ни уха со сняточками да съ малосольной бѣлужинкой, ни зернистой икры, ни пироговъ съ вязигой да съ осетровыми молоками... Ахти-хти!.. надоѣли, барышня, оладьи да грибки, охъ, надоѣли! когда бъ рыбки намъ, али балычковъ!»

— Да вѣдь ты грѣшныя мысли мыслишь, — говорила на

это своей сожительницѣ Аглая: — развѣ такъ жили отшельники въ старину? Ты жъ сама говорила мнѣ, какъ ихъ тѣло отъ глада, молитвъ и труда бдѣннаго просвѣтило во тьмѣ...

— То, сударыня, было вѣна когда. Мы — не египетски и не ливійски пустынники... До Харитонія Ферранскаго да до Макарія Александрійскаго намъ далеко... А попрекать тебѣ меня, старуху, и не слѣдовало бы, вотъ что! Одно — грѣхъ, а другое и стыдно. Я и сама, раба, знаю, какъ и что...

Разъ, — былъ уже апрѣль на дворѣ, — Аглая отворила окно въ садъ, съ цѣлью подышать свѣжимъ воздухомъ. А на заваленкѣ, невдали отъ ея спальни, сидѣли и не примѣтили ее двѣ строги «манатейныя старицы», мать Евстолія и мать Эмерентіана. Онѣ спорили въ это время о томъ, сколько денегъ въ послѣднюю дѣлежку, изъ кружекъ, досталось на долю каждой изъ нихъ. И въ окно, противъ воли Аглаи, стали отчетливо долетать задорныя слова неподатливыхъ въ спорѣ старицъ.

— Я жъ тебѣ говорю, что такъ! — увѣряла, сердясь, мать Евстолія.

— А я говорю, вовсе не такъ! — перебила ее мать Эмерентіана.

— Да ты, матушка, ошалѣла, что ли? — сверкая злыми, бѣгавшими глазами, восклицала первая: — вотъ, я-те, грабительку, на весь міръ обнесу...

— Не я ошалѣла, а ты! — задвигавшись по заваленкѣ и размахивая рукавами рясы, не отступала вторая: — ты съ христопродавицей, съ прежней-то игуменьей, святымъ духомъ, что горохомъ, привыкла торговать. Оттого всѣ у тебя и грабительки, да утайщицы монастырской казны...

— Что? что?..

— А то, что ты будь довольна часовеннымъ да колодезнымъ сборомъ, а лапшъ своихъ въ соборныя кружки не суй... Рыло не чисто... Была бы я игуменьей, задала бы тебѣ на орѣхи-то...

— И, матушка, — заключила Евстолія: — не всякъ игумень, кто звонюкъ, какъ бубенъ... И чортъ на старости въ монахи пошелъ, да, слышь, не приняи...

«Боже мой, Боже! я ли это слышу? съ нами крестная сила! искушеніе!» — крестясь и въ ужасѣ закрывая окно, шептала Аглая.

Искушение!.. Но оно повторялось на каждом шагу, и во всем и всюду смущало и преслѣдовало Аглаю.

Сидѣла ли она за трапезой и въ свой чередъ слушала чтеніе очередныхъ монахинь, отъ аналоя раздавались слова покаянія и отчужденія отъ грѣховъ, а сидѣвшія близъ нея бѣлицы весело шушукались, пересуживая старую и кровную распрю матери-казначей съ продавщицей свѣтъ, матерью Проклой, или рассказывая о смѣхотворной схваткѣ и даже объ обоюдномъ тасканіи за волосы старшей садовницы, старицы Максимиллы, и ея помощницы, румяной и дебелой бѣлицы Параньки.

Послѣ обѣда Аглая читала вслухъ матери Асенефѣ изреченія суровыхъ подвижниковъ, вѣщавшихъ своимъ ученикамъ: «Прощедшій съ женою поприще единъ, отлучается на семь дней». А едва Асенефа, крестясь, зѣвая и охая, уходила на лежанку, въ свою боковушку, — къ Аглаѣ врывались Варварушка и Лушенька. Внося въ пахнущія ладаномъ комнаты запахъ свѣжаго и весенняго вечера и ликование дышавшихъ молодостью, румяныхъ лицъ, — вѣтренныя зубоскалки затягивали унылую пѣсню:

«Не спасибо те, игумну тебѣ,  
«Не спасибо те, безсовѣстному,  
«Молодешеньку въ монашенки постригъ,  
«Зеленешеньку восхитилъ мене...»

— Полно вамъ, полно! — останавливала ихъ, покашливая изъ-за перегородки, Асенефа: — цыцъ вамъ, оглашенные!

Но веселія бѣлицы не унимались. Онѣ рассказывали Аглаѣ соблазнительный случай съ кѣмъ-то изъ мірянъ, поспѣтившихъ въ послѣднее время монастырь, или о только-что перехваченномъ любовномъ письмѣ нѣкой тихой и вѣчно молчаливой послушницы Софьюшки.

— А еще инокинями, непутныя, зоветесь! — стыдила ихъ изъ-за перегородки Асенефа: — вотъ я матушкѣ Измарагдѣ расскажу.

— Пошла дѣвка въ монастырь, охъ! да много холо-  
стыхъ! — вздыхала, уходя отъ Аглаи, рѣзвая и бойкая внучка той же Асенефы: — а вы, баунька, лучше молчите... курятинку ѣли въ Богородичномъ...

«Нѣтъ, этого быть не можетъ! — говорила себѣ Аглая: — онѣ шутятъ, клепятъ на себя... Такъ невозможно... А если не шутятъ?»

Зашла какъ-то Аглая въ прачешную.

Тамъ въ это время, въ большихъ плетеныхъ корзинахъ, лежало вымытое и только-что выглаженное бѣлье щеголявшихъ одѣянiемъ, еще нестарыхъ и нѣкогда красивыхъ матери-казначей и матери-регента. Цѣлые вороха тонкихъ голландскихъ сорочекъ, обшитыхъ кружевами кофты, батистовыхъ платковъ и узорныхъ утиральниковъ красовались на столахъ, среди суетившихся и охавшихъ съ горячими утюгами монастырскихъ прачекъ.

«Я — новопоставленная, еще не совсѣмъ монахиня, да, наконецъ, имѣю и богатаго отца! — изумлялась Аглая, — а онѣ? онѣ, давшія обѣтъ опоясыванiя вервѣмъ и ношенiя власяницы? Что же это, въ самомъ дѣлѣ? И имѣю ли я право осуждать? Могу ли и смѣю ли видѣть то, чего нельзя не видѣть? И какъ забыть примѣръ мученицы Евгенiи, не принявшей принесенныхъ ей въ даръ на обитель серебряныхъ сосудовъ?»

Немало смущала Аглаю и нѣкая полковница Молокитина, въ монашествѣ Агриппина. Высокая, худая, со впалыми щеками и плечами, страстная и блѣдная тридцатилѣтняя вдовушка, Молокитина безъ умолку бредила о любви. Молилась она по-русски, любовныя грезы и сны рассказывала по-французски. Встрѣтитъ гдѣ-нибудь Аглаю, или зайдетъ къ ней поправить прическу, одежду, страстно сожметъ ей руки и начинаетъ шептать жалобы. Чаще всего Агриппинѣ снился странный, глубоко волновавшiй ее сонъ о какихъ-то пѣтухахъ. — «Придутъ это они, ма-шеръ, — шептала она, — придутъ пятеро и смотреть съ порога... Въ яркихъ перьяхъ, огромные и съ такими хвостами и глазами... Что вамъ нужно? молю ихъ: que voulez-vous? — А они смотреть и не отходить всю ночь, пока изною въ страхъ и въ тоскѣ...»

Томимая сомнѣнiями и печалью за слабый, грѣшный мiръ, Аглая долго противилась искусу прямого обвиненiя. «То — другiя, — рассуждала она, — не игуменья, не мать Измарагда! Мало ли какiя вольности могутъ тайкомъ позволить себѣ лица подначальныя, вторыя. Она одна на высотѣ обѣта, одна, какъ перль, недосыгаемо блистаетъ въ этой средѣ...» Аглая вѣрила въ правдивую и гордую нравомъ настоятельную, горячо любила ее и чтילה. Но скоро и въ ней, строгой и гордой, она сильно разочаровалась.

Мать Аглаи успѣла сдержать только часть обѣщанiй,

данныхъ монастырю. На деньги, вырученныя отъ продажи ея приданой вотчины, с. Пряжина, она выстроила келью. Сверхъ того, по условію съ опекуномъ мужниного имѣнія, она обязалась ежегодно, на жизнь свою и дочери, вносить определенную помощь и отъ доходовъ съ Дубковъ, что до ея смерти и выполнялось. Но едва она умерла, Ключковъ сообщилъ игуменьѣ, что дѣла имъ опекаемыхъ пошатнулись, что доходовъ почти нѣтъ и что всѣ они тратятся на лѣченіе и на приличное содержаніе Кирилла Григорыча. Условныя пособія высылать онъ пересталъ, а если и высылалъ, такъ небольшими частями, да и то, когда ему вдумается.

Аглаѣ этого не сообщали, зная, что, пока живъ ея отецъ, она здѣсь ни причесть. Отъ нея, по возможности, даже скрывали безнадежное и тяжкое положеніе, въ которомъ находился Кирилло Григорычъ. Боялись, чтобъ она и остальныхъ средствъ, высылаемыхъ опекой въ монастырь, не обратила на его излѣченіе. — «Я теперь — круглая сирота, — размышляла она, — что съ того, что живъ отецъ?.. Онъ, бѣдный, пока — тотъ же покойникъ... Его оберегаютъ, лѣчатъ. Опекуны пишутъ, что онъ ни въ чемъ не нуждается, что скоро поправится... И слава Богу... а я?» Слезы душили Аглаю. «Я — дикая, неласковая и застѣнчивая, — кому я мила и дорога?.. Что, если меня разлюбятъ и игуменья? О! какъ я порочна и полна грѣховъ... Боже! дай мнѣ силы сохранить къ себѣ расположеніе этой высокой, этой достойной женщины!»

Какъ-то, въ концѣ апрѣля, вышла Аглая въ садъ. Ей хотѣлось взглянуть на выставленныхъ изъ погребѣ своихъ пчелъ. Сюда, на грядки огорода, была послана гурьба обрадованныхъ теплу бѣлицъ. Надзиравшая за ними инокиня, мать Ангелина, прикрывъ отъ вѣтерка и солнца платочкомъ лицо, спала подъ заборомъ. Работницы также отдыхали. Сидя подъ гудѣншею отъ пчелъ и только-что расцвѣтшею яблоней и не примѣтивъ появленія Аглаи, онѣ судачили о томъ-о-семъ и, между прочимъ, — почему такъ скучна съ недавняго времени матушка-игуменья?

— Какъ ей не печалиться, — говорила одна изъ бѣлицъ, расчесывая у себя на колѣняхъ густые, русые волосы другой: — приняли эту барышню-бѣлоручку, ждали отъ нея бо-



гатаго взноса въ обительскую казну, а та затесалась сюда, да и ухомъ не ведеть...

— Что ты, что ты! — остановила рассказчицу Варварушка.

— Какъ что? давеча мать-игуменья твоей же старой, что отрёзала? Долго ли, говорить, ты съ нею возжаться будешь? Пора и честь ей знать, — скажи, чтобъ вносила вкладъ...

«А! такъ вотъ что! — подумала, прячась въ калитку и стора я отъ стыда Аглая, — вотъ разгадка ихъ ласкъ и вниманія. Завтра же пошлю за Ключковымъ и потребую отъ него присылки вклада».

Ключковъ, по зову прѣхаль, насказалъ Аглаѣ съ три короба любезностей, снова утѣшилъ ее насчетъ отца, но въ деньгахъ отказалъ. «Вы, сеструнька, отреклись отъ міра, да и имѣніе не ваше, а вашего отца, — говорилъ Петръ Ивановичъ, — опека не признаетъ подобнаго расхода! Да и что я отвѣчу Кириллѣ Григорьичу, какъ онъ, дастъ Богъ, придетъ въ себя? Будете вы на моемъ мѣстѣ, и вы бы такъ поступили...»

«Хорошо же, — рѣшила Аглая: — пусть меня осуждаютъ, пусть на меня клеветуютъ! Я не поддамся и другимъ покажу примѣръ». Она такъ и поступила, — строго блюла всѣ монастырскіе уставы и, рядомъ съ послѣдними служками, не отставала отъ общихъ обительскихъ работъ, лѣпила восковые цвѣты, переписывала крестьянамъ молитвы, кроила, гладила, шила и даже подчасъ, какъ послѣднія послушницы, носила въ келью игуменьи воду и дрова.

#### XXXIV.

### Искушенія.

Въ прежнее время Аглая была рада въ свободное время подѣсть къ окошку или къ растопленной печи и помечтать о прошломъ, о быломъ. Теперь не то. Отрадныя, тихія грѣвы перестали ее посѣщать. Она была неспокойна. Да и гдѣ быть душевной тишинѣ. Къ Аглаѣ чаще и чаще начали доходить пересуды о ней самой. Досужіе языки, не стѣсняясь, распускали про нее разные слухи.

То говорили, будто она свѣтскія книги, какой-то романъ «Любовь мертвеца» читаетъ. Старица Асенефа, вѣроятно, по порученію игуменьи, въ отсутствіе ея, перерыла у нея всѣ шкапы, комоды и сундуки. А сама мать Измарагда за

трапезой прочла всѣмъ послушницамъ, по этому случаю, строгое и назидательное внушеніе.

Потомъ кто-то пустилъ молву, что барышня Вечерѣва помадится и держить у себя тайкомъ въ шкатулкѣ дорогія притиранія и духи. Новый рядъ иносказательныхъ насмѣшекъ и новый, обидный и бросившій ее въ горькія слезы обыскъ.

«Надо терпѣть, терпѣть, надо все, даже несправедливыя нападки безропотно и твердо переносить! Мать-Царица небесная, укрѣпи меня!»—говорила себѣ Аглая, съ удвоенною силою кладя поклоны и ожидая, что вотъ-вотъ, впереди, для нея настанетъ нѣкое свѣтозарное утѣшеніе, и она будетъ вознаграждена за все...

Она старалась молиться. Это было ея единственнымъ утѣшеніемъ. Но и молитвенный жаръ вскорѣ сталъ ее покидать. Запершись въ спальнѣ, она, блѣдная, съ исхудалымъ лицомъ и съ заплаканными, покраснѣвшими отъ слезъ глазами, задегивала занавѣсы окна, зажигала передъ кѣотомъ лампаду, опускалась на колѣни и шептала, шептала усердныя, неотступныя, горячія молитвы.

Но что это?

Стучать въ наружную дверь. Видно, мать Асенефа возвратилась отъ внучки изъ общихъ келій. Надо ей отпирать. Нѣтъ, это не Асенефа. Прикрывшись платкомъ съ надворья, вбѣгаетъ къ ней дышащая здоровьемъ и силой, статная Лушенька. Что съ ней, быстроокой и пылкой? И что она, непутная, шепчетъ, бросаясь къ Аглаѣ на шею? Смѣется ли, плачетъ ли она? Горе или свою радость хочетъ ей налить?

— А ты, барышня, опять за слезами да за молитвой?—раскраснѣвшись, затуманенными, страстными глазами вскринула полногрудая Лушенька:—брось, милая, брось! а ты отдохни!.. Али и вправду, сударушка, страха ради іудейска, извести себя такъ-то, безъ толку, хочешь? Спихватился монахъ, анъ смерть въ головахъ...

— Говори, Лушенька, что тебѣ надо? — нетерпѣливо, но дружески, запирая двери, спросила ее Аглая.

— Какъ что?.. Нешто не въ примѣту, не видишь?.. Весна проходить, маю скоро конецъ. Мать-Царица Господня! Весело таково... Изъ саду бы не вышла... Въ лѣсу дѣвки деревенски... парни пѣсни поютъ. Обозы на ярманокъ день-денской подъ горою идутъ,—за воротами гомонъ подводчи-

ковъ, бубенцы звенять. А мы тутъ-то сиднемъ сидимъ, ва-  
перти вянемъ... Эхъ, дѣвка! Ышь съ голоду, люби смолоду;  
любить не люблю, отказать не могу... Слушай, барышня:  
убѣжимъ...

— Куда?—въ ужасъ спросила Аглая.

— Жизнь распроклятая! скука анаѣемская! ахъ, да и  
скука же, скука! — колотясь головой о столъ и заливаясь  
слезами, вскрикнула Лушенька: — что глядишь? Нешто не  
знаю, не помню, какъ твой-то ясный соколъ сюда налетать,  
какъ отъ него я тебѣ записку носила?

— Какой соколъ? что ты говоришь? не стыдно ли тебѣ?

— Мнѣ стыдно? мнѣ? — сверкая блуждающими глазами,  
продолжала Лушенька:—охъ! коли бы у меня въ мошнѣ да  
деньги, ни на что бы, кажись, я не поглядѣла. Ушла бы,  
какъ есть, въ слободку, наняла бы повозку у мужика, да  
и уѣхала бы къ нему...

— Къ кому?—мертвѣя отъ ужаса, спросила Аглая.

— Не къ твоему, не къ твоему, не бойся. Къ чиновнику  
Суркову... Что глядишь? Нешто не знаешь? Милъ да любъ,  
такъ и будетъ мнѣ другъ, вотъ что... Любящихъ, барышня,  
и Богъ любить... А ужъ красавецъ-то какой!.. Видѣхъ его,  
сатану, аки молнію съ небесъ спадша, видѣхъ! да лобжетъ  
меня, яко опали меня солнце!—въ забытыи шептала безумная  
Лушенька:—только нѣтъ! видно, онъ—обидчикъ... Божился,  
лоботрясъ треклятый!.. Какъ только, говорить, получу мѣсто  
въ конторѣ, такъ и приѣду, и тебя, говорить, Луша, возьму...  
Что же ты, анаѣема, не ѣдешь? Что-жъ, иродова душа твоя,  
въсточки о себѣ не подаешь? Лучше со львомъ али съ  
тигромъ жить, чѣмъ съ совратителемъ души... Ахъ, смерть-  
тоска!... Топнехонько, барышня, топнехонько... Изныло  
сердце, истомили горячія слѣзы... И прости ты меня, суда-  
рыня, за мои глупыя слова, да за искушеніе... А не ска-  
зать про то, не облегчить души, такъ лучше камень на  
шею, да въ воду...

Лушенька, однако, не утопилась.

Въ теплую и тихую, полную душистой мглы іюньскую  
ночь, она неожиданно для всѣхъ исчезла изъ монастыря.  
Чиновникъ ли сдержалъ слово и за нею тайкомъ наѣзжалъ  
изъ города; сама ли она, списавшись съ нимъ, сбѣжала къ  
нему,—только, незадолго до разсвѣта, въ оврагѣ по взгорью  
мелькнула какая-то тѣнь, по камнямъ подъ обительской го-

рой чуть слышно прогремѣли чьи-то колеса и шибко прозвучали копыта рѣзвыхъ лошадей. Игуменьиной келейницы, Лушеньки, въ обители не стало.

Наутро бросились ее искать. Весь монастырь поднялся на ноги. Шарили по кельямъ, сараямъ, въ церкви и въ окрестномъ лѣсу. «Вѣрно, проваляемъ ушла!» — рѣшили въ обители, найдя кухонную лѣстницу за садомъ, у монастырской стѣны. Смятенію игуменьи не было предѣловъ. Но вскорѣ матери Измарагдѣ было суждено испытать новую бѣду.

Вслѣдъ за бѣгствомъ Лушеньки, въ городѣ, въ какомъ-то трактирѣ вышла исторія съ двумя рясофорными прислужниками, ходившими неразлучно по градамъ и вѣсямъ для сбора на обитель. Въ монастырѣ передавали шепотомъ, что ихъ накрыли — страхъ и сказать! — въ иноческомъ одѣяніи, въ винной гульбѣ съ гусарами... А черезъ мѣсяцъ, неизвѣстно куда, исчезла молчаливая и тихая Софьюшка, о перехваченной любовной перепискѣ которой передъ тѣмъ толковали цѣлые полгода и отсутствіе которой, на первыхъ порахъ, богѣ сутокъ даже и не замѣтили. Монастырскія прачки, спустясь къ рѣкѣ полоскать бѣлье, нашли у берега ея всплывшее тѣло: Софьюшка утопилась... Вѣрно, такъ на роду ужъ ей было написано: при прежней игуменьѣ случилось несчастье и съ ея матерью. Ту, вмѣстѣ съ другою монахиней, съ которою мать Софьюшки возвращалась съ поѣдки за сборами по добрымъ людямъ, какіе-то бродяги въ лѣсу ограбили и зарѣзали...

Всѣ эти случаи навели такой переполохъ и такую огласку на обитель, что ея власти растерялись. Сперва щеголиха мать-казначей, запросто парой, въ телѣжкѣ, а потомъ и сама мать Измарагда, въ скромной кибитченкѣ монастырскаго попа, ѣздили въ губернской городъ, гдѣ объяснялись и отписывались и, какъ было слышно, едва-едва успѣли отвратить отъ обители сильный гнѣвъ грознаго и неослабнаго во взысканіяхъ начальства. Даже въ газетахъ что-то печаталось объ этомъ монастырѣ. А секретарь консисторіи, на вопросъ своей жены: «отчего ты, Игнаша, такъ долго держишь матушку Измарагду? Пора и честь знать! сколько она, сердечная, намъ перетаскала!» — отвѣтилъ: — «держу? ну, пусть еще Бога милосерднаго благодарить... Другой бы и паллій, и парамандъ, и клобучекъ съ нея, за эти всѣ дѣла-то, стянуть бы...»

Слушая тревожные толки матери Асенефы и другихъ инокинь объ этихъ происшествіяхъ, Аглая старалась скорѣе забыть объ этомъ и думать о другомъ. И никогда, ни прежде, ни послѣ, такъ горячо и такъ долго она не молилась, какъ въ тѣ дни, когда обитель ходенемъ-ходила отъ неожиданныхъ, падавшихъ на нее золь и бѣдъ.

Молилась...

Но развѣ это были тѣ давнишнія, такъ освѣжавшія и такъ поднимавшія ея душу молитвы? Чтѣ теперь онѣ выражали для нея? Кладя несчетные земные поклоны и по нѣсколько мгновений не отрываясь отъ пола и лежа на немъ крестомъ, она старалась взывать къ Богу о терпѣнии, о силахъ и твердости въ поднятыхъ ею отшельническихъ трудахъ, — а ей вспоминался онъ... онъ, далекій, несравненный, правдивый и когда-то ею желанный...

Она вставала, выпрямлялась, устремляла испуганные, отчаянные взоры на ярко горѣвшіе въ богатомъ кіотѣ лики святителей, — а оттуда, изъ серебра и золота, сквозь стекло, на нее смотрѣли ея ласковые, просящіе любви и отвѣта глаза, рисовалось ея, обрамленное темнорусой бородкой, загорѣлое и мужественное лицо... Она шептала канонъ святителю Антонію отъ навожденія нечистыхъ помысловъ, отъ искушеній сатаны, — а ей сами собой припоминались стихи поэта:

«Святымъ захочетъ ли молиться,  
А сердце молится ему».

Ему и ему... Аглая гнала отъ себя набѣгавшія страстные воспоминанія и соблазнительныя, щемившія душу картины минувшаго, — изнемогала, боролась, томилась. Она клялась отречься отъ жизни, отъ своей души, а въ травѣ книшѣли муравьи, букашки, въ воздухѣ стояли стонъ и звонъ отъ птичьихъ криковъ и пчелъ. И никому, ни одной душѣ она не открывала своихъ помысловъ, въ гордомъ одиночествѣ молча и безропотно переносила непрестанныя, терзавшія ее муки. Въ бессонныя, темныя ночи, въ слезахъ и въ безумной, отчаянной тоскѣ, она ломала руки, зарывала голову въ подушки и, тихо восклицая: «искушеніе! искушеніе! Боже, отжени его отъ меня!» — на нѣсколько мгновений забывалась чуткимъ, тревожнымъ сномъ.

Неотвязчивыя, палившія душу дорогія черты уходили далеко... Но опять, точно звукъ трубы, раздавалось въ ея

ушахъ: «встань и смотри...» Она вставала въ томленіи и въ бреду, раскрывала испуганныя, лихорадочно блуждавшіе глаза, устремляла ихъ въ темноту, и тѣ же страстныя грезы, тѣ же обаятельныя жгучія мечты проносились передъ нею, мучили и чаровали ее.

Она припоминала имена угодниковъ Божіихъ, мученицъ Оиванду и Евфразію, свое дѣтство, бабушку Сусанну, совѣты матери,—ничто не помогало... Закрывала глаза, но опять...

«Во мракѣ ночи

«Предъ нею прямо онъ сверкалъ,

«Неотразимый какъ книжалъ...»

«Пропронусь у игуменьи въ Парасковѣевѣ скитѣ; наши собираются туда»,—говорила себѣ Аглая.—А между тѣмъ, чтобы хоть нѣсколько избавиться отъ неотступныхъ, мутившихъ ее голову помышлений, она давала себѣ слово, въ наказаніе и ободреніе себя, не пропускать ни одной церковной службы, и ежедневно безъ ропота, до изнеможенія силъ выстаивала всѣ раннія и позднія обительскія служенія. При молитвенныхъ возгласахъ «о сущихъ въ морѣ и далече», она старалась вспоминать не Ветлугина, а какую-нибудь изъ монахинь, странствовавшихъ въ то время за сборами на монастырь. Наконецъ, въ этомъ же третьемъ году своего пребыванія въ монастырѣ, Аглая, кромѣ великаго поста, говѣла еще въ петровки и въ спасовки и готовилась снова говѣть осенью, въ филипповки.

Старица Асенефа ума не могла приложить, откуда у этой худенькой, блѣдной и неподатливой на слова ея сожительницы набиралось столько подвижническаго рвенія. «Если капиталовъ немного отъ барышни Вечерѣвой поживится наша обитель,—говорила о ней игуменьѣ Асенефѣ:—такъ примѣромъ своимъ она наверстасть... Глядячи на нее, и другимъ, матушка, по-неволѣ будетъ завидно; молода и такъ угодна Богу...»

Измарагду, впрочемъ, это не очень утѣшало.

Прошло лѣто и наступила новая осень. Кончилась вторая недѣля филипповокъ.

Особенно усердно молясь, простояла эти недѣли Аглая передъ чтимою иконой Покрова, на правомъ клиросѣ, и уже собиралась, улучивъ время, сходить къ матери Измарагдѣ и, сотворивъ передъ нею уставный поклонъ, испросить у

нея благословеніе на приступъ къ новому, добровольно принятому подвигу говѣнія. Съ началомъ осени Аглая стала какъ-то бодрѣе, лучше спала и, вообще, чувствовала себя нѣсколько спокойнѣе и легче... Онъ... Да! къ ея радости,— онъ уже болѣе мѣсяца не вспоминался ей ни на яву, ни во снѣ. Взглядывая иной разъ въ зеркало, она нехоти разсматривала свое исхудалое, вытянувшееся и, казалось ей, окончательно некрасивое лицо, сухіе и строгіе глаза, и была рада, что она подурнѣла. «Ну, теперь, если бы онъ и увидалъ какъ-нибудь меня, — думала она, — то, навѣрное, отвернулся бы».

Было ясное, еще безснѣжное, съ легкимъ морозцемъ ноябрьское утро. Пробыло шесть часовъ. Мать-казначей только-что возвратилась съ покупками изъ города. Инокینی и бѣлицы, выйдя отъ заутрени, оживленною гурьбой окружали ея подводу и наперерывъ разспрашивали ее о городскихъ новостяхъ.

— А къ тебѣ, матушка Максимилла, да еще къ барышнѣ Вечерѣевой, письма изъ города, — сказала мать-казначей: — гдѣ-ста она? Барыня Фокина, что ли, къ ней пишетъ... сама отдала письмо...

— Да вонъ она, — указывая на Аглаю, отвѣтила одна изъ бѣлицъ.

«Какъ я рада, какъ рада, — думала Аглая, — больше двухъ мѣсяцевъ Фросинька молчала... Какъ-то имъ живется?»

Она распечатала письмо и чуть его не выронила. Все спуталось и закружилось передъ Аглаей: мать-казначей, Варварушка, мать Асенефа и Максимилла, ярко освѣщенный уголь церкви, келья игумены и лица прочихъ инокинь и бѣлицъ, стоявшихъ въ углу двора.

Боясь оглянуться, какъ бы кто не замѣтилъ быстрой перемены въ ея лицѣ, она выдержала себя, нѣсколько мгновеній молча постояла въ толпѣ, опустила письмо въ карманъ рясы и, не слыша подъ собою ногъ, сперва тихо, а потомъ, за угломъ церкви, почти бѣгомъ пустилась въ свою келью.

«Рука не Фросиньки, не ея... — пронеслось въ мутившейся головѣ Аглаи, — его, безумнаго, рука! его!.. я узнала!..»

Она страшно испугалась и вмѣстѣ съ тѣмъ обрадовалась. Асенефы въ это время не было въ ея кельѣ. Ветхая старуца «стомаха ради», еще стояла вмѣстѣ съ другими у под-

воды матери-казначей, любуясь кузовками да кадочками, ящиками да корзинами, со всякою навезенною на потребу обители снѣдью. Аглая наскоро, дрожащими руками, накинута на крылечную дверь желѣзный крюкъ, обѣжала всѣ комнаты, удостовѣрилась, что дѣйствительно въ то время въ ея кельѣ не было ни души, вошла въ спальню, бросила шапочку и, ухватясь за сильно бившее сердце, сѣла на постель.

Нѣсколько мгновеній Аглая была недвижима. Взглянувъ на кюль, она снова раскрыла письмо, безъ остановки, жадно бѣгавшими глазами прочла первыя строки, остановилась, перевела дыханіе и до конца прочла то самое письмо, которое незадолго передъ тѣмъ написалъ и переслалъ ей черезъ Фокину Ветлугинъ.

«Какъ!..—вскрикнула она, дочитавъ и опять, въ другой и въ третій разъ, принимаясь читать это письмо: — онъ рѣшился, осмѣлился обратиться ко мнѣ съ такими укоризнами, ко мнѣ, его забывшей и навсегда отказавшейся отъ него? Какое разсчитанное, какое глубокое и недостойное его оскорбленіе!»

Аглая плакала, ломала руки, падала головой на столъ и въ отчаяніи повторяла: «Боже мой, Боже! да за что же такія испытанія? за что эта новая, неожиданная казнь?»

Болѣе часа Аглая просидѣла въ слезахъ. Старица Асенефа не возвращалась. И ни къ кому въ эти мгновенія Аглая не чувствовала такой ненависти, какъ къ Ветлугину, и никто ей, въ это же время, не казался такъ дорогъ, какъ тотъ же, такъ безпощадно осуждавшій ее Ветлугинъ...

«Гдѣ-то онъ теперь, укоряющій, ненаглядный, далекій?—склонясь головой на руки, размышляла Аглая,—и зачѣмъ я о немъ, безумная, думаю? Зачѣмъ вызываю въ памяти то, что было и давно прошло? О, какъ я порочна, и сколько во мнѣ пагубной, грѣшной суеты! Онъ вспомнилъ меня, но забылъ... Боже, одинъ человѣкъ на свѣтѣ, одинъ меня полюбилъ и могъ спасти, и тотъ теперь отрекся отъ меня... Иначе и быть не могло... Такому человѣку, какъ онъ, любить и въ то же время не уважать невозможно...»

«Да, невозможно!—громко повторяла, вскакивая, Аглая:—но что же дѣлать? Писать ему отвѣтъ? но что писать? Чтѣ ему ничтожная, жалкая, скажу?..»

Съ пылающимъ взоромъ и съ похолодѣлыми, за спинъ



заложёнными руками, она то принималась ходить по комнатѣ, то садилась къ окну, упорно глядя на гряды бѣлыхъ, недалёкимъ снѣгомъ и зимой дышавшихъ облаковъ.— «Все кончено, все!» тихо повторяла она, окаменѣвшимъ взоромъ вглядываясь въ очертаніе дворовыхъ тропинокъ: «неужели я никогда его болѣе не увижу? И что значать слова въ его припискѣ: ахъ, Аглая, Аглая!.. Что онъ хотѣлъ ими сказать?» Эти слова жгучимъ звономъ, немолчно отдавались въ ея ушахъ.

Прежде, въ часы раздумья, замкнутая въ себя, Аглая хоть Лушеньку иной разъ по душѣ отъ тоски слушала. Теперь и той близъ нея не было... И не чаяла Аглая, не гадала, чтобы у нея стало силъ долѣе вынести то, что она теперь испытывала. Старалась она опять думать о дѣтствѣ, объ отцѣ, о первой жизни въ скитѣ у бабушки Сусанны, о дружбѣ съ Фросинькой... Мысли не слушались ея... Онъ и онъ былъ одинъ теперь передъ ея глазами.

Такъ прошла недѣля и другая. Аглая рѣшилась вызвать Ключкова на откровенныя объясненія: «Ко мнѣ доходятъ невѣроятныя, печальныя слухи о моемъ отцѣ», написала она ему: «меня извѣщаютъ и о не совсѣмъ утѣшительномъ положеніи нашего имѣнія. Не откажите меня навѣстить и успокоить по поводу всего этого. До объясненій съ вами я воздержусь отъ мѣръ, которыя иначе должна бы принять». Написала Аглая и къ Фросинькѣ, съ которой въ послѣдніе мѣсяцы не переписывалась. Ни отъ Ключкова, ни отъ Фокиной отвѣта не было.

На дворѣ, между тѣмъ, стало сильно и безъ перерыва морозить. Въ воздухѣ, точно пухъ или бѣлые яблочные лепестки, замелькали первыя лохматыя порошоки снѣга. Сильнѣе и сильнѣе, густымъ борохомъ посыпались они. Забѣлѣли крыши келій. Забѣлѣли дворъ и садъ.

Наутро уже нельзя было узнать ни красноглинистой, въ обрывахъ, монастырской горы, ни свѣтлыхъ, какъ зеркало, у ея подножія извивовъ рѣки, ни синихъ лѣсовъ, ни бѣло-песчаныхъ холмовъ, вправо и влѣво бѣгущихъ въ туманную даль. Воды замерзли.

Снѣжный саванъ покрылъ рѣку, горы, лѣса и луга. Еще день, сорвался и завылъ по горѣ и по низамъ вѣтеръ. Поднялась метель, и злая вьюга запорошила, сугробами занесла послѣднія дороги и тропинки къ монастырю.

XXXV.

Первый лучъ.

Была особенно злая и долгая метель. Думали, что ей и конца не будетъ. Но вотъ она затихла, погода прояснилась, и монастырская прислуга принялась за рытье проходоу къ церкви и по всему обительскому двору. Аглая сидѣла подь окномъ своей кельи и соображала, что ей дѣлать, такъ какъ ея сожительница, мать Асенефа, и безъ того постоянно страдавшая одышкой, сходявъ на тоню подь гору за рыбой, сильно простудилась и вторую недѣлю не вставала съ койки въ монастырской больницѣ.

На дворѣ темнѣло.

Подь заунывный церковный колоколъ, по узенькимъ дорожкамъ, то здѣсь, то тамъ мелькали черныя мантии, шапочки и клобуки инокинь. Обитель собиралась къ вечернѣ. «Надо и мнѣ идти», подумала Аглая.

Въ это время по прорытой въ снѣгу тропинкѣ показалась оть воротъ, съ котомкой за плечами и съ палкой въ рукахъ, преклонныхъ лѣтъ, худенькая женщина. Въ стоптанныхъ валенкахъ и въ старой шубейкѣ, она шла, поглядывая по сторонамъ, и оть холода, а также оть сильной усталости едва передвигала ногами. — «Вѣрно нищая; сестры оть трапезной ко мнѣ послали», сказала себѣ Аглая и поспѣшила отпереть наружную дверь. Вошедшая поклонилась и, охая, откинула съ головы намерзшій платокъ.

— Кормилица, голубушка! — вскрикнула Аглая, бросаясь на шею Егоровнѣ и осыпая ее поцѣлуями: — вотъ не ожидала. Сюда, ко мнѣ, въ спальню. Раздѣвайся, садись. Ахъ, родненькая, милая! Какъ я рада!

Она засуетилась.

— Къ лежанкѣ, сюда. Вотъ и дрова. Растопимъ печку, поставимъ самоваръ. Постой: булка у меня есть, молоко, медъ... Не хочешь ли? Да садись же, рассказывай. Я и къ вечернѣ не пойду. Откуда ты? Какъ меня вспомнила и какъ доплелась? Ахъ, какъ я рада, рада...

— Какъ вспомнила! ты лучше, матушка, скажи, какъ забыла насъ?

— Ну, раздѣвайся, раздѣвайся.

Егоровна, покрикивая, раздѣлась, перекрестилась на об-

разъ, присѣла на знакомый ей съ дѣтства барышнинъ сундучокъ и, пока Аглая хлопотала съ закуской и съ чаемъ, принялась растапливать печь.

— Какъ доплеласы! ужъ и подлинно, Богъ по грѣхамъ терпитъ!—говорила Егоровна, подсовывая полѣнья въ ярко запылавшій огонекъ:—ужъ и была-жъ непогода, рѣзала—жгла. Совсѣмъ, думала, не дойду. Охъ, ноженьки разломило, костоньки ноютъ... Спрашиваешь, откуда я? Лучше и не спрашивай. Не одной мнѣ, а и всѣмъ намъ теперь вотъ какъ плохо. Некому насъ, барышня, пожалѣть и некуда намъ, сиротамъ, голову преклонить.

— Чтѣ слышно объ отцѣ?—спросила Аглая.

— Была я, матушка, у него намерднѣ. Люди направили. Думала о нашихъ нуждушкахъ сердечному доложить. Куда! совсѣмъ онъ жалкій. Никого, какъ есть, не узнаетъ и ничего, точно дитя малое, не смыслить. А ужъ въ какомъ запросѣ да несмотрѣньѣ, такъ, кажись, лучше бы ему сразу помереть, чѣмъ такъ-то жить...

Острые ножи отъ этихъ словъ вонзались въ сердце Аглаи. «Правъ Ветлугинъ,—думала она,—и во всемъ этомъ я, одна я виновата. Бѣдный отецъ, бѣдный!»

— Скажи, кормилица, гдѣ ты теперь живешь?—спросила Аглая.

— Гдѣ живу? По милости твоей матушки, — царство ей небесное, — хоть померъ мой мужъ, въ каменкѣ, какъ и прежде, до этой поры проживала. А нынче, противъ зимы, выгнать меня треклятый, прости Господи, опекунь.

— За чтѣ?

— Осерчалъ, вишь ли, какъ я смѣла этого-то барина, коли помнишь,—Ветлугина, пускать въ усадьбу?

Аглая поблѣднѣла.

— Почемъ же опекунь узналъ о его заѣздѣ къ намъ?—не поднимая глазъ, спросила она кормилицу.

— Какъ ему не узнать! Да онъ, аспидова душа, подъ землей на три аршина наскрозъ все видитъ. Не безъ того, и изъ крестьянъ, можетъ, кто сдуру сболтнулъ, что съ этимъ же бариномъ видѣлись. Со свѣту, сказалъ опекунь, сгоню, кто хоть слово отнынѣ пронесетъ къ господамъ.

— Ты же, кормилица, не грѣхъ ли тебѣ, ни разу ко мнѣ не навѣдалась.

— Была бы, матушка-барышня, какъ не быть! Мужъ

хворать, померь, дѣти тоже болѣли, умирали. Писала я къ тебѣ сколько разъ, да, знать, письма не доходили.

— Писала письма? Неужели?—всплеснула руками Аглая.

— Вотъ-те Христось, не лгу.

Аглая задумалась. Многое стало ей теперь понятно. Новыя мысли и предположенія заронились въ ея головѣ.

— Ну, кормилица-голубушка. — сказала она въ тотъ же вечеръ:—вотъ мое рѣшеніе... Оставайся здѣсь: я тебя отсюда болѣе не отпущу.

— Какъ не пустишь? что ты!

— Тебѣ негдѣ жить; живи у меня.

— Да какъ же такъ? здѣсь—святость, монастырь; нешто я черница?

— Ничего, милая. Не все святые живутъ и въ монастырѣ.

— А дочку Пашутку куда же я дѣну?

— Гдѣ она теперь у тебя?

— У племянника, у Филата Иваныча, пристроила я ее пока, до весны.

— У Филата? Да развѣ онъ не въ городѣ, при отцѣ?

— Былъ при старомъ баринѣ, только и его давно выжили Ключковъ.

— Чѣмъ же занимается теперь Филатъ?

— На чугункѣ. Гдѣ-съ буфетъ держалъ съ товарищемъ, да проторговались; а нынче постоялый снялъ въ Крючкахъ.

— Это недалеко отъ насъ?

— Недалеко. До чугунки тамъ, коли помнишь, станція была почтовая.

Чуть не всю ночь напролетъ проговорила Аглая съ Егоровной. А наутро она, не спѣша, одѣлась, выстояла раннюю службу, пошла къ игуменѣ и, поклонясь ей, объявила свою просьбу и желаніе, чтобы, впредь до выздоровленія матери Асенефы, съ ней благословили и дозволили жить ея кормилицѣ. Мать Измарагда сперва было озадачилась. Ея сѣрые ясные глаза сверкнули досадой и гнѣвомъ, что такъ или иначе обходили ея виды на будущее. Она собралась уже дать сильный и стойкій отпоръ. Но въ сдвинутыхъ бровяхъ и въ потушеннѣхъ взорахъ Аглаи Измарагда прочла такую неожиданную рѣшимость и твердость, что, помолчавъ, объявила ей полное свое согласіе. А тутъ встрѣтилось еще обстоятельство. У Асенефы вскорѣ обозначились признаки воспаленія легкихъ. Она протянула недѣли двѣ и сконча-

лась. Послѣ ея похоронъ Аглая выпросила у игуменѣ позволеніе взять къ себѣ и дочь кормилицы, Пашу.

— Зачѣмъ она тебѣ?—спросила Измарагда.

— Буду учить ее грамотѣ, и мать не станетъ скучать.

Передъ рождественскими святками Егоровна наняла подводу, чтобъ ѣхать къ племяннику за своими вещами и за дочкой.

— Ахъ, я и забыла, родненькая, сказать тебѣ еще слово,—обратилась къ ней при прощаньи Аглая.

— Что, лапушка-сударыня? приказывай.

— Если окажется мѣсто у тебя въ саняхъ, не забудь поискать въ домѣ и привезти ящикъ съ бѣльемъ покойницы матушки. Какъ умерла она, я тебѣ же его переслала.

— Помню, помню, — въ кладовой стоитъ. На что тебѣ это бѣлье?

— Дѣтямъ Фросиньки за зиму перешьемъ; пусть носятъ.

— И вправду. Только какъ бы опекунъ не увидѣлъ, да шен мнѣ не накостылялъ.

— Скажи, что я приказала. Да вотъ тебѣ, на всякій случай, и записка къ приказчику.

---

Желаніе Аглаи было исполнено.

Кормилица дня черезъ два привезла свои вещи и дочку, а съ ними и увѣсистый, наглухо заколоченный ящикъ. На вопросъ монахинь: что это? — она отвѣтила: барышнину бѣлье. Когда ящикъ внесли въ келью Аглаи, и Егоровна, управясь, его вскрыла, въ немъ оказались книги...

— Что это?—спросила озадаченная Аглая.

— Ахъ я, глупая, ахъ я, курья слѣпота!—причитывала Егоровна:—и гдѣ мои глаза были? Опекунъ, знать, велѣлъ выкинуть безъ меня питерски книги, что въ домѣ эти годы стояли. А я ихъ замѣстъ бѣлья, прости, на санки-то и свалила...

— Какія питерскія книги?—спросила Аглая.

— Ну, что для стараго барина этотъ же Ветлугинъ, что ли, тогда выписалъ. Племянникъ пріѣдетъ, отошлемъ назадъ.

— Нѣтъ,—вспыхнувъ, рѣшила Аглая:—не надо ихъ отсылать, пусть здѣсь останутся. Я, можетъ, что-нибудь... отъ скуки... изъ нихъ читаю.

— Что ты, что ты!—замахала на нее рукой Егоровна:—еще игуменья увидитъ, осерчаетъ.

— Спрашивать игуменьи на это я не стану! сама знаю, что буду читать!—гордо качнувъ головой, отвѣтила Аглая:— я не безголовая какая, а отцовскія книги—не ересь.

«Да! вонъ она, кровь Вечерневыхъ!»—радостно подумала Егоровна, глядя на свою барышню,—ишь губу-то вздула. Даромъ что шапочка на волосахъ, не всякому смерду наступить на ногу позволить»...

Такъ какъ Егоровна съ Пашей и за барышней своей, и за ея кельей стали смотрѣть, то Аглая вскорѣ объявила игуменьѣ, что ей особой монастырской прислужницы не нужно. Мать Измарагда подумала: «кума пѣша, куму легче», и охотно согласилась на новую просьбу Аглаи.

Въ свободные отъ службъ и отъ постѣщенія общей рукодѣльной часы Аглая теперь не скучала. У нея было два занятія: она учила Пашу грамотѣ и читала привезенныя книги. Сперва это чтеніе шло урывками, а потомъ Аглая его почти уже не покидала. Заперевъ наружную дверь на засовъ, она сажала Егоровну или Пашу на-сторожѣ, а сама брала какую-либо изъ книгъ и читала-читала до изнеможенія силъ. Иной разъ утро заставало ее за чтеніемъ. Большую часть выписанныхъ когда-то по совѣту Ветлугина книгъ она прочла одна за другой, и новый міръ незамѣтно сталъ открываться передъ ней. Особенно поразили ее переводы нѣкоторыхъ изъ драмъ Шекспира, «Исповѣдь» Руссо и «Донъ-Жуанъ» Байрона.

Послѣдняя поэма взволновала и совершенно поглотила Аглаю. Слова султанши Гюльбан: «о, чужестранецъ, зналъ ли ты любовь?» не давали ей покоя. Она перечитывала сцену Донъ-Жуана съ Дуду. «Въ гаремѣ ночь, лампы стали гаснуть,—и вдругъ Дуду въ постели закричала...»—Аглая захлопнула книгу, въ страхѣ задула свѣчу и до зари, не сомкнувъ глазъ, лежала, какъ въ лихорадкѣ.

Она и Егоровнѣ читала вслухъ нѣкоторыя изъ книгъ.

— И это все было?—спрашивала кормилица Аглаю, когда та поясняла ей содержаніе прочитаннаго.

— Было, голубушка-кормилица, было!—обнимая и цѣлуя Егоровну, отвѣчала Аглая:—ты не понимаешь!

— Да гдѣ жъ именно было? въ какомъ царствѣ-государствѣ?

— На свѣтѣ, кормилица, тамъ, гдѣ настоящая жизнь и гдѣ намъ съ тобою, видно, никогда уже не бывать...

— Ну, красавица, это ты напрасно! Мало ли чего не бывает! Нешто ты въ кабалу имъ себя отдала, али некому за тебя и заступиться? Напиши къ барынѣ Фокиной, ли къ отцу Адриану, ли меня къ нимъ пошли: духомъ все обдѣлаемъ.

— Никого я просить не стану, и никто мнѣ не указы! Одна совѣсть людямъ законъ... И противъ совѣсти я во-вѣки не пойду, что бы со мной ни стало.

Дни шли за днями.

Вплоть до великаго поста Аглая не отрывалась отъ привезенныхъ книгъ. Великія созданія геніевъ продолжали ее потрясать до глубины души. Лишая ея спокойствія, пищи и сна, они какъ бы твердили ей въ уши: «да что же съ тобой? Или ты не сознаешь, не видишь, куда ты понала? Вѣдь ты заживо погребена, на цѣпь прикована и заму-рована въ стѣнѣ... Взгляни вокругъ себя: за этою стѣною люди живутъ, съ ихъ скорбями и радостями, съ ихъ нуждами, тревогами и борьбой за жизнь, за счастье. И во всемъ—даже въ этихъ тревогахъ и въ этой борьбѣ—для нихъ отрада, такъ какъ все это—кровь отъ ихъ крови и плоть отъ ихъ плоти. А въ чемъ твоя жизнь? И гдѣ твое счастье? Было ли оно когда-нибудь и возвратится ли вновь? Кто его скосилъ, растопталъ и развѣялъ по вѣтру, какъ прахъ? Опомнись... Онъ говорилъ тебѣ: жизнь—трудный подвигъ, но подвигъ—во имя близкихъ намъ, рука объ руку съ ними, а не вдали отъ нихъ... Брось же свою преждевременную могилу, становись въ ряды бойцовъ за жизнь, за правду и добро...»—«Ахъ, Аглая, Аглая!» днемъ и ночью звучали ей слова приписки Ветлугина.

Она падала на постель, по цѣлымъ часамъ не отрывая отъ подушки лица. Садилась къ окну, пристальнымъ взоромъ вглядывалась въ прорытыя въ сугробахъ дорожки и думала-думала, не мелькнетъ ли изъ-за монастырской стѣны тотъ, кого она столько лѣтъ не видѣла?.. Гдѣ семейная радость, жизнь вдвоемъ? Гдѣ пріютъ тихаго счастья и любви?

Дорожки были пусты... Что ни день, ихъ заносило новыми бурями и метелями, да въ урочные часы, точно могильные тѣни, по нимъ мелькали черныя мантии, шапочки и клобуки шедшихъ къ церкви и изъ церкви инокинь.

Однажды,—это было въ концѣ марта,—Аглая послѣ тревожной и полной раздумья безсонной ночи, встала до зари.

Не будя кормилицы, она умылась, одѣлась, помолилась, написала какое-то письмо и со свѣчой подошла къ постели Егоровны.

— Ты не спишь?—тихо и особенно ласково спросила она.

— Давно, ласточка моя, не сплю. Давно думаю, на твою-то гляючи суету... Что съ тобой? Или опять забрала тоска? Или ты, соколикъ, разнемоглась?

— Вотъ чтѣ, милая, — глядя на свѣчу и стараясь быть какъ можно спокойнѣе, начала Аглая: — надо всему этому положить конецъ.

Егоровна привстала.

Странный блескъ глазъ и озабоченность блѣднаго измученнаго безсонницей лица Аглаи удивили ее.

— Что же ты, родная, думаешь дѣлать? приказывай!— вскидывая на плечи платокъ и моргая недоумѣвающими глазами, сказала кормилица.

— Вотъ чтѣ, — попрежнему глядя на свѣчу, твердымъ голосомъ отвѣтила Аглая: — сегодня же, послѣ заутрени, я обо всемъ постараюсь переговорить съ матушкой игуменьей... Ты же, кормилица, найми подводу и повѣжай, вотъ съ этимъ моимъ письмомъ въ Дубки. Если приказчикъ не дастъ тебѣ по моей просьбѣ денегъ, то вотъ, возьми это (Аглая сняла съ шеи небольшой, обдѣланный алмазами крестикъ) — повѣжай къ Фокинымъ... Это — благословеніе отца. Заложи его... Ну, словомъ, достань денегъ и привѣжай сюда съ Филатомъ. Скажи ему, что онъ мнѣ нуженъ. Я съ нимъ хочу навѣстить отца, а можетъ-быть, пройду въ Дубки.

— Все будетъ, матушка-барыня, исполнено. Душу за тебя отдадимъ!—не помня себя отъ радости, отвѣтила Егоровна.

Аглая объяснилась съ Измарагдой. Та ей не противорѣчила. «Вѣрно одумалась,—разсуждала игуменья:—о деньгахъ ѣдетъ хлопотать».

Черезъ недѣлю настала сильная оттепель. Снѣгъ еще не вездѣ растаялъ, но холмы и поля кое-гдѣ уже обнажились, рѣка посинѣла и вздулась. Лѣсъ изъ черныхъ стали сизые.

Было туманное теплое утро.

У крыльца кельи Аглаи стояла, запряженная четвернею, старая деревенская карета. Филатъ въ барашковой шапкѣ,



въ чуйкѣ и въ высокихъ, поперхъ брюкъ, сапогахъ, суетился, таская на плечахъ и прилаживая чемоданы и всякіе узлы. На запяткахъ возсѣдала, въ новыхъ котлахъ, оберченная платками, Паша. Двѣ-три монахини у подъѣзда разговаривали съ выбившеюся изъ силъ и также носившею разную поклажу Егоровной. Аглаи здѣсь не было. Она сидѣла за чаемъ у игумены.

— Что же, Аглая Кирилловна, надолго ли думаешь насъ покинуть? — ласково и вѣжливо спросила мать Измарагда, опрокидывая на блюдечко большую, съ изображеніемъ Аѳонской горы, чашку и съ нѣкоторой тревогой поглядывая на опустившую глаза и спокойно сидѣвшую передъ нею Аглаю.

— Какъ вамъ сказать, матушка?.. Навѣщу отца; переговорю съ нимъ и съ докторами; съѣзжу въ деревню, потолкую съ приказчикомъ о дѣлахъ.

— Вотъ какъ! и о дѣлахъ? Что же, сударыня, дѣловъ земныхъ никогда не слѣдъ вовсе бросать. Пришельцы и переселенцы въ свѣтѣ есмы... Только, мать моя, не лишнее ли это тебѣ? Что о мірѣ великіе учителя пишутъ? Ефремъ Суринъ, Максимъ-исповѣдникъ, Авва Дорофей и иные? Ты еще, смотри, какъ молода!.. Не все примѣтишь. Жизнь, сказано въ писаніяхъ,—море страстное, студъ и идолослуженіе... Еще обмануть... А у васъ, притомъ, есть и опекуны... Его жъ какъ обойдешь?

— Предводитель пишетъ, что этотъ опекунъ сколько мѣсяцевъ въ безвѣстной отлучкѣ по собственнымъ дѣламъ, а потому и предлагаетъ мнѣ подать прошеніе о назначеніи другого опекуна...

Не ожидавшая такой новости игуменья измѣнилась въ лицѣ, но удержала свое спокойствіе.

— Вотъ какъ! я про то не слышала! — сказала игуменья: — когда же ты получила отъ предводителя это письмо?—продолжала она, тихо перебирая четки.

— На-дняхъ.

— А мнѣ и не сообщила?

Аглая на это ничего не отвѣтила. Игуменья продолжала:

— Ну, какъ же ты думаешь съ этимъ теперь быть? на что рѣшаешься? Заранѣ скажу: опека, да и всякія дѣла,—вещь не шуточная... Берегись лести людской. Берегись сопленій міра. Какъ хочешь, а судьба отца! ты уже — не ребенокъ... Да и имѣніе у васъ, скажу тебѣ прямо, боль-

шое... Первое—не совѣтую, зря, всякому вѣрить. А второе: скорѣе возвращайся и обо всемъ мнѣ сообщи... Я дамъ тебѣ тогда совѣтъ... Такъ ли?

— Что же, матушка, заранѣе говорить? — отвѣтила Аглая: — посмотри, съ знающими людьми потолкую, подумаю; дѣло само и укажетъ, какъ быть. Черезъ недѣлю другую надѣюсь воротиться къ вамъ...

— Знающіе люди! гордость одна! — судорожно одергивая воскрылія камилавки, сказала Измарагда: — злохудожники! бѣсовская суста... А впрочемъ, побѣждай!.. Ты уже—не ребенокъ... Мать Пресвятая Богородица тебѣ попутницей! Да озарить она тебя, свѣтоносная, свыше...

Принявъ благословеніе игуменьи, Аглая сотворила передъ нею уставный поклонъ, простилась и вышла. Не садясь въ карету, она сходила на обительское кладбище, помолилась на могилѣ матери, еще разъ, какъ бы за тѣмъ забытымъ, возвратилась въ опустѣлыя, съ занавѣшенными окнами и задернутымъ кіотомъ комнаты и сѣла съ Егоровной въ карету. Низко кланялись ей высыпавшія на крыльца и къ окнамъ инокини и бѣлицы. Только веселой Варварушки не было видно. Осиротѣвъ со смертью Асенефы, она долго тосковала, плакала и выпросилась у игуменьи, съ другой монахиней постарше, въ сборицы на обитель.

---

Аглая въ тотъ же день, еще засвѣтло, пріѣхала въ уѣздный городъ и, не входя на постоялый, отправилась къ отцу. Къ ся величайшему огорченію, старикъ попрежнему не только ее не узналъ, но даже принялъ ее еще съ большимъ неудовольствіемъ и даже враждебно. Онъ закричалъ на нее: «оставь меня, оставь! мы — садовники!..» Когда жъ Аглая издумала поцѣловать у него руку, онъ дико посмотрѣлъ на нее, спрятался за пикапъ и съ крикомъ: «монашка! черничка! чернохвостница!.. въ монастырь иди! дорожка скатертью!» — скрылся за дверями...

Больше недѣли провела Аглая въ городѣ. Положеніе, въ которомъ она застала отца, дѣйствительно, ее ужаснуло. Долго она толковала съ медикомъ, съ предводителемъ и другими властями; списалась и свидѣлась съ Фокиной, насчетъ же сдачи опеки другому попросила пріостановиться. — Съ пибко забившимся отъ разныхъ ощущеній сердцемъ

въѣхала она, наконецъ, въ ворота заустѣлой усадьбы Дубковъ.

Двѣ комнаты въ домѣ,—спальня матери и библіотека,—были для нея Филатомъ заблаговременно очищены и пропелены: Новый приказчикъ, выписанный Аглаей по выбору и по совѣту Фокиныхъ, принялъ имѣніе также еще до пріѣзда Аглаи. Она вошла въ домъ. Не раздвѣваясь проплась по всѣмъ комнатамъ, выслушала соображенія приказчика объ имѣніи, отдала нѣсколько нетерпящихъ отлагательства приказаній и пошла къ священнику. Тамъ она пила чай. Передъ вечеромъ съ отцомъ Адріаномъ посѣтила нѣкоторыхъ изъ знакомыхъ ей крестьянъ, разспрашивала о ихъ надобностяхъ, записывала имена болѣе нуждающихся больныхъ, а по пути осмотрѣла садъ. Стало уже темнѣть, когда Филатъ ей доложилъ, что подано кушанье. За обѣдомъ она почти ни къ чему не касалась; спать легла рано.

— Не нужно ли тебѣ чего? можетъ, поужинала бы?—спрашивала ее, располагаясь рядомъ съ ея комнатою и гордая новымъ своимъ назначеніемъ при барышнѣ, Егоровна.

— Нѣтъ, милая, ничего болѣе мнѣ не нужно,—съ своей давно немятой деревенской постели, изъ темноты, отвѣтила Аглая: — разбуди меня пораньше. А теперь, голубушка-кормилица, мнѣ такъ хорошо, такъ хорошо... будто я вновь на свѣтъ родилась...

Наутро отецъ Адріанъ, съ намоченной квасомъ косичкой и съ утиральникомъ въ рукахъ, только что умылся, вышелъ, по обычаю, на крыльцо, взглянулъ на выгонъ, на церковь, на рѣку и на еще безлистый, тонувшій въ бѣломъ туманѣ вечернѣвскій садъ, — и подумалъ: «ну, дай же ей, Господи Боже, силы! дай, чтобъ она, аки лучъ солнца, пробудила и оживила эти ей родныя мѣста... Суета суеты! Изъ-за чего люди бѣгаютъ отъ своего счастья?..»

Отецъ Адріанъ перекрестился, еще постоялъ и поглядѣлъ вокругъ себя. Онъ уже хотѣлъ идти обратно въ сѣни, какъ со стороны сада послышалось нѣсколько голосовъ. Точно кто-нибудь охотился съ гончими, или людное общество шло вдоль рѣки... «Вѣрно, гости у Аглаи Кирилловны! — подумалъ священникъ; но, прислушиваясь къ голосамъ, самъ себѣ сказать: — нѣтъ, не гости... Вотъ Федькинъ голосъ, Апронькинъ... Парамошка Кочетъ имъ откликнется... Что за притча?»

Отецъ Адріанъ наскоро накинулъ теплую рясу, взялъ шляпу и трость и, шлепая калошами по непросохшей землѣ, отправился къ саду. Канавы опросталась отъ воды, и онъ черезъ нее перелѣзъ. Но не прошелъ священникъ и сотни шаговъ, какъ вправо и влево между деревьями, съ заступами, лопатами и метлами, увидѣлъ десятка два-три вечерневскихъ крестьянъ. Священникъ остановился. «Что это они?» разсуждалъ онъ, глядя издали.

Одни изъ крестьянъ расчищали заглохшія дорожки; другіе на лужайкахъ и полянахъ рубили не къ мѣсту выросшій молодойникъ, третьи вывозили на тачкахъ и на телѣгахъ сгребаемый въ кучи валежникъ, сухіе листья и всякій соръ. — «Насилу-то дождались мы нашей ласточки отлетной, нашей голубушки! — заговорили крестьяне, увидѣвъ священника: — вотъ ужъ, батюшка, праздникъ! вотъ обновы, сплени ее Господь!»

Отецъ Адріанъ степенно и ласково побесѣдовалъ съ крестьянами, даже заступъ брать и лѣнивому Парамошкѣ Кочетову показывать, какъ слѣдуетъ работать. Потомъ онъ направился къ бесѣдкѣ, къ теплицамъ и въ паркъ. Вездѣ кипѣла усиленная работа...

А солнце поднималось выше и выше и парило сквозь туманъ и росу, чуть не по-лѣтнему сыпало яркими лучами. Къ обѣду Филатъ въ фартукъ и безъ сюртука, стуча молоткомъ, раскрылъ балконныя двери, а къ вечеру выставилъ и настежъ распахнулъ въ домѣ всѣ окна. Отецъ Адріанъ издали видѣлъ, какъ хлопотала и распоряжалась Аглая, какъ она переходила изъ одной провѣтриваемой комнаты въ другую, появлялась съ Егоровной и съ Филатомъ то на балконѣ, то у раскрытыхъ оконъ. «Пусть ее хлопочетъ: хорошее дѣло она затѣяла; не буду ей мѣшать! — думалъ, прогуливаясь по саду и скусывая съ вѣтвей душистыя, липкія почки, священникъ, — шутка ли, отецъ какъ боленъ! кому же, какъ не ей, и позаботиться о его добрѣ?»

Не прошло двухъ недѣль, вечерневской усадьбы нельзя было и узнать.

#### XXXVI.

### Пробужденіе.

Домъ былъ оправленъ и подновленъ. Садъ также вскорѣ пришелъ въ прежній видъ

Благодаря наставшему теплу, Филать закупилъ и навезъ изъ сосѣднихъ владѣльческихъ теплицъ цѣлыя возы экзотическихъ цвѣтовъ и кустарниковъ. Балконъ, при помощи Егоровны, убрала сама Аглая. Сюда, подъ парусинный навѣсъ, былъ принесенъ тотъ самый плетеный диванчикъ, на которомъ когда-то такъ любилъ посиживать Кирилло Григорьичъ. А пока все это устраивалось, Аглая не знала покоя. Она за всѣмъ слѣдила, всѣмъ руководила и была впереди во всей этой суетѣ, вознѣ и общихъ хлопотахъ, въ домѣ и въ саду. Слова письма Ветлугина: «Ахъ, Аглая, Аглая!» преслѣдовали ее и здѣсь.

А весна съ каждымъ днемъ становилась ближе и ближе.

Давно прошумѣли первые снѣговые ручьи. Рѣка вскрылась, вышла изъ береговъ и далеко затопила прибрежныя нивы и луга. Бѣлыя, спозреватые льдины, съ кучами зимняго сора, оторванными мостовицами, и съ громко каркающими грачами и галками неслись по бурнымъ, ликующимъ водамъ. Воздухъ былъ пропитанъ яркимъ, раздражающимъ блескомъ солнца, журчаніемъ и грохотомъ бѣгущихъ по скатамъ и въ оврагахъ ручьевъ. Стало просыхать.

Обнаженные отъ снѣга и воды поля прореднулись первою красноватою травкой. Поднимая слой истлѣвшихъ листьевъ, выткнулись головки первыхъ цвѣтовъ. Потянулись стаи перелетныхъ птицъ. Отозвались жаворонки. Цапля мѣрнымъ шагомъ, высматривая играющую голубыми спинами, рѣзвую рыбу, пошла по берегу рѣки. Щелкнувъ въ безлистомъ еще вишенникѣ первый соловей. За нимъ другой и третій. Солнце, воды и соловьи будто отзывались на мысли Аглаи, будто также кричали ей: «Ахъ, Аглая, Аглая...»

За постоянными теплыми днями настали теплыя, безъ вѣтра и заморозковъ, ночи. Полная луна плыла въ свѣтозарной вышинѣ.

Аглаѣ давно была пора возвратиться въ монастырь. Но она медлила. Ей не хотѣлось разставаться съ этими, столько отрады ей напоминавшими мѣстами. Здѣсь, въ этомъ воздухѣ и на этомъ просторѣ, царилъ когда-то ея счастье. Радужныя грѣзы о немъ носились за Аглаей, манили ее, порхали у ея изголовья.

Въ комнатахъ все, до послѣдней вещицы, было разставлено на прежнихъ мѣстахъ. Въ кабинетѣ Кириллы Гри-

горьича всѣ бумаги, книги, бездѣлушки были разложены такъ, какъ онѣ всегда здѣсь прежде лежали.

— Все кончено, я все привела въ порядокъ!—послѣ долгихъ хлопотъ, сказала Филату Аглая:—теперь пора бы ужъ мнѣ отправляться и обратно.

— Эхъ барышня, барышня!—вздыхнулъ на это Филатъ:—давно собирался я вамъ доложить, да не смѣлъ.

— Чтѣ, Филатушка? говори.

— А то, барышня, что ужъ лучше бы вы и совсѣмъ отъ насъ не уѣзжали. Эхъ, милая вы наша, золотая! Бросьте-ка монастырь. Изъ-за чего вамъ тамъ жить? Помолились бы цѣлителю Пантелеймону... Знаете ли, покойный-то дѣдъ Лу-канка?..

— Чтѣ же онъ?

— Передъ смертью, — царство ему небесное, — совсѣмъ онъ какъ малый ребенокъ сталъ, — у Апроньки-пастуха за дѣтми смотрѣлъ, да какъ заснулъ въ саду у него подъ яблонью, такъ и не просыпался... Онъ совѣтовалъ: у кого, говорить, душа болитъ, молебень святому Пантелеймону слѣдуетъ отправить. Я, какъ проторговался на буфетѣ при чугункѣ, помолился цѣлителю, — съ той самой минуты ни въ ротъ-съ.

— Такъ что же ты хотѣлъ сказать?

— Да все насчетъ вашего тятеньки. Помолились бы вы, не спасетъ ли Господь тятеньки? не признаетъ ли онъ васъ?

— Спасибо за совѣтъ. Я вотъ чтѣ рѣшила. Послѣзавтра, или нѣтъ, — не успѣю... Ну, дня черезъ три-четыре, — тутъ надо еще кое-что по хозяйству уладить съ приказчикомъ. Такъ я сперва поѣду въ монастырь. Надо туда навѣдаться. Тамъ я думаю ждуть меня и ужъ Богъ знаетъ, чего только обо мнѣ не напели... А потомъ...

— Эхъ, барышня! да вамъ-то что до черницы! — нахму-ривъ кустоватыя брови, даже рукой махнулъ Филатъ: — при-няли имѣнїе; принимайте, сударыня, и всѣ дѣла. Кажется, вотъ бы какъ всѣ мы вамъ служили... Скажите только, я и всѣ остальные ваши вещи оттуда перевезу...

— Нельзя, голубчикъ Филатъ, нельзя... Чтѣ ты! Боже меня сохрани и помилуй объ этомъ думать... А ты лучше слушай, чтѣ я скажу. Я въ коляскѣ поѣду въ монастырь, а ты отправляйся къ папенькѣ. Возьми, на всякій случай, карету. Отвезешь мое письмо къ доктору и съ нимъ обо

всемъ переговоры. Передай ему, голубчикъ, мою просьбу—отпустить папеньку сюда хоть на недѣлку. Не все ли одно отцу жить подъ охраною здѣсь, чтѣ и въ городѣ? Приговори себѣ, на случай, въ помощь фельдшера. И какъ только докторъ позволитъ, готовься привести папеньку сюда. Напишешь мнѣ, и я его здѣсь встрѣчу... Тутъ воздухъ, просторъ и всякія удобства... Онъ же, бѣдненькій, хоть и не помнитъ себя, а все-таки, Филатъ, — ну, понимаешь... дома! понимаешь? въ своемъ родномъ гнѣздѣ! Это не то, что на чужихъ рукахъ... А мы... скажи доктору, все приготовимъ папенькѣ, все... чтобъ онъ положился на насъ и не беспокоился...

Слезы не дали Аглаѣ говорить.

— Все, сударыня, сдѣлаемъ... Какъ намъ не понимать! исполнено будетъ все и въ аккуратъ-съ!—отвѣтилъ Филатъ.

Но у него опять зашевелились брови, и, дрогнувъ, нѣсколько на бокъ скривилась нижняя губа. Онъ сердито, будто грозя кому, глянулъ въ уголокъ гостиной, гдѣ на ручкѣ кресла лежало кѣмъ-то забытое чайное полотенце, и, громко покашливая и смаргивая непрошенныя слезы, странно-пискиливо сказалъ: «въ акуратъ-съ! это какъ же можно!»—еще покопался надъ чѣмъ-то и съ форсомъ быстро вышелъ въ садъ.

Филатъ шелъ и самъ не зная, куда и зачѣмъ идти. Онъ одѣргивалъ скюртку, размахивалъ руками и что-то угрюмо и рѣшительно обдумывалъ.

Аглая уѣхала въ монастырь не черезъ два дня, а черезъ двѣ недѣли. У нея не хватало силъ ранѣе разстаться съ роднымъ угломъ. Да и разныя новыя хлопоты по имѣнію, отрѣзка крестьянамъ полей и луговъ задержали ее. Во многомъ ей помогали совѣтами отецъ Адрианъ. Въ день отъѣзда Аглая, Филатъ съ оя письмомъ отправился въ городъ къ уѣздному врачу, Милунчикову второму, который, три года назадъ, благодаря проискаму Ключкова, чуть-было не пострадалъ за мнимыя сношенія съ эмиграціей. Онъ охотно согласился выполнить просьбу Аглаи, далъ всѣ необходимыя наставленія Филату и прибавилъ, что, по его мнѣнію, такая прогулка Кириллы Григорыча въ деревню и нѣкоторый отдыхъ на просторѣ и свѣжемъ весеннемъ воздухѣ не только не повредятъ здоровью больного, но могутъ въ будущемъ принести ему немалую пользу.

Быль поздній, въ первыхъ числахъ мая, вечеръ. Карета, на козлахъ которой возсѣдали фельдшеръ и озабоченный, до глубины души взволнованный Филатъ, подвезла Кирилу Григорыча къ деревенскому, столько лѣтъ сиротѣвшему безъ него дому.

Вечерѣвъ не только при выѣздѣ изъ города, но и всю дорогу, сверхъ обыкновенія, былъ совершенно спокоенъ и тихъ. Онъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на то, зачѣмъ его приѣхали, зачѣмъ вывезли изъ городской, такъ приметлившейся ему квартиры, для какой надобности усадили въ карету и куда повезли. Онъ только озабоченно пошарилъ у себя въ карманахъ, съ нимъ ли его сигарочница, молча взявъ лубочный сборникъ пѣсень, который онъ ежедневно, въ теченіе этихъ лѣтъ, держалъ въ рукахъ, дѣлая видъ, что читаетъ. Онъ и теперь, усѣвшись въ уголокъ кареты, вперилъ пристальный взоръ въ раскрытый вверхъ ногами пѣсенникъ и такъ сидѣлъ вплоть до деревни, лишь изрѣдка сердито взглядывая то на спину дремавшаго на козлахъ фельдшера, то въ окна — на зеленѣющіе холмы и поля.

Кирилу Григорыча бережно высадили изъ кареты, ввели въ переднюю и помогли ему дойти до кабинета. Здѣсь его умыли, накормили ужиномъ, раздѣли и уложили въ постель. Приказчикъ и кое-кто изъ прежнихъ дворовыхъ съ любопытствомъ и жалостью заглядывали на больного. Фельдшеръ посоветовалъ Филату лечь спать у двери кабинета, а самъ ушелъ ужинать и ночевать къ приказчику. Здѣсь было рѣшено утромъ, пораньше, съ нарочнымъ извѣстить Аглаю Кирилловну о благополучномъ прибытіи ея родителей. И если бы ей самой теперь же нельзя было пожаловать, то спросить, какъ имъ быть далѣе, такъ какъ баринъ прибылъ въ деревню ранѣе ея.

Филатъ постлалъ у порога кабинета свою чуйку, помоллся вслухъ, легъ и свернулся калачомъ. Но онъ долго не спалъ, прислушиваясь въ потемкахъ, не будетъ ли о чемъ говорить во снѣ баринъ. Баринъ, однако, какъ легъ, разъ только тихо прошепталъ: «О, Боже, Господи Боже!» вздохнулъ, повернулся къ стѣнѣ и крѣпко заснулъ.

Солнце давно взошло, а Кирилло Григорычъ все еще спалъ. Наконецъ, уже въ десятомъ часу, онъ очнулся, раскрылъ глаза и долго неподвижно лежалъ, глядя по сторо-



намъ и какъ бы соображая, гдѣ онъ? и неужели онъ опять въ своемъ старомъ деревенскомъ гнѣздѣ?

Да, кажется, онъ снова у себя дома...

Два знакомыя окна полузакрыты красными шелковыми занавѣсками. Солнечные лучи, дробясь по кресламъ, письменному столу и дивану, освѣщаютъ зеленый, съ желтыми и синими разводами коверъ. На каминѣ, держа другъ друга за руки, стоятъ знакомые гипсовые Шиллеръ и Гете, и на второмъ изъ нихъ, точно со вчерашняго дня, накинута бѣлая вязаная ермолка. На стѣнѣ—Наполеонъ, на конѣ, подъ Ватерлоо. На стулѣ у кровати—сѣрый фланелевый халатъ. На коврѣ—старыя, стоптанныя туфли... А это кто на постели? Онъ самъ, Кирилло Григорычъ... Вотъ его ноги, руки... но какъ онѣ пожелтѣли, захудали! Онъ съ презрѣніемъ отвернулся и вздохнулъ.

Вечерѣвъ медленно всталъ. Твердя: «Господи Боже! какъ поздно!» онъ накинулъ на плечи халатъ, надѣлъ на ноги туфли, а на голову ермолку и бережно, отворивъ дверь, вышелъ въ залу.

Филатъ не дождался пробужденія барина. Онъ ушелъ хлопотать для него о чаѣ и о завтракѣ, а на свое мѣсто, у двери кабинета, посадилъ Пашутку. Дѣвочка также, вѣроятно, соскучилась. Она, какъ сидѣла въ углу, обхвативъ колѣни худенькими ручонками, такъ и заснула. Кирилло Григорычъ сурово постоялъ передъ ней, потрогалъ ее по носу, сердито фыркнулъ: «Вотъ, вотъ... босая и нечесаная!» и пошелъ къ двери въ гостиную. Мысли его опять стали путаться. Онъ глядѣлъ вокругъ по залѣ и не понималъ, гдѣ онъ и что съ нимъ. Рояль, портреты щеголей въ лентахъ, щеголихи въ пудрѣ. «Зачѣмъ это?—спросилъ себя:—тамъ еще комната,—спальня жены. Она спитъ... А здѣсь корабль... или балконъ?.. Да! корабль... Нечесаная, босая! корабельный юнга! Срамники!» громко произнесъ онъ и, сердито качая головой, направился далѣе.

Изъ гостиной онъ вышелъ на балконъ. Заслоня рукой отъ свѣта глаза, посмотрѣлъ на поляну, на взгорье и садъ и боязливо опять отступилъ къ порогу. Онъ не узналъ мѣстности... Зеленое пустынное взгорье за рѣкой ожило. По гребню его тянулся рядъ телеграфныхъ столбовъ и сторожевыхъ будокъ, и ясно была видна новенькая, въ швейцарскомъ вкусѣ станція. Рабочій поѣздъ собирался дѣлать

манёвры. Бѣлый дымокъ взлетывалъ надъ трубой пыхтѣвшаго паровоза. «Проспалъ, пора брать билеты!» засуетился Вечерѣевъ, изъ-подъ наставленной руки глядя на солнце: «одиннадцать! знатно выпался!» Бережно придерживая полы халата, онъ сошелъ на поляну, поглядѣлъ на цвѣтники и быстро углубился въ садъ.

Ничего не подозрѣвавшій Филатъ, часа черезъ два, сказалъ себѣ: «однако, пора будить барина; самоваръ потухъ онять». Онъ потихоньку отворилъ дверь, заглянулъ въ кабинетъ и съ ужасомъ увидѣлъ, что барина тамъ уже не было. «Гдѣ же онъ? гдѣ?»—Филатъ напустился на разбуженную Пашутку. Та протираала глаза и сама, послѣ сладкаго сна, не понимала, гдѣ она и что съ ней.

«Баринъ, видно, задумалъ купаться, пошелъ къ рѣкѣ и утонулъ!» пробѣжало въ головѣ Филата. Онъ безъ памяти кинулся на поиски Кирилла Григорыча, заглядывалъ во всѣ закоулки, въ бесѣдку, въ купальню и даже подъ мосты и, наконецъ, послѣ долгихъ стараній, нашелъ его въ паркѣ. Кирилло Григорычъ весьма смиренно сидѣлъ на каменной скамьѣ, бросая наломанные вѣтки въ омутъ, прорытый послѣдними водополями у ската крутизны.

— А? что? что?—заторопился Вечерѣевъ, испуганно приподнимался навстрѣчу Филата:—барыня встала? гости? зоветь?

— Въ комнату, сударь, пожалуйста... Чай пора пить... а барыня, Ульяна Андреевна,—царство ей небесное!—давно померла...

— А! бр... бриться, вотъ!.. бриться надо! — растерянно хватаясь за полы халата, заговорилъ Вечерѣевъ.

Привычно услужливымъ, плывущимъ нагомоъ Филатъ подошелъ къ старику, бережно, точно стаканъ, полный до верху, взялъ его подъ руку и повелъ въ домъ.

— Бр... бриться надо... вотъ!—сердито указывая на столъ, фыркнулъ Кирилло Григорычъ въ кабинетъ:—что же воды? а?

— Воды, сударь, не долго принести,—отвѣтилъ, вздыхая, Филатъ:—только ужъ лучше я самъ васъ побрѣю... Вонъ, у васъ какъ ручки дрожать...

— Самъ!...—закричалъ и затопать ногами Вечерѣевъ:—самъ!...

«Отчего не принести!—подумалъ Филатъ,—побалую его... Не зарѣжется же онъ при мнѣ, такъ-то, въ одинъ махъ...

па то у меня глаза...» Онъ, съ вывертомъ, въ одной рукѣ принеся стаканъ горячей воды, а въ другой полотенце и началъ точить бритвы.

— Самы! — повторилъ Вечерѣвъ:—самы! а ты стой на кра... на краулы! и смотри...

Филатъ подалъ барину мыльницу, щеточку и бритвы. Ему было и забавно со старикомъ и жутко. «Ну, какъ махнеть по горлу, какъ зарѣжется!» пробѣгало въ его головѣ.

Кирилло Григорьичъ удивилъ Филата. Не торопясь и точно соображая, что онъ дѣлаетъ, Вечерѣвъ выбрилъ себѣ обѣ щеки, бороду и усы, вымылъ щеточку, самъ умылся и причесался и, какъ бы вспомнивъ еще нѣчто неизбежное, тревожно и упорно сталъ всматриваться въ уголь, гдѣ стоялъ платяной шкафъ. «А, понимаю! одѣться хочетъ»... подумалъ Филатъ. Онъ досталъ изъ шкапа и подалъ барину черный, еще новый сюртукъ.

— Ннѣ... ннѣ! — обиженно, какъ малый ребенокъ, закричалъ и отвернулся въ сторону старикъ:—бѣ... бѣлый гдѣ?

«Вотъ память!» нагибаясь снова къ шкапу, удивился Филатъ.

Онъ вынулъ изъ ящика слежавшуюся, въ складкахъ, пижамную пару, встряхнулъ ее и съ усердіемъ помогъ барину одѣться.

Кирилло Григорьичъ успокоился. Напившись чаю, онъ постоялъ передъ письменнымъ столомъ, порылся въ бумагахъ, взялъ съ этажерки первую попавшуюся книгу, вышелъ на балконъ, усѣлся на диванъ, закурилъ сигару и принялся читать. Такъ онъ просидѣлъ здѣсь до обѣда.

### XXXVII.

## СОЛОВЬИ.

— Мнѣ какъ, значить, по моей препорціи, тутъ уже достаточно быть, — объявилъ, важничая передъ Филатомъ и приказчикомъ, краснощекий и толстый фельдшеръ Мосечтъ:— ставьте на мое мѣсто-съ другого... Я его, выходитъ, сюда предоставилъ, и моя препорція, какъ есть, потому, кончена-съ... А вы, тѣмъ временемъ, приготовьте мнѣ тройку, тарантасъ и благодарность...

— Благодарность, Иванъ Мосечтъ, вамъ не забудется! не такіе мы люди! — уговаривалъ фельдшера приказчикъ:—

только вы ужъ сдѣлайте ваше одолженіе, обождите. Мы дали знать барышнѣ; не нынче—завтра она прійдетъ и все, какъ быть тому должно, порѣшить.

— Сколько же чего прочаго намъ будетъ?—трунилъ развязный медикусъ:—тыща, али мелльонъ?

— Ну, мелльонъ—не мелльонъ, да и не тыща: а насчетъ всего прочаго будьте притомъ вполне благонадежны... Вотъ и Филатъ Иванычъ поручится. Барышня завтра безпремѣнно будетъ.

— Будетъ,—подтвердилъ и Филатъ.

Мосенчъ остался. Да и нельзя было ему, впрочемъ, не остаться.

Онъ уже глазомъ намѣтилъ на улицѣ нѣсколько смазливыхъ дѣвокъ и бабъ, густо намазливъ масломъ вихорь и виски и, выпустивъ поверхъ мундирнаго ворота воротнички рубахи, не спѣша, съ тросточкой, отправился на село.

Обѣдалъ Вечеревъ съ особымъ и нескрываемымъ удовольствіемъ. Онъ выпилъ не только рюмку стараго, отысканнаго Филатомъ въ подвалѣ венгерскаго, но и чашку кофе, съ густыми сливками. «Сливы... братецъ, сливочки! хорошо!» — весело ухмылялся старикъ, подмигивая стоявшему за его стуломъ Филату.

А послѣ обѣда Кирилло Григорычъ, какъ заснулъ съ книгой въ кабинетѣ, такъ и вечеръ наступилъ, совсѣмъ стемнѣло, и мѣсяцъ вырѣзался надъ садомъ, а онъ все спалъ—тихо и такъ спокойно, будто никогда отсюда и не выѣзжалъ.

Глядя на барина, и Филатъ, послѣ добраго угощенія у приказчика, хотя и далъ себѣ слово не пить и сторожить Кириллу Григорыча въ оба, такъ сладко и крѣпко соснулъ на стулѣ у входа въ кабинетъ, что, когда пробудился, на дворѣ уже было совершенно темно.

Онъ досталъ изъ жилета спичку, зажегъ ее, осторожно отворилъ дверь въ кабинетъ,—и еще болѣе испугался, чѣмъ утромъ: баринова постель опять была пуста. «Что за навожденіе!—подумалъ Филатъ,—и самъ теперь караулить, да не досмотрѣлъ... пропали наши головы! гдѣ его теперь искать?» Онъ обошелъ всѣ комнаты, заглянулъ на крыльцо, во дворъ и на балконъ и со всѣхъ ногъ бросился опять въ садъ.

Кирилло Григорычъ проснулся передъ тѣмъ около часа.

Не замѣтивъ Филата, спавшаго у дверей, онъ, при лунномъ свѣтѣ, заливавшемъ окна комнаты, прошелъ бібліотеку, оттуда въ коридоръ, постоялъ передъ дверью въ комнату покойной жены, вышелъ на цыпочкахъ на балконъ и сѣлъ на его ступенькахъ.

— Соловыи!..—прошепталь Кирилло Григорычъ, съ забившимся сердцемъ вслушиваясь въ звуки, то здѣсь, то тамъ рокотавшіе въ стемнѣвшемъ саду: — соловьи!—повторилъ онъ, робко вглядываясь въ сумрачныя просѣлки аллеи.

Душистый, свѣжій воздухъ ночи живительной волной хлынулъ въ грудь старика. Что-то какъ бы охватило его, нѣжно обняло и стало баюкать... Онъ склонилъ голову на колѣни и тихо заплакалъ...

— Ге... Гендель! — зашепталь онъ въ сладкомъ ужасѣ, идя навстрѣчу соловьиныхъ голосовъ: — мистификація! мистификація!...

Онъ миноваль одну дорожку, другую, забрался въ глубину сада, прошелъ въ садъ и опять возвратился на балконъ. Лицо его было блѣдно, встревожено. Въ глазахъ свѣтился страшный огонь. Онъ бережно, точно ожидая чего-то рокового и неизбежнаго, вошелъ въ залу, заглянулъ во всѣ ея углы, постоялъ передъ роялемъ, вынесъ изъ кабинета длинный, китообразный ящикъ, вынулъ оттуда віолончель, сѣлъ съ ней подъ хорами, тронулъ ее смычкомъ и, сердито и важно покачавъ головой, началъ ее строить.

Прошло еще нѣсколько мгновеній...

Не найдя барины въ саду, Филатъ рѣшился снова поискать его въ домѣ. Запыхавшись, вбѣжалъ онъ на балконъ, взялся за ручку двери въ гостиную и остолебѣлъ: изъ залы раздавались звуки музыки.

Волосы шевельнулись на головѣ Филата. — «Что, какъ это домовое?» — подумаль онъ, творя крестныя знаменія и чуть держась на ногахъ. Музыка не прекращалась. Филатъ вошелъ въ гостиную, опять перекрестился и заглянулъ въ залу.

Тамъ, подъ хорами, освѣщенный луной, въ бѣлой пижамной парѣ, сидѣлъ Кирилло Григорычъ. Ухвативъ худыми колѣнями віолончель, онъ робкой, дрожавшей отъ волненія рукой водилъ по струнамъ и дико, сурово глядѣлъ передъ собой, не замѣчая крупныхъ, бѣжавшихъ по его лицу слезъ. Онъ играль любимую, торжественную и мрачную кантату Генделя...

Филать не зналъ, что ему дѣлать: слушать ли, не мѣшал барину? провалиться ли отъ страха сквозь землю? звать ли кого на помощь?

Въ это мгновеніе со двора ясно послышался стукъ колесъ и легкое погромыхиваніе экипажа. Филать, чтобы не испугать барина и встрѣтить прѣзжаго, выскочилъ на балконъ и черезъ садъ опрометью бросился къ дворовому крыльцу. Но онъ опоздалъ...

Кто-то уже быстро вошелъ въ переднюю, прислушался, тронулъ ручку двери въ залу и, не отворяя ее, остановился.

Дверь скрипнула...

Кирилло Григорычъ пересталъ играть. Онъ смутно слышалъ шелестъ чьихъ-то сперва робкихъ, потомъ торопливыхъ шаговъ. Что-то дорогое, забытое, точно нѣкій неземной духъ, въ сверкающемъ, какъ показалось Вечерѣву, облакѣ и съ протянутыми впередъ руками, выступило на порогъ прихожей, стремительно подбѣжало къ старику, склонилось къ его ногамъ и съ глухими, порывистыми рыданіями страстно обхватило его колѣни.

— Аглая, Аличка! ты ли это? — надорваннымъ, радостнымъ голосомъ, всхлипывая, вскрикнулъ старикъ.

Онъ всталъ, приподнялъ дочь, прижалъ ее къ груди, не выпуская изъ объятій и пристально глядя въ нее, прошепталъ: «нѣтъ, нехорошо видно! сюда, сюда!» и, взявъ ее за руку, нѣжно увлекъ на балконъ.

— Такъ, такъ! — проговорилъ онъ, осыпая ее поцѣлуями и усаживая на ступенькахъ, рядомъ съ собой: — теперь вижу, это ты! моя! моя дорогая...

Аглая обезумѣла отъ восторга. Отецъ теперь ее узналъ. Она глядѣла на него и не имѣла силъ выговорить слово.

— Такъ это тебя, плутовка, тебя принесъ сюда этотъ... огненный крылатый конь? — спросилъ старикъ, еще крѣпче притискивая къ груди дрожащую въ его объятіяхъ Аглаю: — смотри, смотри: вонъ, онъ, вонъ, мечетъ пламя, мечетъ! — продолжалъ онъ, морщинистой, костлявой рукой указывая на темное взгорье; поверхъ котораго въ то время, свистя, гремя и разсыпая на небѣ вороха блестящихъ искръ, тянулся желѣзнодорожный поѣздъ...

На утро въ Дубки, на двойной подставѣ лошадей, былъ вызванъ докторъ Милунчиковъ. А черезъ день эстафетами и

телеграммами Аглая изъ губернскаго города пригласила еще нѣсколько лучшихъ врачей. Былъ составленъ консилиумъ.

Медики освидѣтельствовали Кирилу Григорыча, спросили о всѣхъ подробностяхъ его болѣзни и лѣченія и объявили Аглаѣ, что хотя ея отецъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ его пріѣздъ въ деревню, и пришелъ въ себя, но это еще не все. Ему слѣдовало принять новый, продолжительный и нелегкій способъ лѣченія.

— Берегите его, какъ зѣницу ока,—сказали Аглаѣ врачи:—что-нибудь навѣрное рѣшить нельзя. Но, при вашихъ усиліяхъ, онъ можетъ значительно поправиться.

— Что же для этого надо сдѣлать?—спросила Аглая.

— Везите его въ теплые края, напримеръ, въ Швейцарію, или въ Италію.

— Надолго ли?

— Этого опредѣлить нельзя. Можетъ случиться, что способъ лѣченія потребуетъ и постоянного тамъ пребыванія отца.

Аглая задумалась.

— Но можно ли надѣяться, можно ли предполагать,—спросила она:—чтобы отецъ могъ выздороветь окончательно?

— По словамъ Эскироля,—отвѣтилъ Аглаѣ Милунчиковъ:—слѣдуетъ, какъ можно болѣе, стараться объ удлинении свѣтлыхъ промежутковъ въ состояніи ума душевнобольныхъ. У вашего отца явился такой промежутокъ. Онъ какъ узналъ, радъ вамъ, незамѣтно возвращается къ прежнимъ занятіямъ. Вамъ остается быть его охраной. Берегите его, не дайте безсвѣдно погибнуть тому, чего вы теперь дождались. Временной лучъ свѣта можетъ снова и навсегда угаснуть...

Врачи еще потолковали и разѣхались.

Въ помѣщеніи приказчика или иныя разсужденія.

— Это я его, господа, выгвѣчилъ,—утверждалъ нѣсколько подгулявшій на прощанье фельдшеръ Мосейчъ:—такъ было и съ другимъ бариномъ въ одномъ полку. Помѣшался онъ, сказать, на томъ, что быдто проглотилъ семь воевъ съ сѣномъ, и все ждалъ, быдто ему допнуть. Ну, я догадался, да, такъ сказать, подъ вечеръ и посадилъ его у окна надъ воротами, а со двора велѣлъ выѣзжать зараньше приготовленнымъ возомъ съ сѣномъ. Считалъ этотъ баринъ, считалъ, да какъ вздохнетъ: слава тебѣ, Господи! говорить,—маленечко точно ослобонился...

XXXVIII.

Непогрѣшимые.

По возвращеніи въ Москву, Ветлугинъ не очень охотно принимался за прерванный адвокатскія дѣла.

Столешиниковъ передалъ ему содержаніе полученныхъ въ его отсутствіе бумагъ и торопилъ скорѣе браться за предлагаемый ему процессъ Ченшиныхъ противъ Ключкова.

— Дѣло о растратѣ большого капитала!—горячился, уговаривая его Столешиниковъ:—а ты медлишь... Ну, подумай,—этакіе процессы выпадаютъ рѣдко. Другой ухватился бы обѣими руками... Какой волкъ идетъ въ тенѣта... Петька проклятый... Сколько потрудиться можно! сколько негодяевъ упечь въ тюрьму, а, можетъ-быть, и въ каторгу... Какіи рѣчи, наконецъ, можно произнести...

Ветлугинъ слушалъ товарища, расспрашивалъ о тѣхъ или другихъ, выяснившихся изъ переписки частностяхъ дѣла, браться же за него еще не рѣшался.

— Да ты только подумай,—убѣждалъ его Столешиниковъ:—дѣло противъ Ключкова! противъ анаемскаго господчика, котораго давно пора разоблачить... А потомъ—сколько уголовщины, сколько, навѣрное, замѣнано другихъ подобныхъ тузовъ... Поддѣлка счетовъ, купленные свидѣтели,—да какіе!

— Вотъ, потому именно, что противъ Ключкова, —отвѣчалъ Ветлугинъ:—я и боюсь, какъ бы не вдаться въ крайности, какъ бы не увлечься личною къ нему ненавистью и не проглядѣть изъ-за нея главной сути дѣла... А потомъ—что у тебя за страсть къ громкимъ уголовнымъ процессамъ? Неужели ты не замѣчалъ, что большинство ихъ у насъ кончается, вообще, ничѣмъ?

Ветлугинъ медлил съ принятіемъ предложеннаго ему процесса и еще по одной причинѣ.

Вслѣдъ за возвращеніемъ въ Москву, онъ получилъ отъ своихъ бывшихъ хозяевъ-сибиряковъ, около двухъ лѣтъ почти не вспоминавшихъ его, такое дружеское письмо, что поневолѣ задумался и съ недоумѣніемъ сталъ поглядывать вокругъ себя. На него повѣяло иными, давно забытыми впечатлѣніями, востокомъ, Сыръ-Дарьей.

«Ужъ не бросить ли Москву и ея развитые, толкущіе воду кружки, адвокатуру, слугъ спячки, слугъ Ваала, сло-



вомъ, все?—разсуждалъ Ветлугинъ:—и не возвратиться ли въ когда-то излюбленные, суровыя и дикія, но полныя перво-бытной красоты мѣста?»

«Первѣе всего, всенижающе,—писали Ветлугину его сибирскіе пріятели,—посылаемъ вамъ, досточтимый нами, названный братецъ, Антонъ Львовичъ, наше сугубое почитаніе и усердѣйшій поклонъ. Молимся, да пошлетъ вамъ Христосъ Господь много лѣтъ жизни и всякое, по твоимъ добрымъ дѣламъ, счастье. О себѣ скажемъ наперво: не по грѣхамъ нашимъ попускаетъ намъ Господь. А дѣла наши, опять-таки, благодаря вамъ, таковы, что вошли въ кунпанію съ Суждальцевыми и уже полъ-ста верблюдовъ посылаемъ съ товарами въ Калганъ. Вернутся эти съ барышемъ, готовимъ же и еще полъ-ста, а то и болѣ. Эй, Антонъ Львовичъ, батюшка! брось Москву и переѣзжай къ намъ же опять. Съ Китайцемъ тихо. Бухарець по низамъ тоже потишалъ; потишалъ же и коканецъ. Таперича, абы товаръ, рвутъ нарасхватъ. Прохоровски ситцы съ аленькими капидонцами, да съ дровомъ ланбарданъ, куды супротивъ аглицкихъ имъ, азіатамъ, по душѣ. Больно ходки. Молчановски платки съ драконами, да съ пукетцами, ходки жъ и не насталихся. Братецъ Василей онамедни опять прииошлъ съ Низовъ, отъ Ярленя, отъ Небесныхъ горъ. Что за климаты, сказываетъ, что за теплынь тамотко и всяка табѣ роскошь. Три ночи спать не давалъ, тѣ мѣста хвалячи... Брешеть, былъ отъ аглицкой Индіи не боля, что отъ Танбова до Москвы. Ай, мѣста, сказываетъ, мѣста!.. Али лѣсовъ табѣ, али всякаго жита. Травы, брешеть, ростомъ по горбъ верблюжій. А горны-студены воды, а воздухъ, хоть бы и въ раю. Стонетъ желтенька китайска голубица. Олени тоятъ, фазаны, козы дикія, а напримѣръ даже львы. Есть, гдѣ нажить, а есть, гдѣ и поохотиться: это хоть бы и твоему благородію. Народъ, сказываетъ, добръющій, тихій такой. Высылетъ это, аки стадо овецъ, изъ своихъ мазанокъ, глазѣтъ, щупаетъ-то за руки, за платья,—а товаръ ему только подавай. Вѣришь ли, верблюдамъ наши молодцы чайные листья въ тѣхъ лѣсахъ въ кормъ давали. Эй, баринъ, пріѣзжай. Подождемъ вашего отвѣта до весны. согласишься, — новый караванъ, въ сто, а не то и въ два ста верблюдовъ прямо подъ твое начало отдадимъ. Не выберешься жъ веснѣ, пріѣзжай на лѣто, или

хопа къ осени. И тому будемъ, передъ Богомъ, вотъ какъ рады.—Савва Уткинъ».

Это письмо взволновало Ветлугина.

День и ночь думалъ онъ о немъ и, чтобы не смущать окончательно Столешникова, не сообщилъ ему его содержанія.

Все теперь стало въ Москвѣ казаться Ветлугину бѣднымъ, ничтожнымъ, блѣднымъ и даже какъ бы чужимъ. Его душа рвалась къ дикимъ, пустыннымъ мѣстамъ, къ простымъ и неразвитымъ, отважнымъ товарищамъ его недавняго прошлаго.

«Отца я устроилъ, — думалъ онъ, — съ родиною, съ нею также все кончилъ. Что же меня здѣсь еще привязываетъ? Кому и чему я особенно пригоденъ? Говоруновъ... ихъ не мало и безъ меня!.. Да что выходитъ изъ ихъ словъ? Негромкаго же, обыкновеннаго, но прочнаго и настоящаго дѣла здѣсь мнѣ нѣтъ по душѣ... Кончено!.. Сдамъ дѣла Столешникову. Это будетъ по немъ. Не даромъ у него проявилось такое рвеніе къ судамъ, а въ особенности къ произнесенію защитительныхъ рѣчей. И говорить онъ, надо отдать ему справедливость, весьма складно, а подчасъ даже и откровенно зло... Пусть тѣшится»...

Не такъ объ этомъ предметѣ разсуждалъ Столешниковъ.

Видя, что Ветлугинъ, по возвращеніи отъ отца, замѣтно охладѣлъ къ своему ремеслу, Аввакумъ Андреевичъ не могъ придти въ себя отъ досады и удивленія: метался, дулся, спорилъ или бѣшено и уже безъ всякаго удержу ругался.

— Да ты что, наконецъ, думаешь о себѣ? — восклицалъ Столешниковъ: — ты — крайнихъ мнѣній человѣкъ, такъ тебя и по головкѣ гладить?

— Я этого не прошу. Да и съ чего ты взялъ, что я — человѣкъ крайнихъ мнѣній?

— Не то, не то! погоди, не горячись! — не слушая его, запальчиво кричалъ Столешниковъ: — я тебя, братецъ, давнѣе оцѣнилъ. Знаешь ли ты себѣ цѣну? а? знаешь ли? Ты — баба, свайка, или, какъ самъ же ты выразился, свайный человѣкъ... Ты измѣняешь своему долгу, совѣсти, призванію; начинаешь мириться съ средой... И ты полагаешь, послѣ этого, что я смолчу? Эхъ, братъ, не ожидалъ я отъ тебя... да что!..

Аввакумъ отвернулся и неуклюже вытеръ рукавомъ слезу.

— Если ты на себя одного, — сказалъ онъ: — не хочешь

брать дѣла Ченшиныхъ противъ Ключкова... пусти туда меня... ужъ, я, вѣрь, не сплеховаль бы...

«А чтѣ, въ самомъ дѣлѣ, пушу я въ этотъ процессъ Столешникова!—подумаль Ветлугинъ,—малый онъ честный, въ дѣлѣ понаторѣль и не ударить лицомъ въ грязь».

— Хорошо,—сказаль онъ:—одному мнѣ съ этимъ сложнымъ дѣломъ не управиться. Если ты такъ добръ и самъ вызываешься, я охотно беру тебя въ долю...

Столешниковъ не вѣрилъ тому, чтѣ слышалъ.

— Какъ?—обрадовался онъ и весь просіяль: — такъ ты не шутишь? ты въ самомъ дѣлѣ?

— Все не шучу. Завтра же, если на то пошло, возьму довѣренность отъ наслѣдницъ Ченшиныхъ. А ты поѣзжай на мѣсто, собирай справки, разспрашивай свидѣтелей, выслѣди; изучи все по документамъ и привози данныя для начатія дѣла. Я составлю заявленіе прокурору, а когда утверждать обвинительный актъ и дѣло назначится къ слушанію въ судъ, я, если пожелаешь, охотно устрою тебѣ и возможность раздѣленія со мной защиты на судъ, представлю участіе въ судовомъ рѣшеніи, въ рѣчахъ...

— Что же? или одинъ робѣешь?—съ удивленіемъ покосилася Аввакумъ на пріятеля.

— Нѣтъ, не робѣю. А ужъ ты слышалъ отъ меня: я не чувствую особаго призванія къ искусству твоего бога, Демосеена.

Восторгу Столешникова не было предѣловъ.

Онъ, со всѣмъ усердіемъ и съ безграничной вѣрой въ успѣхъ взялся за дѣло, которому корреспонденты газетъ и всѣ знавшіе о немъ на мѣстѣ пророчили славу одного изъ любопытѣйшихъ уголовныхъ процессовъ.

Наслѣдницы дѣвицы Ченшины вручили Ветлугину довѣренность и возвратились въ Петербургъ, гдѣ одна изъ нихъ служила при телеграфѣ, а другая была учительницей въ женской гимназіи. Столешниковъ, снабженный наставленіями и письмами Ветлугина, уѣхаль изъ Москвы.

Это было въ концѣ декабря 1871 года.

Вплоть до весны 1872 года, Аввакумъ Андреечъ лишь изрѣдка подаваль о себѣ вѣсти, безъ усталы и втихомолку работаль надъ собираніемъ предварительныхъ справокъ. Въ концѣ апрѣля онъ возвратился въ Москву. Въ началѣ мая

Ветлугинъ составилъ прошеніе на имя прокурорскаго надзора. Искъ противъ Ключкова былъ начатъ. Слѣдствіе было поручено судебному слѣдователю по особымъ важнымъ дѣламъ, который весьма удачно спросилъ первыхъ указанныхъ ему свидѣтелей. Уликъ по дѣлу открылось немало. Въ началѣ іюня Столешниковъ опять уѣхалъ на родину Ветлугина, такъ какъ въ это время слѣдователь сталъ готовить дѣло къ отсылкѣ на разсмотрѣніе и рѣшеніе прокурорскаго надзора.

Усердно слѣдя за ходомъ слѣдствія, Столешниковъ нигдѣ, кромѣ Льва Саввича да семьи Фокиныхъ, не показывался, держалъ себя осторожно и трепеталъ за малѣйшіе недосмотры въ разслѣдованіи дѣла. Какъ онъ ни хлопоталъ о соблюденіи тайны, дѣло это, однако, стало получать общую извѣстность. Въ газетахъ начали появляться о немъ сперва краткіе намеки, а вскорѣ и цѣлыя статьи. Ветлугинъ читалъ ихъ и, невольно подозрѣвая въ ихъ сочинительствѣ петербургскаго и не въ мѣру горячаго Столешникова, писалъ ему изъ Москвы строгія и назидательныя внушенія. Столешниковъ, въ отвѣтъ ему, клялся всѣми богами, что онъ тугъ ни причеиъ,—и, еще болѣе замыкаясь въ себя, старался быть осторожнымъ и сдержаннымъ.

Такъ прошло время до начала іюля.

На возобновившіяся съ лѣтомъ письма сибирскихъ друзей Ветлугинъ отвѣчалъ одно: «подождите, господа: дайте покончить главнѣйшія изъ довѣренныхъ мнѣ дѣлъ и тогда ждите. Полагаю, что выѣду къ вамъ никакъ не далѣе наступающей осени».

Объ отъѣздѣ Аглаи изъ монастыря и о счастливой переимѣнѣ въ состояніи здоровья ея отца Антона Львовича никто не извѣщалъ. Это было условлено между Львомъ Саввичемъ и Фокиными, въ тѣхъ видахъ, чтобы Антонъ Львовичъ попусту не терялъ своихъ чувствъ тамъ, гдѣ, по ихъ убѣжденію, не могло быть успѣха. Со Столешникова, въ этомъ случаѣ, было взято слово молчать, и онъ это слово выполнялъ охотно.

Странная, между тѣмъ, и совершенно необъяснимая вѣсть дошла въ послѣднее время до свѣдѣнія Ветлугина.

Въ одномъ изъ писемъ къ Антону Львовичу, Фокинъ, толкуя о томъ, о семъ—о Львѣ Саввичѣ, о своихъ дѣлахъ, и вообще, о мѣстныхъ новостяхъ, обмолвился, между про-

чимъ, слѣдующими словами: «все бы хорошо, только я сильно скучаю отъ продолжительнаго отсутствія моей жены».

«Что за странность! гдѣ же это его жена?» подумалъ Антонъ Львовичъ.

Мысли Ветлугина невольно опять улетѣли туда, гдѣ были отецъ Адріанъ, монастырь, она... Онъ сталъ разспрашивать пріѣзжихъ съ родины, но еще болѣе запутался въ догадкахъ; одни говорили, что старикъ Вечерѣвъ умеръ; другіе, что онъ окончательно выздоровѣлъ, но что его дочь сильно заболѣла и онъ ее куда-то увезъ. Какъ всегда, плелись всякія небылицы.

Вслѣдствіе того, первыми же словами, въ ближайшемъ письмѣ Ветлугина къ отцу, была просьба о разъясненіи непонятныхъ словъ Фокина. Левъ Саввичъ увидѣлъ, что долѣе скрывать извѣстія объ отѣздѣ Аглаи изъ монастыря было излишне. Онъ отвѣтилъ, что, — за нескончаемыми хлопотами со школой, которую въ первые же мѣсяцы ея существованія за что-то чуть не закрыли, — онъ давно не видѣлся съ Фокинымъ, а навѣстивъ его, узналъ слѣдующее.

«Доктора—писалъ сыну Левъ Саввичъ — посоветовалъ Аглаѣ Кирилловнѣ везти ее отца въ болѣе теплые края. Она охотно на это согласилась. Въ сопровожденіи кормилицы, уѣзднаго врача Милунчикова (очень хвалятъ молодого человѣка: онъ первый помогъ и Ченшинымъ въ раскритіи продѣлокъ Клочкова) и отпущенной мужемъ Афросиньи Адріановны Фокиной, — Аглая, въ концѣ минувшей весны, оставила здѣшнія мѣста и повезла Кирилу Григорыча за-границу. Были они на югѣ Франціи, были, кажется, и въ Италіи. Теперь, съ половины іюля, живутъ гдѣ-то въ Швейцаріи. Старикъ Вечерѣвъ, какъ говорятъ, окончательно пришелъ въ себя и начинаетъ замѣтно оправляться: гуляетъ, читаетъ. Его изрѣдка возятъ въ концерты и даже въ театры (послѣдніе, впрочемъ, онъ посѣщаетъ въ сопровожденіи Фокиной, а не своей дочери). Вспомнилъ онъ и прежнее любимое занятіе—иногда играетъ на віолончели. Страдалъ онъ, правда, въ началѣ, нѣкоторымъ отсутствіемъ памяти; но теперь, по словамъ Фокиной, и это прошло. Ай-да медицина. Вотъ ей и не вѣрь. Я и самъ думаю прибѣгнуть къ врачамъ: три зуба только сохранились; хочу вставить новые. Кстати о нашихъ друзьяхъ. Фокинъ сначала охотно отпустилъ въ такой дальній путь свою жену.

А теперь тоскуетъ, просить ее, чтобы скорѣе возвращалась, и жалуется, что ничего не подблаетъ съ дѣтишками. Знакомые тебѣ близнецы—Ганя и Даня—не слушаютъ его и рѣшительно не даютъ ему покоя. На-дняхъ, представь, они изрѣзали въ клочки забытую Фокинымъ счетную банковую книгу, устроили изъ ея обрѣзковъ костеръ, гдѣ-то достали спичекъ и зажгли его. Банковья дѣла, впрочемъ, у насъ идутъ такъ, что и всѣ бы ихъ книги слѣдовало пожечь. Но при этомъ чуть не сгорѣла квартира Фокина, а съ нею и все его добро. Онъ мнѣ самъ это все со страхомъ и презабавно рассказывалъ, и усердно кланяется тебѣ».

«Такъ вотъ гдѣ теперь Аглая!—подумалъ Ветлугинъ—отчего же мнѣ объ этомъ, въ свое время, никто не сообщил? Ужъ не больна ли сама Аглая?»

Антонъ Львовичъ въ тотъ же день написать Фокину, умоляя его объяснить ему подробно все происшедшее въ семействѣ Вечерѣвыхъ. Фокинъ на это письмо не отвѣчалъ ему болѣе недѣли. Наконецъ, онъ прислалъ пространный отвѣтъ. Въ подтвержденіе же своихъ словъ, приложилъ и нѣкоторые изъ писемъ жены, прося Ветлугина возвратить ихъ, по прочтеніи того, что въ нихъ было очеркнуто карандашомъ,

Фокинъ писалъ слѣдующее:

«Тысячу разъ извиняюсь передъ вами, многоуважаемый Антонъ Львовичъ, что оставлялъ васъ такъ долго въ невѣдѣніи всего, что произошло за это время въ семействѣ Вечерѣвыхъ. Но, если вы узнаете причину моего на этотъ счетъ молчанія, то — нѣтъ сомнѣнія — хоть отчасти меня оправдаете. Письмо мое будетъ обширно. Зато я въ немъ изложу все до мелочей.

«Дѣло въ томъ, что Аглая Кирилловна, увезя своего отца за границу, дѣйствительно сдѣлала доброе дѣло. Отецъ, вѣроятно, ей будетъ обязанъ своимъ окончательнымъ выздоровленіемъ. Что же касается до нея самой, то здѣсь рѣчь другая. Я всегда опасался, что въ чужихъ краяхъ она можетъ подвергнуться тѣмъ же роковымъ вліяніямъ, которыя чуть не безвозвратно погубили ее въ Россіи. Это-то обстоятельство и было причиной тому, что я не спѣшилъ васъ увѣдомлять объ оставленіи Аглаей Кирилловной монастыря и объ отъѣздѣ ея изъ нашихъ мѣстъ. Я ждалъ вѣстей отъ жены. Но эти вѣсти таковы, что васъ порадовать не мо-

гутъ... Кому же охота прибавлять уважаемымъ людямъ новую горечь къ старой?

«Начну съ того, что мнѣ сообщила жена, съ третьяго же, если даже не со второго своего письма. Наши странники въ то время оставили Біарицъ и, по преподанному имъ плану парижскихъ докторовъ, для развлеченія больного, черезъ Марсель, моремъ уѣхали въ Италію. Какъ Германію, такъ и Францію Аглая Кирилловна проѣхала почти равнодушно. Съ вашего позволенія, я вдамся здѣсь въ небольшой разборъ ея душевныхъ впечатлѣній. Въ Берлинѣ, Мюнхенѣ и Вѣнѣ она останавливалась для совѣщаній съ знаменитыми психіатрами, но не прочь была и отъ нѣкоторыхъ развлеченій: каталась съ моей женой, посѣщала картинныя галлеи, музеи, окрестности. Парижъ ей не понравился: его шумъ, блескъ и суета раздражали ее. Она съѣздила только въ церковь Богоматери и св. Евстафія, да на могилу епископа, разстрѣленного въ послѣднюю осаду Парижа, и болѣе ни на что не хотѣла и взглянуть. Зато, съ первымъ шагомъ на почву Италіи, она точно переродилась. Римъ произвелъ на нее сильное и глубокое впечатлѣніе. Она съ отцомъ и съ моей женой, а потомъ и сама, въ сопровожденіи Егоровны и комиссіонера, стала усердно посѣщать храмы и развалины вѣчнаго города. Базилика Петра, недоконченный соборъ Павла и церкви нѣкоторыхъ изъ монастырей поразили ее своимъ величіемъ и красой. Изъ Ватикана она не выходила по цѣлымъ утрамъ, просиживала передъ произведеніями Рафаэля, Тиціана и да-Винчи. Жена пишетъ, что католическое богослуженіе, съ искусной, артистической игрой на исполнскихъ органахъ, серебряными трубами, оглашающими своды римскихъ храмовъ, потрясло Аглаю Кирилловну до глубины души.—«Боже мой», шептала она моей женѣ, вся умиленная и взволнованная: «слышишь, Фросинька, слышишь? Развѣ это похоже, — прости Господи,—на пѣніе тамъ, въ нашихъ церквяхъ?...» Во время одного изъ такихъ служеній, въ уединенной церкви монастыря обсервантовъ, или босоногихъ кармелитовъ, Аглая Кирилловна была особенно поражена... Проповѣдь ли служившаго патера, пѣніе ли оборванныхъ, косматыхъ обсервантовъ, мрачный ли хоралъ въ клубахъ кадилаго дыма, исполненный на органѣ какимъ-то замѣчательнымъ, случайно приглашеннымъ въ эту церковь артистомъ, или соб-

ственное настроеніе Аглаи такъ подѣйствовали на нее... Только она, сперва порывисто, шопотомъ, что-то все восклицала, похолодѣвшими руками хватаясь за руки моей жены. Потомъ стала рыдать и, наконецъ, почти безъ памяти, въ обморокъ, была увезена моею женою изъ этой церкви домой. Римъ и на Кириллу Григорыча произвелъ глубокое впечатлѣніе. У него даже возвратились-было припадки безсонницы и тоски. Милунчиковъ настоялъ на выѣздѣ Вечеревыхъ изъ Рима. Это нѣсколько успокоило и поправило Аглаю Кирилловну. А жизнь въ Швейцаріи могла бы и окончательно пророчить ей успокоеніе и излеченіе. Но, къ сожалѣнію, и тамъ Аглаю Кирилловну встрѣтили впечатлѣнія далеко не утѣшительнаго свойства».

«А именно, едва они поселились на берегу Женевского озера, сперва въ Люзаннѣ, потомъ въ Монтрѣ, какъ откуда ни взялись у нихъ зѣакомства и съ католическими монахинями, и съ католическими аббатами. Монахиня моя жена и Милунчиковъ успѣли кое-какъ въ началѣ же сплавить. Зато одинъ аббатъ, какой-то перъ-Жакъ, пріѣхавъ за ними по слѣдамъ изъ самаго Рима, поселился не только въ томъ же Монтрѣ, но и въ ближайшемъ къ нимъ пансіонѣ Лебедя. Съ первыхъ же двей перъ-Жакъ началъ носить Кириллѣ Григорычу ноты для віолончели, а Аглаѣ Кирилловнѣ духовныя католическія книги. Потомъ онъ сталъ у нихъ по вечерамъ играть на флейтѣ, а передъ завтракомъ съ Кирилломъ Григорычемъ садиться за шахматы; приносилъ имъ и читалъ Штофельсовъ «Новый апокалипсисъ», «Исторію одной души» аббата Женуда, «Страданія сестры Эммерихъ» и пр., и пр. Онъ не приминулъ ознакомить своихъ новыхъ друзей и съ современными гоненіями на ватиканскій престолъ, равно какъ и съ послѣдними аллокуціями святаго отца. Словомъ, этотъ аббатъ вскорѣ у Вечеревыхъ сталъ почти домашнимъ челоѣкомъ. Явной опасности отъ него моя жена еще не видитъ. Но она пишетъ, что чуть не всякій день совѣтуетъ Аглаѣ Кирилловнѣ устроить посѣщенія назойливаго аббата; а въ послѣдній разъ даже объявила, что если та еѣ не послушаетъ, моя жена броситъ ихъ и уѣдетъ обратно въ Россію. Докторъ Милунчиковъ поступилъ энергичнѣе. Открыто разсорясь съ аббатомъ въ какомъ-то спорѣ о Россіи, онъ сдалъ Кириллу Григорыча на руки другому, извѣстному врачу (усердному и честному, какъ пишетъ жена,



нѣмцу Фоссу), а самъ постигшилъ въ наши мѣста, куда благополучно и прибылъ уже болѣе двухъ недѣль назадъ».

Ветлудинъ съ большимъ вниманіемъ дочиталъ письмо Фокина и наскоро сталъ просматривать отмѣченные послѣднимъ мѣста въ письмахъ его жены.

Эти отрывки состояли въ слѣдующемъ:

«10 (22) іюля. *Монтрё. Pension Suisse.*—Сегодня вечеромъ опять сидѣлъ у насъ этотъ французикъ, перъ-Жакъ, раздущенный, въ батистовыхъ маншетахъ и бѣлѣйшемъ воротничкѣ. Глядя на голубыя горы и заходящее солнце, онъ сперва толковалъ о паденіи человѣчества вообще и о новомъ искупленіи его молитвами Ватиканскаго Намѣстника Христа въ особенности. Потомъ перешелъ къ обрисовкѣ, какъ онъ выражался, созданной изъ плача, вздоховъ и любви, неземной личности самого Спасителя. Онъ говорилъ плавно, вкрадчиво, краснорѣчиво. Глаза его горѣли. «Не чувствуете ли вы», тихо и грустно обратился блѣдный аббатъ къ Аглаѣ, сидѣвшей за работой въ полуосвѣщенномъ углу: «не чувствуете ли вы на себѣ,—когда остаетесь оди́нъ въ пустомъ, молчаливомъ храмѣ, — грѣющихъ лучей божественныхъ глазъ Христа?» Тутъ, полузакрывъ черные, лучистые глаза, онъ вздохнулъ и началъ сперва робко, потомъ огненными, смѣлыми красками объяснять вліяніе на человѣческое сердце образа Спасителя. «Вотъ — блѣдныя, нѣжныя руки, которыя вѣчно бы я цѣловалъ», — говорилъ перъ-Жакъ, робко простирая передъ собой красивыя, почти женской бѣлизны, въ тончайшемъ батистѣ, раздущенныя руки. «Вотъ кроткій, задумчивый, измощенный невыразимыми страданіями, но полный вѣчной, всепобѣждающей красоты ликъ, который обожать и передъ которымъ въ трепетѣ благоговѣть я готовъ день и ночь», груднымъ, страстнымъ голосомъ шепталъ онъ, вглядываясь въ лицо потрясенной и безмолвно внимавшей ему Аглаи.—Можешь себѣ представить, какое впечатлѣніе этотъ аббатъ произвелъ сегодня на нее, да отчасти и на всѣхъ насъ...».

«15 (27) іюля. Перъ-Жакъ вчера былъ у насъ снова. Кирилло Григорычъ игралъ на виолончели; аббатъ, по обыкновенію, вторилъ ему на флейтѣ. Потомъ всѣ мы катались на лодкѣ по озеру. Аббатъ, со слезами на глазахъ, рассказывалъ о злодѣяхъ, ведущихъ войну противъ бѣднаго «нищаго», противъ «Ватиканскаго плѣнника» и представъ —

ни съ того, ни съ сего—начать увѣрять, что католичество—то же православіе... Какъ я ни слаба въ догматахъ, но я вспомнила уроки батюшки и рѣзко ему возразила. Тогда онъ передалъ извѣстіе о патерѣ Гіацинтѣ, который, какъ ты знаешь, всенародно объявилъ о своемъ вступленіи въ бракъ съ любимой женщиной. «У васъ» сказалъ онъ: «изстари для духовенства допускаются браки; то же вскорѣ будетъ и у насъ. Мы въ недалекомъ будущемъ сольемся съ вами во всемъ. Вѣдь русскіе—это французы Востока...»—Перейдя къ сравненію монастырскихъ уставовъ русскихъ и католическихъ, перъ-Жакъ, впрочемъ, отдалъ предпочтеніе послѣднимъ, такъ какъ они содѣйствуютъ образованію народа. «Перебѣжайте на зиму снова въ Римъ»,—сказалъ онъ на прощанье Кириллѣ Григорычу: «я тоже буду тамъ зимовать и покажу вамъ, сколько наши монастыри трудятся на пользу просвѣщенія всѣхъ и каждого».

«18 (30) іюля. Вчера почти весь день Аглая не выходила изъ своей комнаты. Сегодня утромъ я вошла къ ней невзначай и застала ее за чтеніемъ принесенныхъ аббатомъ послѣднихъ брошюръ извѣстнаго мистика и спирита, Аглана Кардека. Оказывается, что перъ-Жакъ — не только аббатъ, но еще спиритъ и духовидецъ. Это меня взорвало. Я спросила Аглаю, зачѣмъ ей подобныя книги и неужели ее занимаетъ вся эта непроходимая и обидная для всякаго неглупаго человѣка—чепуха? Она отложила брошюры, молча подошла къ окну и долго смотрѣла на горы и на озеро. Потомъ также молча она вышла въ общую комнату, гдѣ въ это время Кирилло Григорычъ доигрывалъ партію въ шахматы съ аббатомъ. Я пошла вслѣдъ за Аглаей. Рядомъ съ аббатомъ сидѣлъ еще какой-то «непогрѣшимый» свѣтскій, длинный и молчаливый, съ тусклыми, безжизненными глазами. Это былъ москѣ Серизье, какъ я узнала потомъ, изгнанный изъ Германіи іезуитъ. Насъ начинаютъ, по чьему-то незримому распоряженію, окружать точно изъ-подъ земли растущія фигуры разныхъ мистическихъ проходившихъ. Аглая иногда, кажется, и понимаетъ ихъ намеки и подходы. Два дня назадъ она даже нервно расхохоталась, вспомнивъ, въ разговорѣ со мной, одно изъ таинственныхъ и вмѣстѣ пошлыхъ признаній перъ-Жака о томъ, что въ домѣ его матери, гдѣ-то въ Перигѣ, при немъ плясали каструли и до потолка поднимался кухонный столъ. По его

словамъ, онъ зачастую слышитъ голоса духовъ. А недавно, ночью, уже здѣсь, въ Монтрѣ, сама собой будто бы въ его комнатѣ заиграла флейта, и кто-то въ бѣлой мантии, впотъмахъ, подошелъ къ столу, развернулъ всегда лежащее у его изголовья евангеліе; и на утро перъ-Жакъ увидѣлъ, что эта книга была раскрыта на изреченіи Спасителя: «Оставь отпа твоего и мать твою и гради вслѣдъ за мною». — «Шарлатанство! богохульники!» шептала, вспоминая эти откровенности аббата, Аглая. — Иной же разъ, послѣ подобныхъ бесѣдъ съ перъ-Жакомъ, она кажется совершенно какъ бы внѣ себя: тоскуетъ, плачетъ, не ѣстъ, не пьетъ, не спитъ по цѣлымъ ночамъ и все пишетъ, тутъ же разрывая клочки, какія-то письма. Аглая меня рѣшительно не слушаетъ и, кажется, уже болѣе мнѣ не довѣряетъ ни въ чемъ... Вѣришь ли, обидно и горько на нихъ и смотрѣть. Кирилло Григорычъ сталъ опять похварывать. Несмотря на совѣты доктора Фосса (старушка его мать тоже у насъ бываетъ), онъ вмѣсто прогулокъ, болѣе сидитъ съ перъ-Жакомъ и слушаетъ его розсказни. Аббатъ у насъ уже сдѣлалъ нѣсколько опытовъ съ верченіемъ столовъ; а на-дняхъ обѣщалъ привести нѣкоего третьяго «непогрѣшимого» — духовидца, москѣ Луи, у котораго впотъмахъ по воздуху будетъ летать играющая гитара и всѣ на своихъ лицахъ ощутятъ какъ бы прикосновеніе мягкихъ, благоуханныхъ волосъ или нѣжныхъ, неземныхъ перстовъ... и пр., и пр.».

— Кончена исторія!.. подведенъ жизненный итогъ! — съ горечью сказалъ себѣ, дочитавъ эти отрывки, Ветлугинъ: — нѣтъ! въ Самаркандъ, въ Кульджу! на родинѣ, вѣроятно, мнѣ ужъ нечего болѣе дѣлать... Скорѣе бы, скорѣе летѣло время... Не нынче, завтра отъ Аввакума должно подойти окончательное, рѣшительное извѣстіе. Съѣзжу, покончу дѣло... И тогда — прощай, милая родина.

### XXXIX.

#### Масличная вѣтвь.

Ветлугинъ возвратилъ Фокину письма его жены, съ мыслію поскорѣ забыть обо всемъ, что, между тѣмъ, противъ его воли, снова начало его томить и волновать. Свои дѣла Вет-

лугинъ подготовлялъ такъ, чтобы черезъ мѣсяць, черезъ два имѣть возможность уѣхать за Уралъ.

Черезъ недѣлю послѣ отсылки писемъ Фокину, Ветлугинъ получилъ отъ него телеграмму. Послѣдній извѣщалъ, что жена, пользуясь возвращеніемъ на родину одной московской дамы, оставила Швейцарію и, проѣздомъ домой, скоро будетъ въ Москвѣ. Фокинъ сообщилъ Антону Львовичу адресъ, прося отыскать Афросинью Адриановну и, въ случаѣ надобности, оказать ей содѣйствіе въ благополучной отправкѣ домой.

Въ назначенный Фокинымъ срокъ Ветлугинъ отправился по указанному адресу. Афросинья Адриановна уже была въ Москвѣ.

Небольшой деревянный домикъ, куда она въ то утро пріѣхала съ знакомой дамой, былъ гдѣ-то въ глухомъ и узкомъ переулкѣ, возлѣ Сухаревой башни.

Ветлугинъ освѣдомился о ней.—«Пожалуйте», сказала русская, рябая стряпуха, что-то полоскавшая въ корытѣ на крыльцѣ. Изъ полусвѣщенной, заставленной всякимъ хламомъ прихожей Ветлугинъ вошелъ въ крошечную и опрятную коморку, очевидно принадлежавшую бѣдной швеѣ. По деревянному, некрашенному столу были разбросаны обрѣзки холста и ситца. Здѣсь же помѣщалась сильно потертая ручная швейная машина. Надъ окномъ висѣла клѣтка съ снѣгиремъ. У печурки были разставлены утюги. За дверью въ сосѣднюю комнату раздавались оживленные, радостные голоса. Дверь отворилась. Оттуда вышла Фокина.

— Вы какими судьбами?—всплеснувъ руками, вскрикнула она.

Ветлугинъ объяснилъ ей причину своего пріѣзда.

— Какъ же я рада! садитесь. Вотъ неожиданность! Я только-что пріѣхала.

— Съ кѣмъ вы это?—спросилъ Ветлугинъ, усаживаясь у окна.

— Исторія поучительная и любопытная.

— Вы пріѣхали съ больною дамой?

— Сейчасъ чуть не разревѣлась... Охъ, и теперь слезы просятся. Представьте, три здѣшнихъ бѣднѣйшихъ квартирантки, вдова цвѣточника Братцева и двѣ дѣвицы, — гувернантка и швея, — Кучеровы, сложились на послѣднія, скопленные ими деньжонки, даже заложили кое-что изъ вещей

и отправили за границу свою, заболѣвшую одышкой и водляной, старушку-мать. И, можете вообразить, эта старушка, благодаря имъ, провела годъ въ Ниццѣ и годъ въ Швейцаріи; лѣчилась у лучшихъ докторовъ и теперь возвратилась со мною совсѣмъ здоровая. Довольно сказать, что мы съ нею отъ вокзала дошли сюда пѣшкомъ, такъ какъ ни у нея, ни у меня... словомъ, не было вовсе поклажи... Восторгу этихъ милѣйшихъ особъ нѣтъ предѣловъ... Я вотъ это все время тутъ на нихъ любовалась... Ахъ, отчего у меня нѣтъ такой же маленькой, доброй старушки матери! Вѣрите ли, Антонъ Львовичъ, личико, какъ у дитяти, — кроткое, ласковое, а сама при этомъ смотреть такъ строго и важно... Ну, совсѣмъ, какъ святая, — бѣленькая, сухенькая, вся въ комочекъ, — а проворна, какъ мышь... И ужъ какъ она рада, что оправилась и возвратилась! И тѣ память потеряли, — сидятъ да все глядятъ на нее, задаютъ смѣшные вопросы о чужихъ краяхъ, а она такъ тихо и по порядку все рассказываетъ... И главное — кто же? бѣднѣйшіе люди, — гувернантка, цвѣточница, швея... Вотъ примѣры! вотъ утѣшительное явленіе...

Фокина прижала платокъ къ лицу.

— Ну, а?.. — началъ и остановился Ветлугинъ: — а наши? какъ здоровье... что съ Аглаей?

Фокина, взглянула на него. Съ обвѣтреннымъ 'лицомъ и раскраснѣвшимися отъ волненія и отъ слезъ глазами, она напомнила Ветлугину ту Фросиньку, которая когда-то, въ роковое утро, провожала его изъ Дубковъ.

— Такъ вы все еще не забыли, вспоминаете? — кутаясь въ синій дорожный платокъ, спросила она: — ахъ, дорого бы я дала, чтобы вы теперь, хотя на одинъ мигъ, повидались съ Аглаей. Можетъ быть... Да нѣтъ! отчего вы тогда, въ бытность у насъ, годъ назадъ, не съѣздили въ монастырь, не попытались вновь повліять на Аглаю? Отчего?..

— Скажите, — перебилъ, не отвѣчая на вопросъ Фокіной, Ветлугинъ: — что съ нею? Мнѣ вашъ мужъ писалъ; онъ сообщилъ и содержаніе нѣкоторыхъ изъ вашихъ писемъ...

Фокина потупилась.

— Слѣдовательно, вы все знаете, — отвѣтила она: — охъ, тяжело и вспоминать. Скажу вамъ, Антонъ Львовичъ, одно; да нѣтъ... Отвѣйте мнѣ прежде: писалъ вамъ мужъ объ аббатѣ, объ отцѣ Жакѣ?

— Писалъ.

— Ну-съ, мои опасенія сбылись. Этотъ аббатъ оказался ловкимъ пройдохой. Онъ разыгралъ съ Вечерёвыми невѣроятную штуку...

— Въ чемъ дѣло?

— А вотъ въ чемъ... При посредствѣ судившагося за кражу, бѣлаго зуава Луи и іезуита Серизьа, онъ подъ благовиднымъ предлогомъ помощи какой-то духовно-учебной корпораціи въ Римѣ, выманилъ у Кирилла Григорьича форменное обязательство на весьма крупную сумму. Да-съ! Ни я, ни Аглая ничего этого не знали. Перъ-Жакъ влялся, что это обязательство ему нужно лишь для кредита и что деньги по немъ онъ будетъ ждать не менѣе трехъ лѣтъ. Между тѣмъ, этотъ документъ онъ продалъ другому, подставному лицу, а это лицо немедленно предъявило его ко взысканію. Кириллъ Григорьичу грозятъ большія неспрiятности. Съ него взяли подписку о невыѣздѣ. Всѣ вещи Вечерёвыхъ описаны и находятся подъ запрещеніемъ. Аглая увидѣла свою оплошность. Она не можетъ простить себѣ, что подобныя личности проникли въ общество ея отца.

— Вы же, Афросинья Адриановна, почему ихъ оставили?

— Аглая нѣсколько дней плакала, наконецъ, придумала, чтобъ я ѣхала домой, и приготовила все къ продажѣ ихъ послѣдняго лѣса. Иначе имъ трудно раздѣлаться по иску съ Кирилла Григорьича.

— Бѣдная Аглая Кирилловна, какъ мнѣ ее жалъ!— сказалъ Ветлугинъ:—но скажите, что ея настроеніе теперь? Въ чемъ ея помыслы о будущемъ и ждетъ ли она чего-нибудь отъ жизни, отъ себя?

— Вы знаете, Антонъ Львовичъ, какъ я ее люблю,— отвѣтила Фоккина:—а между тѣмъ, я могу вамъ дать одинъ совѣтъ—забудьте ее... Этотъ урокъ—Боже мой! другая бы... Или я ее не понимаю, или она недостойна ни вашихъ чувствъ, ни вашей памяти о ней... Люди, люди!..

Фросинька хотѣла еще что-то сказать, но не договорила. Она закрыла руками лицо, упала головой на окно, и только судорожное движеніе ея полныхъ плечъ, покрытыхъ синимъ дорожнымъ платкомъ, показывало, что она сильно и неудержимо рыдала.

Быль жаркій, несмотря на начало августа, даже дунный день.

Ветлугинъ, утомленный хлопотами по дѣлу, которое онъ въ то утро защищалъ въ судѣ, возвратился домой голодный и раздосадованный. Припоминая судебныя пренія, свою строго-обдуманную рѣчь и злыя и мѣткія нападки противника, изъ-за которыхъ онъ это, пустое въ сущности, дѣло чуть не проигралъ,—Антонъ Львовичъ нехотя пообедалъ и легъ отдохнуть. Ему не спалось. Онъ позвалъ слугу, спросилъ чаю, взялъ пачку новыхъ газетъ, сѣлъ съ сигарой у раскрытаго окна и сталъ читать.

Вечерѣло. Пошелъ небольшой дождь.

Ближнія улицы затихали; дальнія еще отзывались шумомъ городской ѣзды. Съ бульвара потянуло свѣжестью и запахомъ омытыхъ дождемъ деревь. Ветлугинъ пробѣжалъ одну газету, другую, и перенесся мыслями на родину.

«Что-то отецъ» разсуждалъ онъ: «какъ его школа» Да что это молчить, уже столько дней, Столешниковъ?» и Объ Аглаѣ въ послѣднее время Ветлугинъ старался не думать. Ея образъ въ его мысляхъ начиналъ погасать, какъ дорогое, но далекое и невозвратно улетѣвшее сновидѣніе.

Въ прихожей раздался звонокъ.

Слуга подаль Антону Львовичу два письма. Почеркъ на одномъ изъ писемъ Ветлугинъ узналъ сразу: то было письмо отъ Столешникова. Аввакумъ Андреичъ извѣщалъ, что его хлопотамъ, кажется, суждено вскорѣ увѣнчаться полнымъ успѣхомъ. Слѣдствіе по дѣлу Клочкова было кончено. Злоупотребленія опеки подтверждались цѣлымъ рядомъ важныхъ свидѣтельскихъ показаній. И если самъ Клочковъ былъ еще пока на свободѣ, зато всѣ его товарищи, уланъ Подсыпанинъ, братъ послѣдняго, юнкеръ Моти, какой-то мѣшанинъ Очковъ и младшій сынъ Талинцева, Николушка,—слѣдователемъ уже были арестованы. «Если все пойдетъ такъ, какъ шло до сихъ поръ, — писалъ Столешниковъ:—то публичное засѣданіе по этому дѣлу будетъ назначено, вѣроятно, въ концѣ августа и никакъ не далѣе начала сентября». Столешниковъ совѣтовалъ Ветлугину самому посѣтить на мѣсто и, не теряя времени, настоять на арестованіи Клочкова, такъ какъ иначе, находясь на свободѣ, Клочковъ можетъ сильно повредить слѣдствію, въ чемъ отчасти уже и успѣваетъ: снова подкупилъ одного изъ важныхъ свидѣтелей, играетъ

въ клубѣ въ карты съ прокуроромъ и другими властями, и пр., и пр.

— «Странно», сказалъ себѣ Ветлугинъ, дочитавъ письмо Столешникова: «положимъ, Клочковъ еще въ началѣ слѣдствія долженъ былъ выйти въ отставку изъ управы и дать подписку о невыѣздѣ изъ губерніи и о явкѣ къ суду. Но вѣдь онъ—коноводъ всего дѣла: какъ же его до сихъ поръ не арестовали?»

Краска бросилась въ лицо.

«Я въ этомъ виноватъ!—прибавилъ мысленно Ветлугинъ:—нельзя было такой важный шагъ возлагать на одного Столешникова. Надо немедленно туда ѣхать. Клочковъ, дѣйствительно, можетъ сильно напортить. Или лично противъ него такъ мало уликъ?..»

Съ этими мыслями Ветлугинъ взглянулъ на другое письмо. Штемпель и марка на послѣднемъ были заграничныя.

«Отъ кого бы это?—не вскрывая письма, старался припомнить Ветлугинъ,—кто изъ моихъ довѣрителей, или ихъ родственниковъ теперь въ чужихъ краяхъ? Ченшины?.. Но онъ въ Петербургѣ, и я на-дняхъ еще получилъ отсюда ихъ письмо...»

Антонъ Львовичъ снова взглянулъ на штемпель. На почтовомъ конвертѣ, нѣсколько неясно, было оттиснуто слово: Montreux.

Письмо дрогнуло въ рукѣ Ветлугина.

«Отъ Кириллы Григорыча!—мелькнуло въ его головѣ,—онъ, вѣроятно, обращается, по старой ко мнѣ, памяти, просьбѣ моего совѣта, или иной, болѣе существенной, помощи по его дѣлу съ аббатомъ. А можетъ быть, и кто другой, видя безпомощное положеніе Вечерѣвыхъ, пишетъ ко мнѣ, напримѣръ, Егоровна... Она же, кстати, разъ ко мнѣ ужъ и обращалась. Наконецъ, съ Кирилломъ Григорычемъ могло случиться несчастье. Что, если онъ умеръ? Могъ повториться ударъ. Въ такомъ случаѣ, Аглая—нѣтъ сомнѣнія—окончательно подпадетъ вліянію разныхъ аббатовъ... А тамъ, съ благословенія папы, поступить въ какой-либо, извѣстный особой строгостью уставомъ, католическій монастырь, отцовскія земли, воды и лѣса продать и все, вмѣстѣ съ собой, при-несетъ, въ видѣ лепты, Ватиканскому нищему...»

Ветлугинъ вскрылъ письмо.

Сперва нѣсколько разсѣянно, потомъ внимательно, онъ



прочелъ первыя строки, протеръ глаза и кинулся ближе къ окну. Онъ взглянулъ на подпись въ концѣ послѣдней страницы, ухватился за сердце и, чуть не вскрикнувъ, опрокинулся на спинку стула. Чтѣ-то давно подавленное, глубоко спрятанное на днѣ души мгновенно пробудилось и зазвучало.

Письмо было отъ Аглан.

«Она ли это? она ли, дорогая, далекая?—подумалъ Ветлугинъ, помутившимся, радостнымъ взоромъ вглядываясь въ бѣжавшія передъ нимъ строки письма:—да! она!.. ея почеркъ!.. Но чтѣ со мной? не вижу ничего...»

Онъ бросился въ кабинетъ, заперъ дверь на ключъ, распахнулъ окно, выходившее въ садъ, и при яркихъ, послѣднихъ лучахъ зари прочелъ слѣдующія строки:

«Швейцарія. Монтрё, <sup>2</sup>/<sub>14</sub> августа. Вы, Антонъ Львовичъ, по всей вѣроятности, сильно удивитесь, увидѣвъ, откуда и кто вамъ пишетъ это письмо. Я не хочу быть передъ вами въ долгу. Около года назадъ, вы мнѣ высказали въ письмѣ столько горькой, поражающей и дорогой правды... Тогда я вамъ не могла и не рѣшалась отвѣчать. Я была въ то время тамъ, за чертой, въ другомъ, особомъ мірѣ, откуда—клянусь вамъ—я никогда не надѣялась возвратиться. А между тѣмъ, вы видите, я возвратилась... И всѣмъ этимъ я обязана вамъ, вамъ однимъ, незабвенный, далекій и—позвольте такъ выразиться—дорогой мой другъ. Вы меня вспомнили въ такую пору, когда я менѣ всего могла рассчитывать на вашу память и—скажу прямо—на ваше снисхожденіе. Не нахожу словъ, чтобы выразить вамъ горячую, безпредѣльную благодарность какъ за ваши тогдашнія напоминанія, такъ и за ваши горькія, но безцѣнные для меня укоризны. Отнынѣ—клянусь вамъ—хотя вы имѣете полное право не вѣрить мнѣ болѣе,—пока я буду жить, мыслить и чувствовать, во мнѣ никогда не умретъ благодарность къ вамъ за все и, прежде всего, за то, что вы дали мнѣ возможность спасти моего отца. До вашего письма я не могла даже подозрѣвать того положенія, въ которомъ онъ находился. Теперь отецъ возвращенъ къ жизни и, благодаря Бога, скоро, вѣроятно, будетъ внѣ всякой опасности. Когда онъ узналъ, кому онъ этимъ обязанъ,—я ему это давно сказала,—восторгу его не было предѣловъ. Потому я вамъ признательна и за себя. Съ моихъ глазъ окончательно упала завѣса, изъ-за которой мнѣ все каза-

лось въ иномъ не настоящемъ свѣтѣ. Не обо мнѣ лично рѣчь впереди. Да и станете ли вы теперь слушать подобныя рѣчи? Если судьбѣ угодно, чтобъ мы когда-нибудь, — о чемъ, впрочемъ, я не смѣю и думать, — снова съ вами встрѣтились, и если бы вы, при этомъ, захотѣли меня выслушать, я вамъ объяснила бы всѣ тѣ невыразимыя, душевныя муки и всю ту нравственную пытку, которыя я выдержала въ эти годы. Я искала въ монастырѣ высшей истины и не нашла ея тамъ. И я убѣждена, вы не осудите, — можетъ-быть, даже простите меня, — какъ за мои ошибки, такъ и за тѣ огорченія, которыя я могла невольно вамъ причинить. Вотъ, добрый и дорогой мой другъ, все, что было у меня на душѣ и что я теперь хотѣла вамъ передать. Бремени нашего возврата въ Россію опредѣлить еще нельзя. Зимовать мы, во всякомъ случаѣ, вѣроятно, останемся въ Ниццѣ или въ Неаполѣ. Если мои письма вамъ не наскучатъ и вы расположены на нихъ, хотя изрѣдка, отвѣчать, пишите: это будетъ лучшимъ и единственнымъ моимъ утѣшеніемъ вдали отъ родины. — Аглая».

Въ концѣ письма, какъ видно, прибавленная, спустя нѣкоторое время, другимъ, болѣе торопливымъ и вмѣстѣ несмѣлымъ почеркомъ, была сдѣлана слѣдующая приписка:

«Р. S. Не имѣю силъ не сказать вамъ еще нѣсколько словъ... Что со мной? сама не знаю... Одно слово вашего *того* письма — вѣчно передо мной. Я долго колебалась, прежде чѣмъ рѣшилась отправить къ вамъ эти строки. Въ нихъ не все сказано... Сердце мое слишкомъ полно въ это мгновеніе... Я васъ просила тогда, при моемъ отъѣздѣ въ монастырь, забыть меня. Но я тамъ же писала: до васъ я не любила никого, и если бы когда-нибудь оставила монастырь, я, не задумавшись, вышла бы только за васъ... Другъ мой! Я теперь свободна. Приѣзжай... Твоя навсегда — Аглая».

Ветлугинъ вскочилъ и опять бросился къ окну. Не помня себя, онъ еще разъ прочелъ письмо и приписку къ нему. Мысли отказывались ему служить.

На дворѣ стемнѣло. Ясно было только поверхъ сосѣднихъ, еще освѣщенныхъ домовъ.

Невыразимая, тихая, давно не бывавшая радость осыпала душу Ветлугина, и все въ немъ заговорило, просіяло. Онъ

закрывъ глаза. Золотой міръ улетѣвшихъ картинъ не отходилъ теперь отъ него, звалъ и манилъ его въ чудную даль.

Онъ схватилъ шляпу и выбѣжалъ на опустѣлый, покрывавшійся ночными тѣнями бульваръ.

— Извозчикъ! — крикнулъ онъ случайно подвернувшемуся лихачу.

— Куда вашей милости?

— Ступай...

Лихачъ покатишь. Съ громомъ пролетѣлъ рѣзвый, сѣрый съ подпалинами рысакъ одну улицу, другую, понесся переулками, чуть не задѣлъ кого-то и, фыркая, выскочилъ на обширную, застроенную лавчонками площадь.

— Да куда же вамъ, сударь? — обернулся, приподнимая шапку, лихачъ.

— Куда хочешь...

Лихачъ понесся опять.

«Шутникъ, — подумалъ извозчикъ, косясь на барина, — а можетъ, вышивши...»

Въ тотъ же вечеръ Ветлугинъ попалъ въ какой-то ярко-освѣщенный трактиръ. Гремѣлъ органъ. Половые въ бѣлыхъ рубахахъ сновали, ухарски размахивая тарелками. Ветлугину тоже что-то подавали. Его узналъ и подсѣлъ къ нему одинъ изъ его довѣрителей. Послѣдній былъ занка. «Досто-чти-чтимый, Ан-Ан-тонъ Львовичъ, — рассказывать ему свое дѣло довѣритель: — пред-пред-представьте.. поддецы-то...» Ветлугинъ, улыбаясь, слушалъ его, слушалъ и вдругъ вскопился. Онъ черезъ столъ обнялъ его, расцѣловалъ въ озабоченное, потѣнное, изумленное лицо, и со словами: «извините меня, вы совершенно правы! притомъ вы — отличный человѣкъ!» — бросилъ половому деньги и выскочилъ на улицу.

Какъ въ ту же ночь Ветлугинъ очутился на дворцовой площадѣ, въ Кремлѣ, онъ тоже не могъ объяснить себѣ.

Полный мѣсяцъ высоко плылъ въ ясномъ, звѣздномъ небѣ, голубымъ, таинственнымъ блескомъ пронизывая мерцающую даль. Безчисленныя главы церквей, стѣны домовъ, чуть видныя въ туманной мглѣ окрестныя холмы и лѣса, яркіе просвѣты улицъ съ веревницами фонарныхъ огоньковъ и темный изгибъ рѣки съ изрѣдка гремѣвшими отъ тѣды мостами, — все это казалось Ветлугину чѣмъ-то сказочнымъ. На Спасской башнѣ прозвонили часы.

«Одно слово моего письма какъ отозвалось въ ея душѣ!—размысливъ Ветлугинъ,—а я сомнѣвался въ силѣ человеческого слова... Всѣ наши дѣла иногда не стоятъ одной мысли, брошенной во-время въ міръ... Дорогая, далекая! Сколько ты страдала! сколько вынесла...»

Ветлугинъ опустилъ руку въ карманъ. Онъ боялся, съ нимъ ли письмо Аглаи, и не сонъ ли было это письмо.

Долго стоялъ, опершись о перила площадки, Ветлугинъ. Ночь затихала надъ городомъ. Мглистая даль мерцала въ лунныхъ лучахъ. Тамъ, за этой далью, была дорога на родину Ветлугина. Тамъ онъ узналъ первое счастье, узналъ ее...

Въ три часа ночи Ветлугинъ возвратился къ себѣ, зажегъ лампу, сѣлъ къ столу и написалъ отвѣтъ Аглаѣ:

«Ты поймешь, съ какимъ восторгомъ я прочелъ твое письмо. Боюсь теперь одного: стою ли я этого счастья, стою ли тебя? Если бы не одно дѣло, связанное съ судьбою другихъ, я, ни минуты не медля, полетѣлъ бы къ тебѣ. Душа моя полна. Многое хочется тебѣ сказать. Но—будемъ терпѣливы. Подождемъ, чтобы съ нашимъ счастьемъ слилось и счастье тѣхъ, чьи радости составятъ наше лучшее утѣшеніе. На моихъ рукахъ важный процессъ, и я съ минуты на минуту жду, что меня вызовутъ на родину. Дѣло трудное. Противникъ силенъ. Не хочу упоминать въ эти мгновенія его темнаго имени. О, если бы ты знала, съ какимъ нетерпѣніемъ я буду ждать минуты, когда явлюсь въ Монтрѣ и переступлю твой порогъ. Я разсуждаю, самъ себя даю совѣты, но не ручаюсь: хватитъ ли у меня силъ вытерпѣть,—не запереть на ключъ контору и не полетѣть къ тебѣ? Жди, во всякомъ случаѣ, депеши. Твой—А. В.»

Утромъ Ветлугинъ самъ отвезъ это письмо на почту. Черезъ день онъ послалъ телеграмму Столешникову, съ вызовомъ его въ Москву. А когда Аввакумъ Андреичъ пріѣхалъ и сообщилъ, что докладъ по дѣлу черезъ недѣлю, черезъ двѣ будетъ готовъ, онъ ему передовѣрилъ всѣ свои дѣла и,—не посылая депеши,—выѣхалъ изъ Москвы.

## XI.

### Опять на родинѣ.

Вмѣстѣ двухъ-трехъ дней, Ветлугинъ жилъ въ родной

губерніи трестью недѣлю и, какъ это его ни огорчало, все еще не видѣлъ особенно благопріятнаго исхода въ дѣлѣ съ Ключковымъ.

Большинство свидѣтельскихъ показаній клонилось къ обвиненію второстепенныхъ подсудимыхъ, почти не касаясь главнаго изъ нихъ. Вслѣдствіе того, Ключковъ былъ на свободѣ и, какъ казалось, совершенно спокойно и смѣло ждалъ близкой развязки дѣла. Ничуть не измѣнивъ образа жизни, онъ будто сталъ еще беззаботнѣе и веселѣе: посѣщалъ знакомыхъ, театръ, клубъ, игралъ въ карты и сыпалъ деньгами. Его комнаты съ утра до ночи были полны разными дѣловымъ людемъ: предпринимателями новыхъ банковыхъ и торговыхъ оборотовъ, газоваго освѣщенія, водопроводовъ и даже асфальтовыхъ тротуаровъ и мостовыхъ. Нѣсколько разъ Петръ Ивановичъ, какъ бы случайно, промчался въ коляскѣ на чистокровныхъ рыскахъ мимо дома Льва Саввича, гдѣ, какъ всѣ въ городѣ знали, жилъ въ это время его противникъ по дѣлу.

Въ арестѣ Ключкова Антону Львовичу было отказано. Ветлугинъ пропустилъ время: въ ту пору въ городъ уже пріѣхалъ главный защитникъ Ключкова. Это былъ одинъ изъ первыхъ столичныхъ адвокатовъ, извѣстный какъ своимъ краснорѣчіемъ, такъ и тѣмъ, что брался за всякое дѣло, насколько бы неприглядно съ виду оно ни было. «Адвокатъ — тотъ же врачъ, а врачъ развѣ имѣетъ право разбирать, къ кому изъ больныхъ ему идти, или не идти?» — говорилъ этотъ адвокатъ. Онъ забывалъ, впрочемъ, въ этомъ случаѣ, главное правило врачей. А именно, прежде чѣмъ идти на зовъ кліентовъ, онъ обыкновенно выговаривалъ впередъ, — и притомъ письменнымъ условіемъ, — за свою помощь такіе куши, о какихъ рѣдко кто изъ врачей грешилъ и во снѣ.

До дня судебного разбирательства по дѣлу оставалось не болѣе недѣли. «Уѣзжать нельзя, — рѣшилъ Ветлугинъ, — опасно!.. Пробуду здѣсь, покопчу съ защитой и тогда уѣду, несвязанный ничѣмъ». Ему совѣтовали побывать у прокурора, у председателя суда. Онъ не былъ ни у кого. Изрѣдка навѣщалъ только Фокиныхъ, а остальное время проводилъ съ отцомъ. Аглаѣ онъ не давалъ знать о своихъ предположеніяхъ касательно выѣзда, чтобы еще болѣе обрадовать ее неожиданностью свиданія.

Клочковъ эти дни не дремалъ.

Его защитникъ, подъ благовидными предлогами, объѣздилъ не только всѣхъ крупныхъ представителей суда, но посетилъ губернатора, вице-губернатора, предводителя и даже полиціймейстера. Онъ ежедневно обѣдалъ въ клубѣ, нѣсколько разъ появлялся на гуляньяхъ и настоялъ передъ судомъ о вызовѣ множества вліятельныхъ и извѣстныхъ связями и богатствомъ лицъ. Эти господа приняли на себя благосклонный трудъ свидѣтельствовать передъ присяжными заседателями о добропорядочности, честности, человеколюбіи и прочихъ гражданскихъ доблестяхъ Петра Ивановича, въ томъ числѣ даже о его уваженіи и любви къ наукамъ и искусствамъ. Были подъ рукой, къ сроку доклада, пущены, отъ лица какъ бы случайныхъ корреспондентовъ, и весьма ловкія сообщенія въ нѣкоторые изъ столичныхъ газетъ. Въ этихъ статьяхъ Клочковъ выставился неповинной жертвой неблагонадежныхъ пройдохъ. Упоминались низкія, противупобщественныя страсти, зависть черни къ высшимъ состояніямъ и даже интернационалка. Были привезены и собственные, нарочно подготовленные защитникомъ, стенографы, для записыванія преній въ тѣхъ именно краскахъ и съ тѣми отгѣнками, какіе было угодно придать этому дѣлу со стороны усердной защиты. Для избраннаго же общества Клочковымъ были даны два вечера, на которыхъ были условлены нѣкоторыя особыя со стороны гражданъ дѣйствія: составленіе, на всякій случай, адреса отъ города, оваціи на судѣ и послѣ суда, и проч.

Все, казалось, шло хорошо. Друзья Клочкова не унывали.

Одинъ Клочковъ былъ не совсѣмъ спокоенъ. Что-то злое, темное и безобразное, мимо его воли, вставало и певелилось въ его душѣ. Его грызъ внутренній, невидимый ни для кого, злой и неугомонный червь. Тяжелое, ѣдкое и неисходное сомнѣніе день и ночь его терзало. Тревожнымъ взоромъ всматривался онъ въ даль и не видѣлъ тамъ ничего утѣшительнаго.

«Что, какъ? — думалъ онъ, замирая наединѣ и несильными, торопливыми шагами принимаясь ходить взадъ и впередъ по кабинету, — что, какъ оборвется? Чтѣ тогда? И гдѣ этотъ дьявольскій черновой набросокъ? Гдѣ эта распроклятая, забытая мною бумага? Неужели она цѣла, и я не уничтожилъ ее?»

Запершись на ключъ, Петръ Ивановичъ до того шагаль по комнатѣ, что лампа звенѣла на столѣ и статуэтка Бисмарка чуть не падала, голыхаясь на книжномъ шкапѣ.

«И кому могъ понадобится этотъ обрывокъ? куда — то тысячь чертей бы тебѣ въ глотку! — куда я его запропастилъ? Разорвалъ ли я его, засунулъ ли куда-нибудь? Вотъ и презрѣніе къ бумажному хламу до чего довело... Нѣтъ, нѣтъ! не можетъ быть! Этой бумаги у меня нѣтъ... Слѣдователь, въ мое отсутствіе, шнырялъ здѣсь вездѣ, обнюхалъ и осмотрѣлъ всякую щель и всякую пылинку. Въ печахъ, въ трубахъ, даже подъ обоями онъ искалъ и ничего не нашелъ. Все, что я вспомнилъ, уничтожено заблаговременно и со вниманіемъ. Но объ этомъ обрывкѣ я забылъ, и онъ долженъ быть цѣлъ, не истребленъ. Гдѣ онъ? И что, если эта бумага попадетъ въ руки суда? А, тетенька, какова штука? О! скорѣе лети, распроклятое время! Скорѣе отбыть судебное слѣдствіе, заслушать глупыя обвинительныя рѣчи, видѣть ослиныя рожи присяжныхъ... Митрохинцы, просившіе по уличамъ милостыню, гдѣ вы? Идите судить Петра Ивановича Ключкова»...

Бумага, такъ волновавшая Петра Ивановича, была хорошо намѣтанный ему, собственноручный черновой набросокъ одного изъ срочныхъ его отчетовъ по опека надъ имѣніемъ Чепининыхъ. Этотъ набросокъ ловко составленныхъ, по, разумѣется, вымышленныхъ цифръ былъ имъ, въ концѣ минувшаго отчетнаго года, посланъ по почтѣ управителю Чепинскихъ имѣній. Послѣдній, однако, тогда же его извѣстилъ, что имъ былъ полученъ пустой конвертъ. Ключкови въ то время не обратилъ какъ-то на это должнаго вниманія. Теперь же это обстоятельство бросало его въ холодъ и въ жаръ. Либо состряпанный имъ набросокъ въ ту пору кѣмъ-нибудь изъ конверта былъ выпутъ, либо самъ Петръ Ивановичъ, по разсѣянности, забылъ его туда вложить. Но куда жъ онъ дѣлся? И какъ это случилось? Столько разъ онъ пересылалъ, такимъ же способомъ, состряпанные черновые наброски, и бывшій съ нимъ въ стачкѣ управитель постоянно, по минованіи надобности, возвращалъ ему ихъ для истребленія.

Подозрѣвать управителя?

Но самъ же этотъ управитель былъ не только привлеченъ къ слѣдствію и къ суду, а даже арестованъ и, сидя

въ остроги, всячески выгораживать изъ дѣла какъ себя, такъ — въ равной степени — и Ключкова. Снести же съ нимъ объ этомъ, для болѣе точныхъ развѣдокъ, теперь уже не было никакой возможности.

Петръ Ивановичъ, скрѣпя сердце, до послѣднихъ мелочей пересмотрѣлъ и прочелъ всю свою переписку, справлялся на почтѣ и подсылалъ довѣренное лицо къ женѣ Ченшинскаго управителя. Это лицо у послѣдней также перерыло весь бабій хламъ, лазило на крышу и въ погребъ, даже срывало подовицы и ночью кое-гдѣ копало землю. Желаемая бумага не отыскалась.

Толки въ городѣ, передъ докладомъ дѣла Ключкова, дошли до сильной степени напряженія. Ветлугина, разумѣется, въ высшихъ слояхъ осуждали. «Начать такое вопіющее, несправедливое дѣло! — говорили о немъ мѣстные тузы: — да кто же послѣ этого изъ насъ безопасенъ?» Сочувствовали Ветлугину пока немногіе изъ горожанъ. За два, за три дня до доклада дѣла (такъ это было нарочно устроено), изъ столицъ стали подходить газеты, со статьями, писанными рукой друзей Ключкова. Въ одной изъ этихъ статей объ Антонѣ Львовичѣ вскользь говорилось, какъ о человѣкѣ, во всякомъ случаѣ, недобронадежномъ, вслѣдствіе того, что онъ, за свой образъ мыслей, былъ посылаемъ нѣкогда прогуляться за Уралъ. Въ другой намекалось на то, что и его отецъ, когда-то, за опасныя мнѣнія, былъ принужденъ оставить мѣсто учителя гимназіи. Въ концѣ же концовъ, друзья Петра Ивановича постарались Антону Львовичу нанести ударъ еще и съ той стороны, откуда онъ менѣе всего могъ этого ожидать.

Предсѣдатель училищнаго совѣта, въ угоду нѣкоторымъ изъ влиятельнѣйшихъ тузовъ, придрался къ неловкому отвѣту изъ закона Божія одного изъ учениковъ школы Левъ Саввича. Не успѣвъ Левъ Саввичъ дать объясненій, какъ инспекція, черезъ подлежащее начальство, сдѣлала ему строгій выговоръ, да кстати при этомъ отрѣшила и лучшаго изъ учителей школы, а именно — преподавателя математики, Коробякина. А когда Левъ Саввичъ гдѣ-то позволилъ себѣ выразиться, что такъ плохо, что это — насиліе и беззаконіе, ему замѣтили, что если дѣла въ его училищѣ пойдутъ и



далѣе, какъ шли до сихъ поръ, то оно, безъ замедленія, будетъ и вовсе закрыто.

Левъ Саввичъ этими передрыгами былъ глубоко взволнованъ и огорченъ.

— Какъ? меня подозрѣвать въ сѣяніи плевотъ? — говорилъ онъ: — о, я имъ покажу, какъ меня трогать! Къ начальству учебнаго округа, въ департаментъ, къ министру напишу... И если не возьмутъ назадъ несправедливаго выговора мнѣ, я сниму вывѣску со школы и самъ ее, безъ нихъ, закрою... Пусть бѣдные мальчики и дѣвочки, вмѣсто занятій грамотой, шляются, по колѣни въ грязи, по улицамъ, отцамъ водку изъ кабаковъ таскаютъ, воруютъ. Пусть эти дѣти переполняютъ пріюты несовершеннолѣтнихъ преступниковъ и всякихъ извращенныхъ шелопаевъ. Довольно терпѣть! Ъду къ инспектору училищъ... Власьева, клички извозчика.

— Полноте, папенька, оставьте, — успокаивалъ отца Антонъ Львовичъ: — охота вамъ такъ волноваться отъ всякихъ клеузъ?.. Дѣлайте свое дѣло честно и тихо, и вѣрьте, все перемелется, мука будетъ...

— Какъ? и ты за этихъ слѣпорожденныхъ? Коребякина, лучшаго моего учителя, надежды юныхъ педагоговъ, отрѣшили, а я, сложа руки, буду сносить все это? Нѣтъ, шутишь...

— Жаль Коребякина, что и говорить! но онъ молодъ и не пропадетъ... На его мѣсто явятся другіе... А вы у меня... у всѣхъ... одинъ...

— Нѣтъ, закрываю школу! Не уважаютъ моихъ трудовъ, — столько лѣтъ я о ней мечталъ и хлопоталъ, — спекулянтъ изъ-за нея чуть не сдѣлался... А какой-нибудь скверный, выгнанный изъ старыхъ канцелярскихъ трущобъ секретаришка подsunулъ обо мнѣ лживый докладъ и его подписали?.. Не надо школы... Кабакъ устрою на ея мѣстѣ; за прилавкомъ самъ подую свѣтланой стану торговать... Или кафе-шантанъ заведу, гдѣ наемныя, безстыдные дѣвицы канканъ будутъ танцовать... Ъду...

— Да погодите же, куда вы? скоро ночи! Инспекторъ живетъ на дачѣ, за городомъ. Дорога идетъ лѣсомъ... Отложите поѣздку на завтра... послушайте хоть слово...

Но Левъ Саввичъ былъ неумолимъ.

Онъ схватилъ шляпу, объявилъ, что возвратится еще засвѣтло къ чаю, и уѣхалъ.

Засвѣтло, однакоже, Левъ Саввичъ домой не возвратился. Стемнѣло.

Антонъ Львовичъ поднялся на вышку. Его тревожило это долговременное отсутствіе отца. Но онъ успокоился, сообразивъ, что смежно съ дачей инспектора училищъ былъ и загородный домишко одного изъ сослуживцевъ отца по гимназій. Левъ Саввичъ, въ случаѣ запозданія, могъ найти у этого товарища теплый пріютъ. А потому, не дожидаясь отца къ чаю, Ветлугинъ принялся за окончательную проверку данныхъ для судебной рѣчи. Это навело его на цѣлый рядъ тяжелыхъ и грустныхъ мыслей какъ о дѣлѣ, занимавшемъ его теперь, такъ и о той печальной общественной средѣ, въ которой оно возникло и созрѣло. Онъ собирался писать и нѣкоторыя письма, въ томъ числѣ къ своимъ довѣрительницамъ Ченшинымъ, закидывавшимъ его кучей вопросовъ по процессу.

---

Вечеръ уже былъ на исходѣ.

Прошло девять часовъ. Ветлугинъ сидѣлъ передъ столомъ, заваленнымъ грудой дѣловыхъ бумагъ. Изрѣдка взглядывалъ онъ на полки съ книгами, на портретъ Ломоносова, висѣвшій на стѣнѣ, прислушивался къ свисту машины на железнодорожной станціи, къ гулу уличной ѣзды.

«Вотъ и курьерскій поѣздъ пришелъ,—размышлялъ онъ:—значить, скоро ужъ и десять часовъ. Надо сказать Власевнѣ, чтобъ ложилась спать. Отецъ навѣрное остался почевать на дачѣ у пріятеля. Такая темь... Да и мнѣ пора. Завтра свиданіе съ вновь-подѣхавшими свидѣтелями. Какая-то кунчиха Лутошникова съ сестрой тоже искала видѣть меня съ утра: противъ мужа искъ за цѣлѣнность затѣваетъ...»

Ветлугинъ взялъ лампу и хотѣлъ уже спуститься внизъ, какъ на лѣстницѣ послышались знакомые шаги. На порогѣ показалось недовольное и заспанное лицо Власевны.

— Тамъ къ тебѣ какія-то двѣ принцессы пришли!—сказала она, зѣвая въ руку:—времени, вишь, днемъ мало; по почамъ еще, шпиховстницы, ходить...

— Кто такія? Лутошниковы?

— Какіи Лутошниковы?

— Да чтѣ утромъ спрашивали? съ сестрой приходила...

— Не знаю. Должно, не онѣ.

— Такъ вѣрно къ отцу. Спроси, не насчетъ ли школы?

— Экъ зарядить! говорятъ, что къ тебѣ. Одна съ виду — барыня, а другая — такъ, быто никономка, али горничная. Шутъ ихъ разбереть! — опять вѣвая, сердито добавила Власьевна.

— Такъ вотъ что: скажи имъ, няня, что меня дома нѣтъ, чтобъ завтра пришли.

— Ну, ужъ этого нельзя. Пальто твое и шляпа въ передней: онѣ увидѣли, и я сказала, что ты дома. Опять же онѣ говорятъ — безпремѣнно нужно тебя видѣть.

«Ужъ не Ченпины ли подѣхали?» — пришло въ голову Ветлугину.

— Въ такомъ случаѣ, няня, проси, — сказалъ онъ: — только не надолго; скажи, очень молъ занять и усталъ. Введи ихъ и ступай спать. Я и самъ за ними дверь затворю. Есть въ залѣ лампа?

— А ты думаешь, такъ-то ихъ держу, впотьмахъ? разумѣется, загля! — спускался съ лѣстницы, ворчала Власьевна.

Она передала посѣлительницамъ отвѣтъ барина и отираясь во-свои. Спусти нѣсколько минутъ по ея уходѣ, оставилъ вышку и Ветлугинъ.

Недоумѣвая, кто бы могъ его спрашивать въ такую пору, онъ пріостановился и изъ прохода подъ лѣстницей заглянулъ въ залу. Въ полуосвѣщенной прихожей, съ дорожнымъ мѣшкомъ въ рукахъ, сидѣла, закутанная платкомъ, какал-то старушка. Не видя ея спутницы, Ветлугинъ вошелъ въ залу и взглянулъ передъ собой...

Съ дивана, стоявшаго вправо у двери въ кабинетъ, навстрѣчу Ветлугину встала и робко ступила нѣсколько шаговъ сухощавая, стройная особа, въ темномъ пальто и съ вуалю на лицѣ... Изъ-подъ шляпки падали приди густыхъ, недлинныхъ волосъ. Сквозь сѣтку вуали глядѣли черные, какъ бы усталые, глаза...

«А! младшая изъ Ченпиныхъ!» — подумалъ Ветлугинъ. Но устремленные на него ласковые, ожидающіе глаза говорили другое...

Что-то близкое, дорогое, съ упрекомъ и съ мольбой, кротко смотрѣло этими глазами.

— Вы меня не ждали? — тихо спросила, ве дышась съ мѣста, стройная особа...

## ХЛІ.

### Г о с т ь я.

— Аглая!.. васъ ли?.. тебя ли вижу?—обезумѣвъ отъ радости, вскрикнулъ Ветлугинъ.

Онъ бросился къ Аглаѣ.

— Какими судьбами? какъ и когда ты пріѣхала?

— Какъ видишь, прямо съ желѣзной дороги. Поѣздъ только-что пришелъ...

— Но съ кѣмъ ты? гдѣ твой отецъ? здоровъ ли онъ?

— Охъ, дай опомниться, — сказала она: — видишь ли...

Отецъ, слава Богу, совершенно оправился... Но у насъ встрѣтилось одно неприятное дѣло. Впрочемъ, пустяки... Сверхъ того, надо было побывать въ имѣніи. Сперва-было мы все поручили Фокиной. Но гдѣ же ей возиться съ подобными дѣлами? Вотъ я... то-есть, отецъ и посоветовалъ... Я рѣшилась сама съѣздить въ имѣніе и, не успѣвъ о томъ предупредить Фокиныхъ, съѣздила...

— Съ кѣмъ?

— Съ Егоровной... съ ней и къ тебѣ теперь заѣхала...

Комната, лампа, дверь въ кабинетъ, дверь въ коридоръ— все заколыхалось въ глазахъ Ветлугина.

— Милая! дорогая! — вскрикнулъ онъ, сжимая и цѣлуя блѣдныя, худыя руки Аглаи:—и я считать мгновенія, и я... Но ты меня предупредила...

— Еще до деревни я хотѣла тебя извѣстить въ Москву. Да узнала, что ты здѣсь—о тебѣ всѣ говорятъ... толкуютъ о процессѣ... Я покончила съ хлопотами—и вотъ...

— Нѣтъ, это невозможно! это сонъ! — повторилъ Ветлугинъ:—да скинь же вуаль, пальто... Какъ ты поправилась, возмужала, даже будто подросла!.. А глаза, глаза тѣ жо...

Аглая покраснѣла, отвернулась.

— Разсказывай, слушаю!—жадно вглядываясь въ плававшее отъ дороги, смущенное лицо Аглаи, продолжалъ Ветлугинъ:—сюда, къ столу.

Они пересѣли на диванъ, заговорили о прошломъ, — о страданіяхъ и сомнѣніяхъ другъ друга, — перешли къ надеждамъ на будущее. Восторгу ихъ обоихъ не было конца.

— Но позволь, у меня къ тебѣ и дѣло есть, — отстранился отъ объятій Ветлугина, сказала Аглая.

— Никакихъ дѣлъ мнѣ теперь не нужно, — повторялъ онъ: — и я знать ничего, кромѣ тебя, теперь не хочу...

— То, что я скажу тебѣ, касается не тебя одного. Будешь слушать?

— Говори, — не спуская глазъ съ Аглаи, нехотя согласился Ветлугинъ.

— По пути въ деревню, на желѣзной дорогѣ, нѣсколько разъ при мнѣ произносили твое имя. Тебя хвалили... Можешь себѣ представить, какъ это отозвалось во мнѣ! Шли только о предстоящемъ процессѣ противъ Клочкова... Тутъ только я поняла намекъ въ моемъ письмѣ о трудномъ дѣлѣ, которое тебя заботило. Я сознавала, сколько тебя огорчало опасеніе за счастливый исходъ дѣла. Эта мысль не выходила у меня изъ головы. Тутъ и я вспомнила твое выраженіе: — помнишь, еще тогда, у насъ? — одинъ человѣкъ не сможетъ, смогутъ двое.. И все я думала, какъ бы и чѣмъ тебѣ помочь... Вотъ, подготавливая въ деревнѣ кучую на лѣсъ, я стала разсматривать съ приказчикомъ бумаги и случайно наткнулась на два черновыхъ наброска... Оба они писаны рукой Клочкова... Я его руку знаю хорошо, — памятна она мнѣ...

Аглая изъ кармана пальто достала связку бумагъ и съ судорожной торопливостью стала ихъ раскладывать по столу.

— Это — счета, письма, черновыя прошенія; а на этихъ двухъ — надпись прежняго нашего приказчика — видишь? «присланы по ошибкѣ — отправить обратно...» Приказчикъ тотъ разсчитанъ, и бумаги остались неотправленными. Такъ какъ въ нихъ упоминается имѣніе Ченшиныхъ, то я и подумала, не пригодятся ли онѣ тебѣ?

Ветлугинъ сталъ наскоро пробѣгать поданныя ему бумаги.

— Что, годятся? годятся? — лихорадочно горѣвшимъ взоромъ заглядывая въ лицо Ветлугину, допрашивала Аглая.

— Глазамъ своимъ не вѣрю! — вскрикнулъ Ветлугинъ: — не только не годятся, въ нихъ теперь весь мой успѣхъ, вся побѣда...

— Что же въ нихъ? — облокотясь головой на руки, съ тою же напряженностью, допрашивала Аглая: — я неученая; мнѣ такъ представилось... Съ отцомъ Адрианомъ я совѣтовалась, и онъ одобрилъ мысль объ отдачѣ этихъ набросковъ тебѣ.

Просмотрѣвъ бумаги, Ветлугинъ главные изъ нихъ отло-

жилъ къ сторонѣ и, съ замирающимъ сердцемъ, обернулся къ Аглаѣ. Онъ посмотрѣлъ на нее съ такою любовью, съ такой ласково-нѣжной улыбкой, что Аглая снова вспыхнула и невольно опустила глаза.

— Ты хочешь знать, что въ этихъ бумагахъ?—спросилъ Ветлугинъ:—это—черновой сговоръ Ключкова съ его пособниками,—вѣрная, наконецъ, нить къ обличенію его подложныхъ опекунскихъ отчетовъ. То же, вѣроятно, производитъ этотъ примѣрный опекунъ и съ вашими имѣніями... Привезя эти бумаги мнѣ, ты поступила, какъ лучший, вѣрный другъ... болѣе того, какъ...

Ветлугинъ не договорилъ.

Онъ еще крѣпче прижалъ Аглаю къ своей, восторгомъ и счастьемъ дышавшей, груди. И не было, казалось ему, на свѣтѣ въ эти мгновенія ни его, ни Аглаи. Вокругъ него царили радость и блескъ безграничнаго, полного счастья.

— Ты помогла мнѣ, — шепталъ онъ, осыпая поцѣлуями руки Аглаи:—ты помогла, какъ та, которую я полюбилъ съ первой встрѣчи и которой не могъ разлюбить и не разлюблю никогда...

— Мы не разстанемся болѣе, не правда ли? — дѣтски-ласковыми, любящими глазами глядя на Ветлугина, спросила Аглая.

— Что ты сказала? что за вопросъ?

— Не удивляйся,—продолжала Аглая:—теперь и я боюсь за тебя, за мое счастье, жизнь! Боже мой! Не во снѣ ли все это? Не ошибаемся ли мы?.. Береги меня... Я же стану молиться, чтобы Господь далъ мнѣ силы быть тебя достойной, помогать тебѣ въ достиженіи успѣха въ твоихъ трудахъ... Когда у тебя докладъ по дѣлу?

— Теперь онъ, вѣроятно, будетъ отсроченъ. Эти бумаги передадутъ къ свѣдѣнію подсудимыхъ.

— Но, какъ, однако, ты рассчитываешь, когда состоится судъ?

— Черезъ недѣлю, можетъ-быть, и черезъ двѣ.

— А черезъ день послѣ того, мы всѣ—слышишь ли?—всѣ опять поѣдемъ въ Дубки: — ты, я, твой отецъ и Фросинька съ мужемъ. Согласенъ?

— А ты будешь ли согласна исполнить одну мою просьбу?

— Какую?

— Разрѣшить мнѣ снестись съ отцомъ Адрианомъ.

— О чемъ?

— Чтобы онъ принялъ всё нужнымъ мѣры...

— Къ чему?

— Чтобы немедленно, по нашемъ прїѣздѣ, насъ обвинять...

Аглая вздохнула и съ улыбкой, какъ во время оно, молча положила обѣ руки на плечи Ветлугина.

— Еще не все,—сказалъ Антонъ Львовичъ:—ты когда-то желала знать согласіе моего отца. Не увѣдомить ли и Кириллу Григорьича?

— О! давай бумаги и перо,—отвѣтила Аглая:—пошлемъ ему сейчасъ телеграмму.

— А твоя игуменья?—шутилъ Ветлугинъ:—я теперь—заковникъ... Знаешь ли ты изреченіе изъ номоканона?.. «Монахъ или монахиня, аще приидуть въ общеніе брака, да отлучатся...»

— Я—не настоящая монахиня, а рясофорная!—отвѣтила Аглая:—да хоть бы и постриглась, такъ я не посмотрѣла бы ни на кого...

Денежка въ Монтрѣ была написана. Ветлугинъ взглянулъ на часы—была полночь.

Онъ вспомнилъ о Егоровѣ.

— Ну, милая, —сказалъ онъ, разбудивъ кормилицу Аглаю:—гдѣ думаете съ барышней пока остановиться?

— У Фокиныхъ господъ, ваше благородіе, —кланяясь, отвѣтила Егорова:—гдѣ же и лучше? почитай, что свои... Да и не пора ли, барышня? чай, уже спать—не достучишься.

— Да, голубушка, пора,—сказала Аглая:—сходи, кликни извозчика.

— Что вы, что вы такъ скоро!—остановилъ ихъ Ветлугинъ:—отдохните, посидите. А чтобы Афросинья Адриановна не легла спать, пошлемъ за нею, и она, безъ сомнѣнія, явится сюда немедленно.

— Нѣтъ, нѣтъ,—засуетилась, глядя на знаки, дѣлаемая Егоровной, Аглая:—какъ можно беспокоить Фросиньку! Лучше я къ ней поѣду.

Но Ветлугинъ не согласился такъ скоро отпустить дорогую гостью. Онъ выбѣжалъ на дворъ и сталъ стучаться въ кухонную дверь къ Власевѣ.

— Кто тамъ, лѣній?—сердито крикнула бывшая уже въ постели Власьева.

— Самоваръ, няня! самовары! прїѣхали, милая, прїѣхали!

— Да кто прїѣхалъ? и чего ты кричишь, какъ оглашенный?—допрашивала, не отпирая двери, Власьева.

— Невѣста моя прїѣхала, — шепнулъ сквозь двери Ветлугинъ.

— Господи Иисусе Христе! — говорила себѣ Власьева, лѣтя на извозникѣ къ Фокинымъ и крестясь большимъ крестомъ: — и взаправду вѣдь прїлетѣла лебедочка!.. Да какая смирная, тихая, да ласковая! а ужъ статная какая, королева — да и все! красавица писаная... Пошли имъ, Господи, пошли!

Левъ Саввичъ, вопреки ожиданіямъ сына, не остался ночевать на дачѣ у своего прїятеля.

Сердитый отъ неудачнаго заѣзда къ властямъ (онъ по пути побывать и у предсѣдателя училищнаго совѣта), измученный ночью ѣздой по тряской дорогѣ напрямикъ, Левъ Саввичъ подѣхалъ къ своимъ воротамъ, вошелъ въ калитку, увидѣлъ свѣтъ въ нижнихъ окнахъ дома и, брюзгливо качая головой, пошелъ къ крыльцу.

— Этотъ Антонъ изъ рукъ отбился съ своей добротой! — ворчалъ онъ, невѣрными шагами взбирался на ступеньки: — далеко за полночь, люди вездѣ спятъ, а онъ все еще съ просителями возится... И какой съ того толкъ? Кромѣ обшихъ пересудъ вкривь и вкосъ, ничего, кажется, не выйдетъ. Вонъ, инспекторъ-то какъ о немъ отзывался! Вы, говорятъ, мутяны здѣсь оба... задастъ вашему сыну Ключковъ, какъ его оправдаютъ присяжные...

Съ такими мыслями Левъ Саввичъ вошелъ въ прихожую, снялъ шляпу и пальто, отворилъ дверь въ залу и нѣсколько мгновеній разсѣяннымъ, сердитымъ взглядомъ прищуривался къ тому, что увидѣлъ передъ собой.

Вокругъ стола, уставленнаго чайнымъ приборомъ, закуской и даже бутылками съ виномъ, сидѣли, весело разговаривая и не замѣчая его появленія, нѣсколько лицъ: Антонъ Львовичъ, Фокина, какая-то, повидимому изъ прислуги, старушка, повязанная платкомъ, и совсѣмъ раскраснѣвшаяся нянька Власьева.

«Что за чепуха? — презрительно скрививъ рѣтъ, подумалъ Левъ Саввичъ, — Антопушка чай распиваетъ съ горничными»...



Но то, что вслѣдъ затѣмъ разглядѣлъ съ порога Левъ Саввичъ, еще болѣе озадачило его.

По другой сторонѣ стола, нѣсколько заслоненная пыхтѣвшимъ самоваромъ, сидѣла сухошавая, стройная особа. Она была молода и очень красива: большіе черные глаза, строгія губы, гордое и блѣдное, обрамленное пышными волосами, лицо. Антонъ Львовичъ, нагнувшись, что-то ей нѣжно говорилъ, и въ его рукѣ была рука этой особы.

Приходъ Льва Саввича первая замѣтила Власевна.

— Баринъ!—въ испугѣ шепнула она, вскакивая и впопыхахъ почему-то хватаясь за самоваръ.

За нею встали и отошли къ сторонѣ Егоровна и Фокина.

— Пашенька...—началь, подходи къ отцу и какъ-то растерянно, а вмѣстѣ торжественно-радостно глядя на него, Антонъ Львовичъ:—позвольте вамъ представить... мою...

«Мою?... кто это?»—съ прежней суровостью, хмури брови, подумалъ Левъ Саввичъ.

Онъ чопорно и важно, склонивъ голову на бокъ, ступилъ два шага впередъ...

Красивая и стройная, гордо державшая себя молодой особа, обѣ руку съ Антономъ Львовичемъ, молча подошла къ старику.

Льву Саввичу какъ бы шепталъ кто-то въ ухо: «Если она его, такъ и твой, твой!»

Старикъ оглянулся. Точно ожидая чьей-либо опоры, онъ поднялъ на дѣвушку растерянно мигавшіе глаза. И вдругъ замѣтилъ, что и она также пугливо, съ простой и несмысловой улыбкой, будто ожидая отъ него какой-либо милости, любящими глазами покорно смотрѣла на него.

— Ахъ, да что же?... что это?...—зазепталъ Левъ Саввичъ, чувствуя, какъ слезы сдавили ему горло:—Антонюшка! да неужели же это?..

Онъ не договорилъ. Что-то прелестное и робкое, шурша шелковыми платьемъ, торопливо склонилось къ нему.

— Такъ это вы?... Аглая Кирилловна?...—радостно всхлипывая и дрожащими руками нѣжно обнимая голову Аглаи, вскрикнулъ старикъ:—Богъ васъ благословить, Богъ... а вы, а я...

Слезы не дали Льву Саввичу договорить. Ноги его подкосились. Онъ присѣлъ на край дивана. Фросинька и обѣ старухи, стоя поодаль у окна, также утирали глаза.

— За мной, за мной!—сказалъ, вставая, Левъ Саввичъ.

Онъ провёлъ сына и Аглаю къ себѣ въ спальню, снялъ со стѣны образъ, которымъ онъ и его покойная жена были когда-то напутствованы въ церковь, спросилъ Аглаю и сына: «любите другъ друга?» и, прибавивъ опять: «охъ, да что же я!» еще съ большимъ чувствомъ благословилъ жениха и невесту. Образокъ Аглаи, висѣвшій эти годы у его изголовья, онъ надѣлъ на себя.—«Съ нимъ, съ *тоимъ* — *ему* благословеніемъ, — сказалъ Левъ Саввичъ Аглаѣ:—я не разстанусь никогда! Тебѣ я уступаю сына, а ты... уступи мнѣ то, чѣмъ ты вымолила себѣ и ему это счастье...»

Быль второй часъ ночи.

Аглая, въ сопровожденіи Фокиной, Антона Львовича, Егоровны и Власьевны, шедшей впереди всѣхъ съ фонаремъ, отправилась пѣшкомъ къ Фросинькѣ.

Улицы были пусты. Мѣсяцъ еще не заходилъ. Свѣтлая августовская ночь была тиха и тепла. Общество шло весело. Вспоминали прошлое. Говорили о будущемъ.

Возвращаясь съ Власьевной домой, Антонъ Львовичъ зашелъ на телеграфъ и отправилъ депешу Аглаѣ къ Кириллѣ Григорычу. Въ этой депешѣ дочь извѣщала отца о данномъ ею словѣ, просила его согласія и благословенія и, приглашая отъ себя и отъ жениха на свадьбу, прибавляла, что они готовы ждать его, сколько бы онъ того ни пожелалъ.

Черезъ полторы недѣли въ окружномъ судѣ начались засѣданія по Ключковскому дѣлу.

Самъ Ключковъ, вслѣдствіе новыхъ, открывшихся противъ него уликъ, былъ арестованъ и съ другими подсудимыми содержался въ губернскомъ, имъ же съ подрыда когда-то построенномъ острогѣ. Зала суда не могла вмѣстить всѣхъ любопытныхъ, желавшихъ слушать это дѣло. Раздавались особые впускные билеты. Вся губернская, служебная и не-служебная знать, въ томъ числѣ какой-то заѣзжій высшій сановникъ, командиръ военного округа, губернаторъ, предводитель, предсѣдатель управы и городской голова присутствовали при этомъ. Судебное слѣдствіе тянулось два дня. На третій приступили къ преніямъ сторонъ. Прокуроръ былъ находчивъ, но черезчуръ придирчивъ и, вообще, болѣе бо-екъ, чѣмъ спокоенъ и сдержанъ. Защитники подсудимыхъ, и въ томъ числѣ развязный адвокатъ Ключкова, произнесли

столь блистательныя и полныя ѣдкаго остроумія рѣчи, что публика, несмотря на звонокъ предсѣдателя и пожиманія плечами въ первыхъ рядахъ зрителей, нѣсколько разъ оглашала судебную залу громкими рукоплесканіями. Престарѣлый сановникъ, нагнувшись къ уху губернатора, прошепталъ: «вотъ краснорѣчіе... Передъ Богомъ, — Тьера я слышалъ въ сорокъ-восьмомъ, — ни въ подметки-сь, ни въ подметки-сь»...

Адвокаты гражданскихъ истцовъ, — подѣхавшій изъ Москвы Столешниковъ и Ветлугинъ, — не оправдали ожиданій большинства слушателей. Столешниковъ въ ночь передъ засѣданіемъ видѣлъ сонъ, будто Ключковъ убѣжалъ изъ острога и онъ его догонялъ съ губернаторскимъ полномочіемъ, по тремъ желѣзнымъ дорогамъ, — догонялъ и не догналъ... На судѣ Столешниковъ просто срѣзался: вышелъ, что-то тихо промямилъ, немилосердно ероша бороду, озирался по сторонамъ, замолчалъ и ушелъ.

Ветлугинъ также сначала не понравился публикѣ. Въ немъ ждали видѣть молодцоватаго, съ картинными движеніями, оратора, изъ устъ котораго должно было вылиться нѣчто въ родѣ огненной, пересыпанной дерзкими и смѣлыми намеками, рѣчи Цицерона противъ Катилины. Предполагали, что этотъ плебей, сынъ бывшаго учителя гимназій, не преминетъ швырнуть въ глаза высшему мѣстному обществу цѣлый градъ безопащныхъ укоризнъ, ѣдкихъ обличеній и тонкихъ, какъ убійственный ядъ, сравненій, напоминаній и разоблаченій. Вышло другое...

Съ адвокатской скамьи, во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ, поднялся ничуть не картинный, простой и скромный на видъ, болѣе средняго, чѣмъ высокаго роста господинъ, съ небольшою темнорусой бородкой и значительно порѣдѣвшими, съ просѣдью волосами.

— Кто это? — *qui est ça* — кто *сей?* — послышалось со скамьи зрителей. — Лорнеты, бинокли и пенсне обратились къ мѣсту оратора.

— *Самъ!* — многозначительно улыбаясь, шепнулъ предводитель савовнику.

— Тотъ, что въ *этихъ* дѣлахъ... за Ураломъ?

— Самъ! повторилъ, кивая головой, предводитель.

Предсѣдатель суда переглянулся съ прокуроромъ, прокуроръ съ губернаторомъ. Стенографы обмахнули перья въ

чернильницы и приготовились писать. Ветлугинъ сказалъ: «Господа судьи и господа присяжные засѣдатели!» остановился, бросилъ робкій взглядъ вокругъ себя, увидѣлъ сотни влившихся въ него глазъ, презрительную и наглую улыбку Ключкова, блѣдное лицо старика Талищева, чьи-то круглые, какъ у теленка, глаза, чей-то плаксиво сложившійся, широкий и сочный ротъ,—оправился и сталъ говорить.

Говорилъ Ветлугинъ толково, но въ обобщенія и въ личности не вдавался. Вопреки ожиданіямъ председателя суда, первыя мгновенія не спускавшаго глазъ съ колокольчика, онъ удерживался нападать—какъ на высшее общество, въ средѣ котораго возникло и развилось это дѣло, такъ и на прошлую, частную жизнь подсудимыхъ. Изрѣдка перелистывалъ лежавшія передъ нимъ выписки изъ свѣдѣнія, Ветлугинъ излагалъ дѣло такъ спокойно и сдержанно, какъ бы никого, кромѣ членовъ суда и присяжныхъ, передъ нимъ и не было. Разсуждалъ онъ, повидимому, о чистѣйшихъ мелочахъ: о спутанныхъ и затемненныхъ невѣрными выводами цифрахъ, о подчисткахъ, вымышленныхъ итогахъ и перемаранныхъ, по личному стовору, черновыхъ наброскахъ. Рѣчь Ветлугина, сухо дѣловая и безпрестанно, какъ за кусты репейника, цѣплявшаяся за ненужные, по мнѣнію многихъ, путы,—за конторскіе счета, книги и проекты хозяйственныхъ донесеній,—стала не на шутку утомлять слушателей.

— Что это онъ за меледу разводить? а какая снотворность! точно дычокъ читаетъ!—шептали, позѣвывая, въ переднихъ рядахъ.

Стали покашливать, сморкаться и нетерпѣливо переминаясь и на остальныхъ скамьяхъ.

«Sublime! Лихачь-каналъ!»—насмѣшливо шурясь на Ветлугина, думалъ про себя, охорашиваясь, Ключковъ.

— Ой, провалится онъ, бѣдный!—не утерпѣлъ вполголоса шепнуть Коробягину и Левъ Саввичъ, сидѣвшій на послѣдней скамьѣ.

Ветлугинъ говорилъ болѣе часа.

Но странное дѣло... Чѣмъ далѣе онъ развивалъ доказательства, тѣмъ все становилось внимательнѣе. Съ середины его рѣчи, въ залѣ наступила мертвая тишина. На переднихъ, какъ и на заднихъ скамьяхъ не раздавалось уже ни злыхъ насмѣшекъ надъ ораторомъ, ни громкаго кашля, ни

сморканья. Всѣ, точно по мановенію волшебника, забыли и запальчивую, грубо-формальную рѣчь щепетильнаго и сухого прокурора, и пламенные, полныя живыхъ и остроумныхъ выходовъ, прерываемыя громомъ рукоплесканій, рѣчи защитниковъ подсудимыхъ.

Въ головѣ слушателей вдругъ и незамѣтно для нихъ самихъ засѣла грозная, точно съ неба упавшая мысль...

Всѣ почувствовали себя какъ бы спутанными и связанными по рукамъ и по ногамъ тѣми самыми цифрами, отчетами и итогами, о которыхъ такъ распространялся Ветлугинъ. И это сознаніе, прежде всего, сказалось въ самомъ Клочковѣ.

Онъ былъ подавленъ, ошеломленъ. Улыбка еще блуждала на его лицѣ. Но это лицо стало изсиня зелено. Глаза трусливо впивались то въ судей, то въ оратора, то въ присяжныхъ. На публику Петръ Ивановичъ уже не смотрѣлъ.

Ветлугинъ кончилъ такъ же скромно, какъ началъ. Онъ сѣлъ, смутно оглядываясь и какъ бы соображая, онъ ли это говорилъ? Щеки его горѣли. Глаза застилалъ туманъ.

Пренія прекратились. Предсѣдатель объединилъ ихъ въ заключительной рѣчи, объяснилъ и оцѣнилъ. Присяжные удалились для совѣщаній и постановки окончательнаго приговора.

— Что съ тобой?—обратился къ Клочкову на скамьѣ подсудимыхъ красный, какъ ракъ, Николушка Талищевъ:—на тебѣ лица нѣтъ... стыдно! мужайся...

— Да,—съ дрожаніемъ нижней челюсти и какъ-то дрянно-растерянно улыбаясь, отвѣтилъ Клочковъ:— зарѣзалъ этого шельмеца Ветлугинъ, зарѣзалъ и пикнуть, кажется, не даль... Готовъ, Коля, да и ты, Петръ Ивановичъ, пяточки... Чуть ли не по Владиміркѣ пойдемъ!

— Ну, а твоя пословица—держи носъ по вѣтру?—спросилъ Николушка.

Клочковъ не отвѣчалъ. Онъ не спускалъ глазъ съ дверей, куда ушли присяжные, и думалъ: «выдыбай, Митрохинцы да Самѣхинцы! выдыбай! Водкой залью, какъ оправдаете... Тридцать новыхъ кабаковъ на свой счетъ устрою въ нашихъ волостяхъ...»

Присяжные вышли.

Предсѣдатель объявилъ рѣшеніе. Всѣ подсудимые, за исключеніемъ сына Талищева, Николушки, которому испра-

шивалось помилованіе, признаны виновными. Искъ граждан-ской стороны найденъ подлежащимъ удовлетворенію.

Ветлугинъ все это выслушалъ. Но того, что произошло вслѣдъ затѣмъ, онъ почти не сознавалъ.

Помнилъ онъ смутный гулъ смѣшанныхъ и взволнованныхъ голосовъ, восклицанія и суету вокругъ кого-то изъ зрителей, кому въ то время сдѣбалось дурно (это былъ старикъ Талищевъ). Помнилъ надменные и холодно презрительные взгляды, устремленные на него изъ переднихъ рядовъ. Онъ слышалъ чьи-то искреннія и торопливыя поздравленія, причемъ кто-то теплою, мягкою рукою крѣпко сжималъ и дергалъ его руку, и чей-то срывавшійся голосъ шепталъ ему одобряющія, ласковыя слова.

— Скорѣе, скорѣе отсюда!—говорилъ ему, съ раскраснѣвшимся, измученнымъ лицомъ, Левъ Саввичъ:—ты такъ объяснялъ имъ, Антонюшка... такъ! Извини, это — не пустозвонство... Ты разсѣкалъ, по ниточкамъ разсѣкалъ, какъ хирургъ... О! ты, Антоша, великъ, и я никогда, до конца моихъ дней, не забуду того, что сегодня ты далъ мнѣ выслушать и испытать... Нынѣшніе вѣнки — клюква, да вѣники... Нѣтъ цѣнителей...

## XLII.

### Возвратъ.

Былъ рѣдкій по времени, теплый и тихій день, одинъ изъ тѣхъ дней, которыми, какъ бы случайно, даритъ природѣ осень въ половинѣ сентября.

На небѣ не было ни облачка. Солнце грѣло, точно въ маѣ. Благодаря теплу и двумъ-тремъ небольшимъ, передъ тѣмъ выпавшимъ дождямъ, равнины и лѣса смотрѣли также не по-осеннему.

Крѣпкій и свѣжій листъ еще держался на кое-гдѣ только пожелтѣвшихъ деревьяхъ и кустахъ. Травы на лугахъ и скатахъ холмовъ были зелены. То здѣсь, то тамъ выскакивали послѣдніе осенніе цвѣты, на прощаньи пышно убирая пустѣющія послѣ лѣтней роскоши поля.

Все улыбалось и блестяло въ чистомъ, ясномъ воздухѣ. Все глядѣло весело, бодро и празднично. Выводки чаекъ, подорожниковъ и скворцовъ, скучиваясь въ рѣзвыя, шумныя стайки, перепархивали по жнивьямъ и готовились къ

отлету за дальнія моря. По бокамъ глухихъ, круторѣбрыхъ овраговъ, отыскивая прятавшихся на зиму звѣрьковъ, въ тернахъ и бурьянѣ рыскали молодые лисицы. Вылинявшій, захудалый волкъ изъ лѣсу поглядывалъ на стадо еще пасшихся въ полѣ овецъ...

По гладкому, зеленому взгорью, между сверкающимъ въ ясномъ, какъ бы хрустальномъ воздухѣ холмовъ и долинъ, мчался желѣзнодорожный поѣздъ. Онъ остановился у небольшой станціи.

Быль полдень.

На площадке изъ вагона вышло и далѣе не поѣхало небольшое, веселое общество: двѣ молодыя дамы и трое мужчинъ. Свѣжій полевой воздухъ, блескъ и ширь зеленого простора, точно въ распахнутыя настѣжи окна, повѣяли на вышедшихъ изъ вагона горожанъ.

Раздался звонокъ. Поѣздъ тронулся далѣе.

— А гдѣ же экипажъ?—спросила одна изъ дамъ.

— Вотъ еще... мы и пѣшкомъ!—отвѣтила другая:—развѣ далеко? рукой подать... Пойдемъ прямо, лугомъ.

— Но рѣка? какъ мы черезъ нее?—спросила первая.

— Видно, и забыли жердочки?—спросилъ старшій изъ мужчинъ:—все знаю, все...

Это сказалъ Левъ Саввичъ. Онъ подаль руку Аглаѣ и пошелъ съ нею впередъ. Антонъ Львовичъ подаль руку Фросинькѣ. Фокинъ, переваливаясь съ ноги на ногу и поглядывая, гдѣ же вызванная по телеграфу косяска, лѣнливо шелъ сзади всѣхъ. Скоро они спустились къ рѣкѣ.

Егоровна и Власьева остались на площадкѣ. Сидя на чемоданахъ и сундукахъ, онѣ также высматривали подводу. Филатъ нѣсколько замѣшкался. Ни коляска, ни подвода еще не показывались отъ усадьбы.

— Вотъ центухъ, вотъ копуны!—нетерпѣливо вертятся, ворчала Егоровна:—лопни глаза, говорить, коли теперь пью; цѣлитель Пантелей, говорить, помочь... Вотъ-те и помочь...

— Успѣемъ, матушка, что сердаты!—утѣждала Власьева:—а вы скажите, это—ихній, что ли, домъ?

— Ихній...

— Ахъ, какой превосходный и помѣстительный!—наставивъ ладонь къ глазамъ, съ вѣжливымъ умиленіемъ, восклицала Власьева:—а куда же это господа наши идутъ? остановились у воды... Нешто тамъ у васъ мостъ?

— Досточки, милая, досточки—такъ и ходимъ по нимъ... У насъ по простотѣ...

— Ишь, ишь! точно стрекозы, барыньки-то наши запрыгали... Ахъ, да гляди, сватьюшка... И онъ-то, и старикъ-отъ нашъ, за ними тоже заковылялъ.

— Еще бы. На радостяхъ...

— Вона, перешли... На томъ уже берегу. А то у васъ—садъ?

— Садъ.

— Какой важнѣющій! Яблоковъ, полагать надо, грушъ... предположительно, какъ роща...

— И, сватьюшка! Такіе ли еще бываютъ сады?..

— А какіе?

— Да вотъ, мы съ барышней, съ Аглаей Кирилловой, въ римской Италіи, гдѣ самъ папа римскій проживаетъ, пошли въ одинъ садъ.

— Ну, и что-жъ?

— Такъ тамъ, милая ты моя, на деревьяхъ—ни яблокъ, ни грушъ, одни тебѣ апельсины, да лимоны.

— Что ты!

— Право не лгу. Рви прямо съ вѣтки и ѣшь.

— А-ахъ!—даже руками развела Власьева: — и папу римскаго, сватьюшка, видѣла?

— Охъ согрѣшила, милая, — видѣла... Съ барышней въ ихней главной киркѣ три раза была...

— Какой же онъ изъ себя такой папа:

— Свѣтится, милая, свѣтится...

— А-ахъ, — закрывая глаза, удивлялась Власьева: — худъ, значитъ?

— Полненькій, сватьюшка, полненькій... А кожа вотъ, какъ у бабы тебѣ бѣлая... Ручки этакъ-то на животикѣ держать, и бритый, — ни бороды, ни усовъ... Да еще... только ужъ и не знаю, какъ и сказать...

— Что-жъ такое? — замирая отъ страху, допытывала Власьева.

— Охъ, и не спрашивай... Въ женскомъ, сватьюшка, платьѣ, въ женской рубкѣ, какъ есть, непутящій ходить: бѣлый тебѣ подолъ, башмаки, а на груди така перелиночка...

Подъѣхалъ въ коляскѣ Филатъ. Брови его были заботливо сдвинуты, но самъ онъ, подбодрившись для храбрости рюмочкой, ухмылялся.



— Ты, тетушка, солдатка?—спросилъ онъ, черезъ плечо поглядывая на полный станъ и румяныя щеки прифрантившейся Ваасевны.

— Солдатка была... а тебѣ, пучеглазый, что?

— Вдова?

— Вдова.

— Ну, я такъ, ничего,—насчетъ, значить, моего почтенія!—подсаживая въ коляску обѣихъ нянюшекъ, шаркнулъ ногой Филать.

Вещи были отправлены на подводѣ. Коляска спустилась къ рѣкѣ, выбралась на ту сторону и выгономъ бойко вкатила во дворъ. У воротъ она обогнала двухъ лицъ. То были священникъ, отецъ Адрианъ, и заѣхавшій къ нему, для переговоровъ о близкомъ днѣ вѣнчанія, его братъ, дьяконъ сосѣдней деревни, Софроній. Они шли для привѣтствія Аглаи Кирилловны и ея жениха и для совершенія, по ея заказу, молебна о здравіи вновь помолвленныхъ. Пѣвчіе, собранные по ближнимъ мѣстечкамъ, стояли уже на-готовѣ въ передней. Въ залѣ, передъ стариннымъ, итальянской живописи, изображеніемъ Богоматери, былъ накрытъ столъ, горѣла восковая свѣча, и знакомый Антону Львовичу дьячокъ, кланяясь, улыбался и поглаживалъ сѣдую косичку.

Молебенъ начался. Пѣвчіе пѣли довольно сносно. Отецъ Адрианъ слова молитвъ произносилъ съ чувствомъ. Похожіи на брата и сильно напоминавшій Лаокоона, чернокудрявый дьяконъ Софроній, въ возглашеніи многолѣтня властямъ и предстоящимъ, затмилъ своимъ басомъ славу соборнаго протодьякона. Лица всѣхъ и толпившейся въ коридорѣ прислуги были умилены и растроганы.

«Всѣ—ложь, всѣ—призраки и сонъ,—кромѣ этой вѣчной смѣны жизни и смерти, горя и счастья!..—думалъ Антонъ Львовичъ, стоя возлѣ Аглаи,—она—мое счастье, и я буду жить только для нея...»

«Жизнь—вотъ истина, и въ ней одной великъ дающій людямъ душу, мысли и сердце!»—думала въ тѣ же мгновенія, стоя возлѣ Антона Львовича, Аглая.

Сѣди за столъ. Филать былъ въ полнѣйшемъ нарядѣ: въ новомъ фракѣ, бѣломъ галстукѣ и въ бѣлыхъ же, вязаныхъ перчаткахъ. Изъ кармана, какъ бы случайно высунувшись, выглядывалъ кончикъ краснаго, фуляроваго платка. Его-ровна угощала Васильевну особо, въ дѣвичьей. Уголь кра-

шенного стола былъ застланъ салфеткой. Пашутка подавала и принимала тарелки, а Власьевна, въ чепцѣ съ зелеными лентами, сидѣла на сундукѣ и, вѣжливо потрогивая вилкой подносимыя кушанья, все думала о словахъ, сказанныхъ ей Филатомъ.

— Молодой-отъ, соколъ-отъ нашъ каковъ! — шептали, тѣсясь въ коридорѣ другъ изъ-за дружки, любопытныя дворовыя и деревенскія бабы:—какого же онъ званія, тетушка Егоровна, или какого онъ будетъ чина?

— Штатскій полковникъ! — проговорилъ, неся какое-то блюдо, Филатъ.

— Нѣтъ, бери выше, потому изъ судящихъ,—врала не-помнившая подъ собой ногъ Егоровна.

— А она-то, голубушка, она! — шептали сквозь слезы бабы:—глядить на нее и думаетъ: Владычица, она ли?

— А ужъ любить-то она его, любить!—закрывая глаза, вздыхала Егоровна.

— Ой-ли?—подхватывали бабы, жадно вглядываясь въ свѣтлыя, радостныя лица помолвленныхъ.

Гдѣ-то хлопнула пробка.

Плывя на мягкихъ, вѣжливыхъ ножкахъ и салфеткой тѣтно сдавливая шипѣвшее и бурчавшее горло бутылки, явился Филатъ. За нимъ, съ бокалами на подносѣ, Егоровна. Лицо Филата было торжественно, степенно. Онъ, хмурясь, глянулъ къ сторонѣ жениха и невѣсты, торопливыми, дрожащими руками разлилъ въ бокалы шампанское и, еще съ большею важностью, сталъ его разносить вокругъ стола.

Прежде всего пили за здоровье помолвленныхъ, потомъ за ихъ родителей. Левъ Саввичъ провозгласилъ полный сердечной теплоты привѣтъ въ честь отсутствующаго отца невѣсты и хозяина дома, Кирилы Григорыча. Фокинъ сказалъ нѣсколько искреннихъ и душевныхъ словъ въ честь родителя жениха, котораго онъ, за эти годы, успѣлъ близко узнать и опѣнить и дружбой котораго особенно дорожилъ.

Всталъ и отецъ Адрианъ.

Онъ крикнулъ, лѣвою рукой придерживая рукавъ правой, попросилъ у всѣхъ извиненія, что не мастеръ говорить, и совершенно неожиданно произнесъ построенную по всѣмъ правиламъ классическаго острословія рѣчь — въ честь настоящей хозяйки дома, Аглаи Кирилловны. Въ этой рѣчи упоминались и вновь задрѣтшій, пышный «вертоградъ Да-

вида», и воскресшая въ блескъ новой жизни «лѣпокудрая и благоуханная лилія долинъ Энгадди», и даже «ликуй, добромысленная, въ Сіонѣ»...

Послѣ обѣда всѣ разошлись по своимъ угламъ: Аглая съ женой дьякона въ свои верхнія, дѣвическія комнаты, Фокины въ бібліотеку; отецъ Адріанъ съ братомъ во-свои; а Антонъ Львовичъ съ отцомъ въ бесѣдку, гдѣ они избрали себѣ помѣщенія до дня свадьбы.

Вечерѣло.

Аглая взяла лейку и стала, по-старинѣ, на полянѣ и на балконѣ поливать любимые отцовскіе цвѣты. Къ ней подошелъ Антонъ Львовичъ. Онъ взялъ ее подъ руку, обнялъ и прошелъ съ нею нѣсколько шаговъ.

— Я къ тебѣ съ просьбой,—сказала Аглая.

— О чемъ?

— Увидишь. Дашь ли слово исполнить?

— Охотно.

Аглая молча повела Антона Львовича береговою дорожкой. Вскорѣ они углубились въ садъ.

Было тихо. Только крики гусей раздавались съ выгона, по рѣкѣ неслись величальные пѣсни дѣвокъ и парней, да рѣзвые скворцы шумными стаями, точно ворохъ гречи между скирдъ, перекидывались поверхъ деревь.

Аглая пришла съ Антономъ Львовичемъ къ полянѣ, гдѣ была могила ея брата. Липы вокругъ этого мѣста разрослись. Площадка была усыпана пескомъ, края ея усажены цвѣтами.

— Его нѣтъ на свѣтѣ, — сказа Аглая, пугливо оглядываясь и сядя у могилы на скамью:—а глядя на тебя, кажется, что онъ не умиралъ. Помнишь, мнѣ все, мерещился бѣлый мальчикъ? Вѣдь онъ и теперь иногда... Не правда ли, ты простишь, наконецъ, и ту, которая чуть было навсегда не разлучила меня съ тобой?

— Полно, мой другъ!—сказалъ Антонъ Львовичъ:—никогда не были такъ истинны слова поэта: «нѣтъ правыхъ, и нѣтъ виноватыхъ!» какъ въ этомъ случаѣ съ тобой.

— Ты слишкомъ добръ,—отвѣтила Аглая:—охъ, прости меня—этотъ мальчикъ... не стою я тебя... Развѣ... Да нѣтъ, что!.. это такъ ясно... Ты, всепрощающій, хочешь покоить меня, когда все мнѣ служить только укоромъ за прошлое...

Антонъ Львовичъ крѣпко Аглаю.

— Идя въ монастырь,—сказалъ онъ: — ты была только вѣрна себѣ... Ты искала истины, отвѣта на свои сомнѣнія... Ошибка состояла въ томъ, что ты искала выхода тамъ, гдѣ его нѣтъ. Да и ты ли одна? Горькій опытъ, — и въ немъ твоя заслуга и сила,—вынесенный тобой, пригодится намъ въ будущемъ, какъ и превратности моей, не очень веселой, но искренно мною чтимой молодости.

— А образокъ, данный мною тебѣ, гдѣ?

— Образокъ? да онъ у отца.

— Отчего ты его не носишь?

Ветлугинъ оглянулся на Аглаю. Она сидѣла блѣдная, жутко вглядываясь въ темныя деревья.

### XLIII

## На берегу.

Свадьба была назначена черезъ недѣлю. Ждали только Кириллы Григорыча, за которымъ давно за-границу уѣхалъ докторъ Милунчиковъ.

Столешниковъ тоже былъ во временной отлучкѣ. На него Антонъ Львовичъ и Аглая возложили странное, хотя весьма ему польстившее порученіе. Онъ поѣхалъ, съ письмомъ Аглаи, къ игуменѣ, въ Краснокутскій монастырь.

Выигрышъ дѣла Клочкова значительно улучшилъ денежные средства Аввакума Андреича. Ветлугинъ весь свой заработокъ уступилъ ему. Тотъ, помня свою судебную рѣчь, было-замаялся. Но Антонъ Львовичъ доказалъ, что весь тяжелый, предварительный трудъ лежалъ на одномъ Аввакумѣ Андреичѣ, и тотъ уступилъ.

Столешниковъ отправился въ Красный-Кутъ черезъ день по выѣздѣ изъ города Аглаи и ея гостей. Онъ успѣлъ за-пасться новой, щеголеватой одеждой, часами, хорошими сигарами, подровнялъ бороду, причесался и даже надушился.

Онъ выѣхалъ съ первымъ утреннимъ поѣздомъ, чтобы, покончивъ съ порученіемъ, поспѣть въ Дубки къ обѣду. Его удивило необычное множество путниковъ, наполнявшихъ этотъ поѣздъ. На промежуточныхъ станціяхъ еще подсаживались. Многіе, за неимѣніемъ мѣстъ, даже стояли.

— Куда это ѣдутъ?—спросилъ онъ сосѣда-лавочника.

— Въ Красный-Куть, батюшка, къ явленной... Нешто вы—не здѣшніе? Тамъ нонче храмовой праздникъ.

На обительской станціи была такая давка и тѣснота, что Столешниковъ едва протолкался къ выходу. Монастырь отъ этого мѣста былъ еще въ двухъ верстахъ.

— Да вы куда?—спросилъ Аввакума тотъ же лавочникъ:— въ обитель? лошадку ищите? Напрасно: не найдете таперича... Куда!—Экъ, вальма валять... Поспѣете къ поздней и пѣшкомъ.

— *Per pedes apostolorum!*—брякнулъ басомъ кто-то изъ толпы.

Нечего дѣлать. Закурилъ Столешниковъ сигару и пошелъ «по хожденію апостоловъ». Дорога шла лѣсомъ и горами. Кое-гдѣ, въ тѣни просѣкъ и въ водомоинахъ, было сыро, и богомольцы, обгоняя другъ друга, усердно мѣсили ногами грязь.

— «Зналъ бы, ни за что бы не поѣхалъ!—разсуждалъ, въ тонкихъ лаковыхъ сапожкахъ шагая по скользкой, липкой глинтъ, Столешниковъ:—съ кѣмъ напши-то возятся! Съ какою-то игуменьей... Мало того, что отдали монастырю новую каменную келью и всю пчелу,—еще отъ денегъ, вырученныхъ за лѣсъ, кажется, хотятъ поднести въ презентъ этимъ святошамъ... Пакетъ что-то претолстущій... Эхъ вы, дятлы смиренныя, дятлы!.. Вотъ, говорятъ, русскіе герои и героини никогда почти не сходятся для мирнаго и сладкаго житія... Всѣ побасѣнки о нихъ—съ горькимъ концомъ... Эта, изволите ли видѣть, съ веселымъ... Лютеръ женился на монашенкѣ,—ну, и этотъ туда же... Искатели истины! Недавній отрицатель и монахиня въ законный бракъ вступаютъ... Что-то выйдетъ изъ этого союза?—Будутъ, разумѣется, дѣти, то-есть, опять дятлы... И за ними... да неужели же за ними, что ли, будущее?»

— Ну, а я бы тебѣ, ваше благородіе, лучше совѣтовалъ бы, какъ есть, не курить,—обратился къ Столешникову снявшій сапоги и босикомъ обходившій лужицы лавочникъ:—эвось ужъ и обитель... Какъ бы-те, братецъ, за озорство не накастыляли тутъ шеи...

Столешниковъ увидѣлъ мрачныя лица обгонявшихъ его по взгорью богомольцевъ и съ досадой бросилъ сигару.

У воротъ монастыря онъ обтеръ кое-какъ ноги, оправился и спросилъ:—«Гдѣ игуменья?»—«У ранней», отвѣ-

тили ему. «Скоро ли кончится служба?...» — «Должно, скоро». — Онъ походилъ за оградой, посидѣлъ на горѣ и черезъ часъ возвратился въ обитель. «Кончилась ранняя?» спросилъ онъ? — «Кончилась, идетъ поздняя». Столешниковъ сталъ прохаживаться по двору.

Площадь передъ соборомъ была полна мошельщиковъ. Одни, крестясь, входили въ храмъ, другіе выходили оттуда. Мѣщане, солдаты, мужики — всѣ были безъ шапокъ. Бабы съ грудными дѣтьми, дѣвки, ребятишки жались у келій и у воротъ. Изъ церковныхъ, высокихъ дверей несло стройное пѣніе. Ладаномъ пахло оттуда. Слышалось теньканье кошельковыхъ звонковъ. Нищіе, юродивые, калѣки толпились у паперти. Съ вывихнутыми членами, въ рубищахъ, слѣпые, босые и съ зіяющими ранами, они шли и ползли по ступенямъ, крестясь и устремляя молящія взоры навстрѣчу горѣвшей свѣчами внутренности храма, и головами падали во прахъ.

Столешниковъ, сторонясь отъ нихъ, также вошелъ въ церковь.

Его охватила духота спертого, полного запахомъ свѣчей и лампадъ, воздуха! Кадильный дымъ, пересекаемый наискось лучами солнца, клубами медленно поднимался подъ темный куполь. «Станемъ добръ, станемъ со страхомъ, вонемъ, святое возношеніе въ миръ приносить», возглашалъ диаконъ. — «Милость мира, жертву хваленія», — раздавались, въ отвѣтъ на это, стройные женскіе голоса на одномъ клиросѣ... «Примите, ядите... пійте отъ нея вси...» слышались слова священника изъ алтаря. «Твоя отъ твоихъ, Тебѣ приносяще о всѣхъ и за вся», добавлялъ онъ торжественно вслухъ народу. «Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебѣ благодаримъ, Господи», подхватили десятки нѣжныхъ, бархатныхъ голосовъ на другомъ клиросѣ. Кучи русыхъ, черныхъ, лысыхъ и сѣдыхъ головъ быстро склонялись въ кадильномъ дыму. Простые и добрые, загорѣлые, худые и хмурые лица, съ напряженнымъ ожиданіемъ, молитвой и тоской, устремлялись къ строгому, потемнѣлому лику выставленной среди храма явленной иконы... «Господи!.. Владычица!.. Спасе!.. услышь и помилуй!» неся молящій шопотъ тысячи устъ...

— «Гдѣ я? что это? что съ ними?» думалъ, растерянно оглядываясь, Столешниковъ. Пѣніе клира, блескъ свѣчей, черныя мантии и клобуки инокинь и земные поклоны, и

шопоть молельщиковъ — все это слилось въ немъ въ одно чувство: онъ былъ подавленъ, смущенъ и вмѣстѣ какъ бы стоялъ гдѣ-то на недоступной высотѣ. Голова его кружилась.

— Вамъ, сударь, игуменью? — склоняясь къ его уху, спросилъ дорожный сосѣдь: — вонъ она, пречестная... Аки львица, съ жезломъ стоитъ...

Столешниковъ взглянулъ передъ собой.

Вправо, у особаго придѣла, полуосвѣщенная солнцемъ, на возвышенномъ мѣстѣ, за рѣшеткой, стояла мать Измарагда. Въ одной ея рукѣ были четки, въ другой настоятельскій, высокій посохъ. Черная мантия крупными складками спадала вокругъ ея стройнаго, бодраго стана. Черный бархатный, съ воскрыльями, клобукъ, красиво отгнѣнялъ ея бѣлое, полное, съ большими сѣрыми глазами, усиками и гордо-очерченными губами, лицо. То была дѣйствительно львица: взоръ ея былъ спокоенъ; но чувствовалось, — поведетъ она густою, черною бровью, двинетъ калиновымъ посохомъ, — и громы, и молніи полетятъ изъ ея гордо сложенныхъ губъ.

«Видѣхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ духа небеснаго, обрѣтохомъ вѣру истинную», — раздавалось съ клиросовъ. Народъ сталъ сильно толпиться у явленной иконы. Столешниковъ былъ смятъ, придавленъ и, какъ ничтожная былинка, оттертъ къ сторонѣ. Видѣлъ онъ новую, страшную давку, привалъ и отвалъ народной волны. Видѣлъ, какъ нѣсколько инокинь торопливо протолкались къ игуменьѣ, робко приняли ее подъ руки и торжественно и бережно повели изъ церкви. Измарагда шествовала тихо и важно, кланяясь на обѣ стороны, среди разступившейся толпы, и ни на кого не глядѣла. — «Меня не замѣтила! — подумалъ Столешниковъ, — вѣрно, обо мнѣ ей не сказали...»

— Доложите настоятелици, что я съ письмомъ отъ Вечернейвой! — какъ-то особенно подбодрясь, сказалъ Аввакумъ Андреичъ у входа къ игуменьѣ.

Его попросили подождать и ввели наверхъ въ какую-то кипарисомъ и перцемъ, какъ ему показалось, пахнущую горенку.

Все здѣсь было уютно и чисто: бѣлые чехлы на мебели, бѣлая простилка на ярко навощенномъ полу, лаковый поставецъ съ книгами, иконы въ углу. Сюда не доходило ни звука. Только лампы мигали у образовъ, да мѣрно сту-

чало собственное сердце Столешникова. Четверть часа ждалъ онъ, полчаса. Никто не появлялся, никто о немъ не вспоминалъ.

«Что же это?—разсуждалъ онъ:—сиджу, какъ въ гробу... И ѣсть уже хочется... А имъ и дѣла нѣтъ до меня. Гдѣ они? чѣмъ заняты? И что дѣлаетъ, куда стремится эта странная, особая, непонятная мнѣ сила, — сила столькохъ народовъ, странъ и вѣковъ?»

Дверь налѣво растворилась.

Въ той же мантии, съ тѣмъ же посохомъ и съ тѣмъ же выраженіемъ строгаго, блага лица, на порогѣ явилась мать Измарагда.

— Письмо отъ Аглаи Кирилловны, сударь?—спокойно и вѣжливо спросила она.

«Огорошу ее, скажу, что та замужъ выходитъ?» подумалъ Столешниковъ, подавая пакетъ.—Игуменья вскрыла и стала читать письмо. Кромѣ письма, въ пакетѣ оказался, на крупную сумму, банковый билетъ. Игуменья будто его не замѣтила.

— Новый храмъ, съ Божьей помощью, мы затѣяли,—сказала со вздохомъ, указывая гостю кресло и сама садясь, Измарагда. — Аглаѣ Кирилловнѣ не угодно участвовать въ построеніи... На пріютъ немощнымъ, да на школу она жертвуетъ... Мы благодарны и за то...

Измарагда замолчала. — «Спрячетъ ли она въ карманъ билетъ? — думалъ, глядя на нее, Столешниковъ: — или не спрячетъ?»

— А какъ здоровье Аглаи Кирилловны? — спросила, небрежно кладя на столъ письмо и билетъ, игуменья.

— Загра ее свадьба,—рѣзко отѣтилъ Столешниковъ.

Измарагда и глазомъ не повела.

— Что же, Господь ей помощи, — глянувъ на образъ и тихо перебирая четки, сказала игуменья:—жизнь человѣка не себѣ, но Богу. И въ семьѣ, сударь, можно спастись, лишь бы молитвы... Нестроеніе въ мірѣ, смуты и соблазнъ... Стефанъ Махрицкій, Мееодій Пѣсношскій, Нилъ Столбенскій—сколько богоносныхъ, святыхъ отецъ прежде въ мірѣ жили... А сподобилъ Господь, сошли на стезю спасенія... Такъ-то и мы, грѣшныя, такъ-то слѣпыя и плотоугодныя...

Какъ кадильный дымъ, возносился и таялъ голосъ игуменьи. Раздались чуть слышные шаги. Вошла съ подносомъ



келейница. Мать Измарагда подала Столешникову просвиру. — «Это, сударь, нашъ поклонъ и привѣтъ Аглаѣ Кирилловѣ», сказала Измарагда: «будемъ за нее молиться, будемъ Господа просить... Я ужъ ей, сударынѣ нашей милостивой, сама буду писать. А ты потрапезовать съ нами не желаешь ли?»

Столешниковъ отъ трапезы отказался.

«Сила! да какая еще сила!» раздумывалъ онъ, ѣдучи на вечернемъ поѣздѣ въ Дубки.

Аглая и Ветлугинъ представлялись ему теперь нѣсколько въ иномъ свѣтѣ. На пути онъ услышалъ разговоръ о Ветлугинѣ, и этотъ разговоръ очень его занялъ.

— Ну, Антонъ Львовичъ, поздравляю, — сказалъ Столешниковъ, когда подали лампы и общество стало собираться въ залу, къ чайному столу: — тебѣ предстоитъ выборъ въ уѣздный училищный совѣтъ, а не то и въ управу...

— Слышалъ, — отвѣтилъ Ветлугинъ.

— Поприще почтенное, — продолжалъ Аввакумъ: — сколько ты разныхъ злоупотребленій разгромишь и выведешь на свѣжую воду... Вонъ, посредникъ Антифѣевъ какія статьи печатаетъ о здѣшней губерніи... страсти!..

— Знаешь, — перебилъ пріятеля Ветлугинъ: — мнѣ эта служба, если бъ она дѣйствительно выпала мнѣ на долю, представляется совсѣмъ иначе.

— А какъ?

— А вотъ, видишь ли. У Антифѣева волостныя власти разворовали весь мірской хлѣбъ и съ молотка продаютъ увольненія отъ рекрутчины, а онъ статьи пишетъ. Я не писалъ бы, а сѣлъ бы въ телѣгу, да понемногу лично и объѣхалъ бы всѣ триста или тамъ пятьсотъ гатей, плотинъ и мостовъ на проселкахъ нашего уѣзда, да изучилъ бы всѣ овраги и провалы на дорогахъ, — изъ сельскихъ школъ не выходилъ бы: дѣла всякаго немало... А въ концѣ года что-нибудь путное и предложилъ бы собранію...

«Колпакъ и размазня! — рѣшилъ, слушая Антона Львовича, Столешниковъ: — одно доброе дѣло на своемъ вѣку сдѣлалъ, упекъ Ключкова... Да и то, не будь я, — чорта бы съ два порѣшилъ онъ это дѣло такъ гладко»...

Когда всѣ ушли къ чаю, значительно выпившій Филать, покачиваясь, подалъ Аглаѣ на подносѣ, присланный начальникомъ станціи, два письма. — «Съ поѣздомъ давече

пришли, — одно заграничное», — пояснилъ Филатъ. Аглая прочла заграничное письмо и, передавъ его жениху, стала читать другое — отъ игумены.

Общество на нѣсколько мгновеній смолкло...

Антонъ Львовичъ подсѣлъ къ лампѣ и сталъ про себя читать письмо съ заграничнымъ штемпелемъ. Кирилло Григоричъ въ немъ подтверждалъ, переданное уже по телеграфу, свое согласіе на бракъ Аглаи съ избраннымъ ею женихомъ. Онъ поздравлялъ ихъ отъ всей души и, говоря, что, съ первой же встрѣчи съ Антономъ Львовичемъ, онъ крѣпко его полюбилъ и считалъ какъ бы за сына, — сожалѣлъ, что прійхать къ свадьбѣ не можетъ. — «Докторъ Фоссъ не пускаетъ, — писалъ Вечерѣвъ: — говорить, что всякая тревога и сильная радость мнѣ еще вредны. Надо подождать. Я съ нимъ сѣзидилъ въ Женеву и не только тамъ совершилъ, но уже и выслалъ, черезъ посольство, на твое имя, Аглая, формальную дарственную запись на все мое имѣніе. Послѣ происшествія съ аббатомъ, я уже не довѣряю ни себѣ, ни своей способности распоряжаться хозяйственными дѣлами. Оставаясь же на нѣкоторое время въ Швейцаріи, я надѣюсь, что вы, мои друзья, весною меня навѣстите и дадите мнѣ лично насладиться вашимъ обоимъ счастьемъ. Квартиры не перемѣняю. Найдете меня все тамъ же, на берегу озера, въ Монтрѣ, въ «Швейцарскомъ пансіонѣ». Но если бы, паче чаянія, мнѣ и окончательно предписали остаться здѣсь, я роптать не буду. Не тебѣ, Алинька, быть въ монастырѣ, а скорѣе мнѣ. Ты молода и много еще можешь принести пользы и счастья себѣ и другимъ. Только мой монастырь будетъ въ иномъ родѣ... Вотъ осудила бы мать Измарагда, если бъ узнала, что я называю монастыремъ... Видъ на озеро и на голубыя горы, віолончель, книги и журналы (надѣюсь, будете высылать мнѣ и русскіе), банкетная выпивочка (это мнѣ уже скоро обѣщаютъ), стаканъ рейнскаго Liebfrauen Milch, изрѣдка бесѣды съ моимъ новымъ другомъ, докторомъ Милунчиковымъ, — онъ остается въ Женевѣ — хотеть изучать душевныя болѣзни, — вотъ мое затворничество. На него я выговариваю себѣ, мои друзья, отъ васъ немного (въ письмѣ названа довольно скромная цифра). Экстренныхъ расходовъ у меня не будетъ. Развѣ на покупку цвѣтовъ, для которыхъ содержательница пансіона, въ видѣ особаго исключенія, уступаетъ

мнѣ еще уголь въ своемъ верхнемъ, виноградномъ саду. Да пришлите мой переводъ Мильтона: я нашелъ новые комментаріи на этого поэта и займусь ими...»

Антонъ Львовичъ прочелъ собесѣдникамъ это письмо. Всѣ обрадовались, заговорили о Кириллѣ Григорьевичѣ и о былыхъ временахъ Дубковъ. Лампы ярко освѣщали залу и ряды фамильныхъ портретовъ, ласково смотрѣвшихъ теперь изъ потемнѣлыхъ рамъ на все общество. Дверь на балконъ была открыта. Одна Аглая сидѣла съ потупленной головой и слезами на глазахъ.

— Что съ тобой?—спросилъ ее Ветлугинъ.

— Жаль, что отецъ не будетъ на нашей свадьбѣ.

Столешниковъ развернулъ губернскія вѣдомости, также привезенныя съ почты. Вдругъ онъ измѣнился въ лицѣ и судорожно скомкалъ газету.

— Представь, — испуганно и растерянно озираясь, сказалъ онъ Ветлугину: — пишутъ, что найдены какія-то не-правильности въ разбирательствѣ процесса Ключкова и поданъ протестъ, — рѣшеніе присяжныхъ, вѣроятно, будетъ отмѣнено..

Эту вѣсть и Антонъ Львовичъ встрѣтилъ неравнодушно. Пальцы рукъ его дрогнули. Краска бросилась ему въ лицо. Онъ взялъ газету.

— Мошной тряхнулъ Петрайка, — басомъ шепнулъ брату дьяконъ Софроній.

— Я не теряю надежды! — пробѣжавъ замѣтку, сказалъ Антонъ Львовичъ: — судъ помѣряется съ Ключковымъ и передъ другими присяжными.

— О, разумѣется, — подхватилъ Столешниковъ: — я ему теперь покажу... Все выясню передъ судомъ...

Храбрость Аввакума Андреича, однако, вскорѣ погасла. Онъ смолкъ и совсѣмъ опѣшилъ.

Стали накрывать ужинъ. Общая дружеская бесѣда возобновилась. Отецъ Адріанъ прохаживался по залѣ, разговаривая съ дочерью о внучатахъ. Отецъ Софроній доказывалъ Фокину возможность лицепріятія со стороны судебныхъ властей. Антонъ Львовичъ, не выпуская изъ рукъ похолодѣвшей руки Столешникова, старался его утѣшить надеждой на новый бой съ Ключковымъ. Но, ободряя упавшаго духомъ пріятеля, Ветлугинъ самъ чувствовалъ, что его слова

не совсѣмъ искренни и что въ нихъ звучала какая-то фальшивая нота.

Аглая, сжавъ въ рукѣ письмо Измарагды, слушала Антона Львовича и не спускала съ него глазъ.—«Ну, есть ли хоть одинъ человѣкъ на свѣтѣ лучше его?—думала она,—и въ силахъ ли я его осчастливить? О, если бы я могла быть его достойной! но нѣтъ... боюсь, боюсь... А что матушка-игуменья пишетъ! Боже!» Лицо ея было блѣдно, встревожено.

Замѣтивъ отсутствіе Льва Саввича, она незамѣтно встала и вышла въ гостиную, отсюда на балконъ. Старикъ Ветлугинъ давно здѣсь стоялъ, наслаждаясь тишиной и свѣжестью ясной ночи.

— Что вы смотрите?—спросила Аглая, неровной, робкой походкой приближаясь къ нему.

— Любуюсь звѣздами... Чудная ночь... и сколько ихъ!.. Такъ всегда бываетъ въ свѣтлыя сентябрьскія ночи... Вонъ, сыплются, мерцаютъ и будто падаютъ въ этотъ голубой туманъ... Мириады звѣздъ... Но я ищу между ними одну... ты ее знаешь.

Аглая не дала договорить Льву Саввичу. Она его обняла.

— Паленька, вы не откажите мнѣ?—вдругъ спросила она упавшимъ голосомъ.

— Въ чемъ?

— Не покидайте насъ, молю васъ!.. останьтесь жить съ нами! ахъ... вамъ у насъ будетъ хорошо... Библіотека, садъ, цвѣты... не покидайте...

— Что ты, милая, полно, всякому свое... У меня на рукахъ школа—росточекъ только пустила, далеко еще до плода.

Левъ Саввичъ не договорилъ. Много мыслей роилось въ его головѣ. Не замѣчая настроенія Аглаи, онъ продолжалъ смотрѣть въ ясное, звѣздное небо и рассуждалъ: «и меня несли сердитыя, темныя волны... роковой валъ подхватывалъ... И меня къ тихой пристани привела та далекая, — эта чистая и свѣтлая звѣзда».

— Такъ когда же ваша свадьба?—спросилъ онъ.

— Завтра...

Въ ту же ночь, когда всѣ легли спать, Аглая заперлась наверху, въ своей бывшей комнатѣ, долго молилась, плакала и сѣла къ столу. Въ ея рукахъ было новое письмо отъ

игуменьи. Аглая стала писать отвѣтъ, но тутъ же рвала и жгла все, что набрасывала. Необъяснимое, страшное волненіе вдругъ стало болѣе и болѣе охватывать ее, бросая ее то въ холодъ, то въ жаръ. Она упала головой въ подушку постели и сперва тихо рыдала, потомъ порывисто вскочила, спустилась съ лѣстницы и направилась, не помня себя, въ глубину сада. Облокотясь о стволъ березы, она испуганно стала смотрѣть въ темноту. И вдругъ ей показалось, что воздухъ заколебался: темныя, грозныя волны стали расти и надвигаться откуда-то на нее.—«Грозить, кланеть!»—шептала она, въ ужасѣ отстраняясь отъ чего-то рокового, давившаго ее:—растеть, растеть!» Ей показалося, что на нее наваливается роковой, тысячеглавый валъ. Она безпомощно двинулась къ берегу рѣки, отступилась...

Ночной сторожъ въслѣдствіи рассказывалъ, что отъ балкона, передъ разсвѣтомъ, прошло что-то въ бѣломъ. Пастухи на лугу слышали плескъ воды у крутизны...

Въ Краснокутскомъ монастырѣ вскорѣ стали служить панихиды по въ Бозѣ умершей боярыньѣ, дѣвицѣ Аглаѣ. Игуменья ждала богатаго вклада на обитель. Но старикъ Вечерѣевъ, оставшись за границей, повидимому, забылъ о монастырѣ...

Велугинъ возвратился въ Сибирь и теперь, какъ слышно, завѣдываетъ торговою конторой на Сыръ-Дарѣй. Школу его отца закрыли за неблагонадежность, по настоянію новаго предводителя, малограмотнаго капитана гвардіи, ожидающаго близкаго пришествія антихриста.—Клочковъ незадолго передъ тѣмъ судился вторично и, благодаря усиліямъ своего защитника, былъ оправданъ. Столешниковъ нѣкоторое время адвокатствовалъ въ Москвѣ, но, вслѣдствіе новыхъ правилъ объ адвокатахъ, оставилъ это поприще.

Въ августѣ 1873 года, онъ, по дѣламъ своего довѣрителя, былъ за границей. На вѣнской всемірной выставкѣ, въ отдѣлѣ «искусствъ», онъ долго стоялъ передъ картиною Глеза «Комедія человѣческихъ глупостей». Глядя на изображеніе пытокъ и казней въ библейскія, средневѣковыя и позднѣйшія времена, онъ подумалъ: «вѣчная смѣна людскихъ заблужденій... Что вчера было закономъ, утѣшеніемъ и гордостью человѣчества, то сегодня отвергнуто, осуждено, отдано огню и мечу... Но жизнь не остановится. Она возьметъ свое»...

За спиной Столешникова послышались голоса. Онъ оглянулся. Въ сопровожденіи переводчика и двухъ вѣнскихъ тузовъ,—толстаго, съ краснымъ лицомъ, банкира и тщедушнаго, въ парикъ и съ ленточкой въ петлицѣ, журналиста,—шелъ Ключковъ. — «Excellenz, Excellenz! — вертась передъ Ключковымъ и указывая ему на картину Реньо «Судъ въ Марокко», картавилъ журналистъ: — *da ist nun eine Celebrität für ihr Palais, Excellenz!..*»—Глаза Ключкова, однако, намѣтили другую картину, а именно: французское изображеніе роскошной, обнаженной женщины. Онъ сказалъ переводчику: «вотъ, батюшка, штучка, такъ мое почтеніе! за эту я не пожалѣлъ бы ничего!» и скрылся въ разноязычной толпѣ, жадно тѣснившейся передъ лишенной одеждъ красавицей.

(1873 г.).

---

# ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

## украинской охоты.

### I.

#### Зима.

Охота на волковъ «на засѣдкѣ». — Охотники. — Понамарь. — Охотничья старина. — Легенда о «Лѣсномъ-голосѣ». — Окликъ звѣря. — Охота съ облавой. — Куропатки и дрофы. — Стрѣльба зайцевъ ночью на гумнахъ. — Охота на волковъ съ поросенкомъ.

Зима стояла студѣная. Это лучшее время для степной охоты на волковъ и, въ особенности, для такъ-называемой охоты «на засѣдкѣ» — когда охотники подманиваютъ голодающаго звѣря на приваду, а сами на ночь засѣдаютъ съ ружьями въ какой-нибудь глуши, въ старомъ заводѣ, въ одинокой лѣсной хаткѣ, или въ земляной копанкѣ, и стрѣляютъ подошедшаго къ привадѣ звѣря въ окошко, по свѣту мѣсяца, иногда почти въ упоръ.

Въ 1860 году на югѣ Россіи выпалъ небывалый въ степяхъ, глубокій снѣгъ. Сначала, когда онъ еще не улегся, разыгралась-было метель пѣшая, а потомъхватила «верховая» и намела стекольчатого, точно хрустальнаго, снѣга такіе вороха, что неожиданно овраги сравнялись, а хутора очутились въ ямахъ, и ѣдущіе по улицамъ увидѣли крыши хатъ у своихъ ногъ, въ ворота же стали вѣзжать, какъ черезъ стѣны крѣпостныхъ валовъ. Тутъ уже звѣрь всегда разгуливается и становится особенно злобенъ. Двери овечьихъ сараевъ и скотскихъ загоновъ запираются плотнѣе

Мелкіе дикіе звѣрюшки забиваются въ норы поглубже. Поживиться нечѣмъ. И такъ иногда мететъ сутокъ пять, шесть. Тутъ волки просто остервеваются. Воровавшись въ одинокій хуторъ, иногда чуть смеркнется, имъ нипочемъ бываетъ прямо вскочить на ветхую клѣтушу, прорвать лапами соломенную крышу и въ полчаса передуть до одной стадо овецъ. Въ такую пору часто въ стѣняхъ выгоняють волковъ изъ теплыхъ сѣней, гдѣ носится паръ отъ вкуснаго ужина. И ужъ это не новость: чуть настанутъ такіе волчьи набѣги, только и слышно, что тамъ порвана лошадевка, тамъ унесенъ теленокъ, тамъ въ панскомъ овечьемъ заводѣ передушено триста головъ мериносовъ, а тамъ горячкой отъ перепуга заболѣли барыня-хуторянка и юнкеръ, за тройкой которыхъ цѣлый часъ гналась въ степи стая волковъ и, удерживаемая однимъ колокольчикомъ, влетѣла въ самую околицу ихъ хутора...

Едва улеглась метель, я поѣхалъ изъ дому и случайно, въ сосѣдней усадьбѣ старика-помѣщика, встрѣтился съ пріателемъ моимъ, понамаремъ-охотникомъ, Иваномъ Андреевичемъ Михайловскимъ, который пріѣхалъ туда покупать лошадей и кое-какую хлѣбную провизію въ городъ.

— А что, Иванъ Андреевичъ, вѣдь пороша?—началъ я, едва увидѣвъ пріятеля.

— Нѣтъ, ужъ если охотиться на что, такъ на волчковь на засѣдкѣ-съ, а кольми паче я еще и приваду-съ тутъ же положилъ, и это еще дѣло дивное-съ: пріѣзжаю вчера, купилъ лошадку-съ за три цѣлковыхъ, завалившую уже вовсе, на шкуру одну; она и пала въ ту ночь. Ну, я шкуру-то снялъ, а мясо и выволокъ за кузницу; въ нынѣшнюю ночь будемъ бить *спраго*...

Почтенный понамаръ, въ лисей папахѣ, въ черной барашковой шубѣ, крытой зеленою манкой, а подъ шубой въ курткѣ, передѣланной изъ жениной кофты, былъ бодръ и веселъ:

— А ружье же съ вами есть?

— Есть мой шведъ! — отвѣчалъ понамаръ: — не уберыхъ души моя отъ страсти плотоугодія! Съ дѣтства пострѣливалъ, аки Немвродъ, и нынѣ преданъ охотѣ и есмь ловець...

Я уже зналъ сноровки своего пріятеля и, признаюсь, слѣдилъ за нимъ и не упускалъ случая поохотиться съ нимъ на что бы то ни было. Старикъ-помѣщикъ, у котораго мы



оба съѣхались съ нимъ, былъ въ параличѣ, и гости его не стѣснялись, занимаясь каждый чѣмъ хотѣлъ.

Вечера я поджидаль неравнодушно. Тихо шмыгнуть понамарь въ топленую баню, зажечь тамъ свѣчку, убѣдигь меня не звать болѣе никого и стать готовить картечь.

— Бога Господа ради, сидите смирно, да не смѣйтесь! — толковалъ онъ, разрывая хлопки на пыжи и принимаясь въ засаленномъ горшечкѣ, въ печи, растапливать свинецъ на картечи: — тишина первое дѣло; звѣрь хитѣрь и чуетъ по воздуху, гдѣ готовится охота!

Скоро щепки загорѣлись, и горшокъ сталъ чадить немилосердно. Закопѣлыя и промасленные картечи скоро улеглись кучею на столѣ. Мы зарядили ружья, взглянули на часы и вышли изъ бани въ садъ. Было половина десятаго ночи. Мѣсяцъ свѣтилъ ярко, но въ воздухѣ стояла туманно-серебристая мгла. Пройдя по непротоптаннѣмъ дорожкамъ сада, мимо обледѣвшихъ, точно стежляныхъ и тихо скрипѣвшихъ отъ вѣтра деревъ, мы перешли по льду рѣку подѣ садомъ, уже за хуторомъ, и стали взбираться на гору. Я оглянулся. Огни на хуторѣ погасли. Острый морозный вѣтеръ изрѣдка обхватывалъ въ тиски уши, носъ и щеки. Собаки молчали, видно тоже пораньше забившись въ теплые углы дворовъ. Мы еще прошли по горѣ и опять склонились къ сторонѣ хутора. Понамарь шелъ впереди, держа своего шведа на рукѣ, на-перевѣсь. На снѣгу отражалась его шагающая тѣнь, съ поджарыми ножками, утлюю бородой и съ торчавшею изъ-подъ шапки косичкой...

— А вотъ и кузница, тутъ мы засядемъ на засѣдку! — сказалъ онъ, остановившись на косогорѣ, у какой-то отдушины.

Я оглядѣлся. Передъ моимъ носомъ обрисовалась низенькая, вся заметенная землянка хуторянской кузницы, съ крошечною дверкой, трубой и окошечкомъ. Окошечко было въ поле, къ сторонѣ близко-чернѣющаго лѣска. Вся поляна въ лѣсу бѣлѣла и отливалась блестгами. Ниже, у ногъ, и далѣе къ холмамъ, за рѣкой, будто висѣлъ туманъ и стояла свинцовая, непроглядная тѣма.

— Подѣзайте! — шепнула мнѣ понамарь.

Я нагнулся и вошелъ въ дверку.

— Ну, теперь можно зажечь огарочекъ! Еще рано!

Понамарь зажечь свѣчку и поставилъ въ печь. Я осмотрѣлъ землянку. На полу уже лежала припасенная солома.

Окошечко было завѣшано тряпицей. Всѣ щели и дырки въ стѣнахъ были также тщательно заткнуты соломой.

— Сѣрый чувствуетъ за версту и вблизи узрить даже въ такую щелку, что и булавки не продѣть! — говорилъ понамарь: — ну, коли ѣсть тоже хотите, закусывайте, ваше благородіе, — сказалъ онъ, уставивъ ружья у наковальни: — а тамъ уже, какъ окликну ихъ, то лежите смирно; заanaxъ нельзя пускать, — развѣ только пошущукаемъ о чемъ, отъ скуки, съ собою...

Я вынулъ хлѣбъ и сыръ и предложилъ товарищу.

— А который часъ?

— Одиннадцатый...

— Еще рано. Скажите, какъ будетъ двѣнадцатый. Имъ самая пора — глухая полночь.

— Гдѣ же у васъ тутъ падаль, ваша лошадевка?

Понамарь поднималъ тряпицу тихо и бережно, запустилъ въ отверстіе сперва одинъ глазъ, а потомъ другой, посмотрѣлъ и вдругъ схватилъ себя руками за голову.

— Что вы?

— Ай-ай-ай! Гляньте...

Я посмотрѣлъ въ окошечко изъ-за его бороды. Чтѣ-то черненькое и крошечное, какъ мышь, быстрыми лапками бѣжало по снѣгу отъ падали и, будто слыша чтѣ-то, оставливалось и спускалось въ оврагъ къ рѣкѣ.

— Чтѣ это, мышь, или ласочка? — спросилъ я.

— Какая тутъ мышь! — прошипѣлъ отъ досады понамарь, все еще держась за озадаченную голову и присѣдая къ землѣ: — это лисовинъ, да еще матерой, — здоровенная лисица...

— Чтѣ же она?

— Какъ что? А, не люблю я разспросовъ! Нюхнула, значить, привадку, да и нашъ слѣдъ нюхнула, ну и драла... Значить, сыта, расподѣлющая душа! А то бы я бухнулъ съ почину-то! А каковы малы лисички-то кажутся по ночамъ? Оно и правда теперь — сущее мышатко...

Мы сѣли. Свѣчка въ печи едва мерцала, прикрытая, для большей осторожности, кувшиномъ съ пробитымъ дномъ. Вѣтеръ не стихалъ, а еще будто его разбирало, и по временамъ перекатывалъ поверхъ кузницы тѣ же полосы стекльчатой, точно составленной изъ битаго хрусталя, снѣговой блуждающей пыли...

— А что, Иванъ Андреевичъ, курить еще можно?

— Вотъ опять и курить! Ну, гдѣ же это слыхано? Нѣтъ, въ старину не такіе бывали охотники!

— Какіе же, расскажите...

— Вамъ все расскажи! Разумѣется, что не такіе. Вотъ вашъ лѣсъ: чтѣ онъ теперь? Такъ, пѣвое дѣло! Иному и зайду въ немъ ужъ негдѣ спрятаться. А у вашего дѣдушки тамъ дикія козы травились; забѣгали, значить, говорятъ, изъ черниговскихъ боровъ; оленій звѣринецъ былъ тамъ у вашего дѣдушки, головъ по полсотни, да волки выдушили. Однѣхъ собакъ у него было двѣсти борзыхъ, да сто гончихъ; борзыхъ отъ Архарова изъ Москвы купилъ. Я засталъ еще его доѣзжачаго—Комаромъ звали. Говорить, по тысячѣ за собаку платили; везли, говоритъ, два мѣсяца изъ столицы, караваномъ, на конныхъ и воловыхъ подводахъ. На каждой подводѣ, на кибиткѣ, лоси рога красуются привязаны. На ловчихъ желтыя и зеленыя курточки; рога за плечами. Отъѣдутъ двадцать пять верстъ, и привалъ. Это сейчасъ котлы на треножцы; валятъ туда цѣлыхъ барановъ, пшена да муки. Костры горять; водку пьютъ, въ трубы трубятъ; пѣсни играютъ... Чудеса! А теперь? Такъ какъ-то живутъ, больше все въ карты продуваются... Нѣтъ, прежде не такъ и здоровѣемъ хворали. Такіе помѣщики барбосы были, что на поди. Какъ отхватаетъ иной верхомъ съ борзыми дней десять, пятнадцать сразу, въ отъѣзжихъ поляхъ, или пѣшечкомъ по десяти, пятнадцати верстъ въ день, такъ больныхъ тѣхъ и въ поминѣ не было... А теперь, опять-таки скажу: самъ сидитъ, а на охоту за себя другихъ посылаетъ... Я у одного такого пять лѣтъ при церкви былъ! Да что, тоска взяла, гляючи на эту мертвечину, а еще изъ богатыхъ былъ, землю на арендѣ держалъ подъ Ростовомъ...

— Вы, Иванъ Андреевичъ, какъ будто псовую охоту предпочитаете ружейной?

— Я?! Сохрани Богъ! Псовая хороша мнѣ только со стороны глянуть, да и не всякому по средствамъ. Что нынѣшнія собаки? Дрянь! здѣсь гончія въ старину-то были, такъ ужъ непременно либо агары, либо параты; лисицу и волка сами, безъ борзыхъ, травилъ въ угонъ; а коли борзья, такъ псовые, вонъ такія, съ волка величиной отъ земли, и съ гривками такими, шельмы, точно львята; на перемичѣхъ звѣрю и дохнуть, бывало, не дадутъ. Вотъ то

и охота была, а теперь все поджарыя крымки, да степныя! Нѣтъ, не промѣняю я ружья на псовую охоту! Охъ, весна, весна, сударь, да мокрежкая осень. Скоро ли вы ворочитесь? Вы, сударь, не повѣрите, какъ за живое беретъ, чуть повѣетъ весеннимъ-то вѣтеркомъ... Слышите, какъ студѣная позѣмка-то теперь разбираетъ надъ нашими головами? А весеннимъ теплымъ денькомъ? Крестъ положилъ на себя, взять краюшку хлѣба, да ружье, и гайда по лузямъ, да по болотамъ! Пришелъ, сѣлъ подъ овражкомъ, у опушки лѣса, положилъ ружье на-земь, и стрѣлять не хочется—все глядишь... Козявочки тамъ ползають, тминомъ полевымъ, да чебрецомъ пахнутъ, а тутъ мотыльки, бабочки такія большущія летаютъ, точно съ птичьими крыльями. Бабочка—Пава прозывается и Адамова-голова есть бабочка; тѣхъ я особенно люблю. Пава вся голубая, а величиною съ ладонь и съ сизымъ, будто шелковымъ отливомъ; какъ залетитъ, ну, точно кусокъ голубого бархата, либо птица сизая мелькаетъ. Адамова-голова еще больше, съ голову ребенка, коричневая, а внизу крыльевъ темныя, съ бѣлыми ободками, пятна, будто глаза мелькають! какъ поднимется изъ-за куста, да станеть этакъ, по мотыльковому обычаю, въ воздухъ повиснеть, ну, вотъ точно голова стоитъ и на тебя оттуда посматриваетъ. А мелкія бабочки? Иная съ усиками, другая вся золотая, третья алая, съ черными оборочками; иныхъ крохотныхъ стадо налетитъ, точно зелененькіе листочки посыплются съ дерева...

Понамарь замолчалъ. Я свободнѣе растянулся по соломѣ. Онъ сидѣлъ, обхватя колѣни руками. Было еще далеко до полночи.

— Слышалъ я, — началъ онъ опять: — что мотыльки—это души младенцевъ, умершихъ у честныхъ и праведныхъ родителей... Дѣти грѣшныхъ такъ и лежатъ въ могилахъ, а эти порхаютъ по свѣту и любятъя всѣмъ, что есть на землѣ, и наряды самые красивые носятъ. Какъ лѣто настаетъ, они выпорхнутъ на травы, да на цвѣты; осень пришла, ихъ уже и нѣтъ—попрячутся въ куколки гусеницъ...

Я поправилъ свѣчку въ кувшинѣ.

— А слыхали вы, что такое *Лисной-голось*, откликъ, или эха, какъ оно у господъ прозывается?

— Нѣтъ, не слыхаль.

— Это я и сажу иной разъ приду, бывало, въ самую

трущобу и крикну; оно и аукнется въ разныхъ мѣстахъ, само себя будто передразниваетъ. И сталъ я стариковъ спрашивать... А одинъ мнѣ, по прозвищу Тарасъ Нечестный, и говоритъ: Ауканье — это Лѣсной-голосъ. Ты какъ крикнешь, и пойдетъ будто волна по лѣсу; это сила такая, говорить, перекликается. Что будто въ самые старые, первоначальные годы, какой-то старый ангелъ, видя, что сынъ его, молодой ангелъ, влюбился въ землю и все съ облаковъ лазуревыхъ день-денской приляжетъ и смотреть на нее, взялъ и бросилъ его оттуда на нашъ свѣтъ... Говорить: «коли не вѣришь ты мнѣ, что земля не нашему брату мѣсто, лети туда и поживи тамъ, авось одумаешься!» Вотъ и упалъ этотъ ангелъ съ облаковъ прямо въ роши зеленныя и сталъ Лѣснымъ-голосомъ... Все ему весело; на что ни глянетъ, все занимаетъ его. Шалить онъ съ зари до зари, все перекликаетъ, птицу ли, звѣря ли какого, шумъ листьевъ, говоръ водъ и шелестъ вѣтровъ всякихъ. И такъ онъ это леталъ и жилъ по землѣ цѣлые вѣка. Только, сударь мой, взялъ да напоследокъ и приглядѣлся: вѣточки отражаются въ водѣ, горы глядятъ, точно опрокинутыя, изъ воды; птица пролетитъ — и та видна въ водѣ. А онъ только, значить, голосомъ однимъ живетъ. Сорока крикнетъ на бережкѣ, и онъ сорокою крикнетъ; та только оглядывается. Соловей свиснетъ, и онъ за нимъ разсыпается свистами по долинамъ. Все хорошо — только не видитъ ни самъ себя Лѣсной-голосъ, ни его не видно въ водахъ и на тѣни. Такъ онъ маленько было задумался объ этомъ, а потомъ и позабылъ; опять сталъ порхать по кустамъ, да по пригоркамъ, шалить по-старому. Только разъ онъ и налетѣлъ, съ вѣтромъ въ перегонку, на холмикъ, а подъ холмомъ, подъ орѣшникомъ, спала красавица, какъ есть, значить, живая душа человѣческая, женщина... Раскинула такъ волосы; руки по локоть нагія открыты, и жарко дышитъ эта молодая грудь, ждетъ вѣтерка свѣжаго. Вѣтеръ и давай около нея, заходился обвѣвать, да ласкать ее, нѣжить и холить волосочки и всякую складочку ея одежды. Лѣсной-голосъ-то и влюбился въ красавицу... Повисъ надъ ней, замеръ на воздухѣ и ни съ мѣста... И вѣтеръ давно улетѣлъ, и облачко на солнце нашло, заслонило лучи его, и день сталъ клониться къ вечеру, — а Лѣсной-голосъ все стоитъ — виситъ въ воздухѣ, воззрися въ красавицу и не летитъ далѣе. Она молчитъ,

и онъ молчить; молчать листья, птицы присмирѣли, и ему не откликнуться, нечѣмъ, значить, разбудить ее, подать знакъ о себѣ. Кинулся онъ къ ней, обнимаетъ, цѣлуетъ ее... а она и не чувствуетъ... И увидѣлъ тутъ Лѣсной-голосъ, что у него *тыла нѣтъ*, и впервые пожалѣлъ о тѣлѣ... Еще порхалъ вокругъ красавицы, еще полеталъ надъ нею. Она встала, любуется на зорю вечернюю, на лѣсъ и на воды... Онъ и впередъ забѣжитъ, и сбоку, а его она и не видитъ... И понялъ онъ тутъ, что не братъ онъ на землѣ, не земляной жилецъ, и воскликнулъ онъ: «вскую оставилъ мя, отче ангелъ небесный? Возьми опять меня на крылѣ твои, въ подоблачныя жилища!» «Нѣтъ,—проувѣщали ему облака тогда:—нѣтъ уже ни твоего отца въ небеси, никого изъ родичей; другіе уже заступили ихъ мѣсто,—и тысячелѣтія прошли съ тѣхъ поръ! А тебѣ, видно, до конца вѣка шататься по землѣ!» — Тутъ Лѣсной-голосъ, а по вашему эха (значить, ауканье наше), осталось на землѣ, и летаетъ съ той поры вездѣ незримое, перекликаетъ всякіе голоса, тѣмъ и забавляется... Только съ той поры уже какъ будто скучно ему все, и въ голосъ его, сударь, точно что-то печальное есть. Прислушайтесь. Крикните иной разъ надъ рѣкой, или въ лѣсу, или въ пустынькѣ какой, крикъ вашъ какъ будто и тотъ же слышится въ перехватъ, только будто немного тише, печальнѣе, поглуше... Это ауканье такъ тоскуетъ, сударь, вспоминаячи о прежней жизни и объ облакахъ...

Разсказъ понамаря былъ прерванъ глухимъ шумомъ надъ нашими головами, точно кто пробѣжалъ или перебросилъ что-нибудь черезъ крышу кузницы. Мы привскочили оба на соломѣ. Понамарь перекрестился.

— Чтѣ это, Иванъ Андреевичъ?

— Не знаю...

— Не пришелъ ли кто сюда, или вѣтеръ усилился и вьюга началась?

— Пойдите, посмотрю...

Понамарь всталъ, запахнулся въ шубу плотнѣе и со словами: «О, Господи! Чудны дѣла твои, Боже!»—вышелъ на воздухъ. Паръ клубомъ ворвался въ низенькую дверку. Понамарь долго не входилъ, а мнѣ, на пригнѣтомъ мѣстѣ, особенно тѣниво и уютно сидѣлось. Я слышалъ надъ кузницей перекаты вѣтра.

— То выюга-сь какъ будто курить, поднимается! — сказала понамарь, входя снова: — ну, да опять яснѣть, и, кажется, стихнетъ... А который-то часъ. ваше высокоблагородіе?

— Двѣнадцать...

— Ну, подождемъ еще маленько, да и къ дѣлу.

Онъ опять сѣлъ и взялъ ружье на коѣнни. Помолчавъ съ минуту, онъ вздохнулъ и усмѣхнулся.

— Скажу вамъ,—началъ онъ:—что какъ не завидовать ребятишкамъ! Вотъ хоть бы и я. Какую *сторію* вы ни говорите мнѣ, а лучше я не люблю сказокъ, какъ дѣтскихъ, про звѣрюшекъ всякихъ. Одни охотники только и знаютъ, по-мосму, настоящіе обычаи всякой звѣрятины. Знаете вы,—извините, сударь, за такой вопросъ,—нашу мужицкую сказку про пѣтуха, про котика и про лисичку?

— Нѣтъ, не знаю...

Понамарь опять усмѣхнулся.

— Вотъ, пришли въ морозъ волковъ бить, а какія рѣчи съ вами ведемъ; даже смѣшно, право!

— Разскажите пожалуйста!

— Нѣтъ, пора уже за дѣло...—Онъ вскочилъ.

— Сидите вы тутъ, или выходите потихоньку на крышу, а я пойду къ лѣсу; надо прежде звѣря окликнуть!—сказала понамарь.

Съ ружьемъ въ рукахъ пошелъ онъ къ лѣсу, странно мелькая на ярко-освѣщенной снѣжной полянѣ. Вѣтеръ стихъ, но морозило сильно. Въ сторонѣ, шагахъ въ тридцати отъ кузницы, чернѣла полузаметенная куча привады.

— Вамъ не страшно?—тихо крикнулъ я вслѣдъ понамарю.

Онъ молча и съ досадой махнулъ мнѣ рукой.

Я сѣлъ на сугробъ; внизу, въ оврагѣ, извиваясь въ потемкахъ, будто бѣлыя змѣи, ползли полосы навѣваемаго снѣга. На горѣ было ярко и морозно. Милліоны звѣздъ, казалось, пересыпались съ мѣста на мѣсто, мерцаая въ морозной тишинѣ... И вдругъ я услышалъ вой, сперва протяжный и тихій, а потомъ громкій. Вой смолкъ, отдался въ пяти или шести мѣстахъ въ раскатахъ и опять зазвучалъ. Я невольно вспомнилъ о судьбѣ печальнаго Лѣснаго-голоса. Сначала мнѣ стало жутко. Мнѣ показалось, что это воютъ волки. Но я тутъ же вспомнилъ о сборахъ понамаря «окликнуть звѣря» и успокоился. Это точно кричалъ онъ,

дрязны отдаленныхъ и близкихъ, спящихъ и бодрствующихъ отъ лютаго голода волковъ. Покричавъ по-волчьи на одномъ мѣстѣ, онъ видимо перемѣстился на другое, потомъ будто крикнулъ въ самой глубинѣ лѣса и опять замолкъ. Я сталъ вслушиваться... Ему ничто не вторило; даже собаки на тихомъ и глухомъ хуторѣ молчали. По временамъ только, попрежнему, въ оврагѣ шелестили какіе-то извивы, будто все безъ умолку тамъ струились бѣлыя полосы снѣга, да рѣзка вдругъ отдавалась стономъ трескавшихся льдовъ... Вдругъ застонетъ, грохнетъ ледяная скатерть, и пойдутъ раскаты между береговъ и далѣкихъ камышей, какъ отъ выстрѣла... Прошло болѣе часа. Понамарь все переключался и не возвращался. Мнѣ дремалось. Слышу, понамарь крикнулъ уже вблизи, и въ тотъ же мигъ ему отвѣчали два волчьихъ воя за версту отъ него, въ другой сторонѣ. Сердце у меня забилося!.. «А, это уже волки!» подумалъ я. И въ ту же минуту у меня надъ ухомъ раздалось: «Ну, ваше высокоблагородіе, удирайте въ землянку; сѣрые тутъ уже неподалеку...»

Мы снова вползли въ кузницу и заперли на засовъ двери. Свѣча была потушена. Ружья взяты въ руки. Понамарь поднялъ тряпицу у окошка и припалъ лицомъ къ отверстию. Я тоже прислонился къ стѣнѣ и сталъ изъ-за его плеча смотрѣть въ окошко. Но, кромѣ снѣжной поляны, блеска мѣсяца и темной кучи привады, ничего не было видно. Дремота снова стала одолевать меня. Я прилежъ опять на солому, прося собесѣдника сказать мнѣ, когда придутъ волки.

Долго я лежалъ. Помню, что впотѣмахъ, отъ теченія воздуха, вздуло уголекъ въ кузнечной печи, гдѣ передъ вечеромъ работали, и онъ сверкалъ, какъ звѣздочка. Понамарь стоялъ, какъ вкопанный, не шевелился и почти не дышалъ. Я заснулъ. Не помню, что мнѣ видѣлось во снѣ. Лѣсной голосъ ли, порхающій по свѣту и влюбляющійся въ сонную земную красавицу, мотыльки ли Пава и Адамова-голова, или мой дѣдушка и былыя охоты старыхъ временъ... Помню одно, что неожиданно надъ моимъ ухомъ грянулъ выстрѣлъ, въ моихъ глазахъ зажегся пожаръ; я вскочилъ, будто разорвало у меня черепъ... Смотрю — понамарь старается, въ дыму отъ своего шведа засвѣтить спичкой свѣчку въ кушину. Зажегъ и выскочилъ изъ двери. Я очнулся, понявъ окружающее меня и тоже выбѣжалъ за нимъ...



Онъ, простоволосый, со спущенною съ плечь шубой и съ растрепанной бородой, стоялъ у привады...

Два огромные волка-лежали на снѣгу, убитые наповаль его самодѣлковой картечью. — «Вотъ и прибыли, — сказалъ онъ, — а ловчился и цѣлился чуть не полчаса... А ужъ ждать—такъ чисто всю ночь!»

Я взглянулъ на небо. Звѣзды потухли. Вверху носился туманъ. Даль бѣлѣла. На востокъ занималась зари, шли желтоватыя свѣтлыя полосы. Не далеко оставалось до утра.

— Два только и было волка?—спросилъ я понамаря.

— Какихъ два! восемь... Какъ пришли, у меня такъ и потемнѣло въ глазахъ... Да, бестія прежде всего стояли поодаль, вправо, и какъ нарочно, будто знали, все посматривали на кузницу, на насъ... Вѣдь смѣшно, а все думалось: ну, какъ вмѣсто лошаденки-то моей палой, да кинутся они на насъ! Вѣдь бывали такіе случаи, сударь, что охотникъ, нашъ братъ, засядетъ въ какой-нибудь хлѣвухокъ, бацнетъ, промахнется, а звѣрь къ нему, да и ну рваться сквозь плетень—полуживыхъ отъ страху по утрамъ выносили...

Зимой въ степи еще недавно помѣщики охотились почти каждое воскресенье, съ тенетами и облавами на лисицъ, волковъ и зайцевъ. Эта охота всѣмъ знакома. Съ утра объѣздки, бывало, прослѣдять хотъ краснаго звѣря, найдуть его логовище, поставить въ кустахъ тенета, съ противоположной стороны пустятъ правильнымъ строемъ «кричаней» съ стрѣлками по крыламъ, и облава двинется. Хозяева сами ждутъ у тенетъ. И вотъ, чуть раздадутся, сперва отрывочные и тихіе голоса гонцовъ, ужъ тутъ ждите прежде всего лисицу. Она хитра и поднимается первая. Волкъ лежить крѣпче. Вы стоите съ ружьемъ въ рукахъ; за вашей спиной, саженьяхъ въ десяти, тенета; впереди васъ чистая площадка, перемычка, огражденная другими кустами, положимъ, мелкими соснами. Вы смотрите. Бѣлый снѣгъ рѣжетъ глаза. Курить хочется. Нельзя пошевелинуться. Оба курка тяжелаго мортимера взведены. Тишина близъ васъ такая, что слышно, какъ изъ-подъ ногъ валетъвшей какой-то сѣренькой птички упалъ крошечный обломокъ вѣтки. Все тихо. Сухіе стебельки прошлогодней травы торчатъ сквозь оледенѣлый бѣлый снѣгъ. Гдѣ-то дятель долбитъ и стучаеъ носомъ въ гнилую кору сосны. И вотъ затрещала

впереди васъ сорока, всегда предвѣстница какого-нибудь гостя въ лѣсу. Испуганная ея крикомъ, взлетаетъ, влѣво отъ васъ, зазимовавшая въ степномъ бору сойка, сверкнувъ зелено-красно-желтыми, съ бѣлыми оторочками, крыльями. Въ низенькихъ соснахъ мелькнуло что-то бурое... Мигъ, и на поляну, высунувъ языкъ и хватая имъ снѣгъ, выбѣгаетъ запыхавшійся лисовицъ. Онъ остановился и слушаетъ, гдѣ шумятъ кричане. Онъ сталъ задомъ, сталъ бокомъ; пушистый хвостъ такъ и горитъ на снѣгу. Ружье ваше взято на цѣль. Ну, какъ онъ увидѣлъ? Бацъ... Дымъ разлетѣлся, и по обогренному кровью сугробу взметывается передъ вами убитая наповалъ цѣнная добыча... Вы опять сторожите. Но уже не выскакиваетъ на васъ другая лисица... Кричане ближе. Правое крыло «улюлюкаетъ» — подняли волка. Но и волкъ пошелъ не на васъ. По немъ стучають выстрѣлы влѣво. А мимо васъ шныряють одни озадаченные зайцы... Но неужели ихъ тоже бить, послѣ вашей «красной, благородной и славной добычи?»

Первая облава кончена. Кричаней угощаютъ. Гонцы закусываютъ въ одной сторонѣ; пане бенкетуютъ въ другой. Шумъ и крикъ, смѣхъ и анекдоты..

Охота «въ наѣздку» зимой не слишкомъ увлекательна. Это — любимое занятіе юношей, новичковъ первой поры. Садятся верхомъ, берутъ по сворѣ борзыхъ къ рукъ, разбѣгаются «на дистанцію» въ полѣ, такъ что другъ другу слышенъ только крикъ или звукъ рога, и пускаются по безпредѣльной равнинѣ шагомъ. Ёдутъ часть, ёдутъ два. Иной спустился въ оврагъ, другой на курганъ наѣхалъ. Потомъ опять всѣ сравнялись и движутся темными точками. Звѣра не видно; не поднимается. Только вдаль, версты за двѣ, на косогорѣ, чернѣетъ какая-то подвижная, будто перебѣгающая точка. Это — лисица, и препорядочная; по слѣду, должно быть, ласточекъ, либо полевыхъ мышей слѣдить и ловить! День уже темнѣетъ; настали сумерки. Верховые, перезабитые и голодные, спускаются на рѣку, къ деревнѣ. И вдругъ крикъ, всѣ вытянулись, летятъ — заяцъ выскочилъ изъ камышей, у самыхъ огородовъ, и пошелъ въ гору... Ловите его...

Зимою же, близъ хуторовъ, въ пустынныхъ «ливадахъ», гдѣ сѣялись бакши или какія-нибудь хозяйственные зелья, по снѣгу съ утра разсыпается въ приманку зерно. Днемъ

ее клюют воробьи, огненные снигири и зяблики; а пройдет ночь — на утро, вокруг приманки, по порошгъ видны крестики отъ лапокъ куропадокъ... А! надо ставить силки. Воронкообразная, круглая сѣть раскинута. Палочка подпираетъ дверку съ западной. Отъ палочки въ оврагъ протянуть шнурокъ, и баранья шапка съ усами торчитъ изъ оврага. Вотъ стемнѣло. Слышно тихое курныканье куропадокъ, точно насѣдка сзываетъ лѣтомъ въ густой травѣ, въ саду, цыплятъ. Бѣжить гуськомъ сѣренное стадо. Клюетъ предательскую, дорожкой кинутую приманку. Дверка хлопнулась — и всѣ въ западнѣ...

Передъ святками и на святкахъ мальчишки еще охотятся зимой на воробьевъ. Зажгутъ фонарь и въ темную ночь пойдутъ въ сарай. Перепуганные крикомъ и свѣтомъ, воробьи думаютъ, что настало утро, что горящій фонарь — щель на свѣтлый воздухъ; и сотнями, ослѣпленные, кидаются на крышку и на стекла фонаря, а ребятишки ихъ ловятъ шапками.

Въ херсонскихъ степяхъ и на югѣ Екатеринославской губерніи зимою зачастую остаются въ поляхъ дрофы. Онѣ кормятся травой, не вездѣ, неглубоко покрываемой снѣгомъ, и ходятъ кучами, какъ овцы, прячась отъ метелей въ лѣскахъ и степныхъ лѣсныхъ балкахъ. На нихъ тогда не охотятся. Но нерѣдко несчастную, измороженную стужей и обледенѣлую отъ инея птицу мальчишки при этомъ просто хворостниками загоняютъ въ хутора и убиваютъ.

Есть еще въ степяхъ зимой особый родъ охоты. Это — охота на зайцевъ ночью, въ садахъ и на хлѣбныхъ токахъ. Она составляется обыкновенно незначай. Къ вамъ пріѣхалъ пріятель-сосѣдъ. Вы пообѣдали. Сидите за чаемъ, млѣя, какъ млѣютъ зимой охотники въ толкахъ объ охотѣ; все выболтали другъ другу, рассказали, что новаго по сосѣдству и въ городѣ; можно ли ожидать съ весны урожая; какъ ссорятся вашъ предводитель съ губернаторомъ; какъ такую-то полюбилъ такой-то, и какъ у такого-то, другой, такой-то, выигралъ порядочный кушъ... Говорить больше не о чемъ. Уже и вечеръ пришелъ. Свѣчи догораютъ, романтическій сверчокъ тоже не забываетъ о себѣ подать вѣсть; недалеко и до ужина...

— А что, Ваня, не пойти ли въ токъ на зайцевъ?

— Пойдемъ, Петя?

И вотъ, дѣлаются заряды; вмѣсто опасныхъ хлопковъ, на пыжи идетъ войлокъ. Шубы надѣты, подъ сапогами подвязаны полстанныя подметки, чтобъ не было слышно скрипу по снѣгу. Вы входите въ темный садъ, пробираетесь между кустами. Незримыя обледѣлыя вѣтки въ потѣмкахъ бьютъ васъ по лицу. Вы потихоньку подъ носъ хихикаете и пересмѣиваетесь съ товарищемъ. Перешли вишенникъ, замерзшій прудъ. Остановились. Въ десяти шагахъ отъ васъ что-то шелеститъ, будто пробирается къ забору...

— Петя! — шепчетъ товарищъ.

— Что?

— Стрѣлять?

— А что?

— Заяць...

— А гдѣ же онъ?

— Вонъ-вонъ — какъ будто чернѣетъ...

— Бей!

Выстрѣлъ раздается, и заяць, по нецѣстижимому счастливому случаю, убитый наугадъ, вскрикиваетъ, какъ плачущій ребенокъ, у забора...

Но вы спѣшите на токъ. Усѣлись подъ скирдою. Темно, ни зги не видно. Вѣтеръ шелеститъ соломой. Близко сельское кладбище. Морозитъ. Товарищъ вашъ сидитъ далеко. Проходить часъ. Слышны между скирдъ какіе-то шорохи, бѣганье; будто кто большой шагаетъ. Вы даже ширину шаговъ стараетесь угадать. — «Ужъ не мертвецы ли это?» — спрашиваете вы сами себя, и морозъ подираетъ васъ по кожѣ — «изъ-за плечъ васъ беретъ», — какъ говорятъ у насъ. И точно — вотъ будто кто перелѣзъ или перескочилъ въ токъ черезъ заборъ изъ смежнаго кладбища. Идетъ или, кажется, несется съ вѣтромъ... Что-то бѣлое мелькаетъ впотѣмахъ. У васъ даже испарина проступаетъ на носу и на затылкѣ... И вдругъ изъ-за небосклона вырѣзался край мѣсяца. Еще и еще, становится свѣтлѣе. Золотой шаръ поднялся надъ степью. Снѣгъ заблесталъ. Скирды и сугробы выспнились, дорожки обозначились, а по дорожкамъ, запуски и вприпрыжку, несутся зайцы... Да какая куча! И откуда они берутся! «Цѣлиться по свѣту отлично!» — думаете вы, и ошибаетесь. Заяць виденъ, а прицѣльной точки на отволѣ не видно. Но бейте наугадъ.

Одни перепуганные убѣгутъ, прибѣгутъ другіе. Кормовъ въ полѣ нѣтъ. Выстрѣлы тукаютъ, и время летитъ незамѣтно до разсвѣта...

Но, признаюсь, ничто такъ изъ зимней охоты въ степи не манило меня съ дѣтства, какъ охота на волковъ «съ поросенкомъ», охота живая, увлекательная и вмѣстѣ небезопасная. Она состоитъ въ томъ, что кружокъ стрѣлковъ, запасшись добрыми ружьями, садится на лихую, надежную тройку, въ пошевни; берутъ съ собой поросенка, а къ санимъ сзади на веревкѣ привязываютъ мѣшокъ, набитый содомой и обмазанный свинымъ саломъ; рыскаютъ въ глуши по степи и душатъ изрѣдка поросенка. На его крики волки выбѣгаютъ изъ овраговъ, слѣдятъ въ глазахъ охотниковъ сани, кидаются за мѣшкомъ, какъ кошки, съ подходами и увертками, ловятъ его, а въ это время по нимъ стрѣляютъ на всемъ скаку картечью. Нужны хорошіе кони, чтобы иной разъ ускакать отъ стаи остервенѣлыхъ волковъ, въ которой шальной зарядъ убьетъ волчицу.

Я помню довольно любопытный случай...

Сѣхалась какая-то толпа гостей на именины къ полковому командиру одного уланскаго полка, стоявшаго въ военномъ поселеніи. Первый день сѣзда, какъ водится, прошелъ въ танцахъ и разныхъ увеселеніяхъ; второй день прошелъ въ картахъ; третій—тоже. Я не танцую, не играю и не пью, и потому сильно скучалъ всѣ три дня, попавъ на именинный сѣздъ случайно, въ экипажѣ товарища-сосѣда. Вечеромъ третьяго дня, увидя переполненную чашу скуки, я предложилъ запречь сани и ѣхать, вмѣсто прогулки, на охоту на волковъ съ поросенкомъ. Мое предложеніе было принято. Ружья заряжены, трое пошевней подкатали къ крыльцу, въ каждыя взяты поросенокъ, сальные мѣшки подвязаны къ задкамъ саней, и мы, по пяти-шести стрѣлковъ въ санихъ, разѣхались въ три разныя стороны въ степь.

Поѣдно за полночь, по обычаю, съ шумомъ и громомъ, всѣ сани воротились во двѣрь. Пошли толки, споры. Первые сани ничего не видѣли и пріѣхали обратно, не выпустивъ ни одного выстрѣла. Вторые стрѣляли по волку, а убитый волкъ оказался собакой, разлакомившейся подъ селомъ на заманчивый сальный мѣшокъ. Третьи сани пріѣхали поздно всѣхъ... Ъхавшіе тамъ еще въ воротахъ,

при выѣздѣ, рѣшили, что затѣянное дѣло—чепуха, что они ничего не увидятъ, и потому запаслись еще наливками, которыя и осушили. Долго возился и бранился на этихъ саяхъ какой-то офицеръ, который никакъ не хотѣлъ садиться въ сани съ поросенкомъ, увѣрая, что «съ свиньями онъ никогда въ жизни не сидѣлъ рядомъ!» Кончилось тѣмъ, что, выпивъ наливки, офицеръ первый забылъ о своихъ словахъ, склонился къ поросенку и, будучи подъ хмелькомъ, захрапѣлъ, склоня на него голову... И вдругъ, едва выѣхавъ за околицу, лошади этой тройки стали фыркать, прошли порывистою беспокойною рысью версты двѣ и подхватили сани вскачь. Ъхавшіе стрѣлки вскочили и схватились за ружья. Смотрятъ: озади, рядомъ и забѣгая къ самымъ мордамъ коней, за ними скачетъ общество въ одиннадцать волковъ.

Что тутъ дѣлать? Стрѣлять было опасно; это была, по всей очевидности, «тичка» — то-есть волчья свадьба... Они своротили тройку назадъ и ну погонять. Сперва бросили изъ саней поросенка и потомъ давай стрѣлять холостыми зарядами. Кое-какъ отогнали волковъ отъ лошадей. Но заряды вышли, а волки ближе. Скачутъ охотники, кричатъ, всѣ встали, дрожатъ, держатся другъ за друга, молитвы читаютъ. Куда и хмель дѣлся! И вдругъ на ухабѣ, волкъ ли рванулъ пристяжную, она ли задомъ бросила, только сани закатились; товарищъ, не любившій свиней, вылетѣлъ—и упалъ на земь... Сани помчались далѣе. Смотрятъ тѣ, волки отстали... «Ну, пропалъ теперь Засѣтко! Недаромъ не хотѣлъ ѣхать—разорвутъ волки...» — Поахали, потолковали кутилы, обогрѣлись, воротившись домой, и легли спать. Смотрятъ, утромъ на зарѣ Засѣтко приходитъ цѣлешенькій изъ степи...

— Какъ? ты живъ?! Что съ тобою было?

— Да, а вы и рады, бросили меня! Что было? Дивное было! Упалъ я лицомъ въ снѣгъ и лежу — прикинулся неживымъ. Тутъ, чую, подбѣжали волки, нюхаютъ, а не трогаютъ. Одинъ, должно-быть, волчица, завылъ, и всѣ завыли, она лизнула, и тѣ стали лизать меня въ лицо... Ну, такъ повыли, полизали, да и ушли...

...Этотъ случай долго ходилъ въ разсказахъ околотка.

II.

Весна.

Прилетъ и перелетъ дичи. — Таинственная страна «Вирій». — Рассказы понамаря. — Ночь въ землянкѣ лѣсничаго. — Ночь въ лѣсу, на Донцѣ.

Это было въ началѣ марта, на Донцѣ. Стояла еще холодная погода. Морозы прошибали изрядные, хотя земля давно обнажилась отъ снѣга. Были сѣрые и вѣтренные дни. Прошлогодній почернѣлый листъ, несорванный зимними бурями, шумѣлъ на рѣдкихъ вѣтвяхъ деревьевъ. Вдоль лѣваго, низменнаго берега Донца шли, въ упоръ къ песчаному его пристѣну, необъятные поемные луга, усѣянные озерами и лѣсками болотной ольхи, вербы и осокара. По пристѣну, скрѣпляя его сыпучіе пески, шель столѣтній боръ и низкорослая пушистая лоза. Съ высокаго пристѣна видѣлся и правый берегъ Донца, гористый, также высокій и обнаженный. То тамъ, то сямъ по послѣднему бѣлѣлось село и возносилась одинокая хуторянская церковь. Теплѣло съ каждымъ днемъ.

Дичь еще не прилетѣла, но уже чувствовалось ея приближеніе. Около третьяго марта вдругъ затеплѣло. Въ тотъ же день въ полѣ зашѣли жаворожки, а къ вечеру какъ-то торопливо шмыгнула въ воздухъ стая дикихъ гусей, да отозвалась тощая цапля, мѣрно махая крыльями и спускаясь къ обнаженному еще берегу. Я поѣхалъ на Донецъ. Нетерпѣніе мое превосходило всякое вѣроятіе. Патронташъ былъ тутъ набить зарядами. Но ожиданія мои не сбылись. Еще ни одного птичьего звука не было слышно въ бору и въ луговыхъ кустахъ. Я сѣлъ на пригоркѣ песчанаго пристѣна. Донецъ разошелся и заливалъ, второй уже день, луга внизу пристѣна. Дубовыя и ольховыя рощицы по лугамъ и отдѣльныя вербы торчали изъ воды, въ видѣ острововъ. Я вперялъ глаза въ сѣрое небо, въ мертвенно-молчаливую землю: тѣтно! Ни птицъ, ни насѣкомыхъ еще не видно и не слышно. Я поднимаю полуистлѣвшій листокъ: подъ нимъ у самаго моего носа шевелится красная букашка. Одна какая-то зимняя птичка усѣлась на самой верхушкѣ еще не зеленѣющей липы и свиститъ, свиститъ, качаясь, какъ тотъ же унылый, прошлогодній, забытый бурями зимы листокъ...

Но прошло два-три дня. Летятъ журавли. Говорятъ, что

мой братъ (покойникъ) «панъ Петро послалъ ужъ въ слободку за двумя сосѣдними стрѣлками», а въ городъ за охотниками Пфеллеромъ и Михайловскимъ. Весна настала окончательная, валовая. Вездѣ ревутъ степные овраги, столько извѣстныхъ и страшныхъ путникамъ по Украйнѣ «балки», мгновенно наполняемыя снѣговой и дождевою водой. Рѣки и полевые ручьи также вскрылись и несутъ на своихъ мутно-желтыхъ волнахъ обломки плетней и снѣговыхъ глыбъ. Говорятъ, что вотъ-вотъ скоро уже начнется общій пролетъ и прилетъ дичи...

Распускается розовая «тала», особый родъ лозы, покрываясь душистыми сѣрыми куколками цвѣтовъ. Показываются на солнцѣпѣкѣ, на отвѣсахъ жирно-удобренного листьями деревьевъ пристѣна, голубые «пролѣски» — подснежники. Поемные дуга береговой долины Донца представляютъ у ногъ разливанное море, ожидающее своихъ весеннихъ гостей — миллионныя дичи всякаго рода. И пока мой систематическій хозяинъ устраиваетъ съ аккуратностью методиста первый день своей весенней охоты, я уже оттопталъ ноги и истомился, бродя по его лѣсу...

Уже прилетѣли сѣрые дрозды, большая лѣсная птица, немного менѣе голубя средней величины, вкусная и драгоценная пища для тонкаго аппетита. На опушкахъ сосноваго бора вы видите, какъ эти дрозды то усядутъ собою землю, подбирая всякія зернышки и сѣмечки, причемъ съ вершинъ деревъ поминутно слетаютъ къ нимъ, падая, какъ пули, новые охотники покушать изъ ихъ семьи, то вдругъ облачкомъ поднимаются въ темныя вѣтви развѣистой сосны и такъ тамъ усаживаются, что едва отличишь ихъ сѣрое плотное брюшко и острый, твердый клювъ. Подходить къ нимъ нужно какъ можно осторожнѣе; отыскивать ихъ легко по ихъ особому крику, похожему на тихій трескъ взлетающаго бекаса.

Вы идете, идете, слѣдуете за перелетающими съ дерева на дерево дроздами. Вдругъ справа и слева раздается какой-то бойкій гулъ, и васъ на-время покрываетъ темнота: это пролетѣли надъ пристѣномъ къ озерамъ утки...

— А! значить, скоро будутъ и вальдшнепы!..

Незадолго до Благовѣщенія, мы согласились въпятеромъ, помѣщики Домонтовскій, Щербекъ, я, Пфеллеръ и Михайловскій, ѣхать въ лѣсъ, въ землянку перваго, подъ пристѣ-



номъ, у родника, встрѣтить тамъ вечернюю зарю, переночевать и опять рано утромъ поохотиться. Мы запаслись самоваромъ, закуской, угольями, погребцомъ съ чайными принадлежностями, взяли ружья и собакъ и уѣхали.

— Что это такое Вірій?—спросилъ я спутниковъ:—кто, господа, изъ васъ знаетъ? Говорится въ народѣ: летить на зиму птица въ Вірій! Что же это за Вірій и гдѣ онъ?

Щербека на это, ни слова не говоря, закурилъ сигару, махнулъ рукой и легъ на землю, близъ землянки. Домонтовскій и вообще никогда не говорилъ ни о чемъ, а болѣе любилъ слушать. Пфеллеръ съ нѣмецкою интонаціею объявилъ, что «Фирей—это папти зфирей, гдѣ зефиръ вѣетъ тепле... это близъ Крымъ! Въ Крымъ это место!» Послѣдній изъ нашихъ спутниковъ, Михайловскій, званіемъ понамаръ и явившійся въ какой-то жениной кофѣ свержъ подрысника, на мой вопросъ, отвелъ за уши длинные волосы и объявилъ слѣдующее...

Въ это время кучеръ вздулъ угли, уставилъ на взгорѣ пристѣна самоваръ, приготовилъ чашки, а мы, отдохнувъ, собирались идти искать вальдшнеповъ.

— Вірей, ваши высокоблагородія, вотъ что. Птица Божья, тотъ же человекъ. А у насъ на степи ей мало раздолья. Только и тычется, что около рѣкъ. Ну, а Вірей—это птичій рай! Сказано, самое солнце, и то кажныя сутки купается, чтобъ не потерять своего блеску. На что уже и самый чортъ, и про того говорится у насъ, въ Млинцахъ: шель когда-то чортъ въ нѣмецкомъ платьѣ, въ чулочкахъ, во фракѣ, при шпагѣ и въ косѣ, куда-то на вечеринку около Млинцовъ. Его и подхватило вихремъ на воздухъ. Вірно, другая нечистая сила его доѣхала. Такъ его подхватило и повѣсило за пятку на паутинѣ; а отъ другой пятки паукъ повелъ паутину до земли... Только плель, плель, все никакъ не доплететъ. Вотъ уже и земля блиако, и поля, и деревни. Чортъ сверху и просится: «Паукъ, братецъ, достань ты мнѣ испить воды, да посмотри, что дѣлается на свѣтѣ; а мнѣ изъ-подъ облаковъ не видно!»—Паукъ и говорить:—«Воды я достать не достану, на двадцать пять саженой паутины не хватаетъ, а я отоцалъ и не доплету; а что дѣлается на свѣтѣ, слушай: выстроены новый городъ Харьковъ, и Балаклея выстроена, и Пришибъ, и Млинцы передѣланы, снесены подъ гору послѣ по-

жара, и тебѣ люди на свѣтѣ уже меньше поклоняться стали...» Поплакалъ чортъ и еще сто лѣтъ такъ висѣлъ, пока, говорятъ, не снялъ его людямъ на муку князь П..., когда тутъ правилъ...

— Ну, зарапортовался, отче Иване! — сказали, смѣясь, Щербека:—куда же все это идетъ къ Вірію?

— Къ Вірію-то?—отвѣтили, крикнувъ, почтенный пономарь, по ремеслу и по призванію страстный охотникъ: — а вотъ какъ. Когда чортъ-то еще висѣлъ у насъ надъ Млинцами, одинъ разъ, отъ столѣтней тоски, что виситъ онъ все на одномъ мѣстѣ, пятками вверхъ, и заплѣлъ онъ вверху какую-то пѣсню... Напрягъ всѣ силы, заплѣлъ въ воздухѣ тихо, и пастухи, поднявъ къ нему глаза, все глядѣли и слушали, откуда это несется пѣсня; съ тучею вмѣстѣ, не летитъ вверхъ и не падаетъ внизъ, а какъ будто поетъ самъ воздухъ! Не то душа чья-нибудь ласточкою вылетѣла изъ тѣла и поетъ, прощаясь съ землею... И слышали пастухи такое дѣло: летитъ рогатый жукъ и спрашиваетъ чорта (а они уже знали, что чортъ сто лѣтъ виситъ надъ ихъ селомъ и что это точно онъ заплѣлъ съ тоски): «а куда, дядя, летѣтъ въ Вірій? Я опоздалъ и сбился съ дороги». — «Лети, говоритъ, на Днѣпръ, а оттуда на Перекопъ, а тамъ за Кубань, къ золотымъ воротамъ»... Слышать пастухи далье: летятъ лебеди и перепѣлки. — «Куда, дядюшка, дорога въ Вірій? И мы сбились!» — «Летите на Днѣпръ, на Перекопъ, а тамъ за Кубань, къ золотымъ воротамъ»...

— Чтѣ же это за золотіе фароттѣ? Какой басни!—возразилъ, засмѣявшись, Пфеллеръ.

— А вотъ какія... Золотыя, какъ золотыя; два столба и до самаго неба. По сю сторону воротъ и холодно, и вѣтеръ дуетъ, и засухи бываютъ, а по ту уже одинъ птичій рай: все вода, вода; Тигръ и Евфратъ рѣки плывутъ, все лѣса, рощи и сады, и цвѣты вѣчныя цвѣтутъ... На воротахъ сидитъ, съ ключемъ отъ Вірія, наша лѣсная птица *сойка*, пестренькая, а у сойки въ носу ключъ золотой, и она на всѣхъ языкахъ и крикахъ опрашиваетъ всякую прилетающую птицу и букашекъ; оттого она на всѣхъ крикахъ и умѣетъ кричать, а еще оттого, что она вертится между всѣми птицами, и перья у нея разноцвѣтныя: и зеленыя, и золотыя, и бѣлыя, и красныя, и сизыя есть перышки. Она сидитъ, окликаетъ всѣхъ по заслугамъ, а грѣшныхъ не пу-

скаеть. Оттого коршуны и орды и зимуют у насъ дома. А у самыхъ воротъ сторожемъ плаваеть въ лодчкѣ по воздуху сизый селезень, вертитъ хвостикомъ, а горlinka, что ни на есть тихая у насъ и кроткая птица, въ серебряной повозкѣ, запряженной пѣтухомъ, ѣздитъ то въ ворота, то изъ воротъ, собираеть подаёніе на птицу больную и раненую нашимъ братомъ охотникомъ. Вотъ отчего, Николай Ильичъ, нехорошо, когда неумѣющіе охотники туда же тчутся стрѣлять изъ ружей: только перераняють, искалѣчаютъ бѣдную дичь, а толку мало. Я уже тридцать-два года стрѣляю. А какъ иной разъ дамъ промахъ и только обожгу, да какъ подумаю, какъ она послѣ меня ноеть, сердечная, волочеть крыло или ножку раненую, такъ ѣсть и пить не хочется... Вотъ оно что Вірій, господа!

И, подтянувъ женину кофту, уставивъ впередъ сѣдоватую бородку и, нахлобуча на лобъ какой-то стеганный на ватѣ и дырявый колпакъ, Михайловскій взялъ подъ мышку свое пятирублевое, связанное веревочками ружьецо, перекинулъ черезъ плечи сумен изъ холста, съ порохомъ и дробью, и сказалъ:

— А что же, ваши высокоблагородія, пора и за вальшными!

Мы исходили верстъ десять, истоптали множество березняковъ, тонкихъ ольховниковъ и сосновыхъ срубовъ, но вальдшнеповъ еще не было. Совсѣмъ стемнѣло, когда мы, опушта дула ружей, шли, едва передвигая усталыя ноги и сопровождаемые усталыми и запаленными первюю весеннею гоньбою лягавыми собаками. До землянки у пристѣна оставалось еще далеко. Сухой листъ шелестилъ подъ ногами. Сумерки болѣе и болѣе сгущались надъ нашими головами.

— А скажите-ка лучше, господа, когда именно прилетаетъ какая дичь?—спросилъ Щербекъ:—вотъ одинъ разъ, ѣдучи за пшеницей изъ Бердянска, я въ полѣ, въ позднюю осень, уже по первому снѣгу, встрѣтилъ мышиный таборъ, переселеніе мышей: тысячи тысячи мышей, какъ саранча, шли полемъ, широкою полосю, и двигались тихо, не сѣпша... На другой годъ, какъ онѣ сошли со степей безъ вѣсти, былъ неурожай, почти голодъ. Онѣ, должно быть, ушли зарапѣ, зная по чутью, что будетъ. Ну, а когда, положимъ, прилетаютъ къ намъ и улетають отъ насъ хотъ перепѣлки, или вальдшнепы, или горlinkи и кукушки? Кто ихъ видѣлъ, когда они летять?

Всѣ опять смолчали. Пфеллеръ было началъ:

— Они низу идутъ, они либо верху, ошень високо! — но замолчалъ также.

— Летить всякая птица порознь, — началъ опять Иванъ Андреевичъ Михайловскій: — иная летить въ одиночку, а иная и кучами. Какъ я былъ еще въ причтѣ въ Богородскѣ, разъ пошелъ за вѣлюшнями, притомился вечеромъ и заснулъ на пригоркѣ, подъ лѣсомъ. Вдругъ слышу во снѣ около меня точно крысы или мыши бѣгаютъ, пахнутъ на меня воздухомъ и свистятъ такими свистами, да такъ, что я еще и не слышалъ. Приподнялся я немного на локоть, смотрю — а ночь была мѣсячна — а возлѣ меня кишмя-кишитъ какая-то налетѣвшая невзначай на мое мѣсто птица... И вся суется по землѣ, шныряетъ въ темнотѣ, посвистываетъ тоненько и будто машетъ крыльями, расправляетъ ихъ; а другія промежъ ихъ бѣгаютъ такъ, что слышно, какъ топтать по землѣ ихъ лапки, ажно на меня иная наскочитъ. Лежалъ я этакъ долго. Прояснѣлъ мѣсяцъ — смотрю: перепѣлки. Это онѣ такъ ночью налетѣли на меня, сѣвъ отдыхать. Смотрѣлъ я на ихъ игранье и отдыхи до самой зари. А передъ зарею онѣ опять засуетились, закурыкали, какъ куры, порхнули, высоко поднялись и, свиваясь и развиваясь, какъ пчелиный рой, полетѣли далѣе. Далѣе же гдѣ-нибудь уже ихъ настоящія лѣтвови, и онѣ разсыпаются тамъ по одиночкѣ и до осени. Горлинки также летятъ, точно голуби, и тоже, больше по ночамъ, вѣлюшницъ тоже, и ласточки... и кукушки... Летятъ онѣ такъ, чтобы люди-озорники ихъ не видѣли по степямъ, на открытыхъ мѣстахъ, а днемъ пасутся въ дичинахъ и глухихъ бурьянахъ, пустыряхъ. Передъ вечеромъ соснуть истомленные, а на ночь опять летятъ и летятъ... Я видѣлъ разъ, какъ цѣлое стадо такихъ слабыхъ пташекъ опало на лощинкѣ, въ яру: это наши бекасики. Они летятъ невысоко; забрать верху не могутъ, на томятся ночью, а днемъ спать, накормившись. Ну, журавли, цапли, утята, гуси — тѣхъ не стоишь: тѣ свалятся сотнями въ стаи и летятъ подъ облаками...

Въ это время мы невольно остановились. Вверху, на небесахъ, шли какіе-то невыразимые звуки: точно крылатые эскадроны эльфовъ и силфовъ неслись подъ облаками, трубя въ свои крошечные золотые и серебряные рога...

— Что это, Иванъ Андреичъ? гуси, журавли, дрофы или лебеди?

Но понамарь молчалъ, опершись на свое длинное и потертое ружье, какъ тотъ всѣмъ намъ любезный путеводитель въ пустынь, Патфайндеръ, похождениями котораго мы любовались въ дѣтствѣ, въ романѣ Купера. Что онъ думалъ—неизвѣстно. Всѣ также молчали...

Пфеллеръ прервалъ тишину:

— Мюзикъ карошъ! Эттэ какъ у насъ въ Курляндѣ: курру-курру-курру... эттэ цаплы!

Понамарь поднялъ ружье, погладилъ его съ особенною нѣжностью и сказалъ, двинувшись далѣе:

— Быть скоро настоящей охотѣ. Начался общій прилетъ дичи. На зарѣ будемъ бить гусей, а можетъ-быть, и вальшней... Слышите?

Мы насторожили уши и опять остановились. Собаки тоже замерли, во что-то чутко вслушиваясь. А въ кустахъ слышалось: и мѣрное, тихое карканье, или хрюканье, и мѣрный свистъ ненаглядной и рѣдкой въ степяхъ дичи—длинноносыхъ коричневыхъ вальдшнеповъ.

Въ землянкѣ, то-есть въ хаткѣ дѣсничаго, подъ пристѣжомъ, въ тайникѣ густыхъ кустовъ, мы уже нашли и готовый самоваръ, и свѣчу въ бутылочной шейкѣ, и всю комнату, накуренную отъ мошки сосновыми вѣтками, и превосходную ключевую воду. Мы спустились по крутой, пробитой въ песчаномъ нагорѣ, тропинкѣ къ роднику, гдѣ стояла хатка, подъ навѣсомъ громадныхъ ольхъ. Въ сторонкѣ, тутъ же, подъ ольхами, между кустами ракитника, подоспѣвшіе къ первому весеннему лову рыбы, сосѣдніе лиманскіе рыбаки на таганкѣ варили кашу. Мы вошли въ хату.

Понамарь сѣлъ на лавку, молча слушая и кромсая складнымъ ножомъ какую-то вѣточку. Щербека опять помѣстился на спокойнѣйшемъ мѣстѣ, на лежанкѣ широкой варовой печи, подложивъ подъ голову свое пальто и патронташъ. Пфеллеръ настаивалъ чай. Хозяинъ откупоривалъ флягу съ коньякомъ. Что роилось въ головѣ Щербеки? Вѣроятно, мысли его носились далеко, въ Бердянскѣ, въ Мариуполѣ, или въ Одессѣ, въ какой-нибудь греческой или генуэзской конторѣ, и онъ бралъ денежки за золотую, яркую и полнуювѣсную, какъ кораллъ, пшеницу «гирку». Пфеллеръ отличался всегда ролью анекдотиста, смѣша своимъ выговоромъ

лалъ дудку, подрѣзая ея кору, какъ-то продѣлъ въ кору черенокъ съ углубленіемъ, и дудка стала кричать утвой.

— Это на завтра. Станемъ подзывать селезней!—сказалъ Иванъ Андреичъ.

Въ хатѣ стало жарко, а оконъ и дверей отъ мошки нельзя было отворить.

— Не выйти ли намъ, господа, пока на воздухъ?—предложилъ я.

Компанія двинулась къ ольхамъ, къ огню рыбаковъ. Каша уже была готова. Насъ попросили присосѣдиться. Мы подкатили къ котелку бревно и кое-какъ размѣстились. Рыбаки были государственные крестьяне, очень бѣдный народъ.

— Что меня удивляетъ,—сказалъ Щербека, указывая на меня:—Скавронскій такъ недавно еще въ нашихъ степяхъ, а уже сталъ рьянымъ охотникомъ: въ метели и въ дождь, по ночамъ и бурямъ, не боясь ни нашихъ комаровъ, ни болотъ, охотится, какъ и мы, грѣшные. Или уже это въ крови?

— Я тоже думаю, что въ крови. Охотники не дѣлаются, а рождаются, какъ и государственные великіе люди... До охотничьей души надо дослужиться у Бога! — замѣтилъ торжественно Домонтовскій, вообще любившій болѣе процессъ охоты, чѣмъ самую охоту, такъ, отъ скуки.

— А вотъ «янки» другое дѣло,—сказалъ Щербека,—не правда ли? Мы съ вами, Петръ Ивановичъ, сдѣлались янками по расчету, по волѣ? А помните, Иванъ Андреичъ, какъ я, будучи студентомъ, двое сутокъ торчалъ съ вами, безъ хлѣба, въ болотѣ, увязнувъ въ трясинѣ, подъ Васищевымъ?

Понамарь тряхнулъ косичкой и усмѣхнулся.

— Кабы не стрѣлокъ-промышленникъ, пропали бы мы ни за грошъ!

— Да, таки-набрались муки! Двое сутокъ провозились по поясъ въ трясовинѣ...

Пока мы сидѣли у огня, подкладывая дрова и толкая другъ съ другомъ, рыбаки сходили внизъ къ озерамъ, къ своей лодкѣ, осмотрѣли вѣнтеры и опять воротились.

— А что, господа, не будемъ сегодня спать до самой зари,—отозвался я съ предложеніемъ:—протолкуемъ лучше до утра и встрѣтимъ на ногахъ первую нашу весеннюю охоту!

— Отлично, Александръ Сергѣевичъ! — подхватили остальные.

Мое предложеніе было принято. Мы подбежали въ огонь вѣтокъ и расположились, кто какъ захватилъ мѣсто. Домонтовскій обратился къ рыбакамъ. — «Какъ тебя звать?»

— «Андрій Шаповалъ!» — «А тебя?» — «Терешко Товстый!»

— Ну, Терешка, сказку...

— Дайте бубликовъ вязку.

Всѣ засмѣялись.

— Ну, скажи небылицу...

— Дайте паланицу... \*)

Терешко оказался, несмотря на свой жалкій и загнанный видъ, балагуромъ! Ему и его товарищу дали по здоровенной чаркѣ коньяку.

— Ну, да и горѣлка же, бѣсъ ея матери... увва! Спасибо вамъ, господа. Спасибо! Какую же сказку? Развѣ про того человѣка, какъ онъ ѣхалъ, да и загубилъ рукавичку; а туда влѣзла жабка-букавка, за нею ракъ-хараваръ, за ракомъ зайчикъ-побѣгайчикъ, за нимъ сестричка-лисица, за нею волкъ-гаврило, зубастое рыло, за нимъ медвѣдь-михайло, до меду подбиралъ, и какъ они тамъ стали мирно жить, хлѣбъ-соль водить... Эту?

— Свинство! — сказалъ съ презрѣніемъ понамарь: — такіа сказки не подобаетъ благороднымъ дворянамъ слушать!..

Я было-хотѣлъ вмѣшаться. Щербека мнѣ мигнулъ.

— Ну, такъ какую же? — спросилъ, обидѣвшись, рыбакъ.

— Скажи *сторію*, сторію, коли знаешь, про важныя и мудрыя вещи! А то, чортъ знаетъ что, только уши мозолишь и охоту нашу спортишь!..

Терешко началъ свой рассказъ, какъ умеръ царь Иродъ и какъ у него родился невиданный царевичъ...

Долго говорилъ Терешко. Понамарь прismsирялъ и слушалъ его съ восторженнымъ вниманіемъ. Прочіе гости дремали...

Въ кустахъ неожиданно звякнулъ соловей и долго-долго пѣлъ, изумивъ насъ своимъ раннимъ появленіемъ. Засвѣжѣло. Поднялся туманъ отъ Донца. Мѣсяцъ былъ въ тучахъ. Но тепло и душисто было въ лѣсу. Мы не выдержали,

---

\*) Пшеничный хлѣбъ.

потушили огонь и ушли въ хатку, запершись отъ комаровъ. Я просыпался часто, почти не спалъ. Не спалъ и понамаръ. Прочіе храпѣли...

— Слышите, слышите, — говорилъ понамаръ, садясь въ потемкахъ и замирая отъ собственныхъ словъ: — слышите? То птицы изъ Вирея летятъ; то перелётъ, настоящій перелётъ начался...

А надъ хаткой точно плыли крылатые эскадроны. Шумъ, свистъ и какое-то мѣрное, точно живое гудѣніе несло, трубя, въ небесахъ... Казалось, необъятныя стаи летѣли, опускаясь на самую кровлю хаты; будто сотни крылъ махали у дверей, надъ трубой, и вѣяли вѣтромъ въ самыя окна. Либо комары и мошки, либо пестрые птицы бились мѣрно въ стекла. Сонъ походилъ на дѣйствительность; грезы являли мыслямъ чудныя картины степного перелѣта. Сердце билось; въ виски стучало; въ ухахъ звонъ; на небесахъ звонъ!..

— Иванъ Андреичъ! Что это? Гуси кричатъ, или журавли, или пѣвчая лѣсная птица?..

— И гуси, и журавли, и лѣсная пѣвчая птица!

Опять загремѣлъ соловей. Я долго слушалъ, сидя на лавкѣ.

— Иванъ Андреичъ! какъ это все разомъ летитъ и поетъ. Что за странная, чудная ночь!

Отвѣта не было.

— Иванъ Андреичъ! вы спите? Иванъ Андреичъ?

Понамаръ не отвѣчалъ. Въ лицо мнѣ повѣяло чудною свѣжестью и нѣгою... Смотрю, дверь отворена. Я вышелъ на крыльцо. Понамаръ тамъ...

— Боже, что за ночь!

А Иванъ Андреичъ, въ косичкѣ, безъ подрясника и простоволосый, стоитъ на порогѣ, противъ мѣсяца, и плачетъ...

А вверху опять гулъ, точно рѣки звуковъ несутся въ облакахъ, или крылатыя струны звенятъ въ воздухѣ. Летятъ и летятъ, летятъ безъ конца воздушныя арміи. Свиваются въ колонны, точно строятся рядами, взводами, рассыпаются, опять смыкаются въ подвижныя каре, летятъ безъ конца. Донецъ сіяетъ серебромъ; озера у ногъ отливаются золотомъ. Должно быть, лопнули и вскрылись липкія назрѣвшія почки черемухи, или береза впотѣмахъ окинулась кружевомъ своихъ развернувшихся свѣтло-зеленыхъ буколокъ. Что-то пахнетъ, пахнетъ вблизи. Летѣла какая-то



стаяка надъ ольхами. Маленькая птичка впотьмахъ наткнулась на самую дверь хаты и отшатнулась, съ пугливымъ шорохомъ, шнырнувъ въ сторону...

Мы пустились на охоту, чуть стало, какъ говорить здѣсь, «благословиться на свѣтъ». Видѣли игру яркوپурпурнаго солнечнаго блеска въ туманѣ озера и на корняхъ деревьевъ. Охота была удачная. Собаки шли по росѣ отлично. Мы воротились съ полными ягташами.

## II.

### Л ъ т о.

Временныя съ весны озера въ степи.—Насѣкомыя.—Засуха.—Охота на дрофъ и стрепетовъ.—Охота на перепеловъ.

Охотникъ съ жадностью ловить послѣдніе дни весны. Скоро водополь спадетъ, и птица сядетъ по гнѣздамъ.

Дни еще влажны и прохладны. Апрѣль въ полномъ ходу. Не вся и птица прилетѣла изъ «Вирея». Апрѣльскія насѣкомыя роями слетаются, шумятъ кисейными чешуйчатыми крыльями, оживаютъ и ползутъ изъ земли, изъ щелей древесныхъ корней, изъ-подъ гнилой коры и всякихъ норокъ, гдѣ онѣ ждали тепла и Божьего весенняго дня и солнца, въ долгую зимнюю спячку. Вотъ ползетъ между стеблей крапивы продолговатый жукъ-крестовикъ, черный, съ бѣлымъ крестомъ на спинѣ. Вотъ темный, съ желтымъ пухомъ на груди и на спинѣ, шмель гудитъ басомъ и ищетъ медовой чашечки едва распускающейся груши. Зеленая майка, съ фіолетовымъ брюшкомъ, въ ожиданіи листьевъ туго оживающей ясени, усыпаютъ собою первые листья сирени. Желтые, голубые, алые, бѣлые и сизые бабочки, какъ лоскуты разноцвѣтныхъ шелковъ и ситцевъ, перебрасываются съ куста на кустъ и мелькаютъ между деревьями. Коричневая круглая коровка, величиной съ воробинный глазокъ, ползетъ на гладенькой былинкѣ, раскидываетъ оборочки нѣсколькихъ слоевъ крыльевъ — бронзовыхъ съ черными крапинками, зеленыхъ съ серебряными точками и бѣлыхъ кисейныхъ, какъ будто пробуетъ ихъ, и звенитъ, улетаая въ сверкающую синеву. Торопливо суетится подорожный, вамъ знакомый, черный жукъ, изо всѣхъ силъ барахтаясь и катя, непременно задомъ, навозный, слѣпленный собственными средствами, шарикъ въ темную подорожную же норку. Кры-

латыя гусеницы, рои мошек и комаровъ-трубачей снуютъ взадъ и впередъ, или стоятъ клубами въ воздухѣ, точно висятъ въ немъ сверкающими искорками, и тысяча ласточекъ, очеретянокъ, вавакушекъ, сѣрыхъ и черныхъ дроздовъ, иволгъ и всякихъ мухоловокъ носятся, стелаясь за ними по землѣ или лова ихъ въ воздухѣ, межъ вѣтвей и надъ вершинами деревьевъ...

Птицы прибываетъ болѣе и болѣе. Одна стая снимается и улетаетъ; другая тутъ же падаетъ на ея мѣсто, усталая и голодная. Отъ вечерней зари до утренней пощипала травки, отдохнула и опять летитъ далѣе семья степныхъ гостей, къ вамъ на сѣверъ, въ Тамбовъ и Владиміръ, подѣ Москву и въ Сокольники, въ Парголово и въ Мурино, всюду, гдѣ вы ждете ее отъ насъ, гг. записные сѣверные охотники.

Птицей уже полны рѣки, озера, болота и степные водные застои. Съ этими послѣдними выходятъ странныя дѣла.

Среди широкой, гладкой степи зимняя вода стекаетъ въ мелкія, но огромныя котловинки. Отъ первой оттепели до засухи, эти котловинки рядятся въ сущія озерки; устилаются рѣчными порослями, окружаются мелкой осокой и временнымъ видомъ озеръ и болотныхъ плѣсъ приманиваютъ къ себѣ перелетную дичь: утокъ, дупелей, бекасовъ, крошшеповъ, цапель, даже иной разъ гусей и лебедей. Въ виду моего хутора, однажды двѣ ночи на такомъ обманчивомъ болотцѣ, на вѣковой цѣлинѣ, прогостили три пары превосходныхъ перелетныхъ лебедей. Иная птица, особенно безпамятная и глупая дикая утка, здѣсь соберется и гнѣзда вить, забьется въ низенькій кушіръ, ждетъ его роста, нанесетъ яицъ и потомъ жестоко ошибется. Эти степныя плѣса, эти широкія и красивыя озера, съ яркою вѣжною зеленью, эти наши Лаго-Маджюре и Лаго-ди-Комо, являющіяся, по манію волшебника, близъ дикихъ степныхъ терновниковъ и вишенниковъ, также по манію волшебства и исчезаютъ. Пока влажный апрѣль еще царствуетъ, пока въ началѣ мая еще перепадаетъ дожди, даже старые и настоящіе охотники ходятъ туда охотиться. Ненапуганная птица тамъ еще близко подпускаетъ. Вы увидите, какъ на ладони, рако поутру, на ясномъ стеклѣ такихъ озерковъ, кучу бѣгающихъ по колѣно въ водѣ, красноногихъ и голоногихъ куликовъ; увидите стадо чирятъ, маленькихъ утокъ, купающихся въ водѣ и чистящихъ носами свои сѣренькія груди. Увидите мѣрно шагаю-

пую цаллю и набьете полный ягташъ рѣзвыхъ дупелей и бекасовъ. Но вотъ потянуло зноемъ. Воды вошли въ берега. Дороги просохли. Отъ идущихъ толками стада взвивается сѣренькая пыль. Вы кидаетесь въ степь къ терновнику, къ знакомымъ озеркамъ... Ихъ нѣтъ, какъ не бывало. Мигомъ все уничтожилъ собою зной, уничтожилъ и унесъ въ небо и воду, и ея налетныхъ обитателей, утокъ, куликовъ, цапель и бекасовъ. Вы ходите по мѣсту, гдѣ еще недавно топили ваши ноги, облаченные въ охотничьи ботфорты; земля суха, степная травка устилаетъ ее, и мужичекъ-хуторянинъ, какъ бы въ насмѣшку вамъ, еще запахалъ половину ея подъ пшеницу...

Все сохнетъ и мертвѣетъ, подъ вѣянiемъ нашего степного сирокко и самума, нашего неодолимаго «суховья». Зарядилъ онъ въ половинѣ мая, да иной разъ остановится только въ концѣ августа, не уронивъ на обезсиленную и раскаленную почву ни дождевки, ни росинки. Тогда бѣда всему: и живущимъ, и прозябающимъ, и птицамъ, и животнымъ, и растенiямъ. Степи трескаются, всходы хлѣбовъ выдуваются съ корнями, берега рѣкъ желтѣютъ, самыя рѣчки пересыхаютъ и превращаются въ нити рѣденькихъ и иловатыхъ озеръ. — «А что, какова ваша рѣчка Берека теперь?»—спросилъ я однажды изъ Петербурга, въ июнѣ, своего южнаго прiателя:—что въ ней теперь и мелеть ли вашъ млинокъ?»—Въ нашей рѣчкѣ теперь *пыль*!»—лаконически отвѣтилъ мнѣ прiатель: — «пыль, одна пыль — вдоль и поперекъ!»

Вы вышли въ поле... Нѣтъ силъ спастись отъ зноя. Дорога вся въ трещинахъ. Тарантулы шныряютъ отъ норки къ норкѣ. Съ жалобнымъ стономъ несутся надъ головою чубатая чайки, «чайки-небоги, что вывели дѣтокъ при битой дорогѣ», какъ говоритъ наша старосвѣтская пѣсня, творенiе Мазепы, по народному преданiю, соединившему судьбы старой Малороссiи съ этою вѣчно тоскующею птицей-чайкой. Вѣтеръ спитъ, навремя перемолкъ. Даль, съ лѣвой стороны, сверкаетъ полною безоблачною синевою; съ правой, завѣсилась тучами, и изъ-подъ ихъ сизыхъ и бѣлыхъ пепельныхъ пологовъ доносятся непрерывные раскаты грома. Но дождя нѣтъ. Тучи обманываютъ. И опять зной, и зной. Все молчитъ. Птица сидитъ или садится на гнѣзда. До Петра и Павла законъ и совѣсть *запрещаютъ* ходить на охоту. Но

вотъ и этотъ праздникъ. Только нѣтъ, мало поживы охотнику лѣтомъ въ степяхъ. Наши степи безводны. По большимъ рѣкамъ только и охоты. А много ли ихъ у насъ? Днѣпръ, Донецъ, Ворскла, Самара, еще двѣ-три значительныхъ, съ заливными «луками» и болотами, и только. Надо ѣхать на молодыхъ бекасовъ и дупелей верстъ за семьдесятъ. Утокъ иной разъ найдешь въ степи и близко, на хлѣбѣ, во ржи или пшеницѣ, а иной разъ и прямо, среди поля, на стогу прошлогодняго сѣна. Но это еще не охота. Надо ждать осени, обратнаго пролета дичи, съ сѣвера, отъ васъ, изъ Тамбова и Парголова, Сокольниковъ и Мурина.

На что же охотятся въ степяхъ въ самое лѣто? На дрофъ и стрепетовъ круглое лѣто и вездѣ по всей нашей степной равнинѣ, на куропатокъ иногда, близъ лѣсныхъ балокъ и терновниковъ, гдѣ попадаютъ на слѣдъ ихъ выводковъ, всегда сторожко ищущихъ лѣса, чтобъ спрятаться отъ громадныхъ нашихъ коршуновъ, и на перепеловъ, во время покосовъ проса, съ сѣтью и съ собакой. На журавлей бываетъ также охота, и охота заманчивая. Но ихъ стаи попадаютъ годъ отъ году рѣже и рѣже и держатся болѣе въ остаткахъ, огромныхъ когда-то, нашихъ камышей.

Въ концѣ юня однажды я получилъ изъ Золочевской займки письмо слѣдующаго содержания: «Милостивый государь, господинъ Скавронскій! Пора, ваше высокоблагородіе, охотиться. Птичка всякая уже спорхнула съ гнѣздъ. Петръ и Павелъ благословляютъ днесь! Мнѣ бы и не слѣдовало въ моемъ санѣ. Сказано попамъ и причтамъ: не пролейте крови живущихъ и не убейте ничего-же и нигдѣ-же. Ну, да молитвами святыхъ угодниковъ охотимся уже тридцать-два года и другимъ желаемъ того же счастья. Прежній владыка нападалъ и отрѣшавъ отъ причта, а этотъ позволяетъ. И впрямь: ничто это въ грѣхѣ? А Давидъ ловець предъ Господомъ? Не умалишася душа моя въ охотѣ, а еще познаетъ чудеса Господни, читая въ природѣ, и вѣмъ, яко грѣшенъ, но молюся и въ вѣрѣ не оскудѣваю. А хорошо бы, ваше высокоблагородіе, на стрепетковъ и дрофовъ; появились въ великомъ буйствѣ и нѣсть имъ числа. Деркачѣвскій коваль сказывалъ, что какъ овцы ходятъ. А Семень съ Зайповки даже приковылялъ ко мнѣ и говоритъ старина: есть куропатки... Ёдемъ, ваше высокоблагородіе. Жду васъ у себя. Валъзъ богомолецъ и слуга, понамарь Иванъ Михайловскій».

Сильно я обрадовался зову дорогого пріятеля и, по здѣшнему выраженію, тотчасъ «побѣжалъ» къ нему на парѣ хуторскихъ пѣгашекъ. Понамарь оставилъ уже городъ, тѣснимый братіей, и жилъ въ причтѣ Золочевской запмки, въ живописнѣйшей мѣстности самарскаго побережья. Я засталъ его въ трудахъ. Въ низенькомъ сарайчикѣ онъ справлялъ изъ шалёвокъ лодку-плоскодонку для сосѣдняго паньча, стягивалъ ее веревками, вдѣлывалъ дно и пыхтѣлъ, что было силъ. Онъ мнѣ очень обрадовался. Его косичка привѣтливо заколыхалась. Его жидкая бородка, съ нашего разставанья, показалась мнѣ еще жиже. Глянувъ внизъ, онъ отеръ съ лица потъ и улыбнулся.

— Э! а я васъ вотъ какъ ждалъ!—сказалъ онъ, не поднимая глазъ.

— Что это вы? Вы и плотникъ?

— И плотникъ, и кузнецъ, что нужно...

— А рыбу ловили по веснѣ?

— Ловилась, да плохо. Корона терлисъ; десятка съ четыре поймалъ...

Мы вошли въ его новое жилище... Полная и румяная, статная хозяйка что-то стыдливо сунула въ уголь, подъ печь, и, сейчасъ явившись, сѣла, какъ барыня. И онѣ барынямъ завидуютъ! Даже чепчикъ нацѣпила... Мы съ ея мужемъ пошли за перегородку. Тамъ былъ артистическій хламъ: стѣнные часы, какой-то портретъ масляными красками, три старенькихъ ружья на стѣнѣ; начатая небывалая клѣтка для ловли перепеловъ, куда въ середину сажаютъ самку подъ вечеръ и, вынося въ поле клѣтку, ловятъ самцовъ особыми дверками, въ видѣ силковъ. Наструганныя палочки еще валялись по полу. Сынишка-понамарченкокъ взошелъ подъ печкой и пачкалъ безъ милосердія фалды еще новенькаго сюртука.

— А что, сынъ ходитъ въ школу?—спросилъ я.

— Нѣтъ, плохо, не учится!

— А что?

— Быть и ему охотникомъ. Такая уже душа! Стянулъ гдѣ-то голубя, повелъ племя подъ печкой и теперь торгуешь. Рубли на два уже наторговалъ...

— Куда же мы ѣдемъ на охоту?

— Ёдемъ на дрофѣ; да пораньше завтра, до зари.

Мы собрались до свѣта, на простой телѣгѣ, запряженной

въ одну лошадь. Чтобъ еще болѣе обмануть сторожежнихъ дрофъ, на телѣгу даже навалили сѣна, утыкали ее часто свѣжими вѣтками, кое-какъ усылись за вѣтки съ ружьями и поѣхали. Все искусство охоты на дрофъ состоитъ въ томъ, чтобы обмануть ихъ сторожежностью сколько можно болѣе, представляя изъ себя мирныхъ странниковъ, возницъ сѣна или хлѣба, и подѣхать къ нимъ какъ можно ближе, т.-е. на выстрѣль.

Солнце еще не всходило, когда мы вытянулись изъ поселка, потонувшего въ садахъ, поднялись на пригорокъ и поѣхали ровною, гладкою стѣнью, еще сочно-влажною отъ дружной росы, неожиданно подаренной скупымъ небомъ тою ночью. Лошадь, фыркая, медленно пробиралась сперва дорогою. Потомъ мы своротили на хлѣба и сѣнокосы. Чуть брезжило, и жаворонки еще не пѣли. На востокъ появленіе солнца предвѣщали багровыя полосы, захватывавшія окраину неба болѣе и болѣе. Но еще густая, свицковая тѣма устилала небо съ той стороны. Пахло свѣжестью и травами. Влѣво, гдѣ-то за косогоромъ, на незримомъ хуторѣ, надрываясь, кричали пѣтухи, и по воздуху доносились ихъ крики. Вправо, въ туманѣ, виднѣлись далеко-далеко одинокіе стоги. Вдругъ изъ-подъ ногъ лошади порхнулъ и, вырвавшись, клубкомъ покатился по травѣ заяцъ.

— Стрѣляйте, стрѣляйте! — крикнулъ я второпяхъ, ища ружья.

— Что вы, что вы! — зашипѣлъ понамаръ и, ухватясь за шапку, присѣлъ: — а дрофы?!

— Да, точно! — И я опустилъ ружье.

Ѣхали мы еще долго, версты три и болѣе. Ничего не видно. Лошадь только мѣрно шагаетъ по зеленой цѣлибѣ, да пофыркиваетъ, поглядывая на росистую, сочную траву.

Влѣво, между пахотями, заблѣло стадо овецъ.

— Что это? Шпанки? — спросилъ я.

— Ай, ай, ай! — еще тише и плотояднѣе зашипѣлъ понамаръ: — молчите! Какія тамъ шпанки, то дрофы!

И дѣйствительно. Огромная стая дрофъ, штукъ въ сорокъ, мѣрно выстроилась и, поднявъ на насъ издалека свои чуткія круглыя головы, тихо шагала и въ разсыпу паслась на заревомъ прохладномъ корму.

— Что же намъ дѣлать?

— Ахъ, Боже мой, да молчите!! молчите и сидите, или лежите пузомъ!!!

И началъ понамарь кружить. Къ дрофамъ надо бы ѣхать прямо, а онъ забираетъ въ бокъ, дѣлаетъ круги, круги побольше и поменьше. Все уменьшая круги, наконецъ, онъ выровнялъ телѣгу такъ, что дрофы стали меньше, чѣмъ на выстрѣлъ. Онъ тихо сползъ съ телѣги, взявъ ружье, лошадь пустилъ попрежнему безостановочно и, вдругъ выйдя изъ-за телѣги, приложился—и выстрѣлъ грянулъ. Картечь засвистѣла по крыльямъ. Затѣмъ грянулъ другой выстрѣлъ. Отъ обоихъ упало три дрофы; четвертая сначала не могла подняться и долго бѣжала по землѣ, размахивая крыльями. Я приложился вслѣдъ за ней и за всей улетающей стаей, и далъ, безъ сомнѣнія, промахъ.

— Полетѣла умирать! — подтрунилъ Иванъ Андреевичъ, подбирая своихъ убитыхъ дрофъ.

Мы едва встали на телѣгу, такъ онѣ были велики и жирны. Стадо перелетѣло не далѣе версты и сѣло въ нашихъ глазахъ. Мы опять поѣхали на нихъ, и опять понамарь сталъ дѣлать повозкою свои хитрые круги. И странно: стоило показаться въ виду этого стада, за полверсты, мальчику-пастуху, въ одиночку, и оно бы снялось и улетѣло. А нашу телѣгу подпускало на двадцать сажень и попадало бы, до послѣдней птицы, если бы у насъ стало терпѣнья слѣдить за перелетами и присѣстами. День прояснѣлъ окончательно; солнце было, по мѣстному чумацкому выраженію, «на два дуба», то-есть стояло надъ небосклономъ—на высотѣ часовъ восьми. Мы немного притомились и ѣхали тише. Въ мелкихъ бурьянахъ изъ-подъ телѣги со свистомъ поднялось на упругихъ пестрыхъ крыльяхъ стадо стрепетовъ. Мы по нимъ дали два заряда, и четыре птицы, кувыркаясь, полетѣли на земь. — «Славные стрепеты! отличная пташечка!» — сказалъ понамарь, самодовольно потирая жирную, увѣсистую, благородную степную дичь.

— Не довольно ли на этотъ разъ, Иванъ Андреевичъ.

— На журавликовъ бы, еще крохотку...

— Да вы же устали!

— Не усталъ; убей Богъ, не усталъ-съ!

Найдено новое стадо дрофъ, стадо, не виданное по величинѣ, головъ въ полтора ста. На него мы наткнулись врасплохъ, поднявшись на крутой косогоръ, усыянный терновни-

комъ и «дерезю», мелкимъ степнымъ кустарникомъ, такъ безнаказанно ломающимъ на цѣлинахъ зѣбшіе плуги. Дрофы насъ увидѣли, но не слетѣли. Было жарко, и большая часть изъ нихъ лежала на травѣ, на образецъ страусовъ, съ которыми дрофы очень и схожи, запрятавъ отъ зноя головы въ стебли. Одни дрофичи чутко и сторожеко расхаживали, поглядывая по сторонамъ и гордо выставивъ бѣлорычьи, пернатые оторочки своихъ шей. Понамарь остановилъ лошадь. — «Ну, дѣлать нечего; выприжемъ лошадь и пусть пасется; будто въ поле за сѣномъ пріѣхали!» — сказалъ онъ: — а мы полѣземъ травами, да лощинами и подполземъ къ нимъ вонъ тѣмъ яромъ!»

Мы пустили спутаннаго коня, а сами зашли снова за косогоръ и поползли травами на животъ, съ другой стороны, стараясь поползти въ длинный яръ, подходившій къ самому мѣсту, гдѣ были дрофы. Мы ползли долго, болѣе полуторы версты. Отъ непривычки, я значительно отставалъ; по мой спутникъ, съ налитыми кровью глазами, въ одной рубахѣ, держа ружье впереди себя, ползъ безъ усталости, извиваясь, какъ ящерица. Изрѣдка только останавливался, поднимать голову изъ густой травы и глянетъ по степи, наставляя ладонь къ глазамъ. Я тоже оглянулся: лошадь видѣлась далеко-далеко, щипля траву вблизи чуть видной повозки. Мы уже обходили дрофъ. Ползя въ травѣ, иной разъ мы натыкались то на муравынную кучу, то на гнѣзда жаворонковъ, чаекъ и длинноносыхъ полевыхъ куликовъ, называемыхъ «грипиками», летавшихъ роемъ надъ нашими головами. Два огромныхъ коршуна, шныря въ недосигаемой высотѣ, медленно кружили, будто плавали, надъ нами, зорко слѣдя за мелкими птичками, выпархивавшими изъ-подъ нашихъ головъ. Кое-гдѣ пестрѣла, скрываясь отъ насъ, сѣренькая змѣйка, да на тысячу ладовъ перекликались, оглашая степь свистами, наши лютые бичи, овражки-суслики, поѣдающіе сотни и тысячи десятинъ нашихъ хлѣбовъ. Иная букашка блестя въ травѣ, какъ аметистъ или яхонтъ. Жгучій, медвяный запахъ цвѣтовъ кружилъ голову. Наконецъ, мы спустились въ оврагъ и сѣли отдохнуть.

— Ну, истомили вы меня, Иванъ Андреевичъ!

— Ничего-съ! Добыча будетъ лютая!

Понамарь вынулъ трубочку, набилъ ее и закурилъ. Онъ протянулъ руку по оврагу къ одному мѣсту, гдѣ травы были



гуще и сочнее и гдѣ отыскался коростель. — «Идите туда, баринъ; тамъ навѣрно родничокъ, захватите въ стаканчикъ водицы!» — Я вынулъ складной клеенчатый стаканъ, пошелъ туда и дѣйствительно нашелъ ключъ отличной холодной воды, сочившейся изъ реберъ оврага по травкѣ. Мы напились, зарядили ружья картечью и, подкравшись къ окраинѣ оврага, почти въ упоръ безопасно лежавшимъ дрофамъ, навели ружья въ болѣе густыя кучи.

— Бить, Иванъ Андреевичъ?

— Стойте...

Онъ всталъ, спустился въ оврагъ, снялъ шапку, перекрестился, потомъ снялъ сапоги, лѣвый перебѣнилъ на правую ногу, а правый на лѣвую (это былъ его обычай и по-вѣрье въ болѣе важныя минуты охоты, для вѣрности удара) и опять прилегъ и сталъ цѣлиться...

— Бейте...

Гранули первые и вторые выстрѣлы. Дрофы шарахнулись, какъ стадо овецъ, пробѣжали нѣсколько десятковъ шаговъ въ разныя стороны и въ-разсыпку поднялись, летя надъ нами и обдавая насъ прохладнымъ вѣяніемъ отъ своихъ дрожавшихъ широкихъ и мощныхъ крыльевъ. Не успѣли мы взглянуть, сколько упало убитыхъ дрофъ, какъ съ противоположной имъ стороны, изъ другого ярка, изъ травы поднялись озадаченные и съ ружьями другіе два охотника, также подползавшіе къ дрофамъ, съ другой безконечной степной дали, и предупрежденные нами почти въ самое мгновеніе своего прицѣла. Они подошли къ намъ. Это были охотники-промышленники изъ военныхъ сосѣднихъ поселенъ, одинъ въ солдатской старой курткѣ, а другой въ цвѣтной рубахѣ. — «Ишь баринъ, — начали они: — мы ползли версты двѣ до нихъ съ утра, да орелъ ихъ напугалъ близко уже отъ насъ, а теперь опять съ завтрака ползли до нихъ, вотъ по какія поры — а вы ихъ пострѣляли!»... — Понамарь, не глянувъ даже на ихъ печально ухмылявшіяся лица, презрительно качнулъ косичкой и бородой и молча пошелъ подбирать дрофъ: семь штукъ лежало по травѣ, восьмая раненая далеко бѣжала по полю. Онъ поручилъ мнѣ стеречь убитыхъ, самъ добѣжалъ до лошади, сѣлъ на нее, подобралъ фалды своего подрясника и пустился вскачь на кобылкѣ за дрофой. Черезъ полчаса онъ и ее притащилъ верхомъ. Промышленники постояли, поглядѣли и пошли далѣе, отмири-

вать новыя версты по знойной, сверкающей степи. — «А гдѣ намъ на стрепетѣхъ еще поохотиться?» — крикнулъ имъ вслѣдъ неугомонный понамарь. — «Вотъ въ тѣхъ вершинахъ найдете!» великодушно отвѣтили незнакомцы, оборачивая издали истомленные лица. Мы двинулись далѣе. Черезъ полчаса степь заklubилась. По ней протянулись бѣлыя дымчатая полосы, будто потоки воды хлынули и заструились бѣгучими лентами по полю. Вѣтру не было, но полосы клубились и заливали даль. Вотъ онѣ стали расти, изъ ихъ стеклянныхъ волнъ вытянулись такія же дымчатая верхушки — столбы, каланчи, деревья, стоги, цѣлое село, дѣсь и овраги. А вотъ выдвинулся, колыхаясь, курганъ. На немъ стоитъ на одной ногѣ, поджавъ другую, журавль и, закинувъ голову подъ крыло, спитъ въ знойной и сверкающей синевѣ воздуха. Это — «маревъ», нашъ степной миражъ, поэтическая фата-моргана, порождающая столько толковъ въ нашемъ простонародьѣ.

#### IV.

### О с е н ь .

Охота на перепеловъ. — Отроковица и зеленчукъ. — Степня марева. — Переваль въ байраки и овраги.

Однажды мы пріѣхали на хуторъ Золочевскую-займку. — Хозяйка понамаря, опять въ чепчикѣ, но съ засученными рукавами и по локти въ тѣстѣ, встрѣтила насъ привѣтливо. Прохлада низенькихъ комнатъ, съ открытыми ставнями обхватила насъ и уврачевала, съ приправой добраго полудника, всѣ хлопоты этого перваго счастливаго дня. На другой день мы снова двинулись въ походъ, а хозяйка Ивана Андреевича повезла дичь на особой телѣжкѣ въ городъ на базаръ, оставя мнѣ законную долю, которую я тотчасъ же послалъ къ сосѣдней барынѣ въ презентъ. О дрофахъ кончу тѣмъ, что мясо ихъ необыкновенно вкусно, если намочить его дня на два въ уксусѣ, и очень похоже на мясо дикихъ оленей. Онѣ иногда зимуютъ въ степяхъ, не улетая въ «Вирій», особенно, если зимы теплы и малоснѣжны. Тогда бывають потѣшныя исторіи. Выпадающій ночью снѣгъ запорошитъ перья спящихъ кучами въ сухихъ бурьянахъ дрофъ; ночью же ударить оттепель, а къ утру морозъ — крылья оледенѣютъ, дрофы летѣть не могутъ. И мнѣ самому

въ дѣтствѣ случалось видѣть, какъ мальчишки на зарѣ загоняли въ барскій дворъ дрофъ, головъ по двадцати и болѣе, прямо палочкой, какъ овецъ.

Такъ мы проохотились, имѣя перевалы на Золочевскомъ хуторѣ или заимкѣ, недѣли полторы, ловя по вечерамъ удочкой рыбу, а днемъ отыскивая дрофъ и стрепетовъ. Какъ-то выбрался день, и мы отправились еще съ дудочками и сѣтками на перепеловъ. Мой товарищъ увѣрялъ меня, что за Бритаемъ, въ просахъ и по столѣтней цѣлинѣ, ихъ не оберешься. Мы запаслись сѣбнымъ, остались полегче, чуть не въ однѣхъ рубахахъ, и пошли. Выйдя въ степь, ударишь въ дудочку, на голосъ самки, раззадоришь двухъ-трехъ бойкихъ и голосистыхъ самцовъ, сѣтъ раскидывается по травѣ, самъ ложишься близъ сѣти, со стороны, противоположной перепелу, продолжаешь его манить, и онъ подходитъ къ самому вашему носу, надеясь отъ щеголеватыхъ вававканій и крупнаго, звонкаго щелканья на множество ладовъ. Вы его спугнули, и онъ уже въ сѣткѣ. Мы ловили съ утра до вечера. Множество крикуновъ уже сидѣло въ холстяной запасной клѣткѣ, толкаясь озадаченными головками о ея стѣнки. Поздно вечеромъ, уже передъ захоженіемъ солнца, случилось странное дѣло...

— Что это значить, Иванъ Андреевичъ, вы скурюкаете уже сотый разъ, а перепелъ нейдетъ въ сѣтъ и отзывается все съ разныхъ сторонъ? Сказать бы, что онъ высматриваетъ засаду и перебѣгаетъ съ мѣста на мѣсто? Такъ нѣтъ же: такіе ходы ему не подъ силу, и ему такъ скоро не перелетѣть; а онъ бѣгаетъ, и не видно, чтобы летать...

Понамаръ тревожно погладилъ бороду и вздохнулъ.

— Что вы?

Онъ тихо погрозилъ мнѣ пальцемъ, чтобъ я молчалъ, и сказалъ шопотомъ:

— Эхъ, молчите! То отроковица, или, можетъ, и самъ зеленчүкъ...

— Какъ отроковица? Что такое зеленчүкъ.

Въ это время, подъ звукъ дудочки, съ мѣста, гдѣ мы ожидали отклика перепела, раздавался какой-то пискъ. Въ сырѣмъ и тихомъ, благоуханномъ воздухѣ вечера и въ густой травѣ, гдѣ мы лежали, толкая носомъ кудрявыя былинки цвѣтовъ, насъ этотъ таинственный пискъ подралъ морозомъ по спинѣ. Темнѣло болѣе и болѣе...

— Нѣтъ, Александръ Сергѣевичъ! Не будетъ толку изъ этого перепела! То не перепелъ, когда уже такъ... Не будетъ толку... Пойдемте! Оно не такъ кричить.

И онъ сталъ торопливо снимать сѣтъ; снялъ и зашагалъ по росѣ такъ, что я едва его догонялъ...

— Чтó же это такое, о чемъ вы сказали, отроковица и зеленчукъ — спросилъ я, молча пройдя съ нимъ въ сумеркахъ порядочное пространство.

— Отроковица, это одна такая перепелочка, про которую говорятъ, что была она прежде поселянкой... Ну, поселянкой... ну, ваше высокоблагородіе, одинъ помѣщикъ, понимаете... приударилъ за нею, за перепелочкой-то... за поселяночкой-то...! ну, и загубилъ ее, коршунице! Какъ загубилъ? Значить, только отдала она съ горя Богу душеньку; ну, и пошелъ, онъ коршунице, за перепелами-то любилъ ходить! Пошелъ, а она, ея душенька-то, и стала его лгать; перепеломъ прилетѣла — кричить, манить, пугаетъ его и завела въ трущобу; тамъ черти его и доломали! Съ той поры такой перепелъ и живетъ промежъ людей и пугаетъ всѣхъ до смерти! Его не поймашь, особенно, ваше высокоблагородіе, коли кто изъ вашей братіи, извините, на него наскочить... Бѣды бываютъ!

— Ну, а зеленчукъ?

— Зеленчукъ такая штучка, родъ травки, волосатенькая и вся зеленая; не то грибокъ, не то корневатая, клубчатая былинка, и летаетъ. Это то же, что житнички, домовые, что живутъ по житамъ, величиной съ воробчика, и ползаютъ, какъ кузнечики, по былинкамъ. Тѣхъ мавками зовутъ, а этихъ — зеленчуками: эти мохнатѣе и кричатъ всякими голосами. Любятъ поднигуть. Разъ и со мною было. Манилъ я его, манилъ дудочкой подъ сѣтъ, еще съ отцомъ Павладіемъ покойникомъ ходилъ по перепела. Онъ и зашелъ уже подъ сѣтъ. Я къ нему, а оно, волохатое, сидитъ и глядитъ на меня, какъ лягушка, да и говоритъ: «а что, братъ? поймалъ? Ку-ку! Ку-ку!» — Да какъ прыгнетъ, точно вихорь, и унесло съ собою всю сѣтъ — какъ вѣтромъ задуло: понесло по полю и по ярамъ. И кусочковъ послѣ не нашель...

Я глянулъ: товарищъ мой былъ блѣденъ, какъ полотно.

На другой день мы отправились снова на дрофъ. Завидѣвъ стадо, распрягли и пустили лошадь по травѣ, близъ повозки. Но оводы и мошка прищипорили ее, она замотала гривой и

какъ бѣшеная кинулась вскачь, куда глаза-глядятъ. Проводивъ ее взорами, мы также покачали головами, сложили багажъ на повозку, оставили ее на волю судьбы и подѣ охрану отроковѣвъ и зеленчуковѣ и пошли съ ружьями, сами не зная куда и по какой дичи, какъ ходятъ истинные охотники.

Мой товарищъ шелъ, попрежнему, безъ устали. Я томился отъ зноя и давно поглядывать по сторонамъ, выбирая долинку или кусты, гдѣ бы спрятаться и отвести духъ въ тѣни. Но ничего подобнаго не было. Степь тянулась безъ конца. Всклакивали изъ-подъ нашихъ ногъ куропатки; раза два стонали куликовѣ. Но я ничего не видѣлъ отъ зноя. Мой товарищъ, съ своей стороны, не стрѣлялъ отъ скупости, по привычкѣ старыхъ охотниковъ, положивъ себѣ цѣлью непременно стрѣлять въ тотъ день только по дрофамъ. Но дрофъ не было. Я былъ готовъ упасть отъ тоски и духоты. Судьба сжалилась надо мною. Вдали мелькнуло отрожье степной балки—лѣсистаго, чуднаго байрака...

Эти балки и байраки въ степяхъ—любопытная вещь!

Происхожденіе ихъ довольно загадочно. Степь неисходная во всѣ концы, а среди гладкой, безлѣсной пустыни—ярбекъ, длинный, продолговатый оврагъ, и этотъ оврагъ полонъ деревьевъ и кустовъ. Точно въ смятеніи потопа, устремились сюда изъ общей засухи, изъ мертвенно-гладкаго поля, тысячи спасающихся животныхъ. И бѣлокораая березка, и дубнякъ, и клѣны, все здѣсь есть. Откуда же это? Кто сѣялъ эти байраки? Откуда взялись лѣсные сѣмена, когда кругомъ на десятки верстъ нѣтъ ни былинки? Есть два объясненія: или сѣмена сносило сюда по временамъ потоками осѣдавшихъ воду до-историческаго моря, дномъ котораго, говорятъ ученые, были наши степи; или въ эти прохладные лѣги, всегда обильные ключами, бьющими изъ ихъ крутыхъ реберъ, сѣмена заносились случайно птицами и подѣ влияніемъ счастливыхъ обстоятельствъ, которыхъ нѣтъ въ остальной окрестности, давали густыя рощи. Такіе байраки — заветное мѣсто украинскихъ пасѣкъ. Здѣсь пчелы укрываютъ отъ зноя. Откуда онѣ берутъ кругомъ неслышанный взятокъ съ цвѣтовъ дѣвственныхъ полей; но только въ дожди. Въ засуху степь — даже безъ травъ. Не встрѣчая кругомъ ни кустика, иной разъ, верстъ на пятьдесятъ, сюда стремится весной тысячными стадами перелетная птица.

Остаются здѣсь вить гнѣзда и лѣтовать обычные ихъ обитатели: кукушка, дроздъ, горлинка, сорока, мелкія чертанки, сойка, куропатка и очень часто утки, особенно если въ байракѣ есть ключи.

— Чей это байракъ, Иванъ Андреевичъ?

— Колчигинскій, прозывается бритайскимъ...

«Чуть не британскій: громкое имя!» подумалъ я.

И это уже были послѣднія мысли. Я упалъ почти безъ дыханія и памяти подъ вѣтви коренастаго дубка, окунулся въ травы и долго-долго не могъ раскрыть глазъ отъ усталости. Чтò-то жужжало и звенѣло, и пѣло вокругъ меня... Прохлада неслась снизу. Мы улеглись подъ крутизной, въ первомъ сумракѣ кустовъ. Шлепая въ мокрой осоки, на днѣ оврага, перелетѣла и снова сѣла гдѣ-то внизу, очевидно, утка. Оттуда, гдѣ она сѣла, несло съверху шопотливое шуршуканье струекъ ключа. Мы затихли и долго-долго не подавали другъ другу голоса. Какая-то муха, востроносая, чуть не въ полвершка величиной и съ черными, въ пурпурныхъ пятнахъ, крыльями, качаясь, сидѣла у самаго моего носа, на вѣточкѣ кудрявой травы. Желтый, съ огненными и черными подпалинами, хорь, бичъ сусликовъ, длинный и извилистый, вышелъ изъ норки, пробираясь, вѣроятно, къ родникамъ внизъ оврага, прыгнувъ шаловливо раза два впередъ, назадъ, сторбилъ дугой свою мягкую, длинную спинку, погрызъ какой-то стебелекъ и пошелъ опять далѣе, рѣзвыми прыжками, блестя парой бѣлыхъ переднихъ зубовъ и мелькая въ травѣ, какъ мячъ. А вотъ и куропатки курныкаютъ, какъ цыплята, и рядкомъ, вереницей пробираются изъ густой травы къ кустамъ, въ пяти шагахъ отъ насъ. Вотъ одна явилась и толчется на мѣстѣ, и разгребаетъ лапками землю, такъ же суетливо и попусту, какъ подчасъ и наши глухія, простоватыя куры; за нею, изъ сѣти травъ, просовывается гладенькій носикъ, другой...

— Стрѣлять ли, Иванъ Андреевичъ? Видите?

— Еще бы! Нѣтъ, ужъ лучше пусть идутъ! А это?...

И онъ указалъ въ небо. Сквозь сѣтчатую листву слышались серебряные звуки. Огромная стая журавлей, треугольникомъ, неслась, чуть видная, подъ облаками, мѣрно махая крыльями и будто плывя надъ нами.

Съ Щербекой я встрѣтился разъ передъ порою, когда

ждали снѣга. Была еще влажная, туманная осень. Онѣ ѣхали съ послѣдней слободской ярмарки, гдѣ закупилъ на спекуляцію, на зимовлю, десятка два паръ воловъ домой. Я тоже ѣхалъ домой. «Поѣдемте ко мнѣ! — сказалъ онѣ: — тутъ отъ станціи живу всего верстахъ въ сорока! Поѣдемте; у насъ мѣста отличныя, и главное, въ нашемъ околоткѣ послѣзавтра устраивается охота въ наѣздку...» Я поѣхалъ. Небольшой хуторокъ носилъ на себѣ отпечатокъ хозяина. Но меня это не занимало. Я ждалъ охоты...

Охота была въ сѣрый пасмурный день.

На спокойныхъ коняхъ, разбившись другъ отъ друга на четверть версты и выровнявшись въ рядъ, мы ѣхали шагомъ по необозримой, гладкой степи. Изрѣдка срывавшійся мелкій дождь моросилъ въ лицо. Рыжій, истрепленный вѣтромъ бурьянъ, репейникъ и длинный коровьякъ, нетронутый въ лѣто стадами, шелъ полосами то тамъ, то здѣсь. Пустынныя овраги и громадные логи, котловины, особенно осматривались наѣздниками. Борзья, разбитыя на своры, шли у коней добѣжачихъ. Вырвался изъ-подъ ногъ и покатылся клубкомъ заяцъ; нырнулъ въ траву и выхватился на косогоръ красно-бурый лисовинъ, самецъ-лисица; пошелъ въ ходъ громадными скачками, несясь легче вѣтра, вдоль пустынного байрака, волкъ. Ъздоки сваливаются въ догонку, собаки летятъ стрѣлой, летятъ версту, другую. Барсучьи кочки, котловины, кусты мелкой «дерезы», вишневая дикія заросли, гладь и гладь безъ конца — все это несется въ глаза, мелькаетъ мимо. Вотъ новый горизонтъ. Перевалились черезъ кряжъ холмовъ. Затравлено много русаковъ, двѣ лисицы; волкъ убѣжалъ. И напрасно за нимъ скачутъ неустойчивые охотники. Вотъ уже изъ тридцати человѣкъ летятъ два, одинъ. Семеро борзыхъ особенно рычны. Близокъ дубовый лѣсокъ. Волкъ ввалился туда. Трубить отбой. И опять, послѣ общаго перевала, начинается наѣздка. Конь едва переступаетъ. Измокшая «стерня», жнивье прошлаго лѣта, чуть шелеститъ подъ копытомъ. Вотъ одинокій степной колодець. Двѣ тощихъ вороны сидятъ и мокнутъ на его журавлѣ. Не вставайте и не заглядывайте въ колодець. На васъ не пахнетъ отрадою, какъ въ знойное лѣто, когда вы порывались выпить его воды. Далѣе... Вотъ брошенный, измокшій въ травѣ ремень, съ пряжкой. Что это? Путо ли для лошадиной ноги, сорвавшееся въ лѣто, поясъ ли пустын-

наго пастуха, чабана? Дождь зачастилъ, а тамъ вдругъ прояснѣло. Новая тревога. Опять волкъ. На этотъ разъ меня удивляетъ добѣзжайшій Щербекъ. Мазнувъ нагайкой, онъ не-сется одинъ, безъ собакъ, въ угонъ за волкомъ, гонить его версту, двѣ, три, томить его, нагоняетъ, вновь поднимается, когда тотъ падаетъ, высунувъ языкъ, и, наконецъ, свалив-шись съ боня, въ одиночку перевязываетъ его морду пет-лею ремнемъ, а потомъ и ноги. Опять сборъ; завтракъ, обѣдъ. Развязываются кошолки, тюки. Являются рѣстбифы, вина, водки. Кормятъ собакъ. А картина у ногъ, съ высо-каго косогора, открывается новая. Солнце робкими, но яркими лучами обливаетъ холмистую, голубоватую даль, кое-гдѣ пере-рѣзанную пахотями будущихъ посѣвовъ, а внизу—рѣку, въ изсохшихъ камышахъ, съ болотами и озерами... Поздній вечеръ гонить всѣхъ на перевалъ къ корчмѣ. Тутъ ожи-даютъ насъ гончія. Но съ ними завтра...

На другой день — новый распорядокъ охоты. Верховые становятся вдоль рѣки, по косогорамъ; близъ нихъ, на сво-рахъ, борзые. Гойчихъ ведутъ въ камыши и на болота. И заливаются желто-пѣгія плаксы, и напрасно юлить и обма-ниваетъ ихъ вертлявая, какъ вьюнъ, новолѣтняя лисица. Вотъ-вотъ она вырвется изъ камышеваго острова, пойдетъ въ гору, къ борзятникамъ. У борзыхъ ушки на макушкѣ, и тихо, плотоядно облизываются онѣ, порываясь впередъ и впередъ внизъ, подъ гору, зоркіе глаза. Охота идетъ внизъ по рѣкѣ, дѣлая перевалы на пяти, на семи верстахъ въ прирѣчныхъ хуторахъ. Ёдятъ, пьютъ и лгутъ во всемъ пре-стодушій коренныхъ охотниковъ, какъ оно и слѣдуетъ...

Но зима на волоскѣ. Просыпаемся утромъ: поля покрыты густымъ, бѣлымъ пологомъ пушистаго снѣга.

Пороша!

Но кто же не знаетъ пороши? Кто не знаетъ, какъ вы-слѣживается крапчатый, въ скачкахъ, слѣдъ зайца, слѣдъ шагомъ, слѣдъ «пудомъ», бѣгомъ, его узлы вездѣ, впередъ, въ бокъ и обратно въ бокъ; тихій и лукавый слѣдъ лисицы, слѣдъ, которому нѣтъ конца?.. Ёдешь версту, двѣ, пять, пят-надцать—и не поднимешь ее: она водить и водить, путаешь и сбиваетъ. А вотъ два волчьихъ широколапыхъ слѣда! И ёдятъ опять охотники въ наѣздку. Снѣгъ бѣлѣетъ и ослѣ-пляетъ глаза. И бесконечно-бесконечно разстилаются кру-гомъ, сливаясь съ синими небесами, степи, степи гладкія,



какъ столъ, уголоватя, исполосованныя оврагами или отѣненныя изрѣдка деревьями, отъ снѣга, будто вылитыми изъ серебра.

Осенью на хutorѣ, сосѣднемъ съ Щербеккой, было одно грустное событие. Любимый егеръ помѣщика, Павло Дзюба, выѣхалъ съ гончими въ сосновую рощу, на пескахъ. Лучшая изъ своры гончихъ, Трубка, векочила за лисицей въ нору. «Пане, а я пойду, отрою изъ норы собаку и лисицу. Нора на обрывѣ, въ пескѣ!»—«Эй, Павло, не ходи! Пусть гибнетъ и собака, и лисица, лишь бы ты остался цѣль и живъ!»—«О, пане, будто я *дурный*; у меня четверо дѣтей и жена!»—«Ну, иди!»—Попелъ Павло, чистая и первобытная душа, безкорыстѣйшій и страстный охотникъ, взявъ лошадь, заступъ, хлѣба и поѣхалъ вечеромъ въ лѣсъ. Говорятъ, лѣсничій, обходя дозоромъ лѣсъ, нашель его у норы и совѣтовалъ туда не лазить. «Слухай,—отвѣтилъ Павло:—я тебя люблю, а ты штука! Иди своею дорогой». Далъ ему покурить своей трубки и принялся рыть песокъ. Прошла ночь. Лѣсничій опять поѣхалъ дозоромъ. Видитъ, лошадь одна стоитъ, голодная, у куста. Подошелъ къ норѣ: оттуда торчатъ ноги Дзюбы. Потянулъ—не вытянетъ. Далъ знать; прибѣжали изъ села и вытянули Павла вожжами изъ норы. Бѣднягъ задохся... Онъ прорылъ ходъ, полѣзъ туда въ полушубкѣ; полушубокъ завернулся лапами и ужъ не далъ ему хода ни назадъ, стѣсняя его складками, ни впередъ, гдѣ лисья нора снова суживалась. Погибли, задохнулись и Павло, и лисица и собака... Миръ праху твоему, веселая и беззаботная душа, кузнецъ, ключникъ, слесарь, комиссіонеръ, а главное—замѣчательный охотникъ своего родного села, исходившій столько болотъ, объѣздившій столько степенъ и воцарившій, съ своимъ владѣльцемъ, столько любви къ охотѣ въ своемъ околоткѣ...

Но прошла осень и зима. Опять весна на дворѣ. Летятъ гуси, лебеди, дрозды, вальдшнепы и бекасы. Снимается со стѣны давно осмотрѣнный и вычищенный мортимеръ, дѣлаются патроны, ласкается особенно нѣжно красивый пойнттеръ или сеттеръ, и подтягиваются новымъ ремнемъ непромокаемые охотничьи сапоги... Золотое время... Пора безвозвратно - улетѣвшей молодости, всякихъ упованій и надеждъ!

1860 г.

# Оглавленіе

## VI тома.

### Девятый валъ. (Христова невѣста). Романъ.

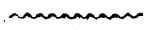
#### Часть третья. Въ свѣтъ.

|                                              | стр. |
|----------------------------------------------|------|
| XXVII. Въ Москвѣ . . . . .                   | 3    |
| XXVIII. Отъ своего хвоста не уйдешь. . . . . | 10   |
| XXIX. Опустѣлая усадьба. . . . .             | 19   |
| XXX. Просители. . . . .                      | 25   |
| XXXI. Счастливый мірокъ. . . . .             | 32   |
| XXXII. Тепличка. . . . .                     | 40   |
| XXXIII. Тихое пристанище. . . . .            | 48   |
| XXXIV. Искушенія. . . . .                    | 61   |
| XXXV. Первый лучъ. . . . .                   | 70   |
| XXXVI. Пробужденіе. . . . .                  | 80   |
| XXXVII. Соловьи. . . . .                     | 87   |
| XXXVIII. Непогрѣшимые. . . . .               | 92   |
| XXXIX. Масличная вѣтвь. . . . .              | 103  |
| XL. Опять на родинѣ. . . . .                 | 112  |
| XLI. Гости. . . . .                          | 120  |
| XLII. Возвратъ. . . . .                      | 130  |
| XLIII. На берегу. . . . .                    | 136  |

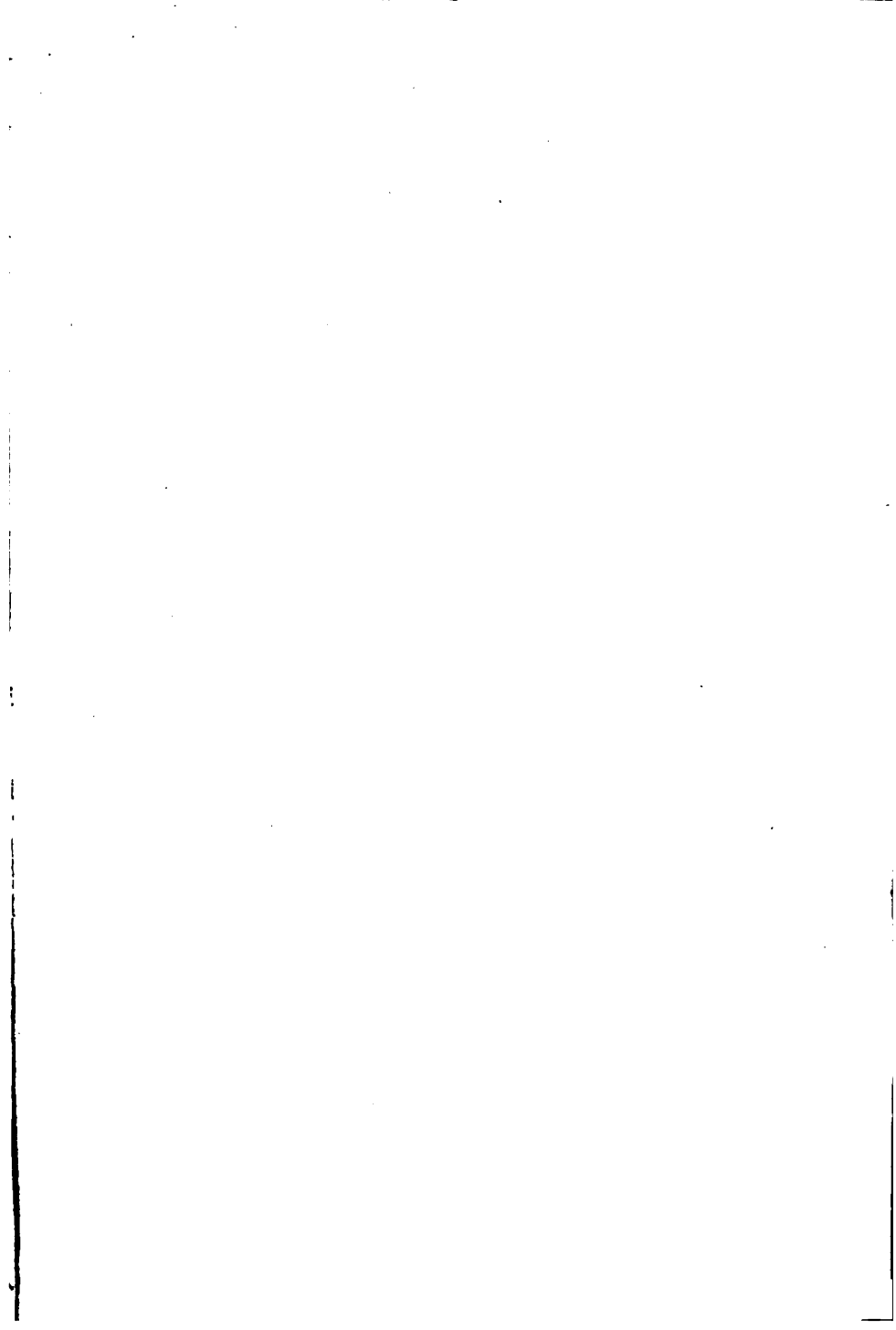
#### Четыре времени года.

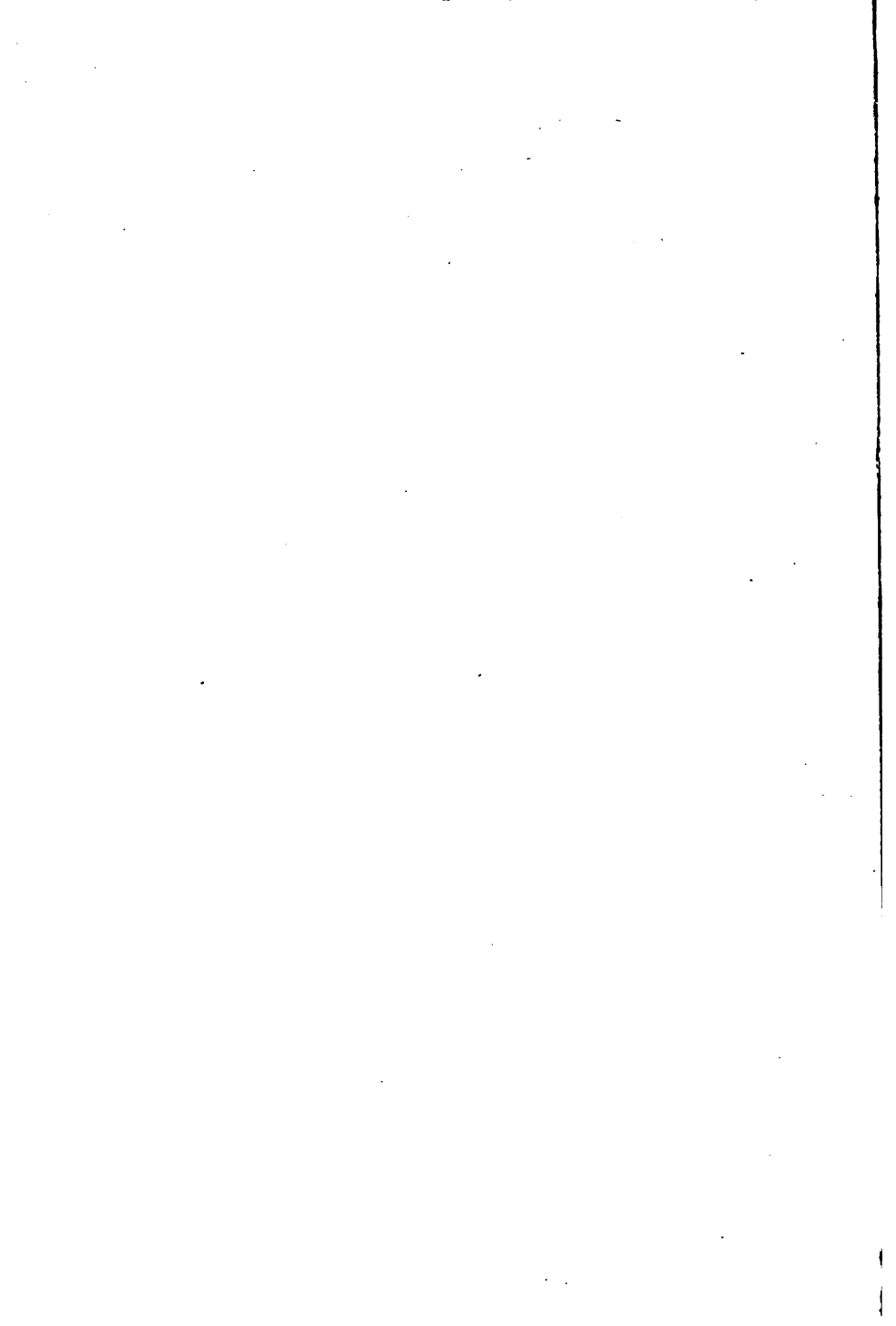
##### украинской охоты.

|                    |     |
|--------------------|-----|
| I. Зима. . . . .   | 147 |
| II. Весна. . . . . | 163 |
| III. Лѣто. . . . . | 175 |
| IV. Осень. . . . . | 184 |



*Handwritten signature or mark.*









This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine of five cents a day is incurred  
by retaining it beyond the specified  
time.

Please return promptly.

~~DUE JUN 19 '32~~

~~DUE MAR. 27 '38~~